

ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ    АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

# АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ



А.П. 94г

**АНДРЕЙ БЕЛЫЙ**

**АНДРЕЙ БЕЛЫЙ**



# **АНДРЕЙ БЕЛЫЙ**

**ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ**



# АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Собрание сочинений

ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ

Москва  
Издательство "Республика"  
1995

Собрание сочинений  
под общей редакцией  
*проф. В. М. Пискунова*

Подготовка текста,  
вступительная статья, комментарии  
*С. И. Пискуновой*

Оформление художника  
*Андрея Платонова*

### **Белый А.**

**Б43** Собрание сочинений. Воспоминания о Блоке / Под ред.  
В. М. Пискунова. — М.: Республика, 1995. — 510 с.  
ISBN 5—250—02534—X

Среди многочисленной мемуарной литературы об Александре Блоке воспоминания Андрея Белого (Б. Н. Бугаева; 1880—1934), крупного русского писателя-символиста, выделяются своей уникальностью. Сверстник Блока, он был связан с ним долготетными и сложными отношениями "дружбы-вражды". Острая наблюдательность А. Белого, меткость его характеристик, блеск и яд в изображении литературно-религиозной "общественности" позволяет назвать эту книгу и исповедью писателя, и документом "перелома эпох".

В этом издании "Воспоминания о Блоке" А. Белого впервые представлены в полном объеме, снабжены обширным комментарием.

**Б 4702010000—040**  
**079(02)—95**

**ББК 84Р7**

ISBN 5—250—02534—X

© Издательство "Республика", 1995

© Сканирование и обработка: *glarus63*

"Воспоминания о Блоке", написанные Андреем Белым в берлинской эмиграции в 1921—1922 годах и опубликованные в издававшемся там же журнале "Эпопея", — один из самых впечатляющих документов русского серебряного века. Это и попытка "самоосознания" своего творчества А. Белым, крупнейшим русским символистом, чья судьба была тесно связана с судьбой русской культуры, переживавшей трагический момент своей истории.

Толчком к написанию "Воспоминаний" послужила смерть Блока — одного из ближайших друзей и единоверцев Белого времен "аргонавтических зорь", его соотаврица по символистскому движению 10-х годов, единомышленника в 1917-м: оба, весьма далекие от большевистской идеологии, приняли Октябрьскую революцию как участь, закономерно уготованную их Родине, как "возмездие", очистительный пожар, в котором будут уничтожены ненавистные обоим формы старой жизни и из которого Россия, подобно фениксу, выйдет обновленной, преображенной. Чаемая Революция Духа, призванная, как полагал Блок, напоить мир новой музыкой, разбудить "всю человеческую душу во всем ее объеме"\*, однако, не состоялась. Понадобилось совсем немного времени, чтобы наступило отрезвление: уже в 1919—1921 годы оба поэта переживают "трагедию трезвости", хотя переживают ее по-разному.

"Максималист" Блок — нельзя не оценить точность этого, принадлежащего Белому определения, — словно стремясь избежать участи "свидетеля гибели вселенной", к которой он готовился с юных лет, умер. Белый — при всем его форсированно-апокалиптическом настрое, — став вместе с автором "Скифов" свидетелем "крушения гуманизма", по формуле Блока, до конца дней продолжал сохранять веру в "грядущее, всечеловеческое": "заря" нового века, открывшаяся ему в небе 1901 года, так полностью и не померкла в его глазах. Не учитывая этого коренного различия жизненных установлений Белого и Блока (одного — неискоренимо-утопического, другого — глубинно-трагического), мы рискуем не понять ни пафоса "Воспоминаний", ни смысла всех тех переакцентировок, которые вносит Белый в привычный образ Блока-человека и в содержание блоковской поэзии.

Какого же рода текст скрывается под непритязательно-скромным названием "Воспоминания о Блоке"? И почему они начинаются задолго до того январского дня 1904 года, когда студент-естественник Московского университета Борис Бугаев открыл дверь своей арбатской квартиры студенту-филологу Петербургского университета Александру Блоку, с которым до того был знаком только по переписке? Почему в "Воспоминаниях" вообще много страниц (есть даже целая глава, так и названная "Вдали от Блока"), на которых Блок не появляется, зато фигурирует великое множество совсем других лиц, отнюдь не всегда с Блоком связанных? Эту "странность" своих "Воспоминаний" обнаружил и сам автор, поспешивший дать ей объяснение: "Читатель, наверное, возмущен: какие же это воспоминания о Блоке? Где Блок? Проходят — кружки, общества, люди. О Блоке — молчание: Блок появляется издали молчаливой фигурой, о которой автор высказывает то или это; и высказав, снова пускается в характеристику людей, не имеющих прямого касания к Блоку. Тут автор должен оговориться... Воспоминания о Блоке связались с личными думами, с несомненными кривотолками, возникающими во мне; Блок был, быть может, мне самой яркою фигурой времени; увлечения,

\* Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1962. Т. 6. С. 156.

устремления к людям, с которыми Блок очень часто и не был знаком, обуславливались фазой моего отношения к Блоку; и — наконец, наши встречи настолько всегда диктовались идейными устремлениями, что я не могу не распространяться о некоторых идейных воздействиях, менявших мой облик и обуславливающих мой новый поворот к Блоку”.

Объяснение весьма примечательное: из него очевидно, что в центре внимания Белого-мемуариста находится не сам Блок, а “*мое*” отношение к Блоку, личные думы, личные заблуждения, идейные воздействия, формировавшие это отношение: “Блок — ответственный час моей жизни, вариация темы судьбы: он — и радость нечаянная, и — горе...” Поэтому основным стимулом для написания “Воспоминаний” была не столько необходимость запечатлеть все, что сохранилось в памяти о Блоке (“Не Эккерман!” — с вызовом аттестует себя Белый), сколько потребность осмыслить — в свете завершившейся жизни “брата” — свою жизнь...

Конечно, в “Воспоминаниях” не может не присутствовать и собственно документальная, фактографическая основа, которая в своем развитии, разрастании приведет Белого к созданию “берлинской” редакции “Начала века”, а затем — по возвращении в 1923 году в Советскую Россию — к написанию мемуарной трилогии: “На рубеже двух столетий” (1930), “Начало века” (1933), “Между двух революций” (1934). И все же по сути своей “Воспоминания о Блоке” — один из беловских “опытов самопознания”: к этому роду духовных упражнений, превратив его в литературный жанр (повесть “Котик Летаев” — классический тому образец), Белый приобщился под влиянием немецкого теософа Рудольфа Штейнера, разработавшего собственную версию “духовного знания” — антропософию\*.

Соединение двух авторских установок, двух жанровых принципов — самопознавательного и мемуарного — присутствует уже и в дневниковых записях, сделанных в первые же дни после смерти Блока. Фиксация событий дня, спешно восстанавливаемая — по памяти, на память! — хронологическая канва отношений с Блоком, перечни блоковских симпатий и антипатий, регистрация слов Блока, услышанных самолично или переданных кем-либо, — весь этот фактографический план то и дело перебивается другим, главным, задающим ритм повествованию: “...Его бытие для меня — было чем-то вроде: возможность слушать Шумана (Шуман — мой любимейший); я могу года по условиям судьбы не услышать ни одного звука Шумана, но я знаю: что мне возможно его услышать... Шуман бессмертен *во мне*. И таким “Шуманом”, музыкой Шумана, был для меня сам Блок — не Блок-поэт, не его величина, а — эмпирическая личность. Он — не мог исчезнуть, пока я жив: он — орган восприятия музыки мною... Блока — нет: стало быть, я навеки стал калекой (лишился слуха). Так воспринял я в первую очередь смерть Блока (как если бы мгновенно лишился зрения); но и слепец, вспоминая *о Свете*, создает “Потерянный рай”. И я вышел из этих двух часов молчания — *просветленным слепцом*\*\*\*.

Первые главы “Воспоминаний” и читаются как повествование об “утраченном рае” (один из возможных вариантов названия знаменитой поэмы Джона Мильтона) — о “зоревых” годах начала века, ознаменованных бунтом против отцов-позитивистов детей-символистов, которых Андрей Белый сравнивал с “аргонавтами”, устремившимися за золотым руном — Солнцем будущего. Костяк братства “аргонавтов” составляли москвичи, но петербуржца Блока они считали “своим”, более того, отводили ему роль первого поэта — выразителя мистических чаяний эпохи. В отличие от уже укоренившихся на русской почве символистов европейского, точнее, французского толка — прежде всего Брюсова, — “младосимволисты” считали себя не литературной школой, но жизнестроителями, теургами. Все они были эсхатологически настроены и вместе с тем устремлены к утопическому грядущему: близящийся

\* Андрей Белый вступил на путь антропософского “ученичества” в 1912 году под влиянием лекций Штейнера и в результате личного знакомства с ним.

\*\* Белый Андрей. Дневниковые записи. К материалам о Блоке // Литературное наследство. Т. 92 (Александр Блок. Новые материалы и исследования). Кн. 3. М., 1982. С. 795.

конец света воспринимался ими не столько как конец, сколько как начало — "нового неба" и "новой земли".

Год — девятьсотый: зори, зори!  
Вопросы, брошенные в зори... —

отголоски этих строк поэмы "Первое свидание" (1921) отчетливо слышны и в первых главах "Воспоминаний". Но чем дальше углубляется Белый в историю своей "дружбы-вражды" с Блоком, тем меньше на страницах "Воспоминаний" свет и больше тени. У "просветленности" автора "Воспоминаний" есть очевидная граница: и положена она не только тем, что Блок, по его мнению, все дальше и дальше уходил в полосу тени, но и неспособностью самого Белого к самоосуждению. Хотя в "Воспоминаниях" временами и проскальзывают вынужденные признания: "Считаю, оценка моя замечательной книги — несправедлива", "...я написал А. А. немотивированное, до оскорбительности резкое письмо", "обвиняя А. А., я во многом был грешен тем именно, за что нападал на А. А." (последнее признание удивительно точно!). И все же... Основным импульсом (конечно, несознанным) было стремление "объясниться" с ушедшим из жизни "братом", который выяснения отношений не любил, всегда от них уклонялся, и оправдаться перед самим собой, перед потомками, предложив им свою версию крушения "аргонавтического" мифа и распадаenia "аргонавтического братства" (что автор "Воспоминаний" осуществил с присущим ему литературным блеском).

Подчиняясь этому подсознательному импульсу самооправдания, Белый подчеркивает линию своих взаимоотношений с Блоком — с Блоками! — минуя, быть может, самое существенное — историю своей трагической любви к жене "брата", приведшей его на грань безумия и самоубийства\*. В результате получается не линия, а пунктир, к тому же со смещенными по отношению к реальной хронологии отрезками. Пробеги и умолчания, перестановка местами причин и следствий, обширнейшие уходы-экскурсы в "другие" темы — все словно нацелено на то, чтобы запутать читателя. Например, рассказывая о своем приезде вместе с Сергеем Соловьевым в Шахматово в июле 1905 года и о своем паническом бегстве-отъезде оттуда, Белый представляет дело таким образом, будто его отъезд был вызван оскорбительным непониманием со стороны семьи Блоков поведения С. Соловьева ("лучший мой друг оклеветан"). Но почему же "оклеветанный" в гостях остается, а Белый бежит? Опускается небольшая деталь: перед отъездом Белый передает Любовю Дмитриевне записку с объяснением в любви. Поэтому слова "непоправимое — совершилось", стоящие следом за неуклюже втиснутой в рассказ фразой: "Первое известие прочитанное — бегство Потемкина (броненосца) в Румынию", отнюдь не к броненосцу относятся.

Так же и в главке "Решительный разговор" Белый на сей раз в открытую — отказывается сообщить читателю, о каком же "радикальном решении... отражающемся больно" на Блоке, шла речь и почему Блок был "прекрасен" в этот миг... А ведь "решительный разговор", встреченный Блоком с таким достоинством, был о том, что его друг и жена решили соединить свои судьбы.

К фигуре умолчания Белый прибегает и тогда, когда рассказывает о своих отношениях с Блоком на том их этапе, когда они развивались уже практически вне зависимости от отношений каждого с Любовью Дмитриевной. Так, разрыв весной 1908 года представлен вовсе не как разрыв, а как мирное, естественное удаление друг от друга. Переломным моментом в развитии этих отношений для автора "Воспоминаний" является встреча с Блоком и долгий разговор, имевшие место 24 августа 1907 года, описанные в главке "Примиренье". Под знаком

\* Любовь Белого к Л. Д. Блок была, по мнению тонкого наблюдателя В. Ходасевича, довольно близко Белого знавшего, его единственной настоящей любовью, пронесенной через всю жизнь. (См.: Ходасевич В. Ф. Андрей Белый // Воспоминания об Андрее Белом. М.: Республика, 1995.)

этого "примиренья" и происходит все дальнейшее: поездка обоих в Киев, возобновившиеся визиты Белого в Петербург... Потом — "мы с А. А. находились в дружеской переписке; но мы чувствовали, что говорить и видеться — не стоит. И уже понимал, что отдалились друг от друга без ссоры мы; медленно замирало общение наше, чтобы возобновиться лишь через несколько лет; наступала страннейшая мертвая полоса отношений (ни свет и ни тьма, ни конкретных общений, ни явного расхождения)... Письма писали друг другу мы редко; и, наконец, — перестали писать". Чуть позже сообщается: "помню: последнее письмо от А. А. получил в марте я..." — речь идет о марте 1908 года.

"Помню", "запомнилось" — эти слова встречаются в тексте "Воспоминаний" не раз. И часто — как раз для того, чтобы что-то *скрыть*. Возможно, именно для того, чтобы ничего не сказать о своей личной драме, о своем поражении в самом уязвимом, а отнюдь не вследствие особого интереса к "историческим обстоятельствам, обусловившим..." Белый выстраивает свое повествование как рассказ о событиях, имеющих место не столько в сфере "душевной", сколько "духовной": к первой он относит все, касающееся "психологии", обыденных человеческих чувств и эмоциональных реакций, ко второй — "события жизни сознания". Цель автора "Воспоминаний" — доказать, что и его сближение с Блоком, и его с ним расхождения обусловлены в первую очередь общностью или несовпадением их мироощущений, духовных ориентиров, и только потом — несовпадением темпераментов, событиями интимной жизни каждого. Другими словами, настаивает автор "Воспоминаний", коллизия "Белый — Блок" не должна замыкаться "индивидуальным кругозором", но должна быть вписана "в идеологический и социальный кругозор эпохи"\*.

Характерно программное для Белого как мемуариста рассуждение: "Биография Блока не будет ясна без огромного фона эпохи и вне *музыкальных напоров* ее; А. А. был самым чутким, правдивым, подчас бессознательным жестом звучащего времени; воспоминания связаны с шумом времен; этот шум нас связал; и пускай в осознании шума не раз расходились; но шуму внимали мы; чередованью ветров; свершения с 1904 года менялись; они развели нас с А. А., расхождение наше являлось одновременным отходом от прежней зари, чтобы по-новому встретиться; в предвоенном томлении и в страшных годинах мы подали руку друг другу — по-новому".

Апелляция к музыке вполне естественна. Она органично вписывается в контекст символистского (равно как и романтического) мироощущения, ставящего музыку превыше всех искусств и видящего в ней наиболее адекватное воплощение деяний Мировой Воли (по А. Шопенгауэру). Но вот выражение "шум времени" звучит неожиданно. Не тот ли это шум, что заглашает в памяти Белого-мемуариста и отдельные, конкретно сказанные конкретными людьми слова, причем не только слова Блока, но и других людей, к которым мемуарист относится значительно отстраненнее?

Автор "Воспоминаний о А. А. Блоке" — *звуконписец* и *живописец* своей эпохи (что касается "музыки", то она чаще звучит в цитируемых им строках Блока). Образ самого Блока у Белого — это, прежде всего, серия его портретов. От Блока 1904 года ("Что меня поразило в А. А. — цвет лица; равномерно обветренный, розоватый, без вспышек румянца, здоровый... Упругая сдержанность очень немногих движений расходилась с застенчиво-милым лицом... с растерявающимися очень большими прекрасными голубыми глазами") — через Блока 1906 года ("Глаза помутнели; курчавая шапка густых, очень мягких волос не казалась курчавой, как прежде... появились морщинки у глаз, уходящие в мешки под глазами...") — к Блоку 1910-х годов: "...окреп и подсох; стал коряжистый... исчезла в нем скованность, прямота движения... исчез и налет красоты... исчезло то именно, что сближало с портретом Уайльда лицо его; губы — подсохли, поблекли; и складывались в дугу горести; а глаза были прежние: добрые, грустные; и жесты терпения появились во всем..."

\* Использование нами формул М. Бахтина тем более уместно, что его эстетика складывалась без влияния Андрея Белого, к которому ученый проявлял неизменный интерес.

Эта экспозиция подчинена одной цели — зрительно воссоздать линию духовных метаморфоз Блока: от служителя в храме Вечной Женственности и певца Прекрасной Дамы — к "мистическому анархисту", попираетелю "заветных святынь" времен "Балаганчика" и "Нечаянной радости" — к спасенному из ресторанный чистилища и обновленному творцу "На поле Куликовом", который, однако, так и не одолел последнего порога.

Та же логика объединяет и обширные критические, даже сугубо филологические экскурсы автора "Воспоминаний" в поэзию Блока, вплоть до включения в текст мемуаров некогда написанных им рецензий на поэтические сборники Блока и на постановки его пьес, рецензий, которые теперь, в 1923 году, сам Белый в словах признает несправедливыми, пристрастными, но которые, однако, перепечатывает, видя в них, очевидно, какую-то не отмененную временем долю правды.

Бéловский анализ стихотворений, пьес и поэм Блока имеет, несомненно, самостоятельную научно-критическую ценность — как блестящий образец пристального чтения текста. В процессе этого чтения-интерпретации поэтический мир Блока сначала разлагается на мельчайшие атомы — вплоть до отдельных мотивов и звуков, — а затем воссоздается как новое целое, объединенное вокруг "центрального" образа поэта, вокруг "мифа сердца его" и "мифов, с ним связанных". Но при этом не вычленяет ли Белый из строк Блока лишь те повторяющиеся темы и сквозные мотивы, которые работают на нужный ему образ, не уничтожаются ли при этом стихотворения как целостные живые организмы? Хотя, конечно, нельзя не восхититься бéловской интерпретацией цветовой символики Блока, его исследованием ритмики и метрики блоковского стиха, нельзя, наконец, не согласиться с тем, как истолкована им "тема о России" в творчестве Блока: ведь в решении этой темы оба поэта, разошедшиеся к концу 900-х годов буквально во всем, удивительно совпали: недаром Блок назвал повесть Белого "Серебряный голубь" (1910) гениальной; а Белый, прочитав с опозданием, летом 1910 года, блоковский цикл "На поле Куликовом" (1908), написал ему восторженное письмо, которое и послужило началом их нового сближения.

Как же, однако, согласуется этот "филологический" аспект "Воспоминаний" с авторским утверждением, что, хотя Блок и "глубиннейший русский поэт", классик национального масштаба, все же главное в нем — человек "благородный, все понимающий, новый и прекрасный"? Этот "новый человек", который жил в Блоке, был, по мнению Белого, "поэтом... не высказан, не вмещен". Отсюда и трагедия Блока: трагедия встречи в нем "поэта" с "Челом восходящего Века" — с человеком утопического будущего.

Вырванные из контекста строки Блока "Молчите, проклятые книги: / Я вас не писал никогда!" — рефреном проходят через "Воспоминания". Так стоило ли "проклятые книги" так тщательно анализировать? Не противоречит ли здесь Белый самому себе? И не опровергает ли он *противопоставлением* в Блоке "поэта" и "человека" собственную дневниковую запись: "Блок был *насквозь человек*, т. е., быть может, только он из всех современных поэтов — поэт, собственно, потому что поэт — *насквозь человек*?"\*

Что касается противоречий и самоопровержений, то ими полны все тексты Белого и с этим читатель должен смириться заранее: ведь из этих противоречий и рождается творчество писателя. Но дневниковые записи Белого подтверждают, что Блок-человек изначально находится для него на первом плане, а Блок-поэт видится лишь "следствием" существования Блока-человека, что вполне согласуется с эстетическим *средо* "младосимволистов": главная и конечная цель искусства — пересозидание самой жизни, главная и конечная цель художника (поэта прежде всего!) — сотворение самого себя. В "Воспоминаниях" же, точнее, в Предисловии к ним человек и поэт в феномене Блока открыто разведены. Но разведены для того, чтобы их со-поставить, показать, что Блок-человек какими-то своими чертами отражается

\* Литературное наследство. Т. 92, кн. 3. С. 795.

в поэзии Блока, а поэзия Блока объясняет Блока-человека — по опять-таки частично.

Блок-человек как *целое* оказывается для Белого неразрешимой загадкой, тайной, окруженной при жизни столь мучившим "брата Борю" блоковским молчанием\*. Поэтому блоковское "л" в представлении Белого изначально и вечно расколото между двумя полюсами: Блоком-мистиком и Блоком-интеллектуалом: "В А. А. подметил я полную непричастность скептического интеллекта к мистическим дуновениям, сквозящего него проходящим..."

Но многостраничные "отклонения" от собственно мемуарного повествования в анализ творчества Блока нужны Белому и для другого. Так, Л. Флейшман не без основания считает, что Белый заполняет ими самые зияющие пустоты, возникающие в "Воспоминаниях" вследствие авторской повествовательной тактики "умолчаний"\*\*. Одновременно, включая опережающий разговор о поэзии Блока в рассказ о том, как строились отношения между ними обоими, Белый незаметно меняет местами причины и следствия: все сложности этих отношений объясняются не его вторжением в семейную жизнь Блока (и без того незаладившуюся), а "духовным отступничеством" Блока, якобы засвидетельствованным в его стихах "неосторожно взятой нотой": уже летом 1904 года Блок ушел из "слепительной розово-золотой атмосферы" аргонавтических чаений в "темно-лиловую ночь". Впрочем, нет, измена произошла еще до встречи Белого и Блока: "...еще в 1902 году Блок оборвался в дремучую чащу; видение Дамы померкло: и -- навсегда".

Таким образом Блок кисти Белого — почти идеальный прообраз человека будущего в *жизни* и в то же время отступник в *творчестве*. Все его человеческие грехи и слабости объяснимы духовными срывами: как поэт, то есть существо, посвященное в некое таинство, он заблудился на *путях посвящения*. Эти блуждания и составляют сюжетную линию "Воспоминаний", в которых Блок фигурирует в символической роли участника ритуала посвящения (инициации), так и не сумевшего пройти все посвятельные испытания до конца: "...в голосе его о России теперь — звуки и голоса Посвященного; и Посвященный сквозь муки падения, ужасы личной жизни гласит: вся трагедия в том, что в себе не познал посвятельных звуков — и третьего испытания не вынес поэтому: оно стало смертью его".

Поскольку ко времени написания "Воспоминаний" Белый, как уже говорилось, почти десять лет был убежденным последователем Р. Штейнера, постольку и "трагедию" Блока он хотел бы объяснить с позиций антропософии: "По книжечкам циклов, прочитанных Штейнером, просто указать, *где шипит в пути к посвящению Блок...*"

В антропософии Белому привиделся выход из той трагической коллизии, в которой оказалась новoeвропейская культура к концу XIX века и которую в цикле философско-публицистических этюдов "На перевале" (1918—1920) он определил как "кризис жизни", "кризис мысли", "кризис культуры", "кризис сознания" (Блок в том же 1919 году дал ей название "крушение гуманизма"). В основе всех этих

---

\* См. строки из едва ли не единственного исповедального письма Блока Белому от 15—17 августа 1907 года, написанного в самый разгар их острых отношений: "...я не старался узнать Вас, как не стараюсь никогда узнавать никого, это — не мой прием. И — принимаю или не принимаю, верю или не верю, но не *знаю*, не умею. Вы, наоборот, хотите узнавать всегда. Вы, по темпераменту пылкий, горячий, быстро зажигающийся человек. Мы с Вами и письменно, и устно объяснились в любви друг другу, но делали это по-разному — и даже в этом не понимали друг друга. Вы, по-моему, подходили ко мне не так, как я сам себя создал, и до сих пор подходите не так. Вы хотели и хотите знать мою "моральную, философскую, религиозную физиономию"... Я готов сказать лучше, чтобы Вы узнали меня, что я очень верю в себя, что ощущаю в себе какую-то *здоровую цельность* и способность, и умение быть человеком вольным, незадаваемым и честным. Но ведь и это не дает Вам моего облика, и я боюсь, что Вы никогда не узнаете меня" (Александр Блок — Андрей Белый. Переписка. М., 1940. С. 203—204).

\*\* *Fleishman Lazar*, Bely's memories // *Andrey Bely. Spirit of Symbolism*. Ithaca and London. (б.г.) P. 221.

"кризисов" (по Белому) лежит коренная раздвоенность новоевропейского сознания между разумом и чувством, рационально-научным познанием и чувственным переживанием. Но уже и в "позитивистском" XIX столетии доминирующей плоскостной модели мира противостояла иная, связанная с именами Гете, Шопенгауэра, Шеллинга, Вл. Соловьева. Согласно этой, уходящей корнями в древность, модели мира, бытие не исчерпывается физической реальностью, но предполагает наличие иного мира, мира платоновских идей — "эйдосов", обладающего большей реальностью, нежели мир материи, поскольку он неподвластен всеуничтожающему времени. В эту область "сверхчуждственного" бытия человечество издревле пыталось проникнуть разного рода "мистическими" способами. Но при всем их многообразии все они основаны на "отключении", опустошении сознания, провоцировании особых состояний озарения, ясновидения, транса, во время которых человек ощущает свою слитность с божественным единством бытия.

Р. Штейнер, напротив, попытался выработать такую методику проникновения в сверхчуждственный мир (а значит, и в область человеческого подсознания), следуя которой у "посвященного" нет необходимости отказываться от бодрствующего "я", заглушать в себе голос разума и воли. Постичь сверхреальное, учил Штейнер, может только человек, который, познав свое подлинное духовно-душевное "я", путем длительных, целенаправленных упражнений-медитаций перестроит собственный "земной" состав, вырастит в себе некие "новые органы" восприятия мира и достигнет состояния полной гармонии со вселенной. В апогее этот новый духовно-телесный, душевно-разумный человек станет и новым этапом в истории космоса — уподобится бессмертному Христу-Логосу. В прошлой истории человечества, проповедовал Штейнер, лишь одному-единственному человеку — Иисусу из Назарета — удалось достигнуть этого состояния. Но, став Христом, Иисус открыл подобный путь для каждого...

Конечно, когда Белый — особенно в первых главах "Воспоминаний" — настойчиво соединяет Р. Штейнера и Вл. Соловьева, то он приписывает последнему многие идеи немецкого философа. Хотя нетрудно заметить, что стремление Штейнера соединить историю человечества и жизнь космоса, его апелляция к достижениям естественных наук как средству осуществления сверхчеловеческих целей — все это перекликается с пафосом русских антропологических утопий последней трети XIX — начала XX века, русского "космизма", русских теургических чаяний — всего того, что сам Белый именует "активным антихристианством" (так что есть и своя правда в выстроенном Белым ряду: Вл. Соловьев, Н. Федоров, Р. Штейнер...).

Но у Штейнера апокалипсический "прыжок" человечества в новое состояние бытия заменен долгой, по-немецки упорной, очень скучной духовной работой-упражнением. Уже за одно это Блок должен был "штейнериаду" невзлюбить ("Работай, работай, работай, / Ты будешь с уродским горбом"), что он и сделал и чего Белый, по собственному признанию, не смог простить Блоку никогда. Белому же, прошедшему полный курс естественно-научного факультета Московского университета и очень настроенному на "точное" знание (вспомним Белого-стиховеда!), с одной стороны, а с другой — крайне подверженному мистическим настроениям ("мистик" и "интеллектуал" конфликтовали в нем значительно сильнее, нежели в Блоке), всегда нужен был наставник-руководитель. Так что "школа" доктора Штейнера оказалась ему как нельзя более кстати.

В штейнеровской общине в Дорнахе (а Белый провел там 1914—1916 годы, участвуя в возведении антропософского храма-театра Гетеанума) широко практиковались коллективные ритуальные действия, имитировавшие посвятельные ритуалы древности и символически изображавшие странствие человеческого "я" по областям сверхчуждственного мира. "Мистерии" Штейнера, разыгрываемые его "учениками", были посвящены тому, как человеческое "я" преодолевает препятствия — "пороги", отделяющие один этап посвящения от другого, как оно сражается

с врагами-искусителями Люцифером и Ариманом... Нет ничего удивительного, что "посвяtitельный" сюжет "Воспоминаний" во многом складывается из подобного же рода мотивов и тем, превращающих "Воспоминания" в своеобразный аллегорический "роман". При этом для иллюстрации своих антропософских идей Белый то и дело обращается к "Фаусту" в штейнеровской интерпретации.

Но не случайно имя Гете стоит в "Воспоминаниях" рядом с именем Данте, создателя поэмы о путешествии-посвящении избранной души в тайны иного мира — "Божественной комедии". Композиция "Воспоминаний" инвертированно воспроизводит план "Божественной комедии": они начинаются с описания "рая" — заревого неба 1901 года, шахматовской идиллии 1904 года, в центре которой неподвластный времени образ Любови Дмитриевны: "Л. Д... задыхаясь, сгорая взошла на крыльцо — не на крыльцо, на террасу: сейчас, вчера, вечно".

Следующий, второй том (по изданию "Эпопеи") — посвящен прохождению Блока через "чистилище": полосу мрака, тени "Нечаянной радости", искушения "мистического анархизма", "утрату лучших друзей", через черту "Снежной маски" — к циклу "На поле Куликовом", к примирению с Борисом Николаевичем Бугаевым, к "созидающей работе...". Но именно здесь поэт оказывается свергнутым в "ад": "Этот черный его пролихающий воздух, который так естественно напугал меня в 1904 году, во время шахматовской прогулки с А. А. (в поле), — окончательно окружил А. А. в 1912 году". Но как раз в черном воздухе "ада" раскрывается перед ним во всей глубине образ России, в которой неисцелимо раздвоенный, так и не осознавший себя до конца поэт обретает свое второе "я", столь же распятое между крайностями ("Западом" и "Востоком"), столь же лишенное *самосознания* и столь же благословенное, "инспирированное" свыше: "...через искусство А. А. заглянул за искусство; и за искусством увидел он жизнь свою, спянную *кармой* с судьбой современников; в переживаниях биографической жизни своей, изживал он трагедию целой России..."

В странно-противоречивом "диагнозе" Белого автор "Страшного мира", "Возмездия", "Скифов", "Двенадцати" обозначен, с одной стороны, как "народник", "бард России", соединившийся "с сознанием масс", а с другой — как жертва адских чудовищ, обставших его со всех сторон. Но в контексте темы *самосознания* диагноз этот не столь уж противоречив: Блок и Россия обрели друг друга — за пределами самосознания, традиционно-мистическим путем, в "музыке", в "Тайне Нерукотворного Лика".

"Теперь твой час настал, молись" — тютчевско-блоковская строка, завершающая "Воспоминания", относится, конечно же, не к их главному герою; ее Белый адресует себе, своим современникам, истекающей кровью России. Но звучит в этой строке и надежда: ведь молятся всегда о *спасении*.

"Воспоминания" — не просто текст, а некое совершаемое Белым в угаре его берлинского существования\* *действие*: "погребение эпохи", закончившейся со смертью Блока, *действие* Страшного Суда, в котором он берет на себя роль Судии, выносящего приговор не только Блоку, не только Метнеру, но и Гиппиус, и Мережковскому, и почти всем, о ком он пишет. При этом читатель не сразу замечает довольно странное обстоятельство: большинство людей, фигурирующих на страницах "Воспоминаний" в качестве ушедших из жизни мемуариста, въяе еще живы (а многие надолго переживут самого Белого).

Впрочем, подобный прием использовал еще Данте. Но если творцом "Божественной комедии" двигало стремление представить мир мертвых как мир, все еще связанный с миром живых, все еще полный живыми чувствами и страстями, то Белый, напротив, хочет представить еще длящуюся жизнь своих современников как нечто остановившееся, завершенное.

Художественное время "Воспоминаний" — это парадоксальное прошлое, которое и ушло, и продолжается, бросая в настоящее и даже в грядущее свой свет и свои

\* См. широко известные мемуары М. Цветаевой "Пленный дух".

тени. Вспоминая, Белый одновременно продолжает начатый еще при жизни Блока и вместе с Блоком спор с З. Гиппиус на тему "интеллигенция и революция", изобличает противников "скифства" и "евразийства", отстаивает "истины" антропософии, сводит счеты с В. Брюсовым и Вяч. Ивановым, подчеркнуто солидаризируется с очень популярным в эмигрантской среде Н. Бердяевым... При этом автор как бы и не берет в расчет, что сам может быть оспорен, опровергнут, что не только живые, но и мертвые могут заговорить. Поэтому он был так задет публикацией в 1928 году дневников Блока за 1911—1913 и 1917—1921 годы\*. Прочитав дневники, Белый пишет Р. Иванову-Разумнику: "Если бы Блок исчерпывался 6 показанной картиной (...), то я должен бы был вернуть свой билет: билет "вспоминателя" Блока; должен бы был перечеркнуть свои "Воспоминания о Блоке..."\*\*.

Как известно, попыткой "вернуть билет" и стал переписанный "в сторону реализма" образ Блока во второй и третьей книгах мемуарной трилогии, текст которой начинается с авторского утверждения, что в "Воспоминаниях", напечатанных в журнале "Эпопея", "не выдержан тон беспристрастия", что "образ "серого" Блока произвольно мной вычищен", что Блок заслонил других, не менее, а то и более интересных лиц, в том числе и самого автора, который из новой версии "Воспоминаний" "неисключаем"... И все же, при всех умолчаниях, искажениях, ничего правдивее и точнее "Воспоминаний о Блоке" Андрей Белый-мемуарист не создал. В том же письме Иванову-Разумнику он сам определил эту книгу как "надгробное слово", понимая, что такое слово всегда произносится перед лицом Вечности.

С. Пискунова

---

\* Белого должна была потрясти запись Блока от 17 октября 1912 года: "...А. Белый, которого я, вероятно, ненавижу..." (Блок Александр. Собр. соч.: В 8 т. М., 1963. Т. 7. С. 170).

\*\* Цит. по предисловию С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова к их публикации Дневниковых записей Андрея Белого (Литературное наследство. Т. 92, кн. 3. С. 794).



An abstract graphic design featuring a central, light-colored, rounded shape. The composition is filled with various geometric elements: rectangles, squares, and lines in shades of gray and black. Some lines are straight, while others are curved or wavy. There are also small circles and a crescent moon-like shape. The overall style is reminiscent of mid-20th-century abstract art.

**ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ**

*А.П. 94г.*

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Скончался Александр Александрович Блок<sup>1</sup>, первый поэт современности; смолк — первый голос; оборвалась песня песен; в созвездии (Пушкин, Некрасов, Фет, Баратынский, Тютчев, Жуковский, Державин и Лермонтов) вспыхнуло: *Александр Блок*.

Александр Александрович есть единственно "вечный" из русских поэтов текущего века, соединивший стихию поэзии нашего национального дня с мировой эпохой, преобразивший утонченность непропетого трепета тем, исключительно углубленных в звук, внятный России, раздольный, как ветер, явивший по-новому Душу России... Невняты во внятице, вняты в невнятном его *Незнакомка*<sup>2</sup>, *Прекрасная Дама*<sup>3</sup>, *Россия*<sup>4</sup>, *Америка Новая*<sup>5</sup>, *"Скифы"*, *"Двенадцать"*, — реальные в символизме, универсальные в субъективности; темы — лишь ноты его темы тем, где сплетаются: мистика, философия, огненное гражданское чувство с метафорой, мифом и ритмом; понятен он специалистам, стилистам, учащейся молодежи, рабочим, всем русским, французам, германцам... Воистину, *Urbi et orbi*<sup>6</sup> поэт, он есть *наш*, *исключительный*, *общий*, *любимый*, пропевший для *каждого*, для *отдельного*; и оттого средь плеяды совсем исключительных и уважаемых дарований совсем исключительный он; мы ему подарили любовь — мы сыны страшных лет<sup>7</sup>, увидавшие в Музе его наш же лик в неосознанном корне, ей слитые целостность, как бы ее мы ни звали (душою ли России, душою ли всего человечества, мира...); *Прекрасною Дамой*, *Незнакомкою*, *Мэри*<sup>8</sup> и *"Катькою"* раз но проходит в нас целостность этой поэзии, цельной в целинных глубинах его неразгаданной, замечательной личности.

Нам, его близко знававшим, стоял он прекрасной загадкой то близкий, то дальний (прекрасный — всегда). Мы не знали, кто больше, — поэт национальный, иль чуткий, единственный человек, заслоняемый порфирию поэтической славы, как... тенью, из складок которой порой выступали черты благородного, всепонимающего, нового и прекрасного человека: *kalos k'agathos*<sup>10</sup> — так и хочется определить сочетание доброты, красоты и правдивости, штриховавшей суровостью мягкий облик души его, не выносящей риторики, аффектации, позы, "поэзии", фальши и прочих "бум-бумов", столь свойственных проповедникам, поэтическим "мэтрам" и прочим "великим"; всечеловечное, чуткое и глубокое сердце его отражало эпоху, которую нес он в себе и которую не разложишь на "социологию", "мистику", "философию" или "стилистику"; не объяснишь это сердце, которое, отображая Россию, так билось грядущим, всечеловеческим; и не мирясь с суррогатами истинно-нового, не мирясь с суррогатами вечно-сущего в данном вокруг, — разорвалось: Александр Александрович, не сказав

суррогатам того и другого "да будет" — задохся; "трагедия творчества"<sup>11</sup> не пощадила его; мы его потеряли, как... Пушкина; он, как и Пушкин, искал себе смерти: и мы не могли уберечь это сердце; как и всегда, бережем мы лишь память, а не живую, кипящую творчеством бьющую жизнь...

Светлы, легки лазури.  
Они темны — без дна.

Лазуреющий цвет его строк, оплеснувший, как крыльями, все поколение наше, при приближении к ним начинает глубиной темнеть до... чернеющей бездны последнего, третьего тома; и до — "Двенадцати". Блок — глубиннейший русский поэт — стал, однако, поэт, общий всем: углубляются в нем струи времени нашего и человеческий, новый воистину, лик говорит без единого слова молчанием с нами; под покровом явлений — молчание в Тютчеве; под покровом молчания этого — новое, косноязычное пока слово, воистину нового человека, который жил в Блоке, который поэтом, владеющим магией сочетания звуков, не высказан, не вмещен; эта встреча "поэта" с *Челом* восходящего Века — трагедия Блока:

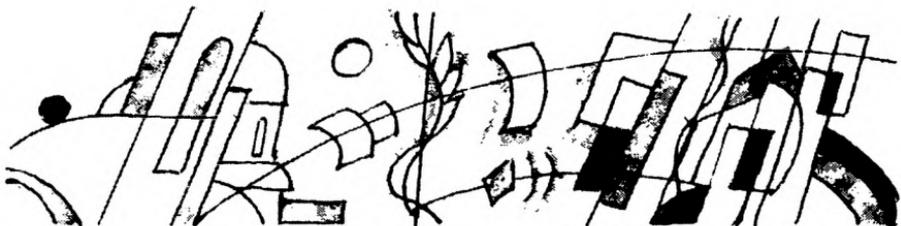
Молчите, проклятые книги!  
Я вас не писал никогда!<sup>12</sup>

Человека, его понимаем: его "Книга Книг" не написана — "Голубиная Книга", "Глубинная Книга"<sup>13</sup>; но текстами ненаписанной книги порою мерцала нам личность его; и заслоняла поэта; та книга напишется будущей эрой, которая выражалась в "поэте" порой в сочетаниях непримиримых, казалось, течений и веяний, нарушивших гармонию зорь и голубого налета исконного в нем романтизма, — жила в преломлениях гностической философии Владимира Соловьева<sup>14</sup>, в роскошествах Фетовой лирики<sup>15</sup>, соединенных с терзанием демона-человека (и Врубель<sup>16</sup>, и Лермонтов<sup>17</sup>), с расширением русской, "гражданской", общественной мысли, столь чуждой поэтам, могущим сказать; Блок словом сказал больше их; еще большего он не сказал: промолчал и унес; под тишиной, под поверхностью Светлого озера этой широкой души, отразившей окрестные берега русской жизни — какие кипения духа! И звоны укрытого Китежа<sup>18</sup>, и клокотанье, как лавовых, струй возмущаемого душевно-духовного мира; под тихой поверхностью не стучало, а прядало красною лавою сердце его; но открылся вулкан: и — большой человек отошел.

Отзовемся и двинемся ближе к нему; постараемся распечатать, раскрывать нашу память о нем: и *сотворим ему Вечную Память...*



## Глава первая ПЕРИОД ДО ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧИ



### Первые вести

Воспоминания об Александре Александровиче Блоке простираются вспять — далеко, пересекая громовые годы России; и упираясь в эпоху слепительных зорь<sup>1</sup>, над которыми оба задумались мы.

С А. А. Блоком я был уже знаком до знакомства и первую весть об А. А. я имею от С. М. Соловьева<sup>2</sup> \* в 1898, а не то в 1897 году. В эти годы уже узнаю: родственник<sup>3</sup> С. М. Соловьева, тогда еще "Саша" Блок, пишет, как все мы, стихи; и как все мы: душой отдается театру Шекспира; я знаю, что он, как и я, — гимназист; уважает он дом Соловьевых<sup>4</sup>, в котором я принят; Михаил Сергеевич Соловьев, брат философа, и супруга его, поощряют меня в моих странствиях мысли; необычайные отношения возникают меж нами; уж юноша 16—17 лет я дружу с маленьким Соловьевым (11—12-летним); особенно слагается близость меж мной и Ольгой Михайловной Соловьевой, художницей и переводчицей Рёскина<sup>5</sup>, Оскара Уайльда<sup>6</sup>, Альфреда де Виньи<sup>7</sup>; в душе у О. М. перекликаются интересы к искусству с глубокими запросами к религии и мистике. О. М. любит английских прерафаэлитов<sup>8</sup> (Росетти<sup>9</sup>, Бёрн-Джонса<sup>10</sup>), иных символистов; зачитывается Верленом<sup>11</sup> и Малларме<sup>12</sup>; и первая мне открывает миры Метерлинка<sup>13</sup>, тогда еще всеми бранимого; выписывает художественные журналы "Jugend"<sup>14</sup> и "Studio"<sup>15</sup>; впоследствии — "Мир Искусства"<sup>16</sup>; она обостряет и утончает мой вкус; ей обязан я многими часами великолепных, культурных пиров.

\* Поэт, филолог, критик, ныне священника, знатока истории и церковной философии, племянника Владимира Соловьева.

Михаил Сергеевич Соловьев был, воистину, замечательною фигурою: скромнен, сосредоточен, — таил он огромную вдумчивость, пронизательность, мудрость; соединял дерзновенные искатели новых путей он с дорическим<sup>17</sup> консерватизмом хорошего вкуса. Он, кажется, был единственный из Соловьевых, не соблазнившийся литературною и общественною славою. Но к нему единственно прибегал Владимир Сергеевич Соловьев, с ним считаясь в кризисах своей жизни и мысли: М. С. был подлинным инспиратором Владимира Соловьева; лишь он понимал до конца степень важности теософических устремлений<sup>18</sup> покойного. М. С. был вдвойне замечателен: был не менее, если не более замечателен своего знаменитого брата, являя во внешнем и внутреннем облике полный контраст с В. С.; тихий, спокойный, уравновешенный, не блестящий во внешних явлениях жизни, не походил он на бурного и всегда блестящего брата; малорослый, голубокий, блондин с небольшим пухлым ртом, обрамленным светлейшими белокурыми усами и такою же кудрявой бородкой, с ясным, не вспыхивающим взглядом, и с бледным лицом, он во внешнем облике разительно отличался от огромного, темноволосого Владимира Соловьева, блещущего лихорадочно серыми, обведенными точно углем, глазами. Стоило посмотреть на двух братьев, когда они усаживались за шашки, отхлебывая чай и просиживая над столиком, чтобы увидеть огромное различие их; и вместе с тем — непередаваемую духовную общность.

Покойный М. С. Соловьев любил классиков; относился с достаточной сдержанностью к крайним теченьям искусства; но истинно новое он выделял; не разделял он насмешек по отношению к декадентству и символизму; и первый провидел поэта в Валерии Брюсове еще эпохи "Шедеров"<sup>19</sup>; и — первый меня поощрил в поэтических опытах; это он настоял, чтобы явилась в печати "Симфония", за которую проклинали меня в девятисотых годах маститые сверстники М. С. Соловьева\*; я помню, что стал я таким, каким стал, — лишь считаясь с советами М. С. Соловьева. Он был моим крестным отцом: псевдоним "Андрей Белый" придуман был им<sup>20</sup>. Помню яркое чтение М. С. Соловьева отрывков "Фретьофа" Тегнера<sup>21</sup>; и помню: глубокое проникновение в Шекспира его. Стихотворения Фета, Владимира Соловьева и Тютчева никогда не открылись бы мне в такой мере, когда бы не он. М. С. чувствовал до конца мир поэзии Пушкина, Гоголя; отмечая значение Достоевского, не любил он его; еще менее выносил он творения Розанова, понимая огромности темы его; М. С. выдвинул *первый* в Москве значение Мережковского: сочиненье последнего "О Толстом и Достоевском"<sup>20</sup> печаталось тогда в "Мире Искусства", глава за главой обсуждали мы сочиненье это в 1901 и 1902 годах; М. С. заинтересовал сочиненьем покойного кн. С. Н. Трубецкого<sup>23</sup>, по совету М. С. пригласившего Д. С. Мережковского прочесть реферат в Московском психологическом обществе в декабре 1901 года.

\* Векшгерн, Л. М. Лонатин, кн. С. Н. Трубецкой, В. Г. Гиацинтов, Н. И. Шишкин и др.

В 1898 и 1899 годах мы с Сережей \* восторженно относились к театру; и покушались с негодными средствами на Шекспира, устраивая в тесном коридоре Соловьевской квартиры "спектакли"; мы ставили сцены из "Макбета", "Годунова", "Мессинской Невесты" с участием М. С. Соловьева, бывшего у нас режиссером (я был костюмером); нас видел и В. М. Лопатин \*\*, однажды он был режиссером у нас.

В те годы впервые услышал о Блоке я: он, гимназист, как и мы, увлекался Шекспиром; и — декламировал целые монологи из "Гамлета".

Мать А. А. Блока, А. А. Кублицкая-Пиотух<sup>24</sup> (по второму мужу), дочь тетки О. М. Соловьевой и урожденная Бекетова \*\*\*, находилась в деятельной переписке с О. М. Соловьевой; зимами вместе с А. А. проживала она в Петербурге, а летами в имении "Шахматово", в 18 верстах от станции Подсолнечная по Николаевской ж.д. \*\*\*\*, а около смежной станции Крюково (в 8 лишь верстах) находилось имение А. Г. Коваленской (матери О. М. Соловьевой, детской писательницы), где Соловьевы жилали все летние месяцы; здесь бывал и В. Соловьев; сюда мальчиком приезжал "Саша" Блок; и впоследствии я коротал здесь все летние месяцы с С. М. Соловьевым.

Будучи в Дедове в 1898 году, слышал я много восторженных отзывов от М. В. Коваленской (кузины С. М. Соловьева) о "Саше" Блоке. Так память рисует мне первые узнания о Блоке. Позднее по-новому воспринимаю я сочетание слов: "Александр Блок", а именно: в августе 1901 года.

### "И — зори, зори, зори"<sup>25</sup>

Чтобы понять тонус встречи моей с А. А. Блоком, естественно вызвать веяния, которые проносились в те годы над нами.

Для многих стиль нового века разительно отличался от века отшедшего; так: в 1898 и в 1899 годах прислушивались к перемене ветров психической атмосферы; до 1898 дул северный ветер под сереньким небом. "Под северным небом"<sup>26</sup> — заглавие книги Бальмонта; оно — отражает кончавшийся девятнадцатый век; в 1898 году — подул иной ветер; почувствовали столкновение ветров: северного и южного; и при смешенье ветров образовались туманы: туманы сознания.

В 1900—1901 годах очистилась атмосфера; под южным ласкающим небом начала XX века увидели мы все предметы иными; Бальмонт уже пел, что "Мы будем, как солнце"<sup>27</sup>. А. Блок, вспоминая те годы впоследствии строчкой "И — зори, зори, зори", охарактеризовал настроение, охватившее нас; "зори", взятые в плоскости литературных течений (которые

\* С. М. Соловьевым, сыном М. С. Соловьева.

\*\* Брат философа Л. М. Лопатина, впоследствии артиста Художественного театра.

\*\*\* Ее отец и дед поэта известный ученый ботаник А. Н. Бекетов был ректором Петербургского университета, в здании которого А. А. Блок родился; отец А. А. был профессором Варшавского университета по кафедре права.

\*\*\*\* Московской губернии, Клинского уезда.

только проекции пространства сознания), были зорями символизма, взошедшими после сумерек декадентских путей, кончающих ночь пессимизма, девятисот-десятники обозначали первые грани, которые отделили их от декадентов философии Шопенгауэра<sup>28</sup>; скептический иллюзионизм Бодлера<sup>29</sup> не тешил; и сам Метерлинк не казался уже выразителем идеалов и вкусов.

До того — действовали: Шопенгауэр, Ибсен<sup>30</sup> и Чехов; "Привидениями"<sup>31</sup> висели: наследственность, рок; и "Слепыми"<sup>32</sup> бродили мы в кантовых познавательных формах; глашатаем мироощущения этого креп только Брюсов, выразивший ощущение в последующих годах:

Так путник посредине дуга,  
Куда бы он ни кинул взор,  
Всегда пребудет в центре круга;  
И будет замкнут кругозор<sup>33</sup>.

Прежде крепили творения Чехова; Нина Заречная\* декламировала невинтицу; да — унывал "Дядя Ваня" с Бальмонтом, ушедшим в туманы кувшинок и в шепоты камышей; чайки реяли:

Чайка, серая чайка с печальными криками носится  
Над равниной, покрытой тоской<sup>34</sup>.

Злая нежить бродила по маленьким действиям драмочек Метерлинка; и умирала в бреду бесполезных видений "Ганнеле"<sup>35</sup>. Появлялись в серьезных журналах такие статьи, как "Предсмертные мысли во Франции" \*\*; а Андреевский пророчил, что жизнь русской лирики — кончена, что русский стих весь исчерпан \*\*\*. На выставках жанры сменялись капризами безыдейного пейзажа; и сине-серые колориты зимующих сумерек, и застывшие реки, и тучи над лесом преобладали в 1897 и 1898 годах; а бледные девы с кувшинками за ушами гласили о странном, о сонно-невнятном, растущем, как тень, из углов, перед ночью. Фантазия переживалась сгустками субъективного душевного пара в космической, небытийственной бездне; и эту "бездну" вдруг вспомнили; заговорили о бездне; пел Минский<sup>36</sup> о ней. Я чувствовал шопенгауэрианцем себя; принимая эстетику Рескина, поклонялся Бёрн-Джонсу, Россетти; восточным покоем хотел переполнить свои гимназические досуги. Так: эстетизм стал мне формой освобождения от воли — к бесцельностям жизни; отрывки Ведант<sup>37</sup> мне звучали как музыка; переживал я все следствия умирающего столетия, точно следствия собственной жизни; шестнадцатилетний — я чувствовал старцем себя; первая моя проповедь — проповедь буддизма и аскетизма среди Арсеньевских гимназисток, которые с уважением мне внимали; товарищи пожимали плечами, сердясь на успех мой среди барышень; но скажу откровенно я: вопреки всем толстым журналам, нас

\* Черная "Чайка".

\*\* Статья Галарова в "Вопросах философии и психологии".

\*\*\* И это писалось накануне взрыва лирической жизни в России.

завалившим в общественность, проповедь Нирваны<sup>38</sup> влияла; и — действовал Фет, выразитель Веданты в родной нам природе; в поэзии Фета природа России звучала родными и мудрыми нотами; в ней говорили закаты не об России одной; и об Индии говорили они; чуялась цельность забвения: и к ней мы тянулись; и ею учились, как йог, смеясь над журналами и называя себя "странных дел мастерами"; но в этом учении бесцельности — нарастала решимость к... чему? Скоро эта решимость сказалась, как воля к ниспровержению критериев отходящего века; и созерцатели недавних годов оказались анархистами, ниспровергателями кумиров: еще в 1897—1898 годах наши уши потряс смутный говор событий, которые разразились громами потом; он нам слышался, как упаданье лавины с далекого севера; падали драмы Ибсена; и подступал Достоевский — все ближе; и лепет верленовских строчек, бальмонтовой лирики облетал, как цветы, в наших душах.

Безбрежное ринулось в берега старой жизни; а вечное показало себя среди времени; это вторжение вечного ощутили мы в 1898 и 1899 годах землетрясением жизни. Как нападение Вечности переживали мы разрыв времени: переживали в естественных перемещениях сознания, обозначающего рубеж меж символизмом и эстетизмом. Тут грохотом прошумела огромная книга: "Происхождение трагедии" Ницше<sup>39</sup>.

И старое отделилось от нового: и другими глазами глядели на мир в 1900—1901 годах; пессимизм стал трагизмом; и катарсис переживало сознание наше, увидевши крест в пересечении линий; эпоху, подобную первохристианской, переживали на рубеже двух столетий; античность, ушедшая в ночь, озарилась светом сознания нового; ночи смешались со светом; и краской зари озарились души под "северным небом". Смешение переживалось по-своему каждым: кто зори встречал багряницей страдания; а кто эти зори встречал, как огонь, пожирающий старое; в эти годы Бальмонт в нас бросает "Горящие здания" — после холода мировой "Тишины"<sup>40</sup> и уныний "В безбрежности"<sup>41</sup>... В эти же годы босяк, поджигатель, проник в сердце русских и действовал там сильнее, чем резонирующий неврастеник у Чехова; всюду открылись поклонники философии Ницше; и лозунги "времена сократического человека прошли"<sup>42</sup> — подхватили мы все; выходили тома "Собрания сочинений Вл. Соловьева", иначе вскрывавшие небо. Зарей возрождения стоит Соловьев в рубеже двух столетий, где

Зло позабытое  
Тонет в крови:  
Всходит омытое  
Солнце любви<sup>43</sup>.

Появляется вещее творенье Мережковского<sup>44</sup>, где проводится мысль: перерождается состав человека; и нашему поколению предстоит возрождение, или смерть. Лозунги "Или мы, или никто" подхватывают созерцатели отошедшего века; и действительно поднимают они новый век, переплетая

последние лозунги с пророчеством Неттегеймского мудреца<sup>45</sup>, с глубокими вычислениями из "Зогара"<sup>46</sup>, переплетая Ибсена с Владимиром Соловьевым в признании: Третий Завет — Завет Духа.

Симптом того времени: интенсивность и целостность в восприятии зари; факт свечения, неожиданность факта и неумение обосновать этот факт атмосферы сознания, искание мировоззрительных объяснений наличности, наблюдаемого в себе и вокруг, — вот существенная черта сдвига сознания у символистов, которые оказались эмпириками, касаясь реально в них живших событий сознания; "события" просмотрели в себе тогдашние реалисты; натурализм был абстракцией прошлых переживаний сознания; органицизм в восприятии мира воистину был с символистами, этими певцами зари страшных лет; да, они оказались пророками (им был и Блок); они верно отметили: в атмосфере душевно-духовной подул иной ветер; барометр, застывший доселе, запрыгал, рисуя зигзаги от "ясно" к "великому урагану"; и от него опять к "ясно".

Так "мистика" символистов в годах оказалась: внимательностью в наблюдении; натуралисты не наблюдали натуры сознания.

В 1900—1901 годах "символисты" встречали зарю; их логические объяснения факта зари были только гипотезами оформления данности; гипотезы — теории символизма; переменялись гипотезы; факт — оставался: *заря восходила* и ослепляла глаза; в ликованиях видящих побеждала уверенность; теории символистов встречали отпор; и с отпором "*сократиков*" явно считались; над символизмом смеялись; а втайне внимали ему: он *влиял* непосредственно.

Появились вдруг "видящие" среди "невидящих"; они узнавали друг друга; тянуло делиться друг с другом непонятным знанием их; и они тяготели друг к другу, слагая естественно братство зари, восприимая культуру особо: от крупных событий до хроникерских газетных заметок; интерес ко всему наблюдаемому разгорался у них; все казалось им новым, охваченным зорями космической и исторической важности: борьбой *света с тьмой*, происходящей уже в атмосфере душевных событий, еще не сгущенных до явных событий истории, подготавливающей их; в чем конкретно события эти, — сказать было трудно: и "*видящие*" расходились в догадках: тот был атеист, этот был теософ; этот — влекся к церковности, этот — шел прочь от церковности; соглашались друг с другом на факте зари: "ничто" светит; из этого "ничто" грядущее развернет свои судьбы.

## Кружок Соловьевых

В те годы в Москве собирался кружок, очень тесно привязанный к гостеприимным М. С. и О. С. Соловьевым; в кружке этом помню, помимо хозяев и маленького "Сережи", Д. Новского (будущего католика)<sup>47</sup>, А. Унковскую<sup>48</sup>, А. Г. Коваленскую<sup>49</sup>, А. С. Петровского<sup>50</sup>, братьев Л. Л. и С. Л. Кобылинских<sup>51</sup>, Рачинского<sup>52</sup>; здесь я встречался с Ключевским<sup>53</sup>,

с С. Н. Трубецким<sup>54</sup>; здесь я встретился с Брюсовым, с Мережковским, с Гиппиус, с поэтессой Allegro<sup>55</sup> (с Владимиром Соловьевым встречался я раньше). Всех членов кружка единил звук эпохи, раздавшийся внятно, по-разному оформляемый каждым: так тема различные допускает варианты; в вариациях расходились люди разнообразнейших бытов и возрастов: Петр Иванович д'Альгейм<sup>56\*</sup> проповедовал явление нового Моисея, способного вывести из Египта культуру; а мы с Соловьевым (Сережей) зачитывались поэзией Владимира Соловьева и бредили будущей Теократией<sup>57</sup>; А. С. Петровский ждал света от сосен Сарова<sup>58</sup>; Л. Л. Кобылинский (впоследствии Эллис) растревался между Бодлером, марксизмом и Данте.

Помимо кружка Соловьевых завязывались знакомства и связи: соединялись по линии неоформленных заревых устремлений, преодолевалось прошлое во имя каких-то еще не осознанных, осязаемых ценностей; в переоценке оценок сходились: гетист Э. К. Метнер<sup>59</sup> (впоследствии Вольфинг), поклонник В. Розанова<sup>60</sup> и К. Леонтьева<sup>61</sup>, А. С. Петровский, марксист Кобылинский.

Есть заметка у Александра Александровича Блока, найденная после кончины его; в ней встречается характерное место; Блок пишет: *"В январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907 г., или в марте 1914 г. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было написано в согласии со стихией: например, во время и после окончания "Двенадцати" я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный, вероятно шум от крушения старого мира"*<sup>62</sup>.

В 1900—1901 годах молодежь того времени слышала нечто, подобное шуму, и видела нечто, подобное свету; мы все отдавались *стихии* грядущих годин; отдавались отчетливо слышимым в воздухе поступкам нового века, сменявшим безмолвие века.

В 900-м году созерцание во мне переходит в горячку искания; Шопенгауэр разломан, через Ницше вплотную я упираюсь в себя. Через Гартмана<sup>63</sup> и Вл. Соловьева вплотную придвинут к проблеме духовной; пытаюсь я соединить в своем сердце два полюса (Соловьева и Ницше); тут встречаюсь с Владимиром Соловьевым, который в ту именно пору переживал перелом: от "Оправдания добра" к пророческим "Трем разговорам"<sup>64</sup>; весной я имею значительный разговор с Соловьевым<sup>65</sup>, а в июле уже он скончался: а я углубляюсь в его сочинения.

Символ "Жены"<sup>66</sup> стал зарею для нас (соединением неба с землею), сплетаясь с учением гностиков о конкретной премудрости, с именем новой мумы, сливающей мистику с жизнью.

В 1901 году многие зорям внимали: Э. К. Метнер прослеживал тему зари в темах музыки: от Бетховена к Шуману; и далее к своему гениальному брату Н. Метнеру, вынужденному звук зари в своей первой сонате

---

\* Муж известной певицы Олениной д'Альгейм, автор интересных сочинений и замечательного романа-мистерии "Les passions de maître Villon".

си-моль, написанной в 1901—1902 годах<sup>67</sup>. З. Н. Гиппиус именно в это время писала свой яркий рассказ, где градация зорь пробегает пред нами<sup>68</sup>; а мы, молодежь, — мы старались связать звук зари с зорями поэзии Владимира Соловьева; четверостишие Соловьева для нас было лозунгом:

Знайτε же, Вечная Женственность ныне,  
В теле нетленном на землю идет.  
В свете немеркнущем Новой Богини  
Небо слилось с пучиною вод<sup>69</sup>.

"Она" — мировая душа, соединенная со словом Христа.

Сочинение Соловьева "О смысле любви"<sup>70\*</sup> наиболее объясняло искания осуществить "соловьество", как жизненный путь, и осветить женственное начало Божественности, найти Человечество, как Ипостась лика Божия. Мы, молодежь соловьевского толка, являлись лишь малою горстью людей, ощущающих зарю новой эры. "Соловьество" нам было гипотезой оформления, а не догмой. Центр бесед — зимние вечера за чайным столом Соловьевых; здесь тесный кружок (М. С. и О. М. Соловьевы, Сережа, их сын, я и кто-нибудь из родственников) собирался почти ежедневно; велись оживленные споры по поводу последней статьи Мережковского, Розанова в "Мире Искусства"<sup>71</sup>; иль — истолковывались детали той или иной статьи Соловьева; М. С. здесь высказывал планы свои о порядке издания произведений покойного брата<sup>72</sup>; и приносил материал: рукописи, испещренные заметками на полях, особенно занимавшими нас: в них рукою Владимира Соловьева (измененной) набросаны были письма за подписью "S" и "Sophie"; в ряде мест обрывался трактат вставками странного содержания: рукопись сопровождало медиумическое письмо с подписями "S" и "Sophie", появляясь повсюду в черновиках творений Владимира Соловьева; оно имело вид переписки любовной; а мы задавались вопросом: общение Владимира Соловьева с "Sophie" медиумическое ли общение с реальною женщиной или *роман*: непонятности духовного мира, из высей которого открывалась София философу? Мы потом обращались к поэзии Соловьева, прослеживая зависимость его эротической лирики от догматов теософии<sup>73</sup> и взглядов на смыслы любви; эта странная на полях переписка меж "S" и философом нас смущала, располагая к существенно иным толкованиям сравнительно с толкованиями почтенных профессоров философии. Трансцендентное имманентно лежало в сознании Вл. Соловьева, сознание инспирируя. В истолковании "соловьества" мы были конечно же "*реалисты*"; мы видели в лирике Соловьева вещание о перерождении человека и изменении органов восприятия мира. О том же гласил Мережковский, но истолковывал перерождение вовсе не так<sup>74</sup>; а для нас это значило: *активное антихристианство*. А. С. Петровский отчетливо утверждал: времена приближаются; Антихрист рождается в мире, и "*соловьество*", пожалуй, есть ересь; О. М. Соловьева внимала ему; я и Сережа оспаривали Петровского;

\* Напечатанное в "Вопросах Философии и Психологии".

а М. С. Соловьев улыбался, склоняясь над чаем. За окнами бушевала метель; и в порывах метели нам чувлись зовы восстания мертвых\*.

Естественно встречи подлинных "соловьевцев", конкретно толкующих символы, нам казались событиями; эти встречи ведь были так редки; не понимали значения сочинений — "О смысле любви" или "Трех разговоров"; да, соловьевский кружок был посетителем первого конкретного "соловьевства": философы, почитатели Соловьева (и Радлов<sup>75</sup>, и Цертелев<sup>76</sup>, и Лопатин<sup>77</sup> с Лукьяновым<sup>78</sup>, и кн. Трубецкой) очень мало вникали в волнующий смысл появления Владимира Соловьева пред миром.

Помню: явление покойной Анны Николаевны Шмидт<sup>79</sup> из Нижнего Новгорода осенью 1901 года; она познакомила М. С. Соловьева с кругом идей, выраженным в "Третьем Завете" и "Исповеди"; я познакомился с ней и мы обменялись письмами<sup>80</sup>.

Словом: пережили в то время все крайние выводы из соловьевской идеи; 1901 год для меня и Сережи (племянника Вл. Соловьева) прошел под вещающим знаком Соловьевской поэзии; "Симфонией"<sup>81</sup> отразилась во мне она; и отразилась в С. М. Соловьеве (впоследствии крупном поэте) его молодыми стихами<sup>82</sup>; мы часто с С. М. Соловьевым бывали и на могиле философа\*\*, переживая здесь связь с его миром идей; и потом вспоминали прекрасные строчки стихотворения "Les revenants":

Тайною тропинкою, скорбною и милою  
Вы к душе приблизились... И -- спасибо вам.  
Сладко мне приблизиться памятью унылою  
К смертию занавешенным, тихим берегам.  
.....  
Бывшие мгновения поступью беззвучною  
Подошли и сняли вдруг покрывало с глаз:  
Видишь что-то вечное, что-то перазлучное.  
И часы минувшие, как единый час<sup>83</sup>.

И покрывало спадало; и "тайной тропинкой" к мирам инспираций казалась протоптанная тропинка к могиле философа; точно он сам снимал с наших глаз покрывало над тайнами мира; встречался во сне я с покойным; и с ним разговаривал я.

Очень часто бродили мы ночью по тихим арбатским районам; в метелице чувлись белые вихри грядущего; белая тень Соловьева вставала пред нами. И я, и С. М. Соловьев в эту белую, выюжную зиму впервые охвачены были любовью; в любимых мы видели отблеск таинственной "S", посылавшей покойному Соловьеву признанья:

Не верь мгновенному: любви и не забудь.

\* Переживания эти в скором времени я выразил в своем юношеском произведении: "Драматическая Симфония", написанном в 1901 году.

\*\* Похороненного в Новодевичьем монастыре.

Мы не знали — нет, пет, — что в то именно время, захваченный, как и мы, мистикой Соловьева, студент А. А. Блок, среди метелей ни с чем не сравнимой зимы, вознесенный своей молодою любовью, слагал свои строчки:

Мои огни горят на версях гор.  
Всю область ночи озарили.  
Но ярче всех — во мне духовный взор  
И ты вдали... Но ты ли?  
Ищу спасенья<sup>84</sup>.

Мы, в Москве с напряженным вниманием искали предвестий поэзии Соловьева; и находили у Фета и Лермонтова ("Нет, не тебя так пылко и люблю") ощущение новой любви, в мир грядущей, не ведая, что ощущение это, высвобождаемое из-под коросты обывательской жизни, окрепло у Блока, поэта, еще никому не известного, единственного выразителя наших дум: дум священных годов.

Май 1901 года казался особенным нам: он дышал откровением, навевая мне строчки московской "Симфонии" в перерывах между экзаменом анатомии, физики и ботаники; под покровами шуток старался в "Симфонии" выявить крайности наших мистических увлечений так точно, как Соловьев в своей шуточной драме-мистерии "Белая лилия"<sup>85</sup> выявил тайны путей: парадоксальность "Симфонии" — превращение духовных исканий в грубейшие оплотнения догматов и оформления веяний, лишь музыкально доступных, в быт жизни московской \*. Мне помнится: после экзамена физики в день или в два набросал я вторую часть этой "симфонии", изображающую Москву, озаренную Троицным<sup>87</sup> и Духовым<sup>88</sup> днем,

Москву, озаренную светом апокалипсических чаяний; в канун Троицына дня и в самый Троицын день написался эта часть. В Духов день, помню я, приезжает из Дедова С. М. Соловьев; я — читаю накануне набросанную часть "Симфонии"; в окна врывается золотеющий вечер — такой же, какой он в "Симфонии": золотой, Духов вечер; С. М. поражается описанием Новодевичьего монастыря; и он просит меня, чтобы тотчас же мы отправились с ним в монастырь: мы — отправились; золотой Духов день догорал так, как я описал накануне его: монастырь был такой, как в "Симфонии"; так же бродили монашки; стояли с С. М. у могилы покойного Соловьева; казалось, что сами ушли мы в симфонию; старое, вечное, милое, грустное во все времена приподнималось; "Симфония" есть наша жизнь; нам казалась она — впереди; мы уехали в Дедово, на другой уже день; М. С. и О. М. Соловьевы прочел я в первый дедовский вечер две части "Симфонии"; и М. С. Соловьев мне сказал: "Боря, это должно выйти в свет: вы — теперешняя литература. И *это напечатано будет*". Так в Дедове появился на свет псевдоним "Андрей Белый"; так третьекурсник-естественник, серьезно мечтавший недавно еще об ис-

\* Впоследствии это же изображено в поэме "Первое свидание"<sup>86</sup>.

следованиях в области микробиологической техники, стал ныне писателем, не желая им быть.

Помню Дедово: пролетают четыре совсем незабвеннейших дня, проведенных здесь, между экзаменами; тайны вечности, гроба, казалось, приподымались в те дни. Помню ночь, которую провели мы с С. М. Соловьевым на лодке, посредине тишайшего пруда — за чтением Апокалипсиса<sup>89</sup>, при свете колеблемой ветром свечи; поднимались с востока рассветы; с рассветами присоединился не спавший всю ночь к нам Михаил Сергеевич Соловьев; с ним мы медленно обходили усадьбу; остановились пред домиком, с любовью отмечая то место, где были посажены или верней пересажены белые колокольчики Пустыньки\*, о которых покойный философ писал:

Сколько их расцветало недавно,  
Точно белое море в лесу<sup>90</sup>.

И потом:

В грозные, знойные,  
Душные дни, —  
Белые, стройные  
Те же они<sup>91</sup>.

Эти белые колокольчики — видел потом их в цвету я — являлись нам символом *белых*, мистических устремлений к грядущему. Пустынька, место таинственных медитаций Вл. Соловьева над колокольчиками воскресало здесь, в Дедове: колокольчиками, пересаженными отсюда (в 1905 году сгорел дедовский домик; и — "белые колокольчики" не цвели уже в Дедове); я написал в эти годы стихи; там встречались строчки:

Белые к сердцу цветы я  
Вновь прижимаю невольно<sup>92</sup>, —

здесь я разумел таинственные колокольчики Соловьева, теперь расцветшие в Дедове: белые тайны путей:

Помыслы смелые:  
В сердце больном  
Ангелы белые  
Встали кругом<sup>93</sup>.

Переживания, связанные с белыми колокольчиками, переживались в светлейшую майскую ночь, когда мы с моим другом Сережей читали над водами Апокалипсис. Утром с востока гремела тяжелая туча; и нам было грустно; в тот день я уехал в Москву: на экзамен ботаники. А через месяц, иль раньше, в Дедове появился приехавший погостить к своему троюрод-

---

\* Бывшего имения графа А. К. Толстого, потом ставшего именем Хитрово, где любил жить В. Соловьев и где он написал "Белые колокольчики".

пому брату — Александр Александрович Блок; произошла первая встреча московского кружка "соловьевцев" с поэтом, сознанием повисавшем над тем же, над чем повисали и мы.

## Первые стихи Блока

В ту ни с чем не сравнимую весну уже закипали общественно наши проблемы, подготовлялись первые заседания Петербургского Религиозно-Философского Общества<sup>94</sup> (может быть, организовались); тут кружок вовсе светских писателей (Розанов, Мережковский, Минский, Успенский<sup>95</sup>, А. В. Карташов<sup>96</sup> и другие) встречались с ортодоксальными представителями вечной традиции: с епископами Сергием<sup>97</sup>, Антонином<sup>98</sup>, с отцом Михаилом<sup>99\*</sup>; но к проявлениям жизни кружка относились враждебно мы; в это же время в Москве, в Волочке собирались кружки, посвященные углублению церковных вопросов; здесь действовал миссионер Новоселов<sup>100</sup>, недавно толстовец; к кружку примыкали: почтеннейший Лев Тихомиров<sup>101</sup>, священник И. Фудель<sup>102</sup>, епископ Никон<sup>103</sup>, редактор реакционного "Троицкого листка", известнейший В. М. Васнецов<sup>104</sup> и Погожев<sup>105</sup> и многие другие, сносившиеся с Тернавцевым<sup>106</sup>, чиновником при Синоде, истолкователем Апокалипсиса, вечно раздвоенным между новым и старым религиозным сознанием; на собраниях кружка был я несколько раз; атмосфера была реакционная; этот кружок был враждебен нам так же, как петербургский; да, мы, соловьевцы, воистину чувствовали себя далекими от повсюду слагающихся религиозных течений, стараясь нести чистоту соловьевских путей:

И — бедная, меж двух враждебных станов,  
Тебе спасенья нет<sup>107</sup>.

Существовал в наших чайниках третий "наш стан", принимающий новые откровения Соловьева о женственности и отвергающий налет оргиазма; кто "мы"? Несколько всего человек: М. С. и О. М. Соловьевы, их сын, Новский, я, А. Петровский, впоследствии к нам примкнувший Рачинский и некоторые иные; среди них — мать А. А. Блока, поддерживающая переписку с О. М. Соловьевой. О. М. переписывалась и с Гиппиус<sup>108</sup>. Содержания писем передавались за чайным столом соловьевского дома; впоследствии здесь возникла во мне очень дерзкая мысль: написать Мережковскому; я написал свой вопрос за подписью: "студент-естественник"<sup>109</sup>, а результатом "вопроса" явилось сближение с Мережковскими; переписка меж мною, Д. С. Мережковским и Гиппиус продолжалась весь год.

Март, апрель, май, июнь 1901 года — максимум символической мысли: созрел интерес к философии Вл. Соловьева; А. Шмидт развивала идеи

---

\* Впоследствии старообрядческим епископом.

парадоксальнейшего "Завета"<sup>110</sup>; Д. С. Мережковский и Розанов пережили расцвет своих мыслей; Бердяев<sup>111</sup> звал к личности, "Проблемы идеализма"<sup>112</sup> — готовились; действовали: московский и петербургский религиозный кружки; революционеры-студенты (впоследствии деятели) — Флоренский<sup>113</sup>, Свентицкий<sup>114</sup> и Эрн<sup>115</sup> — задумывались над религией; а Иванов, от всех отделенный, писал за границей исследование "Религия страдающего божества"<sup>116</sup>. Н. К. Метнер (впоследствии композитор), тогда молодой человек, вынул только что из разогретого воздуха зорь заревую огромную тему сонаты<sup>117</sup>, которая, обложив ее речью, естественно выражает то именно, что выразило стихотворение Блока, написанное 4-го июня в безмолвии Шахматова (под Москвой)<sup>118</sup>; в эти именно дни (от 3-го до 6-го июня) описывал я, среди раздолий Серебряного Колодца<sup>119</sup>, как мистика Сергею Мусатову открываются образы Той, о которой писал в те же дни А. А. Блок, восклицающий, что он Ее видит и чувствует<sup>120</sup>.

Упомянутые мной лица не встретились; и идеи их созрели обособленно, вынашивались мучительно: Блок был неведом; А. Шмидт и Н. Метнер неведомы были, как Блок; никому бы не сказали фамилии: Эрн и Флоренский; Рачинский не встретился с нами.

Но встречи грядущие зрели в наполненной романтическим ожиданием *атмосфере зари*; и рождалось течение, впоследствии названное литературною школою русского символизма; та школа не думала быть вовсе школою; была эта школа мироощущением невыразимой зари; и — зари совершенно конкретной; к числу "символистов", переживавших эпоху, принадлежали и лица, впоследствии выступавшие под другими знаменами (как С. М. Соловьев<sup>121</sup>, Вольфинг, Шмидт и др.); принадлежали и лица, о символизме не написавшие ни единой строки (как-то: Е. П. Иванов<sup>122</sup>, Н. П. Киселев<sup>123</sup>, Г. А. Рачинский, А. С. Петровский); но они все вынашивали атмосферу, славящую символизм.

Помнится, что в июле пришло от С. М. Соловьева письмо; и оно поразило меня; в нем описан приезд в Дедово А. А. Блока, с которым С. М. Соловьев очень много скитался в полях, разговаривал на темы поэзии, мистики и философии Владимира Соловьева; с удивлением сообщил мне С. М., что А. А., как и мы, совершенно конкретно относится к теме Софии Премудрости; он проводит связь меж учением о Софии и откровением лика Ее: в лирике Соловьева; и из письма выходило: А. А. независимо от всех нас сделал выводы наши же о кризисе современной культуры и о заре восходящей; те выводы он делал резко, решительно, впадая в "максимализм", ему свойственный; выходило, по Блоку, что новая эра — открыта; и мир старый — рушится; начинается революция духа, предвозвещенная Соловьевым; а мы, революционеры сознания, приглашаемся содействовать революции; чувствовалось в письме Соловьева ко мне: появление в Дедове Блока — событие<sup>124</sup>, начинающее С. М. религиозно-мистическим электричеством, которым впоследствии он так действовал на меня и которое изобразил я впоследствии в полушутливой поэме:

Не оскудела Мирликия...  
А пу-ка все, кому не лень,  
В ответ на дерзости такие  
В Москве устроим Духов день<sup>125</sup>.

Письмо Соловьева ко мне преисполнено изумлением перед смелыми выводами своего троюродного брата; упоминалось в письме о стихах, написанных Блоком. Письмо взволновало меня; оно падало на почву вполне готовую; ведь я в это лето отдал безраздельно себя соловьевскому мистицизму и перечитывал мысли "О смысле любви"<sup>126</sup>, углубляясь в темы, таимые поэзией Лермонтова\*, Вл. Соловьева\*\*, Фета\*\*\*.

Письмо Соловьева о Блоке — событие; понял: мы встретили брата в пути<sup>127</sup>.

Пробую установить окончательно время приезда А. А. к Соловьевым; и — упираюсь в сроки: от середины июня до середины июля (ни раньше, ни позже); в это время написаны Блоком стихотворения: "Предчувствую Тебя"<sup>128</sup>, "Не сердись и прости. Ты цветешь одиноко..." (с эпиграфом из Вл. Соловьева)<sup>129</sup>. Писались "Historia"<sup>129</sup>, "Она росла за дальними горами" (посвященное С. М. Соловьеву<sup>130</sup>); стихотворенье последнее, вероятно, написано в Дедове или — под впечатлением Дедова; пейзаж его — "дедовский"; пейзаж следующего стихотворения "Сегодня шла ты одиноко"<sup>131</sup> — шахматовский пейзаж<sup>132\*\*\*\*</sup>. В течение этого же лета встречаем мы у А. А. стихотворения, посвященные В. С. Соловьеву, С. М. Соловьеву; частые посвящения Соловьесвым стихов красноречиво подчеркивают влияние нашего круга идей на быт мысли поэта. Беседы, которыми обменивались Соловьевы и Блок, вероятно, являлись естественным продолжением круга бесед, бывшего между нами недавно: я в мае текущего года здесь был<sup>133</sup>, — круга "наших" бесед, возобновленных с августа 1901 года, когда мы (т.е. Соловьевы и я) вновь встретились в арбатской квартире; с первого же посещения Соловьевых я весь погрузился в чтение стихотворений А. А.: "Предчувствую Тебя", "Ты горишь над высокой горою"<sup>134</sup>, "Сумерки, сумерки вешние"<sup>135</sup>, "Я жду призыва, ищу ответа"<sup>136</sup>, "Она росла за дальними горами", "Не сердись и прости", "Одинокий к тебе прихожу"<sup>137</sup>, "В полночь глухую рожденные"<sup>138</sup>, "Ищу спасенья"<sup>139</sup>.

Чтобы понять впечатление от этих стихов, надо ясно представить то время: для нас, внявших знакам зари, нам светящей, весь воздух звучал, точно строчки А. А.; и казалось, что Блок написал только то, что сознанию выговаривал воздух; розово-золотую и напряженную атмосферу эпохи

\* "Нет, не тебя так пылко я люблю", "Первое января", "Из-под таинственной, холодной полумаски", "В полдневный зной в долине Дагестана" и др.

\*\* "Три свидания", "К Сайме", "Слово увещательное ко морским чертям", "Отчего это теплое южное море..." и др.

\*\*\* "Соловей и роза".

\*\*\*\* "Там, над горой Твоей высокой зубчатый простирался лес", — гора, зубчатый лес, "сомкнутый тесно": все это признаки шахматовских окрестностей.

действительно осадил он словами. Впоследствии поняли лишь красоту этих строк; и позднее еще: поняли их техническое совершенство; но первое восприятие этой поэзии — мистика, а не эстетика вовсе:

Из пламя и света  
Рожденное слово <sup>140</sup> —

такими словами Лермонтова я выразил бы действие на меня стихов Блока; острейшее, напряженнейшее выражение теософии Соловьева, связанной с жизнью, — в них было. Я выше отметил смущение, производимое на нас обращениями "S" к Владимиру Соловьеву, пестрившими черновиками его философских трактатов, где были набросаны странные, любовные строки медиумическим почерком и стояла подпись: то "S", то "Sophie"; существо только этой "S" мы разгадывали. Кто она? Женщина? Софья Петровна<sup>141</sup>, с которой дружил Соловьев? Существо ли духовного мира, шептавшее тайны о новом завете? Как ему имя? "София — Премудрость?" Отображение ее в страсти, или Ахамот<sup>142</sup>, жертвенно павшая в хаос, чтобы восстать в озарении слова Господня?

Двоится твой взор, улыбается  
И темнеет грозой незабытой<sup>143</sup>.

Но она ж непорочна в отдании косной материи своего существа:

Ты непорочна, как снег за горами,  
Ты многодумна, как зимняя ночь.  
Вся ты в огнях, как полярное пламя  
Темного хаоса светлая дочь<sup>144</sup>.

Обнаруживая все более и более миру свой лик, она действует взором нас любящей женщины; отношения мужчины и женщины — символ иных отношений: Христа и Софии. Мужчина логической силою освобождает павшее начало Софии Ахамот, замороженное темными безднами; все в "Ней" противится свету; двойственная "она", как Астарта<sup>145</sup> (Астартою А. А. Блок называл начертание Ахамот на хаосах мира):

Но двоится твой взор, улыбается  
И темнеет грозой незабытой.

Углубляясь в тему мистической философии Соловьева, мы видим ту тему "полумаской" поэзии Лермонтова; лермонтовская тема любви — есть искание вечной подруги.

Заранее над смертью торжествуя,  
И цепь времен любовью одолев,  
Подруга юная, Тебя не назову я, —  
Но ты услышь мой перелетный пев<sup>146</sup>.

Неназываемая, безымянная — повсюду рисует на безднах небесные знаки. Здесь Лермонтов чуял ее, ждал ее:

Нет, не тебя так пылко я люблю<sup>147</sup>.

Маска, "кора естества", в любви Лермонтова становится уже "полумаской"; угадывается происхождение любви:

Из-под таинственной, холодной полумаски  
Звучал мне голос твой, отрадный, как всегда<sup>148</sup>.

Поэзия Соловьева — расколдовала любовь, художественно-религиозное творчество; муза творчества — безымянная, писавшая Вл. Соловьеву под псевдонимами "S".

В те огромные годы мы жили сознанием: переменится смысл человеческих отношений: преобразается женщина в женщину; и мужчина в мужчине:

Будут страшны, будут несказанны  
Неземные маски лиц...  
Буду я к Тебе звать: "Осанна"  
Сумасшедший, распростертый ниц<sup>149</sup>.

Это "священное сумасшествие" — взрыв назревающей революции Духа. Поняв точку зрения нашу, поняв, что она была нами конкретно усвоена (в зорях светила улыбка Ее) становится ясным: какое значение придавали мы Блоку; и как говорили нам строчки поэзии Блока о тайнах любви:

Одинокий к тебе прихожу  
Заколдован огнями любви<sup>150</sup>.

Все было в них ясно; и все разумелось; но разуменье это казалось "безумием" миру; иудеям и эллинам<sup>151</sup>; иудеи — ортодоксальные, русские люди, а эллины — либеральные вольнодумцы; среди тех и других ощущали себя мы — подпольными; и у каждого была особая своя маска; я, сын декана<sup>152</sup>, считался прилежным студентом, которому проложила судьба все пути к профессуре; М. С. Соловьев признавался почтенным законодателем хорошего тона, к советам его прибегали: кн. С. Н. Трубецкой, знаменитый историк В. О. Ключевский, профессор Л. М. Лопатин, которого называли мы "Левушкой". С. М. Соловьев, внук историка<sup>153</sup> и племянник Вл. Соловьева, считался ребенком, которого назначение — поддержать традиции соловьевского дома и стать знаменитостью.

Но мы обманули надежды московского общества: я, сын математика и будущий московский профессор, ушел к "декадентам", опубликовавши "Симфонию"<sup>154</sup>, а М. С. Соловьев, покрывая своим одобрением меня, уронил себя; именно в его доме сходились "подпольные" люди; и здесь окрепло течение, ниспровергающее традиции московского ученого круга.

Отсюда, из этого дома, распространилась поэзия А. А. Блока в Москве.

Первое прикосновение к первым прочитанным строчкам поэта открыло мне то, что чрез двадцать лишь лет стало ясно всем русским: что Блок

— национальный поэт, связанный с той традицией, которая шла от Лермонтова, Фета и углубляла себя в поэзии Владимира Соловьева; и ясно мне стало, что этот огромный художник есть "наш" до конца\*; поднимались вопросы: как быть и как жить, когда в мире звучат строки этой священной поэзии.

Осень и зиму 1901 года мы обсуждали стихи А. А. Блока; мы ожидали все новых получек стихов; мнения наши тогда разделялись; сходились в одном: признавали значение, современность и действенность этой поэзии. Наиболее принимали ее со всех точек зрения я и С. М. Соловьев; здесь нам чувалось — "веще"; приподымалось — "заветное". Ольга Михайловна Соловьева переживала двоящийся смысл этих строк:

Но страшно мне: изменишь облик Ты<sup>155</sup>.

Эту строчку О. М. распространяла на ряд строчек Блока; тем не менее: с восхищением неподдельным она относилась к поэзии этой. М. С. Соловьев был всех сдержанней, проливая на наши восторги порою холодную воду своею змеиной улыбкою; тем не менее: он ценил Блока; подозрительно он к нему относился, как к мистика, предполагая, что в строчках прозренья в зарю подменяется состоянием транса; М. С. Соловьев за стихами эпохи юнейшей провидел стихи из "Нечаянной радости..."<sup>156</sup>. Помнится, раз он сказал, склонив голову, искоса поглядывая на меня подлеповатыми большими глазами: "Сомнительно это..." Что Блок инспирирован — было ясно нам всем, но — кем? Тут-то вот и подымался вопрос.

А. А. Блок по времени первый из русских приподнял задания лирики Вл. Соловьева, осознавая огромности ее философского смысла; и — вместе с тем: доводил "соловьевство" он до предельности, до "секты" почти; пусть впоследствии говорили: здесь — крах чаяний Вл. Соловьева, и болезненно эротический корень их (таковы были мнения религиозных философов С. Н. Булгакова<sup>157</sup>, кн. Е. Н. Трубецкого<sup>158</sup>, Г. А. Рачинского и других); все же: Блок выявил себя в Соловьеве; и без этого выявления многое в Соловьеве было б невнятным, как например, темы "Третьего Завета"<sup>159</sup> и "Исповеди" Анны Николаевны Шмидт\*\*, естественно тяготевшей к поэзии Блока и посетившей впоследствии А. А. в Шахматове<sup>160</sup>.

В декабре 1901 года произошло мое свидание с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус<sup>161</sup>; с Гиппиус я обменялся мнением о поэзии Блока (если память не изменяет мне). С 1902 года между нами установилась деятельная переписка: в одном из писем ко мне З. Н. рассказывает о своей первой встрече с А. А., описывает его облик и делится впечатлением от стихов А. А., которые ей чужды, которые — пережиток эпохи<sup>162</sup>; лишь в 1904 году изменила она свое мнение. Между тем: в 1902 году в Москве образовался

\* Круг этих мыслей я выразил в 1905 году в статье "Апокалипсис в русской поэзии".

\*\* А. Н. Шмидт вообразила себя воплощением Софии, инспирировавшей Вл. Соловьева, с которым она не была знакома (знакомство произошло незадолго до смерти философа); по ее толкованию "S" была она.

кружок (небольшой) горячих ценителей Блока; стихотворения, получаемые Соловьевыми, старательно переписывал я и читал их друзьям и университетским товарищам; стихотворения эти уже начинали ходить по рукам; так молва о поэзии Блока предшествовала появлению Блока в печати; из первых ценителей этой поэзии назову, кроме себя и семейства Соловьевых, например: А. С. Петровского, В. В. Владимирова<sup>163</sup>, П. Н. Батюшкова<sup>164</sup>, М. А. Эртеля<sup>165</sup>, Г. С. Рачинского, Д. Новского, А. С. Челищева<sup>166</sup>, Д. И. Яччина<sup>167</sup>, Е. П. Безобразову<sup>168</sup>, мою мать<sup>169</sup>, мою покойную тетку<sup>170</sup>.

Официальные представители тогдашнего декадентства иначе совсем относились к поэзии этой: З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковский решительно отвергали ее; В. Я. Брюсов — видел в А. А. дарованье, но в размерах его ошибался, предпочитая Блоку меня<sup>171</sup>, Коневского<sup>172</sup>, В. Гофмана<sup>173</sup>; помнится, Брюсов характеризовал в письме к М. С. Соловьеву разницу между мною и Блоком: я-де во всем пересказываю; и это-де идет мне; а Блок — недосказывается; для Брюсова Блок того времени — только "хороший" поэт; лишь с эпохи "Нечаянной Радости" изменяет он мнение об А. А. в сторону большей оценки<sup>174</sup>; но то, что заставило Брюсова приблизиться к музе Блока, то именно вызвало в нас, первоначальных поклонниках этой музыки, несправедливое отделение от нее.

## Письма Блока ко мне

Всякое письмо А. А. Блока к С. М. Соловьеву прочитывалось, комментировалось и служило темой бесед; отрывки писем показывались и мне; казалось, что с А. А. мы знакомы, — тем более, что он знал "Симфонию", вышедшую весной 1902 года; в "Симфонии" бралась тема поэзии Блока, но развивалась она сатирически; в намеренных парадоксах и шутках; а у Блока — звучала та тема торжественным вызовом миру; он — сбрасывал "маску"; ходил в "нолумаске" я; Блок, вероятно, воспринял с опасением подобное проведение темы о "Ней": он был — "максималистом"; я — "минималистом"; различие в подавании темы, нам общей — предмет обсуждения в переписке, которая меж нами возникла.

Помнится: в первых же числах января 1903 года<sup>175</sup> я написал А. А. витиеватейшее письмо, напоминающее статью философского содержания, начав с извинения, что адресуюсь к нему; письмо написано было, как говорят, "в застегнутом виде": предполагая, что в будущем мы подробно коснемся деталей сближавших нас тем, поступил я, как поступают в "порядочном" обществе, отправляясь с визитом, надел на себя мировоззрительный официальный сюртук, окаймленный весь ссылками на философов. К своему изумлению, на другой уже день получаю я синый, для Блока такой характерный конверт с адресом, написанным четкой рукой Блока, и со штемпелем: "Петербург"<sup>176</sup>. Оказалось впоследствии: А. А. Блок так же, как я, возымел вдруг желание вступить в переписку; письмо, как мое,

начиналось с расшаркивания: не будучи лично знаком он имеет желание ко мне обратиться, без уговора друг с другом обоих нас потянуло друг к другу: мы письмами перекликнулись. Письма, по всей вероятности, встретятся в Бологом, перекрестились; крестный знак писем стал символом перекрещенности наших путей, — от которой впоследствии было и больно, и радостно мне: да, пути наши с Блоком впоследствии перекрещивались по-разному; крест, меж нами лежащий, бывал то крестом побратимства, то шпаг, ударяющих друг друга: мы и боролись не раз, и обнимались не раз.

Встреча писем и встреча желаний, взаимный жест, встреча — меня поразила<sup>177</sup>.

Внешним поводом письма Блока ко мне послужила статья моя, только что напечатанная в "Мире Искусства" ("О формах искусства")<sup>178</sup>. Статья — резюме двух докладов, прочитанных в студенческом О-ве имени С. Н. Трубецкого; их мысль: форма творчества строится музыкой; внешнее выражение музыки — ритм; форма ритма есть время; градиция формообразования строится по нарастанию времени; от безвременности пространственных форм к динамике бессюжетного мира симфонии; крайние точки градиции: зодчество, музыка; история мира искусства есть метаморфоза моментов, сбрасывающих одеяния косного мира: грубейшее вещество, краску, слово; в музыке слышим мы генерал-бас всей культуры; в ней зерна грядущих искусств, переносящих центр тяжести от формы к самой жизни.

А. А. Блок в обстоятельном первом письме разбирает позицию моего реферата; он чутко впиается в слабый мой пункт: я существенно статьей не сказался; в ней жест — в сторону академизма, рутины; статья — полумаска; в ней я обрекаю себя на досадную двойственность: слово "музыка" берется в двух смыслах; "музыка" в обыкновенном значении не может быть "музыкой сфер", символом неизреченного в звуке, символом символов, к которому стремится культура. Символом Той, Которая одна во всех музах. Эта муза есть "музыка": она же — София, вещающая в поэзии Соловьева; о Ней я центрально сказал уже стилем симфонии; но в статье, оробев, отступил от себя, назвав Ее музыкой (в двоящемся смысле): тут двусмысленность, подобная "инфлуэнце"; и "инфлуэнца" — "влияет"; "влияние" моей музыки есть влияние "двусмыслицы", почему отступаю я от реального смысла в двоящийся смысл, в риторический, уподобляя свои знаки слов аллегориям Мережковского, для Блока кощунственным, мертвым, подобным застывшей гримасе холодного арлекина (Erl-König'a), оплотняющегося до каменной рожи, до истукана, рот рвущего в хохоте перед разливом фаллических культов; мне, призванному обнажить меч за правду Единого Имени, следует выставить на знамени Имя Рек, не опуская над именем полумаски; "музыка" моя — холодная "полумаска". Зачем обрывается на полдороге мой голос.

Вот смысл ответа А. А. на статью, напечатанную в "Мире Искусства"; письмо — изумительное сочетание: из глубоких мыслей, юмора, мистики и полемического огня: остро блещут крутые и полные мысли строки, которых за неимением их под руками, к великому сожалению, я не могу

привести. Здесь А. А. выявляет себя решительным максималистом, прези-  
рающим всякие компромиссы с терминологией отжившего мира "сократи-  
ков", которую я кокетничаю; язык мыслей моих — компромиссы; револю-  
ционер Блок уличает меня.

Письмо и озадачило, и восхитило: не таким привык я видеть А. А.,  
представляя его созерцательным, тихим, задумчивым, может более закон-  
ченным, но не способным на юмор, полемику, бойкие экстравагантные  
шаржи; этот юмор в соединении со скептически обостренным умом озада-  
чил меня: озадачили, пожалуй, и несколько трезвые ноты максималиста  
Блока; озадачило великолепное умение вести диалектику (поэты — плохие  
рассудочники); я должен сказать: письма Блока всегда содержательнее,  
утонченнее, оригинальнее статей его.

Помнится: я написал А. А. письмо-отповедь<sup>179</sup>, но содержание письма  
я не помню; трагедия, пронизавшая скорбью в те дни, — вырастает  
в воспоминании; и — заслоняет на время переписку с Блоком: болезнь  
и кончина М. С. Соловьева, трагическая кончина О. М. Соловьевой (все в ту  
же ужасную ночь)<sup>180</sup>, состояние сознания С. М. Соловьева, оставшегося без  
родителей, похороны и проводы в Киев С. М. Соловьева (где он сближается  
с семьей покойного князя Е. Н. Трубецкого, профессора киевского универ-  
ситета); событие — разразилось, как гром; "соловьевский" кружок вдруг  
исчез; оборвалась и прекратилась за смертью М. С. Соловьева связь ряда  
людей, соединенных любовью к покойному; длился он, правда, в интимней-  
шей дружбе С. М. Соловьева со мной, с А. А. Блоком; следы его теплятся на  
воскресеньях моих: 1903—1904 года<sup>181</sup> и на квартире С. М. Соловьева.  
Кончина М. С. и О. М. Соловьевых, конечно же, отразилась и на сознании  
А. А. и на А. А. Кублицкой-Пиоттух, поддерживавшей письменное обще-  
ние с Соловьевыми. В эти дни получил от Блока лишь несколько строк,  
преисполненных ласки ко мне и соболезнующей грусти; несколько слов  
после нашей полемики, — первая сердечная встреча с А. А., как с родным  
человеком.

На похоронах Соловьевых (11 января 1903 года) я встретился  
с П. С. Соловьевой (*Allegro*) и с Манасеиной<sup>182</sup>, приезжавшими из Пе-  
тербурга на похороны; я пытался расспрашивать их об А. А., но не  
много успел: разговор все сворачивал на журнал "Новый Путь"<sup>183</sup>,  
первый номер которого только что, кажется, вышел; З. Гиппиус при-  
влекала их больше, чем Блок.

В скором времени возобновилась моя переписка с А. А., продолжаясь  
весь год до первой встречи в Москве (в январе 1904 года).

Часть писем А. А. ко мне, думаю, могла б появиться в печати, как не  
носящая личный характер; ее содержание — философия, литература  
и мистика взятые в разрезе наших "чайний"; часто она есть блестящий,  
литературный дневник, освещающий факты культуры, произведения пи-  
сателей, нас; мысли Блока рисуют тончайшие кружева параллелей, харак-  
теристик, сарказмов, разорванных струями революционной романтики,  
свойственной нам; письма Блока ко мне интересней многих статей его;

в письмах своих он — в интимном стремлении: прочесть Имя Музы своей; эти письма — "дневник", о котором так часто мечтал Блок; предлагая когда-то мне и Вячеславу Иванову издавать непрерывно "дневник трех писателей". Дневник — осуществился позднее, в "Записках мечтателей"<sup>184</sup>, вынужденных претерпевать ряды трудностей; стержень писем А. А. труден для понимания по теме и методу проведения темы; темы писем есть теософия Вл. Соловьева, стремительно опрокинутая в атмосферу 1900—1904 годов: то есть тема Софии, соединенной по-новому с человеком, доступная индивидуальному сознанию чутких; тема — антропософская тема; боюсь называть эту тему *антропософскою* темою; антропософия Штейнера<sup>185</sup> в 1912—1920 годах была Блоку чужда; он стоял далеко от себя 1903 года; и не вникал в штейнерианство, чуждался его. Здесь отмечу: grund-линии мировоззрения Соловьева, естественно, совпадают с антропософией, как она декларировалась Штейнером в 1912 году.

По Соловьеву и Блоку (1901—1903 годов) отвлеченная философия умерла; но София, Премудрость, живая для древних философов, — вновь приближается к существу человека: соединяется с ним, образует с ним Новый Завет и начало завета — начало столетия. С этим бы согласился и Блок, написавший "Предчувствую тебя", и Соловьев, написавший: *"Знайте же: вечная эссенциальность ныне в теле нетленном на землю идет. В свете немеркнушем Новой Богини небо слилось с пучиною вод"*. Это же суть слова Штейнера при открытии Антропософского общества; антропософия исследует жизнь человека в Софии.

Могу я сказать с точки зрения антропософии и писем Блока ко мне: содержанием этих писем являлись проблемы антропософии.

В одном из тех писем особенно четко рисуется мировоззрение поэта<sup>186</sup>; письму предшествовало мое<sup>187</sup>; в нем, испуганный максимализмом А. А., я подробнейшим образом вопрошаю его о характере понимания им стихотворений В. С. Соловьева; я развиваю градацию своих точек зрения, и, предлагая тут много путей, этот веер путей развертываю я в ряде вопросов; А. А. понимает мою затаенную мысль: его вызвать на признание своего отношения к Софии.

Письмо начинает А. А. с удивления перед моим "психологическим вопросом"; он полагает: у меня для того есть реальные основания; отвлеченно-познавательные подходы к проблемам не интересуют его, но — "гнозис" реальный; абстрактная спекуляция о Софии кончается скепсисом; и — остается: мистический путь, взятие ее в сердце. А. А. намечает возможное соединение путей: пути умственного и сердечного в мистическом разуме; разум еще не готов; вне его мысль о Ней — спекуляция.

Далее А. А. признается: чаще всего воспринимает Ее он, как веяние; печать Лица Ее — может преобразовать все предметы. Вл. Соловьеву финляндское озеро Сайма<sup>188</sup> служило источником вдохновений о Ней: в стихиях воды видел он Ее Лик; Блок подчеркивает момент своего отношения к Софии: Она открывается индивидуумам; коллективному сознанию Она не доступна; индивидуум созерцает Ее, как Владычицу Мира;

в мистическом восприятии Она — душа мира; но может раскрыться Она, как душа человечества; и такую Она мнилась мистикам; Ее откровения могут гласить и народам; тогда выявляет душою народ себя; и русскому Она, например, — существо всей России (не таково ли было отношение к России у Гоголя); тот, кто конкретно восчувствует дуновение Ее, не имеет еще всех возможностей передать откровения массам; для этого, по выражению Блока, нам надо титанами стать, или сознательно отказаться от выражения Ее слов и облечь свое знание в метафизической спекуляции; но ни на то, ни на это А. А. не считает способными нас; наш удел — передавать в субъективно-интимных лирических излияниях Ее голос. Отсюда же явствует: поэтическому сознанию раскрыта Она, и поэты Ее принимают, как музу; и Фет обращается к Ней; и Бодлер Ее знает. Более всех в Ее тайну проник Гете в "Фаусте"; и не сказал о Ней глужеже никто. В этом смысле Она открывалась Данте. Но в чем изменилось отношение к Ее сферам? В том, именно, что эти сферы расширились, переместились; так: сферы Ее полагались "там" (трансцендентно); теперь они вдвинуты в сферы сознания нашего; и Она — здесь (имманентна). В таком изменении сознания нашего Ее сознанием, обратно — вся сущность мирового переворота.

А. А. подчеркивает основные догматы христианства: троичность и непорочие зачатия — необходимо с Ней связаны; так женственное начало стоит перед нами то в символе мудрой Софии, то в символе Богоматери. Стало быть: в свете Ее дуновения догматы христианства теряют свой прежний, свой замкнутый догматический смысл; это — фазы Ее протечения в сознании нашем. Отсюда растет и потребность: раскрыть отношения Ее к символизациям: София, Мария; и во-вторых: вскрыть естественную соотносительность символов.

Наконец, А. А. Блок признает важность разницы в восприятии Ее и Христа. Христос — Добрый; и Он для всех. Она — ни добра, ни зла: "окончательно": в окончательности — Неподвижна. Она для А. А. — значительнее Христа; и "Она" — ему ближе. В таком положении идеи Софии как бы над Христом А. А. суживает идею космичности христианства: берет христианство в одном лишь разрезе истории; его и Христос — есть Петров. Он — не Логос Иоанна<sup>189</sup>; и потому-то естественно принцип "Jesus" — гипертрофирует он; принцип "Christus" естественно атрофирует; так: идея Христософии (София лишь риза Христова) — оттолкнута Блоком; Христософия — София: Христос внутри этой идеи ее, как Иисус, ограничен морально и временем; неприятие космического Христа, А. А. вкладывает логическое начало мира в Софию; Она у него неминуемо сближаема с "Мэтис"<sup>190</sup> офитов<sup>191</sup>; заложен соблазн; и — изменения Ее лика:

*"Но страшно мне: изменишь облик Ты"*. Кстати замечу: изменение лика Софии встречается в двойком разрезе: в мистическом, в индивидуальном: индивидуально сознанию А. А. она не видна уже в 1906 года — там именно, где Она проявляется в космосе ("Ты в поля отошла без возврата, да святится Имя Твое"<sup>192</sup>). Но зато выступает Она пред А. А. в им неузнанном,

более близком аспекте: Россией, Душою Народа. И стало быть: в разбираемом мною письме ошибался А. А., будто бы откровения Ее толпам нельзя передать: именно толпы, народ принял вести о Ней, России; и Блок бард России, Блок 3-го тома, соединился с сознанием масс, как народник; аспект его первый (космический мистик) — доселе еще запечатанная семью печатями тайна.

В своем замечательном, длинном послании А. А. далее останавливается на распознании Ее подлинных веяний в отличие от подмены Ее лика. — Неизменна и Неподвижна, в покое Она; времена образуют в ней круг; где движение — метаморфоза, там Лик Ее ложен: он — Майя<sup>193</sup>: Ее называет Астартой А. А.; так Астарта, Луна, вечно силится заслонить Ее; это понятно, скажу от себя: ведь лежащая под ногами Ее неживая луна отделяет от лика Софии; так лунная тень Майи дробит Ее лик: в отвлеченный и в чувственный; схоластикой мозговою и чувственным пылом переключается Астарта с расколотыми половинками нашего существа, выпадающими из конкретного целого сферы Софии; и вот: Незнакомкой бульваров и философскою Софией Астарта уводит нас в сферу луны.

Таково содержание этого замечательного письма А. А. Блока ко мне. Письмо написано, помнится, в мае — июне 1903 года.

Привожу содержание его, разбираю подробно; пусть станет наглядно, как трудно мне было бы в целом характеризовать переписку. Ведь письма написаны на особом труднейшем жаргоне, который был свойственен нам, молодым символистам; "жаргон" был сначала совсем непонятен для публики; мы это знали: и соблюдали известный "эзотеризм", умалчивая перед "внешними" о подлинном содержании наших идейных стремлений; все письма пестрелись словечками, мысле-образами переживаний, доступных не всем. Почитайте вы "Третий Завет" А. Н. Шмидт; и там найдете ключи к очень многим вопросам тогдашнего Блока; ключи доселе понятны не всем; так, понятны С. Н. Булгакову, В. И. Иванову, Н. А. Бердяеву, св. П. А. Флоренскому: непонятны они очень многим из литературных собратий А. А. С ними он не пускался, конечно же, в сферы гностических тем.<sup>194</sup>

Подчеркиваю заслоненный от всех лик тогдашнего Блока: глубокого мистика; Блока такого не знают; меж тем: без узнания Блока сколь многое в блоковской музе звучит по-иному. Поэтом, пришедшим на смену нам, этот язык наших писем звучал бы "невнятицей"; лансировали "прекрасную ясность"<sup>195</sup>. О ней мы не думали; если ж и думали, — думали, что достаточно было до нас этой ясности у "сократиков" упдающей навзничь культуры; "символические" туманы недолго стояли: всего десять лет; 1910-е годы стремительно бросились в 80-е, в "прекрасную ясность", не проницая "ядра" символизма: но темные ядра остались; на "ясность" отвели — взрывами футуристических глосс<sup>196</sup>.

Очень темные ядра глубиннейших размышлений А. А. ничего бы не стоило мне обложить метафизикой В. Соловьева; и обнаружился б ясный костяк парадоксов, которыми мы с А. А. измеряли друг друга: что есть,

говоря отвлеченно, Прекрасная Дама? В каком отношении стоит Ее лик к Теократии Вл. Соловьева?<sup>197</sup> В каком отношении — церковь она? Как оформить Ее бытие: метафизикой, гностикой, Контом<sup>198</sup>, теорией знания Канта?<sup>199</sup> Как мыслимо рыцарство с культом Ее? Что о ней говорили Платон, Данте, Гете? Где лик Ее светится в биографии Вл. Соловьева? Вы видите: темы огромнейшей важности, неразрешимые двум молодым символистам, "филологу" Блоку, натуралисту Бугаеву; темы стояли; и темы — стоят до сих пор; в них уткнулся опять, когда трезво позволят вновь вытащить павшую культуру Европы из тупиков, где застряла она; и Платоны, и Канта, и Данте проблем мировых не стыдились; восьмидесятники их стыдились; стыдилась "прекрасная ясность", благополучно сомкнув кругозор, чтобы наткнуться на кризис "культуры", к перенесению которого символисты давно уже волили, выдвинув темы огромнейшей важности.

А. А. видел трезво в те годы: вопросы, встающие в нас, все вращаются около рокового вопроса: быть или вовсе не быть новой фазе в развитии человеческих отношений и в восприятии мира; свалиться или не свалиться в канаву гниющего позитивизма.

В человечестве человек строит новый свой лик: лик космический<sup>200</sup>; так космическим отношениям Логоса<sup>201</sup> к Хаосу, браком их может начаться космософическое возрождение сознания в антропософическом праксисе: иначе логика обернется и явит *Логэ*; а Логэ есть "Lüge", или — ложь; наша "Софика" — станет сплошным пустософством: жонглерством "философутиков", погруженных телами в сплошной, безответственный хаос, а головой — в торричеллиеву пустоту<sup>202</sup> коперниканского неба. Душа, ссохшись в прутьях понятий, и тело, перетвердев в состоянии тверже твердого тела, сломают состав человека; и поведут половинки его по различным путям, развоплощая состав человека в безъязычный "субъект" и в бесцельную кучу молекул, чтобы развеять по ветру времен человечество: кучею пыли; под Духом тогда разумели конкретную цельность мы, упраздняющую противоречия между внешним и внутренним миром. Целостность для А. А. была символом мира, Софией: и Она была — Духом нам явленным в собственном виде, вне "маски" материи и вне "маски" души; ту эпоху, которая надвигалась, А. А. признавал зрой Духа Святого, или Третьим Заветом; понятен вопрос, поднимаемый им, в разбираемом мною письме: есть ли Она — Святой Дух? Так и самая София — покров; не покров ли над Духом? Ясна связь вопросов о ней у А. А. с самым догматом Троичности. За вопросами писем друг к другу стояла еще не написанная система: конкретного идеализма\*; по отношению к этой системе сам Гегель — абстрактный предтеча; в исканиях наших касались стили системы: такая система мерещилась; в 1912 году антропософия для меня — шаг к системе<sup>203</sup>; я дух ее — чую. И духом ее продиктованы лучшие строчки стихотворений о Пре-

---

\* Прологомены к этой системе находим: разбросанными в сочинениях Вл. Соловьева, в статьях кн. С. Н. Трубецкого "О конкретном идеализме", в статьях Рудольфа Штейнера ("Goetes naturwissenschaftliche Schriften").

красной Даме, еще не понятые философски никем: антропософской культурою дышат те строчки.

Но вместо того, чтобы жизнью сознать наши темы, и вместо того, чтоб сознательно проработывать импульсы чувства и мысли, мы, вынужденные таить эти темы зари, полонились поверхностным окружением эстетической жизни, пошли на зов варваров; предали тему зари: так-то канули темы в болото литературщины, утопляющей все вопросы в стакане вина, не пошли мы на выучку к Гете и Данте; но — предпочли рецепт "Брюсовых": в отсебятине мы утопили огромные темы.

Молчите, проклятые книги:  
Я вас не писал никогда.

.....  
.....

*А. Блок*

Письма Блока — явление редкой культуры, и некогда письма те будут четвертою книгой стихов; здесь в поэте отчетливо разрывается лик "певчей птицы": и ясновзорная мысль проникает сознание; Блок, совершенно конкретный философ, нащупывает музыкальную тему культуры, сливающей этику, социологию и эстетику в целое, тысячекратно дробимое призмами жизни. В тех письмах, в позднейших беседах и встречах есть что-то напоминающее пульсацию жизни станкевичевского кружка<sup>204</sup>; но есть разница: позади всех участников этих собраний стоял уже Гегель; наш Гегель стоял перед нами: его мыслили мы; мы сознавали, что Соловьев — не наш Гегель; он только — сигнал для отплытия; философия Вл. Соловьева отрезывала от прошлого; мы узнавали уже, что начало его философии первоположено в отрицательных терминах. В терминах метафизики Соловьева слышали прозвуки новой эпохи; и более — в лирике; здесь прозирался нескрытым наш путь; путешествие к Золотому Руну аргонавтов<sup>205</sup>.

В моей переписке с А. А. намечается явственно разность подходов к сближающей теме; я, более осторожный, чеканю формальные подступы. Максималист А. А. Блок упрекает меня; и смелейшим подходом парадоксально взрезает действительность: значит, она среди нас? Что из этого следует? Шаг, и мы — секта?

Сближение Блока с С. М. Соловьевым, тогда поливановцем-гимназистом<sup>206</sup>, влияет на Блока; в С. М. — смерть родителей отразилась в особенном мистицизме; и атмосферой мистицизма влиял он на Блока; и чувствовалась особая нежность, когда А. А. в письмах касался С. М., вернувшегося из Киева только что и поселившегося в квартирке на Поварской, где мы сживали с С. М. вечерами; и говорили о Блоке; я узнал из рассказов С. М., что иные из строчек А. А. внушены его юной невестою<sup>207</sup>, дочь известнаго химика Менделеева, мною столь чтимого: были ведь книги его моим твердым когда-то каноном; и над "Основами химии"<sup>208</sup> много

просиживал я. Очень часто в вечерних свиданиях с С. М. Соловьевым участвовали: Александра Григорьевна Коваленская, бабушка С. М. и мой друг (несмотря на свой возраст она принимала "Симфонию"), но относилась к А. А. иронически-сдержанно; приходил и Рачинский (тогда опекун С. М.); помнится, что подвигалась весна; я готовился к государственному испытанию.

К Пасхе впервые в свет вышли стихи и А. А. и мои в альманахе "Северные цветы" и в альманахе "Грифа"<sup>209</sup>; я вел в это время рассеянейший образ жизни, почти ежедневно бывая у Соколова<sup>210</sup> (редактора "Грифа"), у Брюсова<sup>211</sup> иль у Бальмонта<sup>212</sup>, с которым недавно я встретился; уже псевдоним мой раскрылся; и стал я известностью, но особого рода: профессора увидели во мне ренегата; в кругах "декадентов" меня баловали; мне все посвящали стихи; из Петербурга же Мережковские писали мне письма, что моя миссия с ними работать над углублением религиозных путей; голова закружилась; из тихого юноши я превратился в самоуверенного вождя молодежи; исчез Б. Бугаев; восстал Андрей Белый; о нем написали в газетах; скандалом звучало мое "Открытое письмо к либералам и консерваторам"<sup>213</sup> и публичное выступление на эстраде в Кружке; очень скоро один из доцентов сознательно силился провалить на экзамене по сравнительной анатомии не за отсутствие знаний, а только за то, что "терпеть он не мог декадентишку", и он почти достиг цели, удостоверившись, что я путаю историю эмбриологии ноздрей лягушонка, забывши учесть несомненнейший факт, что в процессе лягушачьего "ноздревое" развития из четырех ноздрей получаются две; это был несомненнейший повод к провалу; провал не удался: в труднейшем вопросе об отношении органов кровообращения зародыша к органам кровообращения матери доцент меня сбить, как ни силился, все же не мог: и поставил мне тройку; мое положение усугублялось тем, что не мог я воззвать к председателю экзаменационной комиссии; председатель экзаменационной комиссии, мой отец, очень-очень заступчивый за студентов, не мог заступиться за сына. Доцент это знал: и на этом построил провал: четырьмя ноздрями лягушки.

Вот как относились ко мне в кругах, смежных с университетскими; все за "Симфонию"; скоро потом один видный профессор, с младенчества знавший меня, мне не подал руки перед гробом отца. А. А. Блоку пришлось тоже многое вынести; он, внук Бекетова, был, как и я, — ренегатом.

В 1903 году, в конце марта, А. А. посылает любезное приглашение мне быть невестиным шафером на свадьбе его, долженствующей состояться в июле иль в августе в Шахматове<sup>214</sup>; такое же точно письмо получает С. М. Соловьев. Соглашаемся мы. А весной обрывается переписка: А. А. перед свадьбой с матерью едет в Наугейм<sup>215</sup>; государственные экзамены поглощают время мое; наконец, они окончены; мы с отцом собираемся ехать на Черноморское побережье. Внезапно отец умирает<sup>216</sup> (от жабы грудной); переутомление, горечь внезапной утраты меня убивают; решают, что нужен мне отдых; и, уезжая в деревню, отказываюсь от участия в свадьбе<sup>217</sup>.

Но первая половина июня окрашена снова поэзией Блока; я помню, что в день, когда мы хоронили отца, появляется от Мережковских из Петербурга Л. Д. Семенов<sup>218\*</sup>, студент, с демагогическими наклонностями, реакционно настроенный, но весь проникнутый темами Блока; мы — сходимся с ним, мы видаемся с ним почти каждый день, возвращаясь снова и снова к религиозным проблемам и к нотам моей переписки с А. А.; сопоставляя их с нотами петербургского религиозно-философского Общества; часто под вечер идем мы гулять, долго бродим по пыльной Москве; Новодевичий монастырь — цель прогулок; заходим туда, посещаем могилы отца, Поливанова, Владимира Соловьева, М. С. и О. С. Соловьевых, совсем еще свежие; здесь, утомленные долгой ходьбой, мы подолгу просиживаем на сыреющих лавочках — среди сирени, лампадок и пестрых цветов, расцветающих над родными могилами; часто среди утонченнейших разговоров о гробе и Вечности мы начинаем молчать, наблюдая тишайшее бирюзовое небо; оно розовеет к закату; оно рассекается визгами ласточек; в воздухе встанут голоса — фисгармония — из окошка овсянной зелены кельи: какая-то там меломанка-монашенка игрывала вечерами духовные песни. Семенов и я умолкаем; и — слушаем; веяние стихотворения Блока проносится в воздухе:

У забытых могил пробивалась трава.  
Мы забыли вчера, и забыли слова.  
И настала кругом тишина.  
Этой жизнью отшедших, сгоревших до тла,  
Разве ты не жива, разве ты не светла, —  
Разве в сердце твоём не весна?<sup>219</sup>

Помолчавши, бывало, опять вызываем слова из молчания: слова о последнем, о тихом, о нашем, о вовсе заветном. И звук поэзии Блока опять извлекается.

Л. Д. Семенову я благодарен за эти недели, так благостно с ним проведенные: нежно умел он развеять острую скорбь о кончине отца; приводил он к могилам меня: у могил пробивалась трава.

## Период от лета до первой встречи

В августе получаю письмо от С. М. Соловьева, вернувшегося из Шахматова, со свадьбы А. А.; то письмо потрясенного: чем потрясенного, не могу понять я.

К октябрю попадаю в Москву; узнаю от С. М. о подробностях свадьбы; С. М. очень красочно, в лицах, рисует ее эпизоды; и я понимаю: С. М. поражен атмосферю свадьбы, сплотившей участников свадьбы в дни свадьбы в один коллектив; верю чуткости друга, но все же не могу я понять,

---

\* Поэт, романист, впоследствии революционер, закончивший путь приятием идей Толстого и Добролюбова.

что там, собственно, было, откуда взволнованность эта в С. М., этот блеск расширяемых взоров и самая интонация описания свадьбы; переживают мистерии так, а не свадьбы; прислушиваюсь; по С. М. выходило, что в Боблове<sup>221</sup>, в Шахматове (имениях, где проживали жених и невеста) располагало все к тишине, к углубленному пониманию обряда венчания; обед после свадьбы какой-то особенный был; и природа была лучезарна, и — гости; состав их и отношение друг к другу опять-таки высекали какие-то ноты поэзии Блока, какие-то ноты грядущей эпохи. Ведь вот тебе на: "эпохальная свадьба" — полусутоливо подумал я, слушая повествование Соловьева; и все старался понять, что же, собственно говоря, поразило его; наконец угадал: свадьба Блока, "влюбленного в Вечность", на эмпирической девушке вызывала вопрос: кто для Блока невеста? Коль Беатриче, — на Беатриче не женятся; коли девушка просто, то свадьба на "девушке просто" измена пути; право — темы поэзии Блока вызывали к догадке: какими путями духовными шел сам поэт? Ведь естественно было нам видеть монахом его, защищающимся от житейских соблазнов; а тут — эта свадьба. С другой стороны (знали мы): в "свете Новой Богини" пучины мирские преобразятся, но как, в каких формах? Преображение мы волили; и о нем говорили; и в нас поднимался вопрос: свадьба ли это иль это — мистерия? По описанию С. М. Соловьева я понял: "мистерия" (что-то неопишное); так подобало; невеста Менделеева, по Соловьеву, вставала воистину существом необычным; она понимала двусмысленность своего положения: быть невестою Блока, быть новой, дерзающей на световые пути; во-вторых, А. А. Блок понимал, понимали иные участники свадьбы: ответственность свадьбы; мне помнится, что один из участников, шафер невесты, совсем поразило Соловьева своей глубиной; он был "наш", т.е. чающий Новой Звезды; он был мистик, окончивший университет и особенно почитавший невесту; он должен был ехать в Галицию, чтобы там принять католичество, постригаясь в монахи; фамилия шафера — граф Развадовский<sup>222</sup>; и он, по словам Соловьева, развил свой, особый мистический культ, углубляя который он видел "Звезду"; за "Звездой" он шел в монастырь.

Характерно: меж мной и А. А. только раз это имя отметилось; именно: при последнем свидании, весной 21-го года<sup>223</sup>, пред последней московской поездкой А. А., столь несчастно оконченной; А. А. был у меня с Р. В.<sup>224</sup> и с Алянским<sup>225</sup>; А. А., улыбаясь, показывал мне в "Русской Мысли" гнуснейшие выходки Гиппиус<sup>226</sup> против сенатора Кони<sup>227</sup> и некоторых из писательской братии; он с некоторым высокомерным добродушием развертывал передо мною за "прелестью" "прелесть", и мы узнавали впервые, что мы — коммунисты, что Кони — проданся; не за муку или сахар, иль чай, или спички, а — именно: за крупу он проданся; узнали еще, как кокетливо примеряет ботинки одна комиссарша; но нового в сплетнях для нас вовсе не было: в ряде годин упражнялась З. Н. бескорыстным сплетением мифов; интересовал лишь цвет сплетен: *доносный*. От "Дневника" перешли к положению русских на Западе; далее к обсуждению славянских и польских

вопросов; А. А. повернулся ко мне и сказал, что в Галиции (кажется) упоминается имя епископа; и что это есть граф Развадовский: "Ты знаешь, ведь это наверно *тот* Развадовский", — сказал, улыбаясь мне, Блок; и в улыбке мелькнуло: воспоминание о далеких годах, когда юные шафера Л. Д. Блок ждали новой зари; один видел "мистерию" в свадьбе; другой непосредственно после обряда пошел за "Звездой", увенчавшей епископской шапкой его.

Переживания Соловьева во время венчания Блока запомнились мне, хотя я был, признаюсь, рассеян (иное меня занимало); С. М. очень образно рисовал предо мною отца Л. Д. Блок — старика Менделеева — хаосом, сопровождающим свою светлую дочь, музу Блока, которая в юморесках С. М. была "Темного хаоса светлую дочерью". "Темный хаос", подслушавший ритмы материи и начертавший пред миром симфонию из атомных весов, — был такою фигурой, которая и должна была ясно присутствовать при венчании Блока: благословляя невесту, заплакал старик Менделеев.

Запомнилась мне эта свадьба в рассказах С. М.

С этой осени и до самого окончания года пришлось отвлекаться от писем к А. А.; и от тем, с ними связанных; я отдавался изволнованной жизни кружков; все, что в прошлом таилось в "подполье", теперь выявлялось в кружках; был кружок молодых литераторов "Грифа"<sup>228</sup>, кружок "Скорпиона"<sup>229</sup>; возник теософский кружок и кружок "Аргонавтов" (мои воскресенья); наш Арго готовился плыть: и — забил золотыми крылами сердец; новый кружок был кружком "символистов" — "rag excellence" символистов; поэты из "Скорпиона" и "Грифа" его посещали; бывали и теософы; ядро же "Аргонавтов", не обретя себе органа, проливалось в органы "Скорпиона" и "Грифа", в "Свободную совесть"<sup>230</sup>, в "Теософический вестник"<sup>231</sup>, впоследствии в "Перевал"<sup>232</sup>, в "Золотое Руно"<sup>233</sup> (так название "Золотое Руно" Соколов подсказал Рябушинскому, памятуя об "Арго"); позднее "аргонавты" участвовали в заседаниях "Свободной эстетики"<sup>234</sup>, в кружках Крахта<sup>235</sup> и в "Доме песни" д'Альгеймов<sup>236</sup>; объединились вокруг "Мусагета"<sup>237</sup>; отсюда рассеялись в 1910 году; семилетие "аргонавтизм" процветал, его нотой окрашен в Москве "символизм"; может быть, "аргонавты" и были единственными московскими символистами среди декадентов. Душою кружка — толкачом-агитатором, пропагандистом был Эллис; я был идеологом.

По воскресеньям стекались ко мне аргонавты; сидели всю ночь; кружок не имел ни устава, ни точных, незабываемых контуров; примыкали к нему, из него выходили — естественно; действовал импульс, душа коллектива — не люди; с 1903 до 1907 года "аргонавтами" числились Л. Л. Кобылинский (или Эллис), С. Л. Кобылинский (философ), С. М. Соловьев, М. А. Эртель (историк), Г. А. Рачинский, В. В. Владимиров (художник), А. С. Челищев, А. С. Петровский, В. П. Поливанов<sup>238</sup>, Н. И. Петровская<sup>239</sup>, Батушков, П. И. Астров<sup>240</sup>, Н. П. Киселев, М. И. Сизов<sup>241</sup>, В. О. Нилендер<sup>242</sup>,

С. Я. Рубанович<sup>243</sup>, К. Ф. Крахт и другие. Роль "Арго" нам виделась в отоплении атмосферею символизма, в динамизировании движения и в разработке программы; идеи московского символизма созрели, конечно, не в декадентских "Весех", — в мифе "Арго", не бывшем нигде: но везде возникающем фантазийно (в "Весех", в "Перевале", в "Руне", в средах Астрова, на заседаниях "Эстетики", в молодом "Мусаете", в "Орфее"<sup>244</sup> и даже потом в начинаньях "Духовного Знания"); помнится: в 1918 году духом "Арго" — повеяло; и — возникли мечты о журнале: "Эвон"; опять духом "Арго" повеяло, когда мы — я, С. М. Соловьев и Нилендер, старинные "аргонавты", — участвовали в организации московского отделения "Вольфилы"<sup>245</sup>.

В 1903—1905 годах аргонавтическим настроением дышат мои воскресенья; позднее бывали собрания — до 1910 года; здесь, кроме друзей и поэтов из "Скорпиона" и "Грифа", бывали: К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, Ю. К. Балтрушайтис<sup>246</sup>, С. А. Соколов, литератор Поярков<sup>247</sup>, художники Липкин<sup>248</sup>, Борисов-Мусатов<sup>249</sup>, Россинский<sup>250</sup>, Шестеркин<sup>251</sup>, Феофилактов<sup>252</sup> и Переплетчиков<sup>253</sup>; музыканты: С. И. Танеев<sup>254</sup>, Буюкли<sup>255</sup> и Метнер; философы: Г. Г. Шпет<sup>256</sup>, Б. А. Фохт<sup>257</sup>, М. О. Гершензон<sup>258</sup>, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, В. Ф. Эрн, Г. А. Рачинский; здесь проездом бывали: В. И. Иванов, Д. С. Мережковский, Д. В. Философов<sup>259</sup>; бывал П. И. Астров. Среди иных посетителей упомяну академика Павлова<sup>260</sup>, его жену<sup>261</sup>, палеонтолога проф. И. А. Каблукова<sup>262</sup>, М. К. Морозов<sup>263</sup>, И. А. Кистяковского<sup>264</sup>. За столом собиралось до 25 человек: музыканили, спорили, пели, читали стихи; по почину всегда одержимого Эллиса часто сдвигали столы и начинались танцы, пародии, импровизации.

"Аргонавты" восторженно относились к поэзии Блока, считая поэта своим, "аргонавтом". Впоследствии он посетил "воскресенья" мои<sup>265</sup> (в свою бытность в Москве); и, вернувшись в Петербург, он прислал мне стихи, посвященные "Арго" с эпиграфом из стихов "Аргонавты" (моих) и написанные как гимн аргонавтам:

Наш Арго, наш Арго,  
Готовясь лететь, золотыми крылами  
Забил.

("Аргонавты" имели печать: ее Эллис в экстазе прикладывал ко всему, что ему говорило: к стихам, к переплетам, к рукописям).

Вот стихи Блока<sup>266</sup>:

#### НАШ АРГО

Андрею Белому

Сторожим у входа в терем,  
Верные рабы.  
Страстно верим, выси мерим,

Вечно ждем трубы.  
Вечно -- завтра. У решетки  
Каждый день и час  
Славословит голос четкий  
Одного из нас.  
Воздух полон вздыханий,  
Грозových надежд.  
Вьсь горит от несмыканий  
Воспаленных вежд.  
Ангел розовый укажет,  
Скажет — вот Она:  
Бисер нижеет, в нити вяжет  
Вечная весна.  
В светлый миг услышим звуки  
Отходящих бурь.  
Молча свяжем вместе руки,  
Отлетим в лазурь.

Стихотворенье пронизано аргонавтическим воздухом; переживанья искателей Золотого Руна отражает оно; строчки же "молча свяжем вместе руки, отлетим в лазурь" передают ту идею конкретного братства, которую мы пытались осуществить.

Этой осенью часто встречались — почти каждый день где-нибудь: по воскресеньям мы виделись у меня, а по вторникам собирались иные из нас у Бальмонта, по средам собирались у Брюсова, по четвергам — в "Скорпионе"; был вечер собрания у "Грифов". Совсем неожиданно "Скорпион" предъявил ультиматум сотрудникам "Скорпиона": должны они были уйти из издательства "Гриф"; мы с Бальмонтом отвергли такой ультиматум; поэтому Брюсов косился на нас; говорили, что Гиппиус интриговала; А. А. меня спрашивал письмами, как быть ему; но узнав, что я с "Грифом", он тотчас же присоединился к ослушникам, сопроводив письмо свое шуточным стихотворением, изображающим разоблачение гиппиусовой интриги:

... Опрокинут  
Зинаидин грозный щит...<sup>267</sup>

И далее — "разбит": "разбит" — Брюсов.

Аргонавтический коллектив процветал; струи жизни в нем били; а мне — было грустно; литературная ажитация утомляла меня; и я чувствовал убыль в душе темы внутренней жизни; как будто бы экскламмация жизни, попытка построить на ней ритмы братства — убийственно отзывались в душе; ощущал появление словесного беса; слова тяготили; отчетливей поднимались конфликты сознания, неразгадавшего зори, от зорь отделенного испареньями душевного коллективизма; искал ноты гармонии; в воображении возникали прекрасные формы общения; все мы сидим за столом; мы — в венках; посредине плодов — чаша, крест; мы молчим, мы внимаем безмолвию; тут поднимается голос: "Се... скоро".

Такие картины всплывали; вставали вопросы, как нам подойти к совершенно религиозного дела: и как его выразить в формах; попытке гармонизировать коллектив потерпели фиаско; ведь вот: не наденешь на Эллиса тоги; я, бывало, высказывал грусть свою Н. Петровской и А. С. Петровскому; первая — понимала меня, но помочь не могла; а второй меня вез к прозорливому епископу на покой, к Антонию<sup>268</sup>, личности замечательной и одаренной прозрением. Антоний, вперив в меня сини зрачков, оправляя белейшую шелковистую бороду, сам принимался бросать искрометно словами; и вспыхивали сияющие недомолвки из слов; и вставало все то, о чем плакало сердце: но не было в этих сияньях венков; не было "аргонавтов"; вставали над вечным покоем упорные шепоты сосен Сарова. И после Антония наши слова о мистерии, о соборности, о братстве казались крикливыми, явно лишёнными ритма; но я, стиснув зубы, пытался привить тихий ритм аргонавтам; "аргонавты" галдели; во внутреннем мире недавней гармонии не было, хлынули волны ветров: благодати; несли меня и принесли прямо к осени 1903 года, там бросили на холодные октябрьские камни Москвы, отлетевши бесследно: крутились столбы мерзлой пыли перед невидящим взором.

Заря убывала: то был совершившийся факт; зари вовсе не было; гасла она там в склонениях 1902 года; 1903 год был только годом воспоминаний.

И помнилось прошлое: я отдавался духовной работе; и достигались минуты покоя, в одну из минут я увидел как небо времен лучезарное с горизонта встающими тучами; голос сказал мне: "Смотри — покрывается небо; оно покидает на годы". Я осенью этой не раз возвращался к духовно увиденной пелене на годах. Но сознаться, что мы в пелене, что "мистерия" чувств не вернет благодатного времени, — нет; и я лгал себе; может быть, лгал я другим? Аргонавты мне верили; я же смятенный, в себе замыкался.

Так ощупьями полусознанной лжи создавались те поты измученности, от которых искал избавления я в безотчетных мечтах о мистерии с Н. И. Петровской, в беседах с Антонием и в письмах к Блоку.

С особенной нежностью я поворачивался к А. А.; так нуждался в общении с братом по духу. Я помнил, что он в очень трудном, в ответственном: в первых месяцах брачной жизни; и думалось, что не увидится такая мне близкая жизнь.

Письма А. А. были так же многосторонни, как прежде; но не было слов о подруге уже; была мягкая грусть, растерянность. Помню в одном из посланий А. А. упоминает о сплетнях, которые распространяются по поводу его брака, и восклицает, что жить ему стало и легче, и проще. В одном из тех писем он пишет о страхе<sup>269</sup>: что страх перед страхом есть самый действительный страх; таким, страхом испуганным, он считает философа Канта; он все возвращается к Канту, как к испугавшемуся во веки веков; темы страха и темы Канта не раз повторяются; не оттого ли,

что столетняя годовщина со смерти философа приближалась в то время, или оттого, что вопрос о границах познания впервые решительно выступает перед А. А.; переплетение темы Канта и темы о "страхе" — весьма показательно; мысль о границе, черте — есть продукт потрясения, страха; граница сознания — тень, мной отброшенная; А. А. посвящает свои стихи Канту; рисуется Кант весь в тенях, скрещивающий и ручки и ножки; химера преследует Блока; творит он мифологему о Канте: по петербургским каналам какие-то люди везут в лодке ящик, а в ящике — Кант; он — увозится к юбилею в родной Кенигсберг подозрительными колпачниками; этот "шарж" увозимого Канта и шаловливо, и жутко выглядывает в одном из объемистых писем в нешаловливых, скорее очень грустных, страницах. Стихотворения этого времени — грустны, как приводимое:

Я на покой ушел от дня,  
И сон гоню, чтоб длить молчанье...  
Днем никому не жаль меня —  
Мне ночью жаль мое страданье<sup>270</sup>.

В ноябре 1903 года А. А. написал мне, что он и жена его собираются ехать в Москву; я, С. М. и кружок "аргонавтов" давно его ждали; но — отсрочивался приезд.

В это время издательство "Скорпион" выпускало за книгою книгу; стихи Сологуба, Валерия Брюсова, Гиппиус; "Urbi et Orbi"<sup>271</sup> лежало у всех на столах; в этой книге — стихи, посвященные молодым символистам; одни — посвященные мне, завершаются строчками:

Я многим верил, я проклял многое  
И мстил неверным в свой час кинжалом<sup>272</sup>.

Впоследствии В. Я. Брюсов пытался осуществлять свою месть.

В стихотворении "Младшим" (с эпиграфом "там жду я Прекрасной Дамы") описывается, как поэт В. Я. Брюсов прижимается к болту железной решетки, чтоб увидеть мистерию храма, увы, недоступную Брюсову; он — воскликнул:

Железные болты сорвать бы, сломать бы...  
Но пальцы бессильны и голос мой тих<sup>273</sup>.

Да, тут смесь подозренья, недоверия, страха ко всей нашей линии, чуждой для Брюсова; на подозрение это А. А. отвечает посланием к Музе:

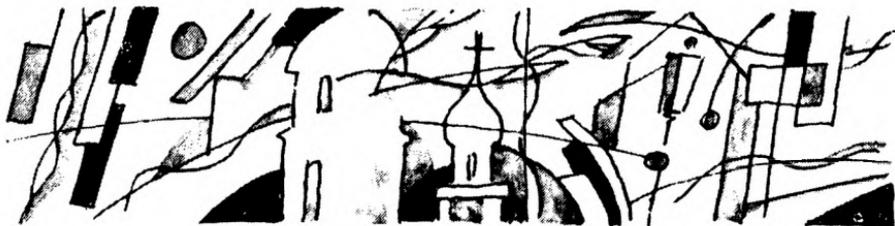
Тебя, чья тень давно трепещет  
В закатно-розовой пыли.  
Пред кем томится и скрежещет  
Великий маг моей земли<sup>274</sup>.

Брюсов назван "великим" здесь магом; но слово "великий" впоследствии заменено иным словом: "суровый". Брюсова А. А. называет здесь магом не в риторическом смысле, — в реальном; в то время В. Брюсов особенный интерес проявлял к спиритизму и всевозможным сортам "окультизмов" (до самых сомнительных), интересуясь эксцессами магии и собирая "досье" оккультических фактов для зреющего в его сознании "Огненного Ангела"; А. А. был осведомлен о занятиях Брюсова, и потому он назвал его — магом<sup>25</sup>. Но почему же "скрежещущий" маг? "Скрежетанье" Брюсова по отношению к А. А. и ко мне из вовсе конкретных причин: "Грифа" мы предпочли "Скорпиону". В то время завязывались переговоры между А. А. и С. А. Соколовым, касающиеся издания стихотворений А. А. в книгоиздательстве "Гриф". Этот сборник выходит через год<sup>26</sup> и обложку рисует Владимиров, "аргонавт" как мы все.

Наступал новый год.



## Глава вторая    А. А. БЛОК В МОСКВЕ



### Первая встреча с поэтом<sup>1</sup>

Мне помнится: в январе 1904 года за несколько дней до поминовения годовщины смерти М. С. и О. М. Соловьевых, в морозный, пылающий день раздается звонок. Меня спрашивают в переднюю; — вижу: стоит молодой человек и снимает студенческое пальто, очень статный, высокий, широкоплечий, но с тонкой талией; и молодая нарядная дама за ним раздевается; это был Александр Александрович Блок, посетивший меня с Любовью Дмитриевной.

Поразило в А. А. Блоке — (то первое впечатление) — стиль: корректности, светскости. Все в нем было *хорошего тона*: прекрасно сидящий сюртук, с крепко стянутой талией, с воротником, подпирающим подбородок, — сюртук не того неприятного зеленоватого тона, который всегда отмечал белоподкладочников, как тогда называли студенческих франтов; в руках А. А. были белые верхние рукавицы, которые он неловко затиснул в руке, быстро сунув куда-то; вид его был визитный; супруга поэта, одетая с чуть подчеркнутой чопорностью, стояла за ним; Александр Александрович с Любовью Дмитриевной составляли прекрасную пару: веселье, молодые, изящные, распространяющие запах духов. Что меня поразило в А. А. — цвет лица: равномерно обветренный, розоватый, без вспышек румянца, здоровый; и поразила спокойная статность фигуры, напоминающая статность военного, может быть, — *"доброто молодца"* сказок. Упругая сдержанность очень немногих движений вполне расходилась с застенчиво-милым, чуть набок склоненным лицом, улыбнувшимся мне (он был выше меня), с растерявшимися очень большими, прекрасными, голубыми

глазами, старательно устремленными на меня и от усилия разглядеть чуть присевшими в складки морщинок; лицо показалось знакомым: впоследствии, помню, не раз говорил я А. А., что в нем — есть что-то от Гауптмана (сходство с Гауптманом не поражало поздней).

Это первое впечатление подымало вопрос: "Где ты видел его?" И казалось, что должен бы был дать ответ себе: "Видел духовно, в стихах". Нет, — тот образ, который во мне возникал из стихов, соплетался сознанием с образом, возникавшим во мне неизменно: с фигурой малого роста, с болезненным, белым, тяжелым лицом, — коренастым, с небольшими ногами, в одежде, не сшитой отлично, с зажатými тонкими, небольшими губами и с фосфорическим взглядом, вперенным всегда в горизонт, очень пристальным, очень рассеянным к собеседнику; я, разумеется, видел А. А. с перчесанными назад волосами; не думал, чтоб он был такой; просто образ во мне подымался при чтении строчек:

Ах, ночь мертва, заря долга,  
Как ряд заутрен и обеден.  
Ах, сам я бледен, как снега,  
В упорной думе сердцем беден<sup>2</sup>.

Или:

Мое болото их затянет.  
Сомкнется мутное кольцо;  
И, опрокинувшись, заглянет  
Мой белый призрак им в лицо<sup>3</sup>.

А курчавая шапка густых чуть рыжеющих и кудрявых, и мягких волос, умный лоб — большой, перерезанный легкою складкой, открытый, так ласково мне улыбнувшийся рот и глаза, голубые, глядящие вовсе не в даль с чуть сконфуженной детскостью, рост, эта статность, — нет, все это было не Блоком, давно уже жившим во мне, "Блоком" писем интимнейших, "Блоком" любимых стихов, мной затверженных уже два года. Скажу: впечатление реального Блока, восставшего посредине передней арбатской квартиры (мне Блок рисовался на фоне заневских закатов, на фоне лесов, у горы) — впечатление застало врасплох; что-то вовсе подобное разочарованию подымалось; от этого пуще сконфузился; бросился торопливо приветствовать гостя, супругу его, проявляя стремительность большую, чем подобало; не по себе мне было; и мое состояние, я чувствовал, передается А. А.: он становится и любезным, светским, смущаясь смущением моим и выдавая смущение тем, что он мешкается в передней; вот что я почувствовал; происходила заминка, — у вешалки; я старался повесить пальто; а А. А. в это время старался запрятать в карманы свои рукавицы. Одна Любовь Дмитриевна не поддавалась смущению; нарядная, в меховой своей шапочке, ожидала она окончания церемонии встречи.

С заминкою проходили в гостиную, где я, как мне кажется, познакомил А. А. и Л. Д. с моей матерью; все вчетвером мы уселись. Меня поразила та

чуткость, с которой А. А. воспринял впечатление, которое вызвал во мне; впечатление на нем отразилось, придав всем движениям крепкой и статной фигуры его мешковатость; он внутренне затоптался, не зная, как быть, что ему говорить; молчала спокойно Л. Д., сев в сторонке и наблюдая нас; чувствовал я, что А. А. с выжидательным любопытством все ждет от меня я не знаю чего: слов ли, жестов ли, непринужденности ли (просто ждал разряджения атмосферы, в которой держал его); помню, как мы пренеловко сидели на старых потрепанных креслах оливковой нашей гостиной (в моей "Эпопее"<sup>4</sup> цвет кресел описан); здесь, в этих креслах, четырнадцатилетием ранее, дедушка Блока сидел, А. Н. Бекетов<sup>5</sup>, с профессорами Любимовым<sup>6</sup> и Имшенецким<sup>7</sup>; я помню: седой, благодушный, с длиннейшею бородою и падающими на плечи кудрями, поглядывал он на меня, меня гладил: и — посадил на колени.

Запомнился ясный морозный дупек; и запомнился розовый луч преклоненного солнца; и — розово-золотистая сеточка атмосферы, сквозь шторы залившая рыжевато-кудрявую голову Блока, склоненную набок, недоуменные голубые глаза, и застывшую принужденную улыбку, и локоть дрожавшей руки, упирившейся неподвижно о полустертую ручку старофасонного кресла, — руки, развивавшей дымки папиросы в зарю: слов, которыми мы обменялись, — не помню, но помню, что мы говорили об очень простых, обыкновенных вещах: о А. А., о Москве, о знакомых, о "Скорпионе", о "Грифе", о Брюсове, все убеждавшего нас, чтобы мы не писали у "Грифа"; и помнится, говорили о том, что нам следует говорить основательно; вспомнили даже слегка о погоде; и улыбнулись втроем тут визитности тона — тому, что еще не умеем друг с другом мы быть; лед затаил; я бросился, совершенно некстати, анализировать тон визита: нам трудно-де выискивать тон после писем друг к другу; у каждого друг к другу за эти-де годы — рой мыслей, мешающих непосредственно видеть.

Замечу: А. А. обо мне верно думал иначе; не соответствовал в письмах я "глупому" виду; в строках, посвященных мне, А. А. писал, что кому-то дано на позолоченных счетах исчислить законы времен; и понять, что — темно; моя брэнная личность была этим "кем-то"; теперь эта личность сидела пред Блоком и видом своим хоронила себя самое. Затрудняла общение разность, разительная в темпераментах (*меланхолического* в А. А., *сангвинического* во мне), затрудняли общение методы выявления на людях; и мне, и А. А. приходилось страдать от различия наших внутренних биографий и внешних; и мне, и ему приходилось утаиваться; был А. А. близок к матери, но чужд отчиму<sup>8</sup> (личности благородной, прекрасной), чужд родственникам, университету, родне Любовь Дмитриевны и военной среде, проникавшей во внешние условия жизни его: ведь А. А. жил у отчима, полковника, в Гренадерской казарме<sup>9</sup>. И я, в свою очередь, жил в одиночестве (за исключением Соловьевых). До двадцати почти лет не было у меня никого; развивался — "украдкой". Все налагало особую трудность в общении с людьми; наши чаянья, мысли, стихи созревали

в *подполье*, которое оберегали мы оба; и нарастали на нас отложения среды, или — маски; не оттого ли так часто являются маски в поэзии Блока. Здесь — неземная, там — снежная и оттого-то в ту пору писал я о "*масках*". Так "*Маска*"<sup>10</sup> — название статьи, написанной мною в этом периоде; в ней говорю: появляется среди нас "*Маска*", — надо быть осторожным.

— Ходили мы в "*масках*"; замаскированные, — встретились; замаскированные сидели в тот день.

Я в А. А. замечал в это время особый жаргон в отношении к людям: протянутость к "*корню*", к последнему; и вместе с тем — недоверие, настороженность, испуг перед бестактностью, в каждом живущей; да, ко всему "*предпоследнему*", где конкретная жизнь перемешана с отвлечением в субъективную Майю, — питал отвращение он, закрываясь стилем, который он нес, как естественность "очень хорошего тона". Так ритм облекался в метры; так поэзия Блока в то время, развив свои ямбы, слагала анапест, мой стиль себя выявил чередованием амфибрахических, очень обрывистых строчек; я ямбом еще не владел; такт и тон повеленья во мне были вовсе иными; я был суетлив, говорлив; я себя выговаривал; я ощущал себя внутренне тихим, не теоретиком; но в проявлениях внешних я был непосеδοю, составляя контраст с очень выдержанным А. А., добродушно шутивным, скептическим по отношению к Майе, что делало явно его обладателем *хорошего тона*.

Взглянув на меня, всякий высказал бы: "Вот — московский интеллигент, оптимист и чуть-чуть Репетилов, но — Репетилов бывший в кружках Станкевича и символистов, — "*символизирующий*" подобно тому, как в кружках у Станкевича гегелианизировали, — москвич, и — смешной, и — немного бестактный, не обладающий сдержанностью. Взглянувши на Блока, сказали бы: "Петербургец, и — с выправкой; интеллигент? Нет, скорее — *дворянин*, позитивно глядящий, на вздох натянувший улыбку разочарованной скуки, и вместе с тем: добрая, сострадательная душа, обласкивающая уютom и спрятавшая точку скорби"... доверием веяло мне от А. А.; но доверие это в А. А. сочеталось со строгостью. Да, конечно, сказали бы, что А. А. не бывал в тех салонах, где действовал Репетилов, с Виссарионом Белинским, или Мишелем Бакуниным, конечно же, состоявший в "*друзьях*". Вероятно, А. А. долго стаивал у Невы и знал "*Медного всадника*"; не символизировал он: символическое восприятие — физический факт бытия для него. И то все выражалось в манере держаться: вниманием к собеседнику, наблюдательностью (от А. А. не ускользало ничто) и готовностью ответить — решительно, без *абстрактных* подходов; но А. А. выжидал действительного подхода к вопросу; на *кажущееся* не отвечал он никак, замыкаясь в молчание. Я выглядел — интеллигентней, нервнее, слабее, демократичней, рассеянное; А. А. выглядел: интеллектуальнее, здоровее, внимательнее.

Вместе с тем: оба мы не являли стиль лирики нашей; взглянув на А. А., не сказал бы никто, что он именно складывал циклы шахматовских "*видений*"; скорее бы мог написать он рассказ или повесть в тургеневском

духе (хотя бы талантливее); посмотрев на меня, вероятно сказали бы: "Этот рифмует: *искал — идеал...*"

Но под маской дворянской во Блоке таился: неведомый Лермонтов, Пестель, готовый на все; под моими идеями, крайними, вероятно, таился — минималист, осторожный, и — постепеновец, выщупывающий дорогу, бредущий окольным путем (методических обоснований, намеков), всегда выжидающий мнение собеседника, чтобы потом лишь *открыться*; А. А. был во внешнем — спокоен; я — торопился, всегда на словах забегая вперед; но на твердое "да" или "нет" я не шел; А. А. — шел.

Характеризую редчайшую разность меж нами, которую мы ощутили при первом свидании — в темпераменте, в стиле и в такте; происходила такая заминка меж нами; сидели, не зная, что делать друг с другом: ведь о погоде не стоит ораторствовать, а о Прекрасной Даме — что скажешь? Впоследствии А. А. признался: был один миг, когда он не *поверил мне вовсе*, почувствовал, что я вовсе не "тот"; и это свое отражение в нем я почувствовал тоже; почувствовал он, что могу в "*предпоследнем*", в *трепещущем*, в *животрепещущем* даже сорвать то, что жило во мне, как заветное: жило ли? На мгновенье А. А. — заколебался: разочарован он был, как и я. Но, наверное, оба же мы ощутили, что кроме "личин", таких разных, какая-то общая суть оставалась; и ей мы сказали: "Да, будет".

Поволенное общение стало основой любящего отношения А. А. к моей брэнной "*личине*"; я это почувствовал; я уже полюбил его; но, увы, вел себя эгоистом; он явственно превосходил: оттого-то и *братство*, связавшее нас, отражалось во мне тем, что я ощущал его старшим; я чувствовал младшим себя (мы — ровесники); я признаю: это — так; были же у меня превосходства: я был терпеливей, скромнее и робче; пусть он был мудрее, смелее и *старше*, — все же был он капризней во внутреннем жесте (при внешней податливости); не выносил "разговоров", которые я выносил; я сознательно шел их выстрадывать, переживая огромную боль; а он нет; я ходил, как ободранный, — спорами; он — отстранялся от них.

Еще штрих, нас так разнящий: если бы спросить у покойного о первой встрече нас с ним, он ее описал бы не так: метким словом отметил бы все то внутреннее, что возникало меж нами; и не пускался бы в психологические характеристики; он нюансы бы все опустил, но припомнил бы текст разговора, я — нет; не помню (говорил ведь он меньше); а кроме того: я прислушивался к бессловесному фону всех встреч наших с ним; за фотографию душевных нюансов ручаюсь: они напечатаны в сердце; а за слова — не ручаюсь: забыты.

Мне помнится только момент этой встречи, когда я признался в трудности мне говорить; он тут точку поставил над "i"; подтвердил: "Очень трудно". А я вновь ораторствовал, анализируя эту трудность; столь долгий анализ при первом визите — бестактность; что делать, — то было вполне неуместно, "*мишелство*" (в стиле Мишеля Бакунина, гегелианизирующего человеческие отношения), чего не любил А. А. Блок; но поверивши мне в основном, претерпел он меня.

С первой встречи А. А. стал уже imponировать мне *тихой силой*, в нем жившей; она излучалась в молчанье здорового, внешне прекрасного облика; ведь А. А. был красив (очень-очень) в ту пору; сказал бы: он был лучезарен (не озарен):

Я озарен... Я жду твоих шагов...

Не было в нем никакой озаренности, мистики, сентиментальности "рыцаря" Дамы; стиль старых витражей цветных, стиль готических дуг — всего менее подходил к его облику: никакой гиратики "*Средних веков*", или — "Данте"; и — да; больше "*Фауста*". Но — лучезарность была; он ее излучал и, если хотите, он ей *озарял разговор*; в нем самом озаренности не было, но из него расширялось какое-то световое и розовое тепло (темно-розовое порою); физиологическое и кровное; слышалась влажная почва, откуда-то проплавляемая огнем; а "воздуха" — не было; физиологичность души его при отсутствии транспарантности "озарений" производила страннейшее впечатление; и — подымался вопрос: "Чем он светится?" Какие-то радиоактивные силы тут были (преображенности, взрыва?); они излучались молчанием очень большой головы, наклоненной чуть-чуть набок, кудрявой и отмечающей чуть заметным склонением медленные слова, чуть придушенного, громкого, несколько деревянного голоса; — вдруг стремительно бойким движением, не без вызова, рисовало лицо его линию кверху; и — вылетал из чуть дрогнувших губ голубоватый дымок; он клонился из дыма над мелочью разговора, простого, конкретного; и — свечение, розовость распространялись вокруг, оставляя спокойным А. А., и охватывая собеседника, которому вдруг хотелось сказать о "*последнем*" А. А. Он — спокойно выслушивал, недоуменно моргая глазами, отряхивал пепел; и — щурил глаза.

Вызывал впечатление пруда, в котором утаена большая, на поверхность редко всплывавшая рыба; в нем не было ряби, ни отблесков, ни лазури, ни золота: золота афористической ряби на лазуреющем фоне идей; не было и играющих рыбок, выбрасывающих пузырьки парадоксов (пузырьки были зато в его письмах); в беседе не чувствовалось кипения (кипел — собеседник): гладь тихая — ни теории, ни расструенной мысли; и окружающее отражалось — зеркально; да, он не казался "*рассудочным*"; мудрость какая-то сказывалась в такте жестов его, не торопливых и сдержанных, редких, но метких; вдруг: от поверхности приподымались тяжелые волны глубинности, взвинченной быстрыми ходами рыбины-мысли, вынашиваемой годами; присутствие "*рыбины*" чуялось в Блоке под маской готовности на все согласиться, чтобы "отделаться"; легкость, с которою Блок соглашался порою на все, распространялась в периферии его разговора; здесь часто могли вы услышать "*да*", "*нет*" (и не "*да*", и не "*нет*": "Ах, оставьте в покое меня: пустяки ваши "*да*", пустяки ваши "*нет*"...) — это значило: повремените — глубинная рыба вынашивается; когда он

придет к утверждению узнания, то никакие силы не смогут свернуть его: узнанное проведено сквозь строй существа: тогда выскажется во внутренне повелительной форме: "Да, нет!" Этой внутренне повелительной форме извне соответствует мягкое, деликатное отклонение чуждого мнения: "— Может быть... А пожалуй, я думаю, что *это* не так: знаешь, это — не так". И с "*не так*", или с "*так*" — не свернешь его.

Все это выглянуло из А. А. на меня уже при первом свидании нашем, расстраивая былые о нем представления и вызывая мучительную работу сознания; ожидал его видеть воздушным, мистичным, внемысленным, а земная, тяжелая и огромная интеллектуальность меня поразила, меня подавила; и высекался откуда-то издали лейтмотив семнадцатилетних общений, — огромное целое, бывшее мне порою прекрасным, порою тяжелым; грусть, сходную с разочарованием, — ни с чем не сравнимую грусть, какую испытываешь перед роковыми часами, слышал: "Да будет же воля Твоя". И послышалась поступь судьбы. Блок — ответственный час моей жизни, вариация темы судьбы: он — и радость нечаянная, и — горе; все то прозвучало при первом свидании: встало меж нами. Отсюда — неловкость.

Запомнился этот морозный денек; и запомнились мне фонари на Арбате — в зарю, и — заря, погасавшая, грусть, охватившая; я пошел поделиться своим впечатленьем о Блоке к Петровскому; и не помню, как именно очутились мы с ним на Никитском бульваре; здесь я рассмеялся: "Да, знаете, — вот неожиданным оказался, совсем неожиданным Блок". В стиле наших проказ (подстрелить незнакомых прохожих на улице парадоксальной ассоциацией, карикатурною звуковою метафорой, шуткой) заметил я: "Знаете на кого он похож? Он похож на морковь". Так нелепицей выразить что-то хотел, передать что-то, — что, я не знаю: продолговатость лица ли, казавшегося очень розовым, лучезарным и крепким: "Похож на морковь или... на Гауптмана". А. С. Петровский к нелепице этой прибавил свою — что-то в этом же роде: так в явно мальчишеских выходках я постарался скорей расшутить свою смутную, сложную грусть.

## А. А. Блок и С. М. Соловьев

В тот же вечер с А. А. и с Л. Д. снова встретились мы у С. М. Соловьева; там всем полегчало; вдруг стало теплее и проще; быть может, произошло оттого это, что у С. М. Соловьева без "*взрослых*" мы встретились; С. М., родственник А. А., знавший давно его, одновременно ближайший мой друг, — непринужденностью, бурными шутками быстро сумел ликвидировать официальность меж нами; ведь стиль отношений друг к другу был нами же создан (понять философию Владимира Соловьева); образовали мы три — треугольник, естественно дополняя друг друга; и "*око, иль глаз в треугольнике*" — тема поэзии Соловьева ("*Прекрасная*

Дама”), — присутствовала меж нами; С. М. был цементом, связующим: он ведь и вызвал мои отношения к Блоку.

С. М., экспансивный, переходивший от шуток, подчас гимназических, к темам серьезным, умевший серьезное вызвать, умевший *серьезное* вовремя закрывать яркой солью острот и чудовищных шаржей, — С. М. близко знал и меня, и А. А.; он умел создавать между нами троими — “общественность”; он являлся естественно законодателем тона, заставив А. А. и меня полагать, что под “*маской*” натянутости, возникающей между мной и А. А., — лишь простое, хорошее чувство. Втроем было проще; и — открывалось незримое “*око*” меж нами (как будто вдвоем приходилось искусственно высекать это “*око*”).

В ту пору С. М. был настроен особенно догматично по отношению к пониманию соловьевских идей; искал конкретных задач соловьевства; искал развить в окружающей жизни все то, что намечено в линии пересечения философии, поэзии, мистики Соловьева; к конкретной искомой системе мы трое стояли в различных позициях: Блок был поэт ясновидец; я — более всех был философ; С. М. Соловьев был теолог, готовый везде и всегда объявить чуть не “*первый вселенский собор*” нашей Церкви; Блок был в ней началом *иоанновым* (так полагали мы все), а С. М. был началом петровым; я — павловым. Трое — Петр, Павел, Иоанн — при сидениях втроем составляли естественно возникающий “*вселенский собор*”; на соборах — теолог господствует; мистик, философ — всегда отступают; и потому-то С. М. проводил среди нас деспотический свой *догматизм* в понимании Блока, стараясь в А. А. и во мне вкоренить понимание свое; он порою влачил нас, не влекшихся к догматам, предпочитающих символы, ритмы и музыку, — в точность “*сектантства*”; он правил путем наших встреч; увлекал в “*Теократию*” Соловьева, причем понимание теократии у С. М. было собственное; где угодно он мог дать точный ответ в нашей плоскости, на которую он взял монополию; так представлялась Россия в грядущем ему федерацией общин, ответствующих уделам, управляемых советами-светами посвященных, в народ озарявшие тайны Ее; во главе же советов он видел: трех избранных (уподобляемых соловьевскому первосвященнику, царю и пророку); они находили среди женщин земных идеальный прообраз Ее, олицетворявший живую икону; С. М. рассуждал: католический Папа — наместник Христов, — власть имеет впускать в двери Царства Христова; грядущее олицетворение Софии, земной Ее образ, был должен (не смейтесь) быть — “*мамой*”, вполне соответствуя “*папе*”. По мнению С. М., составляли естественный мы рудимент теократии; нам оставалось лишь выбрать прообраз; и — “*мамский*” престол замещен; и — ячейка грядущей России готова; в ячейке созреет грядущая революция Духа; самодержавие будет свергнуто; революция — мост к Теократии: Православие, Самодержавие и Народность заменятся лозунгами: Теократия, София, Народ; так С. М. очень часто шуточно высказывал: да, вот, как знать, может быть, призывала судьба нас на громкое дело; ведь восклицал Мережковский недавно еще: “Или мы, иль — никто”. Тут С. М. умолкал: прикрывал свои

выводы шутками; такт запрещал ему ставить решительно точки над "і" — в той мечте, над которой впоследствии так хохотали мы; эта Утопия не имела конечных последствий; то был создаваемый "миф", утаивший до времени в подсознании нашем священное творчество.

"Творчество" — чувялось: мною, С. М. и А. А.: соединяло оно нас особенно; чувствовалось: мы — неспроста; и факт бытия нас — "неспроста". А что тут "неспроста" — не знали; и просто несли неслучайность знакомства, как "тайну" связующую.

В этот вечер у Соловьевых я ближе увидел А. А. ; в нем отчетливо проступала лукавость и юмор по отношению к своему появлению в Москве, к нам, ответственно здесь сидящим, к "неспроста" меж нами; он, медленно поворачиваясь к жене, выражал ей при нас впечатленья: "Знаешь ли, Люба, мне кажется, что Сережа..." В признаниях этих мне слышалось много простого, хорошего чувства, соединенного с юмором: юмор был сдержанный; юмором искрились краткие реплики на "витийство"; рассказывал что-нибудь медленным голосом; и — совершенно серьезно; а — становилось смешно; юмор этот был английский; он выговаривал веские мнения; но возникали вокруг этих мнений курьезные ситуации образов; губы дрожали от смеха у нас; он, расширив свои голубые, большие глаза, легким жестом руки, отрясающей пепел, едва оттенял юмор фразы.

Мой стиль был — лирический; мне от тонкого юмора Блока не раз доставалось: склонением головы, разведением рук А. А. метко вышучивал лирику, — мило, незлобиво, просто и весело; помнится мне, что А. А. представлял, как меня приглашают читать, я же долго отказываюсь; великолепно, как мне говорили, умел пародировать он мое чтение стихов; я не мог убедить пародировать чтение при мне тем естественным доводом, что бессовестно зарисовывал карикатуры на Блока в присутствии Блока.

С. М. шутил грехотно — "по-соловьевски", он строил гротески и шаржи, напоминающие пресловутое "ха-ха-ха" Соловьева. А. А. не шутил: юморизировал он; нет, не строил характеристик, а — отмечал только черточкою, или — простреливал метким, сражающим словом. Впоследствии вымерил разность меж нами в одной меткой фразе, ко мне обращенной: "А знаешь ли, Боря, ты — *мот*; я — *кутила*". Под "*кутежами*" хотел разуть он способность свою до конца отдаваться: свой максимум, спрятанный в тихой личине; под "*мотовством*" разумел он обычай мой сыпаться словом, проматывать словом душевное содержание. Помню: воспоминание Р. В. Иванова о своем разговоре с А. А.; Р. В. Иванов заметил: в "*Двенадцати*" та же метель, что и в прежних стихах: в "*Снежной Маске*"<sup>11</sup>. А. А. возразил: "Нет, — там только *метель*; нет, теперь *не метель*, а — *мятель*..."

Что А. А. разумел под "*мятелью*" — Р. В. Иванов не знает. А. А. отмечал одним словом тончайшую черточку; жестом без слова, движением глаз, головы рисовал юмористики он; моя мать говорила всегда: "А должно быть А. А. очень тонкий шутник; говорит он серьезно, а все мне смешно; вероятно, всегда наблюдает он".

Помнится, в этот же вечер меня поразила грамматика речи у Блока: отчетливое построение эпиграмматических фраз, очень частое повторение "чтобы" там именно, где разговорная речь опускает "чтобы"; так сказали бы: "Иду я купить". Тут А. А. бы сказал: "Я иду, чтоб купить"; лапидарные фразы А. А. за простым грамматическим строем таили глубокие, темные смыслы; так трудно запомнить текст блоковских слов; все вниманье вперялось за *текст*: к мощной рыбе, таящейся в глуби, под всплесками слова.

А. А. в разговоре не двигался; он сидел в "сюртуке", облакавшем его очень прямо, почти не касаясь спиной спинки кресла; он мог показаться порой деревянным; одежда на теле его не слагала морщин; сохранял свою *статность* и *выправку*; мало он двигал руками; не двигал ногами, лишь изредка наклоняя, иль отклоняя кудрявую рыжеватую голову, и опираясь локтями на ручки удобного кресла; менял положение ног, положивши одна на другую, качаясь носком; С. М. вскидывал брови, откидывал корпус; А. А. собирал свои жесты в себе; иногда лишь, взволнованный разговором, вставал он, топтался на месте; и медленными шагами прохаживался по комнате, подходя к собеседнику, чуть не вплотную; открывши глаза на него, голубые свои фонари, начинал он делиться признаньем, отщелкивал свой портсигар и без слов предлагал папиросу; и все его жесты дрожали врожденной любезностью к собеседнику; если стояли перед ним, а А. А. сидел в кресле, он тотчас вставал и выслушивал стоя с чуть-чуть наклоненным лицом, улыбаясь в носки; лишь когда собеседник садился, садился он тоже.

Так светскостью, вежеством, он отстранял иногда санфасонистые порывы московских знакомых, готовых шуметь, обниматься и клясться в священной дружбе, задев собеседника локтем, обрызгивая слюною (что хуже всего). "Амикошонства" А. А. не терпел; своим вежеством он отрезал он себя Репетиловых и Маниловых; им мог казаться почти равнодушным, холодным и замкнутым он.

Мне таким не казался в наш вечер "a quatre"<sup>12</sup>, отступало куда-то все "важное"; мы отдавались веселью; мы были ведь молоды; мне — 23 года, А. А. — то же самое; семнадцатилетним был С. М.; двадцатилетней была Блок. Мы, шутя, обсуждали "Весы", первый номер которых едва только вышел с портретами деятелей "Скорпиона"<sup>13</sup>. С. М., не любивший в ту пору поэзии Гиппиус, вскоре при нас выдрал яро портрет поэтессы: А. А. и Л. Д. возмущались порыву неистовства этого; но С. М. был фанатик, *теолог*: он в Гиппиус видел себе конкурентку, теолога, как и он сам, но — враждебной религии. Впоследствии С. М. Соловьев дружил с З. Н. Гиппиус. Блок относился к ней двойственно; признавал замечательность Гиппиус, иронизируя над "дамством" ее; неискоренимая склонность вмешиваться в людские дела, перепутать, нассорить была ей так свойственна. Я защищал ее, а С. М. и Л. Д. — осуждали.

Л. Д. ощутил я в тот вечер тем целым, которое образовали мы: фоном бесед; может быть, порой "оком" среди треугольника; каждый из нас имел

роль в нашем целом, Л. Д. — была символ целого: кто-то, помню, спросил ее в тот многопамятный вечер о чем-то; она с добродушием замахала руками: "Нет, я говорить не умею: я — слушаю". Слушание — было активным; держалась, как "старшая"; и впоследствии выразил отношение к ней А. А. в стихотворных строках: как вернувшихся братьев с прогулки встречает — "сестра"; называет А. А. ее "строгой"; она —

Скажет каждому — *будь весел.*

И она говорила "*будь весел*" в молчании, каждому. Жив ее образ в пурпурном каком-то домашнем капоте, — у занавески окна; за окном — розовеют снега; луч зари освещает лицо ее, молодое, цветущее; розовый солнечный зайчик ложится на головку; она — улыбается нам.

### Марконетовский дом<sup>14</sup>

Остановился Блок — на Спиридоновке, в доме В. Ф. Марконет, — в необитаемой малой квартирке, обставленной всеми предметами, необходимыми для жилья; я квартиры не помню подробно; запомнился общий какой-то коричнево-серый и выцветший тон — кресел старых и старых диванов. Домохозяин, В. Ф.<sup>15</sup>, был, мне кажется, свойственник Ольги Михайловны Соловьевой; учитель истории, посетитель, верней, обитатель Дворянского клуба, — был он представителем консервативнейшей, старокоренной Москвы; рудопегий, козлобородый, с табачного цвета глазами, подсакивающими ежеминутно на лоб, совершенно безбровый, с большим отвисающим животом, — добродушно гремел он невинною шуткою по адресу декадентов, Валерия Брюсова, Врубеля, ежеминутно выкрикивал:

— Цто?

— Брюсов вновь написал про козу...

— Цто, цто, цто?

И, расставивши ноги, В. Ф. воздевал, удивленный собою самим, совершенно пустое подборвье (бровей не носил), похохатывая:

— Цто?

Это "цто" (вместо "что") постоянно высказывало.

Что, казалось бы, общего между Блоком и В. Ф. Марконетом? Меж тем, рудопегий В. Ф. ежедневно являлся в старокоренной квартирке у Блоков, посиживая утрами, осведомляясь, все ли удобно; тянуло его к "*Саше Блоку*" (так звал он А. А.); пристрастился он к "*Саше*"; расположение и любовь неожиданно привели обитателя клуба к поэзии Блока.

— Хорошие стихи пишет Блок.

— Цто? — накидывался на меня он свирепо, как будто бы я был противником этой поэзии.

Помню: годами В. Ф. вспоминал, как в былые години, на Спиридоновке, у него проживал "Саша Блок".

Встретишь, бывало, В. Ф. рудопекого — в рудопегом пальто: и разговор начинается:

— Что, а — как Блок?

— Как?

— Вот так прекрасная гармоничная пара.

Рассказывал он с увлекательной теплотою:

— А вот — Саша Блок: вот поэт, так поэт... Настоящий, прекрасный поэт — что, что, что? — (и взлетали табачные глазки) — поэт он до мозга костей; стоит с ним провести пару дней, чтоб понять, что — поэт... Что?.. Бывало, мы выйдем на улицу, — он, как собака какая-то, сделает стойку: погоду заметит; сейчас же он голову кверху подымет, и — что? — все заметит; какой цвет небес, и какая заря, и какие оттенки на тучах; и тени отметит: весенние или зимние... Все, все заметит: не ускользнет ничего; все запомнит... Не надо его и цитать: сразу видно — поэт. Что?

Пребывание А. А. Блока на Спиридоновке, в Марконовском доме, оставило в чуткой и доброй душе В. Ф. след. Паша каждая встреча с В. Ф. (очень часто на Спиридоновке перед кучами снега — у домика Марковет) начиналась все теми же:

— А?

— Как вы?

— Что Сережа?

— А Брюсов опять написал про козу...

— Что?

— Как Блок.

Лицо у В. Ф. начинало сиять: разговор о А. А. и о паре, и о прекрасных стихах — возобновлялся; у снежной подтаявшей кучи, на Спиридоновке, мы прощались — до следующего свидания, до разговора (на Спиридоновке), повторяющего буквально предшествующее, — у подтаявшей кучи.

Я заметил: А. А. того времени возбуждал очень нежные чувства у стариков и старушек; "отцы" пожимали плечами и фыркали: "Бред, декадентщина". "Деды" и "бабушки" (ветхие деды и ветхие бабушки), часто воспитанные на романтизме Жуковского, на метафизике, — деды, имевшие нечто от *геттингенской души* безвременно умершего Ленского, — те влеклись к Блоку; и — право же: разбирались в поэзии, не понимая ее теософии, но упиваясь "*романтической дымкою*", тою невяницей, о которой отцы отзывались:

— Бред, чушь, декадентщина.

Помню: поэзию эту вполне понимала А. Г. Коваленская, двоюродная бабушка Блока; но делала вид, что поэзия эта не нравится ей; тут была иступленная ревность; поэзию внука, С. М. Соловьева, отчасти мою, А. Г. ставила выше; и вмешались — семейные обстоятельства, не позволяющие Блока ценить; но другая троюродная бабушка, С. Г. Карелина, старая дева семидесяти пяти лет, великолепнейшая серебро-розовая старушка, вздыхающая о Жуковском и разводящая в имени под Пушкином, кур, — та влюблялась в Блоков; с какой-то упорной повторностью все выхваливала

она "Блоков" семидесятилетней сестре своей, А. Г. Коваленской. Бывало, приедет из Шахматова, где она каждым летом гостит, — прямо в Дедово, к нам: здесь сойдутся старушки; А. Г. хвалит больше "Серезжу", меня. А С. Г. лишь пожевывает губами; вдруг примется:

— Да — вот.

— Была я у Блоков...

— Ну что?

— Что им делается: молодые, здоровые, так и цветут... Люба, точно прекрасная роза... А Саша... Какие стихи написал: прелесть что...

И А. Г. — неприятно: пожевывает губами она теперь. А С. Г. — торжествует.

Здесь я должен отметить разительный факт: люди тонкие, критики, специалисты стихов, в эти годы не вняли поэзии Блока; казалось бы то, что понятно ребенку, — они ухитрялись никак не понять, все стараясь в яснейших местах отыскать "декадентчину". Люди простые, но чуткие — вовсе не критики и не историки литературы, в поэзии этой естественным чувством воспринимали тончайшее, как, например, три поповны, друзья мои, обитавшие в маленьком домике близ села Надовражина\*; тонкие разговоры велись, в избушке, между С. М., мной, "поповнами" (А. С., Е. С. и А. С. Любимовыми<sup>16</sup>): о поэзии Брюсова, Блока; поэзию эту насквозь понимали прекрасные, тонкие, русские души; да, в русской душе спит огромная чуткость к сложившемуся восприятию стилей; могу я сказать, что поэзия Блока была популярна тогда уже; только предвзятые шоры обозревателей *толстых журналов* не видели здесь ничего, кроме "дичи".

Достаточно было взглянуть, чтоб увидеть, какой Блок поэт; и ведь — "видели" (только не критики); помнится: в 1905 году повстречался со старообрядцем; он был миллионер, собиратель икон, крупный двигатель какого-то толка; хотя побывал он в Париже, — он был тем не менее русский, простой: он тогда же сказал:

— Я считаю: в России теперь лишь один настоящий поэт, но поэт гениальный... Поэт этот — Блок...

В это время явились в печати "*Стихи о Прекрасной Даме*"; в стихах собеседник мой видел, чего не увидели критики, "*декаденты*", *чего не увидел сам Брюсов, что едва начинали тогда постигать* Мережковские: поэзию религиозных глубин; "атмосфера" стихов, не учитываемая, — пленяла старообрядца.

И да: "*атмосфера*" — была; сам А. А., отошедший впоследствии от тем юности, сделал признание лицу, не желающему до срока открыться; сказал, что он сам до конца не узнал, как пришли стихотворения о Прекрасной Даме; они — даны свыше; они — непонятны до дна; в них есть тайна; признание сделал А. А. в 1920 году, уже после "Двенадцати"; это признание бросает весьма интересное освещение на А. А. перед смертью: А. А. от Нее отступил, когда веянье свыше о Ней прекратилось.

\* Близ Дедова.

В А. А., еще в этот московский период, подметил я полную непричастность скептического интеллекта к мистическим дуновениям, сквозящего по нему проходящим; всегда интеллектом А. А. созерцал протекавшее в нем совершенно пассивно: сознательность — поражала меня; есть — раздвоенное между рассудком и волей; есть люди — тройные: раздвоенные и приподнятые над двойственностью, себя сознающие; самосознанием А. А. не проник в понимание движения жизни своих двойников; но проник до сознания пределов самосознания; знал: это — вполне понимает в себе, а вот этого — нет. И отсюда — стиль юмора над собою самим и другими; и помню, как встретился с А. А. на Арбате — в день слякотный; слякотью брызгали сани; дома, просыревшие, меркли; казались и ниже и ближе, чем следует; резко темно-зеленое очень сырое пальто, перемокшая набок фуражка, бутылка, которую нес он в руках; в утомительном шествовании Блока, студента с бутылкой в руках, по Арбату увиделось что-то, внушавшее юмор; на юмор к себе самому, или к *"Блоку с бутылкой"*, меня повернул сам А. А.:

— Видите: вот ведь... — несу себе пива к обеду, чтоб выпить... (опять характерное "чтоб").

И в смешливом *"чтоб выпить"* сказался А. А. иль испытанный, вечный остряк, созерцающий беспристрастно и *"рыцаря Дамы"*, и *"выпивающего студента-филолога"*, из несоответствия положения в мире обоих остряк строил выводы.

— Что Владимир Федорович?

Усмешка — всепонимающая усмешка под мокрой фуражкой студента:

— Ничего... Приходит... Сидит... Он — очень хороший...

Последнее "очень хороший" А. А. произнес утрированно: нет, не думайте рассмеяться (В. Ф. ведь — смешной); знаю сам, знаю *все*; а он все-таки — *очень хороший*.

И мы тут простились; я шел по Арбату; А. А. завернул в переулочек с бутылкой в руках; он шел, *чтоб* обедать; а за обедом, *чтоб* выпить; и капало с крыши; и шаркали метлы, метущие грязь; и — хотелось смеяться.

Тут две физиологии: физиологические восприятия быта; и физиологическое восприятие зари; физиологически как-то светился он воздухом зорь 1901—1902 годов; тот воздух воспет им; утробное перевариванье зари, — привлекало к нему соловьевцев, людей просто чутких к поэзии, теософов, старушек, В. Ф. Марконета, сектанта, и милых сестер из села Надовражина; в поэтических партиях не вмещался А. А.: "Грифы" видели только эстет; религиозники — *"декадента"*; недоумевал даже А. А. *"декадентский возжак"*, В. Я. Брюсов; надменствовал гордый Бальмонт; атмосфера, излучаемая А. А., волновала волной золото-розового густого, духовного воздуха; им был обвеян А. А. и были пропитаны встречи нас трех; это был пережиток особого мира (*кусочек — света — клочочек — рассвета*), лежавший на розовом крепком, обветренном лице, как некий загар — розово-золотой

атмосферы, которую он надыхался, которая перегорала физиологически в жилах его: и вопрос подымался:

— Чем светится он?

Ответ:

— Светится розово-золотою атмосферую 1901 года.

Он — принял ее; и она протекала по жилам еще в 1904 году, когда зори, извне озарявшие, были угашены; из себя самого он светился; светился — до 1906 года. И в 1906 году — *досветился*:

Ты в поля отошла без возврата:  
Да святится имя Твое!

В московский приезд вызывал А. А. в очень многих особые чувства; одни ощущали А. А. — только рыцарем, а другие — в присутствии Блока испытывали поднимающуюся волну, дионисически их возбуждавшую (главным образом, "дамы"):

— Ах, Блок — он какой-то весь: розоволепестковый такой!

Выражала так свое мнение о Блоке одна *бальмонистка* в те дни; просто чуткие выражались правильной:

— Александр Александрович — ах, какой он хороший...

Они отмечали "загар" — *розово-золотой* жар видения, бывшего Блоку; а он — он стоял среди этого хора из мнений, — спокойный, юмористический, с недоумением вслушиваясь в себя и в других: и глаза выражали вопрос; внятно чувствовалось: в Сведенборге<sup>17</sup>-ребенке себя изживает глубокая тайна, в которой он сам не повинен; он был нам — двуногий проблемой; и — более новой, чем рой всех тогда волновавших проблем; ведь "Весы", "Новый Путь", "Мир Искусства" давно поотстали от века; они были б новыми, если бы время явления на свет их не были 1899—1904-ые года, а 1882—1885-ые, когда Врубель уже создавал *эпохальные* вещи, которым явились литературные отклики двадцатилетием позднее<sup>18</sup>.

Блок 1905—1908 годов — человек; Блок 1908—1912 годов — большой человек; Блок последнего времени — нов; Блок тогдашний — незабываемый, неповторяемый Блок, присутствующий в других "Блоках", выглядывающий из них, как из складок тяжелой, то фиолетово-серой, то желто-черной, завесы; не в этих завесах застал А. А. Блока; на нем еще не было "Блоков" — позднейших (в нем были они); и они не успели еще занавесить лик юного Блока, розово-золотого от перегаров зари, воспаленнейшей; невидимый жар исходил от спокойного образа тихо сидящего в кресле студента, волнуя; я помню беседы втроем; помню тихо внимающую супругу поэта; и — розово-золотой воздух; и — будто вспыхивающее "Око" и

Поднималась молча  
Тайна роковая —

— то есть тайна о Ней, начинающей Третий Завет; да, мы знали, что камня на камне в ближайших годах не останется от культуры "сократиков", разметаемой ветрами эпохи катастрофической; да, серьезное смешивалось с парадоксальным, с ребячливым; мне помнится: часто мечтали мы попросту, по-молодому; мистерия<sup>19</sup> человеческих отношений вставала; мечталась мне тихая жизнь среди лесов и скитов, нас, связавшихся братьев. Я помню, что на квартире В. Ф. Марконет у меня сорвалась вдруг фраза:

— Ах, как хорошо бы всем вместе — туда!

Л. Д. слушала, так уютно зажавшись (с ногами) в клубочек на уголке дивана (серо-коричневого, как все) в своем ярком, пурпурном капоте, с платком на плечах, положив золотистую голову на руку; слушала, — и светила глазами. А. А. в серой, старой тужурке, передо мною опрокинулся в кресло; и — чутко прислушивался.

Мы говорили о том, что... уйдем: что же? ушел Добролюбов<sup>20</sup>, ушел к Добролюбову вскоре студент, Л. Семенов, ушел через шесть уже лет Лев Толстой, уходил после я (я вернулся). Так зовы *ухода* от старой культуры мы слушали вместе в московские дни, — на заре "символизма"; и *целое*, атмосфера, розово-золотой воздух, — веял же, веял!

Пусть скажут, что были мы глупы: не глупы, а — молоды.

Наши беседы за полночь в коричневатой квартирке перерывались молчанием (С. М. сунул брови, и в мыслях его проносились вихри "теологических" оформлений, А. А. улыбался двойною улыбкой, скептически детской, Л. Д. — наливала нам чаю). Сидения наши, имевшие вид молчаливых радений, носили печать возникавшего тайного круга: эзотеризм *атмосферы* — блюли; непосвященные, — что сказали б они о подслушанном вместе? Нет, в эти минуты мы не были балаганными мистиками.

Но *мистики* "Балаганчика"<sup>21</sup> жили в Москве; и — водились и среди аргонатов; о них написал очень скоро\*; те "*Мистики*" расплодился особенно в мистическом анархизме<sup>22</sup>, который отвергли мы — я, С. М. Соловьев и Л. Л. Кобылинский.

Сидения перерывались шутками, импровизацией, шаржем: ковер золотой, аполлонов, был нужен; дурачились, изображая, какими казались бы мы непосвященным; С. М. начинал буффонаду: и мы появлялись в пародиях перед нами же сектою "блоковцев"; контуры секты выискивает трудолюбивый профессор культуры из XXII века; С. М. ему имя измыслил: то был академик, философ Ларап, выдвигавший труднейший вопрос: существовали ли "секта", подобная нашей, — на основании: стихотворений А. Н., произведений Владимира Соловьева и "Исповеди" А. Н. Шмидт. Ларап пришел к выводу: С. П. Х., друг Владимира Соловьева, конечно же — не была никогда; С. П. Х. — символический знак, криптограмма, подобная первохристианской: С. П. Х. — есть София, Премудрость Христова. "*Софья Петровна*"<sup>23</sup> — аллегорический знак: *София*, иль Третий Завет, возникающий на камне *второго*, — на камне "*Петре*"<sup>24</sup>: *вот что значило "Софья*

\* См. журнал "Весы". "На перевале". Мистерия 1906 г.

Петровна”, из биографии Соловьева: она есть легенда, составленная учениками философа.

Мы — хохотали.

Тогда, разошедшийся в шутках С. М., объявлял: ученик же Ларап’а очень-очень ученый Рапрап, продолжая лапановский метод, пришел к заключению, что А. А. никогда не женился: супруги по имени ”Любовь Дмитриевна” не существовало; и это легенда ”блокистов”: у Блока София Мудрость становится новой ”Любовью”, которая из элевзинской мистерии в честь Деметры<sup>25</sup>, ”Дмитриевна” — Деметровна.

Л. Д. — отмахивалась, а А. А. провоцировал к продолжению пародии.

Кажется, я забегаяю: Ларап появился позднее; появился он в Шахматове...

Так, С. М. Соловьев перед нами вышучивал собственную приподнятость чувств; в эти дни я заметил в С. М. экзальтацию; появление Блоков в Москве возбуждало его строить планы, системы, программы дичайшей общестственности, теократической нашей общестственности; он нас завлекал в свои сети; я помню, зачем-то надел сюртучок, перешитый, принадлежащий покойному М. С. Соловьеву; он был такой куцый; С. М. обвязал себе шею расхлябанным шарфиком-галстухом; помню его в этом странном наряде, махающим бурно рукой, с разлетевшимися волосами и с меховой большой шапкой в руке; он куда-то все неся; я встретил однажды его на извозчике; шуба на нем распахнулась; и тряпочка белого шарфика развевалась по ветру. Однажды С. М. затащил меня в фотографию, где мы снялись перед столиком, на который С. М. вдохновенно поставил портрет Соловьева; и — положил рядом Библию.

Староколенные люди не ведали нас в нашей странной горячке; сказали б они: ”Сумасшедшие!” Но сказали бы тоже, наверное, ”декаденты”; нет — хуже; они написали б статью о театре исканий Мистерии Жизни; но это фатально случилось через два только года.

## Блок в Москве

А. А. ласковый, выдержанный, даже светский, везде возбуждал рой симпатий; среди аргонавтов — особенно; в литературной среде молодых ”Скорпионов” и ”Грифов” А. А. возбуждал любопытство; а дамы шептались: ”Блок — прелесть какой”.

С литераторами он держался любезно, с достоинством; он с головою, высоко приподнятой, стал перед теми из мэтров, которые, может быть, ожидали от Блока хотя б одного только жеста от Гильденстерна или Розенкранца<sup>26</sup>, считая себя литературными принцами; к сожалению, представители нового направления не слишком освободились от старых привычек; и лесть принимали они. А. А. взял естественный независимый тон по отношению к мэтрам.

Я помню А. А. на одном из собраний книгоиздательства "Скорпион"; помню Брюсова очень сухого, с монгольскими скулами и с тычком заостренной бородки, с движениями рук, разлетавшихся, снова слагавшихся на груди, очень плоской (совсем как дощечка); и — помню я Блока, стоявшего рядом, моргающего голубыми глазами, внимающего объяснению Брюсова, почему вот такая-то строчка стихов никуда не годится и почему вот такая-то строчка годится.

Я помню А. А. на моем воскресенья, его ожидали друзья — "аргонавты"; из лиц, бывших тут, мне запомнились: Эллис (Л. Л. Кобылинский), С. Л. Кобылинский, брат Эллиса, очень болтливый философ, умеющий заговаривать собеседника до смерти; М. А. Эртель, историк, ценитель поэзии Блока, одно время ставший во мнении теософов чуть-чуть не Учителем; говорили, что он одолел философские произведения Индии в подлиннике; и перевел — Гариваншу<sup>27</sup> (правда ли это — не знаю); были: К. Д. Бальмонт, С. М. Соловьев, В. В. Владимиров, С. А. Соколов, редактор книгоиздательства "Гриф", теософ П. Н. Батюшков (внук поэта), А. С. Челищев, покойный Поярко, А. С. Петровский, писательница Нина Петровская, К. П. Христофорова, кажется, Д. И. Янчин, случайно зашедший профессор И. А. Каблуков, И. Я. Кистяковский с женою<sup>28</sup>; и были поэты из "Грифа" (кто именно, не помню); всего собралось человек 25.

В эти годы, здесь, в маленькой белой столовой, раскладывался стол от стены до стены; за столом происходили шумнейшие споры; порой появлялись ко мне на воскресенье неизвестные и полуизвестные люди, поэты ли, интересующиеся ли искусством, — не ведаю. Однажды совсем неожиданно появился у нас композитор Танеев, которому мы казались совсем чужаками: но потому-то он именно стал посещать нас, перепознакомился с нами; и "аргонавты" естественно оказались очень скоро потом постоянными посетителями танеевских вторников, на которых С. И. угощал великолепнейшим исполнением Баха (впоследствии С. И. Танеев дал мне ценнейшие указания в моих занятиях над ритмом).

Запомнилось: в то воскресенье вокруг Блока толпились "аргонавты"; и обдавали его своим пылом, стараясь поскорее устроить на Арго, считая Орфеем А. А., чтобы плыть за Руном; было очень нестройно: А. А. был любезным со всеми, но — несколько изумлялся куда он попал — к молодым символистам, к Станкевичу, в сороковые годы иль... просто в комедию Грибоедова: Виссарион Белинский, Бакунин встречались на моих воскресеньях с неумирающим Репетилковым и с героем Гюисманса<sup>29</sup>; был тут — Манилов; "грифята" старались быть "гюисмансистами"; а С. А. Кобылинский, конечно же, на воскресенье свалился со всеми своими манерами и культом Лотце<sup>30</sup> из доброго, старого времени; был Репетиллов представлен, но... — Nomina sunt odiosa!<sup>31</sup> Ужасающий был кавардак; мне казалось: стихотворение Блока воскресло:

Все кричали у круглых столов,  
Беспокойно меняя место...<sup>32</sup>

Вскакивали, уходили и приходили; гремели летавшие стулья, врываясь в гам голосов, в перекрики, в смех, в споры; с А. А. я был мало в тот вечер, предоставляя А. А. его старым московским поклонникам; их старался узнать он, вникая во все, что ему говорили, не успевая с ответами; появлялась в нем мешковатость, переходила в растерянность; и живая улыбка нервически напрягалась; и — застывала; у глаз появились мешки; он темнел.

Зачитали стихи: Бальмонт, я, еще кто-то, он; Бальмонт вынул свою неизменную книжку: выбрасывать строчки свои, как перчатки, — с надменством; потом читал Блок; поразила манера, с которой читал он; сперва не понравилась (после ее оценил); мне казалось: — не музыкально звучали анапесты<sup>33</sup>; голосом точно стирал он певучую музыку собственных строчек, — деловитым, придушенным несколько, трезвым, невыразительным голосом; несколько в нос он читал и порою проглатывал окончание слова (я думаю: для А. А. характерны нечеткие рифмы "*границ*" и "*царицу*", в произношении А. А. окончания "ый", просто "ы" прозвучали бы ровно одинаково; а созвучья "*обманом — туманные*" — сошли бы за рифму); не чувствовалось повышения и понижения голоса, разница в паузах; будто тяжелый, закованный в латы, ступал по стопам; и лицо становилось у А. А., как голос, тяжелым, застылым; острился теперь большой нос, изгибались губы из брошенной тени; глаза помутнели, как будто бы в них проливалось олово; тяжким металлом окованный, точно броней, так он выглядел в чтении.

К. Д. Бальмонт произносил стихи с пренебрежительным вызовом: "Вот вам — дарю: принимайте, ругайте, хвалите, мне все безразлично: я — солнце!" В. Брюсов же чтением подает хорошо испеченные строчки на стол, точно блюдо — в великолепнейшей сервировке: "Пожалуйста-с!" Он декламирует горько надтреснутым голосом, хрипло-гортанным, переходящим то в клекот, а то в клекотанье, подобное воркованью, не выговаривая раздельно "к", "т" (например, "*математ ити*" — не "*математ ики*"). Я в годы те пел стихи, очень часто сбиваясь на цыганский мотив и меняя естественность ударения: "*Над нами воздушно безми-рный*"... А. Блок претяжелою поступью медленно шел по строке: "Да, да, это — так; это — есть; это — было; и — будет!"

А. А. в этот вечер общался по преимуществу с Эллисом, В. В. Владимировым и А. С. Петровским; меж Эллисом и А. А. возникли очень скоро потом непонимания; с К. Д. Бальмонтом А. А. не общался почти; в этот вечер Бальмонту А. А. не понравился.

В эти же числа мы, чтившие память М. С. и О. М. Соловьевых, сошлись — в годовщину их смерти: в Новодевичьем монастыре; в розовом\* монастырском соборе; торжественно заливались монашенки певичие; чайная прошлых лет восставали; припоминалась "*Симфония*"<sup>34</sup>; припоминался В. С. Соловьев; и могилу его посетили мы с Блоком, — память незабываемых

\* Впоследствии перекрашеном в белый цвет.

дней; мне особенно радостно было с А. А. повстречаться здесь именно; матовый, мягкий, чуть вьюживший день сиротел; и похрустывал снег под ногами; и с елок на нас опадали снежистые веи; потом мы попали к Поповой (сестре Соловьева<sup>35</sup>); и пили вино, вспоминая покойных, обмениваясь впечатлением дня; сколько после легли: Л. И. Поливанов, В. С. Соловьев, мой отец, С. М. и О. М. Соловьевы, П. В. Соловьева<sup>36</sup> (супруга историка), Чехов, А. Г. Коваленская, А. М. Марконет, Скрябин, Эрн, Т. А. Рачинская; и — другие; хотел бы я там сложить свои кости<sup>37</sup>.

Запомнился у Поповых длиннейший, затеянный Эллисом, разговор, обращенный к А. А.; Эллис, бледный, с кровавыми, как у вампира, губами, с зеленоватыми глазками, с черной, как уголь, бородкой, с лицом, налезавшим, обдающим слюною собеседника — мучил А. А.; и нервически передергивался плечами, покручивал усик; и — сыпал свои арабески из слов; всем хотелось сидеть в тишине, принесенной с могил, а тут — нате же: со страстно сухостью, неутоляемой, фанатической, Эллис тащил за собою А. А. через образы Данте, через химеры соборов к... Бодлеру, который А. А. был так чужд; но у Эллиса были две линии: католического аскетизма и линия брейгелевских кошмаров, кощунств с "Notre Dame" и цинического дендизма Бодлера; лишь в схватке двух линий для Эллиса вспыхивал путь к символизму, иль к "Аргу"; я видел — А. А. зеленеет в словесных потоках; несносна ему эта взвинченность Эллиса на пружинах схоластики; под проповедником символизма таился до времени в Эллисе пропагандист, агитатор, монах (Эллис принял потом католичество); помнится: Эллис потоки свои приправлял бранью по отношению к Брюсову; верным слугою его стал он вскоре; так помнится: лысое, мертвенное лицо, зелень глаз и кровавые влажные губы; за ними откинутый, изнемогающий Блок, под потоками парадоксов, давно каменеющий; загар лучезарный потух в серо-желтой тени такого худого лица, а дрожащие губы просили о помощи: "Освободите скорее меня от сухой этой бури!"

Я очень страдал: за А. А. и за Эллиса; я любил их обоих; я знал, что неистовый Эллис может умереть за то именно, что сейчас представлялось ему идеалом; увы: идеалы — менялись: сначала — ученый-марксист, агитатор; поклонник Стеккети<sup>38</sup> — потом; в 1901 году проповедующий профессора Озерова<sup>39</sup>; в 1902—1907 годах — бодлерианец, в 1908 — бруссианец; в 1909 — "дантист"; в 1910 — искатель пути посвящения; в 1911—1913 годах — штейнерист; в 1915—1916 — верный поклонник Лойолы, готовый предать современность Святому Костру Инквизиции, употребляющий в письмах ужасное сокращение "Св. К.", означающее "Святой Костер".

Упоминаю об этом сиденьи А. А. с иссушающим Эллисом потому, что встреча их — встреча людей замечательных: возмутительный переводчик, бездарный поэт, публицист только *бойкий*, был Эллис почти гениален в иных из своих проявлений; и кроме того: был среди нас инспиратором, агитатором он "*символизма*", организатором ряда кружков.

После Блок говорил: "Нет, вы знаете, нет: я Льва Львовича \* все-таки выносить не могу, нет уж, нет!"

И почти выражением физической боли перекивлялось лицо у А. А.

Эту боль я не раз подмечал (выражение нетерпеливости, жившей в нем): нетерпеливой правдивости; вздрагивал он в звуках фальши, сжимался; на губах появлялась улыбка страдания от усилия — перемочь, стиснув зубы; когда ж аритмия росла, он — тускнел, облетая загаром и становясь некрасивым; дурнел весь в тенях, обостряющих нос, с очень сжатыми и сухими губами, — надменно изогнутыми: молчаливый, испуганный, странный и злой.

А я был — терпеливее: тоже страдая от фальши, я месяцами ходил, как ободранный; но нестроицу нес, как свой крест, все стараясь организовать звук гармонии из сумбура, ему отдавая свой собственный ритм; Блок — сжимался: от нетерпения; а я — разрывался; порою — взрывался: тогда выходили совсем неожиданные инциденты, скандалы. А. А. в эту пору страдать не хотел; а я же ставил проблему страдания и жертвы, чрез символ распятого Диониса вплотную приблизившись к биографии Ницше; А. А. всегда был далек от Ницше: тут мы расходились; я был ближе к Эллису; и — к проблемам противоречия; а А. А. того времени волил преображения; преображение не пришло: он и умер.

В проблемах религиозных я был, так сказать, *логосичен*; А. А. — был космичен и софиански настроен; истории христианства чуждался, к истории подходя через грядущее; но грядущее он приближал; и его не дождался; воистину нужно быть терпеливым еще — до тридцатых годов. Религиозное общество Петербурга меня захватило; и я задружил с Мережковским; дружил и с Рачинским — с Рачинским, который так чутко относился к поэзии Блока, которого Блок не заметил (заметил не пристально), как не заметил епископа на покое, Антония, про которого покойный Семенов сказал: "Я не знаю, кто больше — Толстой или этот епископ". Мы Блока возили к Антонию, в то свидание Антоний молчал. Молчал и А. А., потускневший, немой. Выходило: Петровский и я затащили насильно к Антонию Блока. Я должен сказать откровенно, что мы посягали на Блока; и часто тащили его: показать. Он, сжимаясь, смирялся: в нем слышалась боль.

Он чуждался поставленной мною задачи: сплотить коллектив, создать ритм, подготовить мистерию человеческих отношений, украсить обрядом мистерию (вскоре я стал заниматься проблемой элевзинских мистерий); я чувствовал: аргонавты, которые о мистерии грезят, подходят абстрактно к мистерии, разламываясь в их связующем центре; и все же в среде аргонавтов серьезно стояла проблема мистерий\*\*. Трагедия "аргонавтизм-

---

\* Эллиса.

\*\* Мои статьи, написанные в линии "аргонавтизма": "Символизм, как миропонимание", "Маска", "Химера", "Сфинкс", "Феникс", "Луг зеленый", "Священные цвета", "О теургии".

ма": не сели конкретно мы вместе на "Арго"; лишь побывали в той гавани, из которой возможно отплытие; каждый нашел свой корабль, субъективно им названный "Арго"; и прошлое аргонавтов различно; и будущее разделило их; "Арго" лишь пункт, где различные души при встрече сказали друг другу "Эвоэ"<sup>40</sup>; и — после расстались.

Что общего было меж нами? Петровский — у которого прошлое: православие, консерватизм, а потом — богоборство; у которого будущее: Серафим, розенкрейцерство<sup>41</sup>, антропософия; или Эллис, марксист, бодлерианец; и — будущий богомольный католик; Э. Метнер, славянофильствующий кантианец; потом — гетеанец, германofil с явной слабостью к Чемберлену<sup>42</sup> и Фрейду<sup>43</sup>; или — Батюшков: теософ, теософ до скончания веков; или — Эртель, оставленный при университете историк; потом — оккультист, "санскритолог" (а может быть, это лишь миф о нем); далее скромный работник по просвещению; Павел Иванович Астров, поклонник Петрова<sup>44</sup>, потом..? или: что было общего меж М. И. Сизовым и Ниной Петровской? Лишь лозунг, что будущее какое-то будет, соединял нас в то время. "Аргонавтизм" оказался в годах проходным лишь двором; в 1904 году аргонавты, — столкнулись мы в нем; а теперь мы рассеяны по идеям; и даже по странам.

Грядущее расхождение чувствовал я; и — страдал; я искал атмосферы, а атмосфера размывалась, ускользала; и оставались: кричащие противоречия эмпирической жизни; они меня резали. И А. А. чутким сердцем почувствовал это. И независимо от идейных мотивов, совсем независимо от тактических действий моих (они были ему вовсе чужды) придвинулся чутким сочувствием, братски обнял меня в горе моем (это горе еще не вполне осознал я). Во мне жило острое чувство, что простирание к тайне, к музыке, к братской мистерии — "*глас вопиющего*". Вскоре во мне моя боль стала жгуча; и я написал:

Вы — шумите: табачная гарь  
Дымно синие стелет волокна...  
Золотой мой фонарь —  
Освещает лучом ваши окна<sup>45</sup>.

Шумели, конечно же, *аргонавты*, там именно, где хотелось совместного ритма; и — понимающей тишины. Вскоре я написал А. А. :

Не оставь меня, друг, —  
Не забудь...<sup>46</sup>

Он — прочел мою боль: и ответил мне строчками:

Так я знал. И ты задул  
Яркий факел, изнывая  
В душевной тьме.

И — далее:

Молчаливому от боли  
Шею крепко обойму<sup>47</sup>.

Помнится, — характернейший вечер в издательстве "Гриф", где особенно переживалась нестроица; были там: и *аронаваты*, и *грифы*, и барышни "лунно-стройные", и А. А. с Л. Д.; произошел балаган: от неискренности одних, от маниловщины других; и — привирания третьих; там кто-то из теософов воскликнул, что шествует, шествует Посвященный, а Эртель, блеснувши осатанелыми от экстаза глазами, скартавил бессмыслицу, что Москва, вся объята теургией (вот что это "что" — позабыл: преобразается, что ли?); вдруг сытый присяжный поверенный забасил: "Господа — стол трясется". Наверное, преобразование мира себе он представил, как... *столоверчательный* акт, — увидел, что Блок посерел от страдания, а Л. Д. очень гневно блеснула глазами; я — что говорить: все во мне замутилось за А. А., за себя (за Нину Петровскую, понимавшую "Балаганчик"), вдруг вижу: А. А. очень нежно подходит ко мне; начинает подбадривать: взглядом без слова; сочувствие превозмогло в нем брезгливость к душевному кавардаку; он весь просиял; и пахнула тишайшая успокоительная атмосфера его на меня.

Вскоре вместе мы вышли; я шел, провожая А. А. и Л. Д.: шли мы в тихий снежок, порошивший полночную Знаменку; этот мягкий снежок так пушисто ложился на меховую, уютную шубку Л. Д.; помню себя я с ободранной кожей; помню: А. А., тихо взяв меня под руку, успокоительными словами сумел отходить; с того времени: в дни, когда что-либо огорчало меня, я являлся к А. А.; я усаживался в удобное кресло; выкладывал Блокам — все, все. Л. Д., пурпуровая капотом, склонив свою голову на руки, молчала: лишь блесками глаз отвечала она; А. А., — тихий-тихий, уютный и *всепонимающий брат*, открывал на меня не глаза — голубые свои фонари: и казалось мне, видел насквозь; и — он видел; подготавлилось тяжелое испытание: сорваться в мистерии; и потерять *белизну* устремлений; А. А. это знал; невыразимым сочувствием мне отвечал.

В эти дни перешли мы на "ты".

Он говаривал мне:

— Понимаю я: все это грубо: *не то и не так*, что тебя окружает...

С. М. Соловьева в те дни уже не было с нами: он вдруг заболел scarлатиной; я помню: раз встретились с Блоками мы перед дверью больного: старушка А. Г. Коваленская перешептывалась с Александрой Степановной Любимовой, ухаживавшей за С. М. Здесь я запомнил А. А.: его чуткое отношение к растревоженной "бабушке"; А. А. был деликатнейший человек.

Ежедневно видались мы с Блоком и, странно, почти не беседовали об искусстве; и соловьевские теории с времени болезни С. М. оборвались,

уступили простым очень жестам, А. А. жертвенно нянчился с состояньем моим, точно нянька с больным; я заботы его обо мне принимал с эгоизмом.

То были последние дни жизни Блока в Москве; перед отъездом с А. А. мы пошли на собрание кружка, объявившихся незадолго до этого юношей, увлекавшихся религиозной проблемою; там я читал реферат<sup>48</sup>; долго спорили; юноши — П. А. Флоренский (будущий священник-профессор), В. Ф. Эрн (доцент философии в будущем) и В. А. Свенцицкий, наделавший скоро потом много шума; из бывших запомнились: братья Сыроечковские<sup>49</sup>, Галанин<sup>50</sup> и, кажется, Шерр; собрание происходило в студенческой комнате Эрна (у Храма Спасителя); собрание А. А. не понравилось; он — потемнел:

— Нет, — не то: между этими всеми людьми что-то есть там тяжелое.

Будущее оправдало *"нюх"* Блока: произошли в этом обществе тяжкие драмы, которые готовились уже; и А. А. это чуял:

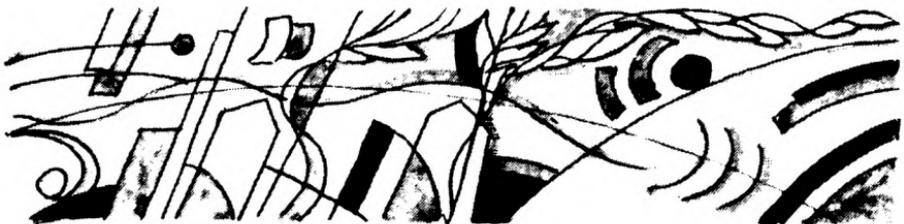
— Не нравится мне!

После Эрн и Свенцицкий хотели приблизиться к Блоку; но он — отстранялся, особенно в ту пору, когда из собравшегося кружка образовалось *"Братство борьбы"*<sup>51</sup>, запечатавшее воззвания с черным крестом и расклеивавшее прокламации к духовенству, к войскам и т.д. К братству примкнули: Булгаков и Волжский<sup>52</sup>; распространителями прокламаций на юге мне кажется были: Беневский и Лундберг<sup>53</sup>.

На этом кончаются воспоминания о пребывании Блока в Москве. Из сообщений в Москву А. А. Кублицкой узнали мы: А. А. вернулся довольный; Москва в нем оставила бодрое и хорошее впечатление.



## Глава третья    ШАХМАТОВО



### 1904-ый год

От февраля до мая 1904 года мы редко переписывались с А. А.; переписка не была напряженна; я был поглощен событиями личной жизни<sup>1</sup>, которые вызвали во мне перелом: от настроений 1900 до 1904 года к настроениям 1905 до 1906 годов. Заканчивался цикл *"Золота в Лазури"*<sup>2</sup>; писались первые стихотворения *"Пепла"*<sup>3</sup>. А. А. подходил к циклу *"Нечаянной Радости"*.

Подчеркиваю: "стихии", которым поэт отдавался, — менялись; война — началась<sup>4</sup>; ощущались гулы грядущего времени; и — колориты зари изменялись; осуществлялась строчка стихов, посвященных мне: "Понял, что будет темно". В душах теплился отблеск былой лучезарности; обобьденились зори; период свечения, вызванный распространением вулканической пыли от мартиникского извержения<sup>5</sup> в земной атмосфере — кончался; павлиньи хвосты на закатах сменялись обычным закатом. И тускнение атмосферы земной сопровождалось тускнением атмосферы душевной; тускнела сама стихотворная строчка; Бальмонт ниспадал в неприятные вычурсы. Солнечные поэты садились в туманы; поэты же мрака и зла оттеняли влиятельней; действовал на душу Брюсов<sup>6</sup>; влиял Сологуб *"Мелким бесом"*<sup>7</sup>.

Тут появилась впервые в России фигура двусмысленного Вячеслава Иванова<sup>8</sup>, давшего обоснование символизму, с одной стороны, но с другой — что-то слишком расширившего его сферу и тем затопившего символизм расширением в декадентство с одной стороны, в александрийство<sup>9</sup> — с дру-

гой; вскоре "среды" Иванова<sup>10</sup> в Петербурге явились рассадником синкретических веяний, вдохновляя творцов популярных газетных статей; фигура Иванова — фатум в истории русского символизма, вписующий в эту историю светлые строки и темные строки; сыграл этот крупный ученый поэт не последнюю роль в распылении наших тенденций; под влиянием плохо понятных, недостаточно оговоренных взглядов Иванова ставился как бы знак равенства между театром и храмом, мистерией и драматической формой, Христом и Дионисом<sup>11</sup>, Богоматерью и просто женщиной, символом и сакраментальной эмблемой, между любовью и эротизмом, между девушкой и менадой<sup>12</sup>, Платоном и... греческой любовью, Теургией и филологией, Вл. Соловьевым и Розановым, оркестрою<sup>13</sup> и... Парламентом, русскою первобытною общиною и... "Новым Иерусалимом"<sup>14</sup>, народничеством и славянофильством<sup>15</sup>. Описываю эпоху неспроста, а в духе сравнений А. А.; в предисловии к поэме "Возмездие", характеризуя стихию России 1910—1911 годов, А. А. ищет "мотива" стихии, единства, многообразия проявлений ее в индивидуальнейших и общих явлениях стиля: "Все эти факты", так пишет он, "казалось бы столь различные для меня, имеют один музыкальный смысл. Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему зрению в данное время, и уверен, что все они вместе издают единый музыкальный напор"<sup>16</sup>. Всякий истый философ культуры так именно действует; в многообразии проявлений нашел музыкальную тему досократической Греции Ницше, и в таком направлении протекали усилия Шпенглера<sup>17</sup>: в отыскании зодчества эвклидовой геометрии, алгебры, арабески и стиля барокко — позднейшего математического анализа.

Биография Блока не будет ясна вне огромного фона эпохи и вне музыкальных напоров ее; А. А. был самым чутким, правдивым, подчас бессознательным жестом звучащего времени; воспоминания связаны с шумом времен; этот шум нас связал; и пускай в осознании шума не раз расходились; но шуму внимали мы; чередованью ветров; свершения с 1904 года менялись; они развели нас с А. А.; расхождение наше являлось одновременным отходом от прежней зари, чтобы по-новому встретиться; в предвоенном томлении и в страшных годинах мы подали руку друг другу — по-новому.

Эра 1904—1908 годов была эрою написанья "Нечаянной Радости", "Балаганчика", "Незнакомки" и "Снежной маски". И в тот же период возникли: мой "Пепел", "Урна"<sup>18</sup> и "Кубок метелей"<sup>19</sup>, как нота зари нас свела, так тяга к народному духу (стиль мыслей А. А. в "Золотом Руне" и стиль "Пепла", отдача метели себя в "Снежной маске" и в "Кубке метелей") нас вдруг развели; разъединение не скоро сказалось: при встречах друг с другом о ночи, в которой блуждали, молчали: и говорили о прошлой заре.

Помню в тот период А. А. мне ответил стихами:

Так, я знал. И ты задул  
Яркий факел, изнывая  
В душной мгле<sup>30</sup>.

Это *"И — ты задул"* — характерно; А. А. признает: *факела* задувались. Для многих, не слышащих шума эпохи, наоборот: факела — раздувались; и потому-то я встретил впоследствии с пеной у рта сборник *"Факелы"*<sup>21</sup> (сборник мистических анархистов): *"Какие там факелы: ветер задул их..."*

А. А. первый приветствовал зори и первый отметил, что *"будет темно"*; так название сборника *"Нечаянная Радость"* во мне вызвало горький, почти что насмешливый каламбур: *"Не "Нечаянной Радостью", а отчаянным горем был должен назвать бы стихи свои Блок..."*

В 1904 году уже А. А. написал: *"Фиолетовый запад гнетет, как позатье десницы свинцовой"*<sup>22</sup>. Скоро он написал про осенние, сырые дни:

Битый камень лег по косогорам,  
Скудной глины желтые пласты.  
.....  
Среди скудной глины он странник, бредущий,  
Нищий, распеваящий псалмы<sup>23</sup>.

Дни весны 1904 года проводил я с Э. Метнером в Нижнем Новгороде; Э. К. восхищался стихами А. А.; он не раз говорил, что в стихах тех досадны хлыстовские привкусы; я — отрицал эти привкусы; Э. К. мне выдвинул все опасности *теургизма* в поэзии; перерождается теургизм в яды врубелевских, великолепных *лилово-зеленых* тонов; он не раз говорил, что и Блоку, и мне совершенно по-разному эти яды грозят: чистый Демон искусства отомстит за погранье сферы эстетики; в *"Добротолубии"*<sup>24</sup> говорится про демона: он — *"дух печали"*: *Символом этого духа служила ехидна, которой яд в малом количестве даемый уничтожает другие яды, а принятый неумеренно убивает\**.

После смерти А. А. этот текст показали мне; был он подчеркнут рукою А. А.; на полях я увидел приписку А. А.: *"этот демон необходим для художника..."*

Характеристику духу уныния того же Антония Великого<sup>25</sup> сопровождает А. А. примечанием на полях: *"Знаю, все знаю"*. А. А. в своем скрытом сознании, под фактами биографии пристально вглядывался в законы *"пути"*; одна голая мистика — не насыщала его; он тянулся инстинктом к духовному *"ведению"*; преодоление мистики в опыты знания — мучительно, трудно, опасно; ужасным томлением, рядом ударов слагается опыт духовный вне руководства; томление по *"духовному знанию"* — причина

\* *"Добротолубие"* т. 1. из Антония Великого *"О различных порочных помыслах"*.

трагических переживаний поэта, разоблачившего "мистику" своей первой ступени; в "Добротолюбии" сказано: "Этот томлящий людей дух бывает причиною и доброго..." Да, нападение "духа печали" — всегда испытание. С 1904 года А. А. уже входит почти в испытание это. В "Добротолюбии" сказано: "Впрочем, всякий, кто подражая Аврааму, исшел из земли своей и от рода своего стал через то сильнее..." Эти отрывки цитирую я потому, что рукою А. А. они четко подчеркнуты; лейтмотивом скитания ("Нищий, псалмы распеваящий") начинается новый период стихов его. Внутренне он уже ищет пути, выходя на дорогу:

Выхожу я в путь открытый взорам.

И внешнее: кончается определенный период; весной 1906 года А. А. оканчивает Университет, переселяясь с женой из прежнего материнского дома в свой дом; то эмблема другого ухода, начавшегося до того: ухода из атмосферы 1900—1902 годов после периода выжидательного (1903 год) — ухода, мучительно сопряженного и с отказом от близких друзей (от С. М. Соловьева и временно от меня); у А. А. появляются новые связи; иные проблемы стоят перед ним; В. Иванов, Чулков, Мейерхольд<sup>26</sup> окружают его; в 1905 году он в поэме "Ночная фиалка" признался:

Ибо что же приятней на свете,  
Как утрата лучших друзей<sup>27</sup>.

Зная верность А. А., доброту его, зная размахи моральной фантазии, зная глубокую элементарную честность поэта, — поймем, что печаль и страдание исторгли в поэте те горькие строки.

Боль, связанная с самопознанием и с попытками чтения стихий, обуревавших А. А.; таковы основные мотивы сознательной жизни поэта, входящего в новый период; он чувствует "нищим" себя, распеваящим псалм, после временного ощущения себя "рыцарем предела Иоаннова", чувствует себя одиноким; не то что недавно:

Молча свяжем вместе руки.

Те, с кем связывал руки, — отсутствуют.

Мистик, сознающий в себе одоление мистики и искусственно длящий в себе сурrogаты экстазов, — любитель комфорта; в чудовищной прелести он; я — такой в это время; А. А. — себя видел; я — нет; ощущая в себе двойника, А. А. видел во мне моего двойника; и он видел, что я закрываю глаза — на себя самого; повернуть мне глаза на меня самого он пытался — и нежно, и бережно; я же был глух, укрепляя меж нами ту "ложь компромисса" (служение "зорям", уже ответившим), которой А. А. не хотел своей яркой, правдивой душой; А. А. видел во мне и прощал "компромиссы" мои, исцеляя душевные раны участием братским; я весь протянулся к нему.

## Поездка в Шахматово

В конце мая 1904 года я получаю от Блока настойчивое приглашение в Шахматово; С. М. Соловьев в Москве должен присоединиться ко мне; приезжаю из Тульской губернии я в июне в Москву; здесь задерживаюсь дней десять (дела, срочная работа в "Весах" и т.д.); поджидаю С. М. Соловьева, окончившего гимназию и гостившего у друзей (в имени, недалеко от Москвы); в эти дни умер Чехов; в Новодевичьем монастыре — посещаю могилу его\*. Лишь в последние числа июня, а может, в начале июля<sup>28</sup>, решаюсь я ехать к А. А.; присоединяется ко мне А. С. Петровский, совсем неожиданно; я не помню, как он решился ехать со мною, но помню, что, сидя в вагоне, мы оба перепугались, почувствовали конфуз: я — от сознания, что еду впервые к А. А. и везу с собой спутника, которого не приглашали хозяева; А. С. — от того, что он сам "напросился".

Стояли прекрасные, ясные, жаркие дни; наливалася рожь; глубенело синейшее небо; мне помнится, — мы говорили в вагоне, чтобы не слышать конфуза, о *спиритизме*, которому отдавались знакомые\*\* и который считали, естественно, мы профанацией символизма и мистики, вредной и философски несостоятельной; спиритических фактов оспаривать мы не могли\*\*\*.

Незаметно приехали так на Подсолнечную, где вышли и наняли тряскую, неудобную бричку; на ней прокачались мы верст 18 до Шахматова, озираясь на кочки, на лес, на болота, на гати; был лес — невысокий, но частый... Меня поразило различие пейзажей под Крюковым и под Подсолнечной; один стиль пейзажа до Крюкова: стиль ковровых лугов, очень ровных, пересеченных лесами, всегда белоствольными, с малой неровностью почвы, с обилием деревень; от Поварова до Подсолнечной стиль изменяется: пейзажи становятся резче, красивей и явно дичают; лугов уже меньше; леса отовсюду (теперь их повырубили); больше гатей, оврагов и рытвин; деревни — беднее; их — меньше; уже не Московская, а Тверская губерния; Русью Тверской уже веет (Тверская же Русь — не Московская Русь) — тою Русью, которая подлинная и о которой А. А. так чудесно сказал:

О Русь моя, жена моя, до боли  
Мне ясен долгий путь...<sup>29</sup>

Здесь, в окрестностях Шахматова, что-то есть от поэзии Блока; и — даже: быть может, поэзия эта воистину шахматовская, взятая из окрестностей; встали горбины, зубчатые лесом; напряжались почвы и врезались зори:

---

\* С Чеховым я никогда не встречался, но всегда глубоко любил его яркий, родной мне талант.

\*\* С. А. Соколов, Н. И. Петровская и некоторые другие (Ребиков, Ланг), увлекаемые Брюсовым, предавались усиленно спиритическим экспериментам.

\*\*\* С этими фактами я не раз конкретно соприкасался в жизни, наталкивался на них; и всякий раз — с отвращением.

И вдоль вершин зубчатых леса  
Засветит брачная заря<sup>30</sup>.

Обилие хмурых горбин и болот с очень многими окнами, куда можно кануть — пойдешь прогуляться, и канешь в окошко, — все это вплотную обстало усадьбу, где вырос А. А. ; здесь — водится нечисть; здесь — попик болотный на кочке кощунственно молится за *"лягушачью лапу, за римского папу"*; колдун среди пней полоняет весну; и маячит дымком *"Невидимка"*; сюда же Она по заре опускается розовым шелком одежд.

Я описываю окрестности Шахматова, потому что в поэзии Блока отчетливо отразились они — и в *"Нечаянной Радости"*, и в *"Стихах о Прекрасной Даме"*; мне кажется: знаю я место, где молча стояла "Она", *"устремившая руки в зенит"*: на прицерковном лугу, заливном, около синего прудика, где в июле — кувшинки, которые мы собирали, перегибаясь над прудиком, с риском упасть в студенистую воду; и кажется, что гора, над которой "Она" оживала, — вот та:

Ты живешь над высокой горой<sup>31</sup>.

Гора та — за рощицей, где бывает закат, куда мчались искры поэзии Блока; дорога, которой шел "нищий", — по битому камню ее узнаю (*"Битый камень лег по косогорам, скудной глины желтые пласты"*), то — шоссе меж Москвою и Клином; вокруг косогоры, пласты желтой глины и кучи шоссейного щебня, покрытые белым крестом; здесь, по клинско-московской дороге, я мальчиком гуливал; и собирал битый камень: под Клином, верстах в 20-и у Демьянова<sup>32</sup>, где проживал восемь лет и откуда бывал я в Нагорном; бывали и Блоки в Нагорном, — посредине дороги, меж Клином и Шахматовым.

Импровизирую я: в эти годы не мог изучать я природу под Шахматовым окном биографа; общие линии пейзажа запомнились: связь их с поэзией Блока — явна; а гора и дорога, — за них я ручаюсь: шел нищий по этой дороге, имея направо ту самую гору; налево же — рощицу; рощицу пересечешь, — и посевы картофеля, кажется; а вдали — крыша дома. Уже близ усадьбы с Петровским мы вспомнили, что места эти всех нас связуют по детству; С. М. Соловьев проводил лета в Крюкове (смежная станция); А. С. Петровский — под Поваровым (полустанок меж Крюковым и Подсолнечной), а Л. Д. проживала в имении Боблово (Менделеевых) — здесь же. Приехали! Прямо из леса мы въехали на просторный, травой поросший усадебный двор, где таились в зелени службы (конюшни, сарай, дом, маленький флигелек, где жил Блок с Л. Д.); но "мальчишески" — перепугались, когда оказались одни на крыльце перед плотно затворенной дверью одноэтажного дома с надстройкой, кофейного, может быть, темно-желтого цвета.

В переднюю робко открыли мы двери; там нас встретили две, как казалось нам, невысокого роста растерянные дамы; они были худы, нервные и порывисты (мать поэта и тетка поэта<sup>33</sup>); и мы оказались захвачен-

ными врасплох; Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух признавалась впоследствии, что сперва она наше присутствие ощутила, как некий конфуз, передавшийся мне и воспринятый мной неприязнью; расстроился я и понес несуразную витиеватую дичь по поводу появления нашего; А. С. Петровский — увял; проводили в гостиную нас через столовую; мы уселись все вчетвером и не знали, о чем говорить и — как быть; я удивился растерянности Александры Андреевны, как некогда — внешности Блока; мать Блока — такая какая-то... Какая же? Да такая какая-то — нервная, тонкая, очень скромно одетая (в серенькой кофточке), точно птичка, — живая, подвижная, моложавая: зоркая до... прозорливости, до способности подглядеть человека с двух слов, сохраняющая вид "институтки"; впоследствии понял я: вид "институтки" есть выражение живости Александры Андреевны, ее приближавшей, как равную, к темам общения нашего с Блоком: тот род отношений, которые складывались меж "матерями" и молодым поколением, не мог с ней возникнуть; "отцов и детей" с нею не было, потому что она волновалась с нами, противясь "отцам", не понимая "отцов", — понимая "детей"; скоро мы подружились (позволяю себе так назвать отношения наши: воистину с уважением к А. А. Кублицкой-Пиоттух сочеталась во мне глубочайшая дружба).

Запомнилось первое впечатление от комнаты, куда мы попали: уютные комнаты, светлые комнаты, скромные, располагающие к покою; блистали особенной чистотой они, сопровождающей Александру Андреевну повсюду; не видел я ее "хозяйкой"; вокруг нее делалось все незаметно, уютно, само собой, шутя; но во всем был порядок "хозяйского глаза"; во всем была — форма; и для всего был — свой час; я попал в обстановку, где веял уют той естественно скромной и утонченной культуры, которая не допускала перегрузки тяготящими душу реликвиями стародворянского быта; и — тем не менее обстановка — дворянская; соединение быта с безыскусностью; говорили чистейшие деревянные стены (как кажется, без обоев, с орнаментом перепиленных суков); сознавалось: из этих вот стен есть проход в бездорожье; они — "золотая межа" разговоров, ведущих: куда?

Но ведет к бездорожью  
Золотая межа<sup>34</sup>.

Золотая межа — Александра Андреевна, — одна из хозяек "дворянской усадьбы"; и разговоры вели — в бездорожие зорь: к А. А. Блоку.

Меня поразило: все в этих стенах, — простота, чистота и достоинство; нет — "разночинца"...

Запомнилось это сидение вместе, во время которого появились в гостиную двое юношей, что-то очень корректные: юноши были представлены как сыновья С. А. <sup>35</sup> (тетки А. А.), появилась сама С. А., очень она мне понравилась; но она нас покинула; мы вчетвером (М. А., А. А., я и А. С.) перешли на террасу, сходящую в сад, упдающий по горе витиеватыми

и крутыми дорожками, соединенными с лесом лесными тропами (леса обступали усадьбу), прошлись по тенистому саду; и вышли в поля; и там — издали тотчас же увидели А. А. и Л. Д., возвращающихся с прогулки; их образ запечатлелся: на цветородном лугу, в ясном солнышке Любовь Дмитриевна, облеченная в струйно-розовый, раздуваемый ветерками капот, шедший ей, с белым зонтиком на плечах, молодая, розовощекая, сильная, с гладкой головкою, цвета колосьев, — напоминала мне Флору, кусочек зари, или — розовую атмосферу А. А.; *"зацветающим сном"*<sup>36</sup>, стихотворением А. А. мне повеяло, — и душистым и пряным. А Александр Александрович, шедший с ней рядом — каким он казался высоким, широкоплечим, покрытым коричневым загаром! Без шапки, рыжеющий волосами на солнце, был очень под стать он Л. Д.; в своих длинных, рыжеющих голенищами сапогах, в очень белой просторной рубашке, расшитой рукою Л. Д. темно-красными лебедами и подпоясанный поясом с пестрыми и густыми кистями, напоминала мне Ивана Царевича. Созерцая прекрасную, розово-белую пару в цветах полевых поливаемых жарящим солнцем, я слушал горячие визги стрижей, расстригающих небо: церковных стражей; переливы далекие поля ржаного — запомнились: чуть ли не вырвалось вслух:

— Как подходят друг к другу они.

А. А. издали нас увидал, остановился и, приложив к глазам руку, разглядывал; нас узнавши, оставив Л. Д., побежал крупным бегом по полю; остановился он, запыхавшись пред нами; и со спокойною, важной какой-то улыбкой без удивления подал нам руку:

— Ну вот и приехали!

Тут повернувшись к А. С., он добавил все с тем же внушительным юмором:

— Вот хорошо.

А. С., сконфузившись, что-то хотел объяснить о приезде своем; но пред этой спокойной улыбкой без удивленья, улыбкой довольной, запутался в выражении; и — махнув безнадежно рукой, оборвал сам себя:

— Хорошо, что приехали.

Видом своим А. А. подчеркнул очень отчетливо, что приезд А. С. П. есть то самое, что лежало в порядке вещей, что так надо, что "все обстоит хорошо". И А. С. — отошел: заулыбался; и уже пустился "пришучивать" обыкновенными "петровскими" шутками, что означало: в своей он тарелке.

Л. Д. подошла, улыбаясь, как к старым приятелям; повернули; пошли назад к дому; и удивлялись причинам молчания С. М. Соловьева; и тому, что не едет он; мы говорили об общих московских знакомых, о Соколовых, об Эллисе, — о разных уютнейших пустыях, смысл которых меняется от настроения собеседников, и то кажется совершенно пустым, то — наполненным содержанием; помнится: весь разговор был лишь формою ласкового молчания всех нас, довольством друг другом; так шли мы согретые солнышком, — точно оно обвевало ветерочками, визгами ласточек, стебельками и мотыльками; казалось: мы — дома; нашли мы — наш дом;

и простоту и уют А. А. сразу умел водворить между нами; то было лишь формой "хозяйской" учтивости; "тонкая форма" (почти что отсутствие формы) сопровождала повсюду; она создавалась светскостью Софьи Андреевны, хозяйственным тактом (такой не хозяйки на вид) Александры Андреевны; и лаской А. А.; "непринужденность" являлась умением обходиться с людьми; да, А. А. был умелый хозяин; он нас окружил незаметно заботами и входил в пустяки обихода.

В А. А. тут сказалась житейская, эпикурейская мудрость; сказывалось умение жить; и сказалась привязанность к местности, к духам лугов и лесов; вы сказали бы сразу: А. А. вырастал средь лугов и лесов: среди этих цветов; в этих пестрых лугах и лесах среди этих цветов — продолженье "рабочего кабинета"; да, шахматовские закаты — вот письменный стол его; великолепнейшие кусты, средь которых мы шли, сплошь усеянные пурпуровыми цветами шиповника, — были естественным стилем его пурпуреющих строчек; мне помнится, как я невольно воскликнул:

— Такого шиповника я не видал: что за роскошь!

А. А. на ходу, зацепившись рукою за ветку, сорвал мне ярчайший пурпурный цветок с золотой сердцевинкой; запомнился ультрамариновый фон золотеющей зелени, с ярко пестрыми, очень пурпурными, крупными цветочными пятнами; а на цветущем, колеблемом ветерочками фоне запомнилась яркая летняя пара: "царевич" с "царевной"; кудрявый "царевич", в белеющей русской рубахе, расшитой пурпурными лебедями; "царевна", золотокудрая в розово-стройном хитоне — кусочек зари; иль кусочек самой атмосферы: поэзия Блока. Запомнились мне очень пряные запахи, очень странные визги стрижей, очень громкое чирикание крупных кузнечиков, блески и трески; уж мы поднимались к террасе; А. А., подняв голову, легким и сильным прыжком одолел три ступеньки террасы; Л. Д. чуть нагнувшись,

"Задыхаясь, сгорая, взошла на крыльцо"<sup>37</sup> —

— не на крыльцо, на террасу: сейчас, вчера, вечно.

## Не Эккерман<sup>38</sup>!

Знаю: поклонникам Блока, наверное, хочется слышать покойного; хочется — подлинных слов: А. А. именно *это* сказал, А. А. именно так-то подумал; но избегаю фактичности; и опускаю контексты слов Блока; рисую лишь облик, лишь жест отношения к тому иль другому; и слышу:

— Оставьте себя, упраздните себя, — дайте Блока.

И — нет.

У меня есть причина на это.

На расстоянии 18-ти лет невозможно запомнить текст речи; и — внешние линии мысли закрыты туманами; я привирать не хочу; моя память — особенная; сосредоточенная лишь на фоне былых разговоров; а тексты

забыты; но жесты молчания, управлявшего текстами, жесты былых изречений и мнений, прошедших между нами, — запомнил; сочувствие помнится; так фотографии, снятые с жестов — верны; а слова, обложившие жесты, "воззрения" Блока, — куда-то исчезли. О — да, стилизация мне удалась бы; но выдумки я не хочу; я не хочу подставлять мои мысли под мысли покойного; кроме того, — у меня есть дефект: перевираю цитаты; перевираю себя самого. Наконец же: А. А. говорил совершенно особым наречием: метким, как яркая напряженная стихотворная строчка стихов, выявляющая неуловимый оттенок и подающая обертон разговора; ловил не слова: обертоны; за фон разговора — ручаюсь; за атмосферу — ручаюсь; и нет, не внимал — сотрясению воздуха, бьющему в ухо; вставляли словесные жесты; из жестов лепили, как лепится облако ветром, причудливый миф, подставлявший формальное сочетание слов и являвший оттенок слагаемых образов; кроме того: у меня и А. А. был особый жаргон; комментарий к словам был бы нужен.

Слова у А. А. выросли, как тучи над небом молчания; следили: словесный поток изменялся, как облачко, в контурах — коллективную атмосферой; следили за облачком: вот возникало оно; вот плотнело оно, проливалось словесным дождем; вот оно растворялось в лазури молчания; наш разговор был сеансом; образовались ландшафты фантазии, слышимой молча, за словом; и — закрепляя слова без моральной фантазии, их порождавшей, — я впал бы, наверное, в ложь.

Да, ныне внимают лишь внешнему слову (иль — тексту); другие внимают молчанию текста, которое — в гении; бодрствует первая пара ушей — спит вторая; обратно; ведь вот: Эккерман нам оставил два тома своих разговоров; и что же? Там — гения нет; тексты слов — налицо; но из текстов совсем не встают выражения говорящего Гете; усердию Эккермана, нам давшего текст, — благодарны; но встающий из слов, обращенных к нему, Эккерман — молодой человек, очень, очень удобный подчас собеседник, с которым не церемонятся; "темного смысла" дневных выражений у Гете не слышит он вовсе:

Die Nacht ist tief  
Und tiefer, als der Tag gedacht<sup>39</sup>.

Оттого при записании двух томов не записал он главнейшего, третьего тома, рисуя жесты у Гете; и оттого-то: у Эккермана нет Гете; о, да: Эккерман — ограниченный молодой человек; в двух томах его текстов кой-где встает Гете; везде — граммофон: голос Гете; и мы удивляемся Гетеву жесту, вдруг рвущему тексты, — когда обращается Гете к собаке: "Да, Ларва, я знаю тебя". (Ларва<sup>40</sup> — что за фантазия: разве собака есть Ларва?)

Не молодой человек, Эккерман, — я отказываюсь приводить тексты Блока; смотрю с удивлением, с отчаянием даже: где, где тексты слов между мной и А. А. ? Нет их вовсе, пропали...

И кроме того: если б я записал эти "Тексты", — немного было б записано; речи меж мной и А. А. — вовсе не было; была уютная, теплая, немногословная дружба, гостеприимство и ласка хозяйская: внутренний дом; слышалось в ощущении, что — принят в доме Блока (совсем, до конца); он готов поделиться душою.

Не духом.

Он в "духе" уже в это время — один; терпеливо выращивая на своем гордом теле растения всех климатических зон (эдельвейсы и розы) — гора такова: отделенной туманом вершиной она одиноко белеет в распахнутый ужасом мир мирового пространства; там, — место рожденья ключей, зеленающих приклоны; А. А. и меня, и А. С. оведал ветерками души, рабивавшей прекрасный ландшафт; в "духе" был одинок он.

Мне помнится, как он посиживал в белой рубахе своей (с лебедями) — за чаем: и муху рассеянно накрывая стаканом, внимал "болтовне" — о Москве, о Сереже, о Брюсове, "человеке великом", о Г. А. Рачинском, священнике мельхиседекова чина<sup>41</sup>, побившего раз С. М. символически, принесенным с собою крестом в знак того, что "крест" жизни его наступает (совершеннолетие); изображал я Рачинского, как он вырывает из столбов синеватого дыма какой-нибудь текст (непреренно библейский), или бросается сакраментальными выражениями, ошарашивая собеседника знанием чего угодно на свете.

— "Первосвященник" — (столб дыма стреляет из рта)... "Первосвященник, надевши" — (рука с папиросой взлетает)... "Надевши..." — (дым!)... "Урим и Туммим..."<sup>42</sup>

А. А. улыбается (редко смеется); а Л. Д., сев с ногами на кресло, катается смехом.

Однажды А. А. меня взял и повел к деревянному домику, где проживал; показал огороδικ, окопанный четко глубокой канавой; взяв в руки лопату, сказал:

— Знаешь ли, Боря, — я эту канаву копал: тут весною работал... Я каждой весною работаю. Так хорошо...

И казалось: копанье канавы есть важное дело; как знать: направление музы его, может быть, тесно связано с огородной работой; так близок он был в это время душе моей, что мелочи жизни его вырастали в значения полные факты; я чувствовал братом его; и обряд "побратимства" свершался: в бездумных сиденьях за чаем, в прогулках, в неторопливостях пустякового слова меж нами (успеем наговориться!); впоследствии воспоминанием о Шахматове встали невнятные строчки стихов:

Пью закатную печаль —  
Красное вино:  
Знал — забыл: забыть не жаль  
Все забыл давно.

И — далее:

Говорю тебе одно, —  
А смеюсь в другом...<sup>43</sup>

Во мне и в Петровском синейшие мотыльковые дни, окропленные цветом пурпурным шиповника, встали, как дни настоящей мистерии, как вознесенье над прошлым в душевный ландшафт: и вся жизнь отошла в настоящее; каплею в нем растворилась:

Говорю тебе одно,  
А смеюсь в другом...

Говорил о Рачинском, стреляющем дымом и текстами, а улыбался расширенным сердцем, — тому улыбался, что брат у меня — *такой* брат и *такая* сестра, и такая родная мне старшая (Александра Андреевна); спешит к нам "Сережа"; мы все (и Петровский) схватясь, взявшись за руки, медленно канем в лазурь.

А. А. — встанет, медлительно подойдет, скажет ясное:

— "Пойдем, Боря". Чуть-чуть в нос, чуть шуточно, с насмешкою, доброй такой; как бы приглашая во что-то хорошее с ним поиграть — подтолкнет; поведет за собой, мне хорошее что-то открыть собираясь, поставит меня в уголок пред собой, поморгает, переминаясь на месте, и скажет невнятно:

— Нет, знаешь...

— Все — так...

— Ничего...

Т. е. все — обстоит так, как следует; туч — не предвидится; не угрожают общению силы судьбы; и — есть главное; в чем оно? Знаю: потрудится годы грядущий историк культуры "Lapa", сочиненный "Сережей", над выяснением главного: фактов; побольше же фактов: где факты? Молчанье.

— Так.

— Ничего.

И опять, взяв под локоть, смеясь добродушно, А. А. меня выпустит из уголка, возвратит к разговору; он — сторож: блюдет "атмосферу", питая ключами вершин; вскоре отзвуки шахматовских сидений сложились полустатьей-полулирикой в "Луге зеленом"<sup>44\*</sup> в абзаце, где говорится о зорях и душах, о Катерине, которая — под защитою пана Данилы<sup>45</sup>, о пане Данило; Россия — большой луг, зеленый: яснополянский и шахматовский; ароматы "зеленого луга" остались: цветы; семена от цветов прорастают (может быть, в "Вольфиле"<sup>46</sup>). Но где пан Данило? Что с ним? Его *нет!*

Помню: в первый же день мы гуляли; сперва был обед, затуманенный правоведами, сыновьями С. А., чрезвычайно корректными, слишком корректными с нами; они внесли холод (А. А. не любил их, ругал их

---

\* Статья напечатана в "Весах" в 1905 году.

”позитивистами”); позитивизмом ругался он; и от него ”позитивистам” не раз доставалось в письмах ко мне.

Раз А. А. мне сказал про сыновей С. А. :

— Что ж, ничего, что являются; ведь они нам не будут мешать... презируют, наверное, нас — про себя; с нами же будут любезны они... Не понимают...

Действительно: сыновья С. А. чопорно возникали к столу и, любезно отвесив поклоны, сидели, прямые, как струнка, передавали тарелки подчеркнуто чопорно; после обеда они — пропадали; мы их не видали; в том сказывалось презрение к нам, к ”декадентам”; один среди них, не правоведа<sup>47</sup>, а глухой и немой, — тот, которого называли ”Фиролем”<sup>48</sup>, был чуток; и — понимал атмосферу; сидел соглядатаем, не понимал, удивлялся, и с ним объяснялася его мать, С. А., — нам совсем не понятными знаками. Вечером, на закате, стояли за домом мы четверо; шли по дороге от дома, пересекая поляну, охваченную лесами; прошли чрез зеленую рощицу; здесь — открылась равнина; за нею открылась возвышенность; над возвышенностью — край цветного, просветного, розово-золотистого неба; Л. Д. в своем розовом платье сливалась с оттенком зари (как кусочек зари); показала рукою она на возвышенность, на зарю; и сказала — туда в горизонт:

— Там жила...

За горбинкой земли, за ”горой” (”Ты жила над высокой горой”) — имение Менделеевых, Боблово.

Мы стояли в заре; мы молчали; взглянул я на нас: наши лица, простертые к зорям, зардели; и все было — ”зорным”; лицо Алексея Сергеевича, заревое и розовое, розовая рубашонка его, — мне запомнилась. Понял тогда, что отсюда, от этого места неслись перелетные искры поэзии Блока — туда: в Боблово. Там над горой — Она.

С той поры еще в 1902 году Блок оборвался в дремучую чащу; Видение Дамы померкло: и — навсегда.

Сбежал с горы и замер в чаще,  
Меня проищут до зари...<sup>49</sup>

Так я думал: в молчании возвращались с заката; сырело, росело, туманилось: А. С. П., отведя меня в сторону, мне прошептал:

— Я теперь понимаю...

Что? Нет же, не спрашивайте, читатель!

Тихо, смеясь, посмотрел на А. С.; он был мил и смешон, как ребенок в своей рубашечке; он выглядел мальчиком, гимназистом, а не кончившим университет, не — проходящим духовную академию; выглядел он — нет, не мужем, не ”химиком”, не ”теологом”, — маленьким мальчиком выглядел он в своей ”утке”.

А. С. имел дар превращать все носимые им головные уборы в нашлепки, напоминающие своей формой настоящую утку; фуражки свои он сумел

сделать "утками"; после носил он смешные кеги, уткообразная форма которых сместила: слагалась она в тот же миг, как те кеги он надевал на себя; и доселе он, деятель Румянцевского Музея, веснами, осенями и летами носит свою неизменную "утку" с достоинством; в Базеле раз мы зашли покупать ему шляпу; ему предлагал выбрать шляпу почтеннее: нет — потянулся за "уткою" он...

Помню: вечером распивали мы чай: было просто, и вот, после чаю А. А. нас провел в отведенную комнату нам (в деревянной пристройке); он, благостно посидевши у нас, пожелал нам спокойной ночи; еще долго с А. С. не могли мы заснуть; разволновался А. С.; он высказывал впечатленья свои то ложась, то привскакивая:

— Знаете ли?

Я смотрел на окно, прислонясь к подоконнику; купы деревьев (лип, кажется) скатывались под уклон; открывались прозорные дали; вон там — вечерело; вон там — утренело; и нежное, пепельно-бирюзовое небо златилось краями смугляющих тучек, взрываемых оком зарницы:

В золотистых перьях тучек  
Танец нежных вечерниц...<sup>50</sup>

Первый день нашей жизни у Блока прошел, как прочтенное стихотворение Блока; а вереница дальнейших дней — циклы стихов.

## Брюсов и Блок

Точно так же прошел день второй; никогда не забуду я линии тихих в своем напряжении крепнущих дней, монотонных во внешнем; и — бурно значительных.

А. С. Петровский и я просыпались часам к 9-ти; перекидывались словами и шутками, медленно мы поднимались; часам к 10-ти опускались мы вниз, к Александре Андреевне, — пить кофе; за кофе завязывались разговоры, всегда интересные; Александра Андреевна — великолепная собеседница; выяснилось, что, с одной стороны, понимала она нашу "мистику"; более принимала она наши "зори"; с другой стороны: в ней был скепсис; испытующе она нас проверяла; не раз наблюдал ее острый, меня наблюдающий взор; и скептически заостренный вопрос ее часто смущал меня; напоминала она мне покойную Соловьеву.

А. А. и Л. Д. появлялись позднее; они приходили из домика, заплетенного в розы, в пурпурный шиповник (в двух комнатках жили они); бывало, послышатся шаги на террасе: и с солнца, веселые, — входят они; А. А. в своей белой рубашке с пурпурными лебедями; Л. Д. в широчайшем капоте, мечтательно розовом; линия разговора ломается; определенных

вопросов, которые мы подымали за утренним кофе с А. А., — уже нет; и расплываются эти "вопросы"; воистину:

Нет вопросов давно, и не нужно речей...

Межа разговора выходит в простор "бездорожий".

Ведет к бездорожью золотая межа.

Ярко верится нам, что по морю безмолвия к нам приплывает наш корабль, златопарусный "Арго"; он нас увезет в новый свет; корабли не пришли, потому что —

Прекрасная Дама не ездит на пароходе<sup>51</sup>.

Июльские синие дни проходили в сплошном теургизме, против которого предупреждал меня Метнер ("Опасно переступить вам пределы искусства"); был странный душевный сеанс; и радение душ — без пути; лишь А. А. понимал, что межа к "бездорожью", к "беспутице" — выход из рамок к "пути".

Не поймешь синего ока,  
Пока сам не станешь, как стезя.

Той стези А. А. волил (вполне бессознательно волил); мы — нет; безответственным прекраснодушием заменяли мы "путь". И А. А. понимал безответственность нашу; мы первого шага не делали; он — его волил, прислушивался: не покажем ли мы этот шаг; и он видел: пути у нас нет за словами; не проработана воля; слова о "пути" в нас — "беспутны", "распутны"; мы стали в распутьи; он нас у распутья подсматривал; в нас он боялся распутицы: к худу. Душевная атмосфера, такая прозрачная, напоминала прозрачную ясность, которая выдается меж двух морсящих дождями деньков; так: вчера — "Ante lucem"<sup>52</sup>; сегодня — "Lux"; завтра — "Postlucem"; "postlucem" подсматривал он в нашем "luxus'e", в нашем раденье. Я помню: мне раз стало ясно; от света я стал молчаливым; А. А., перегнувшись через спину А. С., за которой я прятался, — пристальное вдруг на меня посмотрел; и значительно очень сказал:

— Боря, Боря, довольно.

— Не надо так делать, довольно...

Молчанию моему он ответил:

— Не медитируй на людях, не замирай заражающим нас молчаливым экстазом, который — переживание бесово: ложная сладость.

Он только сказал:

— Ну, довольно.

— Не надо так делать.

Как мне передать тексты Блока, когда в двух словах его слышались главы от рассуждений Экхарта<sup>53</sup> и Рейсбрука<sup>54</sup>; Блок целомудренно, тихо таил безглагольные подступы к знанию; этого знания был лишен Метерлинк; если б он, Метерлинк, ведал знание Блока, не написал

бы "Сокровищ смиренных"<sup>55</sup>, которые — не сокровища; не смиренно написаны.

Сиденье за утренним кофе переходило в сиденье в гостиной, обставленной креслами, просторной и светлой, обставленной мебелью; тут: Александра Андревна и Марья Андревна скрывались (хозяйствовали).

Мы вчетвером размещались меж кресел; я стоял над креслом, разыгрывал перед Л. Д. и А. А. шаржи в лицах; порою прочитывал лекции; в сущности: линии слов развивал для А. А., чтобы он их окрасил, как лакмусовую бумажку; я был лишь бумажкой; А. А. — реактивом; и вот: отношение А. А. к моим мнениям ярко пестрило их: в фиолетовый, в пурпурный, в индиго-синий цвета; он окрашивал мысли короткими фразами, полуулыбкою; скажет, бывало:

— А знаешь ли: все-таки это не так — моя мысль работает...

— Все-таки Брюсов не маг: — математик!

И резолюция на докладе "Поэзия Брюсова" мной приготовлена.

Отношение нас, молодежи, к поэзии Брюсова было двусмысленно: ведь вожаком признавали мы Брюсова, мы почитали слиянье поэта с историком, с техником; был он единственным "мэтром", сознавшим значение поднимаемых в то время проблем; В. Иванов, не живший в России, был только что — здесь, среди нас: он блеснул, озадачил, очаровал, многим он не понравился; и — он уехал; его мы не знали; Бальмонт не играл никакой уже роли; З. Гиппиус уходила в "проблемы", отмахивалась от поэзии (помню: А. А. понимал и ценил ее музу); в религиозную философию он мало верил; Ф. К. Сологуб, как поэт, не приковывал взоров (А. А. его очень любил; я любил его больше прозаиком). Брюсов для нас был единственным "мэтром", бойцом за все новое, организатором пропаганды; так: в чине вождя и борца подчинялись ему; очень многое знали о Брюсове мы; но таили и чтили вождя в нем.

Был Брюсов — "фигурою" (не то, что теперь); самый контур его, как создателя "Urbi et Orbi" — значительней прочего; "Stephanos"<sup>56</sup> утонченней; в нем Брюсов овладевает клавиатурою слова; но если от "Urbi et Orbi" до "Stephanos"— шаг, от "Vigilia"<sup>57</sup> к "Urbi et Orbi" три шага; так "Urbi et Orbi" — завоевание страны; Брюсов "Stephanos" — завоеватель провинции, администратор уже завоеванного; после "Stephanos" — нет уже на облик Брюсова романтической дымки; "Stephanos" — разочарование; утром и холм из тумана является громкой горою; такую горою казался нам Брюсов; туманы развеялись: "Urbi et Orbi" — лишь холм, не гора; все подъемы — кончаются, "Stephanos" и "Все напевы"<sup>58</sup> — наклонное плоскогорье, переходящее в плоскость равнины.

И в личном общении Брюсов тогдашний — не Брюсов теперешний; "академический" жест его брали "приемом"; в "приеме", как тигр в камы-

шах, залегал притаившийся Брюсов, чтобы в прыжке явить подлинный устрашавший нас облик — сурового мага; мы технику брали как жест притаившейся магии; материализм — "окультизмом"; и "технизм" — темным праксисом; в "Огненном Ангеле"<sup>59</sup> поиски магии сказывались знакомством с историей оккультизма; я знаю, что Брюсов действительно увлекался магизмом; и раньше еще он забрел в спиритизм; он не брезгал сомнительной атмосферой гипнотических опытов; гипнотизировал он, заставляя служить себе, гипнотизировал долго меня, Соловьева и Эллиса; тигром, залегшим в свои камыши (в техницизм), он казался.

Я, только что написавший статью в "Новый Путь" "О теургии"<sup>60\*</sup>, ждал сочетанья поэзии с мистикой; в противовес этой чаемой поэтической линии нашей, по мнениям нашим, формулировалась другая, враждебная линия, соединяющая поэзию с магией; мы к декадентству, естественно, относились двойственно; мы "технизм" оценили; но думали, что под "техникой" созревает таимая черная магия; думали мы, что впоследствии с этой линией вступим в последний решительный бой; нам казалось, что Брюсов, союзник сегодня, окажется завтра единственным крупным достойным врагом; знали мы, что из линии соловьевской вставал лик Мадонны; из линии брюсовской музы на нас поднималась, жена, восседающая на звере<sup>\*\*</sup>; лик линии Брюсовской есть Аполлоний<sup>61</sup>, предвестник грядущего Зверя, скрежещущего:

Пред кем таится и скрежещет  
Великий<sup>\*\*\*</sup> маг моей земли.

Слово "маг", о конечно же, не в риторическом смысле; и, Брюсов казался "великим"; никто не гадал, что он скоро бежит в "неживые леса":

Я бегу в неживые леса  
И не гонится сзади никто<sup>62</sup>.

В эти дни Брюсов не "бегал" (как из Москвы в Петербург); сам он гнался; и — от него "убегали...".

Своим выраженьем "В. Я. — математик" А. А. хотел выразить: математичность и измеряемость брюсовских строчек — не "маска" на Брюсове, а сам Брюсов. Он Брюсова приравнял к математикам вот почему: в свою бытность в Москве он расспрашивал нас с Соловьевым о Брюсове (Брюсова часто встречали мы); в лицах представили Брюсова: передали особенный стиль, точный, четкий В. Я.; чего он ни касался, — все то становилось анатомическим препаратом, разъятым на части; та жуткая точность запомнилась Блоку.

\* "Новый Путь" за 1903 год.

\*\* Этот взгляд я высказал в статье "Апокалипсис в русской поэзии" в 1905 году.

\*\*\* Слово "великий" впоследствии заменено словом "суровый".

Рассказывали А. А. , как однажды с С. М. появились у Брюсова мы (он страдал нагноением в челюсти); он нам сказал:

— А вы знаете, — завтра ложусь на операционный стол...

— Что вы?

— Да, да: я возьмю предать свое тело и сверлам, и пилам.

А. А. хохотал до упаду, услышавши эти слова: в математичности отношения к своим органам тела, — весь Брюсов сказался; еще помню я: раз В. Брюсов ко мне забежал, чем-то очень взволнованный; я с отвращением рассказывал о фактах избияния студентов жандармами; Брюсов, изогнутый в кресле, весь выпрямился, как палка, нацелился метко глазами на точку стола, заложил деревянную руку за борт сюртука, замер (только дрожали усмешливо складочки черноусого, кровогубого рта); этот рот разорвался, когда В. Я. дернулся по направлению ко мне черноугольной бородкой, заклокотавши гортанным, всю комнату сотрясающим возгласом:

— Да, печально, но вспомните, вспомните, что проделывают на войне каждый день? Вы, Борис Николаевич, не знаете? Знайте же: на войне, — протыкают, Борис Николаевич, прокалывают; т.е. штык постепенно проводится в чело­вечьи тела: так, сначала прокалывается пальто: потом быстро прокалывается рубашка, потом штык касается тела холодным своим острием; и, накалываясь, прокалываются: кожа, брюшина, кишки; так штык вводится.

И, продолжая вперяться в одну неизменную точку, гортанно и строго перечислял в совершеннейшем иступлении Брюсов прокалываемые ткани тела; в перечислении этом для Брюсова была сладкая жуть.

Мы с С. М. Соловьевым решили давно, что В. Я. — математик; недаром он раз прогортанил, скрестив свои руки над "скорпионовским" телефоном, спиною прижавшись к стене:

— Я ужасно люблю все подробности *математики* (произносил "матема-тити" он).

В стихотворении, живописующем изнасилование мертвой женщины, он восклицает: открой —

Склепа кованную дверь:  
"Смерти таинство *проверь*..."

Изнасилование называет "*проверкою смерти*" он.

Нам "*математика*" Брюсова виделась символом жути, звериной души, обнажающей "*гадость*"; романтика Гада (апокалипсического<sup>67</sup>) вставала отсюда, он раз защищал от меня мировую, гнетущую "*гадость*".

— Ах, скучно, Борис Николаевич: вы — со Христом против Гада; вы — с Сильным; а Гад — победится; так сказано в "*Апокалипсисе*"; против Гада, слабейшего, выступать, — не по-рыцарски; я — буду с Гадом; жаль Гада, ах, бедный Гад!

Споры с В. Я. возникали повсюду, где мы ни встречались; раз я, приподнявши бокал, возгласил:

— Пью за свет.

В. Я. Брюсов, усевшийся рядом со мною, вскочил, как ужаленный; он, поднимая бокал, прогортанил:

— За тьму!

Он однажды, придя в воскресенье ко мне, увидел позабытый гасильник; схватив его и представляясь, что этот гасильник его занимает, он вдруг подошел к моей матери, заклокотавши:

— Ах, как интересно, гасильник? Позвольте же, Александра Дмитриевна, гасильник попробовать... Можно? — И, приподнявши гасильник, он погасил наш настенник:

— Ах, ах, извините!

И тотчас — простился: так *свет* угасивши, исчез (это сделал нарочно: в полусерьез-полушутку); хотел показать, какой он "*светогасец*"; такие ужимки — характеризовали В. Я.; любил "*интересности*", любил "*попугать*" (я неспроста-де с "*магией*"); помню — пугались.

Однажды прислал мне стихи с посвящением "*Бальдеру Локка*" (впоследствии он посвящение снял); там грозил он:

Я слепцу пошлю стрелу...  
Вскрикнешь ты от жгучей боли,  
Вдруг повергнутый во мглу...<sup>64</sup>

Стихи, переписанные на бумажке, кому-то он передал; а бумажку свернул аккуратно стрелой (то жест — попугать); посылают стрелу по рецептам магическим — "*глазить*".

На эту бумажку ответил я Брюсову:

Моя броня горит пожаром.  
Копье мое — молнья; солнце — щит.  
Не приближайся, в гнев яром  
Тебя гроза испепелит<sup>65</sup>.

А. А. сообщал о всех "*шалостях*" Брюсова; он — забавлялся.

А. А. первый Брюсова понял: он лишь — *математик*, он — *счетчик*, номенклатурист; и никакого серьезного мага в нем нет.

Я бегу в неживые леса  
И не гонится сзади никто.

Не то был А. А. : тихий, скромный, влиял на меня своим действенным, ясным вниманием ко всему, что его окружало; внимал он словам; и — окрашивал мысли короткою фразой.

Мы с Брюсовым диалектически фехтовались; с А. А. мы не спорили, не высказывал я при А. А. разногласий, а вдумчиво созерцал ходы мыслей его; он был "*импульсом*" устремлений моих (В. Брюсов,

З. Гиппиус, Д. Мережковский влияли в периферическом); да, к А. А. я прислушивался.

И натянулся на нечто, невидящее, устрашающее; на точку сомнений; сомнения таил он, казался нам *рыцарем*; был — уже *нищий*; уже без *"пути"*; брел он ощупью в том, что мы все закрывали пышнейшими схемами; схемы он снял; понял: будет *темно*; зори — только в душе у нас; нет, он не видел уже объективной духовной зари; и он видел, что мы отходили в пределы: нарисовали себе свое небо; папиросную бумагу, которую прорывает легко арлекин в *"Балаганчике"*.

Был — одинок; и я — тоже; старался не видеть действительности, обступавшей сгущаемым мраком; да, атмосфера сердец оказалась впоследствии розовым абажуром, зажженным в ночи, — нет, не солнцем. А. А. это знал; и — до времени не желал нас убить своей горькою, одинокою правдой; он знал, что зarya нам закрыта, что не Прекрасная Дама, а Незнакомка, соединяет; порою среди разговоров о зорях темнел и грустнел; начинало казаться, что все погасили; минута сплошной черноты проходила: казалось, — под громом мы; в те минуты переживал я испуг не за себя — за А. А. ; думал я: "Ну, чего Блок пугается? Что же случилось?" Раз даже подумал: "Да светлый ли он?"

У А. А. появились минуты сомненья во мне; раз С. М. Соловьев мне сказал о своем разговоре с встревоженной Александрой Андреевной, которая передала ему впечатление А. А. от меня; раз А. А. ей сказал после общего, тихого вечера вместе:

— Кто он? И не пьет, и не ест...

Он хотел подчеркнуть во мне тон аскетизма, уже обреченного на провал для А. А. ; он ведь видел во мне *человека* (не ангела); знал, что сорвут с *"ангелизма"*, что я — без *"стеzi"*.

Не увидишь синего Ока,  
Пока сам не станешь, как стезя.

Недоумением (*"и не ест, и не пьет"*) хотел выразить: "Неужели же он, как стезя?" Это значило: "Неужели серьезно он думает, что — стезя: разубедится он в этом! Не знает себя!" А. А. сознавал, что он знает, чего он не знает; я — нет; за меня огорчался он.

Раз, среди сиденья в гостиной А. А. меня под локоть взял; и, подталкивая, повел на террасу; с террасы спустились мы в сад, упдающий круто; проходили лесными тропами; и выбрались — в поле; шли медленно, останавливаясь, мне А. А. выговаривал мысли, подчеркивал мысли его — не минутный каприз: нет, он знает себя; мы считаем каким-то особенно светлым его, а он — *"темный"*; поглядывал он на меня очень детскими голубыми глазами; с кривящимся ртом нагибался ко мне среди сеянцев трав колосистых и блеклых, рассеянно грыз переломанный злак; я не верил ему. Он настаивал:

— ”Ты же напрасно так думаешь”, снова настаивал, ”вовсе не мистик я; не понимаю я мистики...”

Тронулись; и тянулись короткие полуденные тени; и в свете сблизились все и казалось исконно коснеющим; жарила полднем природа; я стал уверять, что минуты сомненья бывают, что он сам не верит минуте сомненья; А. А., меня взявши под локоть, с подчеркнутой просьбой поверить, — заговорил; о коснении человечества в роде и в быте; он — тоже вот косный; да — косный; да, да — родовое начало его пригибает к земле; то — наследственность, давит наследственность (понял, что он говорил об отце):

— Нет, знаешь, — темный я...

И продолжал развивать свои мысли о власти наследственных сил; казался взволнованным мне, хоть держался спокойно; и чувствовалось: он напал на исконную тему (на ”рыбу”, которая редко всплывает к поверхности слов).

Посмотрел: он стоял предо мною все с тою же горькой улыбкой:

— Старания тщетны: какие бы ни совершали усилия светлые силы, на чаше весов перевесит исконная смерть. Все погаснет; мы все... преодоление смерти обман... — так, казалось, без слов говорила улыбка.

Я помню непререкаемость тона, с которым он мне развивал это все: ”Да, да, да — все темно!”

Эта тема — позднейшей поэмы ”*Возмездие*”. (К теме не раз возвращался впоследствии он; и рассказывал мне об отце); я смотрел на него; шевельнулось знание: власть рока, дурной бесконечности, — власть интеллекта его, очень четкого и не согретого светом сердца; он сердцем воспринял Софию; сердечное восприятие он поставил превыше всего; в его логике Логоса не было; он впоследствии называл ”не воскресшим” Христом себя; в логике воскресает Христос; и тогда из могилы восстает наше ”Я”; воскресения ”логики” не было в нем; был большой ”интеллект”, кантианский; и вспомнились его письма о Канта, которого называет А. А. убоявшимся; что-то от этого образа Канта в А. А. я подметил; последнего мужества перед собой не хватило; не вспыхнул Дамаск<sup>66</sup>; и в невспыхнувшем пункте сложились одни кантианские формы: сложилась наследственность — тема ”*Возмездия*”.

Понял: момент, когда Блок отступал, это — осень, обильная перепаутом стихов, удивлявших О. М. и М. С. Соловьевых.

Сбежал с горы и замер в чаще:  
Меня проищут до зари.  
Как бьется сердце злей и чаще.

Стихотворение кончалось:

И опрокинувшись заглянет  
Мой белый призрак им в лицо.

"Белый призрак" — двойник убежавшего в чащи; гносеологическое сознание, интеллект, не просвеченный Логосом, —

— знак, что мы внутри  
Неразмыкаемого круга<sup>67</sup>,

ибо —

Мое болото их затянет,  
Сомкнется мутное кольцо.

Снова — тема "Возмездия".

Так средь полей, озаренных слепительно, я увидел "двойника", — тот второй его образ, который восстал через два только года (в эпоху создания "Балаганчика").

... Нам открылось: мертвец  
Впереди рассекает ущелье<sup>68</sup>.

Я "темного" Блока отверг, чтоб найти в "Блоках" Блока.

Восстание "темного" Блока в полях испугало меня; отмахнулся от слов; бормотал что-то бледное о "полуденном бесе", о косности, о паническом чувстве полудня; но самый синееющий пламень небес потемнел: вовсе черное небо раздвинуло синее небо; и посмотрело из синего неба на луг; я в "Серебряном Голубе"<sup>69</sup>, в описании того, как Дарьяльский стоит среди полудня (и видит: меняется небо — становится черным) — запечатлел этот миг; тот отрывок А. А. признавал замечательным; так, как будто он понял: на черное небо полудня он сам указал мне тогда: этим небом уставилось Шахматово — над луговиной, у склона.

Мы возвращались; стараясь естественно отвязаться от слов; раздраженно срывал на ходу колосистые злаки; А. А. с переломанным злаком в руке шел за мной, продолжая меня убеждать: все-все к "худу".

— Ты, Боря же, знаешь и сам!

Показал на себя; не соответствовал им же навеянным снам нашей жизни, и легким, и розовым; не соответствовал "атмосфере"; я понял позднее: он трезво и горько смотрел: в атмосфере он видел "душевный сеанс"; это был "абажур", среди ночи — не зари; Блок — видел; мы — нет; из пленительной легкости нашей. Он ждал — разовьются жестокие бури, и будут — "надрывы", гармония здесь — утончение душ без пути; оно рвется во вскрик диссонанса; он видел, что в разном мы все: подошло нищестанство ко мне; видел он, что А. С. надрывается православием; видел, что "нищий" он сам; что в С. М. Соловьеве филолог уже загрызает теолога, а Л. Д., о которой мы были такого высокого мнения, — Л. Д., гирофантида<sup>70</sup> душевных мистерий, — она помышляла уже о карьере... обыкновенной артистки. Воистину: если бы предо мною

в А. А. возник критик "Руна" \*, не поверил бы я; если б он увидел во мне торреадорову тему, да нет: ее видел он! Если бы мы прочли "парнасическое"<sup>71</sup> стихотворение С. М. Соловьева, со строчкой "горящие быки взлезают на коров", возмутились бы мы; "атмосфера" была бы разорвана; раскрылись "надрывы" бы; этих "надрывов" меж нами боялся А. А.; он чуял; себя он увидел в "надрыве" в грядущих годах; страх "надрывов" в нем сказывался в отклонении темы "надрыва".

Распрашивал я А. А., любит ли он русские песни.

— Нет: там — надрыв...

Так все русское он в это время считал за надрывное; "русское" было ему неприятно: стиль песни, платочка, частушки, допустишь "платочек" — дойдешь до "хозяйки", произведения Достоевского<sup>72</sup>, а "достоешину" ненавидел: глухие разгулы и хаосы слышались здесь — власть наследственных сил, о которых тогда он сказал: они — дают.

Порою сидения вместе его беспокоили: точно душевную "атмосферу" производили опаснейший опыт, от результата которого может возникнуть и жизненный эликсир, и раздасться чудовищный взрыв; настороженность в А. А. замечал; он разглядывал нас, уподоблявшихся детям над пропастью; чувствуя с нами себя, он себя ощущал еще нянькою, оберегающей детские игры; он был и хозяин; он вел через дни по опасной дороге, скрывая опасности, заставляя нас думать, что эта дорога легка и беспечна; соединяя душою в душевном, он не сливался душевностью с духом; а мы не слияние — слышали, глухо наталкиваясь на неслияние.

После нашего разговора с А. А. на лугу передал я Петровскому часть разговора; А. С. удивился:

— Да неужели А. А. — провалился: сгорел!

И — отмахнувшись от слов, мы решили бороться с унынием, с "духом печали" в А. А., о котором в "Добротолюбии" сказано; к этим словам на полях приписал он (в эпоху еще революции): "Знаю, все знаю"; мы, помнится, поговорили о Врубеле, о роскошестве красок пылающей шахматовской природы, о словах Э. К. Метнера, говорившего в Нижнем со мной об опасности разрыванья пределов искусства, о духе "радений" в поэзии Блока.

.....

От чаю до завтрака мы прохлаждались в беседах, переходивших в беседы за завтраком, более внешние от присутствия за столом сыновей А. С. (тетки А. А.) — правоведа; потом мы сидели — втроем, вчетвером; наконец, расходились; Петровский и я поднимались наверх (я — читать, а Петровский присаживаться за изучение древнееврейской грамматики); Блоки шли в домик, к себе.

Мы сходились к обеду.

---

\* В 1907 году А. А. заведовал литературно-художественным отделом "Золотого Руна".

Однажды давно час обеда прошел, а А. А. и Л. Д. не вернулись из поля; мы тщетно их ждали и сели обедать без них; уже поздно вернулись они; на расспросы о том, где они пропадали, А. А. улыбался, не отвечая; а на лице Любовь Дмитриевна появилось лукавое выражение; она не сдержалась и, бросив салфетку на стол, рассмеялась:

— Мы — ссорились!

Ссорясь, сидели в лесу, пока дух примиренья не вывел из леса.

— Ну что ж вас поссорило? — спрашивала Александра Андреевна; заколыхались широкие плечи Л. Д. от лукавого смеха.

— Ну нет, не скажу...

А. А. тихо сконфузился: молча сидел.

— Вот какие вы скрытные, дети, — сказала, смеясь, Александра Андреевна:

— Не говорите — не надо...

.....  
После обеда — засиживались до вечернего чаю; и после чаю — засиживались; водворялось молчание; виделась издали освещенная комната с белым букетом кувшинок; собрали их с пруда, который — под церковью; помню: А. С. был охвачен усердием раздобыть для Л. Д. попышнее кувшинку; она же "прекрасною дамой" стояла у пруда, склонивши головку и положив на плечо белый зонт кружевной; А. С., рыцарь, под взглядами "дамы" залез по колено в студеную воду; букет вышел пышный; А. С. — совершенно промок; но — удостоился благоволения "Королевы" Л. Д., так умевшей казаться торжественной когда надо, и неприступной; умевшей быть ясной, сердечной, простою сестрой; и умевшей — надуться, не замечать, наказать за какой-нибудь жест, перетомить; и — помиловать; жесты карания, милости были присущи Л. Д. И она ими тонко и мило играла, как будто мы были детьми; вот, бывало, — нахмурится: а Александра Андреевна показывает глазами на хмурую "даму": и шепчет нам:

— Люба-то, строгая!

А. А. подглядывает, точно хочет сказать:

— Что — попались: вот видите Люба какая... Всех вас забрала? Бойтесь, бойтесь ее...

Образовалась игра между нами; Л. Д. очень слушались; ей мы стремились во всем угождать; и она принимала угоды естественно, как подбает.

## Последние дни

С. М. Соловьев все не ехал; уже собрались уезжать; накануне отъезда, под вечер, раздался в лесу заливной колоколец; и подкатила к подъезду тележка, откуда к нам выскочил радостный, загорелый С. М.

Соловьев, в мятой черной тужурке (студенческой); шумом и смехом наполнил он вечер, рассказывая о пребывании у друзей, очередном увлечении (— "для стихов"); увлечения С. М. обрывались "сонетами".

Вечером мы порешили: у Блоков пробыть еще несколько дней.

Очень скоро "Серезжа" почувствовал "атмосферу", в которой все жили; — присмирел; поднималась опять "теология", в нем проводимая под знаком "Ларап"; для того сочинил он "Ларап", чтобы мечтанья свои при посредстве "Ларап" выговаривать; утра с С. М. Соловьевым и Блоками шли под "Ларап"овским знаком; все мы усвоили стиль размышлений "Ларап"; и по-своему каждый "лапанизировал"; были тут смехи; порою С. М., позабывши "Ларап", изображал громовые пародии "Пиковой Дамы"; он внутренним слухом вполне обладал; и он схватывал музыку; изображая же музыку голосом, перевирал невозможно; он пел "деритоном", в себе совмещаая контрольты, сопрано и тенор, и бас; великолепно вырѣвывал он лейтмотивы трех карт; и гусарил под Томского песню "Однажды в Версале *au jeu de la reine*"<sup>73</sup>; но особенно удавалась роль Германа—Фигнера<sup>74</sup>.

Бурновеселые дни с Соловьевым — последний аккорд; тишина сквозь веселость цвела; отцветали кувшинки и желтые листья проглазили в зелени; эти последние дни протекли безмятежно; я чувствовал братскую близость к А. А.; проходил целый день почему-то однажды в рубашке его (с лебедями); то было как бы "побратимство".

И я уезжал, загоревший, окрепший, принявший решение покончить с одним обстоятельством в жизни моей, угнетавшим<sup>75</sup>; А. А. это знал, хоть молчали мы оба; лишь раз деликатным намеком он дал мне понять, что пора с "обстоятельством кончить"; Л. Д. утверждала решение; я — принял решение.

Так встало над листьями утро отъезда: и охватила грусть, точно мы уезжали навеки; до "слез" эту грусть ощутил; ведь вот: более не суждено было встретиться радостно и без "вопросов"; через год мы все встретились, но уже с "вопросом", которого не разрешили; и разорвали сложившийся треугольник: и стали три брата — врагами.

И помнится: подали нам лошадей; мы простились: Л. Д. и А. А. на подъезде стояли, махали руками; я — обернулся; зеленая ветвь их отрезала: лесом поехали.

Сосредоточенно мы колыхались по рытвинам; мы увозили клочок согревающей "розово-золотой" атмосферы, которую в будущем мы должны были ввести в свою жизнь.

Первое, что нас встретило в городе — весть об убийстве фон-Плеве<sup>76</sup> (в день заключения торгового договора с Германией); и задумались мы, ощутив, что убийство — рубеж. Начиналась иная эпоха: рождение наследника<sup>77</sup> и заключение мира<sup>78</sup> воспринимали иначе, чем прежде.

Но в первый же вечер мы трое вновь встретились на квартире С. М. (он тогда переехал в Кривой переулок меж Поварской и Арбатом); к С. М. пришел Щукин<sup>79</sup>, приехавший из Италии и подаривший С. М. статуэтку Мадонны; С. М., водрузив статуэтку, курил перед нею, как кажется, ладаном; нас пригласил в кабинетик он, закрыв плотно двери, чтоб Щукин, сидевший за чаем в столовой, не ощутил бы струй ладана; думаю — не ощутить он не мог: вся квартира пропахла.

Так ладаном, воскуряемым перед Мадонной, встречали мы новый период. Не знали еще: воскурением этим прощаемся с прошлым, — с Мадонной.

*Петроград — Берлин, 1921 года.*



## Глава четвертая ПЕТЕРБУРГ



### Жизнь в Москве

По приезде из Шахматова, распростившись с С. М. Соловьевым, поехал в имение *"Серебряный Колодезь"*; хотелось остаться с собою самим; и А. А. писал редко; и я писал редко ему; мне запомнилось прочно одно лишь письмо \*; в нем звучала глубокая грусть<sup>2</sup>; а — расстались мы ясно; под дымкой предчувствия были написаны тихие строчки, в которых почуялось мне опасенье за какое-то будущее, угрожающее; в это время видел я сон: А. А. явился передо мной, занесенный туманом; Л. Д. вижу явственно: бледную, в черном обтянутом платье, которое появилось чрез два только года на ней.

Пребывание в Шахматове отразилось во мне напряжением, закипающей внутренней жизнью, желанием сказать еще раз зорям — "да"; мне запомнилась ширь уже сжатых полей; и — пологие склоны оврагов; в то время усиленно занимался я Гефдингом<sup>3</sup>, чтением *"Метафизики"* Вундта<sup>4</sup> и *"Психологии"* Джеймса; я так же внимательно перечитывал *"Критику"* Канта<sup>6</sup>, перерабатывая свое прежнее отношение к Канту, готовил эскиз для введения в книгу, которая выросла в сознании; эскиз напечатан был в *"Новом Пути"* (тут же, вскоре) — *"О целесообразности"*<sup>7</sup>; принципы целесообразности я объясняю из образов переживания, которое — цельно; все символическое есть *цельное*; цель — абстракция целого; цель есть то самое, что во мне поднимает переживание ценности; от целевого абстрактного взгляда на жизнь мы должны перейти в область праксиса; философия

\* Моя переписка с А. А. сохранилась.

практического идеализма вставала во мне; мне казалось, что я подошел к пониманию мифологемы, построенной в Шахматове; "Ларап" — был мной понят.

В переживаньях сознания — дана достоверность; сознание — растяжимо; предел достоверности — тоже; само восприятие — лишь зависимая переменная переживания; видимость — переменная восприятий, а чувственность — переменная видимости. Эта вера в творение ценностей жизни вдохнулась мне Шахматовым (точно мы сотворили там Новую Жизнь); окончательный символ дается в прообразах, в ценностях; наш треугольник и "око" меж ним для меня стал прообразом чаемой, окончательной жизни, приподымающей Человечество, или Ее. "В этом смысле Она", — писал я, — "есть Честнейшая Херувим". Человечество брал я по Конту, оригинально толкуемого Соловьевым (Владимиром): "Выводы... философии заставляют рассматривать человечество, как живое единство"... И — "Соловьев отождествляет... тот культ (человечества)... с культом Мадонны". Тут мне представлялось так ясно: Петровский, и я, и С. М. — культ открыли: возжжением ладана перед Мадонной — в Москве; но возжжение ладана было лишь символом ладана душ, вознесенного в ласковость "шахматовских" закатов; да, в "шахматовской" заре мне почуялась эра; и да, Теократия, — знал я, придет, будет; мы Ее — начинаем; эскиз заключал парадоксом:

nous voulons être positivistes,  
nous devons poser l'Être°.

Эта формула — прежде дана: философией католицизма Росмини; с Росмини я не был знаком; я указывал: "Образуется... рыцарский орден, не только верящий в утренность своей звезды, но и познающий Ее"<sup>10</sup>. Предполагалось, что орден — сложился: три рыцаря ордена — я, А. А. Блок и С. М. Соловьев. Разве не были глупы мы? Мне, прочитавшему Канта, натуралисту, — не стыдно ли было кидаться в волну беспросветной романтики? Нет: не осуждаю себя:

Бросай туда, в мое былое,  
В мои потопные года, —  
Мое рыдающее горе,  
Свое сверкающее: "да"!  
Невыразимая Осанна,  
Неотразимая Звезда:  
Ты — откровеньем Иоанна  
Приоткрывалась: навсегда.

Сделал выписки из очень вялой статьи, потому что она в моих замыслах открывала дорогу другим, не написанным мною; хотел агитировать я: проводить философию Духа, иль — "Третий Завет"; то писал не А. Белый: "Ларап" написал все; шуточные гротески о "блоковцах" я задумал нешуточно обосновать; и — наткнулся на трудности справиться с логикой,

бросившей меня прямо к Канту; от Канта же к Риллю<sup>12</sup>; от Рилля же — к Риккерту<sup>13</sup>; так уткнулся я в Риккерта, выгрызая старательно за страницей страницу из "Gegenstand der Erkenntniss", исписывая вереницы листов (все — потеряны), пролагающих путь — от Риккерта к... к... "Laran'у".

Между тем осенило, златело, шуршало сухим листопадом; стояла закаты разъявшая осень; как часто в то время я забираюсь в поля; и — часами, присев на снопах, — дорабатываюсь до собственного посвящения в жизнь: дорабатываюсь до эмблематики смыслов (написанная "Эмблематика Смысла"<sup>14</sup> — осколок системы, возникшей в те месяцы), до философской поэмы моей, восхваляющей наши сидения в Шахматове и воспеваящей в Философии — тайны Софии.

Уже веяло златолистом; сжатые нивы пылали; метались по ветру метелки польны да колко-малиновые помпоны татарников. С матерью в эти дни мы задумывали поездку в Саров; близ Сарова, в обители Серафимо-Дивеевской<sup>15</sup> проживала монашкой сестра Алексея Сергеевича Петровского уже несколько лет; она приобщила его почитанию Серафима<sup>16</sup>; зачитывались мы записками Серафимо-Дивеевского монастыря; и живые традиции Серафима влагались в душу; прообразом чаемой жизни звучал мне Саров, этот явленный многим паломникам Китеж; мне помнится, что в сентябре<sup>17</sup> из Серебряного Колодца (имения нашего) едем мы с матерью к соснам Сарова, к источнику Серафима.

Саров оставляет в душе моей нотку какого-то гложущего разочарования: грубость монахов, открыто построивших благополучие жизни на слухах о чудесах, шесть гостиниц, наполненных людьми, все это осталось каким-то базаром; но сосны Сарова и прядяющий животворный источник остались в памяти. Наоборот: проведенные миги в Дивееве, впечатление от монашек и впечатление от разговора с сестрою Петровского, милой Еленой Сергеевной, посвятившей себя по окончании гимназии Фишер суровому, монастырскому подвигу, великолепные окрестности и канавка, прорытая самим Серафимом вокруг монастырской обители, не имеющей стен, — до сих пор в моей памяти ясны, светлы. Переживания Шахматова, воскурение ладана пред статуэткой Мадонны связались в сознании моем с днем дивеевской жизни; Дивеево, по преданью, находится под особенным покровительством Богородицы.

Помню: осенью вышли первые стихи А. А. Блока в книгоиздательстве "Триф"; вероятно, читателю бросилась бы в глаза немотивированная отметка на книге: "Разрешено Цензурою. Нижний Новгород". Книга же вышла в Москве. Нижегородская цензура ее разрешила к печати; боялись мы все, что московские цензора кое-что могут вычеркнуть в книге, или, что хуже всего: могут книгу отдать для просмотра духовной цензуре; чтобы спасти целостность книги, ее мы послали Э. Метнеру, почитателю поэзии Блока. Э. Метнер капризно волей судьбы занимал место цензора в Нижнем, которое вскоре он бросил, охваченный революционной волной; так желанием сохранить текст нетронутым объясняется эта отметка на книге.

## Стихи о Прекрасной Даме

Когда говоришь о поэте, то говоришь о центровом его образе, о мифе сердца его и о мифах, с ним связанных, требующих огромного комментария; если бы мы могли разложить эти мифы на мысли, то каждый "миф" Блока потребовал тома бы.

Говорить мне о внутренне-ясном и сложно-неясном во мне — не могу; и заранее обещаю, что многое в моих темах касания Блока покажется образным, т.е. рассудку неясным: ведь ясная мысль не совпадает конечно же с ясностью рассудочной мысли; порой ясно мыслить — наверное, быть обреченным к неясному выражению, т.е. отчетливо знать, что вот здесь, например, должна кончиться ясность; и — выступает из-под нее темный смысл (для рассудка) — все же ясный, когда мы положим его в наше сердце, и он в нашем сердце заявится процветающим образом; выждать, чтобы образ созрел, не кромсать его в сердце рассудочными определениями, — это значит: быть ясным.

Блок — наш национальный поэт; его участь — всем нравится без объяснения, чем он нам нравится; объяснения — периферичны; и понимание *умом* не покрывает глубины сердечного взятия; Пушкин понравится 12-летнему гимназисту: и ему, уже ставшему сорокалетним; сорокалетний, быть может, впервые, сознает природу поэзии Пушкина; но — так ли сознает, как гимназистик? Многие не пережили *вторичного* соприкосновения с поэтами; и — остаются при "гимназическом" понимании поэзии их; все оценки, диктуемые таким пониманием, — плоски; не убраны здесь предрассудки сознания; не попадает поэт в наше сердце.

Поэтому нам надо подставить, как чашу, сознание наше; и ждать, иногда очень долго, чтобы струя его жизни действительно пролилась в нас; поэт должен в нас пережить себя; мы должны наблюдать "его" жизнь в нашем сердце; на основании лишь такого конкретного наблюдения из нас прорастают суждения о музе его.

Понять Гете — понять связи "Фауста" со световой теорией<sup>18</sup>, понять Блока — понять связь стихов о "Прекрасной Даме" с "Двенадцатью"; вне этого понимания — Блок партийно раскромсан и разве что отражается в односторонней политике, которую он сам называет "маркизовой лужей". Не отдать Блока "луже" — пройти в его мир, где один за другим из ствола поэтической жизни, как ветви, росли его мифы; и тут упираемся мы в первообраз его: тут "Прекрасная Дама" встает.

Все, написанное о Ней — полно пошлости, плоскости; видеть в Ней стиль и романтику средних веков, после смытую *реальными*, гражданскими темами, — непонимание Блока; увидеть в "Ней" сказку, приятную нам, — непонимание тоже. "Прекрасная Дама" непроницаема без *вольфильства*, без *вольного* философствования; в Ней — огромная, философская тема; и Блок в этой теме конкретный философ, то есть не тот кто штудирует серии теоретических книг — а тот, именно, кто своим переживанием во плоти загадывает философскую тему.

Понять философскую или, верней, антропософскую тему его без знания импульсов, одушевлявших сознание лучших русских 1900—1901-ых годов — невозможно; национальные поэты суть органы дыхания коллективов (больших или малых — не все ли равно); мы отметили его связь с Соловьевым; она — не случайна.

Начало девятисотых годов и конец девяностых — огромное, переломное время: все кризисы, которые переживаем мы ныне, — начало свершения перелома, уже наступившего в 1901 году; очень многие русские души так встретили этот год; Блок явился вождем их. В период времени написания стихов "Ante Lucem"<sup>19</sup> устремления художников и мыслителей пересекались в *темном, в до-светном*; господствовал — пессимизм; небытие — разливалось; тогда Александр Александрович из себя выговаривал время, до-светное время: "Пусть светит месяц — ночь темна", "Ночь распростерлась надо мною", "На завтра новый день угрюмый еще безрадостней взойдет", "Мне снилась смерть", "Земля мертва, земля уныла...", "Я стар душой. Какой-то жребий черный — мой долгий путь", "И сам покой тосклив, и нас к земле гнетет бессильный труд, безвестная утрата...", "Стала душа, пораженная, комом холодной земли"; никакой еще Ее (с большой буквы) на горизонте сознания А. А. не подымается вовсе; все женственное, что мы встречаем в строках, сосредоточено вокруг темы Офелии, земной девушки. Так 23 декабря 1898 года он пишет:

Но ты, Офелия, смотрела на Гамлета  
Без счастья, без любви...<sup>20</sup>

А 8 февраля 1899 года опять пишет песню Офелии<sup>21</sup>; 28 мая 1900 года опять поминает Офелию он:

Мои грехи в твоих святых молитвах,  
Офелия, о нимфа, помяни<sup>22</sup>.

Мы уже знаем, что образ Офелии связан для Блока с его ранней юностью, когда он, гимназист, играл Гамлета; роль Офелии исполняла Л. Д., будущая невеста А. А.<sup>23</sup>

Лишь 29 июля 1900 года, сейчас же после кончины Владимира Соловьева, подымается первая тема Софии у Блока. Офелия исчезает в строках:

То Вечно-Юная прошла  
В неозаренные туманы<sup>24</sup>.

В следующем по времени стихотворении, помеченном 22 сентября 1900 года — опять *Вечно-Юная* ("Она" с большой буквы):

И в одиноком поклоненьи  
Познал я истинность Твою<sup>25</sup>.

25 ноября в том же году опять обращение к Ней:

Я ждал Тебя. Я дух к Тебе простер.  
В Тебе — спасенье<sup>26</sup>.

Офелии — нет.

А в 1901 году раскрывается во всей силе Ее озаренье для Блока. "Ее" — не называет вначале никак он; "Она" — не имеет ни образа, ни подобия. "Она" есть "Она".

"Ты — лучезарное виденье", "То — Вечно-Юная", "И Ты вдали", "Я ждал Тебя". Сначала "Она" для него без-эпитетна и без-образна. Первое более внятное определение *Вечно-Юной*: Она — Дева, Закатная и Таинственная.

... Явись ко мне без гнева,  
Закатная, Таинственная Дева<sup>27</sup>.

Тогда же в поэте туманно откладывается Ее внутренний облик, живущий в душе: и он — неизменен.

Все в облике *одном* предчувствую Тебя.<sup>28</sup>

Каков этот облик в начале явления своего пред поэтом? Какие цвета сопровождают его? *Лучезарность, золото и лазурь* Ей сопутствуют: "Ты — *лучезарное виденье*", "И *лучезарность* близко", "Жду волны — волны попутной к *лучезарной* глубине", "Ты над могилой — *лучезарный храм*" и т.д.

А солнечное *золото и лазурь* — вот они: "И Ясная, Ты солнцем потекла", "Солнце разлейте", "Этих снов золотых", "Нити бегут *золотистые*"... "Ты *лазурью* золотою просиявшая навек"... "В этой бездонной *лазури*"... "Это — бог *лазурный*... шлет... дары", "кто-то шепчет и смеется сквозь *лазорево* туман"... "Ты *лазурью* сильна"... "Твоей *лазурью* процвеств"... "Вдруг расцвела, в *лазури* торжествуя"... "И... Ты плывешь в объятия *лазурных* сновидений"... "Тобой *синют*, без границы моря, поля и горы, и леса"... Эта "*лазурь*" во второй половине 1901 года уже ослабляется: в голубое: "Прошла *голубыми* путями" (16 июля), "Над Твоей *голубою* дорогой" (16 июля), "Голубая царица земли" (16 декабря), "Голубая даль светла" (29 декабря), "Смотрит, смотрит свет *голубой*" (29 декабря).

Золото и лазурь — иконописные краски Софии; иконное изображение Софии сопровождают те краски; и у Владимира Соловьева "Она" — пронизана *лазурью золотистой*; или — в ней лазурь: "О, как в тебе *лазури*... много"... У Владимира Соловьева Она опускается с неба на землю, переносит свое *золото и лазурь* к нам, сюда:

Знайте же, Вечная Женственность ныне  
В теле нетленном на землю идет.

В этом предвозвещеньи схождения на землю Ее А. А. вместе с Владимиром Соловьевым — духовный максималист.

Является стремление соединить вершину мысли с вершинною точкою личности; воплотить философию нового времени в жизнь; то стремление — своеобразный *максимализм*, отделяющий, например, Эмпедоклову философию о стихиях от самого Эмпедокла<sup>29</sup>, соединяющегося со стихией огня в мифе, о том, как он бросился в Этну. Стремление вот к такому максимализму рождает нам тему поэзии Блока.

Фауст — абстрактный максималист до первой сцены из "Фауста": до тоски по конкретному, заставляющей его взять чашу с ядом; решенье убить себя, — высекает в душе его жизнь; и жизнь отвечает: "Christ ist erstanden!<sup>30</sup>" И Фауст выходит в весну; там встречает он Гретхен; не понимая видения, поступает с Видением, как... Дон-Жуан: Мефистофель, Рассудок, — мешает понять: Гретхен есть Беатриче, его проводница к голоосу Жизни; она только зеркало, — в котором отображается Та; к Ней ангелы Фауста возносятся по смерти; и там в синеве созерцает он тайну Ее, через Нее узнает, кем была ему Гретхен; Гретхен встречает на небе:

Der früh Geliebte,  
Nicht mehr Getrübte,  
Er kommt zurück<sup>31</sup>.

На земле Фауст Гретхен не понял: и не сумел в ней увидеть соединенья Вечного с временным; разрезал в ней Вечное линией времени: убил Гретхен; убийство — самоубийство вместе со всеми следствиями — содержание двух частей "Фауста" и описание пути к конкретному максимализму; из "кукольного своего состояния" (Faust in Puppenzustand) вылетает он яркою бабочкой духа, Марианнусом:

Das Unbeschreibliche  
Hier ist getan<sup>32</sup>.

Искание пересечения Вечного с временным, точка слияния Вечного с временным, стремление охватить время Вечным — конкретные поиски молодых символистов начала столетия: *символ* их символов — акт воплощенья Виденья, ведущего к созерцанию тайны Той, которая есть Mater Gloriosa<sup>33</sup>.

Таков образ Музы у Блока; кончается "Фауст" им; им открывается Блок.

Он — поэт-символист, теоретик-практик, понявший конкретно *зарю* Соловьева, зарю наступления новой эпохи; он понял: *заря* есть сечение небом земных *испарений*; и — стало быть: понял — конкретное "да" той зари в переплавлении слоев жизни до разложения телесности на "мозги и составы" (прекрасное выражение Апостола Павла), до облеченья себя новым телом культуры иль ризы Ее, уподобляемой *эфирному току*, пресуществляющему отношения человеческие в "Das Unbeschreibliche"<sup>34</sup>:

Фаусту это лишь стало возможным по смерти; о нем возглашают небесные хоры:

Vom edlen Geisterchor umgeben,  
Wird sich der Neue kaum gewahr,  
Er ahnet kaum das frische Leben,  
So gleicht er schon der heil'gen Schair.  
Sieh: wie er jedem Erdenbände  
Der alten Hülle sich entrafft  
Und aus ätherischem Gewande  
Hervortritt erste Jugendkraft<sup>35</sup>.

(Faust)

В Видении Блока загадано Блоку: произвести на земле — катастрофический акт: совершить несовершенное.

Будут страшны, будут несказанны  
Неземные маски лиц...  
Буду я взывать к Тебе: Осанна!  
Сумасшедший, распротертый ниц.  
И тогда, поднявшись выше тлена,  
Ты откроешь Лучезарный Лик.  
И, свободный от земного плена,  
Я пролью всю жизнь в последний крик<sup>36</sup>.

*"Надвигается революция Духа"* — так гласят: философия и поэзия Владимира Соловьева, никому не известный еще, замечательный *"Третий Завет"* А. Н. Шмидт и еще не поднявшийся на поверхности жизни *антропософический* западный импульс, подводящий по-своему к встрече с Софией.

А. А. Блок в первой книге стихов — заостритель огромного импульса, подходящий к нему несравненно решительней Владимира Соловьева.

Уже для А. А. выявление Ее облика есть не мистический акт, а культурное деланье, предстоящее, может быть, завтра же — каждому. Как философски оформить проблему и как обложить ее Контотом, Владимиром Соловьевым, — задача конкретных философов. И при помощи философии можно растолковать: тема яркой поэзии Блока, — не сказка, не стиль; она — тема, имеющая огромное философское основание.

Блок тогда уже знал, что со старым покончено; рухнули старые формы; и времена изменились; органы восприятия — перерождаются в нас. Все грядущие *светы и тьмы*, для поэзии Блока загаданы в том же образе: *"Ты"*.

Не знаешь Ты, какие цели  
Таишь в глубинах Риз Твоих,  
Какие ангелы слетели,  
Кто у преддверия затих...  
В Тебе таятся в ожиданьи  
Великий свет и злая тьма —  
Разгадка всякого познания  
И бред великого ума<sup>37</sup>.

Понять А. А. Блока — понять: все есть для него объяснение звука *зари*, совершенно реальной; конкретностью окрашено для него наше время; и выход поэзии Блока из философии Соловьева, есть выход в конкретности факта *зари*; в *воплощения* Вечного в жизнь: это поняли символисты; аллегористы и декаденты, — не поняли: все искания и воплощения возникали проблемою связи Владимира Соловьева и Федорова<sup>38</sup> с философией русской общественной мысли (с Лавровым<sup>39</sup> и с Герценом).

Следующая стадия: — соединение философии Федорова (воскресение индивидуального) с углубленной проблемой народничества, воскресения народного коллектива как хора, оркестра, которой кончается "Фауст":

Alles Vergängliche  
Ist nur ein Gleichnis;  
Das Unzulängliche  
Hier wird's Ereignis;  
Das Ubeschreibliche  
Hier ist getan.  
Das Ewig-Weibliche  
Zieht uns hinan<sup>40</sup>.

Только Gleichniss'ы<sup>41</sup> новой проблемы становятся Ereigniss'ами<sup>42</sup> мирового процесса, мистерией, солнечным градом и Новым Иерусалимом, Покровом Господнем; и этот Покров — *Вечной Жены*, Той, Которою кончается творчество старого Гете, Которою начинается творчество юноши Блока: конец здесь — начало; конец гуманизма; начало антропософии, примиряющей Запад с Востоком, являющей в конце варварской, капиталистически-буржуазной культуры не древнего эллина, а ветхого денем Скифа в провиденциальном аспекте. Так "Скифы" загаданы уже нам в первых годах поэтической жизни А. А.; лики их — в складках ризы у Той, о Которой гласится:

Höchste Herrscherin der Welt,  
Lasse mich im blauen  
Ausgespannten Himmelswelt  
Dein Geheimnis schauen...<sup>43</sup>

(Goethe)

Мы преклонились у завета  
Молчаньем храма смущены.  
В лучах божественного света  
С улыбкой ласковой Жены.

Единодушны и безмолвны,  
В одних лучах, в одних стенах,  
Постигли солнечные волны  
Вверху — на темных куполах.

И с этой ветхой позолоты  
Из этой страшной глубины  
На праздник мой спустился Кто-то  
С улыбкой ласковой Жены<sup>44</sup>.

Блок эпохи "Крушения гуманизма"<sup>45</sup> и "Скифов", есть Блок, нам рассказывающий отдельные из эпизодов огромного мирового переворота, начавшегося от реакции соединения *неба с пучиною вод*: там на небе улыбка *Жены*, а из бездны навстречу выходят прообразы Скифов, протянутых к свету из-под обломков обвала гуманистического ренессанса; и скифская линия русской поэзии, голосами Есенина, Клюева<sup>46</sup> и Орешина<sup>47</sup> в более поздних годах, перекликается с линией, исходящей от Блока и Соловьева.

Есть у Гете в теории красок великолепный отрывок, трактующий о моральном восприятии краски, где цвет превращается в символ морального мира; и палитра у поэта, и цвет его зорь, освещение ландшафтов его дает нам бесконечное множество черточек, выясняющих его воззрения на мир: так: поэт сам себя истолковывает в выборе цвета.

В 1899 году А. А. говорит:

Земля мертва, земля уныла...  
Вдали — *рассвет*<sup>48</sup>.

Через год он пишет:

На небе *зарев*...

Но все еще: —

...глухая ночь мертва,  
Толпится вокруг меня, лесных деревьев громада,  
Но явственно доносится молва  
Далекого, неведомого града<sup>49</sup>.

Звук грядущего града к нему приближается.

А через месяц уже умирает В. С. Соловьев, раньше всех увидавший, что —

Всходит омытое  
Солнце любви...<sup>50</sup>

(Июль 1900 года)

Потому что, — "*Вечная женственность ныне идет!*". В месяц же смерти Владимира Соловьева Блок пишет:

То вечно Юная прошла  
В незаренные туманы<sup>51</sup>.

(Июль 1900 года)

Перед этим еще не был вовсе разгадан А. А. Ее образ; тот образ вставал перед ним в символическом образе Гамаюна, в стихотворении, посвященном картине В. М. Васнецова:

Она вещает и поет  
Не в силах крыл поднять смятенных...  
Вещает иго злых татар,  
Вещает казней ряд кровавых,  
И трус, и голод, и пожар,  
Злодеев силу, гибель правых<sup>51</sup>...

Так пред явлением своим в лике *Света Она* появляется в образе мстящем: вещает грядущими "страшными летами", которые после уже воспевает поэт; все вещает она: будут — "Скифы", и "Куликово Поле", и "Калка", и — что еще? У Владимира Соловьева *Она* появляется Девой-Обидою, плещущей крыльями; старые символы Руси далекой соединяются с новыми символами Руси грядущей, "Слово о полку Игореве" с "Куликовым Полем" будущего, возглас "О, Русская земля, за шеломенем еси" с возгласами стихотворений Вл. Соловьева, с картинами Виктора Васнецова. Туманная атмосфера ушедшего века раскрылась в блесках огней.

Ищу спасенья.  
Мои огни горят на высях гор.  
Всю область ночи озарили.  
Но ярче всех — во мне духовный взор  
И Ты вдали... Но Ты ли?  
Ищу спасенья.

Стихотворение оканчивается словами:

Там сходишь Ты с далеких светлых гор.  
Я ждал Тебя. Я дух к Тебе простер.  
В Тебе — спасенье!<sup>52</sup>

В стихотворении намечены все особенности эпохи, в которую начинаем уже мы конкретно вступать: и напряжение чаяний, и великий соблазн от подмены (— Но — Ты ли?).

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —  
Все в образе одном, предчувствую Тебя.  
Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,  
И молча жду, — тоскуя и любя.

Весь горизонт в огне и близко появленье,  
Но страшно мне; изменишь облик Ты?  
И дерзкое возбудишь подозренье,  
Сменив в конце привычные черты.

О, как паду и горестно и низко,  
Не одолев смертельные мечты!  
Как ясен горизонт! И лучезарность близко.  
Но страшно мне: изменишь облик Ты<sup>53</sup>.

В стихотворениях летних 1901 года у Блока характеристика Ее веений совпадает во всем с характеристикой Владимира Соловьева: в *лазури* и в *золоте* оба Ее созерцают; но она выявляется в чисто *блоковском*

переплетении тем; индивидуальной, интимнее звучат темы у Блока; и — далее, с осени того года рисуется нисхождение Ее в хаос стихийного мира, в "пучину морскую"; здесь сферы Ее пересекаются уже с сферой Майи ("Астарты" по Блоку); и возникают соблазны, неведомые поэзии Соловьева: по-новому восстанавливается связь с Фетом и с Лермонтовым; и — появляются: рубелевские тона.

Лучезарность не сразу является в строчках Блока; она разгорается из "огней" ("Мои огни горят на высях гор...", "Весь горизонт в огне").

Слетает — в вихре и огне  
Крылатый ангел от страниц Корана<sup>54</sup>.

(3 июня 1900 года)

Потом — "огней" нет: есть лазурь и есть золото.

Но "огни" поднимаются сызнова: "Стану, верный велениям Рока, постигать огневую игру"... "Я умчусь огневymi кругами" (18 августа), "Пылаю я" (2 ноября), "Как сердца горят над бездной", "За ладьей — огневые струи — беспокойные песни мои" (20 декабря), "Первый день твоей весны будет пламенное лето" (25 декабря).

Эта вспышка огней сопровождается ослаблением лазури до голубого, от приближения Ее к сферам, где Лик начинает двоиться Ее, заслоняемый Ликом Астарты:

Но и ночью в час ответа  
Ты уйдешь в речной камыш<sup>55</sup>.

(14 июня 1901 года)

Или: "Ты — другая, немая, безликая, притаилась, колдуешь в тиши" (23 ноября 1901 года), "Злая дева, за тобою вышлю северную ночь". Это уже не "Она", Кто — "лазурью золотистой просиявшая навек".

От тяжелого бремени лет  
Я спасался одной ворожбой.  
И опять ворожу над тобой,  
Но не ясен и смутен ответ<sup>56</sup>.

Тут "она" — с буквы маленькой.

Я все гадаю над тобою,  
Но, истомленный ворожбой,  
Смотрю в глаза твои порою  
И вижу пламень роковой<sup>57</sup>.

И вдруг — перепутываются отношения: то он обращает к "ней" (с маленькой буквы), к Астарте, то вдруг обращает к Той, Ясной, которую помещает он в терем (?), которую в терему он пытается страстно настичь:

И когда среди мрака снопами  
Искры станут кружиться в дыму,  
Я умчусь с огневыми кругами  
И настигну Тебя в терему<sup>58</sup>.

*Дым огней* превращается в *тени*, которые начинают все более выступать и противиться пресуществлению Ее хаоса водного; и *лазурь* — померкает, а *золото* — то подменяется светом, а то осаждается *позолотой* на *церковных* стенах.

До осени 1901 года Она объективно сияет А. А., как Владимиру Соловьеву, а свет Ее, проникая душевность, в душевности топится, растворяется; и поднимаются страстные, я бы сказал, что хлыстовские ноты *радения, нетерпения, освидания Ее* сошествия в личную биографию; Лик Ее уплотняется; и — появляется ряд новых образов, сопровождающих главную тему поэзии Блока.

Появляются *Церковь* и *Храм*, не духовный, сияющий храм, а храм каменный. Слово "*церковь*" сперва очень редко встречаем у Блока.

Но с глубокою верою в Бога  
Мне и *темная церковь* светла<sup>59</sup>.

Здесь А. А. нуждается в церкви еще, как в существенном знаке.

Уже в конце года в другом лейтмотиве "она" (с буквы маленькой): с атрибутами чар, как *волшебница*, выплывает в стихиях метели; тогда раздается звук колокола, *церковного*, которого не было прежде у Блока:

Ты в белой вьюге, в снежном стоне  
Опять волшебницей всплыла,  
И в вечном свете, в вечном звоне  
*Церквей смешались купола*<sup>60</sup>.

(27 ноября)

Как не похож лейтмотив этой мчащейся в стонущем вихре "*волшебницы*" с лейтмотивом Ее: "Ты — цветешь одиноко. Ты *лазурью* сильна".

Точно знание о Ней, отлетающее, А. А. силится закрепить в тяжелейшие ризы иконы.

В 1902 году звучит *колокол*, прежде неслышный, для всех оглашая пришествие: "Высок и внятен *колокольный зов*", "Церковный свод давал *размерным звоном* всем путникам напутственный ответ", "Тайна жизни теплится, *благостные звоны*", "Несутся звуки *колоколен*", "Слышу *колокол*" и т.д. В 1901 году встречи с Нею происходили в полях, а не в храме; теперь эти встречи — в "*церковной ограде*"; Она, замыкая себя в круг материи, опускается в низшие сферы; предметами культа обложены *плотно* все мысли и чувства о Ней; всюду — *церковь* и *храм*, храм — вещественный: "Озарены *церковные ступени*"... "Ты здесь пройдешь, холодный камень тронешь, *одетый страшной святостью веков*"... "У *строгих образов*", "Церковный свод давал... напутственный ответ", "В *лампадном свете образа*",

"Мы преклонились у завета, *молчаньем храма смущены*", "Вверху — на *темных куполах*", "Я укрыт до времени в *приделе*", "Мы живем в *старинной келье*", "Кто-то... шепчется у *святой иконы*", "Я знаю: мы в *храме вдвоем*", "На *мирные ступени всходите все*", "Люблю *высокие соборы* душой смиренной посещать", "Брожу в *стенах монастыря*", "И вечно бледный *воск свечей*, и *убеленные карнизы*", "Ночь долга, как ряд *заутрен и обеден*", "Внимай словам *церковной службы*", "Огонь *кадильный берегу*", "И за *церковную ограду*" и т.д. Всюду: церкви, ступени церковные, ризы, лампадки, кадила, заутрени, свечи, карнизы; везде — ограниченность: кельи, приделы, ограды. В приделы, в ограды и в кельи проходит Она; и колеблются *тени и мраки* вокруг.

Лейтмотиву колоколов и церковных оград соответствуют лейтмотивы *тений и полусумрака*; прогнанный Ею в прозрениях 1901 года, тот сумрак опять настагает. И можно сказать: *мглою, тенью и сумраком* — переполнены строки Блока: так *золото и лазурь* предыдущего года пресущаются в этом году в *свет и в тьму*. Отступление в *тьму* есть следствие дерзости — Ее настигнуть, ворваться насильственно в *терем* к Ней:

Я умчусь с *огневыми кругами*  
И настигну тебя в *терему*<sup>61</sup>.

Это написано 18 августа 1901 года, а 24 августа слышится уже последствие "дерзости": "Видно, дни *золотые* прошли"; и далее:

От себя ли *скрывать*  
Роковую *потерю*?<sup>62</sup>

Через три дня написаю:

Или великое *свершилось*,  
И ты хранить *завет времен*  
И, *озаренная*, *укрылась*  
От *дуновения племен*?<sup>63</sup>

И — нота *раздвоенности*:

И ты *безоблачно светла*,  
Но лишь в *бессмертьи* — не в *ядоли*<sup>64</sup>.

Как будто бы дерзостная катастрофическая попытка преобразить мир *ядоли* отражена духом *тьмы*; *вырывается*:

Смотри я *отступаю в тени*.

То *тени* *церквей*, *стен пределов* и *келей*. И — *теп* *поднимается* над 1902 годом: —

— "Бегут *неверные дневные тени*", "Здесь, в этой *мгле* у *строгих образов*", "Пожится *мгла*", "Сгущался *мрак церковного порога*", "в *тени*

не виделось ни зги", "Из сумрака... шаги", "над сумрачным амвоном", "И лестница темна", "И сумерки вокруг", "Там, в полусумраке собора", "Там, в сводах сумрак неизвестный", "Солнцу нет возврата из надвигающейся тьмы", "Там сумерки невнятно трепетали", "На темном пороге тайком святые шепчу имена", "Когда, окутанные тенью, мои погаснут небеса", "Люблю... входить на сумрачные своды" (собора), "Теряясь в мгле", "Свет в окошке шатался в полусумраке — один" и т.д. "Меняются, темнеют, гложут стены", "Я... всходил... на темные ступени", "И помрачались высоты", "Я наблюдаю полутьму" и т.д. Главным образом эти сумрак и тень наполняют соборы и церкви.

Вхожу я в темные храмы,  
Совершаю бедный обряд<sup>65</sup>...

Или:

А хмурое небо низко —  
Покрыло и самый храм<sup>66</sup>.

Появление сумрака — появление сумрака в храме, который трепещет сиянием "красных лампад"; распространяется розовый отблеск и смешивается с погасающей золотой лучезарностью 901 года в ту особую, розово-золотую, густую и пряную обрядовую атмосферу, в которой таится нетерпеливое ожидание встречи с ней, материализованной в образ, входящий в храм. Розовое, озаренное заменяет лазурь золотистую, лучезарную. Розово-золотое есть смесь света с тьмой; вместе с тем: это розово-золотое — нетерпеливость ее ожидания. Характернейшим стихотворением этого времени я считаю стихи, по недоразумению посвященные С. М. Соловьеву:

Бегут дневные розовые тени.  
Высок и внятен колокольный зов.  
Озарены церковные ступени.  
Их камень жив — и ждет твоих шагов...

Ты здесь пройдешь, холодный камень тронешь,  
Одетый страшной святостью веков,  
И, может быть, цветок весны уронишь  
Здесь, в этой мгле у строгих образов.  
Растут невнятно розовые тени,  
Высок и внятен колокольный зов.  
Ложится мгла на старые ступени...  
Я озарен — я жду Твоих шагов<sup>67</sup>.

В приводимом стихотворении проходят главнейшие темы 902 года: мгла, зов колокольный и розовость ожидания — сейчас, непосредственно (не было нетерпения этого в предыдущем году).

Озарен: "Я озарен", "И путник шел, закатом озарен", "И дале шел закатом озарен", "А в лицо мне глядит, озаренный, только образ, лишь сон о Ней", "Озарены церковные ступени", "Брезжит бледная заря", "А в лицо мне глядит озаренный" и т.д.

*"Я озарен — я жду твоих шагов"*: здесь надежда на невозможную встречу звучит нетерпением, зудом, тьмой страстности, только извне озаряемой, не прозаренной; *прозор*, прожигающий душу, становится озарением — озарением внешнего покрывала пучины страстей; оттого поднимаются ноты хлыстовства.

Нетерпением окрашен весь 902 год: *"Я жду твоих шагов"*, *"Я укрыт до времени в пределе, но растут великие крыла, час придет — исчезнет мысль о теле, станет вьсь прозрачна и светла"*, *"Ждать ли пламенных безумий молодой души?"*, *"Встретить брачными дарами вестников конца?"*, *"Мы помчимся к бездорожью в несказанный свет..."*, *"К нам прольется в двери келий светлая лазурь"*, *"Жду вселенского света"*, *"В ризах целомудрия, о, святая, где ты?"*, *"Жду я"*, *"О, взойди же предо мною не в одном воображеньи"*, *"Я знаю: мы в храме вдвоем"*, *"Гадай и жди"*, *"Она сама к тебе сойдет"*, *"Я, отрок, зажжигая свечи, огонь кадилый берегу..."*, *"Все ждали какой-то вести"*, *"К ночи ждали странных вестей"*, *"Давно мне не было вестей"*, *"Я вышел в ночь... несуществующих принять"*, *"Яснее, ближе сон конца"*, *"Там жду я Прекрасной Дамы в сияньи красных лампад"*, *"Будет день, и распахнутся двери"*, *"Буду я взывать к Тебе: Осанна! Сумасшедший, распростертый ниц"*, *"Разгораются тайные знаки"*, *"Я знаю: Ты здесь. Ты — близко"*... и т.д.

Не следует забывать, что безумные ожидания Ее близости звучат страстными криками в темном храме, слегка озаряемом трепетом красных лампад, — в миг, когда хмурое небо *"покрыло и самый храм"*; ожидание это сопровождается стуками, медиумизмом и спиритизмом. (*"О, как понять, откуда стук"*, *"Узнать, понять далекий шорох, близкий ропот, несуществующих принять, поверить в мнимый конский топот"*, *"Все диким страхом смятено"*, *"И на дороге ужас веет"*, *"Войдет подобие лица"*, *"Но были шорохи и стуки"*... и т.д.); представьте себе обуйного иступленного экстазом, твердящего в темном храме средь *"красных лампад"* заклинанье: *"Приди, о, приди!"* И вам станет понятным страх ждущего, который

... Спрятал голову в колени  
И не покажет мне лица<sup>68</sup>.

Или:

Прильнув к церковной ступени,  
Боюсь оглянуться назад<sup>69</sup>.

В таком состоянии понятны слова:

Ты свята, но я Тебе не верю,  
И давно все знаю наперед:  
Будет день, и распахнутся двери,  
Вереница белая пройдет.

Будут страшны, будут несказанны  
Неземные маски лиц...  
Буду я взывать к Тебе: Осанна!  
Сумасшедший, распростертый ниц<sup>70</sup>.

И вот — *накатило*: и происходит все то, что предвиделось в стихотворении:

Гадай и жди. Среди полночи  
В твоём окошке, милый друг,  
Зажгутся дерзостные очи,  
Послышится условный стук.  
И мимо, задувая свечи,  
Как некий Дух, закрыв лицо,  
С надеждой невозможной встречи  
Пройдет на милое крыльцо<sup>71</sup>.

Кто же приходит? Она? Та, которую называл А. А. Девой, Зарей, Купиной, Вечно-Юной, лазурью Сильной?

Закатная таинственная Дева...<sup>72</sup>

Нет, не Дева уже, а... Жена. Характерно: "Она" изменяется в 1902 году у А. А. ("Но страшно мне: изменишь облик Ты...")

И с этой ветхой позолоты,  
Из этой страшной глубины  
На праздник мой спустился Кто-то,  
С улыбкой ласковой Жены<sup>73</sup>.

Эту Жену, иль "жену" (с маленькой буквы) ждет, как любовницу он:

Истомленный жду я  
Ласковую, милую<sup>74</sup>.

Он ждет, что —

Забрезжит брачная заря.

"Жена" ему шепчет:

Милый, милый, тебя обниму.

Или:

Там жду я Прекрасной Дамы  
В сиянии красных лампад<sup>75</sup>.

Куда же девалась лазурью сильная Дева? Прекрасная Дама, Жена, — вместо Девы пришла.

Я соблюдаю полутьму  
В Ее... алькове<sup>76</sup>.

Как? У владычицы Вселенной — альков? Нет, — просто какая-то "дама"; поэтому я не верю эпитету в "нетронутым" алькове... И "дама" является: и за "дамой" следит он:

И я, невидимый для всех,  
Следил мужчины профиль грубый,  
Ее серебристо-черный мех  
И что-то шепчущие губы<sup>77</sup>.

Понятно, что после таких ужасающих перемещений сознания воскликнешь:

Ты свята, но я Тебе не верю<sup>78</sup>.

И наткнешься, блуждая среди темных подъездов на "дом":

Там в сумерках белел дверной навес  
Под вывеской "Цветы", прикреплен болтом.  
Там гул шагов терялся и исчез  
На лестнице — при свете лампы желтом<sup>79</sup>.

Разве не чувствуете, что происходит трагедия, переживаемая хлыстовским сознанием: прозрение подменяется озарением (*лучезарное* — розовым), озарение — иступлением; иступление — падением отколотой половинки души, или бегством с *горы* инспирации<sup>80</sup> к пресловутому дому "Цветы". Начинается с "Девы" ("Я озарен, я жду Твоих шагов"); подменяется далее лик Зари ликом Дамы:

И от вершин зубчатых леса  
Забрезжит брачная зоря<sup>81</sup>.

Следующее по времени стихотворение:

Говорили короткие речи.  
К ночи ждали странных вестей.  
.....  
Все ждали какой-то вести.  
Из отрывков слов я узнал  
Сумасшедший бред о невесте,  
О том, что кто-то бежал<sup>82</sup>.

Кто бежал? Откуда? Куда? Но отвечает следующее по времени стихотворение:

Сбежал с горы и замер в чаще.  
Кругом мелькают фонари...  
Как бьется сердце — злей и чаще...  
Меня проищут до зари.  
.....  
Мое болото их затянет  
Сомкнется мутное кольцо,  
И, опрокинувшись, заглянет  
Мой белый призрак им в лицо.

Вместо "брачной" зари остается:

Холодная черта зари —  
Как память близкого недуга  
И верный знак, что мы внутри  
Неразмыкаемого круга.

Преждевременное озарение светом Духа непросветленной глубины пучин подсознания вызывает огромные бури; встают — двойники (наши низшие страсти), которых не ведаем, отдаваясь голой мистике без духовной науки; когда напрягается свет, — напрягаются снизу темнейшие силы: душа — разрывается.

Лейтмотив двойника подымается в темах поэзии Блока тогда, когда он в нетерпении, упреждая все сроки, пытается настичь в терему свою Музу; двойник — страж порога духовного мира<sup>83</sup>: *"Уже двоилась, шевелясь, безумная, больная дума"* (1902), *"Жду удара или божественного дара"* (1902) (преждевременное порывание к "дару" приносит "удар"), *"И опрокинувшись, заглянет, мой белый призрак им в лицо"*, *"Навстречу мне из темноты явился человек"*, *"И в этот час в пустые тени войдет подобие лица, и будет в зеркале без тени изображение Пришлеца"*, *"И вот, слышнее звон копыт, и белый конь ко мне несется... И стало ясно, кто молчит и на пустом седле смеется..."* (Конечно же, — мчится, навстречу двойник вместо света Духовного Мира: не проработано подсознание); этот двойник то становится профилем грубым мужчины (*"следил мужчины профиль грубый"*), а то он — Иуда (*"возник Иуда в холодной маске, на коне"*); [Лейтмотив] двойника, возникая впервые в падении 902 года, протянут сквозь весь первый том: *"Я знаю все. Но мы — вдвоем. Теперь не может быть и речи, что не одни мы здесь идем, что Кто-то задувает свечи"*, *"Мой страшный, мой Близкий — черный монах"*; этот черный монах притаился в глубинах сознания рыцаря Светлой Музы: то он увлекает его в сумрак красных лампад, выговаривая из него свои страшные тайны:

Боюсь души моей двуликой  
И осторожно хороню  
Свой образ дьявольский и дикий  
В сию священную броню.  
В своей молитве суеверной  
Ищу защиты у Христа,  
Но из-под маски лицемерной  
Смеются лживые уста<sup>84</sup>.

Вытолкнутый из глубины подсознания вовне, он становится *"черненьким человечком"*, которого понимает А. А. в конце первого тома стихов:

По городу бегал черный человек.  
Гасил он фонарики, карабаясь на лестницу<sup>85</sup>.

Это сам рыцарь Дамы:

Я бежал переулками мимо,  
И меня проглотили дома<sup>86</sup>.

И себя самого видит он в замечательном стихотворении первого тома:

Среди гостей ходил я в черном фраке.  
Я руки жал. Я, улыбаясь, знал:  
Пробьют часы. Мне будут делать знаки,  
Поймут, что я кого-то увидал.  
Ты подойдешь. Сожмешь мне больно руку,  
Ты скажешь: "Брось. Ты возбуждаешь смех".  
Но я пойму — по голосу, по звуку,  
Что ты меня боишься больше всех...  
Я закричу, беспомощный и бледный,  
Вокруг себя бесцельно оглянусь.  
Потом -- очнусь у двери с ручкой медной,  
Увижу всех... и слабо улыбнусь<sup>87</sup>.

Он видит того, кто жил в нем, но кто, убежав из него, стал гасить все "фонарики, карабкаясь на лестницу". Но раздвоение — необходимо; оно оттого, что душа посвященного в свете Ее (дева) — уже родила искру духа: "младенца".

Звезда-предвестница взопла,  
Над бездной плакал голос новый —  
Младенца дева родила<sup>88</sup>.

Младенец, рожденный от девы, есть рыцарь, живущий в приделе Иоанна:

Я их хранил в приделе Иоанна,  
Недвижный страж, -- хранил огонь лампад.

И вот — Она, и к Ней — моя Осанна —  
Венец трудов -- превыше всех наград<sup>89</sup>.

Это — часть высших, светлых способностей, продолжающих в горних светах Ее созерцать и в лазури, и в золоте солнца в то время, когда в низших сферах сознания совершается страшная схватка с собою самим. "Постигли солнечные волны", "В лучах божественного света улыбка вспомнилась", "Остерегающий струился свет" (1902), "Высь прозрачна и светла" (1902), "Смотри, как солнечные ласки в лазури нежат строгий крест" (1902), "В несказанный свет" (1902), "Верю в солнце завета" (1902), "Непостижного света задрожали струи", "Ярким солнцем залитая шла Ты" (1902), "Крылатых слышу голоса" (1902), "Я возвращусь к Тебе" (1902), "Не понять Золотого Глагола изнуренной железом мечте" (1902), "Восстав от тягостного сна перед Тобою, Златокудрой, склоняю долу знамена", "Душа блаженна, Ты близка", "Навеки преданный Святыне во всем послушаюсь Тебя", "Подходя к золотому порогу, затихал пред Твоими дверьми", "Светлый меч нам вскроет двери ослепительного дня".

Или:

Что мгновенные бессилья?  
Время — легкий дым...  
Мы опять расплещем крылья,  
Снова отлетим.  
И опять, в безумной смене  
Рассекая твердь,  
Встретим новый вихрь видений,  
Встретим жизнь и смерть<sup>90</sup>.

Изумительные переживанья и образы первого тома стихов проплетаются острою, яркою, изостренной мыслью. Напрасно считают А. А. — певчей птицей; он — певчая птица, но — мудрая птица; и — даже: в нем песня от мудрости; мудрость, софийность в А. А. не ограничивается сверхсознанием; она простирается в сферу рассудочную, подавая порой нам поводы мыслить, что много трагедий А. А. в сфере внутренних опытов произошли от излишнего интеллектуализма его, не позволяющего мысли небесной, Софии, вступить в мысль мозга (в мысль Канта). Сухое внимание интеллектуалиста сопровождает порой интуицию Блока, раскалывая ее; и — он говорит:

Сухим внимаем я живу.

Или:

Мой монастырь, где я томлюсь безбожно, —  
Под зноем разума расплавленный гранит<sup>91</sup>.

Этою мыслью он числит: "И — число, число без тебя".

Я не достигну примиренья,  
Ты не поймешь проклятых числ<sup>92</sup>.

Или:

И, многовластный, число...

Это счисление утомляет А. А.

Где новый скит? Где монастырь мой новый?  
Не в небесах, где гробовая тьма,  
А на земле, — и пошлый, и здоровый,  
Где все найду, когда сойду с ума<sup>93</sup>.

Но с ума А. А. все ж не сходит, ибо в нем самосознание живо; оно обнаруживает ему грань меж рассудком и разумом, меж умом и Софией, меж мирознанием и Богопознанием:

Передо мною — грань Богопознания,  
Неизбежный сумрак, черный дым<sup>94</sup>.

И, прибавлю от себя, — страх беспредельности, осознанный — им, как основа холодного кантианского мышления в пределах; недаром в стихотворении, посвященном Иммануилу Канту, он пишет:

Сижу за ширмой. У меня  
Такие крохотные ножки...  
Такие ручки у меня<sup>95</sup>.

Эти ширмы — граница образования кантианских понятий. Свет дневного рассудка ("*И числю, числю*") — здесь гаснет. Но он углубляется самосознанием в сумрак:

Углубись еще бесстрастной  
В сумрак духа своего<sup>96</sup>.

И тогда этот сумрак свободно *синее* премудростью зарассудочной мысли, глубинностью мысли Софии:

Ты сильна, царица, глубинностью,  
В твоей книге раззолочены страницы<sup>97</sup>.

И он проходит в сферы "*царицы, ищущей смысла*", у которой "*синие загадки*"; здесь постигают тайны кипучие живомыслия:

Никому не открою ныне  
Того, что рождается в мысли.  
Пусть думают — я в пустыне  
Блуждаю, томлюсь и числю<sup>98</sup>.

Но — "*ширмы*" Канта отставлены; страх пред живой, кипучею мыслью преодолен; и он знает Гетево "*Stirb und Werde*"<sup>99</sup>:

Здесь печально скажут: Угас.  
Но там прозвучит: Воскресни.

И уже тут начинается мудрость:

Иду за Тобой —  
Мне путь *неизвестный ведом*<sup>100</sup>.

Это путь к Мудрости, к синим ночам живомыслия, где

Протекали над книгой Глубинной  
*Синие* ночи царицы<sup>101</sup>.

Здесь *синие* волны свободной, безмерной духовной конкретности, или софийные мысли:

Киваю *синему* раздолью,  
.....  
..... .пустыней  
Несусь в пылающем бреду,  
И в складки ризы *темносиней*  
Укрыл любимую звезду<sup>102</sup>.

Темно-синие ризы — Ее; а — звезды есть звезды нераскрывшейся, издали слышимой инспирации:

Отворилось облако высоко,  
И упала Голубиная книга.  
А... из лазурного ока  
Прилетела воркующая птица<sup>103</sup>.

Воркующая птица есть мудрость, не знающая кантианских пределов, или — мысль—собственно. И доверием к мудрости, к мысли под коростой внешнего исчисления дышит ряд строк.

Лишь единая мудрость достойна  
Перейти в неизбежную ночь<sup>104</sup>.

Остальному в себе сказать надо решительно: "Strib".

"Strib und Werde"

Что "Werde"?

Отрекись от любимых творений,  
От людей и общений в миру,  
Отрекись от мирских вожделений,  
Думай день и молись ввечеру<sup>105</sup>,

Чтоб —

... дух на грани пробужденья  
Воспрянул, вскрикнул и обрел  
Давно мелькнувшее виденье<sup>106</sup>.

Вспыхивают огни мысли.

Мои огни горят на высях гор,  
Всю область ночи озарили,  
Но ярче всех — во мне духовный взор  
И Ты вдали...<sup>107</sup>

Мысль освещает неосвещенную область ночи, а вера, соединенная с знанием — ведет.

Медленно, тяжело и верно  
Мерю ночные пути:  
Полному веры безмерной  
К утру возможно дойти<sup>108</sup>,

Потому что —

Нет меры нашему познанию...<sup>109</sup>

Потому что —

Погибла прежняя ложь  
И близится вихрь видений<sup>110</sup>.

Но это для того, кто умеет сочетать в мудрости жизнь и Любовь:

Как с жизнью страстной я, мудрый царь,  
Сочетаю Тебя, Любовь<sup>111</sup>?

Сочетают несочетаемое — терны страданий.

Терны венчают смиренных и мудрых  
Белым огнем Купины<sup>112</sup>.

Здесь Мудрость и "антропос" (человек) — антропософически слиты:

Она и ты — один закон,  
Одно веленье Высшей Воли<sup>113</sup>.

О том гласят письмена:

Я вас открыл, святые письмена.  
Я вас храню...<sup>114</sup>  
.....  
Со мной всю жизнь — один Завет:  
Завет служенья Непостижной<sup>115</sup>.  
.....  
Навеки преданный Святине  
Во всем послушаюсь Тебя<sup>116</sup>.

Это знание истоков пути, превращающее *синеву в леса ангельских крылий* (опять выражение Блока), его наделяет особою, тайною силою знания.

Ты нездешней, видно, силой  
Наделен и окрылен<sup>117</sup>.

Или:

Я — меч, заостренный с обеих сторон.  
Я правлю, Архангел, Ее Судьбой.  
В щите моем камень зеленый зажжен.  
Зажжен не мной — Господней Рукой<sup>118</sup>.

В высотах сознания А. А. обитала высокая мудрость, не проплавленная в мелочи жизни и их не сумевшая переплавить: в вопросе переплавления жизни А. А. упреждает все сроки; и оттого-то — трагедия всей крестной жизни поэта.

Печать тайной мудрости заставляет поэта высказывать: "Я, измученный и премудрый", "Я знаю все", "Сосчитал, что никому не дано"...

С детских лет он "искал таинственных соцветий и, прозревающий едва, еще шумел, как в играх дети". "В тихом воздухе — тающее, знающее"...

Это "знающее" он таит про себя:

Я скрыл лицо, и проходили годы.  
Я пребывал в Служеньи много лет<sup>119</sup>.

Или: "Молчаливые мне понятны и люблю обращенных в слух; за словами — сквозь гул невнятный просыпается светлый Дух". Или: "Но во мне — *потайное знание*". Или: "*Никому не открою ныне того, что свершается в мысли*", потому что "*одна... отражается в каждом слове*". Или: "*И в складки ризы темно-синей укрыл Любимую Звезду*". Стих для поэта — завеса, Ее укрывающая, иль порог, не позволяющий заглянуть за черту.

Поставлю на страже звенящий стих.

Так что слова поэта есть "Меч, заостренный с обеих сторон"; не поэт, а — пророк он: "*Мне в сердце возгласил красноватый уголь пророка*".

И пророчесственными строками порою он дышит; так, разве строки, написанные до войны и пожаров общественных, — не пророчество?

Мой конец предназначенный близок,  
И война и пожар — *впереди*<sup>120</sup>.

Или: разве строки 98 года<sup>121</sup> — не явный прозор:

Вещает иго злых татар,  
Вещает казней ряд кровавых,  
И трус, и голод, и пожар,  
Злодеев силу, гибель правых.

Но эти прозрения, тайная мудрость, ему доставались наградою за неимоверную боль повседневного умирания; и криком боли сопровождает прозренья он:

"Веселий не надо мне" ... "Солнцу нет возврата" ...

После Видения, уму непостижного, — чувство пустыни, страдания, умирания: "Избрал иную дорогу я, — иду — и песни не те" ...

Какие же песни теперь? "*Было сладко знать о потере, но смешно о ней говорить*", "*Ужасен холод вечеров*", "*Смотри туда — в хаос безмерный, куда склоняется твой день*", "*Помрачались высоты*"; "*Отлетело Виденье, захлопнулись двери*", "*Пусть другой отыщет двери, какие мне не суздены*" ... "*Не понять Золотого Глагола*", "*Догорающий факел закинь*", "*Я искал голубую дорогу и кричал, оглушенный людьми*", "*Все забылось — забылось давно*", "*Я один. Я прошу. Я молчу*", "*Сердце несчастно*", "*И пробуждение мое безжеланно*", "*Мне больше не надо от Вас ничего: я никогда не мечтал о чуде*", "*Днем никому не жаль меня — мне ночью жаль мое молчанье*", "*Молчаливому от муки шею крепко обойму*"; все пути к восхождению обрывались для Блока порою:

И глухо заперты ворота,  
А на стене — а на стене —  
Незримый Кто-то, черный Кто-то  
Людей считает в тишине<sup>122</sup>.

Слово *Черный* теперь подымается, как излюбленное в 1903—1904 годах, в конце первого тома: "Бегал *черный* человек", "*черный* человек плачет", "у вас было *черное*... платье", "*черный* кто-то", "ходил я в *черном* фраке", "под копытом *чернела* вода", "в *черной* воде отраженьи неслось", "*черная* ночь... увлекла" и т.д.

Все *чернеет* оттого, что

Ревную к Божеству, Кому песни слагаю,  
Но песни слагаю — я не знаю кому<sup>123</sup>.

В конце первого тома везде грусть о Прошлом Видении. Сперва поэт смотрит на будущее; но будущее в конце первого тома уже за плечами; и — поднимается нота *прошлого* (с 182-й страницы<sup>124</sup>); до — нет этой ноты: "Мы пропели и *прошли*", "Ушел по той же тропинке, куда *уходило* *вчера*шнее", "*А я забыла* *вчера*шнее", "*Все забылось, забылось* давно", "*Дела свершились*", "*И дни забылись*", "*И поднимаются* *прошлые* сны", "Мне *снилось*, что я не один", "У забытых могил пробивалась трава. Мы *забыли* *вчера*... И *забыли* слова... И настала крутом тишина", "*Забудьте* про него" (про чудо), "То, что *свершилось*, — свершилось в вышине", "Этой повестью долгих, блаженных исканий полна моя душная песенная грудь", "Из этих песен я *сделаю* создание", "Я знаю, не вспомнишь Ты, Светлая, зла, которое билось во мне, когда *подходила* Ты, стройно-бела, как лебедь к моей глубине", "Я давно не встречаю румянца", "Ты *отошла*, не дав ответа, а я уснул, к волнам сойдя", "*Непробудная*... *Спи до срока*"; Видение умерло. В нем умерла она.

Вот он ряд гробовых ступеней  
И меж них — никого. Мы вдвоем.  
Спи ты, нежная спутница дней,  
Залитых небывалым лучом.  
Ты покоишься в белом гробу.  
Ты с улыбкой зовешь: не буди.  
Золотистые пряди на лбу.  
Золотой образок на груди<sup>125</sup>.

Первый том — потрясенье: стремительный выход из лона искусства; и — встреча с Видением Лучезарной подруги; и — далее: неумение воплотить эту встречу, обрыв всех путей; и — вторичное присягновение искусству как сфере, высвобождающей из страдания; какой красотою и болью рисует природу он после катастрофы, произошедшей с ним:

Свобода смотрит в синеву.  
Окно открыто. Воздух резок.  
За желто-красную листву  
Уходит месяца отрезок.  
Он скоро будет — светлый серп,  
Сверкающий на жатве ночи.  
Его закат, его ущерб  
В последний раз ласкает очи.  
Как и тогда, звенит окно,

Но голос мой, как воздух свежий,  
Пропел давно, замолк давно  
Под тростником у побережий,  
Как бледен месяц в синеве,  
Как золотится тонкий волос...  
Как там качается в листве  
Забывтый, блеклый, мертвый колос...<sup>126</sup>

Стихотворения, подобные приведенному, останутся вечными образцами для настоящих, прошедших, грядущих поэтов; но "вечное" здесь высекается — болью, молчанием, внутренним знанием. Это молчание, знание — лейтмотив, поднимающийся в 1903—1904 годах после Видения 901 года и срыва 902-го: *"Настала тишина, и голос важный, голос благосклонный запел сверху, как тонкая струна"*... Этот голос есть внутренний голос, уподобляемый сократову демону<sup>127</sup>; он и диктует А. А. его кованые, бессмертные строки: *"Молчаливые мне понятны"*, *"Ты сильна, Царица, глубинностью"*, *"Люблю обращенных в слух"*, *"Во мне — потаенное знание"*, *"Никому не открою ныне"*, *"Я тайну блюду"*, *"Все, что в сердце твоём туманится, станет ясно в моей тишине"*, *"Я не скрываю, что плачу, когда поклоняюсь, но, перейдя за черту человеческой речи, я молчу"*... *"Кто-то Сильный и Знающий... замкнул Вам уста"*... *"Мы мало говорили, но молчанья были глубоки"*... *"Мы поняли, что годы молчанья были ясны"*... *"Тишина озаренных"*, *"Тишины снегового намека, успокоенных дум не буди"*... *"Кто бунтует — в том сердце щедро, но безмерно прав молчаливый"*... и т.д.

И молчание знания, добытого через смерть, высекает в поэзии Блока черты того внутреннего реализма, который видит глубинное во внешнем; реалистическая струя к концу тома стремительно крепнет; появляются: *"Желтые полоски вечерних фонарей"*, *"На Вас было черное закрытое платье"*; и растет наблюдательность: *"Ей было пятнадцать лет. Но по стуку сердца — невестой быть мне могла"*... *"Белые священники с улыбкой хоронили маленькую девочку в платье голубом"*... *"Темная, бледно-зеленая детская комната. Нянюшка бродит сонная"*; появляется фабрика, появляется география мест (*"Мы шли на Лидо"*...), появляются стихотворения из газет: *"Приходил человек с оловянной блухой на теплой шапке"*... *"Лошадь влекли под уздцы на чужуный мост"*...; *"Везли балаган"*; вычерчиваются бытовые подробности: *"Сладко... в мягком, стеганом халате перебраться на кровать"*. Появляется выписка образа, удивительная по отчетливости: *"Зайчик розовый заплывет по цветочкам на стене"*, *"В золотистых перьях тучек танец нежных вечерниц"*; образы получают от этого выпуклость:

Всадник в битвенном наряде,  
В золотой парче,  
Светлых кудрей вьются пряди,  
Искры на мече.  
Белый конь, как цвет вишневым,  
Блещут стремена...  
На кафтан его парчовый  
Пролилась весна...<sup>128</sup>

Но Блок крепнет в своей поэтической мощи ценою страдания, ценой безглагольного тайного подвига антропософских исканий своих, не слагаемых в слово.

Стихотворения о *"Прекрасной Даме"* — эпоха в поэзии русской; ни Брюсов, ни Бальмонт, ни Вячеслав Иванов не дали своей суммой книг того мощного напряжения поэзии, которое нас встречает в одном первом томе А. А. 1904 год есть действительно праздник в поэзии русской.

И прав был, конечно, сектант, мне сказавший: "У нас есть один лишь поэт, но поэт — гениальный: поэт этот — "Блок".

Впечатление от вышедшей книги стихов лишь суммировало пережития трех последних годин; стихи Блока, вошедшие в книгу, переживали мы прежде; еще до печатанья: все стихи А. А. этого времени попадали в Москву, где они распространялись в литературных кружках модернистов. Но, помнится: *"Гриффы"* (писатели, сгруппированные вокруг книгоиздательства "Гриффы") относились к поэзии Блока теплей, горячее, чем *"Скорпионовцы"*; в книгоиздательстве *"Скорпион"* доминировал Брюсов; и влияние начинающих оттеснялось влиянием Брюсова, считавшего самого себя естественным и единственным поэтическим королем; К. Д. Бальмонт, наиболее популярный поэт модернистов в книгоиздательстве *"Скорпион"* признавался, ну так сказать, *"Мэтром"* почетным, а не действительным; В. Иванов, в Москве импонирующий эрудицией, красноречием и годами (он был старше всех), был в кругу *"Скорпиона"* в то время естественным заместителем *"Мэтра"* Брюсова; Брюсов, Бальмонт, В. Иванов и были поэтами *"Скорпиона"* *par excellence* в те года; Блок был — "младший"; и — недостаточно *"скорпионовский"*, чуждый по духу. Поэтому во всех оценках поэзии Блока в кругу *"Скорпиона"* проскальзывал непередаваемый оттенок холодного вынужденного признания:

— Хороший поэт, очень-очень хороший поэт, но...

И чувствовалось, что "но" продолжается в фразе:

— Но... Брюсов, во-первых... Бальмонт и Иванов... Хороший поэт, но... нас, скорпионовцев, не удивишь им: мы — сами с усами...

Так, центр почитателей Блока в Москве формировывался естественно где-то меж *"Гриффами"* и *"Аргонавтами"*...

Широкая публика вовсе не знала поэта; газеты — ругнулись на книгу.

## В московских кружках

Этой осенью (1904 года) я вновь поступил, механически как-то, на филологический факультет; и оказался теперь однокурсником с моим другом С. М. Соловьевым; среди товарищей, филологов первого курса, я помню поэта В. Ф. Ходасевича<sup>129</sup>, литератора и поэта Б. А. Садовского<sup>130</sup>, любителя-знатока утончений классической филологии В. О. Нилендера, философа-когенианца Гордона<sup>131</sup>, Б. А. Грифцова<sup>132</sup>...

Университет в моей жизни в то время не занимал много времени; помнится мне, как естественный факультет постановкою лабораторных занятий невольно притягивал; став филологом, в Университете почти не бывал я; интересовали меня главным образом лекции кн. С. Н. Трубецкого (по греческой философии) да его семинарии (Платон); у С. Н. Трубецкого был редкий, прекраснейший дар перемещаться в эпоху; глядеть на философа не сквозь призму XX века, а сквозь призму эпохи его; он умел, отрешившись от норм современности, вдруг низринуться в бездну времен, чтобы вышпирнуть в Гераклите<sup>133</sup>, в Зеноне<sup>134</sup> и в Пармениде<sup>135</sup>; в его изложении образы мудрецов поднимались пред нами с отчетливой яркостью; на семинариях по Платону С. Н. Трубецкой, предоставляя свободу высказываний студентам, умел создавать атмосферу серьезной, непринужденной работы; и несколько менее удовлетворяли меня семинарии у Л. М. Лопатина, на которых читали мы с комментарием *"Монадологию"* Лейбница<sup>136</sup>; здесь выступали обычно А. К. Топорков<sup>137</sup>, Б. А. Фохт и талантливый Бердников<sup>138</sup>; больше во мне пробуждал интерес сгруппированный вокруг Б. А. Фохта кружок<sup>139</sup> кантианцев и когенианцев<sup>140</sup>, гонимый официальными жрецами науки, предавшимися метафизическому мьшплению и соплетавшими корни мирозерцаний своих с философией Владимира Соловьева (и Л. М. Лопатин, и С. Н. Трубецкой были сверстниками, друзьями, во многом учениками Владимира Соловьева); *"Задачи положительной философии"*<sup>141</sup> Л. М. Лопатина перекликались с *"Кризисом отвлеченных начал"*<sup>142</sup> Соловьева, а в *"Ученье о Логосе"*<sup>143</sup> и в статьях *"О конкретном идеализме"* С. Н. Трубецкого для нас поднимались проблемы, уже возбужденные Соловьевым. В то время во мне пробуждались чистые теоретико-познавательные запросы; и философия Владимира Соловьева казалась мне отвлеченно-метафизической и не основанной на подлинном гносеологическом анализе; в Соловьеве меня привлекал дух прозрения, мистики, интуиции; к неокантианству меня влек рассудок; и я с увлечением продолжал изучение кантианской литературы; руководитель студентов, приверженных Канту, Б. А. Фохт, дал очень мне много своими прекрасными указаниями, советами и разъяснением некоторых для меня спорных пунктов кантианской литературы.

Я помню: студенты-философы организовали кружок, посвященный Владимиру Соловьеву; среди участников я отмечу: Свенцицкого, будущего священника П. А. Флоренского<sup>144</sup> (бывшего в это время студентом духовной академии), Эрн, С. М. Соловьева, Сыроечковского и др.; образовалась секция истории религии при филологическом студенческом О-ве; и мы там собирались под председательством С. А. Котляревского<sup>145</sup> (ныне профессора); эти собрания секции привлекали много публики: привлекли к ним студентов, курсистов и академиков Лавры<sup>146</sup>; здесь действовали: Флоренский, Свенцицкий и Эрн; помню: я здесь читал свой доклад *"О целесообразности"*, П. А. Флоренский доклады *"О философии Канта"* и *"О чуде"*, Грифцов *"О новейшей поэзии"*, Свенцицкий *"О мистике Метерлинка"*.

Главная деятельность кружка *"аргонавтов"* перенеслась на "среды" вошедшего с нами в контакт П. И. Астрова, с которым меня познакомил

неистовый Эллис, выдумывавший парадоксальнейшие сочетанья людей; результатом сближения астровского кружка с аргонавтами неожиданно возник сборник *"Свободная совесть"*. Ядро астровцев-аргонавтов составили: П. И. Астров, А. М. Астрова<sup>147</sup>, старый художник Астафьев<sup>148</sup>, Шкляревский (учитель гимназии<sup>149</sup>), Эллис, Я. Эртель, П. Батюшков, М. И. Сизов, Соловьев, Христофорова, Шперлинг, В. П. Поливанов, Рачинский и некоторые другие; здесь часто бывали Н. И.<sup>150</sup>, В. И.<sup>151</sup> и А. И.<sup>152</sup> Астровы (братья П. И.), Эрн, Сивещицкий, Флоренский и некоторые деятели московского судебного мира, выслушивавшие горячие речи Эллиса, пропагандировавшего символизм, культ Бодлера и Данте. Вопросы общественности перекрещивались здесь с эстетикой.

*"Среды"* Астрова длились несколько лет; здесь являлись впоследствии разнообразныя люди: проф. И. Озеров (с нами беседовавший на тему *"Общественность и искусство"*), проф. Громогласов<sup>153</sup> (из Академии), прив.-доц. Покровский<sup>154</sup>, Бердяев и В. И. Иванов; П. Д. Боборыкин<sup>155</sup> однажды прочел здесь доклад. Многообразные темы докладов сменяли друг друга; в сезон 1904—1905 годов мне запомнились рефераты: мои (*"О пессимизме"*, *"Психология и теория знания"*, *"О научном догматизме"*, *"Апокалипсис в русской поэзии"*), Эллиса (2 доклада *"О Данте"*), М. Эртеля (*"О Юлиане"*), Сизова (*"Лунный танец философии"*), Шкляревского (*"О Хомякове"*), П. Астрова (*"О свящ. Петрове"*); В. П. Поливанов читал свою повесть, поэму *"Саул"*, Соловьев — им написанную поэму *"Дева Назарета"* и т. д.

Впоследствии *"астровская"* общественность вылилась в кадетизм; и мы с ней разошлись (*"аргонавты"* держались гораздо левее); но дружеское отношение с П. И. Астровым сохранили надолго мы. П. И. Астров в те годы старался естественно сочетать устремление к эстетизму с моральным, сверкающим пафосом; этот-то пафос нас влек к нему.

Продолжался кружок *"скорпионовский"*; собирались у *"Грифов"*, у Брюсова, у Бальмонта; бывали и на моих воскресеньях; читателю станет понятно: общенье с людьми отнимало все время.

В те месяцы как-то особенно напряглись отношения мои с В. Я. Брюсовым; в разговорах, во встречах с ним напряжение выростало; с особенной остротой вычерчивалась наша прямая противоположность во всем; прежде Брюсов старался ко мне подойти (мы обменивались часто письмами); но в подходе ко мне ощущал постоянно я некоторую предвзятость и обостренное любопытство, меня заставлявшее как-то сжиматься; теперь, точно скинул он маску; весь стиль наших встреч — откровенное, иступленное нападение Брюсова на устои моего морального мира; и я отвечал непредвзято на это — перчаткою, брошенной Брюсову; между нами господствовал как бы вызов друг друга на умственную дуэль; все то чувствовалось, что между нами в глубинах туманного подсознания нашего созревает конфликт; и порой мне было не по себе в *"Скорпионе"*; да, если бы не С. А. Поляков, с неизменной мягкостью выраставший меж нами, смягчавший углы меж нами, наверно, я б с очень громкою ссорой

с Брюсовым отошел от "Весов". Но С. А. гарантировал мне свободу всех действий: и я — оставался в "Весках".

Борьба с Брюсовым мне далась не легко: предо мною порой раскрывался "маг" Брюсов, не брезгающий гипнотизмом и рыщущий по сомнительным оккультическим книжкам, как рысь по лесам, за отысканьем приемов весьма подозрительного психологического эксперимента; открылся мне внутренний "лик" его, темный, напоминающий лик душителей, изображенных им в драме "Земля"<sup>56</sup>. Мне был чужд, неприятен, и более того, отвратителен этот "Брюсов", сидящий в Валерии Брюсове, делающий порою большого поэта носителем бесноватого из Гадарры.

К причинам, способствовавшим моей нервной усталости, отнесу и начавшиеся вкрут меня медиумические явления (стуки и шепоты), для прекращения которых я обращался к Флоренскому и епископу Антонию за советом. К концу года я был совершенно измучен. Меня вызывали давно Мережковские в Петроград; звали Блоки; я помню: в одном очень длинном послании к А. А. жалуюсь на меня угнетающие обстоятельства жизни; в ответ получаю: приветливую телеграмму от Блоков (А. А. и Л. Д.); в ней — тревога; и — зов: "ждем".

Я — еду.

## Январь

Помню: выехал я из Москвы вместе с матерью: мать отправлялась к подруге своей; в атмосфере тревожащих слухов мы тронулись в путь; из отрывочных, нервных газетных известий нельзя было точно понять, что творилось: лавиной росла забастовка; впервые теперь появились не всем нам понятные вести о роли Гапона<sup>57</sup>.

Кто он?

Мы приехали в день — знаменательный ныне: то было девятое января, ничего не сказавшее в поезде нам; мы разъехались с матерью в разные стороны: к Е. И. Че-вой<sup>58</sup> — она; по направлению к Гренадерским Казармам, на Петербургскую Сторону — я, к пригласившему офицеру<sup>59</sup>, любезно отдавшему мне помещенье; в той самой казарме жил Блок<sup>60</sup>; мой знакомый служил под начальством у отчима Блока, Кублицкого-Пиоттуха, батальонного командира.

Меня поразил взбаламученный вид Петербурга; еще в парикмахерской бривший меня парикмахер решительно мне заявил:

— Так нельзя больше жить!

— Вот сегодня рабочие отправляются к Государю, который их примет!

Спросил:

— Примет ли?

— Как же иначе: примет! Пора прекратить эксплуатацию: а пойдут они мирно, с иконами. Все мы пойдем! Как не примет? Всех примет!

И тоже гудело вокруг на перроне вокзала:

— С иконами!

— Примет!..

— Не примет!..

— Умрем, а не будем так жить!..

То же самое глухо, взволнованно чмокал губами извозчик, ко мне повернувшись сизеющий нос:

— Как же, барин!

— Рабочие, стало быть, правы.

На улицах оживленно сроились немногие, напряженные черные кучки размахивающих руками людей; в нервных жестах стояло:

— Пойдут!

— Не пойдут.

— Уже пошли...

— Примет!

Перебегавшие мальчишки перебегали не так, как всегда, — с дерзким присвистом; в темно-малиновый контур студеного солнца струились, синевя, дымки; и дымки — столбенели, висели; они поднимались от кухонь солдатских, походных, поскрипывающих здесь и там; пехотинцы топтались у дома; а где-то, с забора, где кучка стояла, — несло:

— Да!

— Пошли уж: с иконами!

— Неужели же будут стрелять: по иконам!

— Не будут...

А у Литейного моста решительно топотала ногами на месте готовая рота походных солдат, в башлыках, с покрасневшими, хмурьими лицами; два офицера переговаривались и окидывали проходящих растерянными улыбками, точно хотящими доказать:

— Это — так себе...

— Ничего...

— Просто тут мы стоим...

— Постойм, и — уйдем.

Переехавши мост, я поехал по Набережной: вот — казармы, у Набережной; и от Набережной широко заширели просторы промерзшей воды; бросишь взгляд — станет сыро.

Заехав на чистый, просторный, казарменный двор, отыскал без труда я квартиру знакомого офицера; звоню: открывает денщик, заявляет, что "их благородия" — нет; они нынче с отрядом — у газового, у завода: по случаю забастовки; и — всего прочего; мне — приготовлена комната.

Прихожу умываться; денщик — за мной следом:

— Казармы-то...

— Пусты...

— Полк выведен...

— Защищают мосты...

Я подумал, что мой офицер точно так же стоит перед хмурою ротой топочущих в снеге, башлыками закрытых солдат; и закуривает с таким видом, как будто он хочет сказать:

— Ничего, ничего...

— Постоим, и — уйдем...

Я подумал: неловко же пользоваться гостеприимством хозяина, вышедшего на рабочих (рабочим сочувствовал я). *Кто тогда* не сочувствовал им? Размышлять было некогда; отказаться от комнаты без объяснения с хозяином — как-то неловко; да, и притом:

— Постоят, и — уйдут...

— Ничего...

— Не стрелять же они собираются?

Как мы наивны все были в то утро!

Оправившись, поспешил я к А. А.; в этом корпусе обитали, как кажется, все офицерские семьи; все двери квартир выходили в огромнейший каменный коридор, пересекающий корпус; квартира Кублицкого выходила туда же; на двери, обитой, как помнится войлоком (серым) блистала доска: "*Франц Феликсович Кублицкий-Пиотух*". И тут я — позвонился; открыл мне денщик (мы потом с ним дружили, обменивались чаями и понимающими улыбками: "Дома-с, пожалуйста!"); я очутился в просторной, чистейшей передней с высокими потолками пред желтыми вешалками.

— Пожалуйста.

— Завтракают.

Дверь распахнулась: и просветлел кусок комнаты с окнами, открывающими широкий и сирый простор; перерезая кусок белой комнаты, там показалась знакомая голова, с волосами рыжеющими, сквозящими заоконным простором; то был А. А. Блок — в фантастической, очень шедшей, уютной рубашке из черной, свисающей шерсти, без талии, не перетянутой поясом и открывающей крепкую лебединую шею, которую не закрывал мягкий, белый, широкий воротничок; А. А. был в нем без галстука (*à-la* Байрон). Конечно же: Любови Дмитриевне принадлежала идея рубашки, потом появившейся на Ауслендере<sup>161</sup>, на Вячеславе Иванове, перенивших фасон тот; лицо закрывали глубокие тени передней; и все же: оно — показалось мне бледным, а сам А. А. мне показался, конечно же, перерисованным со старинных портретов.

Первый вопрос, им мне брошенный:

— Что?

— Ну?

И я — понял в чем дело:

— Да говорят, что пошли...

Торопливо, взволнованно встретились мы, обменявшись быстро приветствиями; золотая головка Л. Д. в зеленовато-розовом широчайшем капоте стояла в дверях:

— Вот и Боря.

— Борис Николаич, — повернулась Л. Д., отвечая кому-то, с салфеткой в руке... — а мы завтракаем.

— Ну что?

И меня повели через белую комнату, с окнами, за которыми сиротливо ширели пространства оледенелой воды; у подоконников поднимались, как помнится, листья растения, поливаемого Александрой Андреевной; узнал ту же все чистоту бледно-желтых паркетов, сопровождавшую Александру Андреевну повсюду; мне бросилась мебель, зеленая, старых фасонов, не подавлявшая, но расставленная приветливо, с пониманием; вкус был во всем; здесь стояла рояль; и — стояли блестящие, невысокие шкафчики (кажется, красного дерева), показуя переплетенные томики из-под ясного чистопротертого стекольного глянца; тут дверь — открывала столовую, комнату меньших размеров, оклеенную оранжевыми, согревавшими мягко обоями, со столом посреди, на котором накрыт был, как помнится, завтрак; приподнялась мне навстречу, всегда трепыхавшаяся, точно серая птичка, мать Блока в своей красной тальмочке (нет, в самом деле, не фантазирую я — эту красную тальмочку, помню, действительно помню!); а Марья Андреевна подкидывала, подмаргивала за нею:

— Ну что?

— Да — пошли...

— Говорят, что стреляли.

— Ах, ужас что!

И Александра Андреевна рукой отмахнулась, качнувшись талией (жест ее); носик, острясь, розовел на меня; разговора и не было, а — возгласы, предположения, беспокойства; все центры сознания сместились туда, в один центр: на Дворцовую Площадь; чрез каждые десять минут приходили из кухни известия, что — стреляют, стреляли; и — кучи убитых. И Александра Андреевна хваталась за сердце (больное):

— Поймите же, Боря, что он — ненавидит все это...

— А должен стоять там...

— Присяга...

Я Франца Феликсовича в это время не знал: он, всегда такой тихий и добрый, всегда благородный, являлся со службы, вступая в пространство оранжево-розовой комнаты с видом, который мог значить одно:

— Я же знаю, что тут вы беседуете о материях деликатных: нет-нет, не помешаю, — пожалуйста, не обращайтесь внимания.

И тщедушной фигуркою, в невоенно сидящем военном мундире, склонив над тарелкою нос, как у дятла, пощипывал узенькую бородку и ясно поглядывал черными кроткими глазками (чуть — себе на уме!): ну, кого мог убить он? Волнение Александры Андреевны за мужа я понял позднее лишь.

Но А. А. в этот день волновался другим: значит был факт расстрела. Я никогда не видел его в таком виде; он быстро вставал; и — расхаживал, выделяясь рубашкой из черной, свисающей шерсти и каменной гордо закинутой головою на фоне обой; и контраст силуэта (темнейшего) с фоном (оранжевым) напоминал мне цветные контрасты портретов Гольбейна<sup>162</sup> (лазурное, светлое — в темно-зеленом); покуривая, на ходу, он протягивал синий дымок папиросы и подходил то и дело к окошку, впиваясь глазами в простор

сиротливого льда, точно — он — развивал неукротимость какую-то; а за чаем узнали: расстрелы, действительно, были.

С собой из Москвы привез целые ворохи разнообразнейших впечатлений о том, что меня волновало, с чем ехал я к Блокам; но — говорить ни о чем не могли мы; события заслонили слова.

Мы — простились; и я поспешил к Мережковским.

## Сумбур

Меня встретила З. Н. Гиппиус возгласом:

— Здравствуйте!

— Ну и выбрали день для приезда!

И протянула свою надушенную ручку с подушек кушетки, где раскуривая душенные папироски, лежащие перед нею на столике в лакированной красной коробочке рядом с мячиком пульверизатора, — она проводила безвыходно дни свои с трех часов (к трем вставала она) до — трех ночи; она была в белом своем балахоне, собравшись с ногами комочком на мягкой кушетке, откуда, змеино вытягивая осиную талию, оглядывала присутствующих в лорнет; поражали великолепные золотокрасные волосы, которые распускать так любила она перед всеми, которые падали ей до колен, закрывая ей плечи, бока и худейшую талию, — и поражала лазурно-зеленоватыми искрами великолепнейших глаз, столь огромных порою, что вместо лица, щек и носа виднелись лишь глаза, драгоценные камни, до ужаса контрастируя с красными, очень большими губами, какими-то орхидейными; и на шее ее неизменно висел черный крест, вывисая из четок; пикантное сочетание креста и лорнетки, гностических символов и небрежного притирания к ладони притертою пробкою капельки туберозы-лубэн (ею душилась она), — сочетание это ей шло; создавался стиль пряности, неуловимейшей оранжевой изысканной атмосферы среди этих красно-кирпичных, горячих и душаших стен, кресел, ковриков, озаряемых вспышками раскаленных угляшек камина, трепещущих на щеках ее; и — на лицах присутствующих; и Д. С. Мережковский, то показывающийся меж собравшихся, то исчезающий в свой кабинет, — не нарушал впечатления "*атмосферы*"; ее он подчеркивал: маленький, шупленький, как былиночка (сквознячок пробежит — унесет его) поражал он особою матовостью белого, зеленоватого иконописного лика, провалами щек, отененных огромнейшим носом и скулами, от которых сейчас же, стремительно вырывалась растительность; строгие, выпуклые, водянистые очи, прилизанные волосики лобика рисовали в нем постника, а темно-красные, чувственно вспухшие губы, посасывающие дорожку сигару, корицевый пиджачок, темно-синий, прекрасно повязанный галстух и ручки белейшие, протонченные (как у девочки), создавали опять-таки впечатление оранжевой, теплицы; оранжевый, утонченный, маленький попик, воздвигший молеленку средь лорнеток, духов туберозы, гаванских сигар, — вот облик Д. С. того времени.

— А, Борис Николаевич, — подал он мне свою хилую ручку, которую (мне — показалось) легко оторвать.

Разговор перешел на события; и Д. С. постарался меня замешать в разговор; разумеется, — разговор шел о бывшем расстреле рабочих, но он перекидывался; линия разговора ломалась: от начавшейся "революции" к оранжерейному очередному вопросу литературного быта изысканного небольшого кружка, сгруппированного вокруг Мережковских, где собрался в этот день небольшой крут людей; это, кажется, был день воскресный; по воскресеньям (с 5 до 7-ми) собирались здесь к "чаю"; меня поразило, что не было в этом обществе непосредственного, стихийного отношения к фактам, какое я встретил у Блоков, где не могло быть, конечно же, разговора, подхода, а был лишь захват, переживание, чувство; у Мережковских, конечно же, говорили о только что бывшем, но говорили с "подходом" к событиям; и "подход" доминировал; высказывалось "мнение"; и — протягивались два пальца к бисквиту; передавалась хрупкая чашечка хрупкими пальчиками З. Н.; и — к чашечке прикасались "осторожно", умело; и точно же так — осторожно, умело высказывалось мнение "литератора" о событиях; я не помню, всех бывших гостей; может быть, был Нувель<sup>163</sup>; если был, то, конечно же, — это он прикасался с такой осторожностью к чашечке; говорилось, что Дягилева<sup>164</sup>, ехавшего где-то в цилиндре, рабочие высадили из кареты; был Минский, приехавший, кажется, с Васильевского Острова; был Смирнов<sup>165</sup>, бледнолицый новопутеец — философ в прекрасно сидящем студенческом сюртуке, самоуверенный Красников-Штамм и, как кажется, Лундберг (а, может быть, через неделю мы встретились) — Лундберг, страдающий в эти дни расширением сосудов, и ставящий З. Н. Гиппиус вразрешье-вопрос:

— Как быть с хаосом?

З. Н. Гиппиус изумрудила комнату взором, летала лорнетка ее, Д. С., на минутку присевший, отсутствующий и не слушающий ушами (а — порами, как выражалась З. Н. о нем), вдруг раздвигал свои губы, показывал белые зубы и, ударя рукою себя по коленке, совсем неожиданно для такого росточка и грудки "вырыкивал" оглушительно-громкий период; и, выпучив глаза, умолкал.

В первый день пребывания нашего с ним в Петербурге мне бросилось явно в глаза, что он вовсе не слышит того, что ему говорят.

Так, войдя неожиданно в комнату и застав меня спорящим со Смирновым на философскую тему, он нас прервал и сказал назидательно, представляя меня окружающим:

— "Дело в том, что Борис Николаевич — мистик, религиозно переживающий мысль, а Смирнов — чистый логик; друг друга они никогда не поймут; тут различие — непереступаемо: бездна!"

Он сказал это так невпопад, что З. Н. ему крикнула:

— "Димитрий, — да не туда же ты!"

Но Д. С., поморгавши в пространство огромными, выпученными глазами, — уже повернулся: ушел в кабинет.

Дело в том, что я, именно в данном споре с новопутейцем Смирновым на мешанину метафизической мистики отвечал очень трезвыми кантианскими возражениями; в данном случае, — логиком я был; Смирнов же был мистиком. Но Мережковский, а рiогi все порешивший, — напутал; он — путал всегда, он — не слышал, не слушал: физиологически впитывал атмосферу происходящего, лишь извне полируя ее схематизмом своим; да, он слушал не ухом, — а — *"порами тела"*.

Остался обедать у Мережковских; мы после обеда отправились к Философам (жил он у матери); от Философов все мы попали на заседание представителей интеллигенции, в *"Вольно-Экономическое Общество"*<sup>166</sup>, в кучи народа, в растерянную толкотню вокруг стола, за которым какие-то люди не то заседали, не то обсуждали случившееся; здесь молчание перебивалось возгласами, разговорами, переходящими в споры; и оглашались различные сообщения; утверждалось: движение — не поповское, революционное; призывалось:

— Вооружимся!

Недоумение перед размахом событий написано было на лицах. З. Н., любопытно взобравшись на стул, перегнулась над головами в своем перетянтом черном платье, шуршащем атласами; и, улыбаясь, лорнировала собрание; я рядом с нею взобрался на стул; мы обменивались восклицаниями; чопорно к нам подошел гувернерствующий Философов и тоном, усвоенным им в обращении с Мережковскими, вывозимыми им в большой свет *"настоящей общности"*, — заявил: неприлично, ввиду национального траура, нам улыбаться; здесь — место почтенное; здесь — собираются не какие-нибудь декаденты, не снобы; боялся, наверное, он *"кондачков"*, происходящих повсюду, где сталкивались *"декаденты"* с *"общественниками"*; к моему изумлению З. Н. — сконфузилась; и — смолчала, а я... я — обиделся не на шутку (потом объяснились с Д. В. Философовым мы); в то время какой-то субъект, после только что принятой резолюции — вооружаться, провозгласил на весь зал:

— Прошу химиков выйти со мною в отдельную комнату!

И я подумал:

— Да как же так можно — открыто, при сыщиках.

Отглядываюсь — З. Н. Гиппиус нет, Мережковского нет (делегировали его закрывать в знак протеста Мариинский Театр), а — стоит Арабажин<sup>167</sup>, мой родственник:

— Ты как попал сюда?

Стал уговаривать он, чтобы я у него ночевал.

Говорили:

— Смотрите, вот — Горький.

С ним был взбудораженный, бритый и бледный субъект, на которого не обратил я внимания; кричал он откуда-то сверху (как будто бы с хор), призывая к оружию. Мне рассказали потом: это — был сам Гапон<sup>168</sup>, переодетый и привезенный сюда Алексеем Максимовичем. Потерялся в шумихе я вовсе; исчез Арабажин.

И вот — я на темных, морозных проспектах; кругом — ни души; полицейские скрылись; выныривали подозрительно озирающие друг друга фигурочки; изредка открывалось в морозы трескучее пламя кровавых костров, у которых серели озябшие и балдеющие солдаты, похлопывающие себя рукавицами и потопатывающие ногами на месте; виднелися козлы из сложенных ружей; в ночных переулках хрустела тяжелая поступь патрулей.

Едва я добрался до белого бока Казармы; ворота — захлопнуты, а у ворот — часовые: не пропускают меня, хотя я объясняю, что некуда больше деваться, что только сегодня сюда я приехал.

— Пройдет господин офицер: он — рассудит.

И я затоптался на месте, не зная, что делать; вдруг вижу — взволнованный толстячок-офицер, с подбородком двойным, рыжеусый, вразвалку бежит с револьвером в руках; и за ним два солдата; ему объясняю свое положение я; он обмерил меня недоверчивым взглядом; и — выпалил (мне показалось испуганно):

— Казармы пусты!..

— На Казармы, по слухам, рабочие двинулись.

— Предупреждаю: вы подвергнетесь неприятностям, связанным с долгой осадой...

Но я предпочел неприятности "долгой осады" топтанию перед дверью Казармы; и — меня пропустили; впоследствии мне сообщили, что кроме семейств офицерских, шести инвалидов, патруля, Короткого, подполковника (толстенького офицера, со мной говорившего), не было здесь никого. Долго я не ложился в пустой офицерской квартире; события дня волновали меня.

На другое уж утро рассказываю я Блоку о виденном накануне, о Мережковском, о "Вольно-Экономическом Обществе", о разговоре перед воротами; и А. А. — улыбается:

— Это с тобой повстречался Короткий, такой офицер есть; он — трус; вчера вечером он обегал офицерш, поднимая переполохи и угрожая осадой...

Этот самый Короткий впоследствии появился в Москве в роли, кажется, полицмейстера; и — оставил сквернейшую память.

Советовался с А. А., как мне быть? Надо мне переехать: воспользоваться гостеприимством знакомого офицера, настроенного реакционно, естественно, я не хочу; и А. А. согласился со мною; и мы разговаривали об офицере, который (бедняга!) страдал одной маленькой слабостью (кажется — даже наследственной): он — "привирал".

— Знаешь ли, — тихо отрубивал Блок, по обычаю не смеясь, а потапываясь на месте ногами, — он всем нам рассказывал об имении, собственном, где у него вырастают в теплице весь год ананасы... А вот что-то не верят... Не очень-то...

Я был должен сказать, что имения никакого и не было; или, вернее: имение было — не офицера; он в нем лишь гостил; это было "под Клином" (в имени В. И. Танеева<sup>169</sup>); вырос я там. Когда я это все рассказал, то А. А. с той же самой серьезною юмористической деловитостью высказал:

— Понимаю я, почему он стал с Любою нас избегать... Он узнал, что мы дружны с тобой. Он — стыдится нас: думает, что история с ананасами обнаружилась...

В тот день познакомился с милым я Францем Феликсовичем, который тихонько выслушивал все разговоры, явившись к завтраку, от какого-то пункта, где должен стоять был с отрядом, — который выслушивал молча историю с ананасами и мои впечатления о настроении улиц, поглядывал грустными взглядами; разговор все вертелся вокруг происшествий; и раздавались слова, очень прямо клеймящие подлых расстрельщиков: тут Франц Феликсович опускал длинный нос, точно дятел, в тарелку; мне было неловко; старался быть сдержанней я; но А. А., как нарочно, с приходом тишайшего Франца Феликсовича говорил все решительней; мне казалось: тоном старался его — подковырнуть, уязвить, отпуская крепчайшие выражения по адресу офицерства, солдатчины, солдафонства, не обращая внимания на Ф. Ф., будто не было вовсе его, — будто мы не сидели в Казармах; как-никак, Франц Феликсович, защищавший какой-то там мост<sup>170</sup>, мог быть вынужденным остановить грубой силой толпы (к великому облегчению Александры Андреевны, этого не произошло); но я думаю, что Ф. Ф. не отдал бы приказа стрелять, предпочтя, вероятно, арест; с каким видом вернулся бы он в этот дом, так решительно, революционно настроенный; да и сам он с презрением относился к *"солдатчине"*; тем не менее: факт стоянья Ф. Ф. у какого-то моста с отрядом все время нервил А. А.; крепко, несдержанно он выражался, бросая салфетку; и — чувствовалась беспощадность к Ф. Ф.

Я заметил в А. А. этот тон беспощадности по отношению к отчиму и в других проявлениях; мне показалось: его недолюбливал он; и — без всякого основанья, как кажется; раз он сказал:

— Франц Феликсович, Боря, — не любит меня.

— Таки очень... — прибавил с улыбкой он.

Но этого — я не видел, не чувствовал даже; наоборот: постоянно я видел уступчивость, предупредительность, мягкость, хотя Александра Андреевна поговаривала, что Ф. Ф. очень вспыльчив.

— Он может кричать — очень страшно!

Но был он отходчив\*.

Я думаю, что отчужденность меж отчимом и его неприемлющим пасынком — отчужденность кругов, воспитанья, привычек; А. А. был профессорского, литературного круга; а Ф. Ф. — был военный, *"служака"*; и он, понимая свое положение в доме, — во всем уступал и не вмешивался ни во что.

---

\* Ф. Ф. Кублицкий-Пиотух командовал впоследствии на войне дивизией; он скончался, кажется, в 1918 году.

## Петербург

Мои первые петербургские дни отделяют меня от А. А. : революция заслонила собою все прочее; сыпались быстро удары репрессий; меня волновали аресты знакомых; революционное настроение крепло, и кроме того: в эти грозные дни перебрался совсем неожиданно я к Мережковским, уговаривавшим меня поселиться у них.

Мережковскому грозили арестом; он каждую ночь, ожидая полицию, передавал документы и деньги жене.

Теснейшее, непрекращающееся общение мое с Мережковскими в эти дни перешло в настоящую, очень конкретную дружбу; и пафосу дружбы отдался, воспринимая живой круг идей Мережковского; помнятся: тихие, долгие разговоры с З. Н. Мережковской у золотого от углей камина в кирпично-пунцовой гостиной; помнится: надушенная папироска З. Н.; ею меня в разговоре она угощала; в витиеватых, мудреннейших, утонченных дебатах все, помнится, утончали проблемы о "*троичности*", о "*церкви*", о "*плоти*"; и даже: друг другу записывали в записные мы книжечки ходы мыслей своих. Разговоры затягивались — до четырех часов ночи; и даже позднее; и раздавался стук в стену Д. С. Мережковского, которому не давали мы спать:

— Зина, ужас что!

— Да отпусти же ты Борю!

— Четыре часа!

— Вы мне спать не даете.

Порою в передней мы слышали топотанье и шарканье туфель: приоткрывалась в гостиную дверь; и протягивалось лицо полуодетого маленького Д. С. с раздраженно-испуганным личиком, с выпученными глазами:

— Когда вы там кончите?

Мы отвечали:

— Сейчас!

Разговор продолжался: до нового стука.

В квартире Д. С. проживали тогда сестры Гиппиус — Т. Н. и Н. Н.: "Тата"<sup>171</sup> с "Натой"<sup>172</sup>, художницы; я подружился особенно с "*Татой*", которая уводила меня к себе в комнату и усаживала на серый диван; у нее был альбом и в него зарисовывала она все фантазии, образы, сны, сопровождая эскизы порой комментарием; этот дневник, мысли-образы, я полюбил; и часами мы с ней философствовали над эскизами; помню один из них: на луной озаренном лугу, в простыне, кто-то белый, худой и костлявый таинственно рассказкался по травам; тогда говорили, что это наверно "*Антон*" (так в кругу Мережковских тогда называли А. В. Карташева, естественного соучастника малой религиозной коммуны, которая подобралась в это время и в центре которой теперь очутился).

И помнятся неизменные появления Д. В. Философова к вечернему чаю, изящного, выбритого, с безукоризненно четким пробором прилизанных, светло-русых волос, в синем галстуке, с округленным, надменным, всегда чисто выбритым подбородком и с малыми усиками, — Философова, переступающе-

го с папиросой по мягким коврам очень маленькими шагами, не соответствующими высокому, очень высокому росту; Д. В. озадачивал чередованием своих настроений; то он появлялся капризно-надменный, одетый в корректные формы обидно-сухого внимания; устремлял стекловидные взоры холодных, красивых и голубых своих глаз с раздражающим видом придиры-экзаменатора:

— Но позвольте...

— Но почему вы так думаете...

И — мысль рассыпалась; и — становилось трезво.

А то он похаживал с милою "эсуркотней"; он журил Мережковского, Гипшиус или меня, обдавая нас мягким уютом своих, таких ласковых взоров (его доброта, бескорыстие, честность меня много раз умиляли); казался тогда доброй тетушкой, старою девою, экономкой идейного инвентаря Мережковских; принимая идеологию Мережковского, будучи верен ей и защищая "идеи" в печати, в общественности, был он цензором этих идей в малом круге; брюзжал, забраковывал то, что могло оторвать Мережковского от общения с порядочным обществом; как гувернер, взявши за руку мальчика, водит его на прогулки, так именно Д. В. *важился* Мережковского в свете; и Д. С., точно маленький, боязливо порою поглядывал на сердито-надменного "Диму". Бывало, он выскажет что-нибудь, и — покосится на "Диму", а "Дима", поджав свои губы, готов приступить к вивисекции:

— Это — не дело...

— А это, вот — дело!

Я их наблюдал: простовато порою держащий себя Мережковский, бывало, захлопает в воздух глазами и ухнет не к месту какое-нибудь из своих углублений о *зверстве* иль — *ангельстве*, бегаёт, маленький, и насвистывает пухлыми губами своими, косяся на "Диму" испуганно; "Дима" — молчит; и Д. С., споткнувшись идеей, робеет и умолкает. И "Дима", невозмутимо спокойный, высокий и статный, поглядывая на Д. С. сверху вниз, очень холодно начинает брюзжать:

— Но позволь...

— Тут, во-первых, смешение...

— А во-вторых, не понимаю я...

Ухнувший громкий "прозор" обдирается от всех чувств; и — обнажается косточка: очень неважная, тусклая схемочка.

Да, Д. С. доставалось в этих беседах "à quatre", "à trois": от З. Н., от Д. В.; убегал в кабинет: починить свои схемы; и после двоякой, тройкой починки Д. В. принимал сочиненное вновь Мережковским; и ставился штемпель: "новое религиозное откровение". И тогда Философов, приняв позу верного возвестителя истины, начинал вывозить эту истину в фельетонах, в статьях: был "Личардоу" истины.

Я помню заходы Д. В., порой поздние; и воркотню на них "Дарьюшки", няни З. Н., обитающей в доме и протестующей против поздних гостей.

С каждым членом "ком.муны" старался войти я в контакт; мне вменялось общение в необходимость З. Н.

— Подойдите поближе вы к "Tate"...

— Поговорите с Антоном Владимировичем.

— Будет "Дима": куда вы уходите?

И я — старался: общался — с Д. В., с "bête noir"<sup>173</sup> коллектива — с "Антоном".

Он был — "bête noir"; все движенья его были дико стремительны; тонкий, костлявый, такой изможденный, с заостренным носом, с чернеющими кругами над бегающими зеленоватыми взглядами, с зеленоватым, совсем не здоровым лицом, с очень резкими и порывистыми размахами рук, он носился по комнате, как Хома Брут; и казалось; будто на тонких плечах восседает невидимо оседлавшая Ведьма, которую принимается скороговоркою отчитывать он, потрясая нервически головой с полуприщуренными от напряженья глазами; и — вдруг остановится в столбняке, приискивая надлежащее выражение; и — изможденно присядет на кресло, роняя лицо в изможденную руку (другая висит на коленях); казалось, что он — иль влетал к нам или обратно выскочивал из квартиры, чтобы, стремительно пролетев по ступенькам, — нестись на свой "луг". (Мы с Т. Н. говорили шутя, что фигура эскиза Т. Н., заскакавшая в травах под бледной луной, есть А. В.)

Как я помню его, упавшим в кресло с полузакрытыми взорами, со стиснутыми руками, прижатыми к тощей груди, с головой, в знак согласия быстро кивающей; вдруг, как сорвется, и — примется бегать по комнате с "да-да-да-да-да-да" иль с "позвольте, — нет-нет"; он носился вприпрыжку; его угловатые жесты (во всех смыслах: внешнем, душевном) всегда нарушали гармонию в "религиозном сознании" Мережковских; ему доставалось едко от возмущенной З. Н., открывающей пикировку, взрывавшую Карташева; и поднималась: непрерывная тяжба между А. В. и З. Н.; тут Д. С. и Д. В. выступали всегда примирителями; успокаивали "Антон"...

Так споры "Антон" с едчайшею "Зиной" подготавливали всегда очередную трагедию этой жизни "коммуны"; А. В. сколько раз, разгласившись, стремительно вылетал из квартиры, громчайше прихлопнувши дверь за собой; и потом, через несколько дней приводился обратно он "Татюю" — на суд и расправу, на увещание и на дебаты проблемы "Антон", после которых сидел — примиренный, притихший, с полузакрытыми глазами худого, зеленоватого и изможденного лика.

А. В. мне казался всегда замечательным человеком, кипучим, талантливым (до гениальности), брызжущим вечно идеями, из которых не закрепил ни одну он; импровизации Карташева в кирпично-пупцовою гостиною полны были блеска; и Мережковскому был он нужен, динамизируя его мысли и устраивая подвохи благополучию схем: вот, казалось, все — ясно; и ясно, что историческое христианство — в параличе; а "Антон" — тут как тут: неожиданно вынырнет, закивает, помянит солбаном от "древляго" благочестия; и как он прекрасно певал сладким тенором великолепные церковные песни (я помню на лодке его, около Суйды<sup>174</sup>, гребущим и распевующим с полузакрытыми глазами, — в закате); в то время в нем было естественное сочетание революционно настроенного интеллигента со старинною, благолеп-

ной традицией; Златоуст переплетался в нем с Писаревым; да, А. В. Карташев импонировал мне в эти дни; и меня все тянуло к нему; но мы как-то дичились друг друга; и разговоры — не выходили; я помню, что раз он сказал мне про "Ризу", титана (которого изобразил в "Симфонии"<sup>175</sup>), какие-то не вполне мне понятные фразы; но мне стало ясно: воспринимает меня он по линии "мифа", а не по линии жизни: казался ему декадентом; не очень он верил мне в "тщени" быть правоверным у Мережковских.

Да, каждый по-своему был для меня интересен, по-своему каждый входил в "коллектив" незаменимой и нужной фигурой, окрашивающей по-своему "целое"; а извне подходил в то время к сложившейся группе то Волжский, то Н. А. Бердяев, то В. А. Тернавцев, которых я видывал чаще других перед жарким камином в гостиной за разговором с З. Н. (впрочем, Волжский недолго дружил с Мережковскими); и З. Н. их тянула в своеобразную атмосферу мистического радения мыслей своих, в атмосферу, которую чувствовал каждый и о которой однажды со свойственной ему яркостью бросил слово В. Розанов:

— Вот уедете скоро в Париж, и опустеет "мистическое логово" ваше... И будут его охранять "Тата" с "Натой", да наезжать в опустелое "логово" Бельй...

Действительно: что-то от логова было в квартире, в которой вынашивались в эти годы острейшие религиозно-философские мысли; оранжерея, парник, или "логово мысли", — такую казалась мне квартира в угрюмом и серо-чернеющем доме Мурузи, встающем доселе пятью этажами своими с угла Пантелеймоновской и Литейного; здесь влияние Мережковского распространялось не книжками, а атмосферою стен, здесь оклеенных красно-кирпичными полосами обоей, там — кирпично-коричневыми, пропитанными сигарой Д. С., надушенными сигаретками Гиппиус и запахом туберозы "Loubin". Я, попав в ту квартиру, беспомощно забарахтался в "атмосфере"; общение с Блоком на первых порах пребывания здесь отступило естественно; кроме того: это время окрашено рядом знакомств: с В. В. Розановым, С. Н. Булгаковым, А. С. Волжским, Н. А. Бердяевым, Ф. К. Сологубом, В. А. Карташевым, В. А. Тернавцевым, П. П. Перцовым<sup>176</sup>, С. А. Аскольдовым<sup>177</sup>, Г. И. Чулковым<sup>178</sup>, Андриевским<sup>179</sup> и многими другими писателями и общественными деятелями; каждое из знакомств брало силы; тогда собирались: у Минских, у Сологуба (по воскресеньям), у Розанова (по воскресеньям же), у Мережковских, в редакции формулируемых "Вопросов Жизни"<sup>180</sup> и в "Мире Искусства".

Однажды, когда мы сидели с З. Н., предаваясь перед камином высокой "проблеме", в гостиную из передней дробно-быстро, скорее просеменил, чем вошел, невысокого роста блондин, скорей плотный, с едва начинавшейся проседью желтой бородки торчком; он был в черном, как кажется, сюртуке, обрамлявшем меня поразивший белейший жилет; на лоснящемся полномато краснеющем (бледно-морковного цвета) дряблевшем лице глянцевели большие очки с золотом оправой; а голову все-то клонил он набок; скороговоркою приговаривал что-то, сюсюкая, он; и З. Н. нас представила; это был — Розанов.

Уже лет десять с вниманием я уходил в мир идей его; он казался едва ли не самым талантливым, гениальным почти; но и самым враждебным казался он мне; потому-то с огромным вниманием стал я рассматривать Розанова; он же, севши на низкую табуретку пред Гипсиус, тихо выбрызгивал вместе с летевшей слюною короткие тряские фразочки, быстро выскакивающие изо рта у него беспорядочной, высюсюкивающей припрыжкой; в вытрясаемых фразочках, в той характерной манере вытрясывать их мне почуялась безразличная доброта и огромное невнимание к присутствующим; казалось, что Розанов разговор свой завел не в гостиной, — в передней еще, не в передней — на улице: разговор сам с собой о всем, что ни есть: Мережковских, себе, Петербурге; и вот разговор *"сам с собой"* продолжал он на людях — о людях, к которым он шел, на которых вытрясывал он свои мысли, возникшие где-то вдали; разговор — без начала, без окончания, разговор ни с того ни с сего, перескакивающий чрез предметы, попархивающий, бесцеремонный по отношению к собеседнику; было густейшее физиологическое варение предметов мыслительности В. В., — с перескоками прямо на нас: на меня, на З. Н., которую называл просто *"Зиночкой"* он, подсюсюкивая и хватаясь дрожащими пальцами рук, очень нервных, — за пуговицу жилета, за пепельницу, за лилейные ручки З. Н.; руки — дергались, а колени — приплясывали; карие глазки, хитрейше поплясывающие под очковыми глянцами, мне казалось, мечтали о чем-то; они не видали того, что все видят: казались слепыми кусочками, плотяными и карими; в облике Розанова улыбалась настойчиво самодовольная мещанская тривиальность; *"мещанство"* кидалось нарочно, со смаком, с причмоками чувственных губ; эти губы слагались в улыбку не то сладковатую, приторно-пряную, а не то рисовали насмешливую издевку над всем, что ни есть; да *"в открытом мещанстве — хитер, в своих хитростях — нараспашку"* — хотелось сказать, созерцая варившего мысли В. В.; мне припомнился жест его рук, когда вынул из бокового [кармана] жилета гребеночку и при нас же пустился причесывать гладкие, точно прилизанные волосы; я подумал, что если бы существовали естественные отправления, подобные отправлениям *"просфирни"*<sup>181</sup>, то Розанов был бы *"просфирником"* какого-то огромного храма; да, он где-то *пек* (в святом месте), а, может быть, производил беззастенчиво физиологические отправления своей беззастенчивой мысли; начинал их на улице, у себя в кабинете; и отправления эти продолжил теперь он при мне и З. Н. Мысли как-то совсем неожиданно кипели и прядали пузырями со дна подсознания; безо всякого повода выскочили две-три фразы из моего *"Письма студента-естественника"*, напечатанного в первом № *"Нового Пути"*; он забулькал слюною и словом в меня, похвалил за письмо, с тем не слушающим ответов небрежеством перекинулся после к З. Н., стал подшучивать, что она, дескать, — ведьма; З. Н. — отшутилась; она называла В. В. просто *"Васей"*; а *"Вася"* уже шепелявил о чем-то своем, о домашнем (об отношении Варвары Федоровны, жены<sup>182</sup>, — к З. Н.); дергалась нервно колени; и — маслилось лоском лицо; губы сделали ижицу, карие глазки *"не видели"*; и — моргали куда-то: из-под стекол очков побежали они в потолок.

В. В., круто ко мне повернувшись, дотрагиваясь рукою до пуговиц моего пиджака, вдруг спросил об отце; и узнав, что отец мой не жив уж, — выпрямился; и с серьезным лицом молчаливо и богомольно перекрестился; потом, посмотрев на меня, скороговоркою забормотал:

— Не забывайте могилки... Не забывайте могилки... Молитесь могилкам...

И все возвращаясь к *"могилке"*; так с этой *"могилкой"* ушел; уже кутаясь в шубу, надвинувши крепко свою круглую шапочку и попадая ногою в объемистый ботик, он — вновь повернулся ко мне; и принялся побрызгивать:

— Помните же: поклонитесь могилке...

Когда он ушел, то З. Н. подняла на меня веселяющий, торжествующий взгляд, точно только что показала редчайшего зверя она.

— Ну, что скажете?..

— Да... — я сумел лишь ответить.

И после молчания вдруг я воскликнул:

— А знаете, *"это"* ведь страшно...

— Ужасно! — значительно посмотрела она на меня.

— Тут какое-то от *"приведите мне Вия..."*

— Тут — плоть: вот уж *"плоть"*...

— И не *"плоть"* даже, — нет, — фантазировал я, — *"плоть"* без *"ть"*; в звуке *"ть"* — окрылепис; не *"плоть"* только — *"пло"*; или даже два *"п"* (для плотяности): *п-пло!*

В духе наших тогдашних дурачеств прозвали мы Розанова: *"Просто плло!"* В звуке *"плло"* переживалась бездна физиологически кипящей материи: и в последующих беседах с В. В. (в той особенно, которая происходила в Москве, на Тверской и в кофейне Филиппова<sup>183</sup>) мне казалось, что Розанов не высказывает свои мысли, а кипятится, побрызгает физиологическими отправлениями процесса мыслительности; побрызгает, и — ослабнет: до — следующего отправления; оттого-то так действуют отправления эти: мысль Розанова; все свершают абстрактно ходы, а он — лишь побрызгивает отправлениями.

В тот период по воскресеньям был то у Розанова, то у Ф. Сологуба; у Розанова собрания протекали нелепо, нестройно, но шумно и весело; гостеприимный хозяин развязывал узы; не чувствовалось стесненности в тесненькой в общем столовой, оклеенной бельми и простыми обоями; здесь стоял большой стол (от стены до стены), шумный спорами; Розанов где-то у края стола, взявши под руку то того, то другого, поплескивал фразами в уши и рот строил ижицей; он поблескивал золотыми очками; статная фигура Бердяева выделялась своей ассирийскою головою; совсем уж некстати напротив виднелся из *"Нового Времени"* Юрий Беляев<sup>184</sup>, или священник Григорий Петров, самодушно играющий крупным крестом на груди и надменно выпячивающий сочные, красные губы; а сбоку — как будто осунувшийся, маленький Мережковский бледнел истощенным лицом, обрастающим с щек бородами, недоуменно выпучивал очи и отвечал невпопад; у бокового столика, помнится, группа художников *"Мира Искусства"* — там Бакст<sup>185</sup>, и там Сомов<sup>186</sup>; В. В., хозяйина, вовсе не слышно: мелькнет его белый жилет; и плеснет, проходя между

стульями, фразочкой; более выделяется грузная, розовощекая и строгая какая-то — Варвара Федоровна, супруга писателя: розовощекая, строгая — вот мое впечатление; впрочем, может быть, и не строгая вовсе, а — строгая к нам, к Мережковским; она уже знает, что я задружил с З. Н. Гипшиус, В. Ф. вечно внушающей не неприязнь, а какой-то мистический ужас; и на меня переносит она "строгим" видом своим — недоверие к... Мережковским; здесь я конечно же — "друг" Мережковских, и это я чувствую постоянно в вопросах В. В., обращенных ко мне, в строгом профиле краснощекой жены его; В. В. Розанов мне однажды поставил какой-то вопрос — очень-очень мудреный, гностический; я на него отвечая, принялся чертить что-то пальцем по скатерти, машинально; а Розанов, слов не расслышавши, подхвативши только жест моих слов, мною ногтем начертанных, принялся сложить и вычерчивать мой рисунок на скатерти ногтем своим: "Понимаете!" Вдруг он устал, запыхался, размяк, опустил низко голову и, сняв очки, принялся протирать их, впадая в изнеможение: *физиологическое отправление* совершилось; и — ничего он не смог мне прибавить; молчал, отвернувшись, протирая очки; посулил как-то раз подарить свою книгу "О понимании"<sup>187</sup>; он сказал: "Приходите за нею: я напишу вам". Закрученный вихрями петербургского хора годами — я, признаться, забыл: не зашел, он же — ждал: приготовил мне книгу; и после — обиделся.

Книга "О понимании" так-таки и осталась непрочтенной; я в продаже впоследствии все не мог получить ее.

Совершенно иными встречали гостей очень строгие "воскресенья" у Федора Кузьмича Сологуба. Он — жил на Васильевском Острове, в здании школы, которой инспектором он состоял<sup>188</sup>; проходя к Сологубу, легко можно было попасть вместо комнат квартиры его в освещенную классную комнату; вся квартира Ф. К. поражала своим неуютом, какою-то пустотой, переходами, нотолками, углами, лампадками; помнилось тусклое, зеленоватое освещение — от цвета ли абажуров, от цвета ли стен; в нем вставала фигура Ф. К., зеленоватая, строгая; и — сестры его<sup>189</sup>, как две капли воды похожей на Федора Кузьмича; тоже бледная, строгая, тихая, с гладко зачесанными волосами; совсем как Ф. К. — но в юбке, без бороды; на "сологубовских" воскресеньях господствовал строгий дориз<sup>190</sup>; сам хозяин подчеркнуто занимал приходящих своими, особенными, сологубовскими разговорами, напоминающими порою ответственный, строгий экзамен; здесь много читалось стихов; и приходили поэты, по преимуществу здесь встречался с Семеновым, с В. В. Гипшиус<sup>191</sup>, ветераном и зачинателем декадентства; ходили сюда мы с почтением, не без боязни; и получали порой нагоняй от Ф. К.; а порой и награду; Ф. К. был приветлив к поэтам, но скуп; философия, религиозные пререкания не допускались тоном холодной и строгой квартиры; З. Н. говорила бывало:

— К Ф. К. — вы пойдите!

— Ф. К. — человек настоящий!

Д. С. и З. Н. почитали талант Сологуба; и в своих отзывах высказывали максимум объективности, что было редко для них; а Ф. К. выражался порой

очень остро о деятельности Мережковских; мне кажется, — более признавал он поэзию Блока; о Блоке тогда еще он выражался решительно:

— Блок — поэт: настоящий поэт!

Раз сказал:

— Блок умен, когда пишет стихи: не умен, когда пробует писать прозой.

Мне помнится, что о книге моей, только вышедшей, — книге *"Возврат"*<sup>192</sup> — выражался Ф. К. :

— Вот — хорошая книга.

И вообще к молодежи тогдашнего времени относился Ф. К. снисходительно, с пониманием. Мережковские — не понимали, а Розанову уже не было дела до нас; он, встречаясь с нами, совсем неожиданно начинал говорить комплименты, которым не верил я вовсе; ведь знаешь, бывало: сегодня, поймавши и под руку взявши — похваливает; гляди — выругает в *"Новом Времени"* завтра.

Раз выругал он Блока, — на чем свет стоит; а на другой день встречается с ним; А. А. ласково первый подходит к В. В., как ни в чем не бывало; такая незлобивость поразила В. В.; он рассказывал после:

— Ведь вот, обругал я его, а он... сам подошел, как ни в чем не бывало.

З. Н. Мережковская вмешивалась в отношения мои; запрещала бывать мне у Минских; при всяком поползновении отправиться к Мишским, — З. Н. надувалась:

— Идите, коли хотите, но — помните!

*"Помните"*, это звучало угрозой, нешуточной; З. Н. именно в это время имела какие-то контры с Л. Вилькиной<sup>193</sup>, поэтессой, супругой Н. М. Минского; так я и не был у Минских в тогдашний приезд: они скоро уехали за границу.

## А. А. Блок и Д. С. Мережковский

Религиозная общественность вскоре же утомила меня.

То, к чему в Мережковских я влекся, в том именно не до конца соприкасались мы с А. А. Блоком; ему была вовсе чужда историческая проблема религии, особенно историческое христианство; история, как мне кажется, слишком мало его волновала; пришел он позднее к проблеме истории (уже в последнем периоде жизни); апокалиптическое настроение преобладало в нем явственно; апокалиптическое настроение было формой всегда ему свойственного максимализма; апокалиптик он был в своем кровном переживании жизни, в "нутре"; наоборот: Мережковский, рыкающий громко: "Гряди", — Мережковский *"апокалиптизировал"* схемами; история перевешивала в нем все прочее; самое отвержение исторического христианства Д. С. погружало его в сеть вопросов, нерасплетаемых с церковной историей; *"историзм"* полонял Мережковского; и — отталкивал Блока, который к проблемам истории христианства, к великому возмущению Мережковского, относился *так как-то*

(верней, что никак); был далек того гнозиса, который приводит к сознанию Лица Христова; тот Лик был для Блока еще заслонен ликом Музы: Софии.

Вся же линия Мережковского — выявление лика Христа. Идея Софии была Мережковским не схвачена, церковь была необходима для него, как трамплин, от которого (*"церковь в параличе"*) он построил прыжок в *"сверх-историческое"* христианство; Церковь — не знала Софии. А для А. А. просто не было никакой уж проблемы *церковной истории*, — не было и проблемы сопутствующей: евангельской критики; тут он был соловьевец; для Соловьева проблемы евангельской критики не существовало ведь тоже; на религиозно-философские диспуты А. А., впрочем, хаживал — созерцать без волнения схватку двух бурных течений (неохристианского с церковным); тут в нем сказывалось отвлеченное, интеллектуальное любопытство; к Мережковскому он ни в чем не примкнул; даже более: из чувства протеста, не вынося слишком четко построенных схем Мережковского он готов был при случае стать на сторону откровенных церковников: *правая и левая*, голосуя, естественно против центра, поддерживают порою друг друга; а для А. А. Мережковский был именно центром — *"середкой на половинку"*; *"общественность"* Мережковских казалась ему слишком *"скучной"* и *"вымученной"*; в религиозных воззрениях он был резче, катастрофичнее Мережковского, исходя из естественного, непосредственного ощущения переживаний своих: признавал *непосредственный опыт*; абстрактные умозрения, проблемы религии и церковной истории оставляли холодным его; если *"опыт"* присутствует — значит: присутствует все; нет его — к чему диспуты, словоблудие, рефераты; А. А. волил точного опыта; и в *"зрях"* имел этот опыт; и видел его в сочинениях Соловьева; не самая по себе теология покойного Владимира Соловьева интересовала его; Мережковского он считал отвлеченным схоластом; Владимира Соловьева же *"знающим"* ритм эпохи; то мнение о покойном философе не изменил до кончины своей, о чем явствует его заметка о Соловьеве, написанная уже в 1920 году\*: *"Владимиру Соловьеву"*, он пишет: *"судила судьба в течение всей его жизни быть духовным носителем и предвозвестником тех событий, которым надлежало развернуться в мире... каждый из нас чувствует, что конца этих событий еще не видно, что предвидеть его невозможно"<sup>194</sup>...* В. С. Соловьев был для Блока окном, из которого на нас дунули ветры грядущего. Место в истории Соловьева не ясно определилось; история нашего времени родилась из пророческих предощущений Владимира Соловьева; он умер за несколько месяцев до рождения нового века, *"который сразу обнаружил свое лицо, новое и непохожее на лицо предыдущего века"*. Далее А. А. Блок явно делает драгоценнейшее признание, которое подтверждает слова мои о конкретно воспринятых им зрях будущего (то страшных, то ласковых): *"Я позволю себе... в качестве свидетеля, не вовсе лишенного слуха и зрения... указать на то, что уже январь 1901 года стоял под знаком совершенно иным, чем декабрь 1900 года, что самое начало столетия было исполнено существенно новых знамений и предчувствий"*.

\* "Владимир Соловьев в наши дни".

Действительно: стихотворенья А. А., завершающие год последний отшедшего века, полны удрученности, тяжести пессимизма:

Стала душа угнетенная  
Комом холодной земли.

Или:

Стала душа пораженная  
Комом холодной земли<sup>195</sup>.

Или:

Ты только замыслом гнетущим  
Еще измучаешь меня<sup>196</sup>.

Вот строчки стихотворенья, написанного 31-го декабря 900-года, — написанные за несколько лишь часов до наступления нового века:

И ты, мой юный, мой печальный,  
Уходишь прочь!  
Привет тебе, привет прощальный  
Шлю в эту ночь.  
А я все тот же гость случайный  
Земли чужой<sup>197</sup>.

Это — светораздел: до — "Ante lucem"; после — "Стихи о Прекрасной Даме", открываемые первыми, уже иначе звучащими строчками:

И тихими я шел шагами  
Провидя вечность в глубине...<sup>198</sup>

Стихотворение помечено январем 1901 года. Второе стихотворение цикла 1901 года бодрее:

Ветер принес издалека  
Песни весенней намек.  
Где-то светло и глубоко  
Неба открылся клочок.  
В этой бездонной лазури,  
В сумерках близкой весны  
Плакали зимние бури,  
Реяли звездные сны<sup>199</sup>.

Далее:

Благословен прошедший день<sup>200</sup>.

И — наконец:

Закатная, Таинственная Дева,  
И завтра, и вчера огнем соедини<sup>201</sup>.

Так, слова А. А. Блока: "Январь 1901 года стоял под знаком совершенно иным, чем декабрь 1900 года" — полны реализма; их надо принять текстуаль-

но; они — выражения опыта, пережитого Блоком; А. А. был свидетелем эпохи, всегда наделенный тончайшим прозором и слухом.

Д. С. Мережковский для Блока в противовес Соловьеву всегда был свидетель эпохи, лишенный и слуха, и зрения, не ощутивший предчувствия 1901 года никак, ощутивший эпоху в столь общих, неопределенных тонах, что из них не могло ничто вытечь, как подлинный опыт *"прозора"*, к которому тянется Мережковский столь явно, столь часто, но из которого ничего не выходит.

Вскричит:

— "Или мы, иль — никто!"

И окажется:

— "Только не мы..."

Ничего не увидели *"мы"* в огневых испытаниях жизни России! По отношению к веяниям 1901 года (о них я писал в моей первой *"Симфонии"*<sup>202</sup>, что это были ни с чем не сравнимые дни, что весна над Москвою стояла особенная), — по отношению к этим веяниям строили мы отношения к людям; принявшие *"зори"* ни с чем не сравнимой весны были — *"наши"*, а не принявшие — не были *"нашими"* (*"нашими"* для меня оказались в Москве А. Петровский, С. М. Соловьев, Э. К. Метнер и Н. К. Метнер, М. С. Соловьев и другие); а А. А. Мережковский не понял особенности заревых откровений; так *"новое сознание"* Мережковского оказалось *"старым"*, не перешедшим границы уже отживавшей эпохи.

А. А. относился серьезно ко всякому опыту и ко всякой серьезной системе идей; с каким чутким вниманьем выслушивал он мои длинные разъяснения по поводу философии Риккерта или Вундта, бывало; но он относился с насмешкой к размещиванию религиозного опыта головными досужими схемами; полуфилософия — претила сознанию его; и претил — полуопыт; домашнею, половинчатой философией, напоминающей упражнения Кифы Мокиевича<sup>203</sup>, часто казались ему громоздкие построения Мережковского, коренившиеся не на принципе мысли, а на сомнительном каламбуре; он сам каламбурил порою, но — шуточно (*"Arl-e-Kin"* и *"Erl-König"*); сплошным полуопытом выглядела для него субъективная мистика Гиппиус; к устремлениям нового *религиозного сознания* относился он точно так же, как если бы был он Гельмгольцем<sup>204</sup> и пред собою увидел образчики гегелианского метафизицирования по поводу *закона сохранения энергии*; он был сам таким Гельмгольцем, — пусть в одной точке души: в точке зорь, ему вспыхнувших, в точном узнании, что *"январь 1901 года стоял под знаком совершенно иным, чем декабрь 1900 года"*; спросите в те дни Мережковского, правда ль что заря изменилась, он смерил бы вопрошателя недоуменными взорами; мог он *"свидетельствовать"* лишь от схемы, а не от факта; и оттого-то пред революцией еще бредит он шапкою Навуходоносора и заговаривает о Белом Царе, чтобы тотчас же вслед за вспыхивающими революцией очутиться в ... *"Полярной Звезде"* Петра Струве<sup>205</sup>; в 12-ом году он кричит в разговоре со мною, что революция (да!) есть IV Ипостась Божества; в 1918 году — проклиная меня лишь за то, что я вовсе не струсил, как он, пред лицом *Ипостаси*.

У А. А. сквозь все творчество явственно проступают немногие факты им внутренне узнанного; в веренище годин к этим фактам меняет подходы; но факты — стоят перед ним: они — те же; так: в 1898, еще будучи гимназистом, он пишет, что птица тревожная Гамаюн нам —

Вещает иго злых татар,  
Вещает казней ряд кровавых.

Через десять лет в "*Куликовом Поле*" он возвращается к фактам все тем же; и 1918 в "*Скифах*" (десятилетием позднее) опять-таки по-иному приподымает он тему — все ту же; в 1901 году он гласит:

Весь горизонт в огне... И — близко появленье<sup>206</sup>.

А через двадцать лет, в годы потухнувших зорь, вспоминая увиденный подлинно *огневой горизонт* грядущего века, он подтверждает узнания юности фразой: "*Позволю... себе... в качестве свидетеля... указать на то, что... самое начало столетия было исполнено... знамений и предчувствий...*" Слова эти сказаны Блоком, не взявшим вполне себе в душу Ее откровений ("В поля отошла без возврата, да святится Имя Твое!"). Мережковский сказал бы: "*В поля отошла без возврата: на что Твое Имя*"; — глубочайший субъективист, совершенно беспочвенный человек, прикрывающий для объективности вялыми схемами эгоизм себялюбия — вот таков Мережковский. Недавно еще Н. М. Минский высказывал мысль: Беатриче для Данте — предлог возвеличения Дантом Данте; так Данте, выдумывающим Беатриче, Софию, Христа — для себя и для присных (для Гиппиус, Философова и сбежавшего Карташева — сбежишь!) был всю жизнь Мережковский; мне нечего говорить: новоявленный Данте Н. Минского есть не Данте, а "*Дантик*", "*Дантёнок*".

А. А. не был "*Дантиком*" Минского вопреки Мережковскому, нечто опытно им ощутимое, но не узнанное до конца (тут понять, тут узнать — значит: явственно разрешить мировую загадку) — да, опытно ощутимое знание А. А. не хотел нарядить в манифесты из слов — *объективных*, идейных; давал в субъективном свой опыт: давал в преломлении; в субъективизме у Блока столь много правдивости, честности и столь много фальши у Мережковского, дуоющегося до объективного манифеста, чтоб лопнуть с натуги; так: лопнул "*Толстой*" Мережковского<sup>207</sup>; лопнула вся IV *Ипостась* (что лопнет ныне — "*крест*", иль красная Пентаграмма?<sup>208</sup>); лопнул навет З. Н. Гиппиус: "*Блок — большевик*"<sup>209</sup>; А. А. Блок имел много идейных разочарований; но в "*дураках*" никогда не ходил; слишком много достоинства, такта в нем жило до самой кончины.

И все же я должен сказать: перевоплощаясь в точку зрения Мережковского, можно было увидеть: по-своему, прав был и он, когда в лирике Блока ему часто чуялся хаос, которого так он боялся, дисциплинируя взвой хаоса в своих собственных недрах логикой, не Логосом — плохо усвоенной логикой, отчего его космос приобретал вид музья-паноптикума;

в прикровении хаоса плохенькой логикой у Мережковского сказывалась боязнь пред стихией радений.

Я помню, с каким торжеством Мережковский однажды (то было позднее уже) — развернул предо мною какую-то книгу и с наслаждением прочел четверостишие напечатанного стихотворения А. А., где рифмуются странно "границ" и "цариц-у"<sup>210</sup>. Вращая своими глазами, их выпучив, склябсья, как демон (душевное выражение Мережковского, когда он подбирает цитаты иль данные, подтверждающие положение его), — он, осклябсья, ревноул с громким хохотом:

— Видите, видите — я говорил: посмотрите "границ" и потом "цариц" — Д. С. сделал огромную паузу и протянул — "ууу цариц-ууу", неспроста: у рифмы есть хвостик: ууу-"ууу"; в этом "ууу" ведь все дело; "ууу" — блоковский хаос, радение, отвратительное хлыстовство. "А, Зина, — и он тут блеснул волоокими взорами — каково: цариц-ууу!

Еще долго расхаживал он перед нами в малюсеньких туфельках, колыхая помпонами (в туфлях с "помпонами", помню, разгуливал он одно время); — весь маленький, перепуганный и в восторге от собственного испуга, — попугивал нас он звериными звуками: "ууу" — рифмой с хвостиком Блока.

В ту пору разламывался сознанием между А. А. и Д. С.; меня к Блоку влекло непосредственно узнанное, увиденное; но "опыт" нам следовало воплотить — провести его в мысли и чувства; и — вызвать "быт нового опыта"; в "новой общественности" Мережковского, именно, и выдвигалась проблема: пресуществить религиозно пережитым свою жизнь; ввести внутренне пережитое в мельчайшие частности жизни — вплоть до газетного фельетона; я еще не видел: у Мережковских попытка введения религии в жизнь ограничивается проведением религиозной идеи... в очередной фельетон, ограничивается созданием нового фельетона; я еще не видел — фельетониста в Д. С.: видел — подлинного реформатора (он в это время не вовсе упал до газеты); и потому то стремление Мережковских меня прихватить с собою в газеты и сделать меня журналистом, им открывающим двери в общественность, — это стремление я нес, как товарищескую обязанность, как шаг к наступающему религиозному действу; но "долг" ощущался, как иго; А. А. меня видел насквозь; видел — боль неизбытную, — ту же, какую он видел в Москве, когда я тщетно тщился гармонизировать нестройцу "аргонавтов". И то же спокойное со-страдательное отношение старшего брата к впадающему в заблуждение младшему, поднималось в нем.

С А. А. Блоком меня тесным образом связывал ряд вопросов в то время: София, вневременное молчание, Вечность, проблема мистерии, память о бывшей заре, неизреченность и нежелание расплывать в суматохе "последнее" (к расплывенью "последнего" в фельетон, наоборот, призывали меня Мережковские), доверие к поэзии Вл. Соловьева, которому Мережковский все время противился, большаая личная дружба, доверие к нашему коллективу, слагающемуся из А. А., Л. Д., С. М. Соловьева, меня; так я жил в двух коммунах: одна — мы, иль — "Блоки"; другая: то — мы, "Мережковские"; к Мережковским привязывался все более; но ощущал принуждение в их коллективе:

я должен делиться был опытом без остатка; я должен был собственный опыт всегда растворять в общем опыте; Д. С. говаривал мне:

— Да вы — наш; а мы — ваши; наш опыт — ваш опыт; ваш опыт — наш опыт.

Это душевное принуждение (коммунизм), ставшее новой формой "Соттилио" (или причастием), вызывало все более противление, сомнение; я чувствовал, что чего-то последнего, *главного*, своего не могу растворить без остатка я в опыте Мережковских — не оттого, что — утаиваю, а оттого, что — не видят; и я как бы им говорю:

— Посмотрите: вот подлинный бриллиант моей внутренней жизни; несу его — вам!

А они как бы мне отвечали:

— Но тут — ничего: в вас досадные пережитки субъективизма и декаданства.

И я понимаю, что Мережковские — слепы в той именно точке, которую я считаю лежащей в центре сознания; точка — конкретное "Я"; тут-то Блок меня видит; тут он понимает меня; для этого, происходящего в моем "Я", происшествия нежной рукой старается отстранить все случайное он; Мережковские именно это случайное ставят в центр зрения мне; я мучительно начинаю теперь приходиться к осознанию: "*новая общественность*" Мережковских не есть та общественность, которая органически вырастает с законами роста "Я" (от свободного "Я" и к свободному "Я"); нет, общественность Мережковских есть подлинно групповое начало, могущее привести к новой стадности разве среди ряда нам данных (как-то: к государственному идиотизму, к партийности, к внешней церковности); их "*групповая душа*" несомненно же спаивает примитивно Д. В. Философова, Мережковского, Гиппиус; в действии этой души, коллективной, коммунальной, осуществляется "*атмосфера*", витающая в квартире у них — "*атмосфера*", которую остроумнейшим образом охарактеризовал раз Бердяев, сказавший: "Вы — понимаете: вы беспомощны в "*атмосфере*" у них; вы приходите к Мережковским сказать: "*Я не с вами...*" А Мережковские вам отвечают: "*Так почему же вы, если не с нами, не уличаете братски нас...*" И начинаешь их братски опровергать; вдруг уже ощущаешь, что ты уличаешь — *внутри атмосферы*; ты стал — антитезой; ты — внутри синтеза; тут Мережковский пристроит мгновенно свой синтез; попался: *внутри атмосферы* уже..."

В таких ярких и верных словах Н. Бердяев характеризовал мне однажды то групповое начало сознания, которое обволакивало собеседников З. Н. Гиппиус, рассуждающих у камина; — с неодолимою силой; и вовлекало их всех в *атмосферу*; поэтому и назвал В. В. Розанов эту квартиру, пропахнувшую сигарами и духами, "*мистическим логовом*"; он оглядывал стены, как кошка, и — говорил, улыбаясь:

— Нет, что-то такое тут есть.

Это "*что-то такое*" — я чувствовал; и еще более чувствовал Блок; но он думал то именно, что Д. С. Мережковский так риторически возглашал "уу-ууу" (об окончании блоковской рифмы); а именно: думал он, что "*атмос-*

*фера*” — иррациональный протянутый хвост рационально сказуемых мыслей, или медиумическое начало, насильственно угасающее, *”самосознания”* Мережковских; от этого вокруг них бессознательно развивались волны радения, хлыстовства; то есть — все то, что в верхнем сознание Д. С. Мережковский боялся; и — в чем уличал он других.

Об *”атмосфере”* квартиры, о доме Мурузи, — не раз говорили с А. А. в это время мы.

А Мережковские, в свою очередь, уличали меня А. А. Блоком; они наблюдали неудержимое, ежедневное убежание от них к А. А. Блоку; они бы мне *”запретили”* охотно сбежание к Блокам, как *”запретили”* знакомство с Л. Вилькиной; чувствовали, что со мной ничего не поделаешь: вынуждены признать, что А. А. и *”Я”* — братья; и все-таки: З. Н. все-то хотела ввести в падежающую приличную норму мое неприличное исчезновение к Блокам. И наконец, Мережковский нашел себе формулу моего тяготения к Блокам; *”декадентская мистика”* соединит-де нас; убежания к Блокам есть бегство *”волчонка”* в глухие леса, в завывание, в *”зуу”*, после уроков естественного муштрования, долженствующего превратить декадентского, хвост поджавшего, волка в овчарку религиозной общественности; тщетно добрые пастыри Мережковские волчонка дисциплинировали; они нуждались в *”овчарке”*; такою *”овчаркою”* воспитать меня очень хотелось; в сознании их, вероятно, разгрыбывалась картина: вот добрые пастыри из *”декадентского леса”* приносят волчонка; но *”сколько волчонка не наставляя, — смотрит в лес”*; сколько бедного дикого декадента не наставлять в твердых правилах религиозной общественности, — все он потянется к братьям-волчатам: с собаками — не наиграется; на убежания к А. А. они грустно поглядывали, как на бегство *”волчонка”* к *”волчонку”* (резвиться в лесу после строгой муштровки); так: мне разрешалось общение с Блоками; но на него Мережковские, пастыри, трезвиль составили взгляд: это только — *”волчиньи игры”*. Что может быть общего у А. Белого, трезво могущего поговорить и о Риккерте, трезво умеющего приподнять, если нужно, *”пудовую”* религиозную тему, — что может быть общего у А. Белого с косноязычнейшим мистиком Блоком (впоследствии изменили нелепейший взгляд на А. А.); рекомендовалось мне убедительно *”обсуждать что-нибудь”* с Философовым, с Карташевым, а с Блоком я мог разве что поволчиться: *”зуу-зуу”*. В такой глупой *пустой* легкомысленнейшей оценке моих отношений с А. Блоком, с С. М. Соловьевым и с Александрой Андреевной напечатлялась удивительная поверхностность и нечуткость к другим, которая искони отличала Д. С. Мережковского; говоря постоянно *”мы-мы”* (вместо *”Я”*) Д. С. в сущности относился к искомому *”мы”*, как к разбухшему *”Я”* (всякое другое *”Я”* неумолимо съедалось *”Я”* Мережковского, перерабатываясь в его схемы).

Неоднократно говаривал мне Д. С. Мережковский:

— Послушайте, эти ваши сидения у Блоков, — болезнь: тут — безумие.

А З. Н. прибавляла:

— Да, да: метерлинковское косноязычие *”что-то”, ”где-то”* и *”кто-то”* вместо открытого Лица и Имени...

Словом "ууу" пресловутой осмеянной рифмы: цариц-ууу *Прекрасная Дама* поэзии Блока, Царица, представилась Мережковским со шлейфом из "ууу": цариц-ууу. По представлению их, мы, невнятные мистики, рыцари Дамы, едва ли не собирались для упражненья в ношении этого шлейфа из "ууу". Сочинивши пародию из нашего преклонения перед идеями Владимира Соловьева, З. Н. принималась меня той пародией тыкать:

— Уж вы постыдились бы!

— Постыдились бы... Взрослый ведь вы человек; ведь вы деятель, а — Прекрасная Дама...

— Ужас!

— Хлыстовщина...

Я же молчал: возражать, спорить, строить опровержения — перед З. Н., кто имеет о ней представление, — тот меня близко поймет; опроверженье — отход мой решительный от Мережковских с 1909 года (отход навсегда); ушел молча: без споров (ведь спор со слепым есть тщетное тщение — выжимание сока сухой перецветшей гранаты: "пока тщетно тщится мать сок гранаты выжимать")\*. Так, бывало, я пробираюсь молча по коридору из своей комнатухи, стараясь проскользнуть мимо двери, открытой в гостиную, где часа в половине четвертого только что вставшая З. Н. Гиппиус перед зеркалом расчесывает гребенкою пышные волны золотокрасных пушистых волос, упавших на спину, за спину (ниже колен); и — прикрывающих плечи; я — пойман.

— Куда? — и из красных волос застреляли глаза-изумруды.

— Я — к Блокам! — стараюсь сказать независимо я: не выходит.

— Опять?

Я — накидываю поскорей на себя свою пубу; и — улепетьваю; в спину летит мне:

— Безумие!

Щелк (то — задвижка у двери); я — скатываюсь по лестнице, мимо швейцара; свободен!

И — к Блокам!

А возвращаюсь лишь вечером.

Многочасовое сиденье у Блоков интриговало всегда любопытствующую З. Н., она спрашивала:

— Нет, не понимаю, зачем вы так долго сидите у Блоков. Ведь Блок — молчаливый такой. И — жена его. Что же вы делаете?..

Виновато моргаю:

— Молчите, сидите?

— Молчим и сидим...

— И в чувствах, с несказанными чувствами: "где-то", "кто-то", "что-то" и завиваетесь в пустоту: ну, конечно!

Мои отношения к Блокам З. Н. окрестила названием: "*завивание в пустоту*". То название — стало техническим термином. Вот ведь — будет Бердяев:

---

\* Козьма Прутков.

и будут внушительно подниматься "проблемы". Где "Боря"? — у Блоков: и вместо общего дела опять завивается в пустоте. Бывало, когда возвращаюсь от Блоков и попадаю в гостипую Мережковских на важный, как мир, разговор, от которого, конечно, зависит свершение истории (протестовать или нет в либеральных газетах "трех честным интеллигентам" против "гнуснейшего" послания иерархов); сидит надменно настроенный "Дима" (Д. В. Философов); неукротимый "Антон" (Карташев), вздернув плечи, метается по углам, приводя двадцать пятое возражение против веского резюме чьей-то мысли; — застигнув врасплох: Мережковский, лукаво взглянув на меня ("наигрался теперь в пустоту: ну, пора и за дело"), пытается с мягкой любовностью и меня ввести в тему надменного рассуждения Философова и летания Карташева по комнате:

— А мы вот, пока вы "завивались" — без вас обсуждали....

И я начинаю теперь поднимать на плечах пудовую общественно-религиозную тему: за Философова против А. В. Карташева; или — обратно: за Карташева — против Д. В.

Если я терпеливо проглатывал все подшучивания над моими невольными слабостями (убеганием к "Блокам" и, может быть, декадентством, бросанием в небеса "ананасом"<sup>211</sup>) — происходила такая уступчивость лишь потому, что Д. С. и З. Н. мне высказывали действительно "maximum" дружбы, терпенья, внимания; "главного" моего — не понимали они; и "оно" их "кололо"; "уколы" — несли; и меж нами естественно вырабатывался тот "modus vivendi", в котором неоскорбительными казались мне шутки. Чего не позволишь чужим, то позволишь "своим"; Мережковские были воистину мне *своими родными*. Я с грустью вспоминаю те года; и хочется все-таки *через все* им сказать:

— Вам — спасибо, спасибо: за все!

## В Казармах

Между Казармами и массивнейшим домом Мурузи я чувствовал в раздвоеньи себя; я был вовсе разорван во время тревожного петербургского пребывания; у Мережковских проплющивали общественностью; самого Мережковского этой общественностью методично проплющивал Струве<sup>212</sup>; и создавалась атмосфера "кадетской религиозной общественности" до возникновения самой партии; из тяжелой, из прямой общественной атмосферы я вырвался стремительно — к Блокам, "домой"; в тишину безглагольного, комфортабельного покуривания, отдохновительнейших улыбок, вещающих "ни о чем", потому что:

— Ах, знаю!..

— Все знаю...

— Не объясняй...

Развалясь в мягком кресле, откинувшись головой в тень спинки и закрывая глаза, хорошо было думать и хорошо сознавать, что твое настроение здесь блюдет: ничто не спугнет его; что с дивана не бросится зычно рыкающий

глас привскачившего, перепуганного идеей Д. С.; не поднимется суетливая бегодня черных туфель с "помпонами":

— Или мы, иль — никто...

("Мы" — конечно же, не помпоны: Д. С. Мережковский, Д. В. Философов, А. В. Карташев и З. Н.)

— Что ж?

— Вы с нами или вы — с ними?

А. А. не оглушал никого: не рычал, не зывал, не глаголил:

— Вы с нами или же с "ними"?

Закинувши голову в мягкое кресло и созерцая большими глазами пространство над ним, размыкал свои губы; струя голубая дымков наполняла пространство причудливым облачком; и — в душе отдавалось:

— Знаю, все знаю...

— Ты с нами...

— Не нужно речей...

В фантастической, очень идущей рубашке из черной свисающей шерсти, без талии, не перетянутой поясом и открывающей крепкую лебединую шею, — мне кажется Байроном он, перерисованным со старых портретов.

Всепонимающим взглядом посмотрит, встанет, ко мне подойдет, взяв за локоть:

— Пойдем...

— Я тебе покажу переулки...

И мы — одеваемся; мы выходим на улицу; А. А. водит меня по каким-то кривым переулкам, показывает, что он видит; направо — забор, впереди — полоса огневая заката: и —

Край неба распорот,  
Переулки горят<sup>13</sup>.

Переулки, которыми водил меня Блок, я позднее узнал; я их встретил в "Нечаянной радости"; и даль переулочную, и — крендель булочной; то переулки, избороздившие петербургскую сторону; помню: закатный свершается час; небо — красное над забором, который от этого кажется четким и черным; а впереди — край Невы; А. А., стройный, высокий и розовый от зари, в нестуденческой шубе, в прекраснейшей, меховой своей шапке, чуть щуясь, рассматривает подробности быта: согнувшихся этих людей (они тащат кули), двух ворон; и я вижу: не ускользает ничто от внимательных взоров его; он окидывал очень-очень внимательным взором: двух галок, рабочих с кулями, закат и меня; да — вот слово, которое характеризует его: *очень-очень внимательный взгляд*, но не пристальный; в пристальном взоре внимания нет; не морален взор, пристально устремленный; З. Н. — та, бывало, приставит лорнетку к глазам, и — осматривает: не внимательным, *пристальным*, колочным взором, впиваясь не в целое — в черточку; Мережковский глядит невнимательно перед собою, не пристально; а то — ширит

стеклянные очи, то — начинает поглядывать. Александр Александрович все оглядывал *очень-очень внимательным взором*; он, да, — видел целое, а не черточки целого, как З. Н. В этом взоре — участие, не любопытство, а со-участие с тем, к чему он обращался; бывало, все-все он заметит; не раз вспоминал удивление доброго В. Ф. Марконета, которого Блок победил своим милым, внимательным взором, обласкивающим окружающее. Мы, бывало, не раз останавливались в переулке, разглядывая происходящее; и А. А. говорил:

- Знаешь, здесь — как-то так...
- Очень грустно...
- Совсем захудалая жизнь...
- Мережковские этого вот не знают...

А *это* стояло кругом: и охватывала жизнь бедноты.

- Что вы делали с Блоком?
- Гуляли...
- Ну, что же?
- Да что ж более?
- Как — и молчали?..
- Смотрели — на переулки, заборы; на то, как *"край неба распорот..."*
- Удивительная аполитичность у вас: да, мы, вот, — обсуждаем, а вы вот — гуляете...

Помню: А. А. приведет от прогулки (замерзнем мы оба); подталкивая под локоть, усадит в спокойное, мягкое кресло, неторопливо усядется рядом в такое же кресло, неторопливо возьмет преогромную, круглую деревянную папиросницу, передо мной возникающего гада — на столе у него; и — протянет ее; раз он ею совсем машинально взмахнул на меня, мне рассказывая о чем-то, и я тут невольно откинулся; он — рассмеялся:

- Ты — что?
- А ты что?
- Почему ты смеешься?
- А почему ты откинулся?
- Так... Мне казалось...

— А мне показалось, что тебе кажется, будто бы я собираюсь тебе предложить эти все папиросы зараз, чтобы вставить в твой рот папиросницу.

(Папиросница же была преогромных размеров.) А. А. любил *"дикости"*. Мы замолчали. Молчание — длилось: в молчании вспоминалось странное, дикое:

— Почему эти глупые мелочи, жесты, врываясь в нить мысли, порой создают карикатурные ассоциации; знаешь что: одного очень-очень известного литератора впопыхах неуместной услуги однажды я вдруг схватил за нос — нечаянно, неожиданно вовсе: перепугался, что оскорбил ненамеренно нос литератора; всё старался себе самому показать, что — бывшее действие есть иллюзия и что схватывание за почтеннейший нос не имело здесь места.

— А вероятно, чем более ты это думал, тем более думалось: а *схватил-таки*, — улыбнулся А. А. И опять отдавалось мне:

— И не надо рассказывать!

— Знаю: всё знаю...

В перекидных разговорах, в молчании этом, сменяющем их, в безответственных ходах мыслей, в медитативности нашего сиденья, — отдохновение приходило мне.

Было что-то в А. А. столь пленительное и уютное, что часами хотелось сидеть с ним: в лукавой улыбке, в усталых глазах (я впервые заметил усталость в глазах у него — в Петербурге), в немом разговоре, прерываемом затяжкою папиросы, — мне чудилось приглашение к отдыху.

— Что? Бедный друг — измотался, измучился...

— Верно, украдкой удрал.

— Не объясняй мне: всё — знаю...

— Вернешься и — будет тебе нагоняй: и Д. В. Философов прочтет тебе снова нотацию — за отлучку, за то, что опять *"завиваешься"* в пустоте!

— Нынче вечером верно в присутствии *"Таты"*, *"Наты"*, *"Антон"* поставят вопрос *"они"*: что делать с *"Борей"*?

И я — улыбаясь в ответ на улыбку, приоткрывавшую мне, что он — *"знает, все знает"*: до разговора о нем; так незлобивые смешки меж затяжек сопровождали медлительно тему нашей беседы *"о Мережковских"*; и я должен отметить: в ней было столь много любви-понимания к Мережковскому, как к хорошему человеку, которого он понимал и любил, *"несмотря ни на что"*, — несмотря на идеи, невольно я был откровеннее с ним, чем хотелось бы быть, часто давая З. Н. повод к ставимым мне обвинениям:

— Да, да, да!

— Вы, наверное, — *предаете* нас Блоку.

Но я не пугался; я — знал: Мережковские так любили все громкое: *"Или -- мы, или — никто"*, *"или с нами, или — против"*, *"или жертвуете себя нам, или — вы предаете нас"*. *"Предать"* не хотел, но и жертвовать своей жизнью для ходкого фельетона Д. С. — не хотел; выходило, что я — *"предавал"*. Мережковские не хотели понять, что с А. А. нас связали уже: переписка, московские дни и ярчайшие переживания Шахматова; самый *"стиль"* отношения моего к А. А. Блоку слагался в таком направлении, что и не было перегородок меж нами; невольно, поэтому, я делился с ним искренним впечатлением своим о Д. С. и З. Н., начинавших влиять на конкретные частности моего идейного быта; он молча выслушивал, обнимая внимательным, всепонимающим взглядом, тем более что *"людей"* в Мережковских он и любил, и ценил; в них претила ему риторичность, ходульность, невольная поза, соединенная с ригоризмом, абстрактностью, категорической косностью.

Более всего А. А. понимал З. Н. Гиппиус: понимал — в утонченнейших ее чувствах и мыслях. З. Н. — замечательный человек, величайшее марево в жизни ее — подчинение идеям Д. С.; Д. С. часто казался вампиром,

паразитирующим на идеях З. Н. Вероятно: огромные томы его никогда не возникли бы, если бы не З. Н.: самопожертвенно отдавала себя им она; проводила дни, ночи в беседах, которые приготавливали для Д. С. благодарную пашню; на ней мог он сеять: разбрасывать горсти идей в разрыхленные души; З. Н. разрыхляла целины; он — сеял, выпучивая очень-очень большие глаза, очень-очень холодные, стекловидные, напоминающие мир минералов, разгуливал, очень какой-то *такой* (что ли зябкий и шупленький): в туфлях с помпонами. Я пригляделся к Д. С.: *"атмосфера"*, которую чужли все, — была, в сущности, *"мережковское"* рабочее поле: *собратья* по Духу стремительно превращались в сем поле в рабочих, закабаленных *"взаимностью"*; а интереса к самостоятельному труду членов общины не было, потому что творческой плодотворной работы ведь не было тоже. Д. В. Философов газетными фельетонами силится, встав у двери общественной жизни, ту дверь растворить Мережковскому, должествуящему: войти, победить большой свет; а З. Н. — сколько-сколько работ было ею загублено — для облегчения Мережковскому бьтъ учителем жизни; она отдувалась за все; деловые сношения, беседы с людьми и активнейшую пропаганду *"сознания Мережковского"* ведь брала на себя она, чтоб Д. С. мог в роскошных уютах просторного кабинета систематически выжимать из себя по отмеренной порции текста романа, который в то время писал он<sup>214</sup>; А. В. Карташев не писал ничего от того, что его — *"теревили"*; он был в *"попыхах"*; *"попыхи"* — очередная возникшая ссора с З. Н. иль с Д. С.; и потом: очередное возникшее примирение с ними при помощи *"Таты"* и *"Наты"* (не раз я присутствовал в качестве молчаливого зрителя примирений и ссор, призываемый очень торжественно быть свидетелем увещаний *"Антоня"*, который — *"брыкался"*; и, наконец — *"убежал"*); вспоминаю: как только меня обнимала густейшая *"мережковская"* атмосфера, работа моя пропадала; на очереди стояли — *"Симфония"*<sup>215</sup>, *"Пепел"* иль *"Символизм"*; к рукописи, бывало, — не мог прикоснуться; сегодня был должен писать по заказу З. Н. гимн для пьесы ее иль стихи *"Красных маков"*<sup>\*</sup>, а завтра уже поручалось: статьей нападать, призывался присутствовать при объяснении *"забунтовавшего"* А. В.; помню, что к личным трудам Мережковские относились с отчаянным равнодушием; восхищались моею посредственной статьей о Бердяеве; а *"Символизма"* и *"Петербурга"*, я бьюсь об заклад, — не прочли; был им нужен лишь бойкий, стрекочущий перьями фельетонист, помогающий Философову открывать двери *"Дмитрию"*. Я, писатель, художник, для них безразличен был: нужен был лишний работник рабочего поля (вынашиватель совместной идеи), с которого Мережковский снимает плоды в своих грузных томах; да, тома Мережковского — принадлежат — не ему: принадлежат они и З. Н., и Д. В., и другим обиходным *"работникам"*, вспахивающим идеи Д. С.; им торжественно он говорит: *"Да, мы — ваши, вы — наши"*; *"работники"* подают материалы, а Д. С., преобильно снабженный сырьем, из сырья по шаблону своим выпекает какие угодно хлеба, приизюмит, присахарит: тесто

<sup>\*</sup> Этот гимн к пьесе Мережковских был написан мною по просьбе З. Н. в Париже<sup>216</sup>.

же остается непропеченным и вязким (уже написал: о Толстом, о Достоевском, о Гоголе<sup>217</sup>, Тютчеве<sup>218</sup>, Лермонтове<sup>219</sup>, Леониде Андрееве<sup>220</sup> — может теперь закатить три объемистых тома об... Александре Дюма, Маяковском, или... безвременно опочившей Гуро<sup>221</sup>: дело вовсе не в имени — в "выпечке"; "выпечет", коль захочет, и из Гуро).

Я помню с Д. С. мы встречались по утрам, часов в 10, за утренним чаем; З. Н. не вставала (вставала не ранее двух); Т. Н. Гипшиус была в Академии; за столом мы встречались одни; кто не знал Д. С., мог бы подумать:

— Чего он надулся?

— За что он так сердится?

Чопорно, сухо, с оттенком брезгливости мне подавал свою ручку Д. С., но я знал, что оттенок брезгливости вовсе ко мне не относится; просто был полон он мыслей; перед работою: от половины одиннадцатого и до двенадцати аккуратно отписывал он свою малую порцию романа "*Петр и Алексей*"; и потом, что-то тихо посвистывая, надевал меховую он шапку и быстрыми, перебегающими шагами, пересекал коридор, направляясь в переднюю: шел он гулять в Летний сад, оставляя на письменном столе в кабинете открытую рукопись с непросохшим чернилом; мне случалось невольно прочитывать окончание последней, написанной фразы.

В два — завтракали (чаще всего без З. Н.).

И потом расходились.

.....  
Мое путешествие из дома Мурузи к Казармам происходило в 2—3 часа (каждый день); просиживал часто у Блоков часов до 6, до 7; очень часто обедал у них.

Запомнилась мне их квартира, естественно, разделенная на половину А. А. и Л. Д. и на прочие комнаты; половина А. А. состояла из кабинета и спальни.

Бывало звонью: открывает денщик; коль А. А. и Л. Д. дома нет, — я вхожу в двери прямо, в гостиную; знаю, что встречу я здесь Александру Андреевну, с которой все более я дружу; тема наших общений самостоятельная, разговоры, напоминающие бывальиe, бесконечные мои разговоры с О. М. Соловьевой; у Александры Андреевны тот же пытливый, скептический взгляд, наблюдающий подоснову душевных движений; она как бы мне говорит своим видом:

— Ну, да, — хорошо: утверждаете свет... Покажите мне вашу *тайную лабораторию* света.

За "*скепсисом*" у Александры Андреевны — огромная вера, надежда на... Главное; недоверие, настороженность — всегда; она первая явственно угадала, что стиль утверждений моих предполагает "*катастрофу*", "*взрыв*"; и не раз говорила:

— Вы, в сущности, не оставляете камня на камне: вы все разрушаете; ваше "*да*" — но мне кажется, будто нет его вовсе...

Тут я отвечал ей, что "*дух*" — не душа, что он — дышит, где хочет; и его не покажешь руками, нехватишь душою; и разговоры о том, погибать ли

душевности в Духе, — всегда повторялись меж нами; Александра Андреевна меня поняла лучше прочих в непримиримейшем устремлении к бунтарству, к протесту; казалось, Ал. Андр. влечется ко мне, но — боится меня; она явно тревожилась за судьбу "коллектива", учуяв его распадение в будущем; и боялась *стремительности* моих жестов, боялась *фанатичности* С. М. Соловьева, которого я перед ней защищал.

Очень много рассказывала она про А. А., про его невеселое детство; рассказывала про отца А. А.<sup>222</sup>; он казался ей темным (он был в это время профессором Варшавского университета); рассказывала о приездах "отца" в Петербург, о свиданьях с ним Блока, о том, как всегда тяжелили А. А. эти встречи с отцом, увлекавшим А. А. за собой по ночным ресторанам (отец А. А. силился поколебать веру в мистику своего просветленного сына); и явствовало: очень много раздвоенных чувств отложилось в душе у А. А. от общения с отцом. Александра Андреевна порой останавливалась на людях, которыми интересовался А. А.; много слышал я в этих беседах о некоем Панченко<sup>223</sup>, — музыканте, который всегда импонировал Блоку; А. А. порой влекся к нему; этот Панченко, по словам Александры Андреевны, был умницей, замечательным человеком, но темным насквозь. От А. А. я не раз в это время сам слышал:

— А знаешь ли, — Панченко думает...

— Панченко так говорит...

Когда же пытался я больше расспрашивать, то лицо у А. А. становилось серьезным; и он озабоченно, с уважением в голосе, смешанным с удивлением, говорил:

— А знаешь, он — темный...

Более ничего я не мог из А. А. тут извлечь.

И потом повторялось мне:

— Панченко — думает...

— Панченко!

Панченко, Панченко, что за Панченко? Так думал я с любопытством.

Я раз его встретил у Блоков; то был уже седой человек, худощавый, не очень высокого роста, с французской, седою бородкою, с прямым носом и с бледным лицом; его быстрые, острые взгляды перебегали; окидывал ими он зорко; и — останавливались с недружелюбием, со скрытой усмешкой на мне; он старался быть светским; сидел за столом и показывал нам пасьянс; тогда не понравились откровенно друг другу; уже Александра Андреевна рассказала мне: Панченко не любил всех друзей А. А. Блока; особенно не любил он Л. Д.

Этот Панченко мне показался фальшивым; сквозь напускной легкомысленный скепсис французского остроумия он пытался пустить пыль в глаза, озадачить особенным пониманием жизни.

Я раз только встретился с ним, он меня оттолкнул.

.....

При посещении Блоков я чаще всего заставал их. А. А. в эти годы был, собственно говоря, домосед; он меня проводил из передней налево в свой

маленький кабинет — в очень строгую, длинную, однооконную комнату; из той комнаты белая дверь уходила в просторную спальню, откуда показывалась Л. Д. в своем розово-зеленоватом причудливом платье, напоминающем (как и все, что носила дома она) театральное одеяние. Здесь посиживали часто мы часами втроем; иногда разговором была недовольна Л. Д.: быстро вставала, без слов уходила к себе, нас наказывая отсутствием.

Кабинетик А. А. занимали: объемистый письменный стол, полированный, красного дерева; и такого же дерева шкаф, очень мягкий диван (от стола вдоль стены), очень-очень удобное кресло, в котором А. А. неизменно посиживал, под руками имея свою деревянную папиросницу; ею раз напугал он меня; у окна цепенели два кресла и столик; здесь сиживала Л. Д., иль, верней, собиралась в комочек, залезши с ногами на кресло, склонив свою голову в руки, обхватывающие деревянную спинку (любимая поза ее). Я сидел на диване, облокотясь о стол. Так встают предо мною сидения вместе.

Запомнилась статная молодая фигура А. А., уходящая в тени кресла с руками, небрежно положенными на ручки, с откинутаю курчавою головою; запомнился взор его, будто растеряннo-любопытный; улыбки-во-грустно сидел он, внимательно вглядываясь... во что? Он был в той же черной, уютной рубашке, свисающей складками, не перетянутой поясом, открывающей крепкую, лебединую шею, которую не закрывал широчайший воротничок à la Байрон; казался опять и опять новым Байроном, перерисованным со старых портретов. Его закрывали глубокие тени; а из теней выступали глаза да лицо, побледневшее; не было в нем озаренности; поубавился с прошлого года загар розоватый; круги под глазами казались глубже; едва уловимые складочки около глаз проступили.

Ведь вот: разговора-то не было: было журчание струй: разговаривал я; и — пускал ручей слов, разрезавший ландшафты душевного испарения, образовавшего облака, где взвивались причудливо птицы фантазии; мне З. Н. говаривала:

— О чем же вы там все молчите? Я знаю уж... *"где-то, да что-то, да что-то"*... Ах, — это старо: просто это радение, декаденщина.

Искренне я возмущался в то время обычною характеристикой Блока тогдашними литераторами; из нее подымался какой-то *"балдеющий"* мистик, оторванный от живой социальности и погруженный в туман беспросветной невинтицы; подлинно:

Блок бежал *"болтовни"* и кружковской общественности, которая должна была скоро лопнуть в годах русской жизни; но он, поэт *страшной години России*, кипел, волновался в те дни; это видел я часто; а его обвиняли в апатии; и да: он из этого кабинетика мог сбежать бы... на баррикаду, а не в редакцию *"Вопросов Жизни"*, куда собиравлись писатели, где трещал мимнограф Чулкова; Чулков здесь часами вытрескивал совершенно бесцельные резолюции и протесты ненужных общественных групп, уносимых водоворотами жизни,

но полагающих, что они-то и сотворят ее; в эти дни вся Россия кипела; у Мережковских же обсуждалось: какие условия соединения с группою писателей *идеалистов* приемлемы. Идеалисты теснили *новопутейцев*; новопутейцы отстаивали себя; и невольно казалось, что от союза Булгакова, Н. А. Бердяева, С. А. Аскольдова с Д. В. Философовым и Мережковским переродится стихия тогда разливавшейся революции.

А. А. чувствовал карикатурность таких устремлений; он волил, воистину, *бóльшего*, пренебрежительно относясь к "*пустяковой*" журнальной шумихе; и оттого-то его называли аполитичным, антиобщественным мистиком; иные общественники надменно покашивались на него, как покашивались на него много лет уже спустя "*антиобщественные*" элементы за яркость "*общественных*" устремлений, за манифест от лица русской нации — "*Скиффов*", написанных в брестские дни<sup>224</sup> — в дни, когда Мережковские, давась злобой на русский народ, провалились в квартире на Сергиевской с "*IV-ю Ипостасью*"; "*Ипостась Божества*", о которой кричал Мережковский, — пришла: Блок встал с кресла — сказать свою громкую думу всей жизни:

Идите все, идите на Урал!  
Мы очищаем место бою  
Стальных машин, где дышит интеграл,  
С монгольской, диком ордю...

Тут он стал вдруг вятен: народу, который "*общественникам*", очень многим, казался невнятицей; тот народ, о котором писали-писали-писали, стучали-стучали словами, — стал всем невнятицей; "*вянтица*" заскрежетала зубами на русский народ, на Россию, на Блока.

А. А. очень редко в то время показывался в говорильнях, а если показывался, то — тускнел; перепутанный, побледневший, с недоуменными взорами; полураскрывши свой рот, он сидел и молчал, переживая, наверно, свои строчки:

Все кричали у круглых столов,  
Беспокойно меняя место.

Он держался как бы у стенки; таким помню его я в редакции "*Вопросов жизни*". На громком собрании с "*резолуцией*", выгрескиваемой "*ремингтонной машинкою*", он имел такой вид, точно он собирается убежать; и маститые идеалисты оглядывали его с таким видом, как будто они говорили:

— Ну где вам, куда вам... Довольствуйтесь тем, что пускаем мы вас на страницы журнала, как... полемический "*трюк*", чтобы вами показывать кукиши "*Миру Божьему*"<sup>225</sup>, где вас не печатают... Понимать наши споры — куда вам: вы — мистик!

А. А., отвечая на взоры, с растерянностью как-то оглядывал сборище:

— Не для меня... Здесь — общественники-философы, а я — мистик...

Мне помнится: быстро он скрылся.

В то время имел он домашний, семейственный вид; он просиживал дома с Л. Д.; иногда отправлялся — "по делу", в редакцию; никогда не засиживался; уходил на прогулки — по островам; и простаивал часто у взморья, встречая закаты; он возвращался — повеселевший и бодрый, играя вскипающей строчкой стихов; от статей того времени не осталось следа; не расскажешь теперь, что такое вытрескивали ремингтоны редакции; а певучие строчки Блока, настоянные на приморском закате, остались России; молчанье его огласилось навеки; а "горлодер" скольких важных вопросов повергся в глубокое, гробовое молчание.

Сам А. А. написал через несколько лет о "горлодерах" тогдашнего времени: *"Пока мы рассуждали... о бесконечном прогрессе — оказалось, что высверлены аккуратные трещины между человеком и природой, между отдельными людьми, и, наконец, в каждом человеке разлучены душа и тело, разум и воля".* И далее: *"Когда я заговорил о разрыве между Россией и интеллигенцией, более всего поразил меня удивительный оптимизм большинства возражений: до того удивительный, что приходит в голову, не скрывается ли за ним самый отчаянный пессимизм? Говорил я о смерти, мне отвечали, что болезнь излечима... Я говорил о расколе; мне отвечали, что... нечему раскалываться... Страшно слышать: "Болезнь излечима, болезни нет, мы сами — все можем". Когда ступишь ногой на муравейник, муравьи начинают немедленно восстанавливать разрушенное... Они — в своей вечной работе... как во сне... В таком же сне — бабочка, танцующая у пламени свечи... Цвет интеллигенции... пребывает... в вечном... сне, или — в муравьиной куче. Это — бесконечное и упорное строительство с пеной у рта, с падениями. Один сорвался — лезет другой, другой сорвался — лезет третий. И муравейник растет... И вдруг нога лесного зверя... ступает в самую середину... Отклоняется в обсерватории стрелка сейсмографа. Еще неизвестно, где произошло событие, какое событие. Через день телеграф приносит известие, что уже не существуют Калабрия и Мессина — двадцать три города, сотни деревень и сотни тысяч людей..."*<sup>226</sup>

Я сознательно привожу эту длинную выписку; она — в духе тех мыслей, которыми А. А. Блок мне описывал отношение свое к окружающим литературно-общественным спорам, — кипящему муравейнику, неспособному предотвратить свою гибель от *лапы проходжего зверя*, иль той мировой катастрофы, которую прозирал он всегда с мировой зарею, о чем гласят строчки стихотворения "Гаманю". А "мировые вопросы" Д. С. Мережковского ему казались в те дни только бабочкой, *затанцевавшей у пламени свечи*; он пламя уже видел; он видел, что "бабочка" скоро погибнет; его ж приглашали выслушивать *"трепеты бабочкиной пыльцы [облетающей с] крыльев"* — религиозно-философские рефератики, иль "рык" Мережковского — в туфлях с помпонами; *"туфли с помпонами"* — эгоизм, выпирающий из общественных схем: "Или мы (т. е. "Зина" и "Дима" и я; а в конце концов — я, ибо "Зина" и "Дима" — работники, собирающие мне материалы), иль — никто..." Да, "помпоны" — хронический субъективизм объективнейших положений Д. С., над которыми со снисходительным добродушием часто пошучивал А. А. Блок у себя

в кабинете; порой он взрывался: тогда он писал об ослабленной каменной маске, — о выражении лица Мережковского, нашедшего парадокс: "А знаешь ли, Зина..?"; А. А. повторял очень часто все то, что потом было сказано им в его ярких статьях "Россия и интеллигенция": "Есть священная формула, так или иначе повторяемая всеми писателями: "Отрекись от себя для себя, но не для России" (Гоголь). "Чтобы быть самим собой, надо отречься от себя" (Ибсен). "Личное самоотречение не есть отречение от личности, а есть отречение лица от своего эгоизма" (Вл. Соловьев). Эту формулу повторяет решительно каждый человек... Эта формула была бы банальной, если бы не была священной... Только тогда, когда эта формула проникнет в плоть и кровь каждого из нас, наступит настоящий "кризис индивидуализма".

В преодолении "индивидуализма" со стороны всех тогдашних "путей" А. А. чувствовал фальшь; этой фальшью являлась ему откровенная смесь субъективнейших переживаний З. Гиппиус с бедной схоластикой Д. С., размешанной устремлениями "вопросо-жизнеников", далеких от жизни и от вопросов, связанных с катастрофой сознания, о которой А. А. говорит: "Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа. Мы видим себя уже как на фоне зарева..."<sup>227</sup> Религиозно-философские собеседования Мережковских на огненном фоне действительной катастрофы казались А. А. неудачною карикатурою: "Теперь они опять возобновили свою болтовню, но все эти облезлые и образованные интеллигенты, поседевшие в спорах о Христе, их супруги, свояченицы в приличных кофточках, многодумные философы и лоснящиеся от самодовольства попы, знают, что за дверьми стоят нищие духом... А на улице — ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, их вешают; а в стране — "реакция", а в России жить трудно, холодно, мерзко. Да хоть бы все эти болтуны в лоске исхудали от своих исканий... — ничего в России бы не убавилось и не прибавилось..."<sup>228</sup>

Все эти мысли в Блоке мне были хорошо известны еще тогда — в 1905 году; и было известно, что на снисходительное поглядывание "сверху вниз" на него в редакции "Вопросов Жизни" он и тогда внутренне отвечал строками своей более поздней статьи: "Что же, просвещайтесь, интеллигенты; не думайте только, что "простой человек" придет говорить с нами о Боге. Мы поглядим на вас и на ваши "серьезные искания"; поглядим да и выплеснем... на вас немножко винной, лирической пены: вытирайте лысины как знаете..."<sup>229</sup>

Общественность Блока в то время свершалась не в заседаниях, а — в прогулках по Петербургской стороне; иногда он захватывал на прогулки меня; мы блуждали по грязеньким переулкам, наполненным к вечеру людом, бредущим от фабрик домой (где-то близко уже от Казарм начинался рабочий район); здесь мелькали измученные проститутки-Работницы; здесь из грязных лагуч двухэтажных домов раздавались пьяные крики; здесь в ночных кабаках насмотрелся А. А. на суровую правду тогдашней общественной жизни;

о ней же он, мистик-поэт, судил резко, правдивей, реальней ходульных общественников, брезгующих такими местами, предпочитающих "прения" с сытými попками.

Приговор всей общественности Мережковским сочетался в А. А. с очень тонким вниканием в психологию их как людей очень маленьких, очень запутанных; в их интимном, в неповторимом — любил; в том смысле он даже с какою-то трогательностью относился к "помпонам" на туфлях Д. С. Мережковского; мы очень часто определяли людей в это время; мне помнится, что А. А. соглашался, смеясь, что будто бы Мережковский — какой-то "коричневый" и что пахнет корицею от него (в умопостижимом смысле); действительно: этот цвет сопровождал Мережковского всюду; ходил он в коричневом пиджаке вдоль стены с коричневатого цвета обоями, посасывая коричневую сигару; обложки его толстых книжек — и те: были часто каких-то кофейно-коричневых и коричнево-желтоватых оттенков (он сам выбирал эти краски, наверно); может быть (не ручаюсь), раскуривал он у себя в кабинете курительными бумажками, распространяющими запах корицы; казалось мне: этот запах есть запах "идейно-общественной" атмосферы квартиры его; вероятней всего это — запах душистых сигар, перемешанный с духами З. Н. (Тубероза Loubin).

А. А. нежно любил в Мережковских — интимных субъективистов, неповторяемых, оранжерейных цветов, заболевших "общественностью" и потерявших от этого свою ценность; так редкие пальмы, заболевающие в теплицах, роняют прекрасные листья; и видишь лишь волосатые корни, да выпирающий безлистный торчок; "религиозно-философское общество", движимое Д. С., для А. А. было только "торчком" Мережковского.

— Ну, а какой же по-твоему "Дима"?

— Какой?

— Он, по-моему: темно-лазурный...

В импровизациях веселели мы; импровизировал я; и А. А. меня поправлял; иногда — присоединялась и Александра Андреевна, которая находила естественным, что я днями просиживаю у Блоков; однажды, взяв за руку, и помаргивая карими своими глазами, она мне сказала:

— Да как же вам быть-то без нас...

— Ведь естественно...

— Вот вы и с нами...

Мне помнится, что отсутствие С. М. Соловьева, досель участвовавшего в наших сидениях, не нарушало гармонии целого; наоборот, без С. М. стало тише, спокойнее, непритязательней вместе; и если мое пребывание в Шахматове извлекло звуки розово-золотых ясных зорь, то сидение в петербургской квартире у Блоков оставило образ: высокого зимнего голубоватого неба в барашках.

— О чем вы тут пишете? — вероятно воскликнут иные: пишу я о новой, о истинно новой общественности, слагавшейся из бережного переплетения душ; где даны а, в, с, там дано: ав, вс, ва, св, авс, асв, сав и т. д. Даны

— бесконечные веера модификаций общения; я пишу о том, "лично", которое чувствует себя в целом; "общественность" без творчества в личных общениях каждого с каждым, "общественность без общения" — сон! Да, общественность, расцвеченная всеми видами общений друг с другом, — уже не общественность, а "мистерия":

Глаза — в глаза: бирюзовеет...  
Меж глаз — меж нас — "Я" воскресен.  
И вестью первую провеет:  
Не "я", не "ты", но — "мы", но — "Он" ...<sup>230</sup>

К этому-то и стремились Мережковские; но "Он" — не вставал, потому что общественностью без общения отрезали они себя от Него: и оттого-то общественность их изошла фельетонами.

Помнится: в революционные дни Айседора Дункан исполняла 7-ю Симфонию неумирающего Бетховена, и Л. Д. заставила пойти — на концерт<sup>231</sup>; эвритмический звук из-за жестов Дункан предо мною впервые проснулся; помню меня поразившее исполнение XX прелюдии\*; юная, новая, зареволюционная Россия вставала; в те дни увлекались Дункан (более всех увлекалась Л. Д.); А. А. был всех сдержанней, но и он отдавался соединению музыки с жестом; ворчал В. В. Розанов, которого мы встретили в зале: он, взяв меня под руку, недовольно поплескивал словом:

— Нет, нет, ни одного движенья как следует!

Тут махнул он рукою.

А. А. чувствовал силу прозора В. В.; порою он с ужасом вглядывался в мир В. В., столь враждебный ему; В. В. Розанов мучил его; он однажды в письме, обращенном ко мне, фантазировал, будто В. В. "потряса своей рыжеватой бородкою"<sup>232</sup> подбирается ближе и ближе; и — настагает уже. "Настигающий" Розанов стоял перед А. А. в эпоху, когда мучил Кант; то двойное подстерганье сознания А. А. и Розановым и Кантом происходит в эпоху, когда "Она", "Цельная" начинает уже отходить, подменяясь образами "Астарты", действующими чрез абстракции (Кант) и чрез чувственность (Розанов); цельность — надломлена; появляются две половинки; полцельности — логика Канта; и полцельности — "пол" (тема Розанова). Переживанья такие смущали А. А. уже в 1903 году. Но и в 1905 году он становился настроенным, когда возникал пред ним Розанов.

Он внимательно вслушивался в разговоры о Канте, высказываясь очень редко на темы критической философии, не попадая впросаки, как Д. Мережковский, которого философствование — сплошные "просаки". Я часто в те дни философствовал; и Л. Д. мне внимала; она в это время была ведь курсисткою-филологичкой и посещала внимательно лекции по философии; так, однажды она мне поставила строгий вопрос: каковы должны были бы быть гносе-

\* Шопена.

ологические основы "Lapan", ежели бы этот философ культуры действительно появился; и из вопроса естественно вырос ряд лекций моих, импровизированных на квартире у Блоков; А. А. неизменно присутствовал тут и прислушивался ко мне.

Так жил я в те дни в Петербурге — двойною и сложною жизнью: у Блоков, у Мережковских: ко мне на Литейный частенько заходил Л. Семенов; и мы отправлялись гулять в Летний Сад. В то время Семенов переживал крутейшую эволюцию от монархизма к революционному максимализму; он вместе с рабочими шел на Дворцовую Площадь, чтобы увидеть, как царь примет их; вместо этого: вместе с толпой он лежал, упав в камни; вокруг же свистели летящие пули; идею самодержавия подстрелила в нем свистнувшая самодержавная пуля; он рассказывал мне, что он где-то увидел великого князя Владимира Александровича<sup>233</sup> и инстинктивно схватился за револьвер, чтобы выхватить его из кармана; но вовремя спохватился; но жест был так резок, так ясен, что тревога, испуг передернул великокняжеское лицо.

Мы — спорили.

В это время совсем неожиданно к Мережковским явились Свенцицкий и Эрн; оба только что приехали из Москвы с проектами обращения к Синоду от группы церковников, желающих заклеить синодальное оправдание расстрелов: Д. С. Мережковский, А. В. Карташев и Д. В. Filosofov впервые тогда познакомились с молодыми людьми (я их знал еще прежде); Волжский восторженно заявлял: появились-де "религиозные радикалы". Собрались мы в Пале-Рояль<sup>234</sup> (на Пушкинской) у П. Перцова: обсудить предложение "неистовых москвичей"; кроме себя, Мережковских и Перцова помню на том собрании Filosofova, Розанова и Тернавцева; Розанов и Тернавцев тогда отнеслись невнимательно к предложенью Свенцицкого. Помню: Тернавцев сказал:

— Ну, что ж, может быть, вы и пророки: идите, прочтите-ка иерархам то, что написали.

Д. В. Filosofov воскликнул:

— Как вы, Валентин Александрович, зная наверное, что грозит этим юношам, посылаете их в пасть ко льву?

Но Тернавцев ответил — полушутливо:

— Что ж? Если считают себя они вправе судить представителей церкви, они и должны быть готовы на все: Даниил ведь был ввержен в ров львиный, а — уцелел...<sup>235</sup>

В. В. Розанов в это время помалкивал, резко блистая дрожащими золотыми очками, подплясывая коленкой на стуле; осведомился он небрежно лишь о происхожденьи Свенцицкого; а относительно реформационного пыла он вышлеснул по адресу синодального строя:

— Была вот навозная куча... осталась навозная куча: так нечего ее и раскапывать...

И тем не менее: бросилось мне в глаза удивительное перемигиванье его и Тернавцева (Тернавцев же был убежденный церковник); они оба поехали от

П. Перцова, обнимаясь, — на извозчике; и понял я, что соединяет их не религия, — быт и эстетика культа.

В эти же дни мы шли (я, Свенцицкий и Эри) от Д. С. Мережковского; у Литейного моста Свенцицкий остановился и стал развивать мне впервые возникающую в нем идею о *"христианском братстве борьбы"*; это братство возникло в Москве. Я шел к Блоку. Свенцицкий пошел машинально со мною, охваченный мыслями о новом братстве; так он попал к Блоку; и всем нам мешал; он сидел, теребя свою бороду; и обдумывал путь к осуществлению братства; А. А. и тогда не понравился он.

Никогда не забуду последний мой день в Петербурге: мы условились, что встретимся в Шахматове; и А. А., и Л. Д. провожали меня на вокзал; когда тронулся поезд, увидел в окно их веселые, ласково мне закивавшие лица.

Меж тем: в этот час был убит генерал-губернатор Москвы В. К. Сергей Александрович<sup>236</sup>. Первое известие, узнанное мной в Москве — на вокзале, газетное описание взрыва в Кремле. И опять, как тогда при известии об убийстве фон-Плеве в часы возвращенья из Шахматова (в 1904 году), мое сердце вдруг вздрогнуло; и почему-то я мысли свои обратил к А. А. Блоку.



## Глава пятая 1905 ГОД



### Москва 1905 год

Я подхожу к описанию того, как распатывались отношения наши с А. А.; как схождение подготавливалось годами, так точно и расхождение наше произошло в ряде месяцев. Но сперва мне пришлось пережить неприятность в Москве. Так: однажды является Брюсов ко мне на квартиру; предлог — деловой; но я чувствую: Брюсов таит что-то; он со мной сух, в высшей степени неприятен; по окончании деловых разговоров, вдруг он переносит слова свои на Мережковского, которого принимается он поносить; нападение так неожиданно, что на него не сумел я ответить с достаточной силой; не сразу нашелся; а он, отругавши Д. С., подал руку (пресуху); оставшись один и опомнившись, я пришел в бешенство; и написал оскорбительно очень-очень решительное письмо; в нем уведомлял я В. Я., что словам его о Д. С. не могу придавать я значения; известно: В. Я. есть отпетый болтун<sup>1</sup>.

На другой же день получаю ответ<sup>2</sup> с обращением *"Милостивый государь"*; *"милостивый государь"* уведомляется: после печатных его заявлений о Брюсове Брюсов не может перенести такой отзыв о нем; письмо оканчивается официальным вызовом на дуэль, с указанием куда следует обратиться и кто секунданты.

К дуэлям в те дни относился серьезно я; я полагал, что пока у нас нет силы вынести оскорбление по-христиански, вся апелляция к христианству есть фальшь; и дуэль, мной в глубинах отвергнутая, есть печальная форма для разрешения конфликтов; но я относился к дуэли серьезно лишь в том только случае, если нет больше средств разрешить столкновение людей, пересекших друг другу пути. Между тем: очевидно, что Брюсов искусственно

подстроил дуэль, что причины к дуэли меж нами и не было; Мережковский — предлог, чтоб взорвать меня; дуэль — провокация Брюсова; для провокации этой имел он причины; о них ничего не скажу; у меня же причин веских не было принимать этот вызов. Все то изложил я в письме; и просил В. Я. Брюсова взвесить факты; коль он будет твердо настаивать на дуэли, то я, буду вынужден, но именно — вынужден на нее согласиться<sup>3</sup>.

Тут я обратился к друзьям Л. Л. Кобылинскому и С. М. Соловьеву, прося их при случае быть секундантами; но вмешались друзья; и — дуэль отменилась.

В. Я. находился все время в каком-то повышенном "истерическом" состоянии; и от дуэли переходил к его обступающим образам смерти, самоубийства; в стихотворениях "Венка" отразились душевные состояния Брюсова, как, например, в "Ахиллесе у алтаря"<sup>4</sup>; все хотелось ему, *просияв, умереть*; он кидался из крайности к крайности и ко мне относился неровно; через две-три недели по вызове на дуэль, мы с ним встретились около типографии Воронова (близ Манежа); из шубы его торчал толстый сверток закатанных гранок; склонив набок голову, он даже с нежностью заворковал что-то мне; разговор перешел на одно из написанных стихотворений о смерти; вдруг Брюсов воскликнул:

— Да, да: хорошо умереть в ранней молодости, Борис Николаевич. Не правда ли? Умерли бы вы теперь, пока молоды, а то — напишете вы уйму книг; и — испишетесь к старости. Отчего бы не умереть вам теперь?

Помню, я — возразил:

— Да не хочу я, В. Я., умирать; еще годика через два, когда будет мне 26 лет, — ну, тогда мы посмотрим.

В. Я. же ответил с улыбкой:

— Ну, — поживите еще — так: два годика. До 26 лет? Так? Не правда ли? Характерно, что 26 лет я едва не отправился к предкам<sup>5</sup>; мне Брюсов, даря два лишь года, как будто заранее отнимал все возможности жить.

В это время Москва волновалась; митинговали везде; по преимуществу в богатых домах; буржуазия была революционно настроена; часто такие собрания протекали в особняке на Смоленском бульваре, у М. К. Морозовой; я с ней познакомился на одном из собраний; М. К. — оказалась большим человеком; она повлияла на многих из деятелей того времени: на А. Н. Скрябина<sup>6</sup>, на Э. К. Метнера, Г. А. Рачинского, кн. Е. Н. Трубецкого и на группу, впоследствии собранную вокруг книгоиздательства "Путь". В ней — встречало редчайшее сочетание непосредственности с совсем исключительным пониманием Ницше и музыкальной культуры; она имела способность объединить музыкантов, философов, символистов, профессоров, общественников, религиозных философов; нас, символистов, влекло к ней ее понимание зорь 901—902 годов; она зори видела: воспринимала конкретно; профессора, музыканты, общественники находили в ней нечто свое, мы, московские символисты (поздней "мусаетцы"), в ней видели "нашу"; она понимала поэзию Вл. Соловьева и Блока большою душою своею; весна того года окрашена мне возникающей дружбой с Морозовой, у которой я часто бывал

и с которой часами беседовал; да, она понимала стихийно тончайшие ритмы интимнейших человеческих отношений; но с присущей ей светскостью, под которой таилась застенчивость, она не всегда открывалась во вне; очень многие к ней относились небрежно; и видели в ней "меценату", а удивительного человека — просматривали.

Я ей обязан в жизни бесконечно многим.

В мае приехали Мережковские; у М. К. Морозовой мы с К. А. Бальмонтом устроили лекцию Мережковского в пользу каких-то организаций<sup>8</sup> (часть средств шла на деятельность возникавшего *Христианского братства борьбы*); говорили: Свенцицкий, Рачинский, С. А. Соколов и еще кто-то, и я; отвечал — Мережковский. Рачинский, торжественно закрывая собрание, грянул:

— Святится, святится, Иерусалиме!

М. К. после много смеялся.

Я, только что написавший статью "*Апокалипсис в русской поэзии*", мне навеянную общением с Блоками и с С. М. Соловьевым, зачул что-то круто мистическое на собрании у Морозовой; этого не мог вынести бывший на вечере князь С. Н. Трубецкой, юмористически сказавший кому-то:

— Не понял ни слова я в вое Бореньки Бугаева...

Мое левое соловьевство, настоящее на символизме, воспринималось патронами московской идеологии "воем"; у "воюющего" — оказались друзья; и в салоне Морозовой Метнер, Рачинский, хозяйка салона отстаивали устремления Блока и Белого перед Лопатиным, профессорами Хвостовым<sup>10</sup> и Трубецкими. Покойный С. Н. Трубецкой оставался до смерти непримиримым; а с другими (с Лопатиным, с В. М. Хвостовым) встречались дружески мы; мне в последствии кн. Е. Н. Трубецкой признавался: он долго не понимал, как поэт, меня; и наконец-таки — понял.

Мы каждую среду встречались у Астрова; на собраниях оказывалось все больше народа; образовалось в те дни *Христианское братство борьбы* под руководством Свенцицкого; приезжавшие в то время в Москву А. С. Волжский с Булгаковым совершенно подпали под обаяние Свенцицкого; помню: зашедший ко мне А. С. Волжский, шагая растерянно и сутуло по комнате, встряхивал пышной копной волос и поглядывал на меня детски-добрими, голубыми глазами:

— Что ж, — может быть, и они низведут огонь с неба?

"Они" — В. Ф. Эрн и Свенцицкий. Сформировывалось и Московское Религиозно-Философское Общество<sup>11</sup>; устав еще не был написан; но уже происходили собрания в Зачатьевском переулке; на этих собраниях бывало порой до двухсот человек; тут сидели священники, социалисты-революционеры, сектанты, эстеты, марксисты, студенты, доценты и нищеванцы; я помню, как в жаркий денек, когда всюду в садах раскрывались белые гроздьи сирени, я ехал в Зачатьевский переулок; и — думал: четыре лишь года назад, в это время как раз я писал о собраниях "*мистиков*" в первой, в "*Московской Симфонии*"; там описывалось, как сеть мистиков покрывала Москву и как мистики собирались в Зачатьевском переулке; но не было "сети" еще в эти дни; а теперь — "сеть" возникла; в Зачатьевском переулке (?) действительно

”собирались”; и помнится: я подивился ”Симфони”; и казалось: я сам теперь, едущий в Первый Зачатьевский переулок, поехал по собственным строкам, как бы мне оформившим линию устремлений моих.

Сети мистиков покрывали Москву; на углах попадались порой прокламации с черным крестом; то студенты из *Христианского братства борьбы* по ночам их наклеивали на углах переулков; Свенцицкий в то время считал специалистом себя, но — особого рода: он ставил вопросы священникам, посещавшим собрания; бедный священник, не чуя ловушки, стараясь быть радикальным, ему отвечал, а Свенцицкий ответ превращал вновь в вопрос, на который священнику было трудно ответить; на третьем, четвертом вопросе священник срывался; Свенцицкий же восклицал патетически:

— Вот отец (имярек) отрекается от Иисуса Христа!

Иезуитский вопрос, на котором священник срывался, вращался вокруг самодежавия и православия; В. Н. Свенцицкий умел прижимать простоватых священников к стенке и вырывать у них вынужденные ответы, после которых он заявлял укоризненно:

— Вы отреклись от Христа!

Помню: это проделал с Востоковым<sup>12</sup> он; приемы Свенцицкого отвращали меня от него; мне казалось, что ”братство борьбы” есть духовная тирания Свенцицкого над людьми; возмущенный такими повадками кандидата в ”великомученики”, я однажды пришел к нему и к В. Ф. Эрну, чтобы высказать:

— Вы — Симон волхв<sup>13</sup>!

А Свенцицкий в ответ — разрыдался; и новым ”приемом” обезоружил меня; я не раз наблюдал его: он действовал на души, но лишь ”нахрапом”: и то вырывал отречение от Христа, то — рыдал; он был болен тяжелою формой ”истерии”; и я это видел; и Блок это видел; не видели: Эрн, Шерр, Булгаков, Рачинский и многие религиозные почитательницы Свенцицкого.

И я, и С. М. Соловьев отстранились от ”братства”; С. М. Соловьев повез меня в мае к себе, в Дедово; мы проживали с ним в маленьком доме покойных родителей С. М., а обедать ходили мы к бабушке С. М., А. Г. Коваленской; просиживали вечерами в селе Надовражине, у Любимовых; и поднимались разговоры — о Брюсове и о Блоках; С. М. юмористически инсценировал нашу ”секту”; и нам доставалось за это:

— Вот, вот, погодите...

— Вас черти за это...

Стояли туманные, тихие дни; лили дожди; атмосферой романтики окружало нас Дедово; и готовились зацветать ”колокольчики” Владимира Соловьева (из Пустыньки<sup>14</sup>); мне говаривал С. М. :

— Посмотри, что-то есть ”оссиановское”<sup>15</sup> в этом лете...

Говаривали о Фингале<sup>16</sup>, читали Жуковского; я рассказывал о моем пребывании в Петербурге у Блоков; мы собирались в Шахматово. В это время в С. М. Соловьеве проснулись филологические интересы; и целыми днями он разбирал конъюнктуры; а я сочинял ”Дитя Солнце”<sup>17</sup>, поэму свою (мною утерянную впоследствии). Здесь же писал я ”Химеры”<sup>18</sup>, в ”Весы”.

Фигурировала необъятных размеров крылатка покойного Владимира Соловьева, которой владельцем оказался С. М.; вечерами (то я, то С. М.) надевали "крылатку" (и в ней утопали), чтоб шествовать по дождям, по росистым лугам, вспоминая поэзию Оссиана, Жуковского.

Это хождение в крылатке Владимира Соловьева казалось: хождением в соловьевских заветах; "крылатка" куда-то исчезла потом; может быть, пожар домика, где мы жили, ее уничтожил.

И более в Дедове нет колокольчиков Пустыньки.

## Страда

Июль<sup>19</sup> стал душить нас; мы выехали в грозовой, угрожающий тучами день, отправляясь в Шахматово; нагоняла тяжелая туча; гнала нас раскатами грома; меж Крюковым и Подсолнечной оттремела гроза; прошел ливень: С. М. Соловьев возбужденно посмеивался:

— Да — вот, — да: "старый бог" разгремелся заветом Синая!

Приехали к Блокам, покрытые грязью (дороги размыло); но небо очистилось.

Память рисует мне много подробностей первого пребывания в Шахматове; а от второго свиданья втроем — очень мало осталось конкретных воспоминаний; какая-то драма без слов заслоняет подробности жизни тяжелой недели.

Не знаю, — в чем суть: по приезде мы сразу же ощутили, что что-то случилось; мы встретились недоуменно; недоговоренность какая-то уж стояла; со странной натяжкой мы ощущали себя по отношению друг к другу; А. А. был другой; и Л. Д. изменилась. Казалось мне: и А. А. и Л. Д. нас не встретили с прежним радушием; было ли то только действие дней — грозových, испаряющих влагу, — мы все задыхались атмосферой гроз; ежедневно гремело; и б...бу тучи; но про себя понимали мы: атмосферическое давление... рамка иного, душевного; всех нас давило: давило присутствие вместе.

Я постараюсь, как ни трудно мне это, характеризовать настроение каждого; характеристика — субъективна, конечно.

Начну я с себя: по приезде с С. М. к А. А. Блоку заметил я вскоре же нечто, меня огорчившее; именно: я заметил, с недоумением, — мне очень трудно "втроем", "вчетвером"; прежде — трудностей не было; прежде С. М. был цементом, связующим и А. А., и меня; так было в Москве; и — так было в Шахматове; теперь — изменилось все это; я стал замечать: "тройки", которая возникала естественно, — нет; то был порознь с А. А., то был порознь с С. М.; вместе было нам неуютно, натянуто — не выходили сиденья вместе; весь стиль моего отношения к Блокам (к А. А. и к Л. Д., к Александре Андреевне) переменялся разительно; был как бы принят в семью (младшим братом), где я отдыхал от вопросов, просиживая в Казармах; теологические вопросы меж нами без всякого уговора совсем отступили куда-то; произошло это, думаю я, от того, что А. А., как и я, отошел от скорейшего разрешения

"*соловьевских*" вопросов; проблемами Теократии не занимались; и отдавались только душевности, без "*духовных вопросов*"; я не был встающим на цыпочки, каким видел меня некогда А. А., вопрошая:

— Кто он? И не пьет, и не ест.

Я стал "*есть*" и стал "*пить*": стал вполне человеком — не человеком от Теократии, занимающим "*пост*" в образованном нами "*вселенском соборе*"; да и не было для меня в Петербурге "*собора*", а было простое, житейское; и стихи мои того времени — "*Пепел*"; бродягу полей полюбил во мне Блок; а житейски во мне любил "*Борю*"; мне кажется Александра Андреевна права была, мне сказав в Петербурге:

— Как вам быть без нас?

Этим, верно, хотела сказать она, что я врос в их семью; не могла бы сказать то же самое о С. М. Соловьеве; в семью он не врос; не нуждался — быть "*приятным*"; в Блоках он видел участников некой творимой легенды, — навязывая бессознательно им отвлеченные думы свои; это все тяготило А. А., далеко отошедшего от заветов "*Ларан'а*" (стихотворения "*Нечаянной Радости*" существовали уже); я — был ближе; смещения личного пафоса с религиозно-общественным во мне не было вовсе; С. М. же особенно смешивал "*нас*" и "*далекие цели*" свои, не желая понять строк А. А. :

Ты в поля отошла без возврата...

А. А. был в *безвозвратности*; С. М. каждым жестом своим возвращал, поворачивал на былое, не замечая, что *все изменилось*. А. А. с нетерпением (я был терпелив) отталкивался от "*теократии*", навязываемой С. М. Соловьевым; я видел протесты А. А. против тем разговоров С. М.; и я видел: С. М. — этих жестов не хочет понять.

Меж тем: с С. М. связывался я тесней и тесней (в плане жизни); сроднились мы с ним; ведь недаром я жил это лето с С. М., переехавши в гостеприимное Дедово вместо того, чтобы ехать в имение наше; перед С. М. виноватым себя я почувствовал; я не сумел посвятить его в стиль отношений моих с А. А. в бытность мою в Петербурге; увидевши жесты протеста А. А. против стиля С. М., защищал я С. М... Исчезал, исчезал наш жаргон ("*блоко-беловский-соловьевский*"); и появились жаргоны: то — "*беловско-соловьевский*"; то — "*блоко-беловский*"; было мучительно: было — фальшиво: сидеть меж двух стульев; колесница общения в "*главном*" — завязла, общенье втроем распадалось; образовались — "*пары*". А. А. отводил меня в сторону, и мы начинали беседу вдвоем, и С. М. отводил меня в сторону: мы начинали беседу вдвоем.

Так я чувствовал встречу.

С. М. Соловьев переживал, вероятно, ту встречу иначе; за год изменился и он; в нем филолог окреп; и выросло в сознании его все значение поэзии Брюсова и стремление к чеканке переживаний; поэзия Блока казалась ему "*романтической невнятицею*"; А. А. ставил он ниже, чем Брюсова; и себя пережил он поэтом; А. А. отрицал в нем поэта:

— Поэзия не для Сережи...

И это же повторяла за ним Александра Андреевна.

Вместо прежних интимных бесед поднимались литературные разговоры; А. А. нам читал цикл стихов из *"Нечаянной Радости"*; а в С. М. поднимался протест; и А. А., и особенно Александру Андреевну протест обижал; обижало отчетливое отрицание *"невнятицы"*; противопоставлялись чеканные образы Брюсова; С. М. мне стал жаловаться на авгурский, несколько, тон поэтических замечаний А. А., и — поднимал свой протест против темного смысла иных замечаний:

— Чревовещание, невнятица.

И С. М. принимался отчетливо выгораживать Брюсова, не принимавшегося в этом доме за мэтра; его огорчало и то, что стихи, им написанные, отвергаются *"Блоками"* за филологию и за *"ученость"*.

В С. М. того времени происходило перелом: филологические изыскания уводила от темы Владимира Соловьева; особенно он налегал на историю *"теократии"*, требуя от А. А. строгой верности *"религиозным заветам"*; когда выдыхаются импульсы религиозного творчества, то выдвигается *"долг"*; так: С. М., налегая на *"долг"*, на *"обязанность"* поднимать *"соловьёвство"*, — испытывал сам оскудение соловьевских порывов; и Александра Андреевна отметила оскудение Владимира Соловьева в С. М., попадая в давно наболевшую рану, которую юный филолог в себе не заметил еще; относился с большим нетерпением он, даже с гневом, к *"подглядыванию"*, — тем более, что Александра Андреевна несправедливо судила об оскудении этом; противоречие меж филологом и проповедником религиозных заветов, — она объясняла победой в С. М. *"достоевщины"* (что не было верно); так: требования от А. А. неотступных хождений пред зорями и относила она (как страдала она непростительным химеризмом порою!) к сухим, *"карамазовским"* рассуждениям на *"соловьевские"* темы; пред нею вставала химера в С. М.: ей привиделся Карамазов Иван.

Ей привиделось также, что с кровью О. М. Соловьевой С. М. в себя впитывал кровь *Коваленских*; меж ними и родом *Бекетовых* существовала глухая борьба; ведь А. Г. Коваленская поэтому же не принимала поэзии Блока; поэтому же Александре Андреевне в С. М. вдруг привиделся *"Коваленский"*. И это — внушала А. А. она: и А. А. говорил:

— Нет, Сережа — не *Соловьев*...

— Он скорей — *"Коваленский"*...

В терминологии Блоков *"не Соловьев — Коваленский"* — укор: я боролся с напраслиной; эти протесты переходили в нападки на Александру Андреевну, порой очень резкие, но она мне прощала; и все же я чувствовал, что трехлетний союз наш трещит по всем швам.

И С. М. это чувствовал: чувствовал, что его побуждения призывать А. А. к долгу, к ответственности — воспринимаются, как *"химера"*; от этого мучился он; помню: днями просиживал он у себя наверху, согнув спину над греческим *"текстом"*; упорной научной работой хотел заглушить в себе боль;

и сидение это опять вызывало "подглядывания" Александры Андреевны; "научность" вменялась в вину:

— Это все проявления — черствости, методичности: все "Коваленский".

С. М. же с своей стороны говорил:

— Посмотри — Саша просто лентяй...

— Ничего он не делает...

— Я не могу, право, больше участвовать в атмосфере невнятицы, чреватых разговоров...

— У "Блоков" — безделье...

Я видел: он прав и не прав; видел тоже, что прав и не прав А. А. Видел, а — высказать мысли моей им обоим не мог.

Л. Д., строгая наша "сестра", или — "око" меж нами — переживала какую-то думу; заметил я в ней того времени обостренное психологическое любопытство. Какая-то в ней просыпалась пылливость; она изучала нас всех: в наших сходствах и в наших различиях; даже: она провоцировала, чтобы в каждом из нас проявлялось раздельное между нами.

А. А. — вошел в полосу мрака; и намечалась какая-то скрытая рознь между ним и Л. Д. Уже не было молодой прежней "пары"; присоединялись семейные трудности; у Л. Д. все отчетливей нарастало какое-то отчуждение от Александры Андреевны; семейные трения углубляли в А. А. разуверенье в себе. В это время не мог он писать; Александра Андреевна мне раз на прогулке сказала:

— А знаете, почему Саша — мрачный; он ходит один по лесам; он сидит там часами на кочках... Порой ему кажется, что разучился писать он стихи; это его мучает.

Помню: он раз нам прочел свою серию новых стихов<sup>20</sup>, перед этим написанных или отделанных, как "побывала старушка у Троицы", "как колдун укачал молодую весну", прочитал про "лягушечью лапу".

Меня озадачил болотный, ненастный пейзаж этих новых стихов; озадачили четверостишие:

И сидим мы, дурачки,  
Немочь, нежить вод;  
Зеленку колпачки  
Задом наперед...<sup>21</sup>

И подумалось: четверостишие соответствует стихотворению "Аргонавты"; "мы" там — те же все, в 1903 году обращается к "нам" со словами надежды он:

Молча свяжем вместе руки,  
Отлетим в лазурь.

В 1905 году — устанавливает: рук — не связали; не отлетели в лазурь; корабли не пришли; нас не взяли; и мы — одурачены, на сырых ли болотных кочках; мы — "немочь", игрушки стихий. Очень часто сидения вместе за

чайным столом напоминали А. А., вероятно, сидения одуроченных "мистиков". Подозревая А. А. в этих мыслях о нас, я сердился; стихи возмущали меня; возмущение я не высказывал вслух.

Что в А. А. затаилось давно, что он высказал раз на луку, отчего проступило мне в небе лазурном вдруг *черное* небо, — свершилось. Собрания наши за чайным столом в это лето происходили под черной небесною бездной; цвет душ — почернел; не пытался А. А. заговаривать зубы. С. М. Соловьев относил *черный цвет* атмосферы душевной к падению Блока, а я — раздаивался.

Да, иронией для А. А. прозвучали беседы на темы "*Lapan*", два-три раза С. М. покусился на эти беседы; произошло нечто странное: вздрогнув, Л. Д. побледнела, ушла: так обиделась на беседы, звучащие явной насмешкою; и попросили С. М. не касаться "*Lapan*"; он был изгнан; и для С. М. это значило: изгнаны темы, связавшие нас: и С. М. — разобиделся; с этого времени вместо дружеских тихих совместных сидений окреп тон глухой, напряженной борьбы: и меж нами в молчании свершался труднейший диалог, который я мог обложить бы словами в таком, приблизительно, смысле:

С. М. : "Ты сбежал от высокой горы озарений: *сбежал — и замер в чаще...*"

А. А. : "Но *Она* отошла без возврата..."

С. М. : "*Она* — с нами..."

А. А. : "Но прекрасная дама не ездит на пароходе..."

Я: "Ах, никто из нас этого и не думал; но не ты ли когда-то нас сам провоцировал именно к этого рода гротескам, когда утверждал, что *Она* индивидуально способна раскрыться во всем, что ни есть; "*Lapan*" ведь есть, в сущности, миф о конкретнейшем идеализме, которого философское обоснование ты неверно воспринял".

А. А. : "Конкретизация была невозможна: и личное, слишком личное, вы внесли в наши зори; ты это сознал; а "*Серезжа*" — ни капли: в его иступлении, в фанатизме, его все идеи о *Ней* уплотнились".

Я: "Осознаем же наши ошибки".

А. А. : "Ах, легко то сказать: непоправимое — совершилось: и чаяния — не для нас; мы — во мраке, в надрыве; мы — "немочь".

Такой разговор совершался меж нашими душами непрерывно в те дни, заостряясь в дилемму:

С. М. : "Я заставлю насильно тебя быть слугой коллектива".

А. А. : "Уходи-ка от нас с твоим явным насилием".

С. М. : "Блок себя изгоняет из храма Иоаннова; он — ренегат, падший рыцарь".

Словами такими мы вслух не обменивались; только издали, из молчания фехтовались друг с другом; "*идеи*", которыми жили, казались Брунгильдой<sup>22</sup>, похищенной темным Драконом; хотелось Дракона убить.

Очень помнится мне, что в то именно время Л. Д. показала рукой картину, повешенную на стене, изображавшую привязанную Брунгильду; у ног же ее извивался Дракон.

И сказала она:

— Освободите Брунгильду!

Я понял, что нас призывает она на последний, решительный бой:

— Что такое Дракон?

Он есть демон уныния, косности, разочарованной лени; он — дух буржуазности, жизнь без подвига; и — выходило: А. А., унывающий и угрюмо сидящий часами на кочках, — причина победы Дракона; подробнейшим образом то разъяснял мне С. М.; с Александрой Андреевной, с А. А., как с какими-то "одержимыми" вел себя он; и *насильно* отчитывал их.

А они упирались; в задоре С. М. все усматривая химеру: *абстрактную страстность мыслителя Карамазова, переступающего через жизни людей.*

И — пугались.

И возникали какие-то нападения друг на друга, угрозы друг другу и заговоры, и засады — в подразумеваемом, в темно глухом, в молчаливом; слова же таили мы, разговаривали литературными темами и хвалили мы "Тантала"<sup>23</sup> Иванова, вышедшего только что; литературными темами — фехтовались; С. М. — нападал на невянтицу. Цель А. А. заключалась в другом: отстраниться, отрезаться от влияния С. М., заключивши со мною союз (ибо я не насиловал поэтическую свободу А. А.); я на "мир сепаратный" с А. А. и с Л. Д. не пошел; мне казалось предательством отказаться от друга в том именно, что составляет основу его устремлений.

Мучительны были обеды, сиденья всех вместе:

Раз кто-то воскликнул с надрывом:

— Давайте же мы откровенно играть в нападенья, — в разбойников.

С. М. запел:

Не бродил с кистенем  
Я в дремучем лесу<sup>24</sup>.

Водворялись: "надрывности" каторжных песен, усмешка Гоголя и "ужимочка" Достоевского.

Раз за обедом С. М. неуместно воскликнул:

— А знаете, Люба, — в вас что-то от Грушеньки Достоевского.

Л. Д. с вызовом усмехнулась, а Александра Андреевна — нахмурилась.

Раз — я не выдержал: вдруг за столом при всех вместе сорвал с себя крест, бросив в траву; А. А. усмехнулся недоброй улыбкой.

А. А. в это время уже был — не розовый; да, желтоватые пятна лица чередовались с тенями; он выглядел встрепанным; с недоуменным испугом, растерянно ширя глаза, с полуоткрытым и жалобным ртом, искривленным улыбкой, сидел между нами, как будто он был посторонний, чужой, не "хозяйин" (держал себя гостем); "хозяйствовала" Александра Андреевна.

Былые сидения после чая закончились; после чая С. М. уходил заниматься; Л. Д. — уходила; А. А. — уходил, без нее; я — бродил в напряженной тревоге — бесцельно по малым дорожкам тенистого сада, порой опускаясь в овраг; мне запомнились лишь отдельные разговоры с С. М., с Александрой Андреевной, с А. А. (а Л. Д. избегала бесед). С Александрой Андреевной

говорили мы все о "Серезисе" и "Саши"; я чувствовал: цель всех расспросов ее — доказать, что "Серезиса" неправ в обвинении "Саши", что обвинитель опять-таки — "Коваленский", что "Саша" — все тот же. С. М. защищал, как умел я. А. А. говорил про "Сашу": разочарован он в зорях; разочарован он в нас; и действительно: А. А. доказывал; всем будет *трудно друг с другом*; по-разному подходили к зоре; непонимание еще прежде таилось меж нами; теперь оно вскрылось: быть худу.

Открылось:

...мертвец

Впереди рассекает ущелье.

А. А. был мне знаменем; он был магнитом, по линии притяженья к магниту мне строилось многое в идеологической жизни; была его жизнь явным символом мне; созерцал эту жизнь — эпохальную жизнью; неспроста же: Блок. *безыдейный поэт*, пребывал вечно в центре слагающейся умственной жизни: притягивал идеологов он; сперва — "нас"; притягивал после — Чулкова. Иванова, "Факель", "Оры"<sup>25</sup>, "Руно", "Мусагет"; после — "Скифы"<sup>26</sup>, "Вольфилу"; так факт его жизни воспринимался, как знамя, столь многими. Фразою, жестом динамизировал он мой внутренний мир; и порою могло показаться: обменивались незначашей фразою мы; но та фраза звучала, как шифр. к безглагольному; и за нею стояли годы пережитого вместе; под фразой "Блока" угадывал я иногда — ненаписанный том. Я читал его в сердце своем: и желая понять его жест, как бы мысленно закрывал я рукою глаза, чтобы внешнее впечатление от облика "Блока" не заслонило бы молнии сердечного ведения, высекаемого молнией "случайного" слова; говорили всегда не о том, что — в словах, а о том, что — под словом; прочитывая шифры друг друга, мы достигали невероятного пониманья; когда не умели прочесть, между нами вставала ужасная путаница, угрожающая катастрофой.

Непониманье друг друга в таящемся за словами — несчастное Шахматово 1905-го года; оно было явственным расхождением трех жизней, пришедших к решению — *"взяться за руки"*, образовать жизнь совместную, новую: отойти от всех, все начать из себя; такой вывод — сам строился; и — оказалось: мы — разные; мы не призваны к "новому"; для А. А. стало ясно: — не призваны мы ни к чему; "коллектив" — "Балаганчик"; участник несчастного коллектива, — Пьеро<sup>27</sup>: видно, мистики — договорились до "чепузи" ("коса смерти", срезающая культуру — "коса только девушки"); — *"истекает он клюквенным соком"*. Я "клюквенный сок" не прощал ему годы: "скептическую иронию" над собою самим. И какие же были мы злые!

Я помню всех нас за столом: вот С. М. — загоревший, весь черный какой-то, подняв свои брови и стиснувши губы за темными и густыми усами старается ухнуть крепчайшую дымку, чтобы испугать не на шутку свирепеющую Александру Андреевну, с которой он борется; в том, как он держит салфетку, пытаясь расправить сутулые плечи, — сосредоточенность, вызов; и Александра Андреевна бледнеет, бросает салфетку и с нервной улыбкой

откидывает парадокс от себя, потрясая язвительно стриженной головою своею; и карие глазки ее так и бегают: по салфеткам, по краю стола и по грудям сидящих; в глаза не глядит, точно кошка, готовая защитить жизнь детеныша:

— Я полагаю, Сережа, — тишайше, едва ли не шепотом отвечает она, — что все это — не *то* и не *так*; это — "*брюсовщина*".

— Отчего же, — грохочет Сережа, — я полагаю, что Брюсов наш первый поэт<sup>28</sup>; ведь и Пушкин не испугался ни бездны, ни ужасов...

— Вот уже, выдумал — Пушкин; у Пушкина вовсе не так...

Любовь Дмитриевна, в широчайшем капоте, в платке на широких плечах, наклоненная неприязненно в суп, вдруг откидывается:

— Все стали "*Бальмонтами*": все — испанцы<sup>29</sup>; хватаются зверски за шапки.

А я отвечаю:

— Давайте же, — будем разбойниками!

Окаменело, насмешливо в нос произносит А. А. :

— Что ж, — давайте!

В "*давайте*" же слышится вызов, какое-то "*ха*", — не без дерзости (а, каково?). Будто видом своим говорит он:

— Молчу я, молчу, *да* и...

Что "*да* и" — скрыто; и окаменелые, зеленовато-желтые щеки (не розовые), прорезанная морщина на лбу, не предвещающая улыбки; а между тем — усмехается он, будто дразнится:

— Вот ведь вам всем: захочу — все напорчу, разрушу, нарушу: не трагайте лучше меня.

Я — раздвоенный, даже растроенный (меж А. А., Л. Д. и С. М.), вынужденно защищаю упорные выпады С. М. Соловьева; но упираюсь в сурового, непреклонного Блока, с которым таинственно соприкасаюсь еще. Не понимает никто ничего. И "*подкидывает*" лишь невнятице с края стола заморганная Марья Андреевна; "*Фироль*", глухонемой молодой человек, чуя что-то, чего он не может понять, озирается; эти сиденья за мертвым столом в электричестве блещущем вечере, напоминали мне сцены из Метерлинка.

Свершалась драма души: погибала — огромная "*синяя птица*"; Прекрасная Дама — перерождалась в Коломбину, а рыцари — в "*мистиков*"; розоватая атмосфера оказывалась: тончайшей бумагой, которую кто-то проткнул<sup>30</sup>; за бумагою открывалось ничто.

Это все показал "*Балаганчик*", написанный через полгода. Да, вот — нашел слово я: что меня возмущало? То именно, что горенья недавнего Блока, которые образовали союз с ним, теперь отражались в нем "*Балаганчиком*". "*Балаганчика*" — не было, правда, еще, но "*Балаганчик*" мы чуяли (он — писался в душе):

— Не "*Балаганчик*" — нет, нет: если есть "*Балаганчик*", то — "*Балаганчик*" в тебе лишь!

Особенно помнится жуткий, грозою насыщенный вечер, в котором заложена мина, взорвавшая навсегда дружбу "*Блоков*" с С. М. В этот вечер я должен

был "Блокам" читать мою рукопись "Дитя-солнце" (поэму). С. М., уже слышавший эту поэму, сидел наверху, у себя; мы его увидели: без шапки, без верхней одежды сосредоточенно прошагал на террасу: послышалось гремяе сапог; он нырнул в темный сад.

Я читал очень долго; мы долго беседовали; уже черная ночь прилипала; уже подали чай...

— Где Сережа?

— Наверное сочиняет стихи. — (Он стихи сочиняет на прогулках).

Мы сели за стол; чай был отпит: одиннадцать! Где же "Сережа"? Мы вышли втроем на террасу; и звали в пространство стволов:

— А-а-у!

— А!

— Сереее-жа!

Молчание; стало всем жутко:

— Где он?

Мы рассыпались по саду; и кричали:

— Сережа!

И мы вышли в поле: кричали; луна подымалась (ущербная); желтые светлы ложились:

— Сережа!

Молчание.

Кто-то сказал:

— А в окрестных лесах-то ведь много болотных оконеч: туда попадешь, — да и канешь...

— Что ж, были несчастные случаи?

— Были.

.....

— Сереее-жааа!

.....

Часы где-то пробили: час!

Помню, грустною кучкою жались друг к другу: Л. Д. перекуталась в темный платок; я кричал, что есть мочи. А. А. в рыжеватеньком, стареньком пальтеце (из него он давно уже вырос), с короткими рукавами, руками сжимая зачем-то огромнейший кол (с ним пошел он в поля), расклокоченный, с перепуганными глазами, без шапки, молчал перед нами.

Часы там ударили: половина второго; ударили: два.

Уже вернулись объездчики, посланные кричать по окрестностям (если попал он в болото, которое медленно вытягивает, то он мог бы откликнуться); да, естественное объяснение: "погиб!"

Поднялись мы наверх; и — засели понуренно в комнате у С. М.; занимался рассвет; мне запомнился зеленолицый какой-то А. А. в своем рыженьком пальтеце, почему-то сидящий у стенки: на корточках.

Вдруг на столе у С. М. мы увидели крест; одна страшная мысль, точно молния, промелькнула.

— Нет!

— Думаешь — нет? — переспросил тут А. А.

— Никогда!

— Ты уверен?

— Уверен!

В росеющем утре сидели у дома на лавочке; и — продолжали молчать; да, сомнения не было: вероятно, С. М. невзначай оказался в "болотном окне"; перебирали воспоминания о дорогом, нас покинувшем; мы любили его в этот миг *бесконечной любовью*; и слезы — наворачивались. Делать нечего: надо еще подождать: час, другой; и потом разослать по окрестностям; надо уведомить в волости; надо сходить на окрестную ярмарку; и — распросить пришлый люд:

— Не видали ль, — студента, без шапки, сутулого, в черной тужурке, в больших сапогах...

Но — какое там! Нет, вероятно, Сережа погиб; это думали и Александра Андреевна, и я.

Утром в разные стороны посланы были гонцы; А. А. подали лошадь; он бойко вскочил; и — помчался, я помню, куда-то галопом; а я побежал на окрестную ярмарку; было свежайшее синее утро; ни — облачка: молнией озарила надежда меня: я — найду его след.

Я толкался на ярмарке; останавливал — баб, мужиков, писарей и торговцев:

— Послушайте!

— Не видали ль — студента, без шапки, сутулого, в черной тужурке, в больших сапогах?

— Нет, кажись, не встречался...

Прошел все ряды: ничего не узнал.

Вдруг меня окликают:

— Послушайте, — женщина там вот из Боблова: барина видела...

Вытолкала из толпы низкорослая, старая женщина с видом прислуги:

— Вы это про барина, — про студента, который из Шахматова — без фуражки, в тужурке?..

— Да, да...

— А они ночевали у наших господ...

— Вы откуда?

— Из Боблова, от Менделеевых: как же, — барин пришел ночью к нам; чуть было не искушали собаки его...

— Он — у вас?

— Как же, как же...

Не слышал я ног под собой. Прибежал, — и кричу еще издали:

— Сережа — нашелся!..

И — рассказал всю историю; все расцвели; лишь нахмурилась Александра Андреевна:

— Какой эгоист: нас заставил промучиться! Нет — не прошу его... Мог бы прислать верхового...

А. А. усмехнулся — загадочно, чуть-чуть насмешливо (мне не понравилась эта усмешка); Л. Д. улыбнулась — лукаво. А к вечеру лес огласился

веселыми бубенцами; и подъехала тройка; из тройки к нам выскочил бойкий, веселый Сережа, — без шапки.

Но — тут произошло невероятное что-то. Я Александру Андреевну никогда не видал в такой злости; произошла невероятная сцена; стояли мы, помнится, вчетвером на лугу: Александра Андреевна, задыхаясь, едва ли не шепотом спрашивала С. М. :

— Что ж, — по-твоему *”так”* поступил ты?

С. М., вдруг нахмурясь, ответил:

— Да, я поступил так, как должен был.

— А ты подумал, что я, с моим сердцем, могла умереть?

— Долг — первое...

— Какой же тут долг: убежать, никому ничего не сказав...

— Это — личный мой долг...

— Так для личного долга ты можешь переступить через жизнь человека?

— Могу!

Александра Андреевна перекривилась от гнева: и перед нею и ставшим кремьевым С. М. произошел разговор очень четкий; я — слов не припомню; но помню, что этого разговора С. М. не простил Александре Андреевне, как не простила ему и она твердого заявления, что для *личного долга он может переступить через жизнь человека*.

С. М. впоследствии объяснял, что спустился с террасы он в сад машинально, прошел тихо в лес; и увидел — зарю; и *звезду над зарею*; вдруг понял он, что для спасения *”зорь”*, нам светивших года, должен он совершить некий жест символический, что от этого жеста зависит вся будущность наша; ведь ощутил же потребность у Ибсена Боркман<sup>31</sup> — взять палку и выйти бороться с его обступившею жизнью; С. М. вдруг почувствовал: если сейчас не пойдет напрямик он чрез лес, чрез болота (все прямо, все прямо) — к заре, за звездой, то что-то, огромное, в будущем рухнет; и он — зашагал, не вернувшись за шапкой: все — шел, шел и шел, пока ночь не застигла в лесу; так он вышел из леса, прошел через поле; и канул — в леса; возвратиться же вспять он не мог; тут он вспомнил, что выбрался к Боблову. В Боблове — встретил приют; и успокоенный в том, что спас будущность нашу, не думал о нас; акт любви его к нам в этом диком, безумном почти, уходе за блистающей, нашей *звездой*, в Александре Андреевне естественно преломился химерою; поняла в этом жесте одно лишь она:

— Ах, какой эгоист!..

Я был искренне возмущен: Александра Андреевна, А. А. — как не поняли героической лирики С. М. Соловьева? Как могли опрокинуть ее, исказить? Мне казалось, что лучший мой друг оклеветан; почувствовал я, что мы все — сумасшедшие здесь; неразбериха меж нами и пребыванье дальнейшее в Шахматове просто акт безобразия.

Я признался С. М. :

— Больше нет, не могу: я — устал; уезжаю...

С. М. мне ответил:

— Тебя понимаю прекрасно!

— А ты? Уезжай-ка со мною...

С. М. посмотрел на меня исподлобья; и — сухо отрезал:

— Ну нет, я — останусь...

Я понял, что в том *"ну останусь"* С. М. затаил неугасимую оскорбленность, которую быстрым отъездом он не хотел Блокам выдать.

Я вышел в темнеющий сад; и увидел А. А., я сказал ему:

— Саша, я не могу, я — поеду...

— Нельзя ли с утра лошадей мне?

А. А. посмотрел на меня очень веско и грустно:

— Ну что ж?

— Поезжай...

— Понимаю тебя...

В этом тихом и знающем *"понимаю тебя"* было сказано:

*"Прошлое — без возврата. Не знаю, как в будущем встретимся; знаю, не встретимся больше по-прежнему"*.

Я — понимал: меж С. М. и А. А. образовалась роковая преграда, которую воспринимал я *"душевною драмой"*; я понял еще, что С. М. остается, чтоб точки над *"i"* были твердо поставлены:

— Знай, что отныне — враги мы!

Впоследствии мне С. М. рассказывал, что, когда я уехал, два дня еще оставался он с Блоками; ничего не сказали друг другу они; с остервенением (нестественным) просражались за картами, и С. М. распевал все:

— Три карты, три карты, три карты...

В А. А. преломились нелепые, сумасшедшие дни пребывания нашего в Шахматове и трехдневное сражение в карты с С. М. Соловьевым строками стихотворения, написанного в эти дни; или вскоре же после:

Палатка. Разбросаны карты.  
Гадалка, смуглее июльского дня,  
Бормочет, монетой звеня,  
Слова слаще звуков Моцарта\*.

Крутом — возрастающий крик,  
Свистки и нечистые речи,  
И ярмарки гулу — далече  
В полях отвечает двойник.<sup>33</sup>

В словах и *"ярмарки гулу — далече в полях отвечает двойник"*, мне бросается, может быть, бессознательная ассоциация с только что бывшим; на *"ярмарке"*, бывшей в соседнем селе, отыскивались следы пропадавшего С. М. Соловьева; при чем-то *"двойник"* тут (чей — А. А. или С. М. Соловьева?). Стихотворение живописует судьбу: *"потеха! Рокочет труба, кривляются бельеге рожи, и видит на флаге прохожий огромную надпись: "Судьба..."* В стихотвореньи, написанном вскоре<sup>33</sup>, я помню, наткнулся на строчки, казавшиеся мне

\* Из баллады Томского "Однажды в Версале", которую всегда распевал С. М. Соловьев: "Слова, слаще звуков Моцарта: О карты, о карты, о карты!"

обидными; стихотворение живописует флюгарку; встречаются строки там: "Флаг бесполезный опущен. *Только флюгарка на крыше сладко поет о грядущем*"... Далее: "*Бедный петух очарован, в синюю глубь опрокинут*"... И еще далее: "*Пой, петушок оловянный!*" В этих строках мне кажется изображен пафос мой — от отчаянья: пафос, старающийся непоправимую бездну меж нами, — перекричать верой в "зори", которых не видел уже я; я обиделся на те строки, к себе отнеся их.

Так, здесь, в эти дни, был заложен фундамент для будущей бешено-дикой "весовской" полемики: без С. М., без меня и без Эллиса, эта полемика не могла бы так долго продлиться; демонстративно приподняли Брюсова мы, отвечая на явный "*поклеп*" (так казалось впоследствии нам) "*Балаганчика*"; демонстративно А. А. подчеркнул свою близость с Чулковым; вмешался Иванов; образовался раскол между "*Орами*", "*Факелами*" и "*Весами*", — раскол, долго длившийся; первую трещиной в этом расколе считаю я страдные дни, проведенные в Шахматове. Вечером я поднялся к себе, зажег свечку; и — вижу: летучая мышь бьется в стены; гоною — все не выгоню; долго боролся с летучею мышью, с кусочком от тьмы, обступающей нас; тьма уже ворвалась в круг света, который был — розовым абажуром, бумажным; его разорвали: и ночь ворвалась:

— Плохой знак!

С тем и лег.

Утром подали мне лошадей. Мы спешили проститься; я что-то сказал на прощание; Блок, опустив низко голову, слушал; Л. Д. незаметно платочком смахнула слезинку.

Первое известие, прочитанное — бегство Потемкина (броненосца) в Румынию<sup>34</sup>. Казалось: непоправимое — совершилось; не знаю, зачем я поехал в Москву; я не знаю зачем очутился в имении Поляковых, где жил мой приятель, художник Владимир; после доехал до станции "*Снегири*" (Павелецкой дороги<sup>35</sup>); оттуда вернулся лишь в "*Дедово*".

— Боря, что с вами? — спросила А. Г. Коваленская.

— Да ничего...

— Расскажите, как Блоки...

Но я отмолчался; А. Г., затрясаясь над столом бледным носом и зажевавши губами, вонзила в меня свои острые глазки; она поняла, что тяжелое что-то случилось; и — смолкла; и — не расспрашивала.

На другой уже день, на закате (закат был — багровый) вернулся С. М., проиграв два дня в карты: его не узнал: показался он мне опаленным, худым.

Очень странно: — мы в *Дедове* прожили с месяц еще, но молчали о Блоках; переменялся весь темп разговоров; о "*зорях*" — не вспоминали; Жуковского — не читали; но — упивались мы Гоголем: "*Страшную местью*" и "*Виет*"; то именно, чего Блок не любил, чего прежде боялись; казалось: весь дедовский воздух напитан был Гоголем.

Зори под август вставали — ласкавшие зори; раз был леопардовый свет на закате; пошел на него; и — запутался в травах; хотелось мне руки ему простирать: звать зарю.

Слышу — голос; повертываюсь: из кустов среди трав — поднимается сутуловатый С. М.; и кричит очень строго:

— Ты — что?

— Ничего.

И С. М., посмотрев на зарю, повернул от зари меня; и — отрезал:

— Пойдем: все — безумие.

Понял: С. М.; замолчавши со мною — за мною следил очень чутко: *все* видел, *все* знал.

Так "заря" для С. М. стала символом одержания: "панночкой" "Вия"; обозначался в нем и во мне — перелом: от "романтики", от Владимира Соловьева, — к надрывности Гоголя, к Грушеньке, к темам народничества, к революции, к песням, хватавшим за сердце, которые распевали "поповны" в селе Надовражине:

Догорай, моя лучина:  
Догорю с тобою я...

Поднимали сырые туманы села Надовражина карикатуры на ложную сладость душевных радений: "Серебряный Голубь"; и не Она снилась в зорях; чрез год мне С. М. Соловьев, созерцая закат (золотой, в пятнах туч) прошептал:

— А закат — леопард: "это" выражу рядом рассказов; а книгу рассказов я так назову: "Золотой Леопард"...\*

И заглавие "Золотой Леопард" — заговорило во мне, развивая мне образы; образы крепили позднее "Серебряным Голубем".

А. А., в свою очередь, изменился: уже написана была "Невидимка"<sup>36</sup>; и зрела "Ночная Фиалка"; от розовых зорь в голубеющем небе он шел в те лилово-зеленые тоны осенних закатов, горящих среди серых туманов — над ржавым болотом, которые вырвали крик:

О, исторгни ржавую душу...  
Со святыми меня упокой.<sup>37</sup>

Скоро он написал:

...Ибо что же приятней...  
Чем утрата лучших друзей.

В письмах Блока ко мне проступала отчетливо нота: что ж делать, что было, — того не вернешь.

В скором времени он прислал ряд стихов (я не помню кому, — мне ли<sup>38</sup>, С. М. ?); но я помню: С. М. в письме к "Блокам" разнес все стихи; и А. А. "неприятно" ответил; ответил на этот ответ очень дерзко. И получил от Л. Д. две-три строчки, уведомляющие меня, что затеянная между нею и мною переписка оборвана<sup>39</sup>. В свою очередь я ответил: отныне я прерываю сношения с ней и с А. А., так что мы — незнакомы.

## Ночная фиалка

То было в Москве уже.

Все кипело, как в кратере. Революция захватила; "Аргонавты" сносились с социал-демократами через Эллиса; Эллис забыл, что он стал символистом; притаскивал он нелегалов; и заставлял: читать Маркса. В Университете шел митинг; и предлагались платформы для выражения отношения студентов к событиям; две платформы — гласили: одна — превратить Университет в революционную трибуну: для агитации; закрыть его; а другая гласила: оставить занятия, для часов, освобожденных от митингов.

Помню: на астровских средах являлись растерянно к нам и общественники; появлялся порой Челноков<sup>40</sup> (был поздней городской голова он); но позиция Астровых нам казалась правой; я, Эллис, Петровский, — склонялись к меньшевикам; Соловьев — был эсером; Сизов и Н. П. Киселев — анархистами; вращался в то время Семенов меж нами; проездом застрял он в Москве; он бывал у меня и на астровских средах; они ему нравились (я отходил уж от Астрова); на похоронах Трубецкого он бурно расталкивал толпы, устраивал цепь; были вместе мы.

Но расклеили прокламацию Трепова<sup>41</sup>. Она так задела меня; я стремительно бросился к Астрову — требовать: бойкот офицерам; но — встретил: решительное несочувствие; это меня отдалило от астровского кружка; я, Петровский и, кажется, М. И. Сизов очутились в Университете, чтоб с кафедры провозгласить офицерам бойкот. Но — до бойкота ли? Провозглашалась Россия республикой; и — указывалось: быть на площади нам, перед Думой. С А. С. Петровским решили: пойдём!

И я был перед Думою; вместо толп я увидел лишь жалкую кучку: десятка два-три: то — студенты, курсистки; конями плясал эскадрон добродушных сумцов; я прождал: надоело; пошел по Тверской я — к кофейне Филиппова; там посидел минут десять; и — стал возвращаться на площадь; но — выстрелы, крики; от площади вижу — бегут, заворачивают в переулок; не помню, как я очутился на стоштанном университетском дворе; и — заваливали ворота; то было начало университетской осады; казаки отрезали революционеров-студентов от внешнего мира; мне дали особое поручение: выйти в Москву собирать провиант; и мне помнится: я летал по знакомым; и собирал, где мог, деньги; я возвращался к Университету; из переулков выглядывали казаки; в университетских воротах оставили узкую щель для прохода; входил: Боже мой, — что за вид!

На дворе, среди слякоти, ярко пылали костры; у костров раскаляли железные прутья разобранной университетской решетки; увидел Петровского, раскалявшего на костре тяжелейшую трость; а на крыше Университета стояли студенты с сосудами кислоты: обливать; в лаборатории фабриковались бомбы.

Я выскользнул через щель и отправился к Астрову, чтобы встретиться с Эллисом: мы должны были ехать в какой-то салон к фабриканту Дукату<sup>42</sup>;

всеобщая забастовка уже разразилась<sup>43</sup>; и — пробирались во тьме, через рельсы; нас окликали: мы крикнули:

— Это свои!

Почему так решили? И — почему нам поверили? Я — не знаю.

Так очутился у фабриканта Дуката; в салоне пустом; не состоялась лекция; и никто не приехал; поехали к Университету, обратно.

Не вспоминаю я: забастовку, провозглашение манифеста<sup>44</sup>; и — проводы Баумана<sup>45</sup>.

Поднимался чудовищный террор; на улицах нападали; в унынии вспомнилось, что поссорился с Блоками, что разорвал — навсегда; бесконечная грусть охватила меня; я не знал, что мне делать. Писать, — остановилась почта.

В те дни я присутствовал на концерте д'Альгейм; мы в гостинице (кажется в "Дрездене") сошлись у артистки; здесь я познакомился с Асей Тургеневою<sup>46</sup> и с Наташей Тургеневою<sup>47</sup>; помню, — они мне понравились; с Асей — соединил меня жизненный путь; это было позднее уже.

Все забыв, не умея дождаться конца забастовки, попал в Петербург<sup>48</sup>.

Остановился на Невском я, в меблированных комнатах; и написал я письмо Блоку; писал: расхождение меж нами, — невнятица; ее следует прояснить не письмом, а свиданием; если расходимся, пусть же решение разойтись будет нами естественно решено; если то, что случилось — случайность, тогда ликвидируем ссору; назначал свидание А. А. и с Л. Д. в ресторане у Палкина<sup>49</sup>; в этот день я расхаживал нервно по номеру комнаты; я сознавал, что письмо, прерывающее общение, — резкость и вспыльчивость, подымающиеся внезапно во мне; ведь недаром писали когда-то в газетах, что я, "*Андрей Белый*", *весь в скандалах всегда поседель*".

С волнением вечером я сидел в большом зале у Палкина — среди переполненных столиков; помню, с эстрады запели кровавые неаполитанцы; вдруг: издали замечаю А. А. и Л. Д., пробирающихся по залу; при взгляде на них понял, что между нами вернулось все прежнее, милое, доброе; четко запомнилась мне: очень стройная фигура студента с высоко закинутой головой и с открытыми перед собою глазами, — бредущая тихо меж столиков; и — отыскивающая глазами меня; впереди шла Л. Д., похудевшая, в черном платье, какою-то нервной походкой, с опущенной головою. А. А. увидал меня, ласково улыбнулся — улыбкой, которую я не видел в свой последний приезд к нему: любящей, братской улыбкою; и такую ж улыбкою расцвела мне навстречу Л. Д.; в тех улыбках, мне брошенных, в ресторане у Палкина под протяжное пение неаполитанцев, — свершилось решительное объяснение меж нами; улыбки сказали, что — объяснения нет; факт приезда, письмо, — объяснение.

Так мы сидели; и мы — пили чай; мы растерянно улыбались друг другу, сконфуженные, как ... дети, которым — "*досталось*"; А. А. нас оглядывал с видом, который хотел объяснить:

— Поиграли в разбойники: будет — довольно!

И становилось — уютно, смешно; в А. А. вспыхнул былой юморист: прекомически в жестах припоминал он, как мы превратились в "испанцев", бросающих вызовы; и казалось: гроза — пронеслась.

Атмосфера расчистилась; в долгих общеньях с А. А. и с Л. Д. было что-то от атмосферы, от нас независимой, необъяснимой реальными фактами биографии; вдруг становилось всем радостно и светло, — так светло, что хотелось, сорвавшись с места, запеть, завертеться, захлопать в ладоши; а то начинало темнеть — без причины; темнело, темнело, — темнели и мы под тяжелыми, душными тучами; тучами неожиданно обложило нас Шахматово в 905 году; наоборот: туч почти не видали мы в ноябре—декабре в Петербурге. Я помню, что раз, возвратившись от Блоков, у Мережковских от беспричинной меня охватившей вдруг радости я устроил сплошной кавардак, взявши за руки Т. Н. Гиппиус и вертясь с ней по комнатам; бросив ее, завертелся один я, как "*deriviche tournant*"<sup>50</sup> в кабинете Д. С. Мережковского; тут с разлету я опрокинул блистающий, приборный столик, сломав ему ножку; как раз повзонили: и — неожиданно появившись в дверях, Мережковский застал меня, совершающим преступление (ломку столика); и — ясное дело: поступок такой объяснился "*радением*", — не веселюю молодостью и не желанием подурачиться: теоретические обоснования тотчас же были подстроены для объяснения шалости; оказалось: это — следствие сиденья у Блоков: то следствие "*завиваемой пустоты*" (так я стал "*завивателем*").

И, выпучивая глаза на меня, не без испуга, Д. С. обращался ко мне с увещательным словом:

— Да бросьте же, Боря, — безумие!

— Помню, — обиделся: "*Белому*" заповедано веселиться и быть безвпросным?

Впоследствии, углубляясь в особенность мира поэта, я понял, что кроме явных естественных объяснений изменности настроений меж нами, необъяснимое что-то осталось: в А. А. было что-то, что — действовало; настроением он меня заражал; он носил атмосферу: то — *ту*, а то — *эту*; то — розовато-золотую, а то — фиолетово-серую; сам он любил выражать настроенья цветами; с капризностью он подбирал цвета букв для отдельных томов сочинений своих; он подробнейше мне объяснял, что заглавная буква к стихам о *Прекрасной Даме* должна быть карминного цвета, таких-то оттенков; а том второй может только окраситься ярко-зеленой заглавною буквою; третий том есть — том *синий*, такого-то только оттенка; и синий оттенок тот — страшный; в *цветах* изживал он стихию переживаний своих, опознавал он стихи цветами; все более, более отдавался стихиям; они начинали овладевать; и А. А. становился под действием их переменнее, нетерпеливее: после грустного факта: она — "*отошла без возврата*"; во внешнем же он оставался по-прежнему: и корректным, и вежливым, поражая отчетливым построением эпиграмматических фраз, произнося свое "чтобы" без повышения голоса, точно придурешного, деревянного и глотающего окончания, отдающие в "Н", в "М" и в "И"; в разговоре не двигался он, не образуя одеждою складок; сидел очень прямо, почти не касаяся кресла; лишь изредка наклонялась его голова; и — протяги-

валась рука с портсигаром; когда перед ним собеседник вставал, то — А. А. вставал тоже; выслушивал стоя, открывши глаза — голубые свои фонари — в разговоре; та же выправка, статность и выражение *"хорошего тона"* лежали на нем. Но под формой держать себя чувствовалось изменение: чувствовались — неуверенность, боль и порою капризность (как в Шахматове в 905 году); *"атмосфера небесности"* от случайного жеста могла занавестись серо-лиловым туманом, восставшим от *"Блока"*; в застенчивом движении большой головы, растерявшейся голубыми глазами, — отчетливо значилось: глаза — помутнели; курчавая шапка густых, очень мягких волос не казалась курчавой, как прежде; рыжевший отлив — пропадал; и казался: не пепельно-рыжеватым, а — пепельным; появились морщинки у глаз, уходящих в мешки под глазами; прорезалась явственной поперечная складка на лбу; и отчетливей, чувственной губы пылали; и сила стихийности, — не таясь, разливалась мощней — переменной атмосферой: не *розово-золотою*, а *серо-лилово-зеленою*; где — была лучезарность? Перегорали остатки духовных загаров; и — побледнело лицо; и движение одно подчеркнулось, усилилось: сидеть молча с зажженной папирсой; и — вдруг: не без вызова, не без удалы нарисовать лицом линию вверх, выпуская из губ над собою струю дымовую; в одном этом жесте мне виделось: удаль таимых капризов.

Не раз я впоследствии анализировал восприятия впечатлений от Блока; они рисовали отчетливо разделенные образы; вот Блок — уютный, домашний, меня заставляющий выговариваться, пронизающий *всепониманием*; вот — Блок другой: кто мог быть неприятней, капризнее? Бессловесная глубина в нем могла обернуться рисовкой невнятицы, даже *"идиотизма"* какого-то; говорили впоследствии мы с Соловьевым о злом выражении лица у А. А.: идиотически злом, не могущем ответить на ясные доводы логики; да, такой *"Блок"* представлялся Ставрогиным; красота его самая нам казалась — *"ставрогинской"*, и наивность — рисовкой. С. М. раз цитировал строчки:

Нежный! У ласковой речки,  
Ты — голубой пастушок.  
Белье бродят овечки,  
Круто загнут посопок<sup>51</sup>, —

— Он воскликнул:

— Идиотизм, а не детскость... А все — умиляются; говорят *"как наивно"*, не понимая, что эта наивность — нахальство уверенного самодура, давно осознавшего: всякую чепуху его примут, как глубину, а первичные ассоциации мысли, как символы!

Критикуя поклонников Блока, С. М. обращался к себе самому: ведь он именно относился к А. А., как к *"глашатаю"*; а когда А. А. Блок не хотел быть *"глашатаем"*, то С. М. упрекал *"мирового глашатая"* в подстановке под мудрость идиотизма.

Каким Блок казался непереносным, обидным, намеренно унижающим, — в дни разрыва с ним! И — сострадательным, ласковым в дни сближений; меж тем: и внимание, и унижительная небрежность — не выражались никак:

предупредительный, малословный, нетеропливый; ты встанешь, — он встает; садишься — опустится, молча подаст портсигар...

Но я — понимал С. М. Соловьева; я сам испытал не однажды необъяснимую оскорбительность для себя одного появления предо мною А. А.; так, в эпоху, когда не видались мы, на петербургских проспектах, среди толкотни пешеходов увидел я шедшего мне навстречу А. А.; он, зажав в руке трость, пробежал в бледно-белом своем панаме, быстро-быстро, — прямой, деревянный, как палка, с бескровным лицом и с надменным изгибом своих *оскорбительных* губ; он не видел меня; этот жест пробегания с тросточкой на петербургском проспекте тогда показался — венцом униженья; в душе отдалось:

— Как он смел не заметить?

А белая панаме, щеголеватая тросточка — были ударом по сердцу:

— Что, как — панаме? Как он смеет?

— Скажите, пожалуйста!

— Это — что?

— Что за дерзость!

В период сближения — не было меры в желании умалиться — пред ним, сделать все для него, уступить ему место; а этого он и не требовал; он — удивлялся: и резкому гневу, и резкой восторженности:

— Ты — смешной!

Разговор в ресторане у Палкина — в нем заложены новые вехи общения нашего; эти общения (общение А. А. и Л. Д. со мной и с С. М.) напоминали сношение иностранных держав; перекрещивалось три направления в них: будущего петербургского символизма, сгруппированного вокруг "Ор", с направлением московского символизма, которого выразителем я был, с теологическим устремлением Соловьева. У Палкина мы решили: распадался *"вселенский собор"*; и С. М. не войдет в наше *"Мы"*; представляя свободу общений с С. М., и А. А., и Л. Д. подчеркивали: они не приемлют его. Распадение *"тройственного"* союза приканчивает эпоху моих *"теургических"* устремлений; в союзе *"двоем"* (А. А., я) был исход совершенно естественному художническому устремлению; никакие философы будущего (*"Лапаны"*, *"Пампаны"*) уже не учили нас жизни; то творчество жизни, которое мы утверждали, сводилось к импровизации, к новой *Commedia dell'arte*<sup>52</sup>; безудержный артистизм подстилал нашу дружбу; сказали друг другу:

— Так будем играть; и во что бы ни выразилась игра, — ее примем.

Я чувствовал: с разговора у Палкина был естественно принят в *"игру"*; победило — доверие; в сущности, вместо *"мистерии преобразования мира"* мечтали теперь о *"мистерии преобразования мига"*; С. М. Соловьев для А. А. оказался тяжел.

То — последствия узнавания, что Она — *"отошла без возврата"*; и — стало быть: оставалось брать жизнь без Нее; как период *"Прекрасной Дамы"* расцвел мне статьями: *"Луг Зеленый"*, *"О целесообразности"*, *"Священные Цвета"*<sup>53</sup>, *"Апокалипсис в русской поэзии"*; так: этот период сказался статьями: *"Песнь жизни"*<sup>54</sup>, *"Искусство"*<sup>55</sup>; и как идеологом чайний был наш *"мифот-*

ворец”, философ “*Laral*”, так теперь: я при помощи видоизменения Риккертга и сочетания его с нищенством пытался создать философию жизненных ценностей; и развивал Блокам мысли статей: “*Фридрих Ницше*”<sup>56</sup> и “*Феникс*”<sup>57</sup>.

Как бы говорил себе: Её — нет! Не придет! Что же, будем — героями, Зигфридами!<sup>58</sup> Будем же высекать жизнетворчество; настроение такое складывалось в А. А. Оно выразилось впоследствии в строках:

О, весна без конца и без края,  
Без конца и без края весна;  
Узнаю тебя жизнь, принимаю  
И приветствую звоном цита.<sup>59</sup>

Все “*заветы*” Владимира Соловьева тем были нарушены; в нарушении заветов, быть может, супруга поэта сыграла не малую роль; мы считали “*хранительницей заветов*” её; устремления к духу музыки, к импровизации, к превращению “*неизреченного*” в театральные мимический жест и в *Commedia dell'arte* в Л. Д. перегибали “*мистерию*” к сцене; желание стать артистико сказывалось все более; так она повлекла за собой и А. А., и меня: к артистизму, к импровизации; в А. А. просыпалась любовь к сцене; еще гимназистом А. А. играл Гамлета<sup>60</sup>, а Л. Д. — изображала Офелию.

Лозунг, который в то время меж нами подчеркнут (“*Так будем играть*”), может быть, — бессознательное тяготение к сцене Л. Д. И, быть может, естественное созревание в А. А. — “*Балаганчика*”.

В то время Л. Д. увлекалась Вагнером; часто А. А. и Л. Д. посещали в те дни представленья “*Кольца*”, восхищаясь Зигфридом — Ершовым<sup>61</sup>; мы слушали вместе “*Валькирию*”<sup>62</sup>; звуки “*Валькирии*” пересекались со звуками, извлекаемыми меж нами; да, кто-то из нас был Вотаном<sup>63</sup>; и кто-то, наверное, — Зигфридом; явно: в Л. Д. проявлялись отчетливо жесты Валькирии<sup>64</sup>; героическая атмосфера подогревалась разгаром революционной горячки; героем казался мне Савинков<sup>65</sup>, о котором я знал, что он тайно живет в Петрограде (о Савинкове я слышал от А. М. Ремизова<sup>66</sup> и от З. Н. Гиппиус).

По примиренью с А. А. и Л. Д. переехал опять к Мережковским; и потекла та же самая жизнь; рассуждения религиозной общественности, заседания с Бердяевым, с “*Димой*”, с А. В. Карташевым; в то время С. П. Ремизова-Довгелло<sup>67</sup> сошлась с Мережковскими.

Так же бывали у Розанова, у Сологуба, как в прошлом году; Сологуб был отчетливо революционно настроен; переписывались стихотворенья-памфлеты его; и один мне запомнился:

Соят три фонаря для вешанья трех лиц:  
Средний -- для царя, а с краю -- для цариц...

Никогда не забуду я первую встречу свою с А. М. Ремизовым; он меня — напугал; возвращаюсь от Блоков, вхожу в гостиную Мережковских, — и вижу: с дивана привстал очень маленький сутуловатый такой господин;

и сверля из-под стекол очков пронизательным взглядом, с усмешечкой сказал он:

— Я — знаю вас!

Сделав из пальцев руки то, что детям показывают ("козу"), он, согнувшись, стал наступать на меня, приговаривая:

— Вот — коза, коза!

А З. Н. рассмеялась:

— Ну — вот, познакомьтесь; это вот — "Боря", а это вот — Алексей Михайлович.

Первое время дичился А. М.; в его шутках мне чужилось страшное что-то; но скоро его полюбил.

Никогда не забуду, как он расшалился на розановском воскресеньи; и приставал к В. Иванову (только что перебравшемуся в Петербург):

— У Вячеслава Ивановича — весь нос в табаке.

Он совсем неожиданно подскочивши к качалке, в которой задумчиво развалился массивный Бердяев, перепрокинул качалку; Бердяев же, описавши сальто-мортале, стремительно очутился под ней.

В то время Бакст только что кончил портрет З. Н. Гиппиус; и приходил к Мережковским, чтобы меня рисовать<sup>68</sup>; но во время сеанса присутствовала и З. Н.; мы вели разговоры; а Бакст, вглядываясь в меня и как разбойник, накидывался на ту или иную черту мою; почему-то сеансы давались с трудом; все казалось, что Бакст мне ломает лицо; к окончанию сеансов во мне развилась невралгия лица; создалось впечатление: Бакст переломал мои челюсти; и на портрете отчетливо отразилось жалкое, страдающее выражение; в газетах писали об этом портрете, что стоит, мол, на него посмотреть, чтобы понять, какой выродок я; мне портрет не понравился; Бакст очень скоро нарисовал по-иному меня (для редакции "Золотого Руна"<sup>69</sup>, заказавшего портреты писателей; тогда были Сомовым зарисованы — В. Иванов и Блок).

Я делил свое время по-прежнему: между домом Мурузи и Блоками; но сидения вместе носили характер импровизации; медиумизм атмосферы подчеркивался; но нам было уютно; и — весело перешучивались, "по-детски" играли; однажды А. А. мне лукаво сказал, что они твердо знают, кто я.

— Кто же я?

Тут Л. Д. рассмеялась, решив, что не скажет; А. А. же, посмеиваясь себе в нос, опустивши глаза, очень тихо сказал:

— Не обижайся — такая игра уж у нас: ведь мы с Любою часто играем в зверей...

— Так какой же я зверь?

— По-хорошему, — не обижайся: ты — беленький заяц; у нас он любимый зверек...

Иногда стили сказочных глупостей — не было; А. А. хмурился; от него шли туманы; мне — делалось душно; однажды особенно был он доверчив со мною; сидел в столовой — за чаем; повел в свою спальню, сказав, что ему

нужно что-то поведать, отдельно, — без "Любы"; меня усадив на диван, он пытался мне выразить, что теперь он пришел к удивительному, очень важному внутреннему знанию; знание связывалось с восприятием сильно пахнущего фиалкою *темно-лилового* цвета:

— Ты, знаешь, он — пахнет так душно: лиловый такой и ночной...

С этим цветом он связывал новую эру знаний своих; в ту эпоху сложил я теорию восприятия цвета\*; А. А. понимал, что в теории выражал я свои восприятия мистической жизни; определить человека, событие в *цвете, а цвет* — в свете этой теории означало: произвести опыт в духе; мистический опыт сложил: в отношении друг к другу цветов; и А. А., наклоня лицо надо мною с волнением все пытался сказать, как он много узнал от вживания в едко-пахучий фиалковый, темно-лиловый оттенок; *оттенок* его как-то странно увел от прошедшего; и открылся ему такой темный, лиловый и новый, огромный мир. Что такое *фиолетовый* цвет? И — А. А. посмотрел на меня испытующе.

Я же смутился.

Ведь в опыте о цветах у меня доминировали три цвета: цвет света, или — *белый*; цвет бездны засветной, сквозящий сквозь свет, — цвет *лазурный*; и — *пурпурный*, в свете не данный, соединяющий линию спектра: в круг спектра. Соединение трех цветов (белизна, лазурь, пурпур) по мнению моему рисовало мистический треугольник цветов, — Лик Христа; проповедовал: восприятие Христово — трехцветное; восприятие лазурью, пурпуром, белизною; лазурью и пурпуром, белизною и пурпуром, белизной и лазурью суть искусства, секты; а *темно-лиловый* — смешенье цветов (т. е. — пурпур, введенный в лазурь, или в белый, сквозящий зацветным); и выходило: в оттенке, пленившем А. А., — величайший соблазн, удаляющий от Лика Христова; пока А. А. тихо, взволнованно пересказывал мне восприятие этого темно-лилового цвета, я чувствовал нехорошо себя: точно поставили в комнату полную углей жаровню; угар я почувствовал; то угар Люцифера; "*пасть ночи*", которая мне распахнулась однажды от разговора с А. А. на лугу, я увидел вторично; увидел А. А., уходящим в глубокую ночь; знал: ответить ему не могу, потому что А. А. — не поверит, обидится; я ответил:

— Да, в этом лиловом оттенке — предел утонченности, но нет — Лика...

— Что ж... ничего: хорошо!

И опять — стало душно; А. А. воспринимал прежде черное, как страшное, смертное, чего он боялся; теперь в эту "смертную ночь" эстетически он опустил три священные краски (лазурь, пурпур, белизность), смешав их со тьмою; и это смешенье — темно-лиловый оттенок, фиалковый, люциферический запах; так откровенностью со мною А. А. — был раздавлен; а он — не видел моих тайных мыслей: испуга за Блока, ведомого в "*темно-лиловую*" ночь из слепительной розово-золотой атмосферы; тут он прочитал мне "*Ночную Фиалку*" свою в неотделанном виде; он выразил в ней переживанье "лилового" цвета и новых знаний, соединенных с "*лиловым*":

---

\* Смотри статью: "Священные цвета".

... небо, устав прикрывать  
Поступки и мысли сограждан моих,  
Упало в болото.

Да, именно падение "неба" в болото, покрывшее все, — знаменовал этот темный, фиалковый цвет.

Город покинув,  
Я медленно шел по уклону  
Мало застроенной улицы.

Воспринимал я уход А. А. в сети "болот"; все начало "Нечаянной Радости" протекает в болотах: "Вот — сидим с тобой на мху посреди болот...", "Зачумленный сон воды — рзисавчина волны", "Окрестности мхами завалены", "Попик болотный виднеется", "Не бойся пучины тряской", "Полюби эту вечность болот", "Мне болотная схима — желанный покой", "В этих впадинах тихая дремлет вода", "Знаю, ведаю... старину озаренных болот", "Болото — глубокая впадина огромного ока земли", "Пробегает зеленая искра, чтобы погаснуть в болоте", "Это шутит над вами болото. Это манит вас темная сила" и т. д.

Опустилась дорога  
И не стало видно строений,  
На болоте, от кочки до кочки  
Над стоячей и ржавой водой  
Перекинуты мостики были.  
И тропинка вилась...

(Ночная Фиалка)

Куда же вилась?

И тропинка вилась  
Сквозь лилово-зеленые сумерки...

Эти лилово-зеленые сумерки — всасывание в болото упавшего неба; падение неба в болото для Блока казалось мне ужасом. Как не воспринял он "ужас"?

И недаром все было спокойно  
И торжественной встречей полно.

Встречей — с кем, или — с чем?

Ведь никто не слышал никогда  
От родителей смертных,  
От наставников школьных...  
Что такой же бродяга, как я...  
Может видеть лилово-зеленый цветок,  
Что зовется Ночною Фиалкой...

.....

И запомнилось мне,  
Что в избе этой низкой  
Веял сладкий дурман,  
Оттого, что болотная дрема  
За плечами моими текла,  
*Оттого, что пронизан был воздух  
Зацветаньем Фиалки Ночной.*

И далее:

И сию на болоте.  
Над болотом цветет  
Не старея, не зная измены  
*Мой лиловый цветок,  
Что зову я — Ночною Фиалкой.*

В этих выдержках — экспозиция лилового цвета, который для Блока в то время эмблема узнаний, окрасивших розово-золотую зарю в новый цвет:

*Фиолетовый запад гнетет...*

И от этого:

Далеко — глубоко —  
*Лилые скаты оврага.*

Что же таится, как образ, в *лиловом, Фиалковом* цвете? Становится образом он "*некрасивой девушки*", которая "*пряжу пряла*".

И еще я наверное знаю,  
Что когда-то уж видел ее,  
*И были она, может быть, краше  
И, позаслуй, стройней и моложе...*

Она, есть та самая, о которой, когда-то сказал он:

Царевне так томно, и сладко —  
Царевна — Невеста, что лампадка.  
.....  
Поклонись, царица, Царевне,  
Царевне золотокудрой...<sup>70</sup>

Царевна теперь — постарела и подурнела:

Некрасивая девушка  
С неприметным лицом...  
И еще я наверное знаю,  
Что когда-то уж видел ее.

Еще бы не видеть!

Приходила Ты в дальние залы,  
Величава, тиха и строга.  
Я носил за Тобой покрывало  
И смотрел на твои жемчуга<sup>71</sup>.

"Некрасивая девушка" оказалась теперь не во дворце, а в избе; там собрались заснувшие короли, засыпающие над кружками; там старик со старухой; а "некрасивая девушка" оказывается — королевой.

Королева забытой страны,  
Что зовется Ночною Фиалкой.

Забытая сторона — страна зорь; обитатели — аргонавты: их звал он когда-то:

И полны заветной дрожью  
Долгожданных лет,  
Мы помчимся к бездорожью  
В несказанный свет<sup>72</sup>.

Теперь они спят — вечным сном:

Кто, к щиту прислонясь,  
Увязил долговязую шпору  
Под скамьей;  
Кто свой шлем уронил — и у плема  
.....  
Пробивается бледная травка,  
Обреченная жить без весны...

Под журчанием веретена или Вечного Возвращения — заснули:

И проходят, быть может, мгновенья,  
А, быть может, — столетья...  
.....  
Вот сосед мой склонился на кружку,  
Тихо брякнули руки,  
И приникла к скамье голова.  
Вот рассыпался меч, дребезжа.  
Щит упал. Из-под шлема  
Побежала веселая мышка...

Разложение прежней страны возникает отчетливо; что случилось, какое отчаянное, невероятное горе стряслось? Но А. А. называет то горе странною *лилово-зеленых дурманов* — Нечаянной Радостью:

Так заветная прялка прядет  
Сон живой и мгновенный,  
Что нечаянно Радость придет  
И пребудет она совершенной.  
А Ночная Фиалка цветет.

Ночная фиалка, иль восприятие *лилового* цвета, — вызревающий лейтмотив того времени для А. А.; и из этого лейтмотива рождается Ночь, им написанная:

В длинном, черном одеянии,  
В сонме черных колесниц,  
В бледно-фосфорном сиянии —  
Ночь плывет путем царид.  
.....  
Кто Ты, зельями ночными  
Опоившая меня.  
Кто Ты, Женственное Имя  
В нимбе красного огня?<sup>73</sup>

Люцифер!

Очень долго сидели с А. А. на диване в ту ночь; он — читал мне заброшенную *"Ночную Фиалку"*, взволнованно посвящая в свои восприятия *лилового* цвета; а мне было душно; срывалось с души:

Кто Ты, зельями ночными  
Опоившая меня?

Но спасти А. А. было мне трудно, почти невозможно: я помнил, что опыт спасенья А. А. со стороны С. М. Соловьева окончился строками той же поэмы, в которых, конечно же, отразилось все Шахматово, — разрыв человеческих отношений:

...Он исчез за углом,  
Нахлобучив картуз,  
И оставил меня одного  
(Чем я был несказанно доволен,  
Ибо что же приятней на свете,  
Чем утрата лучших друзей).

Долго мы просидели вдвоем; после тихо вернулись мы к чаю; молчал; впечатление узнанного давило; Л. Д. с Александрой Андреевной посматривали на нас; они знали: нельзя нас расспрашивать о разговоре вдвоем; было грустно и душно; и я поскорее ушел. А. А. так-таки ничего не заметил; тяжелое впечатление вызвал мне он знакомством с *лиловой тайной*.

В то время я часто встречал у А. А. молодого студентика; он мне нравился; мы поспорили раз за столом о естественных принципах формы в эстетике; брат Л. Д., молодой Менделеев<sup>74</sup> присутствовал, помню, при этом; к студенту, кажется, Блок относился с особой доверчивостью; и никто еще в мире не знал, что он пишет стихи; это был Городецкий<sup>75</sup>; через несколько месяцев он прогремел; А. А. первый о нем написал, в нем отметил талант очень крупный; я слышал все чаще от Блока об Е. П. Иванове, замечательном человеке по мнению Блока; и Александра Андреевна присоединилась к сыну; не помню, встречал ли у Блоков его в это время; встречался, наверное, у Мережковских; там звали Иванова *"рысисаком"*; Е. П. скоро стал другом А. А. Про него много раз А. А. строго говаривал:

- Знаешь что, — он совсем удивительный: сильный и с опытом...
- Нет, он не то, что другие.
- Совсем настоящий.

Мне помнится, что А. А. очень часто впоследствии в трудных минутах своих обращался к Е. П. за советом. В эпоху, когда мы почти расходились, А. А. обращался ко мне:

— Ты спроси-ка Евгения Павловича: он — тебе скажет.

Или:

— А вот — погоди: — вот придет Иванов, Евгений Павлович, — рассудит, как надо.

Не раз замечал я тенденцию у А. А. в очень трудных, запутанных отношениях между нами подставить Е. П., как третейского между нами судью; и за это а priori на Е. П. надувался я (несправедливо, конечно). Впоследствии я Е. П. оценил, как действительно одного из немногих, кто подлинно был символистом, не написав ничего, вместе с тем, — неприметно участвуя всюду, в глубинных истоках, рождающих внутреннее устремление жизни. На похоронах у А. А. подошел я к Е. П., пожал ему руку; он плакал; махнул он рукою: — Ушел... Мы — остались тут; а для чего — догнивать?

Дружба Блока с Е. П. обнимает года.

Видывал, кажется, я у Блоков Владимира Алексеевича Пяста<sup>76</sup> (во всяком же случае, — видывал у Мережковского его); очень скоро потом мы встречались у Блоков не раз; В. А. Пяст — тоже был А. А. близок, как близок был, кажется, брат Владимира Гиппиуса<sup>77</sup>, написавший поэму в 16-ти песнях.

В то время как раз начинается более тесное соприкосновение А. А. с Вячеславом Ивановым<sup>78</sup>, — через меня (я в эпоху союза А. А. с В. Ивановым и Чулковым, направленным против московских "Весов", очень часто досадовал, что впервые их свел, ведь вот свел — на шею себе).

В. Иванов тогда только въехал, ознакомляясь с петербуржцами; появлялась всюду золоторунная его голова с очень мальыми, едкими, зеленоватыми глазками, с белольняной бородкой и красным безбровым лоснящимся лбом; очень вежливо обволакивал он собеседника удивительным пониманием всякого, необыкновенной начитанностью, которую он умел мягко стлать собеседнику под ноги; часто казалось, что он заплетает идейную паутину, соединяя несоединимых людей и очаровывая их всех; я бывал у Иванова; он тогда поселился почти над Таврическим старым Дворцом<sup>79</sup> (Государственной Думой впоследствии); и квартира его располагалась в выступе дома, высоко под крышею; этот выступ прозвали впоследствии "башнею"; обстановка квартиры (старинные итальянские кресла и книги, ковры) располагали к фантастике; сам В. Иванов с супругою, покойной Зиновьевой-Аннибал<sup>80</sup>, представляли собою редчайшее соединение ума, добродушия, экстравагантности; ощущалось, что скоро квартира Иванова явится умственным центром, оспаривая дом Мурузи и "розановские воскресения".

Я точно не помню, когда начались те собрания, которые положили начало "ивановским средам", оставившим след в литературе новейшего времени: в ноябре — декабре 1905 года или же в феврале 1906. Но мне кажется — в ноябре — декабре; я — присутствовал на первом собрании.

Мережковские, помню я, не особенно-то охотно смотрели на то, что я часто бывал у Иванова; З. Н. удивлялась, что мы перешли с ним на "ты"; раз в присутствии Вячеслава Иванова, церемонно явившегося к Мережковским

и певшего в нос витиеватые фразы, с дрожанием пенсне на носу (он рассеянно споткнулся, задевши ногою о мягкий ковер), — раз в присутствии В. Иванова З. Н. Гишпиус так-таки брякнула мне:

— Удивляюсь я, почему, Боря, вы говорите вдруг "ты" Вячеславу Ивановичу; он — почтеннейший человек и притом — старше вас.

Это ей было сказано для того, чтоб кольнуть В. Иванова — возрастом: Теоретик, рассеянный немецкий профессор<sup>81</sup>, а — крутится с декадентскою молодежью! В. И., покрасневший, как рак, фистулой на меня закричал:

— Я не знаю... Быть может ты против того, чтобы мы обращались друг к другу на "ты"!

Я, конечно, сконфуженный совершенной бестактностью Гишпиус, бросился уверять В. Иванова в том, что мне было бы больно опять перейти с ним на "вы". В этой выходке З. Н. сказывалась удивительная любовь: перессорить, где можно, людей; и — поставить в неловкое положение их; к В. Иванову в то время Д. С. и З. Н. относились с откровеннейшим недоверием; не оценили они в нем крупнейшего уточненнейшего человека; и все им казалось, что он лишь проделывает карьеру идей (от абстрактности ихней казалось им это). В. И. только к нам в то время порой обращал раздраженные выкрики; помню, он мне говорил в то время:

— Да неужели не видишь ты, что все это — ужаснейшая абстракция... Мережковский засел — в скорлупе: ничего он не видит...

В. И. в наших частых беседах на башне-таки посеял в мою душу сомнения в "религиозных путях" Мережковского; словом, я чувствовал: "башня" с Таврической воздвигалась твердою цитаделью, с которой намеревались обстреливать дом на Литейном.

Иванову и Зиновьевой-Аннибал я рассказывал много и долго о Блоке, которого знали они очень мало, которых А. А. в то время дичился (ему представлялся Иванов отчаянным "Теоретиком", а дионисические тенденции его казались соблазном); в противоположность Д. С. — В. Иванов меня поражал удивительным пониманием моего отношения к Блоку и к музе его, ко всему, нас связавшему, и к "атмосфере" меж нами; то именно, что осмеивали во мне Мережковские — несказанность, невыразимость, молчание, — то Иванов подхватывал, запевая своим тонким голосом, точно смычком громкой скрипки, петушьим смычком; он похаживал предо мною, потряхивал белолынным руном завивающихся волос, оглашая пространство причудливой комнаты, треугольной какой-то:

— В том — суть дионисического переживания: то, что вас связывает у Блоков — мистерия...

— Надо теплить мистерии...

— Мы стоим пред зачатием нового Элевзиса!<sup>82</sup>

И далее переходил он к теориям о новом театре, который уже очень скоро возникнет (и не на сцене, а в жизни интимной, возвышенной драматичностью).

Так В. Иванов высказывал величайшую чуткость к А. А. и ко мне.

Я частенько в то время передавал А. А. Блоку свое впечатление от Иванова; я утверждал изумительную проникновенность его; А. А. верил

с трудом мне: препятствовала репутация В. Иванова, — репутация не поэта, а *"Теоретика"*; и препятствовал вид: вид профессорский; но Л. Д. откликнулась на мысли о новом театре мистерий, как раз соответствовавшие настроению ее, — создать пробу импровизации и найти внешний жест к безглагольному жесту; она увлекла А. А. в направлении этом.

Так я подготовил им почву для встречи с Ивановым; встреча связалась с конкретной мыслью: создать коллектив (полустудию, полуобщину); лишь немногие, избранные, должны были быть, по фантазии нашей, допущенными к коллективу; не помню кому принадлежала идея; быть может Л. Д.; А. А. — отозвался; Иванов, которому передал я затею, развил ее; а из всего вытекало: А. А. и В. И. должны были сойтись.

Я повез В. Иванова к Блокам впервые; и сидя в саних, созерцая фигуру В. И., чрезвычайно сутулую и закутанную в огромную шубу, с дрожащим *"пенсне"* на носу, я подумал: А. А. и Л. Д. испугаются — *"профессорствования"*; и — разговор — оборвется; но — он не сорвался: В. И. заплетал чудодейственную мягкую паутину идей; разумеется — очаровал Блоков он; Л. Д., кажется, особенно подчинялась словам о пурпурных цветах для одежды в дионисических таинствах и о зелененьких *"баксах"*; решили: стараться осуществить *"коллектив"*; В. Иванов упомянул о Чулкове, как о чуткой душе, нас способной понять; и — включили Чулкова.

Так складывалась группировка людей, из которой возникли впоследствии *"Факель"* и *"Оры"*; Чулков заговаривал о мистическом анархизме, которого выразителями первоначально считал он А. А., Вячеслава, меня; он — во мне обманулся позднее: через год я открыл из *"Весов"* канонаду; пока — раздавалось лишь слово *"мистический анархизм"*; слово — нравилось.

Первое собрание (не *"коллектива"*, а будущих *"сред"*) состоялось, как кажется, в то время (быть может, — позднее) на башне, куда я завез неожиданно для себя староколенного человека, П. И. Безобразова<sup>83</sup>, страдавшего боязнью пространства и просившего меня подниматься по лестнице вместе. П. И. Безобразов, которого выбрали председателем беседы-импровизации на тему *"Любовь"*, — заложил первый камень фундамента *"сред"*; если память не изменяет, на этом собрании присутствовали: Мережковский с женою, Бердяев с женою, В. Розанов, П. Безобразов, Иванов с женою, А. А.; кто еще — не упомяну (Г. И. Чулков, может быть); помню я, что о любви говорили: Иванов, Бердяев, я, Л. Ю. Бердяева<sup>84</sup>, говорил ли Д. С. Мережковский — не помню; молчал В. В. Розанов; этот последний ко мне подошел после речи моей (кажется, я говорил о трех фазах любви: любви к Богу, к Ней, к людям; и называл эти фазы — любовью по чину *один, два и три*); подошел В. В. Розанов и спросил:

— А скажите, — наверное не переживали того, о чем только что говорили.

Спросил его:

— Почему вы так думаете?

Он — настаивал:

— Если бы вы пережили хоть часть из того, что сказали, вы были бы — гений...

И приговаривал он, поплеывая словами:

— Не переживали, конечно...

— Признайтесь?

А. А. сидел в дальнем углу, прислонив свою голову к стенке, откинувшись, очень внимательно слушая, с полуулыбкой; когда обратились к нему, чтоб и он нам сказал что-нибудь, он ответил, что говорить не умеет, но что охотно он прочитает свое стихотворение: и прочел он *"Влюбленность"*; он был в этот вечер в ударе; уверенно, громко, с высоко закинутой головою бросал в нас строками:

Влюбленность! Ты строже Судьбы,  
Повелительней древних законов отцов!  
Слаще звука военной трубы!<sup>85</sup>

.....

Я — собрался в Москву; даже, кажется, куплен билет был; и — кажется, даже простился я с Блоками; словом — уехал; как вдруг — железнодорожная забастовка; восстание в Москве. Каждое мое передвижение от Блоков — сопровождалось сюрпризом; убийство фон Плеве, убийство великого князя, восстание на броненосце *"Потемкин"*, восстание в Москве.

Я был вынужден переждать; с первыми поездами уехал; простились мы бодро; А. А. мне сказал:

— Переезжай-ка совсем к нам сюда...

Л. Д. подтвердила:

— Скорей приезжайте: нам будет всем весело!

## На перевале

Вернувшись в Москву, я застал настроенье разгрома; на многих улицах не было телеграфных столбов; повалили их для баррикад; и потом — полицейские и солдаты сжигали их; снег был от этого черный; с восьми запрещалось ходить; но Москва мне мелькнула как сон; я готовился к переезду; запомнились: начинающиеся собрания *"Руна"*, первый номер которого только вышел; запомнилась: переписка, громовая, — с Мережковскими за статью мою *"Ибсен и Достоевский"*<sup>86</sup> и за заметку (не помню заглавия) — кажется, — *"Отцы и дети русского символизма"*<sup>87</sup>; за умаление Достоевского я удостоился львиного рыка Д. С., написавшего мне собственноручно и грозно (обыкновенно З. Н. за него распиналася письмами); Д. С. мне объявлял, что я предал их дело; в лице Достоевского я оскорбил *"нашу линию"*; в лице *"линии"* — оскорбил я грядущую Церковь Христову (Д. С. в это время держал курс *"сознания"* — на Достоевского, а через несколько лет — стал держать на *Толстого*); в заметке *"Отцы"* я высказывал: как нам ни дороги имена Мережковского, Розанова, мы должны откровенно сказать, что задачами их не исчерпывается наш путь; во всем тоне заметки откладывалось назревающее разочарование в *"религиозных путях"* Мережковских, которых

любил, как людей, но которых ценил я все менее, как искателей жизни; такого деления не допускали они. Д. С. тотчас же встал в "Мережковскую" позу: "Антихрист — Христос", или "с нами", или "против"; "не с нами" — "предательство"! Так, пошлепывая по паркету "помпонными" туфлями, он стремился всегда исторгать вопль раскаянья из груди очередного "отпавшего" брата (о, сколько тут отпадали!); я знал: по приезде — "достанется" мне; и заранее был готов я склонить свою голову для получения "нагоняя" (любил я Д. С.); вся заметка моя выражала то именно, что отложилось во мне под влиянием разговоров у Блоков, у Вячеслава Иванова.

Должен сказать, что А. А. никогда не склонялся к Д. С.: был — уклончив, невнятен, "невнятицу" подставляя, как щит от соблазнов гностической атмосферы, З. Н. "с папироской"; была тут решимость, или — "глубинная мысль", превращенная в твердое знание, — не принимать Мережковского; сказывалось упорство; всегда так; к чему он придет — придет твердо.

— Ну, что вы? — поблескивает глазами на Блока, бывало, Д. С.; в том, "что вы" — не переносное превосходство, бахвальство какое-то "мировыми идеями" (а в конце концов побирушество мальчми крохами стола от В. Розанова, Шеллинга, Гегеля, Ницше).

А. А., это чувствуя и снисходя к Мережковскому (разгуливающему по миру со стенками дома Мурузи и расставляющему — в Париже, в Берлине, в Константинополе — стенки), конфузись (за слепоту Мережковского), переминается ногами бывало пред ним; и — отвечает какими-то надтреснутыми оттенками (не то носовыми, не то роговыми) вдруг ставшего неестественно твердым громчавшего голоса, готового вот-вот сорваться; оттенок такой в произношении слов появлялся в минуты, когда он задет был:

— Да как-то... так себе, Дмитрий Сергеевич.

Чувствуется: разговора не может тут выйти; Д. С., такой маленький, с волосатой растительностью от щек, вдруг осклабясь и стоя с ослабленным ртом (точно хочет смеяться... вот-вот: и — не может), обводит нас выпучеными глазами своими; и — торжествует, что может продемонстрировать всем присутствующим забавного "зверя"; но "зверь" это видит; и знает, что будет оглашено — с "рыком" и что потом огласится для ряда людей, что впоследствии войдет в том собрания сочинений Д. С.; и он — удаляется (порою на месяцы).

Мережковские — недовольны:

— Блок вот — пропал, не приходит, сидит бирюком со своим "где-то", "что-то"... Разводит свою декадентчину.

В очень тактичном по отношению к Мережковским отходе (другой — мог бы срезать Д. С.) А. А. сказывалось упорство: не уступать Мережковским; а им — уступали (хоть временно) все; я, Бердяев, А. В. Карташев, Эрн, Свенцицкий и Волжский и — прочие.

Но натыкались в Блоке — на камень.

А. А. в моей жизни сыграл роль руки, отводящей решительно от Мережковского, — не убеждением или противлением моей близости, а пониманием (удивительным!) склада души Д. С.; не критикуя его, А. А. Блок побеждал.

Годы, годы вопил Мережковский из кабинета, с Литейной, что нужно учиться писать ему так, чтобы все понимали, что учиться, учиться он; сколько нудных усилий затрачено было для популярности неудобоприемлемых и вздыбленных нарочито бескровнейших схем; сколько слышал я слов назидательных, обращенных к нам, беденьким, косяязычным поэтам: "берите пример с меня — я учусь быть понятным" (А. А. никогда не писал для *понятности*, не задумывался над проблемой понятности); а сравните теперь статьи Блока с томами Д. С. ... Кто внятнее? Все — поняли Блока... А Мережковский со всеми усилиями обобществиться, — он выкинут обществом: в трудную минуту России, когда отовсюду из масс поднимались запросы, когда надо было (всем, всем!) помогать, отбояриваться от механической мертвечины марксизма, — где был Мережковский? Бежал за границу<sup>88</sup>: от большевиков ли? Не от рабочих ли, не от крестьян ли, красноармейцев, матросов, протягивающих руки за хлебом духовным? Когда Котляревский, Иванов, Бальмонт, Кони, я и другие поэты из "*необщественников*" являлись (на митинги, в студии), чтобы поддерживать "дух" (только "духом" и жили тогда) — где же был Мережковский? Выглядывал он трусливо из кабинета на Сергиевской, все боясь "*замарать*" свои чистые руки и запятнаться пред Бурцевым<sup>89</sup>; вот рабочие говорят: "Разъясните нам — правда ли, что сознание обусловлено мозгом?" И во "*Дворце Искусств*"<sup>90</sup>, в "*Академии Духовной Культуры*"<sup>91</sup>, в "*Вольфиле*", в аудитории Политехнического Музея в Москве, в Петербурге являются люди; и — говорят: "*Нет и нет!*"

Появляются среди студий: расстрелянный Гумилев, старик Кони, читающие о русской литературе; нет, больше того: перед делом духовной культуры, которая — хлеб насущный России теперешней, забываются политические разногласия (ах, не до них, когда всюду разносится вопль: "Хлеба, хлеба духовного!").

А Мережковский, выпучивая испуганные глаза на Париж (там, оттуда — с подозрительной трубой поднимается Бурцев!), на увещания: "*дайте же для рабочих хоть что-нибудь*" (а рабочие просят: "*Не про политику нам, а про... Гоголя бы!*"), — Мережковский испуганно причется:

— Знаете, я не умею: меня не поймут!

(Понимали же, Господи, — Гумилева... матросы Балтфлота!)

Так, сбежав от чудеснейшей аудитории с расширенным сердцем (— "Теперь аплодирует Бурцев в Париже..."), идет за дровами в... *Петросовет*, оберегая "*полиелеи*" из слов от духовных запросов кипящей России для умещения главы... провозглашенного Мессией Пилсудского<sup>92</sup>, развевающего знамя вражды с "*москалями*"; а Гиппиус, накопившая в трудные месяцы не закаленность духовную, а — "*ехиднику злость*", начинает оплевывать русских писателей за черною советской России<sup>93</sup>, попав за черту; да, могу сказать; вот так общественность!

И невольно теперь соглашаешься с Блоком, который в те годы еще в Мережковском отчетливо разглядел это все; "*белоручка*" и "*зьябкий*" — и все

этим сказано: шупенский, маленький, лучше всего рассуждающий в туфлях с *"помпонами"*; менее удачно — на диспутах (перепутывая все мысли противников — глух!): рассуждающий много, когда не мешало бы помолчать; и молчащий *тихонько*, когда произнесенное слово (хотя бы одно: *"Несостоятелен Маркс"*) — религиозное, нужное действие.

— *"Белоручка и зябкий"* — так раз мне А. А. определил Мережковского (кажется, — на прогулке): все сказано! Я стал присматриваться: да, белоручка, — придет кто-нибудь:

— Зина, ты уж поговори, — мне же надо засесть за *"Петра"*<sup>4</sup>.

И З. Н. — *"отдувается"*; посетитель *"обделен"*, — тогда появляется Д. С. — с *"рыком"* и *"гласом"*.

— Мы — ваши; вы — наши.

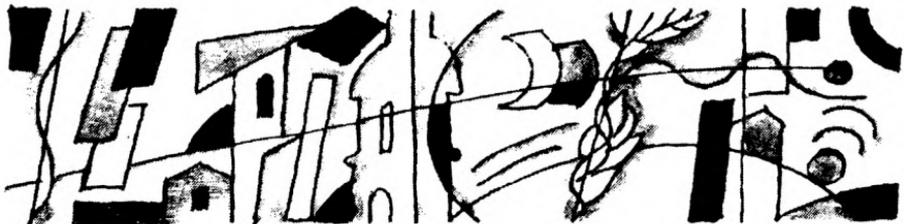
Все это провидел в них Блок.

В этих мыслях о Мережковских я жил; я готовился к переезду; казалось мне — мы с А. А., с Вячеславом Ивановым можем начать *наше дело*; готовить — наше действие; *мистерию человеческих отношений* под скромной личиной: интимного, театрального действия. Любовь Дмитриевна мне писала в то время: *"Скорей приезжайте: за ваше отсутствие написал Саша драму; она называется "Балаганчик": хороший он..."*

В феврале 1906 года я — тронулся в Петербург.



## Глава шестая «ТЫ В ПОЛЯ ОТОШЛА БЕЗ ВОЗВРАТА»



### Балаганчик

В феврале я — опять в Петербурге; за день до отъезда в Москве, у меня — аргонавты; меня провожают: как будто совсем уезжаю; тут — Эллис, Петровский, Сизовы, два брата<sup>1</sup>, Владимиров, отъезжающий в Мюнхен, С. М. Соловьев, Поливанов, Н. М. Малафеев<sup>2</sup>, М. Эртель, П. Батюшков, кто-то еще. Очень грустно: действительно, — точно простились; не помню, чтоб так собирались, — потом; мы расстались; и — оказались в различных течениях; не было молодого задора, как прежде; у всех обнаружилось — драмы; переживали и разделение *”Астровского”* кружка; С. М. Соловьев, Поливанов испытывали охлаждение к Астрову; да, мы прощались.

Приехавши в Питер, остановился на Караванной я, в мебелированных комнатах<sup>3</sup>, игнорируя Мережковских, которые не могли мне простить нападетельный тон мой в *”Весах”*. Петербургские устремления были связаны с Блоками; в первый же день по приезде увидел в окне магазина я куст пышной, бледнеющей, великолепной гортензии — голубой; послал ее Блокам; боялся: за эту посылку — *”влетит”*; не влетело; Л. Д. лишь сказала:

— Такой не видала!

Александра Андреевна посмеивалась:

— Ну конечно, должны были вы этот куст нам прислать.

— Все как следует...

— И понятно: сердится — за что?

Было холодно как-то в гостиной с зелеными креслами; куталась в красную тальмочку Александра Андреевна; сердце у ней расшалилось; она говорила:

— Вы знаете, как припадок, так делается — не то: это знаете?

— Знаю.

— Так знайте же: это — от сердца...

Впоследствии в схватках невроза, я — понял, что чувствовала Александра Андреевна:

— Все то, да — не то...

Мне запомнились эти слова, потому что они выражали какую-то смутную мысль; эти белые стены, в которых сидели недавно с уютом — не те; и холодные: в комнатах — холодно; А. А. — тот же; и — нет: не декабрьский; и тоже поступок с гортензией; что нехорошего, — полубилась гортензия; я и послал; вышло — как-то не так; Александра Андреевна, хваля мне гортензию, точно старается: оправдать; мне не раз говорила Л. Д., что во мне — вкусовые дефекты; и частое перечисление драгоценных камней в моих строчках не нравилось:

— Саша не делает таких промахов.

Раз же сказала она:

— Посоветовала бы вам галстух носить другого оттенка; оттенок, который вы носите, как-то безвкусен...

И вот я почувствовал, что посылка гортензии всех покорила; но — пощадил; самолюбие — заговорило: замкнулся (не так меня встретили: не на *это* я бросил Москву...).

— Нет, не то!

Я позволил себе ритмию вторую: прочел им статью мою о "Трилогии" Мережковского для "Золотого Руна"<sup>4</sup>, пожелавшего угодить Мережковскому, поручившему мне ее, как приверженцу; эту статью написал архаическо-риторическим стилем, где Гоголь и Карамзин пропелелись стилем епископа Иллариона<sup>5</sup>; и вышла — безвкусица; я ощутил ее в чтении; А. А. забавлялся:

— Ну, думаю, Дмитрий Сергеевич стилистических упражнений — не поймет; и воспримет статью, как пародию... Сам ты их знаешь, такие они... Стало холодно; стал я высказывать мысли, сплетая с цветами; привел им градацию тусклостей и Л. Д. поднялась; и — ушла; я не понял — зачем; — но обиделась явно; потом уже выйдя сказала:

— Ну что, — перестали ругаться?

Действительно, в тусклой градации — отразилось во мне что-то, схожее с недовольством, я сам — не заметил; Л. Д. поняла: я ругался цветами. Прощался и видел: ярчайшие апельсиновые оттенки зари.

Блоки скоро меня посетили; и снова — "не то"; и — неловкость; коснели в безвкусице номера — около столика; подали чай; А. А., делая вид, что ему хорошо, — улыбался любезней; я сделался — словоохотливей, а Л. Д. — не любезней, чем надо; а косные стены стояли, нас гнали; и нам говорили:

— Не то!

Неудачился вечер; А. А. выпускал папиросный дымок и свой юмор: да, да, ждет меня распекание: "Зина" и "Дима" в присутствии "Таты" и "Наты" меня-таки да, — за статью.

— Ты-ка, спрячься пока: не ходи! попадешься, — влетит, — говорил он, вставая, похаживал вдоль стены, садился опять; и искорка юмора блекла; и взгляд становился далеким; и делалось вяло: и *серо-лиловая, серо-зеленая* атмосфера какая-то разливалась вокруг; принимался их потчивать сладкими широжками, А. А. — улыбался:

— Нет, лучше оставь: не умеешь...

Так было в тот вечер; я ехал, переселялся, может быть, навсегда; и Л. Д., и А. А. вызывали меня; а приехав — увидел: *необходимости приезжать-то и не было*; тут в Петербурге — их жизнь; я — с Москвой; выходило: я здесь состою адъютантом каким-то; и Блоки, так звавшие, сами не знали, на что я теперь, осознав, что — не нужен, — испытывали недовольство собою (и — мною); как будто судьба моя попала им в руки; так тяжесть, которую вызывались нести, потому — что доверился зову; звать значило — к ним; а им было тяжело самим, углубились меж ними различия; было труднее им вместе; вплетение лишней судьбы — осложняло; чего-то во мне испугались; А. А. был под гнетом, предавшимся: и — в заботах: экзамены (государственные) предстояли ему; не до меня тут; а я появился; и — требовал точно чего-то.

Но суть не в экзаменах, а в желаньи А. А. отмахнуться от всех, с А. А. бывали периоды, переходящие просто в утрюмость; она развивалась в позднейших годах; для меня же отметилась только в этом периоде; периоды он убегал от людей; мне позднее случалось спрашивать:

— Что Блок?

— Блок — мрачен, невидим...

И иногда прибавляли:

— Он — пьет.

.....

А. А. чувствовал: слом путей приближался: темно, безотрадность; *лиловый* оттенок, манивший его в *ноябре*, — повел в ночь; стал — чернеть. обволакивая; щеголяние в пышности цветowych он рассматривал маскарадом; доселе в быту он держался и милым, и светским, очаровательным через силу; раз я увидел его перепутанным, встрепанным: в Шахматове. А теперь его кризис облек в постоянное выражение скорби и строгости, воспринимаемое глухотою какою-то; часто сидел он в глубоких тенях, из которых торчал удлинившийся нос, и виделся мне изогнувшийся рот; желтовато-песвежий оттенок хушевшего лица, мешки под глазами, круги, — это все говорило без слов:

— Не понимаю!

— Не то...

Натолкнешься на этот невнемлющий взор: и — толкаешься в душу:

— Пойми!

Уже и злил меня видом, упорством, глухонемой безотзывностью; прежде отзывный, теперь — как стена; знал: Блок — умница; вид идиотский — каприз и протест; против слов; если бы был перед ним Мережковский, Бердяев, Булгаков, — я понял бы; а ведь тут — я; и заметивши, что Блок — глухарь, невнимающий внутренне, очень бесился: не мог допустить, чтоб А. А. относился ко мне, как к другим. Возмущался я строчками:

И сидим мы, дурачки,  
Немочь, нежить вод:  
Зеленеют колпачки  
Задом наперед.

Это что же? Глумление? Видя Блока капризником, непонимающим внятности, — думал:

— Разыгрывает роль дурачка...

Вспоминался С. М. Соловьев, восклицавший:

— У Блока — есть строки, которые принимаются за особо глубокие: это — невнятица...

Возмущался С. М. одной строчкой "И развеяли... флаг". Он доказывал: флаг — ни при чем; никакого здесь флага не надо; а все — принимают. А. А. водит за нос... И я раздраженно себе говорил:

— Ну, меня водить за нос — не будешь!

Такой вот аспект в лице Блока отчетливо выступил в памятный вечер; было втроем — неуютно; Л. Д. — побледнела в том черном, обтянутом платье, в котором я видел ее во сне (год назад). И вот, — точно я вошел в сон; или — сон этот вышел; внимала как будто бы звукам судьбы, охватившей так скоро; А. А. не поддерживал наш разговор (вывозил его — я). Заговорили о Рябушинском, редакторе "Золотого Руна" и о пиршестве в "Метрополе", смешных инцидентах; Л. Д. отмечала:

— Москва...

Что на ее языке означало:

— Провинция...

Мне доставалось:

— Москвич!

Это значило:

— Галстух не тот...

И глубокая разность "московской" природы от "такта", в которой рядилась Л. Д., поднималась меж нами; А. А. поправлял положение; но — знал; он с Л. Д.

— Говорил: — "у вас так это, а у нас, в Петербурге, — не так".

Он очень с юмором представлял "москвича" Рябушинского с розой в петлице. Рассказывал мне: Мережковский, откликнувшись на приглашение "Руна", сбыл плохую поэму; и — охладел к Рябушинскому; и кричала Редакция, взявши плохую поэму<sup>1</sup>; Л. Д. тут зевнула:

— Пора: очень хочется спать!

Решено было встретиться — вскоре: А. А. прочитает написанный им "Балаганчик". И Блоки ушли; еще долго шагал, ударяясь в стены, а стены сказали:

— Не то!

И хотелось — в Москву: было б лучше! Но я — не уехал.

.....

Вот — чтение "Балаганчика"<sup>2</sup> или удар тяжелейшего молота: в сердце; пришел еще рано, — в приподнятом настроении: ведь написана гениальная вещь; ведь писала Л. Д. "Балаганчик" — *хороший*"; "*хороший*" связался

с мыслью, что драма — *"мистерия"*: для постановки в Интимном Театре, которого волили Блоки, Иванов и я; тут мне виделись *важные действия вместе*; то — утверждение любви коллектива, которого жизнь по Владимиру Соловьеву — *сигизия*?

Собрались в зеленой гостиной; пришел Городецкий и Пяст, и еще юноша, стянутый в свой сюртучок — преторжественно, точно на праздник; и Е. П. Иванов, столь чтимый у Блоков, которого Мережковские называли *"рыжак"*, косолапо рыжел он, гудел между креслами; кто-то еще; Л. Д. с звинченной аффектацией, стремительно принимала гостей (наблюдал, удивляясь ее экспансивности, новой в ней); каменный и угловатый А. А. деловито потаптывался, раскрывая гостям портсигар; был сюртук в этот вечер поношен на нем.

Все расселись на мягкие кресла; А. А. монотонно читал себе в нос:

— Истекаю я клюквенным соком.

Нелепые мистики, ожидающие Пришествия, девушка, косу (волосяную) которой считают за смертную косу, которая стала *"картонной невестой"*, Пьеро, Арлекин, разрывающий небо, — все бросилось издевательством, вызовом: поднял перчатку! Назвать *"Балаганчик"* хорошим — не мог; и его написал А. А. Блок?

О, конечно, он — изгнанный из придела Иоаннова: так я подумал; и нечто, подобное смерти, переживал; я не понял страдания, продиктовавшего строки; но — понял я: даже радостная импровизация, о которой шла речь, — погибнет; и вместо души у А. А. разглядел я *"дыру"*; то — не Блок: он в моем представлении умер; пусть видели — *великолепнейшее произведение искусства*; произведение исполнено силы, — я видел; но думал: какую ценой покупалась она?

.....  
Здесь ресторан, как храм, светел  
И храм, как ресторан, открыт.

Молодежь — восхищалась; немеющий Пяст ничего не сказал; и спросили: — Ну что?

Я ответил:

— Да, знаете, — замечательно...

И весь вечер старался держаться, как если бы все было — *"то"*.

.....  
Мы с А. А. никогда не беседовали о *"Балаганчике"*; раз он повел меня сам: посмотреть на него. Посмотрели мы молча.

.....  
Зачем не уехал в Москву? Продолжал посещение Блоков; ходил — не к А. А., — а к Л. Д.; потеряв в А. А. брата, привязанность к *"коллективу"* я перенес на нее; а граница меж мной и А. А., переходящая во взаимное недоверие, просто оформилась тем обстоятельством, что А. А. предстояли экзамены: я же — не буду *"мешать"*; говорили об этом не раз мы с Л. Д., с Александрой Андреевной.

Просиживали с Л. Д. вечерами; и из рассказов ее выяснялся размер перелома в душе у А. А. и — подробности личной жизни, мне чуждые: другой Блок! Но Л. Д. говорила, что нужно беречь его; что в нем — много больного и детского; но и другие — суть дети (что детское было — доказывает пристрастие Блока к картинкам; он, взрослый, вырезывал их, чтобы наклеить в тетрадь); говорила Л. Д. : ей порой с А. А. трудно; она — утомляется в роли: быть нянькой.

А. А. не присутствовал при разговорах о нем, а сидел в смежной комнате: с книгой; потом выходил и с натянуто-недоуменной улыбкою, сквозь которую проступала отчетливо хмурость, искал он предлог нас покинуть: рассеяться после занятий.

Казалось, что А. А. недоволен беседами, подозревая вмешательство в личную жизнь; но — молчал; и неискренность эта меня раздражала: ведь сам — отдалился: и создал меж нами — молчание; стало несносно сидеть нам — вдвоем, вчетвером; и когда собирались вместе, то чувствовал: А. А. думает, что я думаю, что он думает; каждый так думал; и легкость былого общения переменялась в непереносную тяжесть; лишь изредка силился я по-прежнему поткровенничать, чтобы вместе *понять, разобрать*, но он видом показывал:

— Фальшь...

— Нет, не выйдет...

— Давай уж молчать...

— Говори себе с мамой и с Любой...

И стало казаться, что нет "*коллектива*", а — ряд замыкаемых отношений, в которых не все безмятежно; разлад — углублялся: меж каждым и каждым; и — новые отношения строились: ясно лишь было, что о былом, о совместном, не может быть речи.

.....

Да, эти недели окрашены: совершенным отсутствием на моем горизонте А. А. : он сидел — в смежной комнате; и — выходил, проходя; начинаются частые исчезновения Блока из дому; окреп в нем шатун.

Что я пережил очень бурно и лично по отношению к А. А., выступает позднее в рецензии на второй том стихов. Считаю: оценка моя замечательной книги — несправедлива, перепечатаваю ее, как необходимый, увы, документ отношений моих к его миру поэзии.

### "Нечаянная радость"\*

Блок — один из виднейших современных русских поэтов. Поклонники могут его восхвалять. Враги — бранить. Верно — одно: с ним необходимо считаться. Рядом с именами Мережковского, Бальмонта, Брюсова, Гиппиус и Сологуба в поэзии мы неизменно присоединяем имя Александра Блока. Первый сборник стихов поэта появился только в 1905 году. Тем не менее есть уже школа Блока...

---

\* Рецензия, напечатанная в журнале "Перевал" в 1907 году.

Даже поверхностное рассмотрение поэзии А. Блока убеждает нас в несомненном влиянии на него Лермонтова, Фета, Вл. Соловьева, Гиппиус и Сологуба. Из иностранных поэтов больше всего влиял на него Метерлинк. Если бы мы не боялись историко-литературных определений, мы могли бы назвать его русским Метерлинком без аристократизма, свойственного этому поэту, но с большей близостью к истокам души народной. Впрочем, мы не стоим за это сравнение.

Каково идейное содержание высокочтимого поэта?<sup>10</sup> Но тут приходится остановиться, потому что второй сборник стихов А. Блока выдвигает совершенно новые для поэта мотивы. "*Стихи о Прекрасной Даме*" окрашены определенным и весьма значительным содержанием. В неуловимых и нежных строчках поэт воспевает приближение "*вечно женственного начала*" жизни. Здесь он является продолжателем целого ряда имен. В ароматный венец его поэзии вплетены раздумья Платона, Плотина<sup>11</sup>, Шеллинга<sup>12</sup>, Вл. Соловьева и гимны Данте, Лермонтова, Фета. Древние гностики вместе с греческой философией всесторонне разработали учение о мировой душе и "*вечно женственном*" начале Божества. Шеллинг в сочинении "*Weltseele*"<sup>13</sup> пытался дать учению о мировой душе естественно-научную подкладку. Гете, Данте, Петрарка сумели из любимого образа создать символ вечно женственного, соединяя универсализм гностических догматов с индивидуальными переживаниями. Фет и Лермонтов бессознательно касались того же. Вл. Соловьев, соединяя размышления гностиков с гимнами поэтов, сказал новое слово о близком сошествии к нам лика Вечной Жены. Тут началась поэзия Блока. Тема его — глубокая. Цель его — значительная.

Вдруг он все оборвал...

В драме "*Балаганчик*" горькие издевательства над своим прошлым. Последнее время злоупотребляли плохо понятой гностикой — это правда. Но правда и то, что издевательством не опровергнешь ни Платона, ни Плотина, ни Гете, ни Данте. Ожидания могут быть неуместны. Но проблема остается проблемой. Она не терпит издевательства.

И вот, во втором сборнике мы узнаем, что "*Прекрасная Дам*" не путешествует на пароходах. Вместо "*сиянья красных лампад*" мы видим болотных чертенят, у которых "*колпачки задом наперед*". Вместо храма, — болото, покрытое кочками, среди которого торчит избушка, где старик и старуха и "*кто-то*" для "*чего-то*" столетие тянут пиво. Нам становится страшно за автора. Да ведь это не "*Нечаянная Радость*", а "*Отчаянное горе*". В прекрасных стихах расточает автор ласки чертенятам и дракончикам. Опасные ласки! Ведь любой дракончик может вытянуться в настоящего дракона (туманы, как известно, растут). Рыцарь Жены всегда — в борьбе с Драконом. А вот превратился Дракон в дракончика, и поэт его пожалел: пожалел и пригрел. Помнил ли он, что с нечистой шутки слухи?

Но, сбросив с себя идейный балласт, поэзия А. Блока расцвела махровым, пышным цветком! Темы настроений утончились, стих стал виртуознее, гибче, роскошней. Прежде нам приходилось спорить с одним известным поэтом, утверждавшим, что "*Стихи о Прекрасной Даме*" не выражают истинного лика

поэта. Поэт оказался прав\*. "*Нечаянная Радость*" глубже выражает сущность А. Блока. В этом отношении Блок настолько же выиграл, как поэт, насколько он упал в наших глазах как предвестник будущего, потому что мы предпочитаем оставаться при загадках, загаданных мудрецам (пусть нерешенных, но требующих от нас жизни для решения), нежели при издевательствах (хотя бы и поэтических, прекрасных) над этими загадками.

Второй сборник стихов А. Блока интереснее, пышнее первого. Как удивительно соединен тончайший демонизм здесь с простой грустью бедной природы русской, всегда той же, всегда рыдающей ливнями, всегда сквозь слезы путающей нас оскалом оврагов — соединен в бирюзовой нежности просвета болотного, в вечном покое зеленых мхов. И нам страшно этого покоя; зачем эта нежность, когда она — "*прелесть*" болотная:

И ушла в синеватую даль,  
Где дымилась весенняя таль,  
Где кружилась над лесом печаль.

Но ушла — к колдуну; и — колдун:

Закричал и запрыгал на пне  
— Ты, красавица, верно — ко мне!<sup>14</sup>

И нам становится больно, когда вечерняя заря обвивает не только "*весеннюю проталинку*", но и того, кто на ней. А на ней —

Попик болотный виднеется.  
Ветхая ряска над кочкой  
Чернеется  
Чуть заметною точкой<sup>15</sup>.

Искони здесь леший морочит странников, ищущих "*нового града*"; искони, мужичка оседлав, погоняет Горе-горькое хворостиной. Скольких погубило оно: закричал Гоголь, заплутал тут Достоевский, тут на камне рыдал Некрасов, Толстой провалился в немоту, как в окошко болотное, и сошел с ума Глеб Успенский; много витязей здесь прикончило быть, — "*здесь русский дух, здесь Русью пахнет*". Здесь Блок становится народным поэтом.

Здесь рыскает леший, а Блок увидел "*своего полевого Христа*"<sup>16</sup>. Не надо нам полевых Христов. Христос Бог да сохранил нас от таких пришествий!

Где же Та, Которую призвал поэт еще так недавно? Там, где он не кощунствует, у него вырывается:

О, исторгни ржавую душу!  
Со святыми меня упокой.

Прекрасно поет он о наших убогих полях, так прекрасно, что мы, завороженные "*прелестью*"<sup>17</sup>, начинаем верить, что все тут благополучно.

---

\* Поэт этот В. Я. Брюсов.

Ведь здесь все *"вечно прекрасно — но сердце несчастно"*. Откуда этот стон у сказителя полей?

Так — и чудесным очарованы —  
Не избежим своей судьбы.  
И в цепи новые закованы  
Бредем, печальные рабы<sup>18</sup>.

Цепи *"Прекрасной Дамы"* — гирлянды роз — поэт с себя сбросил. Откуда же эти "новые цепи"? Не цепи ли болотных чертенят? Страшно, страшно: идти больше некуда в отчаянии, когда и в *"Нечаянной Радости"* из огорода капустного приходит тот же оборотень *"Единый, Светлый — немного грустный"*, когда такую картину рисует поэт своей нечаянной радости:

И сидим мы, дурачки,  
Нежить, немочь вод.  
Зеленеют колпачки  
Задом наперед.

Уж подлинно не зачаешь такой радости! Уж подлинно: нечаянная она!  
"Новой Радостью загорятся сердца народов, когда за узким мысом появят-  
ся большие корабли"<sup>19</sup> (вместо предисловия).

Перед лицом народов сложные задачи; они требуют определенного образа решений, определенного, ясного, как Божий день, слова. И радоваться только тому, что из-за узкого мыса плывут корабли, еще рано: большие корабли часто приносят большую заразу.

*"Нечаянная Радость"* определено пронизана все тем же воплем нищего:

Кто взманил меня на путь знакомый?  
.....  
Нищий, распеваящий псалмы?<sup>20</sup>

Нищий ли это странник или горе-гореваньице? Во всяком случае не псалмы распевает нищий, а панихиду:

Со святыми меня упокой.

Сквозь бесовскую прелесть, сквозь ласки, расточаемые чертенятами, подчас сквозь подделку под детское или просто идиотское, обнажается вдруг надрыв души, глубокой и чистой, как бы спрашивающий судьбу с удивленной покорностью: "Зачем, за что?" И увидав этот образ, мы уже только преклоняемся перед крупным талантом, не только восхищаемся совершенством и новизною стихотворной техники — мы начинаем горячо любить обнаженную душу поэта. Мы с тревогой ожидаем от нее не только совершенной словесности, но и совершенных путей жизни.

## Третий — месяц наверху — искривил свой рот

Я все более понимаю Л. Д.; очень странно: до этого времени лично почти не общались мы; Л. Д., точно играя на сцене, присутствием "освещала" нас, дирижируя тонуем разговоров, — улыбкою, взглядами; воспринимали вне лично ее, как бы фоном как *место* свершения важных душевных событий; она стала — "символом"; это С. М. Соловьев, деспотически правивший прежде "ладьей" общения, создал почву, такой "status quo" устранял Л. Д., превратив ее в символ, в жену мирового поэта, в инспиратрису его: в знак зори; о живом человеке не знали; создали Л. Д. для себя; и она — приспособилась к нам.

После резкого отчуждения С. М., Л. Д. вдвинулась в наше общенье с А. А.; не была уже фоном, Любовью *Деметровой*<sup>21</sup>, дочерью "хаоса" (Менделеева); из персонажа "Лапановской" философии стала "сестрою"; взяла ноту — в трио; но брала ее только "меж нами"; с А. А. удалялись en deux, а с Л. Д. я никогда не имел разговоров (как с Гипшиус, с "Татюю", с Александрой Андреевной), выхожденье С. М. из "коммуну" есть шаг на пути к моей встрече с Л. Д., продиктованной всем; в декабре А. А. мне посвятил стихотворенье, с надписью "Боре" (впоследствии, в годы разрыва, он снял посвящение):

Мильгй брат! Завечерело.  
Чуть слышны колокола.  
Над равниной побелело.  
Сонноокая прошла.  
Проплыла она — и стала,  
Незаметная, близка.  
И опять нам, как бывало,  
Ноша тяжкая близка...<sup>22</sup>

Стихотворение — память о наших прогулках:

Издали — локомотива  
Поступь тяжкая слышна...  
Скоро финского залива  
Нам откроется страна.  
Ты поймешь, как в этом море  
Облегчается душа,  
И какие гаснут зори  
За грядою камыша.

А наконец — Любовь Дмитриевна: стиль быта втроем:

Возвратясь, уютно ляжем  
Перед печкой на ковре  
И тихонько перескажем  
Все, что видели, сестре...  
Кончим. Тихо встанет с кресел,  
Молчалива и строга.  
Скажет каждому: — Будь весел.  
За окном лежат снега.

Расходясь с А. А., конкретно столкнулся с Л. Д. : человека увидел; и — понял: переживала острейший толчок, ее бросивший от "зорь", интересов к науке и к Канту (она занималась сперва математикой, после же логикой), — ее бросивший к скептицизму, к тоске по конкретности; не без надрыва вступала на путь артистизма; переход ей дался не легко; и — страдала; и говорила, что "зори" вскружили ей голову; в "инспиратрису" всех — верила, вошла в роль; "зори" гасли; а "роль" — оставалась: инспиратриса, "дочь светлая хаоса", стала артисткой, говорила, что мы ее — портили "ролью". Теперь в ней сказался протест и желание выявить без остатка себя, как себя; и — критически нас разбирала; и многое в нападениях Л. Д. было горькою правдой: она — человек, а не кукла, не символ; стал слушать ее, разбирать отношения наши друг к другу и нападать: на всю линию поведения А. А.; но Л. Д. защищала его; в защите же предо мною возникал новый Блок; это — тоже удар для меня; Л. Д. видела в нем раздвоенье всегда; но она утверждала: А. А. — лучше нас; он, по-своему — прав.

Я — оспаривал.

В спорах о жизни мы сблизились, как искатели правды, ее потерявшие в безглагольности прошлых "радений"; прислушивались к искусству, ходили гулять в Эрмитаж; переживая у Кранаха<sup>23</sup> краску, а тень у Рембрандта, и восхищаясь танагрскими статуэтками<sup>24</sup>, перед которыми подолгу простаивали; и возвращались Набережной, — в казармы, к обеду; тогда выходил молчаливый А. А.; я умел подмечать несогласие меж Л. Д. и А. А., присоединяясь к Л. Д., отдаваясь растущему отчуждению к Блоку; Л. Д. — подала бессознательный повод для критики "Блока-поэта", признавшись, как ей тяжело.

Мы бывали на выставках; С. П. Ремизова показала на выставке раз под строжайшею тайною Савинкова, разыскиваемого полицией, но живущего в Петербурге; он смело явился в публичное место (бывал и у Ремизовых: я имел поручение передать в "Золотое Руно" стихотворение Савинкова, бракованное Соколовым, которому имя автора я, конечно, не мог открыть).

Встретился я с Мережковскими: произошло объяснение; приводили к присяге меня: укоряли, стыдили, — простили; и мы — обнялись; водворился по-прежнему в доме Мурузи; и было — по-прежнему: перед камином с З. Н.: разбирательства религиозно-общественных отношений с Д. С. и Д. В. Философовым, дружба и с "Татой", и с "Натой"; и появления Карташева. К З. Н. подошла в это время С. П. Ремизова-Довгелло; Алексей же Михайлович часто являлся: подмигивал, добродушничал, говорил мудро-дикие вещи, — скрывался.

С З. Н. Мережковской нашли точку новую встречи в решительном гневе на безответственность новых кружков; и — на "среды" Иванова, заставившего меня опасаться всепонижания, переходящего в "всеобъятие", "все-покрытие" утонченнейшими диалектическими софизмами; в них меня останавливала "дву-мысленность" и знак равенства, ставимый меж "все-гранностью" и "без-гранностью". З. Н. жаловалась на ужаснейший хаос идей, поднимаемый "средами"; приводило в негодование ее очень глупое "действие", совершенное

где-то, когда-то: литераторы, восхотевши "мистерии" и "оркестры", составили хоровод; и — кололи какого-то литературного адвоката булавкой; выжав кровь, распивали с вином, называя то глупое действие "Дионисовым Действом"; называли тогда имена литераторов, даже философов; и — разумеется: В. Иванов дал формулу для оправдания "пошлости"; был возмущен; не ходил я на "среды"; З. Н. выговаривала почтенному идеалисту:

— Не стыдно вам было присутствовать? Когда модная литераторша басом запела гимн к радости, заведя хоровод, — не ушли вы?

Философ сконфуженно тупился: он не участвовал — только присутствовал...

— Правда ли, — издевалась З. Н., — что В. В. расшалился, воспользовался потемками и схватил миловидную поэтессу за кончик ботинка?

Я думал: вот здесь совершаются "действия", а там "Балаганчики..." В. Иванов казался абстрактным профессором, сияющим стать "козловодом"<sup>25</sup> беспутницы.

Дружил я с Т. Н. (или — с "Татой"), бывавшей у Блоков, и — понимавшей меня; и З. Н., и Т. Н. я рассказывал о стене между мной и А. А.; З. Н. очень близко входила во все; говорила:

— А?.. Видите: ваши "радения", и безгласность у Блоков — к чему привела? Говорила я: "где-то", "что-то" — к добру не ведет.

Начинал ей внимать: отчужденье от Блока перерождалось в желание: агрессивно напасть.

И З. Н., и Т. Н. наблюдали расгушную дружбу с Л. Д., и — расспрашивали, принимая все близкое мне; в З. Н. Гиппиус жила жилка "матерого" агитатора; ей хотелось привлечь Л. Д. к круту идей их; "Блок" — виделся безнадежно далеким; Л. Д. возбуждала надежды; обратно: Л. Д., оказавшая резкую оппозицию идеологии Гиппиус, стала меня о ней спрашивать; заручившись согласием З. Н., предложила я Л. Д. — отправиться к Мережковским; Л. Д. согласилась; и назвала З. Н. — "Зиной"; А. А. — показалось мне — был недоволен; но он, подавив в себе чувство, спокойно нас выслушал; выраженье, которое в нем не любил, промелькнуло-таки; не понравилось в нем противленье. Поставил я цель: расширять круг общений Л. Д., жившей замкнуто, только для "Саши", а здесь, в этом быте — сомнительные бесенята; и быт мне казался болезненным миром болота, "Фиалки ночной", отравлявшей А. А.

Это все произвел "Балаганчик"; в мире душевном есть "Блок"; после — нет!

.....  
Уже яснили слезливые просины первых весенних деньков; просияли капельные слезы; и Петербург — улыбнулся; мягчайшею, ранней весною; под пеню капелей Д. С. Мережковский, малюсенький, в шапке бобровой (я помню на Невском его) мне показывал вешние нити серебряных облачков:

— Уже весна.

Собирался с женою в Париж он, продавши "Трилогию" Пирожкову (я слышал в те дни от него: "Пирожков, Пирожков... Я пойду к Пирожкову...")

И вот с "Пирозисковым" устроилось); был Д. С. весел: насвистывал в комнатах; и выбегал на Литейный, на Невский — глядеть на весну; дома часто выпадал он в игривость: и пришедшего Е. П. Иванова встретил он рыком:

— А... вот и "рыжак"!

И, подталкивая на диван, он дразнился:

— Рыжак-рыжаком...

Мы с З. Н. выходили на Невский (она вдруг влюбила прогулки): лорнировала проходящих, и — покупала букетики синих, весенних фиалок.

А дни — бриллиантились, в слезы пустились; расставились лужицы, и мостовая из белой вдруг стала коричнево-бурой.

В такой-то денек я заехал за Блоками (будто они не умели приехать); считал своим долгом! и собственно: вовсе не "их", а Л. Д. (А. А. часто бывал у З. Н.); из одной атмосферы в другую — в сопровождении недоумевающего А. А., который от нас запахнулся в "экзамены".

Надоело выслушивать: "Саша... экзамены... Сашин экзамен..." С пренебрежением думал:

— Вот невидаль: "Сашин" экзамен... Устраивают мировое событие из экзамена... Все мы держали; и не ходили с "экзаменом", точно с торбой.

Обращенье к экзаменам "Саши" во мне вызывало:

— Ах, обращаются, как с тюком.

И я, каюсь, я звал про себя его:

— "Тюк..."

Я думал:

— А этот бы *тюк* да встряхнуть!

Я не видел, — пассивность А. А. происходила от вовсе иного: терял веру в жизнь; рассеянность, хмурость, далекость — впоследствии оказались: анестезией страдания; стал удаляться к "калекам" и к "острякам" "Незнакомки". И да: истекала душа его — кровью; когда бы нашелся в те дни кто-нибудь, кто сумел бы внушить ему бодрость, последующие года не протекли бы так; разочарования двадцатых годов не унесли бы его! Я был близок к нему; и — не понял его; и все делал, чтоб боль его сделать острее; и присыпал к его ранам лишь соль; о, естественно:

Что же на свете приятней,  
Чем утрата лучших друзей?

С ограниченной тупостью я тащил к Мережковским его, — на буксире: среди золотистых капелей; в двух саночках, стучающихся о выступавшие камни, тащился медленно у Литейного Моста; я — спереди; зади — Блоки; Л. Д. — возбужденная, а А. А. — лишь скучающий, что могли Мережковские рассказать его жизни? Я помню, что я обернулся на эту столь разную пару; Л. Д. помахала мне муфточкой; А. А. сидел грустный: отчетливый, розовый профиль его (розовеющий в солнышке), нос и лицо, напоминающее мне теперь не зарю, а лицо озаренного, скорбно-ущербного месяца; и большая, бобровая, очень пушистая шапка тендила глаза; я махнул им рукой; А. А. криво совсем

обернулся. Ухаб: и — подпрыгнули; нос убежал в воротник, точно месяц ущербный под облаком.

Слово "ущерб" определяет мое впечатление от него в эти дни; что-то лунное в нем подчеркнулось; казался черствее и суше: поджатый, ущербный; не элегантен он был; и не розовым — желтоватым казался; он маску носил на лице острой боли, которая сопровождала стихи им написанные в период писем о Канте и страхе<sup>26</sup>: "За желто-красную листву уходит месяца отрезок... Как бледен месяц в синеве... Как там качается в листве забытый, блеклый, мертвый колос..."<sup>27</sup>

Таким блеклым, забытым и мертвым — сопровождал он Л. Д.

Замечателен месяц в "*Нечаянной Радости*"; он — отрезок; он — серп, искривленный, ущербный:

Вот — сидим с тобой на мху  
Посреди болот.  
Третий — *месяц наверху* —  
Искривил свой рот<sup>28</sup>.

Или:

Ты оденешь меня в серебро,  
И, когда я умру,  
*Выйдет месяц — небесный Пьеро,*  
*Встанет красный пауч на юру*<sup>29</sup>.

Или:

*Круторогий месяц щурится сверху.*

Или:

Кто там встанет с мертвым глазом  
И серебряным мечом?

Или:

*Месяц по небу катился — злоеющий фонарь.*

Или:

Лазурью бледный месяц плыл  
Изогнутым перстом.

Всюду — шурый, изогнутый, перекиривленный и мертвый гримасник: таков этот месяц; а то же, что под ним, то есть — чувственность:

Лазурью бледный месяц плыл  
Изогнутым перстом.  
У всех, к кому я приходил,  
Был алый рот крестом.  
У женщин взор был тускл и туп

И страшен был их взор:  
Я знал, что судороги губ  
Открыли их позор...  
.....  
Меня сжимал, как змей, диван,  
Пытливый гость, — я знал,  
Что комнат бархатный туман  
Мне душу отравлял<sup>30</sup>.

Этот лейтмотив месяца стихотворений А. А. — все срывающий скепсис, подозревающая человека улыбка, граничащая с издевкою, и впечатление от него самого того времени — впечатление от ущедрного месяца: деланная улыбка, зеленоватый оттенок мутнеющих глаз, мной подсматриваемый сквозь налет равнодушия (Ну — избил бы, ну раскричался бы лучше!).

Таким я подметил А. А., подъезжающим в саночках к дому Мурузи; заранее он отравил мне всю радость знакомства Л. Д. с Мережковскими: не было еще знакомства, а он — *"искривил"* свой рот.

И к стыду своему я в себе уловил прилив бешенства к этому *"рту"*.

Появились втроем мы в гостиной; З. Н. в белом платье (скорее в подряснике) там пышшла уже рыже-розовыми кокетливыми волосами, затянутыми ярко-алою ленточкой, несколько официально оглядывала через взлетевший лорнет; вот упал он от глаз; улыбаясь, пошла к нам: Л. Д. даже как-то рванулась навстречу; взяв за руки, сели рядом, озаренные красною вспышкой камина; его растапливал, перекаляя в нем щипчики; занял обычное место свое у огня, забавляясь развитием красного газа. А. А., — сел вдали: сел в тени; не желая вступать в разговор, он отсиживал; я молчал, чутко вслушиваясь; слышались ленивые фразы З. Н. :

— А... скажите...

— А... как же...

— А... Боря рассказывал...

Разговор принял дружественное течение; я удивлялся: естественна встреча; и думалось, глядя на Блока:

— Чего ты такой ?

Он — тенел, выступая лицом, восковым, точно мумия; и я подумал, поглядывая на З. Н. :

Петуха ночного пенья.  
Холод утра. Это — мыг<sup>31</sup>.

Если бы знал я те строки, которые скоро напишет А. А., я бы их процитировал — в применении к нему:

Ночь глуха.  
Ночь не может понимать —  
Петуха<sup>32</sup>.

Непроизвольным движением (от нервности или досады) я выхватил из камина щипцы, повернувшись в полуоборот и взмахнул ими в сумерках;

увидавши сияющий белый зигзаг раскаленного, пахнущего угаром металла, Л. Д. вдруг схватила за руку З. Н.:

— Посмотрите...

— Что делает...

— Остановите...

Чего испугалась? Засунул щипцы в раскаленные уголья; и — отошел; явился Д. С. очень-очень любезный и милый (как будто бы светский): как будто пришел *"Пирожков"*<sup>33</sup>. Д. С. часто, впадая в рассеянность и натываясь на дам приходящих к З. Н., — удивлялся: откидывался, стеклокий, холодный и — спрашивал:

— Вы? Зачем?

И выходило:

— Как жаль!

В этот день был Д. С. прелюбезен.

Но все обращались к Л. Д., — не к А. А.; было ясно, что "Блок" не при чем: никому он не нужен; и *"нашим"* не будет ("Мы — ваши, вы — наши!")... Он сам это знал, покоряясь печальнейшей участи: ущемляться у стенки, досиживать, чтобы потом удалиться; и, отсидев, удалился.

З. Н. говорила потом о Л. Д.:

— Удивительно женственная натура она...

И Д. С. все похаживал:

— Да, что-то есть в ней...

И, кажется, выражал свою мысль: Л. Д. *действие* нужно; она — в *созерцании* (а под *действием* разумел он, конечно же, — *новое религиозное действие*), долженствующее открыться в кругу *"сознающих"*, иль *"Зины"*, *"Антон"*, и *"Димы"*: но *"Зина"*, *"Антон"* или *"Дима"* *"писали"* в газетах и *"прели"* в собраниях; Л. Д. надо бы было скорее *"взопреть"*: в заседаниях Религиозно-Философского О-ва... Поговорили с часок о Л. Д.; и *"взопрели"* на темы серьезные, об А. А. и не вспомнили.

Ты оденешь меня в серебро,  
И, когда я умру,  
Выйдет месяц — небесный Пьеро —  
Встанет красный паук на юру.

На другой уже день пред разложенными сундуками, запихивая в сундуки переплетенные книжечки со стихами, флаконы духов, связки рукописей и изящные ленточки, З. Н. снова говорила о *"Блоках"*; просила писать ей.

Уже проводили Д. С. и З. Н. на Варшавский вокзал<sup>34</sup>; Д. С. ехал в теплой, енотовой шубе, хотя разливала потоки весна (он боялся — простуды, заразы, пылинок: потом — революции); только в вагоне одел он пальто; с Мережковскими выехал и Д. В. Философов. Я же, *"Тата"* и *"Ната"*, и, кажется, Карташев — провозжали.

И — опустело: мы зажили в *"Таты-Натиных"* комнатах; стало в гостиной уныло; и нянюшка, Дарья Павловна, надев на нос очки, обходила

квартиру; ходил Карташев; Ната насвистывала духовные песни, работая над резною скульптурой; да: хаживал тоже художник; и он — заикался.

Раз даже обедали вместе (А. В. Карташев, "Тата-Ната", я, Ремизовы) — в кабинете у Палкина; пили вино; и А. В., приподнявшись, стакан протянув, вдруг запел своим тенором, в пении закрывая глаза, точно птица: "Вы жертвою пали в борьбе..." А. М. Ремизов предложил поводить хоровод; мы, смеясь, поводили; потом — заходили сниматься: снялись; дней через десять уехал я<sup>35</sup>: где эти снимки — не знаю.

## Слишком поздно!

Да, решительный разговор! Но о чем? "Балаганчик" — не в нем только дело, а в том, что в словах между нами ни разу и не было сказано, что носилось вокруг "атмосферой" без слова, в ритмическом оберганьи друг друга во имя единого Главного; перед какою-то темой ходили мы оба — ценнейшей, которую мы должны были некогда осуществить на земле; так, команда фрегата, осуществляет различные функции, в конечном итоге все функции способствуют плаванию; гордый фрегат пересекает опаснейший океан; и — приближается к Новому Свету; матросы команды во время пути могут ладить друг с другом; и могут поспорить они; это — частное дело; их общее дело какие-то производить очень разные действия (так: один измеряет глубины, другой — смотрит в трубку, а третий просмаливает канаты; четвертый — стоит у руля); в результате же разнообразных и видимо вовсе не связанных случб совершается общее дело: корабль продвигается.

Да, возникшая непроизвольно "коммуна" — А. А., я, Л. Д. и С. М. Соловьев. Мы с С. М. добровольно избрали А. А. капитаном; Л. Д. оказалась по моему мнению (уже потом) очень-очень талантливой капитаншей; С. М. ее прочил в начальницы; произошло вдруг смещение команды; и в результате: С. М. нас покинул; теперь уже я обнаружил подмену пути, в результате которого произошло столкновение; обнаружена течь, от которой — корабль погибает; а "капитан" называет событие это — "Нечаянной Радостью"; я все стараюсь пред ним обнаружить ошибку; а он — запирается, предоставляя нас участи; я — произволом захватываю от отчаянья власть над командным составом; и — силнось спустить прямо в воду спасательные баркасы; теперь предлагаю настойчиво сесть пассажирам (Л. Д.), пока можно спастись. Меня спрашивают: "А капитан?" Я бросаюсь к каюте, в которой сидит легкомысленный капитан, начинаю ломиться в нее; дверь — заставлена, как нарочно, какими-то совершенно ненужными тяжестями и "тюками" ("тюки" государственные экзамены "Саши").

Вот как символически изобразил бы я суть создавшегося положения меж нами троими.

Не важны совсем и те личные отношения, какие теперь обнаружилились; меж капитаном и мною могли быть нежнейшие дружбы, могли быть сквернейшие свары; нежнейшие дружбы и скверные свары для общего корабельного

дела — ничто, когда надо стоять у руля, когда надо натягивать парус; ведь общее дело — спасенье нашего корабля — в миг опасности вызвало бы лишь сознание долга в участниках плавания; мне казалось, что в личных тревожных нападках моих на А. А., непонятно молчащего в миг, когда наш погибает корабль, на который вступили мы все, осуществляю единственную возможную линию поведения так: в нападениях на Блока я видел свой долг; лишь годами позднее я понял: в молчании Блока была своя тактика, более мудрая, нежели беспокойное подавание сигналов к спасению; гибель душевного мира А. А. я воспринял, как течь корабля; он — в гибели мира души не забыл о духовном; в духовном пути продолжал свое странствие "Арго"; сильную качку воспринял ударом о камни; мой зов "на баркасы", — был бунтом матроса; и капитан отвечал мне:

— Молчи.

Я молчать не хотел; кричал:

— Гибель!

А гибели — не было; зов на баркасы был — гибелью; с ним и боролся А. А.; не расслышал духовной команды; А. А. не сумел сделать внятной команду; А. А. был Колумб, верно правивший плаваньем, но неверно осведомленный о способностях к слуху; оба — неправы; опять-таки, — правы; вина — не во мне и не в нем; и опять-таки, — может, во мне; он меня не винил; за мной бунт; я его обвинял.

Вины не было там, где искал я; вина в том, что трудные переживания мистерии человеческих отношений свалились совсем неожиданно; невоплотимые без духовной работы и без среды *сизигической социальности*, о которой мечтал Соловьев, — отношения опрокинулись: в безобразии долгих, гнетущих, кошмарами дышащих дней, даже месяцев; где же мудрые, вещи руководители знаний? Они — опоздали: они не пришли, допустивши надрыв в этой пламенной жизни.

По книжечкам циклов, прочитанных Штейнером<sup>36</sup>, просто указывать, где *напугал в пути к посвящению Блок... И легко говорить: "Фридрих Ницше погиб оттого, что ключами науки еще не владел..."* Где были ключи? Допустили страдание Ницше и лучшего русского, нужного русским.

Блок — душа столь огромная, что овладей она тайнами знания, она озарила бы светом Россию: но констатировали: что в начале столетия вопрошала душа русской жизни, не получая ответов.

Позднее — я рассказывал Блоку: антропософия мне открыла то именно, что для нас в эти годы стояло закрытым; но было уж поздно; стоял опаленным А. А., потому, что он ранее прочих стоял пред Вратами; пусть тысячи, запасаящиеся антропософскими циклами, безнаказанно знают пути, изучая внимательно пятьдесят с лишком циклов!

Вы скажете: антропософия! Да, — слишком поздно!..

Я Блока простить не могу!

.....

Он тянулся к гармонии человеческих отношений; об упражнениях, медитациях, шести правилах<sup>37</sup> не говорили ему; помню я, что дрянную книжечку

Ледбитера<sup>38</sup> он перелистывал; и — разглядывал ауры; но не к восточным же теософам? И сквозь Ледбитера в годы те он подслушивал что-то. И юношей он понимал: человеческий коллектив — индивидуум: орган Софии; искал он связаться, искал "эотериков": "Свяжем вместе руки, отлетим в лазурь"... Знал, — для этого отлетания надо конкретно самим стать лазурью: "Не поймешь синего ока, пока сам не станешь, как стезя"; как же стать "синим оком"?

Где же были вы, когда Блок подходил к вашим темам? И — почему не ответили?

Он был близко от места Иоаннова Здания. Здания — не было.

Фаусту открывается — после пути  
Он отошел: навсегда!

Das Unbeschreibliche  
Hier ist getan...<sup>39</sup>

Это — увидел в начале пути А. А. Блок: "Chorus Mystikus"<sup>40</sup>! Мы — собрались: постарались создать этот хор; появились "мистики" "Балаганчика". Где было Белое Братство, когда еще дети совсем, нарядились мы в "белые колокольчики" Соловьева.

Не виноваты, что тайна — коснулася, а пришло объяснение лишь тогда, когда стали пеплом.

Что думать? Что были мы жертвами тех, кто вершат судьбы, сроки, иль жертвами... собственной неосторожности? Мы отделись световому лучу, мы схватились за луч, точно дети; а луч был огнем; он нас сжег; назидательное объяснение опоздало — лет на десять!..

"Блок" теперь спит; я калекой тащусь по спасительным, поздно пришедшим путям.

Отвечайте же, мудрые!

В те недели я ждал: готовится слом трех мистерий не осиливших жизнью; нужна нам была эвритмия<sup>41</sup> духовная, нет, не теперь (теперь — поздно!); тогда! Если б мы в эти годы умели ходить амфибрахием<sup>42</sup>, ямбом<sup>43</sup>, — А. А. бы был жив; не лежал бы в парижской больнице и я, изливаясь уньльми строчками:

Нет. — Спрячусь под душевные плиты...  
Могила, родная мать,  
Ты одна венком разбитым  
Не устанешь над сыном вздыхать<sup>44</sup>.

Лейтмотив "корабля" иль пути появляется явственно в произведениях А. А. того времени. "Арго"-таки нас везет; совершаем отплытие мы, как умеем, без изучения "Wie erlangt man"; и даже "Dreigliederung"<sup>45</sup>, где-то предвидено. Да, на корабль мы пытаемся сесть.

Лейтмотив *"Кораблей"* подымается в лейтмотивах *"Нечаянной Радости"*. В стихотворениях прежней эпохи их нет еще; что же такое корабль? Это — целое; это — плерома<sup>46</sup> из душ, это — храм; сюда входим, доверившись детски друг другу; и — отплываем; и указание на отплытие это есть первое упоминание о *"корабле"*:

Там зажегся последний фонарь,  
Озаряя таинственный мол.  
Там корабль возвышался, как царь,  
И вчера в океан отошел.

И уже тотчас с момента отплытия корабля, — из туманного моря навстречу встает образ смерти:

Издали мне привиделась Смерть,  
Воздвигавшая тягостный звук<sup>47</sup>.

Эта смерть — катастрофа, постигшая *"Арго"*. Она мне предвиделась; изобразил ее я в фантастическом измышлении *"Аргонавты"*\*:

Что тягостный звук?  
Переплески далеких морей.  
Голоса корабельных сирен.

Сирены же есть наваждение:

Дочка, то сирена поет.  
Берегись, пойдем-ка домой...<sup>48</sup>

То, что строит корабль отплываний, есть "зори"; "корабли" у А. А. очень часто на фоне зари, иль весны; корабли сами — зори:

"В час закатный, в час хрустальный показались корабли... *Пели гимн багровым зорям...*"; или "Но с кораблей, испытавших ненастье, *весть о рассвете достигла земли*"...; "*Стоит полукруг зари*. Скоро солнце совсем уйдет. Смотри, папа, смотри, какой к нам корабль плывет...""; "*Полоской алой покати-лась... слеза... А корабль уплывал к весне...*"; "*Тихо повернулась красная корма, побежали мимо пестрые дома*". Корабли сулят — радость: "*И я пою все так же стройно мечту родного корабля*"; "*И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводи все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели*"; "*А корабль уплывал к весне*"; "*Здесь тишина цветет и движется тяжелем кораблем души*". Маяки освещают кораблям путь: "*О, светоносные стебли морей, маяки!.. И лучи обещают спасение там, где гибнут матросы*". Скоро все те корабли только — призраки, тени: "*Мы печально провожали голубые корабли*"; "*Смотри, уж туман ползет: корабль стал совсем голубой*". Корабли — погасают, становятся снами: "*И на розовой гаснет корме уплывающий кормщик*"; "*Только на закате в зорях наклоненных мчались*

\* См. "Золото в лазури".

отраженья, тени кораблей. Но не все читали заревые знаки, да и зори гасли, и — лицом к луне — бледная планета, разрывая мраки, знала о грядущем безнадежном дне". Корабли тают: "Безначальный обман океана". Корабли терпят крушение в тумане и в вое сирен: "Вы слышите — где-то за ночью, за бурей — взыванье сирен"; "Гудел океан, и лохмотьями пены швырялись моря на стволы маяков. Протяжной мольбой завывали сирены: там буря настигла суда рыбаков".

## Решительный разговор

С корабля наших странствий хотел я спасти на волнах качаемой лодочке; и в рецензии с раздражением откликнулся на фразу невнятного предисловия к "Нечаянной Радости": "Новой радостью загорятся сердца моряков, когда за узким мысом появятся большие корабли". Не без злости я спрашивал: "Радоваться только тому, что из-за узкого мыса плывут корабли еще рано"; и — разумел строки Блока:

Смотри, папа, смотри  
Какой там корабль плывет!  
.....  
Дочка, то сирена поет,  
Берегись, пойдем-ка домой.

Появлением "корабля" начинается гибель героя в одном из рассказов Мопассана<sup>49</sup>: Прекрасная Дама на пароходе не ездит<sup>50</sup>. Корабль привозил... Незнакомку... Вы помните: в драме А. А. "Незнакомка" корабль фигурирует лишь малярной раскраскою стен кабачка, а движенье его — головокружение пьяного чувства. С таких "кораблей" предлагал перебраться в простую, житейскую лодочку.

Разговор должен был резко выдвинуть это.

А. А. же с упорством бежал, выходя к нам с Л. Д. или ко мне с Александрой Андреевной, вперял свои детские, очень большие глаза; и — просил:

— Боря, нет!

— Лучше нам помолчать: подождем!

"Снисходил": сам же рвался к решительному разговору меж нами; и "снисхождение" — откладывалось, как мучение: раздражением.

— "Тюк" — думал я — "вот так "тюк!"".

— Нет, не сдвинешь...

И превосходство порой прорывалось: казалось: щажу, но ценой осложнений сознания во мне.

Разговор велся линией жеста, поступков; словами — молчали, иль говорили: простое, пустое; помалкивала Александра Андреевна, насторожилась, почувствовав отточенность отношений.

Все-таки, — был разговор: и я считаю его обусловливающим поведение этого года:

Заранее предупредил я А. А.:

— Ах, не надо бы...

Заявил: говорить-таки надо; от этого разговора зависит — все; понял в словах — ультиматум; и оторвавшись от чтения, посмотрел на меня очень-очень открыто; и, натягивая улыбку на боль, сказал:

— Что же, я — рад!

И я тут заявил о радикальном решении (содержанье его опущу)<sup>51</sup>, отражающемся больно на нем; не забуду: лицо его, словно открылось: открытое, протянулось ко мне голубыми глазами, открытыми тоже; на бледном лице (был он бледен в те дни) губы дрогнули: губы по-детски открылись:

— Я — рад...

— Вот...

— Что ж...

О, горькая радость!

И был он прекрасен всем матовым ликом и пепельно-рыжеватыми волосами, и жестом изогнутой, гордо откинутой шеи, открытой и выражающей мужество; встал над столом, а рубашка свисающей шерстью легла вокруг талии мягкими складками; великолепнейшим сочетанием свето-тени: на фоне окна, открывавшего сырый простор ледяного пространства воды с очень малыми зданьями издали; перелетали вороны; и черно-синие, черно-серые тучи, смешавшись с дымами, праздно повисли; и — чувствовалось: поступь судьбы.

Утро скажет: взгляни, утомленный работой,  
Ты найдешь в бурунах  
Обессиленный труп,  
Не спасенный твоею заботой...  
Избежавший твоих светоносных лучей,  
Преступивший последний порог...

Невидим для очей,  
Через полог ночей  
На челе начертал примиряющий Рок:  
"Ничей..."<sup>52</sup>

Я впоследствии вспоминал эту сцену: стоящего над развернутой книгою по сравнительной филологии (может быть, и над книгой Судьбы), отражающего улыбкою наносимый удар: и большое чело поразило; не оттого ли, что здесь *"начертал примиряющий Рок"*.

— *Ничей!*

— Я — рад!

.....

В воспоминании — вспомнилось (воспоминание вспомнилось) первое появление Блоков ко мне на Арбат; и — какое-то замешательство между нами троими, как вести судьбы о грядущем несчастье; там, в очень маленькой, тесной арбатской передней в предчувствии предносилось стояние нас через два с лишним года у письменного стола над тяжелой книгою по сравнительной

филологии (может быть — книгой Судьбы), у окна, показывающего ледяные пространства воды с очень малыми зданьями издали; там грязнели от дыма клокастые черно-синие, черно-серые тучи, повисшие праздно, перерезаемые полетом ворон:

Eine Krahe ist mit uns  
Aus der Stadt gezogen<sup>53</sup>.

Тут и наметилаь необходимость дальнейшего объяснения, происшедшего в начале слезливого марта, когда сквозняками приневского ветра срываются шляпы и через голову остервенело закидываются плащи и подолы, когда мостовая в тумане скрежещет лопатами, шлюпают грустно в ногах шоколадная слякоть чистойшего снега, сваренного в гадкую гниль, распространяющую инфлуэнцы и насморки.

В этот вечер тревожная Александра Андреевна особенно тихо, передавая мне чай, торопила:

— Да пейте же, пейте скорее: вам надо...

— Уже поздно.

А. А. сидел молча; Л. Д. была чопорна; Александра Андреевна, показывая глазами на "Сашу" и "Любу", как бы говорила:

— Вы — бережнее!

Я заметил внимательный глаз, черно-карий, над носом, склоненным к бородке, закручиваемой худою, сухою рукой; Франц Феликсович, мягко входящий и исчезающий так же, тут понял, что сердце стучало; я к нему повернулся, но — нет: черно-карий глаз бегал кротчайше над скатертью, и — потирались руками; в эпоху натянутых отношений с А. А. Франц Феликсович делался мне очень близким — чем? Может быть тем, что А. А. ему чужд (сам А. А. мне признался). И стыдно: в моих расхожденьях с А. А. опирался как бы на Ф. Ф., предлагая сочувствие. Ошибаюсь?

Наверное!

Встали, прошли в кабинетик А. А., затворив плотно дверь; электричество (красенький абажур); вот и стол с деревянною папиросницей, шкаф с корешком тома Байрона, столь любимого, темно-желтая с красным ткань, леопардовая какая-то, на Л. Д., шелестящая тихо, когда, точно кошка, Л. Д. припадала на жесты, чтобы вовремя выпрыгнуть из застылости и очутиться меж нами; схватясь руками за золотистую, подвитую головку, сверкающими глазами перебегать с А. А. на меня (и обратно), то — сталкивая, то — разводя нас, как секундант на единственном посидинке идеологий, столкнувшихся жизнями; уподобляясь дуэлянту, на дерзостных выпадах (на секундах и примах без кварт и сектим), нападал на А. А., побивая своей прямою предполагаемое "двуличие", чтобы сразу распутать неразрешимую петлю меж нами.

Выступая открыто, старался А. А. дать понять я, что лучше по-рыцарски биться, чем тайно подсиживать; будущее показало: "двуличие" А. А. было следствием верности духу при недоверии к той душевности, которую считал "духом" я; и не видя душевности, я стремился к разрыву; диктовал уль-

тиматумы *позой*; А. А. ждал лишь мудрого разрешения временем тяжбы; он правду мою созерцал, как туман, из которого выхода нет; есть — один: растворить в атмосфере: *высоким давлением*; я — боролся с туманом, бросаюся; и — попадая в туман; в этих жестах, бросающих к выходкам — была правда моя: верней поза, которую я рисовался.

И на тему "*двуличия*" распространялся я с пафосом; и А. А. — темный, встрепанный, беззащитно блуждая глазами, сидел "*раскорякой*" (без светскости), — у стены, на диване, выщипывая волосики из сидения; и опускал низко голову; и уставлялся в меня исподлобья "*непонимающим*" взглядом.

— Тюк!..

Тут вмешалась Л. Д. :

— Саша, да неужели же!

И — безмолвие, ни уступающее, ни обвиняющее: глухое.

Ночь глуха.

Ночь не может понимать —

Петуха.

Но он был победителем, отвечая на примы контрпримами; и — отлетала рапира моя:

— Нападай! — всеми жестами я говорил; опустил он рапиру: сидел и выщипывал из дивана. Тут поединку противопоставил другой: испытанье терпением, непоказуемым мужеством, полным отсутствием позы; а я, маркиз Поза<sup>54</sup>, стоял перед ним; что мог он отвечать? Что решенья мои — фальшь и фальшь; сам исхода — не видел.

Молчал.

Но молчание истолковывал я по-иному; мне виделся образ противника, выронившего рапиру и открывающего грудь в расчете на то, что рапира опустится; и — опустилась: от чувства жалости: точно сел на ковер, совершеннейшим раскорякой, сказав:

— Конечно, для человека, севшего на пол\*.

И я — "*поцадил*", оборвав разговор и стремительно убежав, не прошившись.

Мне стыдно: так мудрость ушибла меня; и бежал по промозглым проспектам с тоскою, которую выразил я в "*Петербурге*" (описывая пробеги Николаеньки Аблеухова вдоль октябрьских каналов) — по направлению к Шпалерной, где снял себе комнату (у Таты-Наты произошла перемена: перемещения); я попал в ресторанчик, на Караванной; в душе отдавалось:

— Победен! Победен!

.....

Идеология в ту эпоху ломалась: и представляла сложнейшую амальгаму из Риккерта, Ницше, Бакунина, Штирнера<sup>55</sup>, Иоанна; она диктовалась: переоценкою ценностей, переживаниями, революцией, оборвавшей свой ход и теперь потухающей, взрывами бомб и налетами максималистов.

\* Слова из моей "*Симфонии*"<sup>56</sup>.

Гносеологическое суждение "истинное есть ценное" я истолковывал в подчинении отвлеченных понятий об истине ценному творчеству, индивидуальным путям, опрокидывающим и взрывающим старые формы: "тюки"; что касается этих "тюков", то моя философия диктовала:

— Взрывать!

Философия эта врезалась в вопрос, поднимаемый каждым в те дни:

— Можно ли убивать?

И Каляев<sup>57</sup> — герой мой; и себя мыслил Зигфридом; Зигфрид — убил злого Фафнера<sup>58</sup>, косность биологического бытия превратив в ценность жизни. А. А. представлялся мне пропускающим нечисти в место, где строили храм. Вставал жгучий вопрос: что с ним делать? Как быть? Бить по Блоку? Но — избегает он боя; и преграждает дорогу, как... "тюк".

Отступил без ответа; ответ — рестораник на Караванной, в котором по вечерам я урюмо старался забыть тот же голос, мне шепчущий:

— Должен: ты — должен?

— Что должен?

Молчало...

.....  
Дела призывают в Москву; и я — еду; с намерением — скоро вернуться; там в долгих беседах с С. М. Соловьевым, с Петровским высказываю я горечь недоумения, надорванности; утешением — мне беседы с М. К. Морозовой, задевающей светлые струны; поддерживаю переписку с Л. Д.; Блок не пишет: молчит.

Заболевает Л. Д. Надвигается время обратного выезда в Питер; письмо от А. А.: не приезжай<sup>59</sup>, потому что Л. Д. ослабела, а я — весь в экзаменах; и подобное — получаю от Александры Андреевны; воспринимаю я письма не просто; в них вижу предлог улизнуть; это все обуславливает мой отъезд из Москвы; уведомляю Л. Д., Александру Андреевну неделикатнейше; Александра Андреевна обижена; а Л. Д. — рекомендует не ехать; я — еду<sup>60</sup>.

Святая неделя!..

Приехал с тяжелым принудом, иду неуверенный, буду ли принят; стесненно встречает Л. Д.; и приводит на "их" половину; из этого заключаю, что Александра Андреевна — не принимает меня; застаю переводчика, Ганса Гюнтера<sup>61</sup> и латышского деятеля<sup>62</sup>, восхищенного красотой Петербурга и атрибутами автократии; А. А., сдержанный, все же любезный, показывает: не рассеять молчания, никаких разговоров! Звонок: появляется С. Городецкий...

Подавленный, возвращаюсь на Невский, в Бель-Вю.

Дипломатия восстановилась-таки: Александра Андреевна меня приехала, положив гнев на "сдержанность"; выказала удивительное терпение: всей душой примыкая к А. А., зная ярость мою на А. А. — быть такой деликатной! Л. Д. допускала меня к разговорам; ходил к ней; запомнился день; был он душен и мутен: гроза приближалась; молчали; Л. Д. ушла взглядом в страду. А. А. в эти дни я почти не видал; он сидел у себя; и потом — исчезал он.

Однажды, в 12 часов ночи — он: входит в мятом своем сюртуке, странно серый, садится; и — каменеет у стенки; Л. Д. :

— Саша — пьяный?

А. А. — соглашается:

— Да, Люба: пьяный...

Вернулся в тот день с островов; в ресторане им было написано стихотворение "Незнакомка", потом получившее очень большую огласку; его — не любил за все то, что связалось с надрывом в А. А., выступающего из теней серо-стертым лицом; и — заявляющего хриплым голосом:

— Да, Люба: пьяный...

Стихотворение фигурирует, как автограф: я помню бумажку с набросанными строками; склоняюсь — над почерком: сравниваю начертания букв с начертаниями первых писем; да, да: изменилась рука; там — крупнее, прямее, нажимистей, четче; здесь — более хвостиков, закруглений; и — буквы сливаются: спешка!

Меняется с почерком вид; исчезает совсем франтоватость: "студент" — безо всякой лощености; смята фуражка; и — голос: грубей (хрипотца); взгляд — припухший; где розовая атмосфера, которой он действовал? Глубже морщина на лбу; вырастает отчетливо нос, заостряясь и бросая на впалые щеки какие-то протени; этой весною он ходит остриженный; воспринимаю его: некрасивым и темным, как будто он со свету входит в тень; неуверенно, зыбко и шатко мне с ним; избегаю; и он избегает: молчит; я — поругиваю Чулкова, Иванова; он выговаривает с отчетливым "чтобы" пустое.

— Ходил на экзамен?

— Да...

— Выдержал?

— Выдержал.

Не настаиваю на разборе, на "тяжбе": до "после экзаменов!" В соответствии с видом теперь развито в нем пристрастие к зыбко-расплывчатым ритмам и рифмам; господствует зыбкий размер; и сознательно вводятся мило-неверные рифмы: "границ — царицу", "купальниц — молчальницы", "важный" и "влажный".

Стихотворение "Незнакомка" — отверг; напечатано было впоследствии стихотворение "Клеопатра"<sup>63</sup>; и стало ясно, что "Незнакомка" — явление "Клеопатры", лежавшей в музее и вставшей, зашедшей к Вертгейму, одевшейся в модное все, прикатившей в экспрессе в Россию; явившейся к Блоку:

И веют древними поверьями

Ее упругие шелка.

Тут — "поверья" Египта, проклятого для А. А., наградившего *страшною Музою*, о которой сказал он потом:

И когда ты смеешься над верой,  
Над тобой загорается вдруг  
Тот неяркий, пурпурово-серый  
И когда-то мной виденный круг<sup>64</sup>.

.....

Недоверие к петербургскому символизму откладывалось; и — к его насадителю: Вячеславу Иванову, с *"Башни"*, с Таврической, сеявшего туманы смещений и вылетавшего, вероятно, в трубу по ночам в сопровождении *"ведьмесс"* — на помеле, над тогда открывавшейся Государственной Думой; квартира — высоко-высоко: под чердаком; Дума виделась под ногами; мы вылезали на крышу — по *"средам"*, часов уже в семь (*"Среды"* длились с двенадцати ночи часов до 8-ми, т. е. собственно были не *"Среды"* они — *"четверги"*: до двенадцати ночи сравнительно было там пусто); профессор Аничков<sup>65</sup>, игриво взошедший на крышу, рукою схватясь за трубу, совершенно повис над шестью этажами; при грузной комплекции уважаемого Е. В. это все повергало в действительный ужас; и крыша — меня забавляла, заварка *"мистического анархизма"* — нисколько; течение казалось тлетворным (Чулков писал книгу свою<sup>66</sup>, В. Иванов — сочувствовал; Мейерхольд, про которого Эллис сказал — *"нос на цыпочках"* — собирался, как кажется, что-то такое наделать, раз прибежавши к А. А., заявил он при мне: *"Надо броситься в бездны"*). Я думаю, что профессор Аничков, повисший над бездной с таврической крыши, был подлинным анархистом по храбрости; прочие *"бездны"* не видели: видели — декоративную бездну).

Авторитетность Иванова покрывала двусмыслицы; думаю: Вячеславу Иванову после трудов за границей, попавши в богему, хотелось шалить; вот он выдумал — *"анархизм"*; а я связывал многое, водворившееся между мною и Блоками с литературною атмосферою; революция к героизму вызвала; меж тем: атмосфера мистического анархизма во мне вызывала *"распутицы"* до... Распутина: вместо жизни — промозглый туман, куда прытко в трубу вылетали по *"средам"*; расход между мною и Блоком его влек к Иванову (был я тогда неприятен; Иванов же пел дифирамбы); меня, начинавшего чувствовать это, все более прибавало к лаборатории Брюсова, т. е. к московским *"Весам"*; петербуржцы впоследствии объединились в *"Орах"*; в *"Весях"* я пустил уже прочные корни; с С. М. Соловьевым уже замыслили поход мы на Питер; недоставало лишь мелочи, чтобы оформить раскол.

Дипломатические сношения с Вячеславом Ивановым все же поддерживал; он был ласков, сентиментален, меня обволакивая туманом идей; у него на *"средах"* было шумно; профессор Аничков, К. Эрберг<sup>67</sup>, Чулков, Габрилович<sup>68</sup> и много других, там бывали и деятели искусства: Бакст, Сомов, Билибин<sup>69</sup>, А. Н. Бенуа<sup>70</sup>, Добужинский<sup>71</sup>. Б. А. Леман<sup>72</sup> читал там стихи; отведя меня в сторону, раз рассказывал о каких-то сомнительных опытах; и — внушил подозренье надолго; читал здесь *"Феникса"*<sup>73</sup>, противопоставляя его тайне *"Сфинкса"*<sup>74</sup>, загадке, преодолеваемой актами созиданья; А. А. в представлении моем пал под бременем *"Сфинкса"*; а я — волил ясности: *слова и действия*. Формировалось расхождение; более присягал я освободительному движению; и в *"мистическом анархизме"*, и в *"средах"* Иванова я видел реакцию.

В день открытия Думы<sup>75</sup> встречал депутатов в толпе и кричал, что есть мочи, *"ура"*: даже, — бежал за коляскою Родичева<sup>76</sup>; в демонстрации против старого строя оказалась демонстрация против А. А.

Да, я жил *"идэффиксами"*.

И поэтому: с облегчением встретили быстрый отъезд мой А. А. и Л. Д.; вот и завтрак, последний у Блоков. Сыграл на прощанье "Вы эсерство пали..." Сыграл, и — уехал: в Москву. А. А. был на экзамене. Я не простился с ним; Л. Д., помню, махала мне в форточку белым платочком.

## Горячка

Конец мая. Традиции прошлого года влекут меня в Дедово<sup>77</sup>: в душное, в мутное, в полное грозами лето, когда по России ходила пожарами все охватывающая стихия крестьянских волнений; распространялись листки "Донской Речи"<sup>78</sup>; и двигались полчища вооруженных крестьян, босяков, батраков; и — взлетали усадьбы на воздух; и действовал благоразумный крестьянский союз<sup>79</sup>; встал аграрный вопрос в Государственной Думе; и натянулись на деятелей в черных рубахах (эс-эров), и в ярко-красных рубахах (эс-деков); писал ряд рецензий на Бебеля<sup>80</sup>, Каутского<sup>81</sup>, Ван-дер-Вельде<sup>82</sup> — в "Весах" под псевдонимами: альфа и бета и гамма и дельта<sup>83</sup>. Дышали томительною атмосферою митингов, происходящих в округе, читали усиленно Гоголя; так полюбили его, что С. М. называл его часто ласкательным: "Гоголек". Всюду виделся — Гоголь, С. М. говорил:

— Помнишь весну прошедшего года, дождливую, тихую: как мы ходили в крылатке — той, дяди Володиной\*; все ожидали, как будут цвести колокольчики "Пустыньки"? Нынче — не то... Да — не то. Всюду-всюду: усмешечка этакая. И — припахивает нечистою силой.

— Колдун показался опять<sup>84</sup>!

А С. М. добавлял:

— Всюду — Красная Свитка...<sup>85</sup> Смотри-ка: природа, и та — усмехается Гоголем...

Лето — душило.

И я, и С. М. загорели в жару революции; к нам приходили крестьяне: шептали о том, что творится в окрестностях; верили нам; не вели пропаганды; и все же: крестьяне считали — своими, и крюковские извозчики, везя в Дедово, мне сообщали: Н. Н. (земский врач)<sup>86</sup> очень здорово агитирует; уж и ловят, и ловят: не могут поймать; и, причмокивая губами, повертывались:

— Но-но!

— А земля будет наша...

— А Коваленские...

Сообщали: вот в этом лесу происходит ночами "митинга"; в Каменке проживает под видом приезжего — настоящий жандармский полковник; все ходит с кошелкою он — "по грибам"; и — "митингу" разыскивает.

— А почему это вы говорите?

— Как, барин: вы, стало быть, наш: за народ...

— Почему?

---

\* Покойного В. С. Соловьева.

— Как, да нешто у нас понимания нет? Коваленские, — энти другие. А вы да Сергей наш Михайлыч, — за эдакими...

И "политик", причмихнувши носом, повертывался:

— Но-но!

Подкатывали — прямо к Дедову; появлялася издали, из настурицев, семидесятипятилетняя Александра Григорьевна Коваленская; перед нею "политик" ломал-таки шапку; выпрашивал щедрый "на чай" у меня. Узнавал впервые о неприязни к В. М.<sup>87\*</sup> и Н. М. Коваленским<sup>88\*\*</sup>, дядьям Соловьева, о том недоверии к Александре Григорьевне, знатоку литературы, имеющей вкус к Метерлинку, Ван Лербергу<sup>89</sup>, Роденбаху<sup>90</sup>, которого в пику Эллису называл "Роденбахером" я; А. Г., бабушка, — либерально-умеренных взглядов: хвалила она Милюкова<sup>91</sup>, стыдилась Гучкова<sup>92</sup>; но — Петрункевичей<sup>93</sup> не хвалила за крайность; Н. М. Коваленский стал октябристов<sup>94</sup>, хотя называл он кадетом<sup>95</sup> себя; был действительным статским<sup>96</sup>, и — поражал элегантною: в белом жилете стоял на балконе, играя лорнеткой и, поднимая седые короткие бачки под небо, вздыхал мягким рокотом:

— Солнышко: так я люблю его!

Приезжал отдыхать он из Вильню: на лето.

В. М. Коваленский, короткий и кряжистый; все пришепывал:

— Нет, а по-моему прав — Шмаков...<sup>97</sup>

Говорил не серьезно — для стиля: крестьяне питали к нему все же больше доверия, чем к изысканному "кадету"; и — говорили они:

"Коваленские — крепостники!"

С демонстративным сочувствием относилась округа к С. М. Соловьеву:

— Покойный Михаил Сергеевич, — тот за народ был: отстаивает, бывало, — от Коваленских.

Так ссоры С. М. Соловьева с Н. М. Коваленским за право народа на землю, был "миф", всей округою созданный: как же — такой милый барин, да — против? Шалишь: был за нас...

На С. М. изливали крестьяне совсем уже нежность; старушка крестьянка, увидевши С. М., принялась прибогматывать раз:

— А ходи-ходи — тут: да погуливай... И пикто-то не тронет тебя, мой голубчик...

Предполагалось, стало быть, что — начнут-таки "трогать"; в Самарской, Симбирской, Саратовской, — и очень как "трогали".

Я, как друг Соловьева, был тоже причислен к народолюбцам — без всяких стараний; С. М. таки хаживал к девкам и парням, на их хороводах бывал; и вечерами просиживал в избах; я — нет: по считалось: я есмь "заковыка та самая, от которой все прочее"; а что я не хожу на "митинги", — политика; и уверен я: что если бы я проповедывал консервативные взгляды, — не верили б: тоже "политика" — для отвода: я "есмь" заковыка такая, которая... от которой... ну: эфта митинга!.. И обдавали симпатией

\* В. М. был в то время приват-доцентом механики в Московском Университете.

\*\* Н. М. был председателем Виленской Судебной Палаты.

революционные Степки, Егорки. Ведь вот: либеральная критика дружно ругала за чуждость народу; народ, не читавший меня, через Егоров, Ивашек и Степок гласил: я та самая "заковьяка" и есмь.

Это чувство всегда поднималось во мне при касании с подмосковной деревнею — вплоть до лежания в больничной палате уже в 21 году<sup>98</sup>, где прошло предо мной до шестидесяти человек (лишь крестьян, да рабочих); когда покидал я палату, — палата меня провожала огромной сердечностью: жали мне руки:

— Непременно весной наведывайтесь к нам; — к нам, в Рублево: к водопроводчику!

.....  
Проживая бок о бок с семьей Коваленских, встречаясь за столом каждый день, мы по-разному переживали события времени (Думу, разгон ее<sup>99</sup>, Выборгское воззвание<sup>100</sup>, митинги, кроме того: Коваленские — нарывались (вплоть до *случайно* попавшего камня в окно); переходили от страха к сильнейшему раздражению; мы себя ощущали, как рыба в воде; и естественно: происходили горячие перепалки; А. Г. начинала бледнеть, сжимаясь в дрожащий комочек, в своем черном платьице, в черной косыночке (делалась из году в год она сморщенной, меньше, субтильнее); и откидывалась с иронической улыбкою в кресло. По вечерам мы ходили в село Надовражино, к сестрам Любимовым (те — за народ!); пели песни щемящице:

Догорай моя лучина, —  
Догорю с тобою я.

А в селе Надовражине умирала в селе колдунья; и революционные парни божились, что видели "еху лесную"<sup>\*</sup>. Общение с Н. М. Коваленским мне делалось все трудней и трудней; я ему стал казаться "отъявленным социалистом"; я — первичал.

Моя нервность питалась другим обстоятельством: бурною перепискою с Блоками, ведшею прямо к разрыву; забрасывал Блоков я залпами писем, мобилизуя все свои взгляды на ценность и разрушая их тактику поведения тяжелеснейшею артиллерией: Кантом, Когеном, Евангелистом Иоанном, профессором фрейбургским Риккертом, чтобы построить из Риккерта, Канта, Когена — экстравагантнейшее биографическое разращение поединка идеологий; и доказать им: они — лицемеры; и — контрреволюционеры: буржуи, схватившиеся за мещанский уклад (мне впоследствии признавалась Л. Д., что огромный пакет моих писем сожгла она в печке); Л. Д. с темпераментом отпаривала удары мои, обвиняя меня в святотатстве, в абстрактности, в "Mania grandiosa"<sup>101</sup>; из ссылок моих на апостола Павла она заключила, что объявляюсь Христом (так потом передали мне: вообразите же всю мою ярость: из толкования "Gegenstand der Erkenntniss"<sup>102</sup>\*\* вдрут вывести все это;

\* Эхо.

\*\* Сочинение Риккерта.

а еще — философка, сдававшая "Канта" Введенскому<sup>103!</sup>). Блок писал меньше; и — очень невнятно.

Я с каждым письмом отрезал себе путь примирения; все — компромисс; я дал клятву себе: компромиссам не быть: быть — по-новому! И бродя по сухим пропыленным дорогам, певал:

Отречемся от старого мира:  
Отряхнем его прах с наших ног!

Там, где "ценностей" в отношениях нет, — их взрывают. С людьми? Что ж из этого. Ценность — надчеловечна: гносеологическому субъекту сознания нет дела до гибели эмпирических оболочек. Пусть — смерть: все равно; упирался я тут в психологию террориста; вопрос, от которого я не мог отвертеться, — убийство; и акт, некий акт, кой должен свершиться... стало быть... есть?.. Россия жила этим: экспроприации, покушенья, убийства! И все я — оправдывал; чаще вставало:

— А — можешь убить?

Отвечал:

— Не могу...

Отвечало:

— Так, стало быть, — смерть тебе!

Мысль о самоубийстве, болезненная фантазия, тут разыгрывалась на протяжении месяцев; я бродил по сухим пропыленным дорогам, мурлыча:

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

.....  
— Да, колдун оказался опять...

— Жив Данило...

— Как будто жупан красный в зелени...

— Это — *Красная Свитка*...

С. М. поднимал загорелую голову; и с демоническою усмешкой цедил:

— Да, да, да: припалили деньки "*Гогольком*"!

— Что колдунья, — жива еще?

— Все еще!

.....  
Не было мне ни покоя, ни отдыха; и я бросался в Москву; и оттуда — обратно; попал невзначай раз к себе я в имение\* да и застрял там дней двадцать, отделявая симфонию "*Кубок Метелей*"<sup>104</sup>, отрывки которой читал я зимою А. А.; произведение это полно экзальтации; Блок уже после сказал: "Это — страшная вещь; и — кошунственная!" Предавался писанию мрачных стихов, вроде:

---

\* Тульской губернии Ефремовского уезда.

Ждут: голод да холод — ужотко;  
Тюрьма да сума — впереди.  
Свирепая, крепкая водка,  
Огнем разливайся в груди.<sup>105</sup>

Или:

Приходи —  
В хату мою:  
До зеленых змиев —  
Напою...<sup>106</sup>

И писал "Панихиду"\*.

Твердь — необъятна!..  
На желтом лице моем выпали —  
Пятна.  
Цветами —  
Засыпали.  
Свечами —  
Заставили.  
Устами —  
Прославили.<sup>107</sup>

Помнится очень — пивные, московские, где беседовал с почтарами, с извозчиками, с забулдыгами просто на тему, что лучше погибнуть нам всем, чем так жить; те же самые кабачки и пивные явились у Блока: в стихах, в драматическом перле его, в "*Незнакомке*"<sup>108</sup>. Один разговор свой потом описал в "*Петербурге*" я.

Мать эти месяцы проводила в Мариенбаде и в Мюнхене; жил я в деревне один; иногда с управляющим мчался верхом я по желтым овсам, проповедуя: — Эти овсы есть грабеж у крестьян...

Управляющий, бородатый кулак, — не перечил. Однажды поехал я к Старогальскому священнику: чай пить; и проповедовал: "Время, пространство суть формы наглядного представления". Батюшка тихо молчал, а потом разошлася молва по округе, что барин, мол, — так себе: не в себе, мол.

— А что?

— Как же: батюшке сказывал, будто пространства и нет.

Обитатели тульских пространств возмутились моим нигилизмом (два года я не был потом в этом месте; и — утверждали, что усадили меня на Канадчиковой, на даче\*\*. Все — батюшка!

Да, — приходили украдкой крестьяне (украдкой от управляющего); и — развивал свои взгляды: — "Крепитесь: земля будет ваша: не надо усадьбы палить; организуйтесь лучше в крестьянский союз". Тихо слушали: и — кряхтели; и был на меня настоящий донос Николаю Петровичу, земскому, часто бывавшему прежде у мамы и потому положившему дело "*О подстрекательстве помещика Б. Н. Бугаева к разграблению собственного имущества*" — под сукно (это верно донес управляющий наш); добродушной-

\* Поэма.

\*\* Канадчикова дача — сумасшедший дом.

ший Николай Петрович собрался было меня вызвать и посоветовать мне удалиться из Тульской губернии (временно, разумеется, — пока первые мои не в порядке!), да я в это время уехал: тянуло к С. М.<sup>109</sup> Говорили потом, что уже навострил свое ухо урядник, да земский его уломал; этим дело и кончилось.

Как я, был С. М. очень мрачен, выпысывая программу слиянья с народом; внушил себе мысль, что он должен жениться на девушке, на крестьянке, служившей кухаркой у М., в Надовражине; предложения ж сделать не мог, неуверенный в чувствах крестьянки, своих, но уверенный в чувствах А. Г. Коваленской при этом известии.

О, грозные, знойные — дни, вечера, когда небо казалось багровым, а мы, обозленные, твердо готовые биться за новую жизнь, разжигали друг друга — свершить акт восстанья; женитьба ли, бомба ли, посрамление ль Блоков, Н. М. Коваленского — будет, что будет! Мобилизовали: я — Ницше и Риккерта; а С. М. — отцов церкви, эсерство, идиллии Феокрита<sup>110</sup>, Некрасова; он во мне вызывал в это лето тот образ, который потом воплотился в Дарьяльском, а Надовражино после сказалося селом Целебеевым<sup>111</sup> мне; доказавши себе обязательность некоего революционного акта, — я шел то же самое энергично доказывать Блокам (в котором письме?); а С. М., натянув сапоги, надев красного цвета рубаху и нахлобучив на голову вместо шапки рогатый еловый венок, отправлялся бродить по окрестностям (верст по пятнадцати, по двадцати он отмахивал в день).

Помню: вечер. С. М. измеряет окрестности; я — на террасе, в качалке: в руках — томик Гоголя (*"Страшная Месть"* или *"Вий"*). Уж М. В. Коваленский из ближнего домика унывает роялем и тащится пальцами по *"Уймись волнения страсти"*<sup>112</sup>, с грехом пополам доплетается до места: *"Дуу-уу-ша ии-стаа-ми-лась... в рузлуу-уу!"* и на "у" непременно споткнется; и — тащится сызнава.

Или: опять-таки — вечер; терраса: семья Коваленских доказывает несостоятельность политических убеждений моих; я — доказываю обратное: необходимо немедленное отчуждение земли; тут А. Г. Коваленская поднимает дрожащими челюстями свой рот, чтобы выразить всю наглядность такой легкомысленной меры: трясется в настурциях; Николай же Михайлович, втягивая оглушительный запах левкоев, играет лорнеткой на беложилетном своем животе; и другою рукою отмахивается малюсеньким веером; очень седые его бакенбарды — презрительно вздеты; и ясные доводы — вовсе не ясны ему:

— Не понимаю...

— Ни слова!

Мы шумно встаем, гремим стульями (я и С. М.); и — идем в Надовражино: вместе с Любимовыми подивиться непонимаьню Н. М. И — затягиваем:

"Вы -- жертвою пали..."

.....

Моя экзальтация крепла; и после письма Любовь Дмитриевны я решаю немедленно выехать в Шахматово (оно рядом почти: одна станция); но — сознаю, что не буду я принят в усадьбе; решаю — остановиться в избе, в деревушке поблизости; но С. М. отговаривает.

А. А., судя по письмам, переживал тяжелейшее лето; в нем сказывалось противление против тем, привлекавших недавно его; в стихотворении, относящемся, по-видимому, к Л. Д. и написанном в августе, он заявляет:

С тобою смотрел я на эту зарю —  
С тобой в эту черную бездну гляжу.<sup>113</sup>

И далее:

Кто кличет? Кто плачет? Куда мы идем?  
.....  
Воскреснем? Погибнем? Умрем?

.....  
Попадаю случайно в Москву: продолжаю обстреливать Блоков оттуда; и — получаю записку: Л. Д. и А. А. собираются на день в Москву\* объясниться<sup>114</sup>; жду; утром однажды звонятся: посылный: А. А. и Л. Д. сидят в "Праге" и — просят туда; я — лечу; я — влетаю на лестницу; вижу, что там, из-за столика, поднимаются: ласково на меня посмотревший А. А., и спокойная, пышущая здоровьем и свежестью, очень нарядная и торжественная Л. Д. (ей одной было видно всех легче); она ставит решительный ультиматум: угомониться. Я — ехал совсем на другое; я думал, что происходит полнейшая сдача позиций мне Блоками; едва сели, как вскакиваю к удивленью лакеев; и — заявляю:

— Не знаю, зачем вы приехали... Нам говорить больше не о чем — до Петербурга, до скорого свидания там.

— Нет, решительно: вы — не приедете...

— Я приеду.

— Нет...

— Да...

— Нет...

— Прощайте!

И — направляюсь к выходу, останавливаемый лакеем с токайским в руке; я — расплачиваюсь; Блоки, тесно прижавшись друг к другу, спускаются с лестницы; я — нагоняю: Л. Д. очень нервно обертывается; и в глазах ее вижу — испуг (как в той сцене с щипцами, — у Мережковских); я думаю, что она верно думает, что я думаю — что-то недоброе; и я думаю на думы о думах: да, да, — удивительно sensitивно<sup>115</sup>; но — успокойтесь: *не это* грозит, а — *другое*, о чем вы не знаете. Показалось мне, что Л. Д. показалось, что имею в кармане оружие я.

Все втроем мы выходим; расходимся перед "Прагою"; Блоки — по направлению к Поварской, я — к Смоленскому рынку.

\* Между прочим, А. А. приезжал переговорить с редакцией "Золотого Руна".

Я через два уж часа лечу в Крюково, сваливаюсь к С. М., ни на что не похожий; С. М. со мной возится; тут нелепая мысль посещает меня: уходить себя голодом; пробую втихомолку не есть (ем для виду); и попадаюсь с поличным: С. М. Соловьеву.

Не выгорело!

А через несколько дней происходит огромная ссора с Н. М. Коваленским (политика!): я не могу оставаться с "реакцией"; и С. М. — то же самое; мы — попадаем в Москву, очень душную, грозную; я — запираюсь в пустой, нафталином пропахшей квартире; и вот --- взрыв Столыпинской дачи<sup>117</sup>; воспринимаю тот взрыв, как в бреду:

— Ага, — видите, видите: все уже рвется.

— Не испытывайте судьбу!

Революционное настроение мое — максимально; вытаскивают к Рачинским меня; мы сидим там: С. М., я и Эллис; Рачинский гремит против наглости экспроприаторов, против убийств; а я — возражаю:

— По-вашему Лик Христов — на Гучкове...

Рачинский, выпыхивая дымками, задорно подхватывает, что скорей на Гучкове; тогда в совершеннейшем бешенстве вскакиваю; и --- заявляю:

— Когда это так, я — отказываюсь от такого Христа: от Отца и от Духа!

И — убегаю; в пивной я просиживаю за бутылкою пива с хмелеющим почтарем; мы — решаем: так жить невозможно. И я запираюсь опять на квартире своей; и моя медитация: переживание человеческого убийства, переживание до мельчайших подробностей террористического поступка (да, да, — не предложить ли себя террористам?); переживаю себя --- убивающим: себя самого (жест Л. Д. обернувшейся на меня — там на лестнице, в "Праге" — инстинкт, диктовавший ей страх: ну и аура же была у меня!). Да, я был ненормальным в те дни; я нашел среди старых вещей маскарадную черную маску: надел на себя, и неделю сидел с утра до ночи в маске: лицо мое дня не могло выносить; мне хотелось одеться в кровавое домино; и — так бегать по улицам; переживания этих дней отразились впоследствии *темною маской и домино* в произведениях моих:

Я в черной маске: в легкой, красной тоге...

Или:

И полумаску молотком  
Приколотили к крышке гроба.<sup>118</sup>

Или:

Только там по гулким залам,  
Там, где пусто и темно, ---  
С окровавленным кинжалом  
Пробежало домино.<sup>119</sup>

Тема *красного домино* в "Петербурге" — отсюда: из этих мне маскою занавешенных дней протянулась за мной по годам.

Ко мне хаживали: лишь С. М. Соловьев, да всегда пребывающий в состоянии сумасшествия Эллис, который в то время завел очень-очень рискованные знакомства с экспроприаторами-максималистами; и решал, как мы все, тот же страшный вопрос: о назревавшем *акте*; и в частности, — спрашивал он меня, — не вступить ли ему в совершенно реальные отношения с экспроприаторами: я его отговаривал; А. С. Петровский, которого мало я видел в то время, переживал тяжелейшую личную драму. Так мы, *аргонавты*, переживавшие зори, теперь превратились в моральном сознании почти что в преступников; каждый прошел над вопросом о *долге убийства* по-своему.

Здесь отмечаю, что нота *убийства* и *взрыва* была лейтмотивом того переходного времени; может быть, лучшие переживали убийство (одни совершенно реально, другие — в себе); большинство — разлагалось: в двусмысленце, в вялости, в крепнувшем сексуализме; и настроение это окрепло в "*Огарках*"<sup>20</sup>, в Каменском<sup>21</sup>, и в "*Санине*" Арцыбашева<sup>22</sup>.

Неистовый Эллис, бывало, сидит у меня: не удивляется *маске* нисколько; и экзальтирует; он — взвывает мое настроение; высиживается решение: вызвать А. А. на дуэль; твердо знаю: убить — не *убью*; стало быть: это — форма самоубийства; от Эллиса прячу намерение это, но посылаю его секундантом к А. А.<sup>23</sup>; он, надев котелок и подергивая своим левым плечом (такой тик у него), отправляется тотчас же — в ливень и в бурю; его с нетерпением жду целый день, он не едет. Звонок: возвращается мама; и — застает меня в маске.

На следующий лишь день появляется Эллис; рассказывает: прокачавшись в бричке по тряской дороге, под дождем, наткнувшись у Шахматова на отъезжающую в Петербург Александру Андреевну, — встречает А. А. и Л. Д. в мокром садике, на прогулке, отводит А. А., передает вызов мой; тут он имеет длиннейшее с ним объяснение. Эллис, передавая это мне, уверяет: все месяцы эти имею превратное представление об А. А.; он — не видит причин для дуэли; А. А. — то же самое он говорил-де ему:

— Для чего же, Лев Львович, дуэль? Где же поводы? Поводов — нет... Просто Боря ужасно устал...

И А. А.-де так ласково спрашивал обо всех мелочах, окружавших меня: ну, — конечно, приехать-де надо мне к ним, в Петербург; кто же может меня задержать? Недоразумение все это!..

Передавая такие слова от А. А., Эллис быстро твердил, перекручивая бородку и дергаясь левым плечом:

— Александр Александрович, — он: хороший, хороший!..

— Вот только: уста-а-алый, уста-а-алый!

И вот: сквозь "*химеру*" мне выступил образ любимого брата; очнулся я...

Эллис же мне рассказал, что Л. Д. и А. А. целый день обо мне говорили; решили: А. А. будет ждать меня осенью в Питере.

— Стало быть то-то и то-то — не то?

— Ничего подобного, — уверял меня Эллис: рассказывал долго, как тихо бродили они по желтеющим, ярко осенним лесам, как А. А. приютил его на ночь, а ночью пришел к нему в комнату, сел на постель и беседовал. С ним

— о себе, обо мне и о жизни; потом, разумеется, Эллис читал переводы Бодлера; и проповедовал пересечения планов ("там", "здесь") в символизме — не может быть только *correspondence*!<sup>124</sup>

— Correspondence! Понимаете?

Я представил, как, верно, он схватывал Блока за локоть; и — тряс ему локоть; и приближал свои красные губы к лицу, обдавая слюною А. А.

Ну, так — так: решено; еду я в Петербург, а дуэли — не быть; и даю себе слово: дуэли с А. А. — никогда не бывать! Эллис мне передал, что А. А. и Л. Д. покидают квартиру<sup>125</sup>; как странно: переезжаем и мы; покидаю я дом, где родился<sup>126</sup>; А. А. покидает то место, где жил еще отроком: в добрый путь!

Нет, какая-то абракадабра!

Приезд в Петербург<sup>127</sup> совпадает с перемещением Блоков; Л. Д. пишет мне, чтобы ждал приглашения; мне показала записка враждебной, но я — скрепил зубы; и протекло: десять дней!

Каждый день ожидал приглашения: не было! Стал тут навеваться Иванов, Е. П.; было ясно, что это — неспроста; неспроста *молчит* он о Блоках, посматривает на меня; и — как будто с опаской; и — водит гулять; золотым сентябрьским деньком мы сидим на скамеечках Летнего Сада, закусываем румяными яблоками.

В этом долгом, мучительном ожидании я простаиваю вечерами на набережной под огромным закатом: в сплошной неизвестности.

Очень запомнился завтрак у Е. В. Аничкова; там собрались: Городецкий, Иванов (В. И.), П. Е. Щеголев<sup>128</sup>, А. И. Куприн; не понравился мне В. Иванов; из шуточек Городецкого, крепких словечек А. И. Куприна и веселого грохота Е. В. Аничкова он выплетал пресладчайшие *Полиелеи*; и — *аллилуй*: Совсем Златоуст! Златокудрый, безбровый и розовый лбом, с очень-очень лоснящимся носом, оседланным крепким пенсне, со стаканом вина заводил разговор о Христе, улыбаясь двусмысленно крепким словом Куприна, заявлению Городецкого:

— Я Христа не люблю...

И на все отвечали "златые уста" примиряющими полиелейными дифирамбами; я сказал что-то, помнится, резкое. Он покраснел (точно так, как краснело лицо его, когда вдруг напала "крапивка": страдал он "крапивкою"), покосился, запел на меня неприязненно в нос:

— Ну, да — ах! Ты с все тою же провинциальной, московской моралью!

Подумалось:

— Так: это, стало быть, пресловутая ширина, всеобъятая *мистического* анархизма...

Позавтрак у Аничкова, мы попали все вместе к А. И. Куприну, проживавшему рядом с редакцией "Мира Божьего"<sup>129</sup>; присоединился: Осип Дымов<sup>130</sup>, Ф. Батюшков; от Куприна же отправились на вечер к Ходотову<sup>131</sup> (всей компанией) и очутились в многолюднейшем обществе; сидели там — Косоротов<sup>132</sup>, Найденов<sup>133</sup> (быть может, Юшкевич<sup>134</sup>); меня поразило, что

публицисты из "Нового Времени"<sup>135</sup> здесь сидели рядом с неизвестною бородатой фигурой, которую представляли гостям: "Видный деятель революции". И — подымался вопрос: как они могут вместе сидеть? Появился и "паж" (бывший "паж"), очень модный в те дни тем, что он отказался газетным письмом от дворянства; и — вышел из корпуса. Кажется, — кто-то явился с сенсацией: Трепов скончался<sup>136</sup>.

Я, живший все эти недели в идейно-обостренной жизни, — с недоумением наблюдал подозрительную общественность петербургской литературы, решив обличить этот стиль в "На перевале"\*.

В те дни разговаривал я и с Чулковым, пытавшимся мне объяснить, что такое мистический анархизм; на словах выходило складнее, чем в книге Чулкова, которую только что разносил я в рецензии<sup>137</sup>; мне Чулков говорил: — Как вы можете быть против нас, когда сами вы с Блоком — мистические анархисты!..

При разговоре, как кажется, был Волынский<sup>138</sup>, который так выгодно отличался от "Вены"<sup>\*\*\*</sup>, тогда возникавшей, своей старомодною строгостью очень хорошего тона; поправился мне он: он звал — показать философскую библиотеку.

Был у Ф. К. Сологуба на вечеру; и познакомился с Кузминым<sup>139</sup>, "Александрийские песни" которого только что появились в "Весех"<sup>140</sup>; он меня поразил своим пеньем стихов, своей лысиной, подведенными веками, мушкой, большой бородою; и — синей поддевкой:

— Действительно, — думал я, — смесь: нижегородского и французского...

В. Иванов, золотой волосами, золатыми речами распелся о крупных достоинствах именно вот такого поэта, как М. И. Кузмин. Сологуб был особенно зол; и все нюхал флаконы с духами. Просили читать меня. Я читал "Панихиду".

Мое появление в "свет" оцарапало душу мне; это — последнее впечатление от Петербурга; его я увез за границу: оно отложилось в "разбойных" моих нападениях из "Весов" на "Шиповник"<sup>141</sup>, на "Оры"<sup>142</sup>, на все петербургское. В. Иванова и А. А. я впоследствии обвинил в покрывательстве всякого хулиганства (несправедливо, конечно).

Все дни проводил я один; долго стаивал я на Неве, под огромным закатом с обидой и грустью.

Раз издали видел А. А. я с угла Караванной; он шел — быстро-быстро, наперевес держа тросточку, высоко подняв голову с бледным лицом, очень злым, с пренадменно зажатым каменным ртом, обгоняя прохожих; мелькнул белый-белый кусок "панамы", залихватски заломленной; и — прорыжело пальто: в отдалении; вообразил я, что он сделал вид, что не видит меня; то же самое сделал и я.

Вот — опять: осяинный закат; только здесь, в Петербурге, бывают такие закаты: все — четко, все — чисто; земля — как тарелка; блеск — в окнах;

\* Отдел, который вел я в "Весех".

\*\* Бывший ресторан, в котором одно время собирались петербургские литераторы.

зеленая глубина — не вода; ярко-красные косяки, бледно-розовые вуали на небе; и — трубы, и — трубы, и — трубы; и — ветер от моря: в лицо...

Наконец: получаю записку Л. Д.; ее тон — неприятельский. Шел к ним в туманный и слякотный вечер (они поселились где-то у Каменноостровского, в маленькой очень квартирке, обставленной бедно: под крышей); неизвестность и трудности заработка диктовали А. А. в эту пору унылые строчки:

Хожу, брожу, понурый,  
Один в своей норе.  
Придет шарманщик хмурый,  
Заплачет на дворе<sup>143</sup>.

Иль:

Открыл окно. Какая хмурая  
Столица в октябре!  
Забитая лошадка бурая  
Гуляет на дворе<sup>144</sup>.

Я уверен: такой точно двор открывался из окон:

Я в четырех стенах — убитый  
Земной заботой и нуждой<sup>145</sup>.

Что-то было октябрьское в хмурой квартирке А. А. Впечатление это скользнуло, как сон, потому что меня охватило отчаяние: в пышных, в неискренних выражениях Л. Д. объяснила: они пригласили меня для того лишь, чтоб твердо внушить мне — уехать в Москву; А. А. тихо молчал, опустивши глаза, улыбаясь и не желая подать свое мнение, но, разумеется, внутренне соглашаясь с Л. Д. Не прошло получаса, — катился с четвертого этажа прямо в осень, в туман, не пронизанный рыжеватыми пятнами мути фонарной; и очутился у моста; и машинально согнувшись, перегибаясь чрез перила, едва я не бросился — о, нет не в воду: на баржи, плоты, вероятно, прибитые к мосту и к берегу (не было видно воды: только — рыжая мгла); эта мысль о баржах — остановила меня; я стоял и твердил совершенно бессмысленно: — Живорыбный садок! Живорыбный садок!..

Прели запахи.

Я возвратился — на Караванную (я проживал в мебелированных комнатах, тех же, которые посетили однажды Л. Д. и А. А. в феврале: с того времени поднялось это все: семь мучительных месяцев!).

Помню, что на столе моем видел пакеты: письмо, не отправленное Мережковским, рецензию на рассказы З. Н., только-только написанную; и — буддийскую книгу (как кажется, "*Сумма-Hunama*"<sup>146</sup>). Хотел писать матери я письмо, объясняющее *все это*, дожидаться рассвета (тогда можно видеть, где баржи, садки, живорыбные, и — где вода)... Да в таком состоянии и пробыл часов 9: без сна. Эти девять часов медитации мне показали: самоубийство, как и убийство, есть гадость.

А утром — записка от Блоков, другая по тону: преласковая; чтоб немедленно был; уже в десять часов я был там; примирительный разговор

состоялся; и даже совсем ничего не сказали: все — страшно устали; все — сразу решили, что следует год не видаться; меня уговаривали — отдохнуть за границей; и я — согласился.

Даем обещание не видаться: год.

В тот же день уезжаю в Москву<sup>147</sup>.

Через две с половиной недели я — в Мюнхене<sup>148</sup>.

## Жизнь за границей

Я — в Мюнхене: до декабря. Я стараюсь осилить тоску: перерабатываю первую половину четвертой *"Симфонии"*; и пишу иногда очень грустные строчки стихов:

Кровь чернеет, как смоль,  
Запекаясь на язве.  
Но старинная боль —  
Забывается разве?<sup>149</sup>

Я вечером посещаю художественный кабачок *"Simplicissimus"*<sup>150</sup>, принятый ласково его хозяйкою, *Kathy Kobus*, небезызвестною среди художников тем, что она выручала когда-то художника Ашби<sup>151</sup>; и — создала ему имя; мне помнятся стены, завешанные рисунками и эскизами (все подарки должавших художников *Kathy*), веселые, красные лампочки, лысый скрипач, бритый, с ликом Бетховена, мне заявляющий:

— *Sonne in Brust*<sup>152</sup>.

Помню — розу, которую каждый вечер преподносил *Kathy Kobus* я, как-то узнавшею, что я русский поэт; и — новатор (то — сообщили об этом, наверное, русские); словом: меня *"Simplicissimus"* принял; а это — значило: принят был в штаб я художественной молодежи: здесь были — баварцы, поляки, швейцарцы, приезжие из Берлина; и — русские; каждый день до 12 я сидел в *"Simplicissimus"* (встретился с Грабарем<sup>153</sup> раз); мое общество: милый юноша, польский поэт, секретарь художественного журнала *"Chimera"*<sup>154</sup>, Грабовский<sup>155</sup> (поляк и, как кажется, драматург), студент Паульсен, родственник философа Паульсена<sup>156</sup>, В. Владимиров (из Москвы, аргонавт), Дидерихсы<sup>157</sup> (брат и сестра); познакомился здесь, в *"Simplicissimus'e"* с Шолом Ашем<sup>158</sup>, таскавшим меня по кафе и познакомившим с Пшибышевским<sup>159</sup>; здесь часто просиживал я в очень милой компании лиц, вызывавших всеобщее уважение (их фамилии долго не знал: при представлении — не расслышал); в компании этой центральное место всегда занимал очень мрачный, казалось, актер, элегантно одетый (шутил с мрачным юмором): больше молчал; говорил я с женою его, миловидной, худенькой, очень вертлявою дамой, которая ударяя размашистым веером, называла меня *"Der gemütliche Russe"*<sup>160</sup>. Потом я узнал: то — жена Ведекинда, а мрачный актер — Ведекинд<sup>161</sup>. Тут сидел каждый вечер поэт: Лудвиг Шарф<sup>162</sup>; порой вышуждаемый публикой, говорил очень мрачные вирши; являлся сюда длинноносый, взлохмаченный Мюзам<sup>163</sup>.

Бывал одно время у С. Пшибышевского, принимавшего ласково в маленькой бедной квартирке; его упросил раз играть: сел — и долго играл мне Шопена<sup>164</sup>: запомнилось исполнение "Полонеза" (потом мне сказали, что это — его лучший номер).

В ту пору висели афиши о лекциях Штейнера. Раз повстречал я знакомую, А. Р. Минцлову<sup>165</sup>; и она зазвала к себе в гости, на Adalbertstrasse; и — спрашивала, что я думаю о теософии; спать мне хотелось; удерживая зевоту, спросил:

— Как относится теософия к социальной проблеме?

И скоро ушел: я не знал, — в этой самой квартире (графини Калькрейт<sup>166</sup>) буду я — с другим чувством, как... ярый приверженец Штейнера<sup>167</sup>.

Оживление мюнхенской жизни не заполняло разрыва: конечно же, — с Блоками; так уж сложилось меж нами в то время; как только распушаем неразбериху из писем — так следующее письмо: начинает ее; расхождение с Блоками в Мюнхене было особенно тяжело: на год отрезаны были мы от обьянения личного.

День начинал с изучения картин старых германцев (в "Пунакотеке"<sup>168</sup>): то — Дюрера<sup>169</sup>, то — Грюневальда<sup>170</sup>, то — Кранахов<sup>171</sup>, то — Вольгемута<sup>172</sup>, Шенгауэра<sup>173</sup> и неизвестного мастера "Жизни Марии"; просиживал в кабинете гравюрном; мир старых гравюр — открывался; и Клиnger<sup>174</sup> в гравюрах мне нравился; очаровал очень "Швинд"; провалился позорнейше Беклин<sup>175</sup>.

Однажды на улице показали тяжелого толстяка: Макса Штука<sup>176</sup>.

Из Мюнхена я писал для "Весов", нападая все более на петербургских писателей.

Вдруг получаю письмо от Д. С. Мережковского (из Парижа); он — входит в мое состоянье<sup>177</sup>; зовет к ним; и — неожиданно: — уезжаю в Париж<sup>178</sup>.

Здесь встречаю — знакомое общество: Н. М. Минского, К. Д. Бальмонта, А. Н. Бенуа, Философова; и — других, неизвестных доселе, среди которых запомнились: граф Буксевден<sup>179</sup>, стрелявший, как кажется, после в отца, И. И. Щукин; запомнилась дама, к которой обедать однажды поехали мы и у которой наткнулись на вылощенного черноусого господина; он мне не понравился; я, за обедом, открыл было рот, чтобы что-то такое сказать о политике, но под столом слышу дергает Д. В. Философов: споткнулся; потом, когда вышли, Д. В. мне сказал:

— Манасевич-Мануйлов<sup>180</sup>, приставленный за наблюдением и подкупающий заграничную прессу...

Да, да: Мережковские окружили душевным уютом меня; всей душой привязался к З. Н. в эти месяцы; З. В. Ратькова-Рожнова<sup>181</sup> рекомендовала мне тихенький пансион на rue de Ranelac, выходящую в сторону Булонского леса.

И тут — начинаются встречи с Жоресом<sup>182</sup>; я делаюсь — "притчею во языках" среди русских: помилуйте — завтракает ежедневно с Жоресом, когда добываются днями, неделями, месяцами свиданья с Жоресом! Произошло это так: раз соседка по табльдоту<sup>183</sup> (балтийская немка) спросила:

— Читаете "Humanité"?<sup>184</sup>

Отвечаю:

- Газета мне нравится.
- Как относитесь вы к Жоресу?
- С большим уважением.

— Знаете, он ведь — сосед наш: за завтраком. Эти дни его нет; вообще же заходит сюда пред Палатою, потому что жена переехала в Тарн; он — один: предпочитает сюда заходить, чем есть дома.

Вмешался хозяин: мосье Жорес — будет завтра.

На следующий день мне соседка показывает, — на окно:

— Вот — Жорес.

И вижу: в окне пробегает плотнейший мужчина в небрежно надетом пальто, в котелке, как-то косо сидящем, размахивая короткой рукою с огромнейшим зонтиком; из кармана пальто — пук газет; появляется в комнате и с усилием снимает пальто; потирая руками, с поклоном садится к нам (рядом с соседкой) — уткнуться в газеты, пока не дадут ему есть. Так сидели — два месяца (все же другие сидели за столиками: общий стол пустовал).

Познакомились — в тот же день; ежедневно беседовали; когда было мне нужно узнать что-нибудь от Жореса, я с соседкою начинал разговор (по-французски); Жорес сидел рядом в газетах, которые он с собой приносил, перевязанный белой салфеткой, откидываясь и устремляя голубовато-зеленые глазки в окно: катал катышки хлеба; бывало, начну говорить: то, мол, это... И он — не удержится: поднимет свой нос из газет, или, скомкав салфетку, так кряжисто перегнется, уставится, скрипнет стулом:

"Et bien, vous — croyez..."<sup>185</sup>

И — поставит вопрос, другой, третий; глядишь — и пошел говорить; и мне, нужное мнение — ясно... Многое так узнавал от него: например, — полагал он, что русские не обладают практическим смыслом, что эмиграция — не производит хорошего впечатления, что церковный вопрос отделен от проблемы религии, ту проблему Жорес допускает, считается с нею; религиозные убеждения — уважает; церковные организации это — дело другое; он не любил выражения "*социал-демократия*", и всегда поправлял:

— *Socialistes*, — говорил он.

Выспрашивал о духовных течениях России и о писателях (записал в свою книжечку переведенные томики Мережковского; и потом мне сказал, что — прочел); говорили о Метерлинке, которого находил он туманным, предпочитая ему драмы Гауптмана; уважал старых классиков; и считал: социалисты должны быть хранителями литературных шедевров; меня поразила умеренность в его взгляде на допустимую границу преобразований в России. И создалось впечатленье: я был — лев для него.

— Если б ваше правительство остановилось на кадетской программе, не думаете ли, что в России вся жизнь изменилась бы радикально?<sup>186</sup>

Я потом его видел — политиком, осторожным (в беседе с Аладьиным<sup>187</sup>, с Мережковским, которого познакомил я с ним); но со мной он был прост, полагая, что я не "*газетчик*", а просто "*jeune homme*"<sup>188</sup>; он ко мне относился

с симпатией; даже с сердечностью (это сказалось, когда заболел); было что-то простое в манере: любил нам рассказывать о животных.

На ломаном языке рассыпался в тирадах я; и удивил же хозяин отеля, сказавши, как раз уходя, Жорес — похвалил меня, тут же прибавив:

— Он, знаете ли, — прирожденный оратор.

Не понимаю, откуда же мог заключить это он; все меня поправлял:

— *Le partie politique*<sup>189</sup>: "le", — не "la"...

И запомнилась: крупная голова, эта серая борода, коричневатые, загорелые щеки; никто б не сказал, что он — лидер, политик (ходили в Палату испытывать наслаждение от созерцания поединка: Жорес — Клемансо<sup>190</sup>); он — казался профессором, каким был<sup>191\*</sup>; раз узнав о моих устремлениях к Риккерт, стал осторожно производить мне экзамен; остался доволен характеристикой Ренувье<sup>192</sup>.

Эти встречи могли бы быть целой главой<sup>193</sup>; здесь — не место; скажу лишь: знакомство с Жоресом оставило незабываемый след; был такой он прекрасный, весь — крупный.

Однажды привел он Аладына: я наблюдал, как Жорес изучает его.

На другой день спросил:

— Как понравился?

— Да, признаться, не очень...

— Я вас понимаю, — уткнулся Жорес в свое блюдо; и застучал он ножом, одолевая "lapin"<sup>194</sup>.

.....  
Мои дни начинались прогулкою по Булонскому лесу; работал — до завтрака; разговоры с Жоресом; работа, прогулка опять; к четырехчасовому чаю — у Мережковских: сидел до семи (с З. Н. Гиппиус чаще); и — возвращался обедать; а вечером — у Мережковских; или — работа, театр.

.....  
Тут вот нервы сказались: болезнью; и около месяца пролежал (разрезали)<sup>195</sup>; я не забуду: сердечного отношения Мережковских: они отходили любовью меня. Выздоровливающий, снова вчитывался в образы "*Нечаянной Радости*", развернувшиеся в большую картину — о, большую чем выражала написанная заметка для "*Перевала*"<sup>\*\*\*</sup>.

## Образцы второго тома стихов

Вовсе новый ландшафт, не предвиденный тихим краем дорог, проводящих чрез первый, разобранный том. Озаренный в конце осеннеющим небом: "*О край неизвестных дорог... Здесь горит осиянный чертог*" — золотой, сентябрюющий; "*Светлая в мире пора*" — начинается новый этап — "*Тишина умирающих злаков*", иль тот же сентябрь; от июня течет первый том; и октябрь — центр второго.

\* Профессором философии.

\*\* Ее привел выше.

Лишь в тоне золота пересекаются томы; но золото — разное; в первом — воздушное; и застывающее металлами, тканями — во втором; так *"окрай"* осиянных дорог здесь лишь — занавес; на нем крупные надписи: *"Золотистая осень разлук"*, *"Золотая порфира"*, *"Осеннее золото"*, *"Золоторунная грусть"* и *"Тяжелое золото"*; занавес — стилизован: и нарисованы: облако золотое — *"шишак"*; солнце — *"шлем воина"*; много металлов; обилие меднобронных доспехов: здесь — шлемы и латы; щиты и мечи; в первом томе щит — *"солнце завета"*; мечи же — *лучи*; здесь обратно: и солнце — *"шлем воина"*; и — *"закат оловянный"*; и месяц, как *"шлем"*; снова — *"шлем"*, *"шлем"*, *"на шлемы"*; опять — из-под *"шлема"*, *"шлем воина"*. Сколькие *"шлемы"*?

И — сколькие *"латы"*, *"щиты"* и *"мечи"*: *"щит"*, *"к щиту"*, *"щит упал"*, *"меч"*, *"мечи"*, *"лат"*, *"в...кольчуге"*, *"в доспехе"* и *"латы"* и...; и — так далее; сколько доспехов! Где рыцари? Спят: неподвижно; один прислоняся *"к щиту... уязил долговязую шпору"*; и —

Чуть блестят золотые венцы  
Скандинавских владык<sup>196</sup>.

Вот недвижимые *"латы"*, а обладатель их — *"статуя"*.

Все — нарисовано: *"лато"* есть занавес, отделяющий том второй от *"межи золотой в бездорожье"*; дорога уткнулася здесь в бездорожие, но в ином вовсе смысле; дорога — пространство; а занавес — плоскость; пред ним медногласый оркестр: много меди; само слово *"медь"* повторяется: *"медный"*, *"медь"*, *"медью"*, и это оркестр: *"медь"* — *"поет"*; и опять: *"голос меди"*; *"скрестила мечи"* — звук литавров: фанфары; фанфарные выраженья (они пропадают; они — увертюра пред действием): *"Волосы ночи натянуты туго на срубы и пни"*; тоже: утро — *"пустило стрелу"*; и *"вечерняя прелесть"* аллегорически *"увивает"* вечерние *"руки"*, а *День* (с большой буквы) аллегорически их заламливает; появляются трубачи (*"черной ночи"*); читатель: величественнейший латоподобный закат, аллегория занавеси — быстро взлетит: пропадет *"голос меди"*; *"трубач"* — перестанет играть; и *ландшафт* нам предстанет за занавесью.

Вот и взлетает: *"где золотистая осень разлук?"* Пролетела, отвеяна? Солнце, *"шлем воина"* — где? Оно убрано: вот так закат! Он — полоска; такой вовсе не было; здесь: —

— *"полоскою алою"*, *"на полоску зари"*, *"на закате полоской"* *"полоска зари"*, *"полоса"* и опять: *"над полоской"*; и — далее. —

— С этой *полоски* зари — начинается действие; *"медные светы"*, аллегорически скрещенные с *мглы мечами*, живые для первого тома — исчезли с поднятием завеси; ново для Блока (совсем неожиданно!) — нет ни света, ни тени: одна светотень; и проходит одно слово в книге; и — *новое: "серый"*;

серы —

— Что не серо? —

— Серы: паруса корабля, в *сером* сне маяки, прибережные камни, *"чело"*: в *сером* вечере, в *сером* дне, в *сером* утре и в городе, где — все прохожие *серы*, где *серая* пыль, пыльно-серая мгла, даль — *сера*, потому что и небо *серо*, дождь

— ни белый, ни черный, — а *серый*; и он прибывает лишь *серую* пыль; "*дымно-сизый* старик оперся на костыль"; и "на *серые* камни ложилась дремота"; и мир — "*злая*" *просерень*: "на всем... *серый* постылый налет". Слово *серый* настолько отсутствует в первом томе, что, помнится, появление слова меня поразило:

День был бледно-серый, серый, как тоска...  
Вечер стал матовый, как женская рука<sup>197</sup>.

Оно — всюду: не плоскость — пространство; и сквозь него-то — цвета; "*серость*" только налет на... опять новой краске для Блока; так много ее: цвет — "*зеленый*"; и "*серое*" — *серо-зеленое*; "*серое*" — в воздухе; "*зелень*" же — твердости; и "*зеленый*", как мир: оно — всюду: — конечно же "*зелены*" травы; конечно же "*зелены*" — весны, как и всегда у поэтов; и "*луга*" там и "*рвы*", и "*глаза*", но сравнительно реже — "*зеленые кудри*", "*зеленые* колпачки"; не бывает *зеленых* цветов; а у Блока — бывают: "*зеленый* цветок"; даже твари — "*зеленые*"; выпархивает "*зеленая*" искра, и месяц — "*зеленый*", "*зеленые*" волосы; "*зелень*" — не *зелень* растительности: свет "*зеленый*", выкидываемый *серым* миром: "*зеленые*" сумерки и "*зеленая*" мгла; эта мгла повторится: "в *зеленой* ласкающей мгле"; горят светотени "*зеленым* огнем": да, *зеленый*, но — огненный мир; оттого-то — "*зеленый как мир*".

Вглядываясь, открываем мы *третий* оттенок, опять-таки *новый*, — "*лиловый*"; где он в первом томе? А здесь: —

— "*Свет лиловый*", "*лиловые* скаты оврага", "*лиловые* сумерки"; дважды: *лиловый* цветок, "*фиолетовый* запад", — вот сколько *лиловостей!* —

— *Серо-зелено-лиловое!* —

— Вот что впервые встречаем, когда поднимается занавес, изображающий "*золотистую осень разлук*"; *золотое* становится: *серо-лилово-зеленым*. Не смейтесь: цвета у поэтов — суть души; недаром же Гете всю жизнь создавал световую теорию; стало быть: *серо-лилово-зеленое* есть выражение мира души.

Он — таков, как ландшафт; это *серо-лилово-зеленое* складывается в болото; "*болото*" — четвертое новое слово: болота, болота! Мир прели и ржавчины! Мшистые кочки и мшистые пни; не сюда ли сбежал он с горы? И — сказал:

"Мое *болото* их затянет".

Затягивает — в "*Нечаянной Радости*": что за болотное место!

Смотрите же: —

— "*Небо* упало в *болото*", "и пахло *болотом*", "сiju на *болоте*", "*болотное* зелье", "*болотная* дрема"; и вот: "на *болоте*"; опять: "на *болоте*", "в *болото*", "*болото*", "*болот*", "по *болоту*" и "над *болотом*", "в *пучине*" — болотной, конечно; едва вылезает из "*тряского*" места, которое называется "*пузырями земли*" —

— но куда?

В том и сила "*болота*", что — некуда деться; из "*серого*" города мы убежали; ведь небо там, по выражению Блока —

— устав прикрывать поступки сограждан моих, упало в болото —

— коль небо над городом падает, сдернувшись, в эти "болота", — не в город же? Правда, есть земли, но — посмотрите, какие: —

— пустынные, мерзлые, жесткие кладбища; "скудной глины"...  
пласты; опять-таки, — комья; и не поднять их плутами; так  
не туда же? —

— Но море есть: ну-ка, попробуйте к морю?

"Там буря застгла суда моряков"; и потоптавшись, — приходишь к болоту; и снова: "с болотами", "над болотом", "болотный". И — шествуешь далее; флора болотная: пни, кочки, мох: "пни", "над кочкою", "кочки и пни" и "от кочки до кочки", "мху", "мохом", "мохов", "замщенный"; замшенное — все; и "окрестности мохом завалены"; прет, ржавеет: метанные запахи! "Гниль", "плесень", пруд зацветает; и — "ржавчина", "ржавую", "в... ржавом"; страшно то, — что: это — аура душевного мира; еще хорошо, если плесень — на дереве, если ржавчина — травы; но — нет же: "в тайник души проникла плесень"; "исторгни" — он молится — "ржавую душу".

Так серо-лилово-зеленое, складывая болото, бросает угар испаряемых газов, который ему представляется запахами "лиловой" фиалки; и он, одурманенный запахом газа, вещает "в зеленой ласкающей мгле" (в отравляющей мгле):

Слышу волн круговое движенье  
И больших кораблей приближенье,  
Будто вести о новой земле.<sup>198</sup>

В результате же он признается, что "плесень" проникла уже в тайники его жизни; и, стало быть, прав был и я, когда Блок, уведя меня, взяв меня за руку, начал рассказывать миф о "лиловом цветке", за которым пошел он... в болото; как газом утарным, пахнуло тогда на меня! Мне бы, — звать его, с места сорвать; не подступишь, когда он уселся на кочке; и — стал проповедовать: "Мне болотная схи́ма — желанный покой"; и читать с кочки проповедь: "Полюби эту вечность болот". Если б стал его звать, про меня написал бы:

Когда он исчез за углом,  
Нахлобучив картуз,  
И оставил меня одного  
(Чем я был несказанно доволен)...

Прогнал бы, отправясь в избу:

Так сижу я в избе,  
Рядом — кружка пивная  
И печальный владелец ее.  
Понемногу лицо его никнет,  
Скоро тихо коснется колен,  
Да и руки, не в силах согнуться,  
Только брякнут костями,  
Упадут и повиснут.

Кто, кто это?

Этот нищий, как я — в старину,  
Был, как я, благородного рода  
Стройным юношей...

А теперь?

Вот обрывки одежды его...

Но, позвольте, к чему тут "как я, — в старину", "был, как я"; ближе к делу, без всякого "как", потому что тот нищий есть "я", о котором (себе) говорит он:

"Нищий, распеваящий псалмы".

А обрывки одежд его, — аура прошедшего:

Жалкие крылья мои —  
Крылья вороньего пугала.

Это — двойник, издавна убежавший с горы — на болота, себя самого подозревавший туда, усадивший на кочки себя, с собой слившийся, так что действия двух половинок сознания, — одно теперь; и наблюдающий засыпая другого становится — спящим, другим:

Цепеню и сплю.

И во сне исповедую теософию *ржсавого* места:

Болото — глубокая впадина...

Впадина — небезопасная (есть такие: пифийская щель<sup>199</sup>, например): газы болота (метаны) — вонючи; они-то и есть "пузыри"; Банко с Макбетом, здесь проходя в старину, увидели хохочущих ведьм; но не сели на кочки: прошли, обраться друг ко другу:

Земля, как и вода, содержит газы,  
И это были пузыри земли<sup>200</sup>.

"Пузыри" — пар болотный; отсюда туман покрывает страницы "Нечаяной Радости"; слово — туман так же часто, как "серый", "зеленый", "болотный": туманы, туманы,

— туманы сознания: —

— дым "с пруда", "туманов", "туман"; иль: "с туманом", "туманные полосы", "расточала туман", "синим паром", в "туманах", "туманной", "туманов", "в тумане", "я в туманах бродил", "сквозь туман", "извечно туманны", "туман" и — "туман". И — так далее: сколько уютно тумана; и — вопрошает с тоскливостью: "Кто рассеет болотный туман", потому что он чувствует: это — "зловещий... угар". Здесь Макбету и Банко являлись — ведьмы; и Блок здесь увидел старуху: как мир стара, как лунь седа. Никогда не умрет, никогда, никогда"; и за ней — свита нечистей, элементар-

ных стихий, или — нитей судьбы, передаваемой в руки тому, кто вперяется в образы *Лиха*; да, "*Лихо*" есть участь; старуха же — Парка: она представляет сознанию образы подсознания, чтоб человек мог прочесть свои *темные* корни, которые отрезают от зорь; тут — порог меж иными мирами и нашим; до этого места ведут, как дитяtiu; а с этого места — бросают; сознанию предлагается: прочесть знак судьбы. И Макбет здесь, прочел: нет опасности; не пойдет, в самом деле, —

Бирнамский лес  
На Донзинан.

Но пошел-таки "*лес*"; да, "*леса*" — сходят с места стремительно: в миги судьбы; и леса — подсознание; в "*зорях*" — вершины встают Древа Жизни; в болотах видны обнаженные корни, сосущие влагу из недр: корни — карлики, чертенята; Блок видит их:

— "*Нежить* вод", "*чертики*", "*попик болотный виднеется*", "*старикашка... запрыгал на пне*", "*собрались чертенята и карлики*", "*кувыркаются, поднимают копытцами пыль*", "*страшный черт ухватил карапузика*"; "*слышен зеленый двойник*" (или бледно-зеленый): восставшее подсознание "*розово-золотого*" поэта; невидим, неслышим он в нас до явленья Старухи; и после он — слышен: "В полях отвечает *зеленый двойник*" и "гуляет в полях *Невидимка*", "в полях хохотал *Невидимка*"; звук колокола: "*Страшный колокол* будет вам петь", — "над болотом — *проклятый звонарь*". Этот темный звонарь с нами связан: груз прошлого чувствовал тяжестью Блок ("это — внутренний "*тюк*" его"); он в работе над ним, будет час, — и запросится к свету:

Скоро... чертик запросится  
Кю святым местам.

А пока он — "*звонарь*":

Я узнал тебя, черный звонарь.

"*Звонаря*" ощущали с С. М. Соловьевым и мы в роковое, тяжелое, революционное лето, когда все друг в друге не видели рыцарей, видели -- призраков; мне С. М. все твердил полюбившееся дустишье:

Берегись, берегись, — над Бургосским путем:  
Сидит один *черный монах*...

Тот монах, над путем восседающий, — рок; когда чувство присутствия рока в С. М. подымалось, он — приходил: и, вперяясь в меня, говорил одно слово:

— Бургосский!

Он — "*черный, болотный звонарь*". Но А. А. не всегда понимал степень грозности явленья "*бургосского*" (связанность нечисти — с *ним*), потому что

"бургосский монах", про которого говорил он и прежде ("мой страшный, мой близкий — черный монах") превращается в "черного попика"; и А. А. вместе с нами повторяет: "душа моя рада — всякому гаду"; о, — легкомысленное отношение к собственным "недрам"! Оно — и после скажется при появлении Командора<sup>201</sup> и Темного Сэра<sup>202</sup>; "бургосский" приходит позднее: с расплатой за "игры с ним"!

Катастрофа, увы, — не до дна потрясает поэта; и оттого-то она — не до дна и минует его; и становится — затяжной катастрофой, выражаясь — в лейтмотивах "Возмездия"<sup>203</sup>, над которым скончался поэт.

Банко с Макбетом после явления "ведьм" порешили:

Земля, как и вода, содержит газы.  
И это были пузыри земли.

К сожалению — нет; образ "ведьм" вызывает тот пласт подсознания, который отныне сопутствует: это "стихии" в нас; Макбет отдался им: ведь не пойдет же, в самом деле, —

Бирнамский лес  
На Донзиан.

Он — пошел.

Блок считает, что образы попики лишь "поседельх туманов развалины", или, быть может, переработка от восприятия альбомчиков Т. Н. Гиппиус, рисовавшей в огромном количестве "попики" (знаю я: те альбомы А. А. с удовольствием долго рассматривал, очень любя их; и после уже появились в стихах его все персонажи набросков Т. Н.); не увидел до дна все "неспроста" в сложении дымки туманной так именно, как слагалась она в его мире души; это "плесень" — не только болотная:

В тайник души проникла  
плесень.

И все потому, что Она "отошла без возврата". "Закатилась Ты с мертвым Твоим женихом"; наступила "зеленая мгла". "Будь ночлегом, зеленая мгла"; и "болотная дрема... текла". Банко с Макбетом, — скоро выходят из места туманов; А. А. — сел на кочке: "зловещий угар" здесь поверг в очарованный сон, где пути достижения подменились лишь грезой о прошлом: "Мы прожили долгие жизни", "в старину был, как я, благородного рода"; сердце "прошлому радо", достоинство прошлого (рыцарство) — здесь, в этом томе, музей: лат, мечей и щитов; не наденешь их сызнова: "Миновали сотни и сотни лет", "плакал... о том, что никто не придет назад"; "нить какая-то развязана, сочетавшая года". Но отсутствие прошлого есть испытание: прошлого не было; прошлое — только стремление к духовному миру; вход — в нас: через встречу с "бургосским", победу над ним; но А. А. — отступает в картину воспоминанья того, чего не было; это — лохмотья былого, иль "крылья вороньего пугала"; рыцарский шлем есть колпак, и шишак — бубенец; и "я

нищий бродяга"; я — "забинтован тряпичей" (мотив "Балаганчика"), "душу разбил пополам",

Или я, как месяц двурогий,  
Только жалкий сон серебрю,  
Что приснился в долгой дороге  
Всем, бессильным встретить зорю?<sup>204</sup>

И потому-то:

Тащитесь, траурные клячи!  
Актеры, правьте ремесло,  
Чтобы от истины ходячей  
Всем стало больно и смешно<sup>205</sup>.

Здесь — разбросан туман; проступает везде обыденность, которой ведь не было в "золотистой лазури": туман — не рассеялся; наоборот: он — сплотился; "бургосский", неузнанный стал вороватым хозяином, сдавшим квартиру с такими сквернейшими стеклами, что, как посмотришь, увидишь лишь: "Стены фабрик, стекла окон, грязно-рыжее пальто", или "ко всему приученный... диск", "вереницы зловонных телег", или — "складка рубашки" и "серый постылый налет", "углами... мебель... окурки, бумажки", "опрокинутые кадки"; природа — такая же: "Над равниной мокрой торчали кочерыжски капуста", "на пригорке лежит огород капустный"; словом "лес" прозаической неподвижности: он — не пойдет: —

— Бирнамский лес  
На Донзinaan.

Он — пошел: в "Страшном мире"<sup>206</sup>.

Не знаю болезненнее, иллюзорнее прозаического реализма, здесь, там выступающего из тумана "Нечаянной Радости"; да, "прозаический реализм" — сам туман: ноты пьянства: "сажу я в избе. Рядом — кружка пивная"; "гадалка... швырнет... свой запой"; "буду слушать голос Руси пьяной, отдыхать под крышей кабака"; "и пьяницы, с глазами кроликов, "In vino veritas!" кричат", "ты право, пьяное чудовище! Я знаю: истина в вине"; "взволнованный вином"; "и на щеке моей блеснула, скатилась пьяная слеза"; "авось ты не припомнишь мне, что я увидел дно стакана", "топя отчаянье в вине"; "у пьяного поэта — слезы, у пьяной проститутки — смех" и т. д.

Надо всем поднимается веянье омертвения; смерть, — тема тем: —

— мертвенеет пейзаж:

"Мертвый месяц беспомощно-нем... Знаю — сморщенный лик его стар"; "Мне привиделась Смерть"; "похоронные звуки... часов"; "смерть летит"; месяц встал "мертвым глазом"; и "смерть пришла"; "старость мертвая"; даже земля: обнажает лишь "кладбища"; знак тоже — "мертвый"; глаз — "мертвый"; и — мертвый опять; "даже рифмы нет короче глухой, крылатой рифмы: смерть". Эта мертвенность — в нем: "Ты оденешь меня

в серебро и когда я *умру...*"; "*мой саван плотен*"; "кто у гроба в час закатный?"; "*слаще боль и ярче смерть*"; "дай мне спокойно умереть"; "я буду мертвый"; "*мертвец — впереди*" и т. д.

Смертью кончаются темы "*Нечаянной Радости*" до "*Снежной Маски*". Заглавие книги казалось мне — кощунством в те годы. Сам А. А. в нашей схватке казался мне мертвым. И был я неправ в легкомысленно внешней оценке "*Нечаянной Радости*"; смысл ее — в целом; она — антитеза; она объясняется в синтезе третьего тома: в России.

## "Снежная маска"<sup>207</sup>

О, как удивителен переход от "*Нечаянной Радости*" к "*Маске*", где в самой пучине погибели — новая радость.

В "*Нечаянной Радости*" новы и краски природы, — и краски души по сравнению с первым томом; и то же по отношению к "*Нечаянной Радости*" — в "*Снежной Маске*". — Опять перемена: в эпитетах, в ритмах, и в звуках, и в красках; там — "*золотистая осень разлук*" есть связующий центр меж томами; здесь — ветер, поднявшийся быстро в "*Нечаянной Радости*", переметающий в "*Снежную Маску*" и крепнущий вихрем и холодом: дождик, не надо накрапывать! Ей, развевайся туман! Уже съпался снег по пространству "*Нечаянной Радости*". Он теперь здесь — метелица; ветер имеет свой звук: это — глас роговой, сотрясающий ночь; нет болота, полосы зари, лиловато-зеленого тона, тумана и серости; слово "*серый*" исчезло в ночи черно-синей; и — синей — стихия, соединившая три этапа, — вода, — как она изменяется!

Мы живем в старинной келье  
У разлива вод:  
Здесь весной кипит веселье.  
И — река пост<sup>208</sup>.

В стихотворениях первых вода разливается: вешняя, шумная, чистая; в "*Нечаянной Радости*" она преет в затоках, в запрудах, в болотах или бесится бурею в море; в "*Снежной Маске*" она — снег, лед и прорубь, струящая пар; она — скована льдом; и — "*злая вода*"; и, опять-таки, — "*злая*"; воды-то и нет: снег и лед; все — меняется; ветер меняется тоже; поднявшийся в серых туманах "*Нечаянной Радости*", — затрубил рогом он, взвился вихрями в ночь; ветер вспыхивает не сразу в "*Нечаянной Радости*", а приблизительно, — с середины, крепчая к концу: —

— "*Трепли волосы*", "*ветер... пьяный*", "*раздуй паруса*", с ветром борешься, "*ветер ломится*" в окна, уносит дымки из трубы, "с легким треском рассыпался ветер", просторами "*гнет*" он "*кусты*"; и порой оснежается: "*Ветер! О, снежные бури!*"

— Таков он в "*Нечаянной Радости*". В "*Снежной Маске*" —  
— еще того чище: —

— “взвихрил” он снега, “звезды гонит”, и тучи срывает с небес; все срывает; он “бросил нас в бездну”, “звезда... понеслась” в “вихри снежные” северной ветренной ночью. В “Нечаянной Радости” он — охватывает; здесь он схватывает все, что есть (звезды, тучи, снежинки, поэта); и — гонит: в бездны; несется стремительно в ночь все, что есть: небеса, звезды, маски, обличия, милая, — все несется; динамика — невероятна; спирает дыханье: —

— “Мгла взвилась”, “Мы летим” там, где искры несутся, “взвилась”, “сорвалась”, “уносились”, “настигла” и “опрокинула свод”; “и звезда за звездой понеслись”; и неслися “года”, и “летели снега... налетающей ночи”, “и мы понеслись”, “лететь стрелой... в пропасть... звезд”, “улетел”, времена “быстролетны”, “летели”, “лады... пролетели”, “летите”, “лети”, “настигай”, “догони”, полет переходит в безумие повелительных наклонений и в требование бросаться туда и сюда в бездне звездной: —

— “Глядись, глядись”, “обрати”, “опусти”, “укроти”, “закрути”, “вейтись”, “плывите...” вздохните, глаза “опусти”, “дай”, “пробудись”, “исцелись”, “покорись”, “оставь”, “прости”, “восстань” —

— совершеннейшее безумие повелений безумствовать, переходящее в угрозу:

Рукавом моих метелей  
Задушу.  
Серебром моих веселий  
Оглушу.  
На воздушной карусели  
Закружу.  
Пряжей спутанной кудели  
Обовью.  
Легкой брагой снежных хмелей  
Напою<sup>309</sup>.

И остается одно: “лететь стрелой... в пропасть”; и все — пролетает; и — носится в пропасти, перегоняя друг друга; “колеблемый вьюгами Рока, я взвиваюсь, звеня...”

Вот и двинулась обьденность; пошел —

Бирнамский лес  
На Донзинан.

Вьюги Рока подкрадывались в “Нечаянной Радости”; в дальних полях хохотал “Невидимка”; ну вот и подкралися; и Невидимка теперь обнаружит свой лик: снимет маску; но маска та — “мир”; мир стал снежною маскою; весь переветян он бурей снежинок — куда?

И снежных вихрей подъятый молот  
Бросил нас в бездны...

То — молоты Рока, которого звуки еще раздавались в “Нечаянной Радости” издали голосом меди и звоном с болота.

Звезда за звездой  
Понеслась,  
Открывая  
Вихрям звездным  
Новые бездны<sup>210</sup>.

Вскрывается смысл роковой неизбежности: смысл — не земной, хотя Рок удряет нас глыбою земляною; смысл — бездна небесная:

Открылась бездна: звезд полна.  
Звездам числа нет: бездне — дна<sup>211</sup>.

Так из бездны небесной извечно сметаются бури метельные млечных путей, осаждаая туманом зелено-лилового газа; и покрываясь пеплом того прозаического реализма, в который едва не поверил А. А. :

Все, все по-старому, бывалому  
И будет, как всегда...<sup>212</sup>

Или:

Да и меня без всяких поводов  
Загнали на чердак.  
Никто моих не слушал доводов  
И выпшел мой табак.  
Давно звезда в стакан мой канула, —  
Ужели навсегда?<sup>213</sup>

Звезда Духа, когда она канет в стакан, то расплавится тотчас стакан в брызги мысли; за ним — и "чердак, дом, двор, улица, мир": "Маска снежная" — взрыв оболочки от бомбы ("Нечаянной Радости"); все полеты — стремительное расширение трагедии — в Дух!

.....

Та динамика дана нам на стремительных, ослепительных ритмах; слова о полетах летают на легких крылатых хорях, которыми Блок не владеет еще в "Нечаянной Радости"; здесь — владеет хореем; крылатый хорей (— — — —) у Языкова<sup>214</sup>, загалопировав, переходит порой в пеон<sup>215</sup> третий (— — — —); и тоже у Блока:

И неслись опустошающие  
Непомерные года,  
Словно сердце застывающее  
Закатилось навсегда.

Конечно же то — пеон третий:

— — — — —  
— — — — —  
— — — — —  
— — — — —

Великолепно везде контрастирует дактилохорей<sup>216</sup> с ямбо-анapestом<sup>217</sup>.  
А хорей иногда крепнет в кретик (— —)<sup>218</sup>:

И струит мое веселье  
Два луча<sup>219</sup>.

Доминирует явно хорей: им писано до двадцати стихотворений (и — шесть только ямбов; анапестов, амфибрахий, дактилей — нет).

Интересна на всем протяжении смена размеров; в стихах "О Прекрасной Даме" доминируют *ямбы* в двудольниках и *анапесты* (среди трехдольника) (37 стихотворений анапестических и 105 ямбических); среди них доминирует четырехстопный ямб (61 стихотворение) и трехстопный анапест (до 26 ст.); 40 стихотворений написано смешанным ритмом; 17 стихотворений есть дактиль; и только 5 амфибрахий.

В "Нечаянной Радости" изменение в соотношении размеров; количество стихотворений со смешанными стопами — все то же; значительно убывают тут ямбы (72 стихотворения); хорей — неизменен; но убавляется дактиль, анапест на счет амфибрахий, редкого в первом томе. В "Снежной Маске" доминирует победоносный крылатый хорей, который становится "блоковским", как анапест и ямб в первом томе. До "Снежной Маски" хорей — не для Блока.

.....  
Слово новое — "вьюга", "метель"; слово "вьюга" проходит на очень многих страницах; и слово "метель" — так же часто встречается: "Нет исхода из вьюг"; и опять: "Нет исхода из вьюги певучей"; у ней — роговой громкий голос: "звучали рога", иль звенели "рога", иль "поют боевые рога", "слушай трубные звуки", "гуляет... трубоч" снеговой; слово "снег" шестьдесят раз проходит на сорока лишь страницах. Здесь какое-то исступление повторений: взрыв слов!

.....  
Этот взрыв — разрыв косного мира, беззвездно-безбездного, серого — в бездну звездную; слово "бездна" — повсюду теперь: —

— "в бездну", "над бездной", "над бездной", "над бездной", "в бездне", "в открытых безднах"; словом: "летим в миллионы бездн"; тоже со звездами; их — так много.

И все оттого, что она —

Дева пучины  
Звездной.

Кто Она? Незнакомка "Нечаянной Радости"? Клеопатра? О, нет, — скорей, Та, о Которой сказал Соловьев:

Ты непорочна, как снег за горами.  
Ты многодумна, как зимняя ночь.  
Вся ты в огнях, как полярное пламя,  
Темного Хаоса Светлая дочь<sup>220</sup>.

Вот кто встретил А. А. в буревом взрыве рока, когда он был брошен стремительно — в бездну; уже подымается голос царицы водоворота небесных пучин: "Твой голос слышен...", "Ты ли?", "О, достигай, о, догони"; вот — Она:

Из очей ее крылатых  
Светит мгла.  
Трехвенечная тиара  
Вкруг чела<sup>221</sup>.

Она говорит:

Глядись, глядись,  
Пока не забудешь  
Того, что любишь<sup>222</sup>.

А он любит теперь не Прекрасную Даму — болото, фиалку, "испытанных остряков" с островов:

Я сам, позорный и продажный,  
С кругами синими у глаз<sup>223</sup>.

Хорошо все забыть; но — вот: взгляда не выдержишь: "Нет заката очам твоим звездным", и — "опусти глаза твои".

И когда со мной встречаются  
Неизбежные глаза, —  
Глуби снежные вскрываются...<sup>224</sup>

Ты опустила очи,  
И мы понеслись<sup>225</sup>.

Куда же летят? Да из жизни: то — смерть.

Вот меня из жизни вывели  
Снежным серебром стези<sup>226</sup>.

Вместе с гибелью образы рока, давящие образами черных монахов, попов, звонарей, невидимок, не дают; "оттуда" — сюда они дают; "там" это лишь — тени, лишь черные маски, пролеты из снега ночной темноты; превращение "нечисти" в маски меняет гнетущее чувство в крылатое; все мы лишь маски; мир — "снежная маска"; и появляется лейтмотив маски:

Так смеется маска — маске...  
Маска к маске обратясь.

Тихо шепчет маска — маске  
Злая маска — маске скромной<sup>227</sup>.

"И она внимает маске", "и какие хочешь маски", "в темной маске прорезь... глаз", "странны были речи маски", "возврати мне, маска, душу", "ветер масок не догнал". Все — маски, маски. Это — тени темной ночи:

И еще темней — на темной  
Завеси окна  
Темный рыцарь...<sup>228</sup>

Но "темный рыцарь — только снится". То — оставленный двойник: порог перейден в смерть. Встреча в бездне звездной — с Маской масок: с мировой душой; нет в ней страха, все — крылато: "птица вьюги *темнокрылой*", "осенившая *крылами*", "и *крылатыми* очами смотрит высота". То крылья взлета в Мир иной; и легкость, легкость: "*легкие* тревоги", "крылья *легкие* раскину", "крылья *легкие* дала"; то крылья — в смерть и в гибель: "*горе светлое* мое" и "сердце *хочет* гибели", и весело "*погибнуть*", и "веселится *смерть*". Она — лишь Маска масок:

И под маской — так спокойно  
Расцвели глаза<sup>229</sup> —  
— Что —  
Я спутал все страницы,  
Пока глаза твои цвели<sup>230</sup>.

Она же — "сладко в очи посмотрела"; и уж — "на завеси оконной золотится луч, протянутый от сердца"; и Она говорит: "от дремоты исцелись", "к созидающей работе возвратись".

И приветно глядят на меня:

— Восстань из мертвых!

Чудесная метаморфоза: "Как труп в пустыне я лежал". Она же, Смерть —

Золотистый уголь в сердце  
Мне вожгла<sup>231</sup>.

Да, это та, про которую Соловьев говорил:

Ты непорочна, как снег за горами,  
Ты многодумна, как зимняя ночь;  
Вся ты в огнях, как полярное пламя,  
Темного Хаоса Светлая дочь.

Так пройдя испытание смертью, поэт восклицает уже за порогами "*Снежной Маски*".

О, весна, без конца и без краю —  
Без конца и без краю мечта:  
Узнаю тебя жизнь, принимаю,  
И приветствую звоном щита...<sup>232</sup>

.....

Перебой в тональности образов, красок и ритмов от первого тома к второму не станут понятны без знания душевно-духовной действительности и без учения гностиков, где вскрывается энтелехия<sup>233</sup> Духа чрез силы сознания — в культуру, в природу материи даже, которая — выделка Духа; припомним Владимира Соловьева, указывающего на систему Великого Валентина: "*Величайшее достоинство Валентиновой системы, гласит Соловьев, состоит в... новом метафизическом (хотя облеченном в поэтическую форму) взгляде на*

материю. Древняя мысль знала... два представления о материальном бытии: или... это бытие являлось лишь субъективным признаком, обманом духа; или же... материи приписывалась самостоятельная реальность. В Валентиновой же системе впервые материальное бытие определяется... как действительный результат душевных изменений<sup>234</sup>. София в учении гностиков — зон<sup>235</sup>, которого изменение положений в плероме рождает духовные бури; итог, — появление мира материи, как приращенья духовности; вся мировая история — часть биографии этой Софии, падение, распаденье ее, возвращенье, смещение сфер, разделение, — все отражает поэзия Блока, так точно, как в грань бриллианта внедряется солнце.

Вот образ Софии в учении египетских гностиков, валентиан: глубина, первый зон, протягивает свою цепь, как паук выпрядающий нить паутины; София — последний (тридцатый из зонов) страстится зреть глубину, нарушает первичное равновесие зонов, бросившись в бездну, где нет еще мира, но где будет он — отражателем, впечатлителем жизни *плеромы*, как миг озаренья сходящей Софии:

В свете немеркнушем Новой Богини  
Небо слилось с пучиною вод.

Что было в извечном, — потом отразится на циклах культуры; сверженью Софии оттуда ответствует здесь: ощущение Сошествия:

Знайте же, Вечная Женственность ныне...  
на землю идет!

Биография Человека построена так, как он сложен идеями; озаренье Софией сознания, иль — инспирация, — память о бывшем, о сущем, о вечно грядущем:

"Предчувствую!.."

Вся лазурь золотистая Блока — предчувствие; но: —

Изменишь облик Ты!

Павши в бездну, София не зрит Глубины; потому что Ее — ограничат пределами; и — выделяют Ею страсть ее — в место мира, который появится, как воплощение страстных томлений Софии; это — Дочь Ее, Ахамот, плачет — в томящемся мраке; Софию же вновь водворяют в *плерому*; что было в до-мирном, — потом повторяется; мигу рождения Ахамот явно ответствует изменение Лица: является "*Темного Хаоса Дочь*". Вознесенью Софии ответствует: — померкание инспирации.

Вся биография наша построена так, как она промышленяема в мире идей; и момент ухожденья Софии — повтор для культуры души:

Ты — в поля отошла без возврата!  
Да святится Имя Твое.

И — плач Ахамот в темени оплотняется образом косного мира; Она — Душа Мира, а не София Небесная (та есть Царица, а эта — Царевна). Из слез пролитых — вытекают моря; из скорбей ее — земли; и демоны (*попики, звонари, невидимки*) — от страха Ее; образ мира есть образ душевный, который всегда — до материи; эта последняя — интерференция образов; имагинация — ткань инспирации; Ахамот — в метаморфозе; а Мать — в неподвижно над-образном; Ахамот — море движения, водоворотов и вьюг; мне в письме называет Ее Блок Астартой: и он — ошибается; образ Астарты — аспект средь аспектов Ее.

К ней нисходит Христос (не Иисус — по учению гностиков, принципы эти разделены: на Иордани лишь был осенен Иисус Духом Логоса); действие Логоса возжигает в Ней родину: образ плеромы, где — Мать; из улыбки Ее начинает светить свет физический; в ней возникает стремление ввысь, как у Матери некогда было стремление вниз; и стремление — космический Ум, Демиург; Параклет<sup>236</sup> просвещает Ее; сочетание стремлений двойной Ее сущности (темно-светлой, демиургически-хаотической) есть человек; он есть "век", иль слепое течение времени; он же — Чело; и борьба обостряется в нем; биография, отражая собой Душу Мира (Имагинацию), в ней отражает Премудрость; в самосознании — расплетаем сплетенья космической пряжи и нити ее возвращаем в мир Духа; высвобождаем мы Ахамот: в миг, когда все поймут пневму<sup>237</sup>, София Вторая в *плероме* появится. Здесь исхождение мира — роман; и в любви романтической пронизаем мы тайну творения мира, но не любви в нашем куцом, бескрылом, безоппенном смысле; любовь до конца совершенно конкретно-гностична; она — не раскрыта; в Любви друг ко другу доходим до Ахамот; Ахамот — Дочь: дочь Любви. Коль София — Премудрость, Душа Мировая — Любовь; но внести в нее свет может гнозис, мы в нем претворяем и Ахамот. Встреча с Софией поэтому через Любовь; так разумное просвещение Любви в опознаны духовных законов пути просвещения; пресуществляя любовь в человеческих отношениях, — распахиваем природу материи; и семенем ее Духом; последние тайны любви — в коллективе, в мистерии; и Соловьев в сочинении "Смысл любви" говорит:

*"Как в любви индивидуальной два... существа... служат один другому... положительным восполнением, точно так же должно быть во всех сферах жизни собирательной... Необходимо изменить отношение человека к природе... установление истинного любовного, или сизигического отношения человека не только к его социальной, но и к его природной и всемирной среде — эта цель сама по себе ясна". И далее он говорит: "истинные поэты всегда оставались пророками всемирного восстановления жизни"<sup>238</sup>. И приводит отрывок из Фета:*

Только у вас мимолетные грезы  
Старьими в душу глядятся друзьями,  
Только у вас благовонные розы  
Вечно восторга блистают слезами<sup>239</sup>.

Блок — выразитель любви, о которой еще не умеем мы внятно сказать; и — в любви его, личной, открылась Любовь: и в Офелии он увидел Беатриче, в которой — Царевна, скликающая параклетовых птиц; в Ней же — Та, о Ком нет уже образов: Ту называем Премудростью; Блок повторил в биографии быта душевного всю биографию переживаний гностических: снисхождение, томление, восход, появление Ахамот, встречу с Ней в безднах; понятно его потемнение *золотисто-лазурного мира* через *серо-зелено-лиловое* — в ночь: то — отход, безвозвратный, Софии; а *попки, марева, зелья "Нечаянной Радости"* — страхи томящейся Ахамот, или Царевны-Царицы, которые переходят в свист вихря, в метелицу звезд; но гностический смысл, в нем отживший, — с ним связана Ахамот: он обусловит возможность вернуться в плерому. И "*Снежная Маска*" — второе свидание: с Ахамот!

Третье свидание — встреча с Россией: об этом свидании — речь впереди.

Поразительно: как повторяется в лирике Блока лирическая философия Валентина: до мелких штрихов! В стихотворении, например "*Царица смотрела заставки*", великолепно по образам, вы ничего не поймете: зачем здесь Царица, какая такая; и почему здесь подчеркнутое противоположение Царевны Царице, пока не поймете: Царица — Премудрость, Царевна же — Ахамот:

Царица смотрела заставки —  
Буквы из красной позолоты.

Так ей — полагается:

Протекали над Книгой Голубиной  
Синие ночи Царицы.  
.....  
Отворилось облако высоко  
И упала Голубиная Книга.

Все — так: и цвета (золотой, синий) — традиционные цвета Мудрости:

У Царицы синие загадки  
Золотые... заставки.

Иная — Царевна:

Царевне так *томно*...

Томление сопутствует Ахамот; но к ней слетит параклетова белая птица: слетает:

А к Царевне с выпки голубиной  
Прилетели белые птицы.  
.....  
И плескались белые перья...

.....  
...Из лазурного ока  
Прилетела воркующая птица.

Но "око", которому вся протянулась Царевна — из нашего "окна" понявшего синее око стезею гностической; да, загадан "духовный роман" меж Царевной и гностиком: и Царевна — Невеста; она —

Твои числа замолит, царица.

Опять — почему? Лишь тогда, когда Ахамот в нашем сознании перенесется в плерому, окончится мир, мировая история, или последствия неравновесия некогда падшей царицы.

Смотрите во что превращаются образы Блока, когда подойдете вы к ним с ключом гнозиса. В каждом отрывке о Ней можно увидеть, о ком идет речь: так:

"Я ждал Тебя. Я дух к Тебе простер. В Тебе — спасенье!"  
Кто? София. А это?

Ты в белой вьюге, в снежном стоне  
Опять... всплыла.

Ахамот!

.....  
От первого тома к второму описана драма схождения Софии, Ее изменение в Ахамот, переплотнение в косность скорби; да, да: разложение образов Духа в гнетущую карму<sup>240</sup> тяжелого материального мира — суровый закон; бессознательно Блок дает формулу подтверждения истины жизни.

## Предстояние первое перед порогом<sup>241</sup>

Вооруженье сознания предохранило бы рыцаря от подмены; а то разложенье — закон. Рыцарь, ранее сроку поднявший свой меч, — Арлекин.

Он мечом деревянным  
Начертал письмена.  
Восхищенная странным  
Потуплялась она.

Восхищенью не веря,  
С темнотою — один —  
У задумчивой двери  
Хохотал Арлекин<sup>242</sup>.

Дверь — пороги духовного мира, к которым нет доступа; здесь, у порогов — развитие образов; образы света становятся ночью; и далее — нет их.

*Несуществующих шагов*  
Тревожный шорох на дороге.  
Холодная черта зари,  
Как память близкого недуга,  
И верный знак, что мы внутри  
Неразмыкаемого круга<sup>243</sup>.

Это — образы первого тома: второй лишь выводит последствия; имажинацию воды, у тайны порога нам должно разбить; если нет, — то они загнивают, как воды болота; буйственности имажинации — буйственность крови, забившей в струе инспираций, озонного, горного воздуха; надо уметь отделиться от крови, всегда заслоняющей *пневму* моделями физиологических кореллатов; и образ духовный дробится в безобразность отвлеченных понятий (в "*неразмыкаемый круг*") и в "*болото*":

Мое болото их затянет:  
Сомкнется мутное кольцо.

Посмотрите ж: Царевна покатится вниз; вот — наклонная плоскость ее превращений: она обернулась волшебницей; *белые птицы* — лишь व्यюга:

Ты в *белой* व्यюге, в снежном стоне.

И "*Белая*, Ты в глубинах не смутима" — где, где? Вот навстречу выходит лишь девушка, сопровождаемая *белой* ладьей (белый цвет — Параклетов):

За тобой — живая ладья,  
Словно *белая лебедь* плыла.

*Белое* сходит на землю *ладью* и *платьем* (в горах оно — трепеты *света*). Там —

Вдохновительно молчанье  
И скрыты помыслы твои,  
И смутно чувствуется познание  
И дрожь *голубки* и *змеи*<sup>244</sup>.

Как у Владимира Соловьева:

Нашу голубку свяжите  
Ярьми кольцами древнего Змия<sup>245</sup>.

Связыванье "*Царевны*" явленьем — закон, точно ведомый гнозисом: здесь приставляется Фафнер к Брунгильде; здесь *ярые кольца* — "*огни*" (заклинание огней). "Она" — "я любил твоё *белое* платье, утонченность мечты разлюбив"; где же птица из Синего Ока?

Очертание *белого* стана.

И платье здесь — "*белый намек*" на плескание белоперого света; остался лишь "*белый цветок*". "Безысходно туманная ты предо мной затеваешь игру";

она — связана кольцами Логге-Люге: "Голубке привольно в пламенных кольцах" (Вл. Соловьев): спит во лжи:

Как ты лжива и как ты бела,  
Мне же по сердцу белая ложь<sup>246</sup>.

Не по сердцу ложь Зигфриду, вырвавшему Брунгильду из царства огней; он есть "Я", самосознание, вооруженное мечом или гнозисом; вооружения нет у А. А.; и великое совершить — нет, нет: "Будет день — и свершится великое, чую в будущем подвиг души".

В настоящем, поэтому — разложение образа Ахамот, или Царевны-Голубки, в просто безликую и в просто девушку безысходно туманную, белую, сонную, лживую; развоплощение в безобразность Ночи, и оплотнение в "как все".

Ты покоишься в белом гробу.  
.....  
Я отпраздновал светлую смерть,  
Прикоснувшись к руке восковой.  
Остальное — бездонная твердь  
Схоронила во мгле...<sup>247</sup>

Разделение в образе Юной Голубки — отчетливо: лейтмотив темы Ахамот, гармонически расслоен.

Во втором томе эта Белая Голубка уже является *королевой забытой страны*:

Королевна забытой страны,  
Что зовется Ночною Фиалкой.

Но то — "аллегория", которой украшена "некрасивая девушка":

Некрасивая девушка  
С неприметным лицом.  
.....  
И еще, я наверное знаю,  
Что когда-то уж видел ее,  
И была она, может быть, краше,  
И, быть может, грустили когда-то,  
Припадая к подножьям ее,  
Короли...\*

Посерела Голубка, имажинация, не отвергнутая у порога законом пути; "умирает совсем некрасивая девушка":

Она веселой невестой была,  
Но смерть пришла. Она умерла.

---

\* Ночная Фиалка.

Ярость древнего Змея над Нею исполнилась: "пьяный красный карлик", не дававший проходу ей ("девушке страшно"), совершает "ужасное дело": "Безобразный карлик занят делом". Совершив это дело, ее покидает: "Плывут собачьи уши, борода и красный фрак..."

"Девушка... очнулась от сна..." "Стыдно возвратиться с дьявольским клеймом". Паденье Голубки — в замене в ней белоперого трепета белою ложью красивого белого платья:

Моя невеста картонной была.

(*"Балаганчик"*)

Белое через все просеренья становится черным. И это — предвидено: стихотворенье, выражающее надежду словами "на утро ввысь пуцу мои крики, как белых птиц" обрывается:

До утра — без солнца — пуцу мои крики,

Как черных птиц, —

— потому что:

Во сне и в яви — неразличимы

Заря и зарево<sup>249</sup>.

Пути гнозиса вовсе не в том, что — являются образы: в том, что они — различаются: зори духовного света всегда отделимы от зарева физиологической жизни, где вытравлено содержание образов, где — оболочки:

Там ветер треплет пустой рукав.

За подменной стоит Подменитель:

Берегись, берегись, — над бургосским путем

Сидит один черный монах.

Он у Блока засел над "бургосским путем" в первом томе уже:

Мой страшный, мой Близкий — черный монах...<sup>249</sup>

Кто же Он? *Страж Порога.*

.....

Приближение к Ликам вне твердой духовной работы — сжигает подменную пыла томлением адским, которое есть одежда убитого Несса: и — жжет, прилипая; и слишком близко увидевший дух, но не вставший на путь, переживает лишь муки. Уже не поэт (вместе с тем — не провидец) он — слепнет; преданье седой старины нам выводит "слепого" певца: рокового слепца, кого водят, кто — нищий; лишь в песне порой разверзаются очи его; таков теперь Блок.

Чтобы стать певцом Духа горного, сперва надо в жизни ослепнуть (ослеп же Мильтон<sup>250</sup>); отступить от порога, по-новому выступить в жизнь; но выступление — из внутренних нужд: шаг "во внутрь"; голос мудрости

соединяет нам внешние *выступы* с тайным *отступом*; отступники следуют в выступлениях неотступно пути; соединение *внешнего с внутренним* — ступает *Судьбою*: обставшие образы — внешние знаки Судьбы (появление "ведьм").

Рыцарь Дамы с распадом Дамы — распадается: два двойника начинают свой спор: то — остряк, утверждающий: "In vino veritas"; то — мистик, которого голова провалилась в сюртук; и духовное знание изображает тут первые *ритмы Порога*: явленьем Видения и Смерти.

Виденье и Смерть!

Первый том весь — Видение. Смерть — том второй.

Они связаны. Смерть и Виденье даны в одном звуке:

Предчувствую Тебя... Года проходят мимо

.....

Но страшно мне: изменишь облик Ты.

Написавший стал "*мистиком*" после; каламбурный остряк написал "*Балаганчик*"; но — столкнуты в Третьем; он — ищущий, все еще, — вопреки "*остряку*", вопреки провалившейся голове, или Храму Премудрости ("*Церковь упала в зацветший пруд*", или — "*небо упало в болото*").

Отступая от тайны Порога по-новому вновь выступают в обставшую жизнь: Александр Добролюбов, Толстой<sup>251</sup>, Августин<sup>252</sup> и Франциск<sup>253</sup> (выступал тоже Фауст) переработать свой *порог*. Отступает и Блок; тут порог ему видимый, отображается внешне: *порогом реакции* (и Франциск и Толстой перед проблемой социальной стояли: она — коллективная *карма*); он видит — глубокие корни проблемы; и — упирается: в задания революций; Фауст пытался через смерть подойти к Неописуемому Виденью, он пережил in concreto в себе социального человека; Неописуемое Виденье, видимое одному, станет явью для всех лишь тогда, когда снимутся три порога реакции: политической, социальной, духовной; весь мир матерьяльный — реакция Духа; он — остановка развития у Духов. Индивидуально: *реакции* отражаются: 1. в косностях быта, 2. в его подоплеке (среде социальной), 3. в реакции "Я", остановленного Люцифером<sup>254</sup>, замороженным красотью прошлого: — кончить с коснеющим "Я" — первый шаг к Революции Духа; террористический акт над собою самим есть начало пути.

И вне этого — Она в маске; и маска та — малое, косное "Я" (иль — "*буржуи*" в нас). И Дама — не "рыцаря": Храма, Иоаннова Здания. В месте Виденья Блок себе снится в грядущем своем; и — в Иоанновом Здании ("я их хранил в пределе Иоанна")...

Я — меч, заостренный с обеих сторон.

Я правлю, Архангел, Ее Судьбой<sup>255</sup>.

Штейнер указывает: Ангелы суть хранители индивидуальных Судеб; судьбы народа же охраняют Архангелы; Судьбы Человечества — в лоне Начал; так что: сын Человеческий связан с Началом; и — Сын Народа, Народник, — с Архангелом, Духом Народа.

Душа мировая является Блоку в двух ликах пока: его личною Музою (ангелически), и — Душой Человечества. Архангелически — нет, не появлялась Она, и не мог он связать свою Музу с Ней — подлинно: связь — через Народ. И свидание третье — должно быть, как встреча с Народной Душою.

Я правлю, Архангел, Ее Судьбой

— значит: судьбы народа зависят от действий Народников — тех, кто мощью расширил сознание свое до конкретного отражения индивидуумов *Народа*: раскрытые книги они; их читает — Архангел; тут следует отделиться от личности: похоронить себя в смерть; и — воскреснуть; в законы пути.

Мировое Виденье — София. Индивидуальное — Ахамот. Отношение к ней в коллективе народа — явление России.

О, Русь моя, Жена моя — до боли,  
Нам ясен долгий путь<sup>256</sup>.

Александр Александрович — оставался максималистом; он — разбил до конца образ Музы; и — образ Небесного Купола, или — бумагу, которую Арлекин протыкает: Виденье ушло; Муза-девушка — серо утасла:

*Конец* предназначенный близок:  
*И война, и пожар* впереди<sup>257</sup>.

Тут *начало* его политически-социальных стремлений — в огромнейшем смысле: в духовном.

И — тяга к *"народу"*:

Люблю Тебя, Ангел Хранитель, во мгле,  
Во мгле, что со мною всегда на земле.  
.....  
За то, что нам долгая жизнь суждена,  
О, даже за то, что мы — муж и жена!  
.....  
За то, что не любишь того, что люблю.  
За то, что о *нищих и бедных скорблю*.  
.....  
Отомстить малодушным, кто жил без огня.  
*Кто так унижал мой народ и меня!*  
*Кто запер свободных и сильных в тюрьму.*  
.....  
*Кто хочет за деньги лишить меня дня.*  
За то, что я *слаб и смириться готов,*  
Что предки мои -- *поколение рабов*<sup>258</sup>.

То — его выступление (*от порога*: в революцию).

## И война и пожар впереди

В мире первого тома есть рыцарь и Дама; кругом — хоровое начало, какие-то "мы": после рыцарь — Пьеро, Дама есть Коломбина, а хоровое начало суть "мистики"; но появляется Арлекин, или — Третий: уводит изменную Коломбину.

Где более двух, — миллионы; иль — все; и "он" — переход: к "мы", "они"; путь "двоим" через "третье": к всеобщему; там — chorus mysticus, или — орхестра, совет, пути жертвы; тут, умирая в отъединении, воскресают в рождаемом коллективе: *"Эта связь активного человеческого начала (личного) с воплощенною в социальном духовно-телесном организме всеединой идеей должна быть живым сизигическим отношением"*<sup>259</sup> (Владимир Соловьев). Если образы ценного воспринимаются жадно Невестой, является — третье: оно — Арлекин; он — общественность.

Вспышкой общественности — в пору смерти в нем образов прежнего мира встает непокорный, общественно-революционный поэт, подходящий по-своему к революции; революция внешняя и революция мира души, — отражение: разбивания рокового порога, удерживающего человечество от духовной конкретности; можно сказать, что А. А. будет — скиф, утверждающий две революции — в третьей, в духовной.

Погасла заря; и вот — вспыхнуло пламя в руке у Петра:

В руке протянутой Петра  
Заплашет факельное пламя<sup>260</sup>.

Пьеро умер, но — жив Арлекин, или сам же поэт (Арлекин и Пьеро — двойники: те же: мистик, остряк): Арлекин, сняв костюм, здесь — Народник, а Коломбина — Россия; народ — хоровое начало.

Революционер призывает:

Бегите все на зов! На зов!

Кто? Да те, кто спален:

Опаленным, сметенным, сожженным дотла —  
Хвала!<sup>261</sup>

Страшный "Колокол", страшный недавно в глубинах личного — вовсе не страшен: то — зов революции.

И на башне колокольной  
В гулкий пляс и медный зык  
Кажет колокол раздольный  
Окровавленный язык<sup>262</sup>.

Словом: —

Город в красные пределы  
Мертвый лик своей обратил<sup>263</sup>.

И уже:

Край небесный распорот,  
Переулки гудят<sup>264</sup> ...

О чем гудят?

*Опаленным, сметенным, соизженным дотла —  
Хвала!*

А над этою, начинающимися политической и социальной революциями, слышится и начало духовной:

Бился колокол. Гудели крики, лай и ржанье.  
Там на грязной улице, где люди собрались,  
Женщина-блудница — с ложа пьяного желанья  
На коленях, в рубашке, поднимала руки ввысь<sup>265</sup>.

А над всем миром:

*Розовым зигзагом в разверстой лазури  
Тонкая рука распластывала тонкий крест<sup>266</sup>.*

А. А. откликается на этот звук *революции*:

Я покину сон угрюмый,  
Буду первый пред толпой<sup>267</sup> ...

Он появляется и на митинге *революции*; видит, как падает революционер:

И в вышине внезапно вставшей  
Был светел круг лица,  
Был тихий Ангел пролетевший,  
И радость — без конца<sup>268</sup>.

Это радость свершений иного пути вызревает в упорнейших думах об интеллигенции и народе; подходит по-новому к старым проблемам земли, осознав, что Виденье должно превратиться в восстание и в свет всей земли; соединенье Лаврова, Владимира Соловьева и Федорова — грядущие вехи исканий культуры.

.....  
Путь тот — путь крупных. Фауст здесь бессознательно убивает свою Маргариту, переживает сон смертный; переживает его и А. А.; Фауст после — справляется; и — появляется в обществе, где возникает вопрос о Елене Прекрасной: как вызывает Ее? Мефистофель ему сообщает: спускаются в мир Матерей<sup>269</sup>, где кончается все: вещи, люди, события, образы, боги и самая власть Мефистофеля; Матери — лоно, иль — небо внизу; царство Духа — низы подстилает; оно — непосредственно-данное, первое; Фауст — спускается; здесь, прикасаясь к источнику всех превращений, иль тканей, сплетаемых, видит он — Матерей Парок.

Поэзии Блока путь именно обращается к "Матери", символу Матери; в стихотворении "Моей матери" сказано: "возвратились... в родное жилище";

из "матери" — подымается Мать: "И старая мать погребла...", "миновали сотни и сотни лет", "одна осталась старая мать":

Как мир стара, как лунь, седа,  
Никогда не умрет, никогда, никогда<sup>270</sup>.

Матери — не умирают.

И характерно: в "пруд" (лоно Матери) падает "Церковь", иль "Храм":

А хмурое небо низко  
Покрыло и самый Храм<sup>271</sup>.

Погружается Храм в лоно Матери; остановилась мушино-мышинная жизнь; лепетание "бабье" становится: говором Матери.

Фауст отсюда выводит Елену на сцену придворного "Балаганчика". Долго решают: а подлинно ли Елена — Елена; актриса? Но то — не актриса: Елена, иль — роза глубокого лона. В стихотворении "Моей матери" (в новом) рассказано: сын разбивает сады

И бережно обходит мать  
Мои цветы...

Это — розы из лона; и — далее: "Знает ли она, что сердце зреет!" Сердце — роза; зреет — Еленой, новой жизнью; Нечаянна радость: "весна без конца и без краю". И —

Узнаю тебя, жизнь!

Испытание первое кончено: так, уйдя в заповоронную жизнь, он восходит оттуда с Еленою; как Эмпедокл, сочетавшийся с миром огня, сочетался он с миром метели; и — в лоно ночное он канул; вернулся: с Еленой!

Принимаю... простор поднебесий  
И томление рабских трудов<sup>272</sup>.

Говорит уже Гетевским языком: мудрой ясностью:

Я хотел бы,  
Чтобы вы влюбились в простого человека,  
Который любит землю и небо<sup>273</sup>.

Браку Фауста и Елены отвечает пыл любви к земной женщине; и — образ Мэри рождается; через него говорит ему Та:

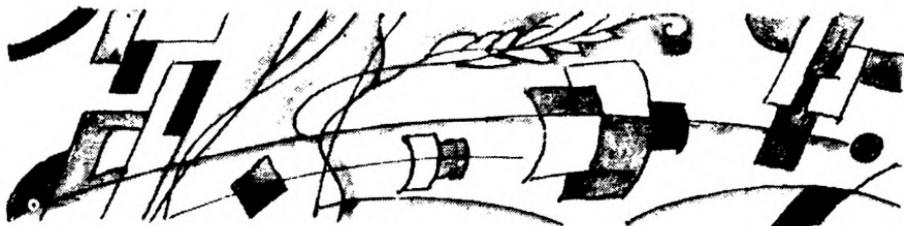
К созидающей работе возвратись.

Из брака Елены и Фауста возникает — Эвфорион<sup>274</sup>, пыл; возникает от Новой любви у А. А. жар стихов:

Их тайный жар Тебе поможет жить!<sup>275</sup>



## Глава седьмая ВСТРЕЧА И ОХЛАЖДЕНИЕ



### Полемика с Петербургом

В марте 1907 года я был в Москве. С А. А. не переписывался; личное расхождение с ним определилось внешней формой: оказались мы в разных литературных кругах; непонимания, о которых шла речь впереди, получили возможность себя выявлять чисто внешне; в Москве в литературных кругах "Скорпиона", "Весов", "Золотого Руна", "Перевала" открыто я нападал на линию литературной позиции Блока и выражал недовольство стихами его; пора личной переоценки поэзии Блока во мне совпала с началом широкой известности Блока; о Блоке везде заговаривали; мне особенно было порою мучительно вслушиваться в дифирамб, распеваемый стихам Блока, — не тем, которые некогда поразили меня, — тем, которые меня отшатнули; я искренне думал: А. А. обменял теургическое первородство свое, венец жизни, на лавровый венок поэтической славы. И я повторял строчки Брюсова:

Горе, кто обменял  
На венок — венец.

Видел я, что для многих А. А. есть поэт "Балаганчика", "Незнакомки"; меж тем, думал я, "Балаганчик" — симптом упадания поэтической музыки; а слухи, которыми в это время питались кружки поэтические Москвы, утверждали какую-то исключительную близость между А. А., Г. И. Чулковым, усиленно проповедующим в статьях и в газетах мистический анархизм, В. Ивановым, выпустившим свою книжечку "Эрос" и проповедовавшим, с моей точки зрения, эротизм под маскою религиозной символики, — все

заставляло высказывать желчные мысли о Блоке отчетливо, вслух. Моя нервность, измученность и очень сильная слабость, последствия операции, предрасполагала меня к раздражительным выходкам; было особенно больно мне видеть: среди поэтической молодежи, уже начинавшей восторженно относиться к поэзии Блока, нападки мои на поэзию эту, полемика с Петербургом, воспринимались не так, как хотел бы я видеть полемику эту; иные во мне наблюдали лишь резонера, дотошного теоретика, позабывая, что все выступления против двусмысленной мистики петербургского символизма не были выпадами "риккертианца", каким меня сделали из полемических целей; я, все-таки, был автор "Симфоний", статей о "Священных Цветах", "Теургии", во мне можно было усматривать все, кроме мертвого абстрагизма рассудка; и находились такие, которые видели в моей полемической агрессивности — что-то, подобное зависти к всевозрастающему влиянию Блока; бывало говаривали: "Белый и Блок", ставя рядом нас, выразителей передовых устремлений искусства, теперь говорили: "Да, Блок, Городецкий, Иванов, Кузмин, — выказыватели нового слова, а Белый, а Брюсов — реакционеры: они устарели, отстали". Суждения эти о мотивах полемики всего более распяляли меня; и все резче и резче писал против Блока, Иванова и Г. Чулкова. С другой стороны, этот дикий задор разжигали отчасти и Эллис, и Брюсов; отчасти — С. М. Соловьев; к моему возвращению из-за границы в Москву произошла удивительная перемена в Л. Л. Кобылинском по отношению "Весов". Брюсов, Эллис, Л. Л. Кобылинский, вполне примирились друг с другом, организовали во время парижской болезни моей в Москве "Общество свободной эстетики"; Эллис, недавний противник "Весов", оказался сотрудником их; и приблизился очень к "Весам" Соловьев; филологические увлечения последнего совершенно сближали его с тесной группой редакции, где формальное отношение к проблемам словесности, стиля и где тенденция формулировать принципы символистической школы с отчетливой ясностью, — преобладали все более; в редакционном составе "Весов" отложилось ядро теоретиков, определяющих литературную политику группы; и на нее влиял Эллис, политик особенно по "марксистскому" прошлому, бескорыстнейший агитатор и бескорыстнейший интриган; проповедуя культ раздельности духа и плоти, он видел во всяком смешении планов мистических с литературными недопустимую богохульную мешанину; а идеалом отчетливости в выражении своих эстетических упований стал Брюсов для Эллиса; Эллис готов был бросаться вполне бескорыстно на всех, кто считал, что В. Я. не есть первый поэт среди нас; он торжественно провозгласил его мэтром; а петербуржцы, провозгласивши Иванова руководителем судеб символизма, и выдвигая везде А. А. Блока не только полемики ради, но и подчас в пику нам, москвичам, — уж тем самым естественно вызывали в неугомоннейшем Эллисе желание объявить всем-всем-всем беспощадную брань; Эллис лично едва выносил В. Иванова и относился к А. А. с все растущей запальчивостью, подозревая его в "соглашателстве"; будучи посвящен в нелады мои с Блоком, стоял на моей стороне он всецело и окружал постоянно меня эманацией страстного своего негодования на Блока; вполне бескорыстно во мне раздувал он все искры негодования этого — в по-

жар гнева; и самое резкое, что когда-либо я написал в отмежеванном мне отделе "Весов", "На перевале", — все было раздуто и вскормлено страстностью Эллиса.

Разошедшийся с Блоком С. М. Соловьев, так открыто примкнувший к ядру необузданно-ярких "весовцев", слагавших "политику", разумеется, не только примкнул в этом пункте к гремящему Эллису, но и шел далее: видел он в линии популярного "мистического анархизма" течение, разлагающее внутренние устои морали, эстетики и религии; в Брюсове, в Эллисе видел он безобидное безразличие по отношению к своему религиозному *credo*; и кроме того: эстетические устремленья его, еще прежде изменного Эллиса, явно склонились к Брюсову; будучи самым близким (почти что родным) в это время, естественно, сильно влиял на меня он, как Эллис.

А Брюсову было, конечно же, на руку личные наши чувства использовать против тенденции Иванова, Блока, Чулкова: приобретал в нас своих бескорыстных идейных оруженосцев он; во-вторых: ему было неловко бороться без нас за свое первородство; В. Брюсов был тоже "политиком", но — "политиком" — особого рода (не бескорыстным политиком). Очень умело использовал он настроение наше, способствуя образованию идеологии так называемой группы московского символизма, поднявшего меч на "соглашательский" Петербург; Брюсов, официальный редактор "Весов" (человек, не имеющий своих собственных философских идей, а лишь — вкус, эрудицию), мастерски дирижировал нами троими; он мне предоставил идейную философскую линию обоснования символизма; а Эллису он предоставил свободу кавалерийских наскоков на Петербург; Соловьеву он предоставил свободу для критики произведений, В. Я. не угодных; так три коренных "аргонавта", друзья еще прежде (я, Эллис, С. М. Соловьев), оказались штабом армии, открывающей военные действия против группы писателей, в центре которых стояли: Иванов, Георгий Чулков, А. А. Блок. З. Н. Гиппиус (Антон Крайний) присоединился к нам.

Первоначальное ядро символистов, в котором себя ощущали Иванов, Блок, я, этим было расколото (через несколько лет мы сплотились опять); в этом раннем расколе уже подготовился "Кризис Символизма"; о нем было много впоследствии писано. Собственно символизм — никогда не был школой искусства, а был он тенденцией к новому мироощущению, преломляющему по-своему и искусство; а новые формы искусства рассматривали мы не как смену одних только форм, а как отчетливый знак изменения внутреннего восприятия мира от прорези в нас новых органов восприятия; мы (А. А., я и Иванов) все три соглашались: близится кризис сознания и близится кризис культуры; и — зреет: духовная революция в мире. Всех трех единила, конечно же, связность с идеологией Вл. Соловьева; а не одни наши вкусы сближали нас; в это время придавал я значение кризису философии; В. Иванов основывал свое *credo* на данных сравнительной филологии, археологии и новых данных в исследовании религиозных культов Эллады; А. А., как мы видели, более всех обосновывал *credo* на опыте, переживаемом внутренне; да, во многом естественно отправлялись мы от единства в восп-

ринимании памятников культуры искусств, от вкусовой солидарности; но не в ней, не в одной вкусовой солидарности этой был базис объединения нас, символистов *"par excellence"*: в религиозно-философской линии всех устремлений: *"символизм, как мировоззрение, как мироощущение"*, — вот что связывало; под символизмом же разумели мы некую *истинную действительность* восприятия духовного мира сквозь образы, данные миром искусства; А. А. Блок воспринял ту *действительность* позитивно, конкретно, а В. И. Иванов был трансцендентный *реалист* (в ученье о *"гез"*, о символике и т. д.); я же был бессознательным антропософом в то время уже; трое — резко мы отмежевывались от банального трактования позитивизма, от чувственно-вкусового базирования своих эстетических воззрений; мы, трое, естественно отмежевывались от эстетов, импрессионистов и декадентов, невольных лишь спутников; с ними нас связывала лишь вкусовая культура и дружный протест против низкого уровня этой культуры у тех, кто нас сваливал в общую кучу, как вообще *"символистов, эстетов и декадентов"*.

*"Школа"* русского символизма не связывалась только с частными задачами техники слова, иль понимания метафоры, звука, инструментовки; хоть именно в школе той уже с достаточною серьезностью выдвигались задачи технической культуры стиха\*; школа русского символизма не связывалась с частностями таких задач; акмеизм с своим более поздним протестом против русского символизма, как футуризм, имажинизм и т. д. протекал не вне *"вех"*, обозначенных символистами — внутри этих *"вех"*, специализируя лишь задачи, выдвинутые символистами; с имажинистами, с футуристами спорить нельзя, потому что не видят они из-за дерева своего — *леса*, в котором засели они\*\*; этот лес — символизм.

Что же есть *школа* нашего символизма по Блоку? Символист — обладатель какого-то тайного *"клада"* (духовной действительности); клад кажется символисту принадлежащим сперва одному ему. В своей статье о символизме Блок пишет: *"Ты — одинокий обладатель клада; но рядом есть еще знающие об этом кладе... откуда — мы: немногие знающие, символисты... с того момента зарождается символизм, возникает школа"*†. Стало быть, школа русского символизма по Блоку есть некое интимное братство *"конкретно зарю увидавших"*; зоря эта — родина: Дух. Символизм так возник; так, как встретились мы (С. М., я и А. А.), так встречаются лишь эзотерики, заговорщики Духа: *"Здесь... перемигиваются"*, *согласные на том, что существует раскол между этим миром и "мирами иными"* (из той же статьи); *"Символист уже изначала — теург, т. е. обладатель тайного знания, за которым стоит тайное действие"*. Весь стиль наших встреч и бесед *en trois*‡ (С. М., я, А. А.) в 1904—1905 годах — *"перемигивание"* о знании, из которого должно воспоследовать: *действие*; выдуманый С. М. Соловьевым *"Laran"* был лишь способом *"перемигивания"*. Увы, *действия* — не воспоследовало; и *"теур-*

\* Исследования В. Иванова в области метафоры, мои — в области ритма и т. д.

\*\* Характерно, что имажинистский теоретик г. Шершеневич, славный полуцензурною руганью по адресу символистов, в своем определении *"образа"* всецело заимствует это определение из моего *"Символизма"* (без указания источника).

гический” пыл символизма сменился впоследствии снегом и пеплом “эстетики”; эта эстетика произвольно расширилась в Петербурге до “стиля”, “игры” в символистическую мистерию (действие), что сказалось, например, в упомянутом вечере, на котором укальзывали иглою и на котором водили писатели хоровод; мы в ответ из Москвы (в знак протеста) сознательно сузили сферу “эстетики” символизма до самых сухих рассуждений о форме, о ритме, о методе, стиле; в сужении, во внешнем отмежевании от мистики, от “мистерии”, в блоке с Брюсовым (формалистом, эстетом), спасали мы в катакомбы, в молчание, — скомпрометированный *теургический* момент символизма, поруганный, как казалось нам, в Петербурге с отчетливого попустительства... Блока; так некоторым “*Аргонавтам*” казалось в Москве; петербуржцам же, главным образом очень новым пришельцам в страну “*символистов*” (являющимся для нас *parvenus*<sup>7</sup>), им казалось: в нашей придирчивости и в устремлении к формуле есть отказ от недавних путей; так началось образование двух фракций: Московского и Петербургского символизма (“*Скорпион*” и “*Оры*”); казались петербуржцы нам большевиками и экстремистами; и в экстремизме казались они нам губителями дорогого, всем общего дела; казалось, что к ним примыкают случайные, пришлые люди, непосвященные в “*эзотерику*” символизма, вчера еще наши хулители, контрреволюционеры в искусстве, сегодня — сменившие “*вехи*”, и объявившие нас, революционеров, вчера выносивших всю тяжесть борьбы за свободу искусства, — в отставшем; таково — содержание пафоса резких статей, из которых в “*Весы*” мы стреляли по “*Орам*”. А петербуржцы ответили на эту войну объявлением нас нарушителями добрых нравов литературы, разбойниками, лишенными вкуса, слуха, рационалистами. Правы же были и те, и другие; и так же: неправы остались и те, и другие; предвидением падения с высоты символизма — падения, погубившего течение (в целом) — правы мы были; но были правы и в Петербурге, естественно возмущаяся “*тоном*” полемики, нами затеянной; а широкая публика — не понимала всех тонкостей фракционной борьбы, ей казавшейся бурей в стакане воды.

Я был искренен в вопле, что: “*Многим из нас принадлежит незавидная честь превратить самые грезы о мистерии в козловак*”<sup>\*\*</sup>.

Петербургская, как нам казалось в то время, распушенность заползала в Москву, образуя гибридные соединения из новаторов, пошедших на соглашение с инертной толпой, и “*сменовехистов*” из бывших отчетливых реакционеров в искусстве, старающихся снекулировать на “*символизме*”, на повизне; и по адресу первых я скоро писал потом: “*Нынче талант окружен ореолом рабов. Раб же знает: любезнейшего из друзей патрон отпускает на волю. А вольноотпущенник в наши дни — это первый претендент на литературный трон патрона... Не имей рабов, не останавливайся в покоренной стране, оставайся воином вольным: все вперед, все вперед*”<sup>\*\*</sup>. Талант, окруженный рабами и вольноотпущенниками, — А. А. Блок; мистический анархизм с его

\* См. “*Весы*”. “*На перевале*”. “*Искусство и мистерия*”.

\*\* “*Весы*”. “*На перевале*”: “*Вольноотпущенники*”.

формулами расширения символизма в Москве признавались реакцией, способствующей образованию нечистого символизма; к Иванову, к Блоку мы предъявляли категорические ультиматумы: разорвать явно с теми, которые, как нам казалось, их лестью заманивают в свой лагерь для спекуляции новизной; разумеется: ультиматумы им казались насилем; мы требовали покаяния: *"На высотах стоят по-прежнему воины движения, победоносно поднявшие знамя символизма... потянулся обоз войска. Литературный обоз... всякого движения избылует гешефт-махерами..."*\* Эти гордые речи, — как впоследствии я упрекал себя горько за них: именно в ту пору, когда Эллис, я, Соловьев с фанатизмом отстаивали чистоту символизма, у нас за плечами шла явная откровенная спекуляция нашим же фанатизмом; мы были слепыми орудиями.

Этого мы не видели; и казалось Иванову, что мы предаем реализм символизма субъективистическому распылению его в философию, "мистику" — рационализму и кантианству, творчество — методологическому приему; к такому же взгляду на нас очень часто склонялся и Блок; так в нем преломлялись слова мои: *"Символизм в искусстве не касается техники письма... Борьба художественных школ вовсе не касается проблем символизма... Когда мы осветим поставленные проблемы в свете психологии и теории познания — только тогда мы поймем, что такое проблемы символизма. Но на этих вершинах мысли слышен свист холодного урагана, которого так боятся Митрофанушки-модерн..., насвистывающие похоронный марш символизму"*\*\*.

Митрофанушка — "мистический анархизм", в сознании которого "наш" символизм обертывался "кантианством", на что я отвечал с негодованием: *"Певчая птица, качайся себе на веточке, но, Бога ради, не подразжай свистом фуге Баха, которую ты могла услышать из окна. Чтобы быть музыкантом мысли, мало еще дуть: "дуть — не значит играть на флейте; для игры нужно двигать пальцами"* (Гете)". Певчая птица, недовольная нашей московской платформой — опять-таки есть А. А. Так А. А. был единственной тайной фигурой полемики; я на него нападал, но не для того, чтобы его повалить, уничтожить в борьбе, — чтоб вернуть его к прежнему светлому миру; через мир тот опять отыскать к нему путь; да, конечно же, тайной любовью к бывшему дышала моя горечь фраз, обращенных к нему; в руках Брюсова, в атмосфере взаимного подзадоривания друг друга против Петербурга (С. М., Эллиса и меня) эта горечь "утраты друга" пресуществлялась в атаки; передавали, что там, в Петербурге, меня называли "разбойником", нападающим на дорогах. Попав из Парижа в Москву, очутился я в гущу литературной политики; часто встречались мы с Эллисом (у меня и в "Дону"\*\*\*), вынашивая тезисы литературной платформы, задумывая полемическую кампанию; и порою присоединялся к нам Брюсов, желавший воистину "доброе" мира между нами (для "доброй" грызни с Петербургом); заседания О-ва Свободной Эстетики, происходившие в Литературно-Художественном

\* "Весы". "На перевале": "Вольноотпущенники".

\*\* "Весы". "На перевале": "Детская свистулька".

\*\*\* Меблированные комнаты на Сенной площади, где жил Эллис.

кружке, рефераты там, — все то привлекало, как способ забыться от души (снедавшей тоски; так, “эстетика” занимала серьезно меня (туда втягивал Эллис); и я очутился совсем неожиданно в комитете “эстетики”; в комитет же входили: любитель художества, доктор И. И. Трояновский<sup>8</sup>, художники В. А. Серов<sup>9</sup>, В. В. Переплетчиков, Гиришман<sup>10</sup>, В. Брюсов, из музыкантов — Н. Кочетов<sup>11</sup> и, кажется, что — Корещенко<sup>12</sup> (а может быть, Мейчик<sup>13</sup>); секретарем был В. В. Пашуканис<sup>14</sup>, расстрелянный через несколько лет\*. К тому времени начинаются мои первые публичные лекции, которые имели успех, пока еще не затравили газеты и не был объявлен бойкот (эти прелести “прессы” еще предстояли); те лекции вызвали ряд новых встреч: с интеллигентною молодежью, с рабочими, с революционерами; жизнь начинала уже принимать этот вид утомительной суеты, от которой впоследствии так я страдал: жизнь среди телефонных звонков, посетителей, приглашений туда и сюда, теоретических “принципиальных” бесед; но под всей этой умственно интересной возней ощущалась тоска; сердце все еще не могло помириться с едва пережитою драмой сознания: с разуверением в Блоке и в прежних путях. Мы частенько встречались с С. М. Соловьевым, едва оправляющимся от тяжелого ревматизма, который схватил он в одну из поездок своих (зимних) в Дедово. По приезде в Москву я застал пригвожденным к одру его; он меня встретил с уютным, немного трагическим юмором:

— Да, вот, — дошли мы: тебя там в Париже изрезали; ты обливался там кровью, а я вот свалился без ног.

— Да, дошли мы до точки...

И нам обоим казалось, что годы предшествующие, вызывавшие в нас род какой-то горячки исканья путей, нас столкнувшие с революцией и поставившие перед лицом необходимости совершения какого-то акта, — окончились кризисом, выпавшим в форме болезни; свалился в Париже я; в скором времени свалился С. М. Соловьев, здесь, в России; к тому же: сторел его дедовский домик, где сиживал и В. С. Соловьев еще: домик, где столько пережили мы вместе! Задумывались над судьбою своей: но мало мы вспоминали пережитое когда-то у Блоков; А. А. для С. М. Соловьева теперь был общественной литературною силой, враждебной С. М.; беспощадную критику наводил он на Блока, стихотвореньям которого противопоставал он стихотворения Вячеслава Иванова.

О Петербурге болталось так много; ходили какие-то сплетни о том, что там — “Бог знает что”, и что “среды” Иванова — невероятнейший кавардак; я, конечно, не верил ни слухам, ни сплетням, стараясь не слушать о том, что болтают крутом; но я чувствовал: что-то ужаснейше надломилось в кругу, где когда-то встречались с А. А. мы; в чем суть — я не знал (да и знать не хотел); знал одно я: Л. Д. потеряла отца (старика Менделеева), изменилась совсем (говорили, — ее не узнать), поступила на сцену<sup>15</sup> (и факта того я Бог весть почему все не мог ей простить: мне казалось, что факт поступленья на сцену — предательство: выдача тайны “мистерии”); говорилось еще, что А. А.

\* В 1919 году.

увлекается сценою (постановкою "Балаганчика"), что он весь погружен в интересы театра Комиссаржевской<sup>16</sup>. Опять-таки: в "сцене" я видел для жизни А. А. и Л. Д. лишь кулисы; и самое тяготение к подмосткам рассматривал как болезненное извращение чистоты теургических устремлений недавнего прошлого; про А. А. поговоривали, что и он весь — изменился, что стал попивать, что бросается в утар жизни, иль — мрачно молчит, удаляясь от всех; говорили: как будто бы он увлекается кем-то<sup>17</sup>.

Но все, что случайно ко мне долетало из жизни А. А., воспринималось мной, как "надрыв", как жест боли и кощунства, как пограние святых, под которыми встречались все мы недавно еще для совместного "действия"; и вот это "действие", связавшее нас четверых, обернулось в А. А. и Л. Д. "балаганным паясничеством", отчего мы с С. М. Соловьевым свалились (в Москве и в Париже): болезнь — лишь итог, выпадающий в тело: итог *действий* Духа. И потому-то слова Соловьева, которыми встретил меня он в Москве. —

— Да ведь вот — мы дошли: тебя резали там, в Париже, — а я вот свалился: без ног, — те слова в моей жизни казались словами Сибиллы<sup>18</sup> (хотя С. М. часто просил меня "ну-ка, Боря, провещивайся", апеллируя якобы к моему сибиллизму, однако "провещиваться" мастер был — он: он "провещивался" — гениально!).

Нам ясно казалось, что "миф" нашей жизни, "миф" вещей, сперва не случайно нас свел с ним (и В. С. Соловьев, и М. С. Соловьев тут стояли "мифически" между нами), потом этот "миф" свел нас с Блоком для какой-то большой, малым разумом не осознанной цели, и мы, выражаясь словами А. А., "перемигивались", как заговорщики огромного дела; для этого "дела" мы выбрали "Блоков", как старших; и что же случилось: огромное дело — комедия; "инспиратриса", которую мы так чтили, — комедиантка; теург — написал "балаганчик", а мы — осмеяны: "мистики" балаганчика!..

Чувствовалось: прошлое наше сгорело так точно, как дедовский домик, с его обстановками "белыми колокольчиками" — теми самыми: Пустыньки! Пепел былого во мне был тем "Пеплом", который уже почти весь был написан (писал в это время я "Урну"); и пепел былого для Блока был "снежною пылью", в которой развеял он то, что когда-то нас сблизило. И поднимался вопрос к Небесам: "О, за что же, за что?" И мы чувствовали с С. М., что теперь на развалинах прошлого оба сидим мы; и — ждем; и — решили, что лето нам следует провести снова вместе, чтоб прислушаться к ритму грядущего.

С Коваленскими я разошелся в то время. С. М. тоже был им далек; его домик сгорел; и он в Дедове только отстраивал новый. Решили мы снять пустой домик в Петровском (в имении кн. Голицына), необитаемом, около деревни Петровское, вблизи пруда и на опушке густого, густого высокого леса (Петровское лежало от Дедова в расстоянии двух верст).

Запомнилось это дождливое лето<sup>19</sup>: туманы, молчанье, раздумье и тихая грусть о былом. Здесь доканчивал "Кубок Метелей"; и здесь я писал стихи "Урны"; да, здесь тихая грусть и усталость годами сменилась глубокой-глубокой целительной грустью — на перекрестке путей.

Какая тишина! Как просто все вокруг!  
Какие скудные, безогненные зори!  
Как все, преjdeшь и ты, мой друг, мой  
бедный друг.  
К чему ж опять в душе кипит волнений  
море?<sup>20\*</sup>

Помню я те особые тихие грусти дождливого лета в Петровском, когда выступающими из берегов ручьями бывали на несколько дней мы отрезаны от окружающих деревень (Надовражина, Дедова).

Какой там зов, — какой?..  
О чем?  
Какая грусть!..  
Как хорошо!..

Помню широколиственные кущи:

И там, где громами растущий  
Яснеем облачный приют, —  
Широколиственные кущи  
Невнятной сладостью текут<sup>21</sup>.

Много раз вспоминали с С. М. Соловьевым мы полтора месяца, проведенные в Петровском:

Соединил нас рок несдаром,  
Нас общий враг губил... И нет —  
Вверяли заревым пожарам  
Мы души юные, поэт,  
В отдохновительном Петровском,  
И после — улицам московским,  
Не доверяя... и т. д.\*

Действительно: скоро опять очутился я среди московских улиц, когда С. М. от меня для излечения ревматизма двинулся в Крым, а я, приехав в Москву, застал у себя на квартире (пустой: мать уехала на Кавказ) переморенного Эллиса, который, оставшись без комнаты и без денег, совсем перебрался вдруг к нам; я остался при нем, — почти тоже без денег; и вот потекла наша жизнь, лихорадочная и болезненная такая, среди грохота жарового июльских пролетов; здесь с Эллисом мы разжигали друг в друге негодование по отношению к изменникам "*Символизма*", просиживали по ночам до утра, подымались полутолодные и среди дня уже строчили стремительные манифесты от имени "*Символизма*"; потом, отдохнувши, шли каждый вечер в кинематограф, который настраивал опять-таки нас против *Блока*: "*Кинематограф*" — демократический театр будущего, балаган в благородном... смысле этого слова. Все, что угодно, только не Балаган "ч и к". Уэс

---

\* Из стихотворения, написанного в Петровском и посвященного С. М. Соловьеву в знак общего нам настроения<sup>22</sup>.

пожалуйста, без "ч и к"; все эти "ч и к" — ...гадкая штука; будто достаточно к любому слову приставить маниловское "ч и к" — и любое слово ласково... заглянет в душу: "балаганчики" мистерию превращают в кинематограф; кинематограф возвращает... здоровую жизнь без мистического "чикания". Последнее слово новейшей русской драмы, это — внесение пресловутого "чика" в наиболее священную область — в трагедию и мистирию. Слава Богу, такой драмы вы не встретите в кинематографическом действе"... и т. д.\*

Отстрочив очередной манифест в газеты, в которых я стал работать, или в "Весы", или в "Перевал", мы продолжали с Эллисом, полуголодные и иступленные взвизгивать себя до последнего градуса ожесточения; и нам начинало казаться, что Иванов, Блок и Чулков составили заговор: погубить всю русскую литературу; и так решив, — шли в кинематограф.

Экзальтация моя была понятна: я находился в тройной полемике: со всем Петербургом, с Э. К. Метнером из-за заметки моей "Против Музыки" и с "Золотым Руном"<sup>23</sup>.

Когда я приехал в Москву, то три журнала "Весы", "Золотое Руно", "Перевал" могли бы быть органами выражения идей нашей группы (Петербург не имел своих органов); и я мечтал создать блок трех журналов против громимого Петербурга, чтобы из трех батарей обстрелять злую "башню" Иванова; но — была конкуренция меж журналами ("Весы" все старались подкалывать "Перевал", "Перевал" же косился обиженно на "Весы" и ярился совсем уже бешеным гневом на "Золотое Руно"); три журнала хотели, чтоб я в них ближайше участвовал; но партийный мой долг меня связывал непременно с "Весами": там был водружен нами стяг символизма; впоследствии мне удалось смягчить нелады между Брюсовым и С. А. Соколовым (редактором "Перевала"); и состоялось негласное соглашение: не пускать в "Перевал" идеологию петербуржцев (в перевальской же группе, как помнится, были: С. А. Соколов, Н. И. Петровская, Муни<sup>24</sup>, В. Ф. Ходасевич, П. П. Муратов<sup>25</sup>, Б. К. Зайцев<sup>26</sup>, я, Янтарев<sup>27</sup> и др.). С "Руном" разорвал я; предлог для разрыва — бестактный поступок редактора-издателя Н. П. Рябушинского по отношению к одному из сотрудников, а также отказ мой на приглашения быть заведующим литературным отделом; я ставил условием Рябушинскому — уход Рябушинского от заведования журналом и мотивировал невозможность работать с ним, как с лицом, не могущим быть компетентным в вопросах литературы; ко мне присоединился Брюсов и некоторые из художников (как помнится — Сапунов<sup>28</sup>, Судейкин<sup>29</sup>, Феофилактов<sup>30</sup> и др.); мотивы бойкота "Руна" были мотивы борьбы корпорации писателей с малопонимающим в искусстве меценатом-издателем (мотивы идейные); "Руно" превратило мотивы бойкота в идейные разногласия (руководители же "Руна" были, помнится, безыдейны совсем); и — пригласило в заведующие литературным отделом А. А.; и А. А. согласился; и петербургская группа теперь получала свой орган в Москве. Я был в бешенстве; мне казалось: появление петербуржцев в "Руне" после нашей мотивировки о нежелании работать с "самодуром-редактором"

\* См. "Весы" за 1907 год: "На перевале. Кинематограф".

— появление петербуржцев в "Руна" мне казалось штрейкбрехерством; с того времени стали печататься здесь литературные обзоры А. А.<sup>31</sup>, посвященные писателям-реалистам (по нашему тогдашнему представлению реакционерам в искусстве), и с выпадами против нас, бывших спутников по пути. Подлинного же уклона А. А. к темам быта, народа, к проблеме "интеллигенции" не понимал я еще; статьи Блока казались: фальшивыми и заискивающими в лагере наших литературных врагов.

Так в разгаре полемики я написал А. А. (жившему в Шахматове в то время) немотивированное, до оскорбительности резкое письмо, обвиняющее его и в штрейкбрехерстве, и в потворстве капиталисту, и в заискивании перед писателями, сгруппированными вокруг Леонида Андреева, за которыми шла в это время вся масса читателей. А. А. возмутился до глубины души тем письмом; он прочел в нем мое обвинение его в подхалимстве; и тут же: я получил его дикий по гневу ответ, обвиняющий меня в клеветничестве; и оканчивающийся — вызовом на дуэль<sup>32</sup>.

Я задумался над письмом своим; да, я нашел его резким, несправедливым; друзья тут вмешались, заставили меня написать объяснительное письмо Блоку; поводов к дуэли, действительных, не было; в-третьих же: я дал слово, что никогда между нами не будет "дуэли"; и слово нарушить не мог.

Письмо Блока ко мне (оно — первое после месяцев совершеннейшего молчания) было началом действительных "мирных" переговоров, окончившихся письмом Блока ко мне; в нем меня извещал он, что едет для личного объяснения со мною: оканчивался год положенного между нами молчания. Встретиться были должны мы: мы — встретились.

## Примирение

Помню, что в день приезда А. А.<sup>33</sup> — волновался ужасно; поднимались все эти года, столь изменные; и — казалось, что с 1901 года — пережито столетие. Возвращаясь в этот день по Арбату (домой), я увидел пролетку и в ней А. А. — в белом; и в белой своей панаме; мне подумалось: да; таким его видел я раз в Петербурге, на Караванной, когда, как казалось мне, он не заметил меня; в той же белой он был панаме; и такой же, — весь бледный. Пересекал он Арбат, по направлению к Новинскому<sup>34</sup>, где помещалась редакция "Золотого Руна". Было — пять часов дня. В семь он должен был быть у меня.

С нетерпением ожидал я его. Мама тоже была в нетерпении (она — только что вернулась с Кавказа). В семь, ровно, раздался звонок; я — пошел отворять: это был А. А. Блок. Но как я удивился: он был в своем темном пальто, в темной шляпе своей, в черном, гладком своем пиджаке, — не такой, каким видел его на Арбате; и главное: тот, кого видел, был мертвенно бледен; а этот, передо мною стоящий А. А., — был совсем загорелый; и — скорее розовый (вовсе не бледный); так — стало быть: образ А. А. мне почудился на Арбате; потом, в *этот* же вечер, я спрашивал у А. А., был ли он — на Арбате;

он — был: но не в эти часы, когда видел его. Так, горячее ожидание видеть А. А. мне подставило его образ.

Всегда удивлялся я первому впечатлению; оно — верный синтез, итог того, что переживается впоследствии; так: если бы я себе рассказал в этот миг впечатление от А. А. *очень-очень* конфузливо, с вежливой ласковостью стоящего на пороге квартиры моей, в темной шляпе с широкими очень полями и темном пальто, — то я должен сказать: вид его изменился до крайности за этот год, когда мы не видались. И в сторону прошлого: бессознательную радость в себе вероятно бы я нашел, если бы мог за собой наблюдать в это время; и удивление, и радость — о том, что весь образ А. А., передо мной здесь стоящий, напоминал мне скорее А. А. первой встречи (в 1904 году); и не было в нем ничего от А. А. 1906 года, такого тяжелого для меня; вид ущербного месяца, перекривившего рот, — таким виделся мне одно время А. А. — вдрут куда-то исчез; и глаза не казались зеленоватыми; нет, голубые, большие и детские доверчивые, они смотрели с той вежливой пристальностью, с какой глядели когда-то, казались слишком близкими; и наклон головы, и улыбка, и застенчивое потопатыванье перед дверью, и даже конфузливо сказанное невпаод: *"Здравствуйте, Борис Николаевич"* (вместо *"Боря"* и *"ты"*), — это все показалось возвратом к былому; обращение *"Борис Николаевич"*, *"Вы"*, скорей вызвало радость; с нелепой улыбкой ответил ему:

— Здравствуйте, Александр Александрович!

И почувствовалось: что бы ни было между нами теперь, — все окончится примирением; сразу я понял, что разговор — совершился, — мгновенный в передней, во время нелепейшего обращения друг к другу *"Борис Николаевич"*, *"Александр Александрович"*; все остальное — лишь следствия; странно: во встречах с А. А. 1906 года — обратное: первое впечатление от А. А. мне гласило, что чтобы ни было сказано между нами — все тщетно: все только запугает.

Первому впечатлению верю: оно — не обманывает.

Пригласил я А. А. в кабинет; затворился; ощущалась неловкость от предстоящего объяснения; неловкость себя проявляла в бросаемых исподлобья конфузных взглядах, в полуулыбках и в том, что не сразу коснулись темы приезда А. А.: говорили о *"Золотом Руне"*, о заведовании А. А. литературным отделом; А. А. в кабинете моем мне казался большим; и — каким-то совсем неуклюжим; локтями склоняясь на стол и расставивши ноги, он взял в руки пепельницу, и, крутя ее, высказал что-то шутливое: *"юморист"* в нем проснулся; но — *"юморист"* от смущения; точно видом своим выразил он:

— Подите вот, — дошли до дуэли: совсем по-серьезному...

И эту *"юмористическую"* нотой подхода к событиям, бывшим меж нами, он мне облегчал разговор.

Но начинать, как всегда, не хотел; ждал моих слов с терпеливой серьезною тихостью, ясно вперяясь в меня, чтобы я приступил к разговору; а я, как всегда, подступить не мог прямо, а начал издали, распространяясь на тему о трудности говорить и ощущать одновременную радость, что вижу А. А., что такой же он, как и прежде, что ощущаю по-прежнему близость к нему, будто

не было между нами труднейшего года и будто не были мы разделены обостренной полемикой; начал — туманно:

— Да, да, — подтвердил А. А., — в сущности это все *не о том*, потому что слова, да и все объяснения — пустяки: если *главное* занавесится, то и все объяснения не помогут, а если *главное* есть, все — понятно...

Подлинных слов я не помню, но смысл был — такой. И я понял опять-таки: объяснения с ним — только внешняя форма для отыскания улыбки доверия; "*главное*", т. е. вера друг в друга, друг к другу, проснулась в передней еще; все, что часами теперь обсуждали, естественно протекало под знаком доверия.

Этого разговора, опять-таки, привести не могу; лишь запомнились внешние вежи его; объяснил я А. А. состояние сознания моего, меня медленно убеждавшего в том, что в поступках А. А. есть нечеткость, проистекающая от молчания. И А. А. постарался с терпением мне доказать, что в "*молчаньи*" его вовсе не было возмущающей меня затаенности; он считал: основная ошибка бывшего есть спутанность отношений, где отношения личные наши естественно спутались с отношениями близких и стали синонимом какого-то *коллектива*; так то, что возникло между нами в сложившемся коллективе, не возникало в А. А.; я старался поставить знак равенства меж, так сказать, социальными отношениями близкой группы людей и личными отношениями нашими; возникавшую между всеми нами невнятицу он старался отчетливо отделить от своих отношений ко мне; но он видел: я не приемлю такой изоляции отношений; так его нежелание говорить вытекало из сознания моей неготовности понимать:

— А когда есть невнятица в главном, то разговор без доверия друг ко другу бессмысленен!

Он постарался мне выяснить то, в чем не прав был пред ним; и упрекал меня бережно в психологизме, заставившем видеть его в мною созданном свете; но я возражал: он мог во мне вовремя пресечь мир иллюзий внятным словом, которое хотел я слышать; молчанье его и питало иллюзии; он пытался мне выяснить: иллюзии возникали во мне, и он видел, что *разговорами* их не рассеять. Разбор накопившихся недомолвок был легкий и освещенный улыбкой его, такой доброй и мягкой; и главное — мужеством: вскрыть тайное между нами; я видел решенье А. А. : переступить через косность молчания, выявить правду его и мою в нашей длительной распре: понять объективно меня; и — заставить меня понимать его действия; я же с своей стороны постарался ему показать и себя. Обнаружилось: виною неразберихи меж нами до некоторой степени оказались Л. Д. и С. М. Соловьев (это думал А. А.); я старался С. М. защищать, но наткнулся в А. А. на известный упор; в свою очередь: он наткнулся во мне на тенденцию обвинять Л. Д. во многом, испортившем нашу личную дружбу; между прочим: высказывал и я свое отчуждение от Л. Д. Наконец, мы решили, что в будущем, что бы ни было между нами, друг другу мы будем отчетливо верить; и — отделять наши личные отношения от полемики, литературы, от отношений к Л. Д., к С. М., к Александре Андреевне и т. д. В этом решении чувствовалась действительная

готовность друг друга понять: я считаю, что с этого мига впервые мы повернулись друг к другу — вплотную: поверили основному друг в друге. До этого времени стиль отношений меж нами — душевный; теперь мы ощупывали друг в друге как бы духовный рычаг, обуславливающий нашу дружбу; и мы протянули друг другу теперь наши руки, сказали себе, что во многом еще не улегшемся между нами, мы будем друг в друге взывать только "к духу"; и верить взаимному уважению друг к другу.

Потом перешли мы к полемике; я постарался подробнейшим образом выяснить все мои объективные основания для одобрения литературной программы "Весов" в нападении их на мистический анархизм, представляющий дешевую помесь идей; вместо подлинного воспитания интереса среди молодежи к искусству, мистический анархизм, разбавляя тенденции символизма дешевеньким нищенством, замешенном на дешевеньком христианстве, способен внести только быструю деморализацию в символизм; он является контрреволюционной тенденцией в новом искусстве; А. А. мне старался отчетливо доказать, что мистическому анархизму он чужд и что личные отношения к Чулкову его ни при чем, что он — сам по себе, Чулков — сам по себе; резкая же полемика и тон Эллиса, — неприличны; они заставляют иных петербуржцев держаться вдали от "Весов"; возражал: весь мистический анархизм крепко держится за имена Вячеслава Иванова, Блока; пусть А. А. сознает, что мистический анархизм ему чужд, тем не менее — публика видит его солидарным с Чулковым; он должен бы был заявить о своей непричастности ко всей чулковщине; я указывал на заявление Чулкова, написанное для "Mercur de France"<sup>35</sup>, где А. А. и Иванов причислены были Чулковым к мистическим анархистам. А. А. возразил: с заявленьем Чулкова вполне не согласен он; я же заметил: так почему же не протестует он? Затем появившееся заявленье А. А., напечатанное в "Весах"<sup>36</sup>, о его несогласии с заявленьем Чулкова совпадало с тем временем; может быть, оно — следствие разговора со мной; я выражал порицание бесшабашности петербургского стиля, столь выразившегося в рукоплескании "Тридцати трем уродам" Зиновьевой-Аннибал<sup>37</sup> и "Крыльям" М. А. Кузмина<sup>38</sup>; и А. А. соглашался со мной, но — указывал: моралистическая тенденция "Весов" в полемике с петербуржцами не выдерживает тоже критики, пока действия Брюсова — в полном разрезе с негодованием "весовских" Катонов<sup>39</sup>; сколько мог защищал В. Я. Брюсова я; возражал: Брюсов вовсе не есть выразитель "Весов", потому что "Весы" это — группа; А. А. мне заметил: да, группа, но группа — загнипотиризованная В. Я. Брюсовым; и перешли к обсуждению мы моего расхожденья с "Руном", к появлению там петербуржцев: старался выяснить я, что недовольство мое петербуржцами — в том, что попытка нас обуздать, монархизм Рябушинского, бросившего столько денег на "Золотое Руно" и не сумевшего из него создать нужного и полезного органа, — вот мотив нашей ссоры с "Руном" (не идейное расхождение); и использовать выход наш из "Руна" для создания органа "мистических анархистов" есть верх некорректности; но А. А. — возражал: здесь опять-таки брюсовская интрига; мы вышли тогда из "Руна", когда Брюсов рассорился с Рябушинским; до ссоры же, он фактически был редактор, мирясь с Рябушинским.

Так во многих вопросах литературной политики мы расходились с А. А.; но теперь в расхождении этом уже не было страстности; мы решили, что будем и впредь в разных группах; и будем мы даже идейно бороться; но пусть же борьба не заслонит доверия и уваженья друг к другу.

В этом длительном разговоре опять незаметно мы перешли на "ты": на "Боря" и "Саша".

Уже было 11 часов ночи, когда моя мама, все ждавшая окончания разговора, нас вызвала к чаю. Мне помнится: было очень уютно втроем; моя мама, любившая Блока, с довольством и радостью наблюдала нас; видела, что мы теперь помирились (она огорчалась всегда расхождением с Блоком); А. А. был уютный; касаясь того или иного, — юморизовал он; я — смеялся; и чайный стол мне казался уютен и легок; и было странно мне видеть А. А., о котором за этот ряд месяцев во мне столькоросло; и вот — все, что стояло меж нами — рассеялось.

После чая опять перешли ко мне; говорили уже не о трудном: о легком; впервые я понял, что устремленье к народу в А. А. проистекает из углубленнейшего итога работы его моральной фантазии, что переоценка писателей "Знания" им в "Руне"<sup>40</sup> есть продукт увлечения; понял: разуверенье в "заре" не есть крах, а исканье "пути", что оно — неизбежно; А. А. мне высказывал мысли, которым созвучье нашел в замечательном докладе о символизме, написанном через несколько лет уже. Так пытался он "антитезу" исканий своих объяснить, как развитие тезы; и — стало быть: нащупывал где-то синтез; впоследствии выразил он то искание синтеза: *"В лазури Чьего-то лучезарного взора пребывает теург: этот взор, как меч, пронзает все миры... Миры, предстоящие взору в свете лучезарного меча, становятся все более зовущими... Вместе с тем они начинают окрашиваться (здесь возникает первое глубокое знание о цветах); наконец, преобладающим является цвет, который мне легче назвать пурпурно-лиловым. Золотой меч, пронизывающий пурпур лиловых миров... пронзает сердце теурга... Возникает диалог, подобный тому, который описан в "Трех Свиданиях" Вл. Соловьева... Таков конец тезы"<sup>41</sup>\**. Далее — изменение облика (*"Но страшно мне, изменишь облик Ты..."*) *"Лезвие лучезарного луча меркнет... Врывается сине-лиловый сумрак (лучшее изображение всех этих цветов — у Врубеля): в лиловом сумраке... качается катафалк, а в нем лежит мертвая кукла с лицом, смутно напоминающим то, которое сквозило среди небесных роз..."* Поэт возводит в принцип то, что лично переживалось (лиловый мир "Ночной Фиалки" и "девушка с подурневшим лицом"). *Переживающий все это полон... "двойниками"...* *"Итак, свершилось: мой собственный волшебный мир стал ареной... анатомическим театром", или балаганом... лиловые миры хлынули в сердце... возникло то, что я (лично) называю "Незнакомкой"...* *Это — венец антитезы"*. (Из статьи о символизме.) Далее А. А. замечает в статье своей: в этот период осознается ограниченность искусства и за отысканием реальности "Золотого меча", возвращаются к жизни, где осознаются вопросы общественного служе-

\* Курсив мой.

ния, связанные с народом и интеллигенцией: *осознается русская революция*. И он кончает: *"И сама Россия в лучах этой новой... гражданственности оказалась нашей собственной душой"*. Встреча с Россией есть синтез: *"Лиловый сумрак рассеивается"*...

Я не помню слов, которыми мы обменялись с А. А. в эту ночь; но я понял одно: мир *лиловый*, который так меня напугал в нем когда-то, — рассеялся в нем: были признаны *"Незнакомка"* и *"Балаганчик"*; что происходило в нем, как явление кощунства, оскорбление святости, теперь оказалось испытанием пути. Разговор с А. А., ясно раскрывший его углубление в тему России, вернул мне А. А.; сквозь лиловые тени, одевшие мраком лицо его, выступил прежний, исканьем оветренный, розовый отблеск; и внешнее что-то в нем перекликалось с былым; отпустил себе волосы он (в 1906 году был он стриженный); и глаза голубели отчетливым строгим решением; был для меня прежним Блоком в ту ночь: милым братом; и — не прежним; в нем явственно подчеркнулись: закаленность и мужество; и в отношениях наших наметилась новая нота: доверия. Говорили мы в эти ночные часы очень мало; и больше молчали; и переваливало к исходу четвертого часа; а поезд его уходил только в семь<sup>42</sup>. Я пошел провожать по светавшей Москве его; около Николаевского вокзала сидели мы в чайной с извозчиками; говорили теперь о простом, о домашнем; я чувствовал: А. А. радуется примирению.

Медленно разгуливали по перрону вокзала; и дожидались поезда. Перед поездом доверчиво протянули мы руки друг другу:

— Так будем же верить...

— И отделять все наносное, что возникает, от основного...

— И не позволим мы людям, кто б ни были люди, стоять между нами...

Так мы, обменявшись *паролем*, простились. Тронулся поезд.

Я шел по Москве, улыбаясь и радуясь: показались прохожие: просыпалась Москва.

Так закончился этот двенадцатичасовой разговор.

## Встреча в Киеве

Примиренье с А. А. охладило на время во мне полемический пыл; мне хотелось внести ноты большего примирения с Петербургом; но страсти — горели; присоединилась к полемике З. Н. Гиппиус; под псевдонимом своим (Антон Крайний) писала она очень едко; присоединился к полемике Б. Садовской; Эллис рвался все более в бой; разделение группы писателей (на *"Москву"*, *"Петербург"*) углублялось; мы с Блоком оказывались в разных лагерях; перекликнулись в это время существенно, с восхищением встретивши *"Жизнь Человека"* Андреева<sup>43</sup>. В воспоминаньях А. А. об Андрееве<sup>44</sup> есть указание на одинаковость переживания нами тогда появившейся драмы. Мы оба встречались с Андреевым, переезжавшим в ту пору на жительство в Петербург; так, встречаясь со мною в Москве, Л. Андреев сочувственно отзывался о Блоке, с которым он только что познакомился<sup>45</sup>; с любопытством

расспрашивал он о моем отношении к Блоку, осведомленный о сложностях между нами.

Я думаю, что одинаковость переживания *"Жизни Человека"* и мной, и А. А. вытекала из ощущения одинакового разочарования в мишурах и *"богатствах"* душевного, только душевного мира; душевный *"импрессионизм"* я развенчал; весь каталог доселе невиданных образов в литературе был вызван стремлением к великому; что у Ницше казалось естественным и далеким от вычур, то, например, уже у Петра Альтенберга<sup>46</sup> и Роденбаха казалось манерным; между тем: появились подражатели Петра Альтенберга в России (покойный писатель Кожевников<sup>47</sup>), облекавшие пустяковые темы эскизов и мыслей своих в велелепие символических риз; если прежде заря нам казалась иною, вещающей, если ее облекали мы в пышные неологизмы и называли зарю *"апельсиновой"*, *"атласной"*, то в направлении, пытавшемся провозгласить себя новой волной символизма, наоборот, *"апельсины"*, *"атласы"* теперь назывались заревыми; еще Шопенгауэр отметил два стиля в искусстве: стиль *вышнего, горного*; и — стиль *прелестного*<sup>48</sup>; стиль искусства — *"высокое"*; в *"прелестное"* выгралась природная *"воля"*; а к отрешению от воли и к чистому созерцанию Платонова мира идей призывает искусство: к свободе; и символизм — стиль высокого; импрессионизм — стиль прелестного; во введении *"прелестного"* в элементы *"высокого"* стиля мы видели разложение чистоты символизма; меж тем: направление, складывающееся в Москве, в этом именно видело новый путь символизма; а представители направления этого называли себя *"символистами третьей волны"* (первая волна — *"Скорпион"*, вторая же — *"Оры"*); принимая Иванова, Блока, Чулкова, они отрицали *"Весы"* и все то, что нам дорого. Эллис бил уже тревогу; и я собирался громить направление это; Б. Зайцев ему покровительствовал; произошло столкновение мое с *"Художественно-Литературной Газетой"*<sup>49</sup>, редактируемой Б. К. Зайцевым и В. И. Стражевым; нападения мои сосредоточились на В. Стражеве; Б. К. Зайцев его защищал; произошло столкновение мое с Б. К. Зайцевым, Стражевым, Б. А. Грифцовым и П. П. Муратовым, — столкновение, в котором во многом неправым был я; Б. К. Зайцев повел благородно себя по отношению ко мне и к Стражеву; столкновение с группой писателей произвело удручающее впечатление на меня; я размахивался статьями по очень широкому фронту: от Вячеслава Иванова (заметка моя *"Штемпелеванная калоша"*<sup>50</sup> задела Иванова больно); театра Комиссаржевской<sup>51</sup>, до... Виктора Стражева<sup>52</sup>; как *"мистический анархизм"*, так и *"третья волна символизма"*, естественно тяготевшая из Москвы к *"петербуржцам"*, казались враждебными мне; обе группы пересекались в *"Шиповнике"*; там сливались и *"мистический анархизм"* и *"вторая"* и *"третья"* волна символизма, и слегка загримированный импрессионизмом натурализм недавнего прошлого: Блок, Ремизов, Л. Андреев, И. Бунин, В. Стражев, Б. Зайцев, едва появившийся на горизонте писательском Осип Дымов, встречались друг с другом; *"Шиповник"* казался *"Весам"* соглашательским предприятием: линией наименьшего сопротивления; мы — волили *линию сопротивления наибольшего*; *"Знание"*<sup>53</sup> с Горьким казалось нам более заслуживающим

внимания, чем легкий *"Шиповник"*, стремящийся подавать в альманахах своих винегрет направлений (кусочек от реализма, кусочек от символизма под все покрывающим импрессионистическим соусом); мы задевали писателей, близких *"Шиповнику"*; мы задевали огромное большинство уже модных в то время писателей; все на нас злобились; изоляция наша, переходящая в негласно провозглашенный бойкот, готовилась.

В эту осень запомнились гастроли Театра Комиссаржевской<sup>54</sup>; впервые увидел на сцене я *"Балаганчик"*, задевший когда-то так больно меня; постановка была — удивительна; прочие постановки (*"Сестра Беатриса"*<sup>55</sup>, *"Чудо Св. Антония"*<sup>56</sup> и т. д.) мне казались парадоксами, а не *"сценическим действием"*; и больно было мне видеть Комиссаржевскую, замороженную *"стилистикой"* Мейерхольда; великолепна была она в пьесах Гольдони<sup>57</sup>; была она связана в драмочках Метерлинка, к которому в то время закрадывалось недоверие; проблема театра меня волновала; осознавались невозможности символизма в театре; театр символический — есть мистерия; символизм, допустимый естественно в эпосе, в лирике переходит в теургию здесь; здесь актер — не актер, а нашедший пути человек; театр символический допустим лишь в грядущем; он — грань меж искусством и новой жизнью; *неновые* люди не могут вершить символических действий, ибо действия — литургия.

А. А. в эту пору был близок к исканиям Комиссаржевской и Мейерхольда; я — видел: искания обречены на полнейшую неудачу (Комиссаржевская через два с лишним года пришла сама к этому<sup>58</sup>); было больно, что тут мы расходимся с Блоком; я видел в стремлении к театру — болезнь; я хотел оттащить от театра А. А.; и сомненья в возможности *"символического"* театра я изложил в фельетонах, которые напечатаны были в тогда возникавшей газете, которую редактировал Алексеевский<sup>59</sup> (в *"Утре России"*); Комиссаржевская заинтересовалась фельетонами; в них — опять-таки выявилась полемика с Блоком.

В ту пору устроили в Киеве *"вечер искусства"*<sup>60</sup>; и получили приглашение на него москвичи; должны были поехать: С. А. Соколов, я, Петровская, И. А. Бунин, который так и не поехал; тогда, посоветовавшись с Соколовым (организовавшим поездку), я телеграммою просил Блока приехать; и получил телеграфный ответ, извещающий: *"Еду"*. Мы двинулись в Киев (в конце сентября), в жаркий день; устроители вечера встретили нас на вокзале с приподнятой пышностью; чуялось мне: *"Э, тут что-то не то!"* Группа киевского журнальчика *"В мире искусства"*<sup>61</sup> в эстетическом отношении не внушала доверия; и пахло на нас неприятной дешевкою и неприятной рекламою; перепутал стиль афиш; ими был заклеен весь город; огромный ослепленный козлоногий лохмач, безобразно гримасничал на афишах; я думал: *"Оповещенье о вечере напоминает скорее оповещенье о зрелище балаганного свойства"*. И в том, как везли нас по городу, как усадили нас вечером в ложу, как нас накормили, — во всем был налет театрального пафоса и безвкусицы; что-то скандальное завивалось вкруг нас; сообщили: билеты — распроданы до одного; и театр городской будет полон; и будут все власти; С. А. Соколов, не

понявший сперва "хлестаковщины", нас окружающей, чувствовал великолепным героем себя; мы с Петровской конфузились; переговариваясь о том, что — скандал; киевляне пойдут на нас так, как идут на забавное зрелище (подлинно понимавших нас, знавших по книгам нас было так мало); я не сумею подкидывать гирь, кувыркаться, заглывать шпаги, и голос мой — не труба иерихонская; стало быть: будет всем скучно; и "номера" из себя не представлю; меж тем: стиль афиш обещал "номера"; и мне было не по себе (пропал голос к тому же: страдал я запущенным гриппом). А. А. опоздал, не приехал; пришла телеграмма: он — будет в день "вечера".

Он и приехал, доверчивый, милый, немного переконфуженный тем "бум-бумом", в котором держали нас; все старался быть вежливым; и, по возможности, держаться в тени, что ему удавалось; мы трое (А. А., я, Петровская) жались друг к другу, стараясь не участвовать в "буме"; и киевляне, по-моему, разочаровались в нас (не глотаем мы шпаг); провалились во мнениях киевлян мы до вечера; наоборот: Соколову везло: он ходил, окруженный внимающими репортерами; и гремел победительно бас его: про него говорили: "А Соколов этот — славный мужчина такой". Он естественно представлял "от имени" и "во имя"...

А. А. остановился в одном коридоре со мною в гостинице, кажется, на Крещатике, недалеко от театра. Мы пили с ним чай; оживленный, веселый, раскладывался, сняв пиджак и вытаскивая сюртук. Доминировал — юмор: и умываясь с дороги, повертывал на меня добродушное лицо, загорелое, темное, встряхивал вьющимися волосами своими (на нем была шапка волос), мылил руки и улыбался лукаво:

— А знаешь, — ведь как-то не так: даже очень не так; не побили бы нас...

И — вырывался смешок — тот особый глубокий смешок, от которого становилось невыразимо уютно; смешок этот редок был в Блоке; и мало кто знает его; в нем — доверчивость детская и беззлая шутка над миром и над собою, над собеседником; все становилось от смешка освещенным особо: и — чуть-чуть "диккенсовским", чуть-чуть фантастическим; мерещились Пиквики; А. А. передразнивал едко меня и себя, киевлян, окружавших нас "бумом", особенно передразнивал "представительство" от лица "символизма" С. А. Соколова.

За чаем А. А. мне сказал:

— Знаешь, Боря, приехал-то я ведь совсем не на вечер: приехал к тебе; ты позвал меня, и я приехал.

Пред "ответственным" выступлением нашим мы провели тихо время в незначащих пустяках разговора, которого содержание не вспомнится; не говорили мы о тяжелом былом, ни о том, что естественно нас разделяло; шутили, обменивались впечатлениями дня; и — строили шаржи, уподобляя себя "диссидентам", приехавшим в Итансвиль; говорили, что, верно, перегрызутся теперь "Итансвильский журавль" с "Итансвильской синицей"\*.

---

\* Из "Записок Пиквикского Клуба".

Поговорили серьезно о Леониде Андрееве по драме его; я увидел, какое глубокое впечатление произвела на него эта драма; и удивлялся я тождественности восприятия ее нами:

— А ты знаешь, он (Л. Андреев) — милый и настоящий: я очень его полюбил.

Наступил час позора; мы облеклись в сюртуки; и за нами приехали; с жутким чувством мы ехали на провал, говоря, что в огромном театре, набитом людьми, мы не сможем читать (голос мой пропал окончательно); А. А., помню, смеялся, юморизировал и страшал меня; ничего не боялся С. А. Соколов. Я был должен открыть вечер словом, рисующим новое направление в искусстве; вообразите мой ужас, когда я услышал фанфару, оповещающую о начале; вслед за фанфарой я вышел и должен был восходить над оркестром (на сцене) — на какое-то весьма пышное возвышение, чтобы оттуда, рискуя пасть в бездну (свалиться в оркестр) оповестить киевлян о том именно, что требовало бы написания книги. Карьера, кое-как я все это исполнил (мой голос достиг лишь пятнадцати первых рядов, так что, собственно, меня не расслышали); был награжден очень жидкими аплодисментами; и — спасся в ложу, где все мы четыре сидели (С. А. — горделиво, Н. И., я, А. А. — переживая какое-то чувство скандальности нашего положения); программа была невероятно длинна; Н. И. тихо прочла очень тонкое что-то; никто не услышал ее; и никто ей не хлопал; А. А. прочитал *"Незнакомку"*, еще что-то, с видом несчастным, замученным, точно просил:

— Отпустите скорее на покаяние.

Похлопали очень мало: и — отпустили охотно.

С успехом прочел стихотворные басни свои бывший в Киеве в то время профессором граф де ла Барг<sup>62</sup>; произвел лишь фурур Соколов, зычно грянувший своего *"Дровосека"* (пропел он его); *"Дровосеком"* своим покорила киевлян; говорили потом: "Что такое там Белый и Блок. Соколов — вот так славный мужчина: поет, — не читает". Стихотворения мои почему-то поставили под самый конец, когда голос пропал уже вовсе; я жалкое что-то пищал, что расслышали в первых рядах лишь; представьте мое положение: видеть, как ряд за рядом от хохота клонится.

Вечер был полным *"скандалом"*; и представители нового направления, вызванные из Петербурга и из Москвы с такой помпой, — торжественно провалились бы в Киеве, если бы не выручил С. А. Соколов, поддержавший один лишь престиж *"модернизма"*.

Естественно, что он чувствовал себя выразителем всего нового; и за ужином, данном в честь нас после вечера (мы с А. А. просидели, как на иголках весь ужин), сказал он нас чествовавшим, что да, да: мы приехали-де покорять киевлян, так что я уж взял слово, чтобы умерить самоуверенность нового направления. На другой день газеты ругали нас крепко; так мы — провалились (поездка эта в памяти сохранилась, как нечто стыднейшее).

Через день я был должен прочесть свою лекцию в Киеве<sup>63</sup>, и — уехать в Москву; А. А. мило остался со мною; мы много гуляли по Киеву; вечером

забрели мы к Днепру; где-то в мощных оврагах, обвисших желтеющей зеленью, мы под луною стояли все трое: А. А., Н. Петровская, я.

Ночью этой случился страшнейший припадок со мною; я, улегшись в постель, вдруг почувствовал, что начинается что-то неладное; я вскочил, но став на ноги, снова почувствовал: вот сейчас, вот сейчас — упаду; в это время по Киеву разгулялась сильнейшая холерная эпидемия; поэтому вообразил: со мной-де, начало холеры; и понял, что надо мне много ходить (быстро-быстро) по комнате и тереть себе руки, что начал я делать; и знал, если сяду, остановлюсь, — упаду: в очень сильном волнении бегал по комнате, соображая что делать; и бессознательно полуодевшись, я бросился в коридор по направлению к номеру, занимаемому А. А.; стал стучаться к нему; он открыл мне:

— Скажи, что с тобою?..

— Не знаю, должно быть начало холеры...

Он — сел на постели, открыв электричество; я же забегал пред ним, потирая руками; не попадая зубами на зубы; он очень спокойно, участливо наблюдал меня:

— Это — нервный припадок; не уходи же к себе; тебе вредно лежать. И остаться теперь в одиночестве невозможно...

Он — оделся; похаживал рядом; он взял мои руки, он растирал очень крепко их — минут десять; и видя, что никакой холеры не начинается, он сказал:

— Нет, незачем доктора: просто с тобою мы просидим эту ночь; я тебя одного не оставлю в таком состоянии...

Мы — просидели; не забуду внимания, которым меня окружил он; в припадке я бегал по комнате; он — спокойно сидел предо мною на стуле, спокойно и ровно глядя на меня, облокотясь своим локтем на стол, положив ногу на ногу; и — покачивая носком; суетливости, внешней заботы и не было в нем; была — внутренняя забота; и от А. А. на меня исходило тепло; и — припадок стихал; в изнеможении опустился на стул; и — смотрел на него, как он ровно и ясно сидел надо мною, как нянька: всю ночь напролет. Мне запомнилось это сидение Блока, запомнилась ровная поза; уже изменился, разительно изменился он весь, — не лицом, а — пожалуй, манерой держаться (в тот год, когда мы не видались); стал проще, задумчивей; подчеркнулось мужество; появилась суровая закаленность; исчезла бывшая душевность; она в нем сказалась перегаром; что прежде сияло вокруг, как невидная аура, как атмосфера, то, прогорев, стало пеплом, тинившим лицо; вся душевность лежала, как пепел, на нем; он сожженным казался за пеплом душевности, как пролеты синейшего неба ночного за отгоревшими тучками; ясно мерцали мне звездные светочи; прежде душевность — сияла; и так сияют вишневые облака на заре; они — ярче зари; золотисто-зеленое бледное небо — за ними; но вот — отгорают, темнеют; а небо за ними — глубинится синевой, открывается звездочками; звезды — из ночи, из ночи трагедии; я из ночи трагедии чувствовал Блока в ту ночь; я почувствовал, что какая-то внешняя огрубелость или меньшая красочность есть бескрасочность контуров ночи; и понял,

что кончился в А. А. Блоке период теней, или нечисти из *"Нечаянной Радости"*; ночью темной ведь нет и теней; есть спокойная, ровная тьма, осиянная звездами; предо мной сидел Блок, перешедший черту *"Снежной Маски"*, услышавший голос:

"К созидающей работе возвратись".

И воистину: созидающее молчание это лилось на меня.

Наблюдал я его: он — сидел — неподвижно (сидел он всегда неподвижно); но — неподвижность, и та, в нем иная какая-то стала; он прежде казался оцепенелым и деревянным; затянутый в темно-зеленый сюртук сидел прямо; теперь появилась в позах сиденья его — зигзагообразная линия; он сидел, изогнувшись, не прямо, порою откинувшись корпусом, а порою перегнувшись к столу, положивши руку локтем на стол, подпирая другою рукою большую курчавую голову; я сказал бы: теперь лишь вполне появился в нем профиль; я чаще всего помню Блока теперь, повернувшего мне профиль свой; появился отчетливо предо мной его нос (почти выгнутый); и появилась четкая линия губ и ушей; прежде помню я Блока en face; а теперь изучаю я профиль его (аполлоновский профиль); и замечаю я вспухлость губы его (нижней), которую неумеренно подчеркнул в нем К. Сомов<sup>64</sup>. Как прежде я видел в нем что-то напоминавшее Гауптмана, так теперь находил отдаленное сходство с портретами Оскара Уайльда.

Уж близился день: рассвело; мы хотели спросить себе кофе; но все еще спали; тогда, успокоившись, начал я говорить о себе, о своем одиночестве и о том, как мне трудно дается простое, житейское:

— Да, понимаю я, — тебе трудно живется, — сказал мне А. А. И внимательно посмотрев на меня, он сказал вдруг решительно:

— Знаешь что: возвращаться в Москву одному тебе — нехорошо; вот что я предлагаю: мы едем с тобой в Петербург.

С удивлением посмотрел на него: год назад он противился моему появлению в Петербурге; теперь — меня звал; в его зове я чувствовал определенное, продуманное решение; ясно, что с этою мыслью меня увезти в Петербург и приехал он в Киев.

— Ну, правда, поедem-ка вместе: ведь вот я приехал к тебе сюда: в Киев. Так почему же тебе не поехать со мной в Петербург?

Почему не поехать? Поехал бы я, да — я был в крепкой ссоре с Л. Д.; мы поссорились окончательно в бытность мою еще в Мюнхене; впечатление было, что мы поссорились — окончательно; и я знал, что А. А. это знает; так почему же зовет он опять (ох, уж эти мне зовы приехать: однажды приехал по зову я, — произошла канитель); я опять посмотрел на А. А. Он стоял на своем:

— Решено: мы поедem.

— Но как же мне ехать, послушай: ведь знаешь же сам, что бывать у тебя мне нельзя...

— Ты про Любу?

— Да.

Тут осторожно, с нежнейшею деликатностью подошел он к моим отношениям с Л. Д., мне стараясь доказать, что мотивов для ссоры с Л. Д. уже нет (миновали они), что пора помириться, что для этого одного мне бы следовало с ним ехать — теперь:

— Поезжай: будет весело.

— А что скажет Л. Д. при моем неожиданном появлении?

— Да она уже знает: мы с ней говорили...

Тут понял вполне я, что план увезти в Петербург меня А. А. прежде придумал. И я — согласился: решили мы ехать; поездка расстраивала тогдашние планы мои (в одной московской газете заведовать литературным отделом); а что касается лекции, предстоящей мне вечером, то А. А. мне решительно посоветовал не читать:

— Как же быть: ведь билеты распроданы; оповестить уже поздно...

А. А. посмотрел на меня:

— Ты читаешь по рукописи?

— Да, по рукописи.

— Ну так вот что: прочту за тебя я. Ты хочешь?

— Конечно.

Решили.

Решив, мы спросили к А. А. в номер кофе: и мирно его распивали; припадок прошел; но А. А. настоял, чтобы я шел к себе — отоспаться, провел меня в комнату, уложил, посидел у постели моей и потом, посоветовавшись с уезжающими в Москву Соколовым и Н. А. Петровской, он за доктором послал; доктор меня осмотрел и решил, что — бронхитик и нервное переутомление; перемена места полезна-де, мне; так решили с А. А. ехать в ночь, после лекции тотчас же.

А. А. приготовился прочитать мою лекцию: взял мою рукопись; и — внимательно ее изучал, чтобы гладко прочесть; но я к вечеру поздоровел; и решил — сам читать; вместе с ним мы отправились, предварительно отослав на вокзал наши вещи; А. А. в этот вечер с нежнейшей заботливостью не оставлял ни на шаг одного меня; сидел в лекторской рядом со мною, приносил мне горячего чаю; и на эстраде сидел рядом с кафедрой, наблюдая меня и решаясь меня заменить в любой миг, если я ослабею.

Провалился на вечеру я; а на лекции, наоборот, если память не изменяет, имел я успех: собиралась молодежь, а не жадная к "зрелищам" публика; после лекции, не возвращаясь в гостиницу, мы отправились на вокзал; А. А. все продолжал проявлять свою милую, неназойливую заботливость: он закутал мне горло, чтобы я после лекции не простудился; едва мы попали в вагон, как уже залегли (до отхода курьерского поезда); и — заснули; проснулись в двенадцатом часу дня (вероятно сказалась бессонная ночь накануне); и просидели весь день в ресторанном вагоне, потягивая рейнвейн и болтая; опять было весело; и — шутливо (немного по-диккенсовски); мы себя ощущали, как мальчишки, затеивавшие веселую, но немного рискованную игру; и — чувствовалось: как-то встретит внезапное появление нас Любовь Дмитриевна, о которой не говорили мы.

Я впоследствии понял А. А. И в желании перетащить меня в Петербург было много участия к моему состоянию; А. А. считал вредным для нервов моих погружение в полемику и в "политику" литературы, которой чрезмерно я отдавался в то время под наущением Эллиса, Брюсова; и — прочих "весовцев"; с другой стороны: он хотел, чтобы я пригляделся к тому, что из Москвы отрицал так решительно; например, — к театру Комиссаржевской, к которому был так близок в то время он, не разделяя моих опасений; он думал, — утомонюсь очень скоро я; но, увя, — ошибался: я — разразился полемикою, побыв в Петербурге.

В слезливое, в очень холодное утро мы прибыли в Петербург<sup>65</sup>. А. А. сам меня вез — по направлению к Исаакию, в Hotel d'Angleterre<sup>66</sup>.

— Здесь тебе близко от нас: здесь всегда останавливался Владимир Сергеевич\*, возвращаясь от Саймы.

Со мною прошел он в мой номер; и, посидевши, поднялся:

— Теперь я поеду — предупредить надо Любу, а ты приходи-ка к нам завтракать; да — не бойся!

И, улыбнувшись, он скрылся.

## Опять Петербург

Блоки жили тогда на углу Николаевской площади, около Николаевского моста: мне помнится — на Галерной, а может быть, — нет: в географии Петербурга — не тверд, я москвич; но я помню, что дом их был вовсе уютный, одной стороной выходящий на площадь, где церковь (коричневая), с золотой острой крышей.

Квартира их состояла из небольших комнат, убранных просто, со вкусом; ход был со двора.

Никогда не забуду я чувства смущенья, с которым звонился я; встреча с Л. Д. волновала меня. Но мы встретились просто; во всем объяснении с Л. Д. проявилась одна удивительная черта; объяснялись мы как-то формально; и чувствовалось, что объяснение подлинное, до дна, — ускользает; ну словом: мы, кажется, помирились, — не так, как с А. А. И еще я заметил: разительную перемену в Л. Д. Прежде тихая, ясная, молчаливая, углубленная, разверзающая разговор до каких-то исконных корней его, — ныне она, наоборот, на слова все как будто набрасывала фату легкомыслия; мне казалось, — она похудела и выросла; что особенно поразило в ней, это стремительность слов; говорила она очень много, поверхностно, с экзальтацией; и была преисполнена всяческой суеты и текущих забот; объяснение с Любовью Дмитриевной 1906 года могло бы вполне состояться, а объяснение с Любовью Дмитриевной 1907 года, казалось мне, — объяснение со светской дамой, исполненной тревожных забот, удовольствий (до объяснений ли ей!). Так я, объясняясь, — недообъяснился: и водворился меж мной и Л. Д. полушутливый легкий стиль — даже не дружбы, скорее *sauserie*<sup>67</sup>.

\* В. С. Соловьев.

Видел я, что А. А. в Петербурге захвачен был вихрем своих обязательств, намерений, планов, забот; словом, — тот, кто ко мне приезжал объясняться в Москву, потом в Киев — исчез; появился передо мной в Петербурге захваченный шумной жизнью поэт, которому просто времени нет углубляться в детали общения; словом: я понял, что жизнь и Л. Д., и А. А. изменилась; была она тихой, семейною жизнью; теперь стала бурной и светской, и кроме того, понял я, что А. А. и Л. Д. живут каждый своею особою жизнью; А. А. был захвачен какой-то стихией; был весь динамический, бурный, сказал бы я, что *влюбленный* во что-то, в кого-то; и в нем самом явственно я замечал нечто общее с *"ритмами"* *"Снежной Маски"*; он был очень красив и был очень наряден в изящном своем сюртуке, с белой розой в петлице, с закинутой гордо прекрасною головою, с уверенной полуулыбкой и с развевающимся пышным шарфом; таким его часто я видел — в гостях, иль в театре, иль возвращающимся домой; я был больше с Л. Д., составляя отчасти компанию ей; очень часто А. А. оставлял нас; и — несся куда-то по личным делам; он казался мне в этот период весьма возбужденным, овеванным лейтмотивом мятели<sup>68</sup>, которую он так воспел; все мятелилось вкрут него; он *мятелил*; и от него на меня часто веяло ветром мятели; мы мало с ним были вдвоем; он, как будто, всем видом и тоном хотел мне сказать:

— Будем вместе — потом: наговоримся — потом... Теперь — некогда: видишь, захвачен весь я...

Я его понимал; и его наблюдая, я им любовался.

Л. Д. говорила мне часто:

— Переезжайте же к нам, в Петербург: я ручаюсь вам, — будет весело...

Слова *"весело"*, *"веселиться"*, — казались мне наиболее частыми словами в словаре Любови Дмитриевны; мне казалось: А. А. и Л. Д. окружали себя будто вихрем веселья; но скоро заметил я, что этот вихрь их несет неизвестно куда, что они отдались ему; и несет этот вихрь их не вместе; Л. Д. улетаёт на вихре веселья от жизни с А. А.; и А. А. летит прочь от нее; я заметил, они — разлетаются, собираясь за чайным столом, за обедом; и — вновь разлетаются.

Словом, — я стал наблюдателем жизни их. Я замкнулся от них (не враждебно, а дружески); я старался не нарушать своим стилем их стиля; я даже входил в этот стиль, я участвовал в общем веселье, старался быть светским, но — видел: веселье то есть веселье трагедии; и — полета над бездною; я видел — грядущий надлом, потому что веселье, которому отдавались они, было только игрой, своего рода *commedia dell' arte*, не более:

По улицам метель метет,  
Свивается, шатается.  
Мне кто-то руку подает  
И кто-то улыбается.

Это стихотворение А. А. мне читал в кабинете своем; оно было написано приблизительно в этот период.

Пойми, пойми, ты одиночек,  
Как сладки тайны холода...  
Взгляни! взгляни в холодный ток,  
Где все навеки молодо...<sup>69</sup>

Запомнились мне эти рифмы: "молодо" и "холода"; и Л. Д., и А. А. были молоды; оба пылали расцветами красоты, сил, здоровья; но вместо тепла в жизни их я расслышал вихрь холода, подхватившего их и помчавшего путем "артистизма"; вот слово, которое определяет то именно, чем, казалось, жили они: артистизм, театральность; да *действие*, о котором мечтали мы некогда вместе, теперь наступило для них; но это *действие* их не оказывалось мистерией, а *commedia dell' arte* оно оказалось. Я помню лицо А. А., строгое, с вытянутым носом, с тенями, когда он читал мне надтреснутым, хриплым голосом:

Там воля всех вольнее воль  
Не приневолит вольного;  
И болей всех большее боль  
Вернет с пути окольного.

Эту *боль* я почувствовал под весельем, под легкомысленным стилем Л. Д.; мне однажды она говорила в ту пору, что многое она вынесла в предыдущем году; и что не знает сама, как она уцелела; и от А. А. очень часто я слышал намеки о том, что они перешли Рубикон, что назад, к прошлым зорям возврата не может быть; я понимал, что пока проживал за границую, в жизни Л. Д. и А. А. произошло что-то крупное, что изменило стиль жизни; однажды, придя рано к Блокам, застал я в постели их; я дожидался их в смежной комнате; тут раздался звонок: появилась Марья Андреевна; мы с ней встретились впервые; она все расспрашивала меня о заграничном житье моем; и потом перешла на жизнь Блоков; и тут закивала с какою-то вещью грустью:

— Да, да: уж не то, уж не то... Нет цветочности... Вы, вероятно, заметили?  
— Что?

— Да не та эта жизнь: облетели цветы, поизмялись... Мне Марья Андреевна показалась какою-то вещей: ну, паркою, что ли: с досадою я на нее посмотрел. В это время раздался мучительный, хриплый кашель А. А. за стеною; мне стало не по себе; этот кашель — пустяк; но в оттенке его мне послышалось столько страдания, что припомнилась строчка:

И болей всех большее боль...

Скоро вышел А. А., очень желтый, с мешками под сонными и, как мне казалось, страдающими глазами; он говорил хриплым голосом; голос его стал не тот, каким прежде он был: стал грубее он, стал таким хриплым он.

Я Александру Андреевну в эти дни в Петербурге не помню; может, ее не встречал я у Блоков; поэтому я заключал, что между ней и Л. Д. вероятно — не лады.

Но почти я всегда наткался по вечерам на артистку театра Комиссаржевской, Веригину<sup>70</sup>, которая по моим представлениям очень дружила с Л. Д.;

очень часто встречал я и Волохову (тоже артистку, того же театра), дружившую очень с А. А. Волохова, Веригина — вот наше общество; порою встречал и Ауслендера, с которым носились артистки театра Комиссаржевской. Театр стоял в центре всей жизни А. А.; очень часто туда уходил он. Однажды меня он позвал с ним: смотреть *"Балаганчик"*, дававшийся после — *"Чуда Св. Антония"* Метерлинка. Приехавши, мы застали еще представление *"Антония"*, которое видел я и которое не любил; мы поэтому забрались в буфет: пили вместе коньяк; видел я, что А. А., возбужденный, встревоженный чем-то (какими-то личными переживаниями, связанными с театром) пьет: рюмка за рюмкою; я опьянел очень скоро; А. А. выпил больше, чем я, но совсем не пьянел; скоро он, посадив меня в первом ряду, быстро скрылся (ушел за кулисы); смотрел *"Балаганчик"* один: я был пьян; и из первого ряда кивал я артистам; я помню, как сквозь туман, что А. А. появился в пустом бениуаре налево; и ласково, дружески покивав, быстро скрылся; я более в этот вечер не видел его, на другой уже день мне А. А. говорил:

— Мне рассказывали артистки, что ты сидел развалиясь; и курил папиросу — пред самою сценою...

Этого я не помню.

Другой раз поехали вместе мы (Л. Д., А. А. и я) на первое представление *"Пеллеаса и Мелисанды"*<sup>71</sup>; перед началом спектакля к А. А. забегал очень, очень взволнованный Мейерхольд; поднимаясь на цыпочки и кивая изогнутым носом, хватался за голову он, восклицая:

— Да что: прыгать в бездны, — вот что теперь надо.

Он очень взволнован был предстоящей премьерою; представление мне не понравилось вовсе; был весь Петербург; мне запомнился в этот вечер А. А.; я его наблюдал издали, в антракте: в фойе; он стоял у стены и помахивал белою розою, разговаривая с какою-то дамою, на него налезавшей; стоял он, поднимая вверх голову и обнаруживая прекрасную шею, с надменною полуулыбкою, которая у него появилась в то время, которая так к нему шла; его черный, прекрасный сюртук, не застегнутый, вырисовывался тонкою талией на фоне стены; шапка светлых и будто дымящих курчавых волос гармонировала с порозовевшим лицом; сквозь надменное выражение губ я заметил тревогу во взгляде его; помахивая белою розой, не обращал он внимания на налезавшую даму, блуждая глазами по залу; и точно отыскивая кого-то; вдруг взгляд его изменился; стал он зорким; глазами нацелился он в одну точку и медленно повернул свою голову: тут он мне опять напомнил портреты Оскара Уайльда. Глядел на него я и думал, что вовсе не узнаю его, прежнего: где застенчивость, робость и детскость, которые так явственно выступали в нем; *"светский лев, а не Блок"* — так мне думалось; он же, все целился взглядом во что-то, рассеянно очень отклонялся и быстрыми, легкими, молодыми шагами почти побежал чрез толпу, разрезая пространство фойе; развевались от талии фалды его незастегнутого сюртука.

Мне запомнился этот образ: как будто смотрел он не в зал, а чрез зал — в вихрь метели: и когда побежал он, то побежал, как во тьму *"моего города"*; почему-то я вспомнил слова посвящения первого издания *"Снежной*

Маски": "Посвящаю эту книгу эсенцине с крылатыми глазами, влюбленной во тьму... моего города"<sup>72</sup> (так кажется). Про А. А. говорили в то время, что он — влюблен.

В тот приезд свой я очень любил А. А. Но говорил с ним я мало; мне было — так грустно; я чувствовал: жизнь, им лелеемая, — не настоящая жизнь; это легкий запой над подкрадывающейся к нему новой драмой сознания; и он знал, что я думаю; он как бы просил меня:

— Не разочаровывай: сам отдайся той жизни, которую я здесь веду.

И Л. Д. мне говаривала не раз:

— Приезжайте же, будет весело...

Мне весело не было: наоборот, было — грустно; я знал: под метельным вином, под "глазами крылатыми, в тьму влюбленными" ждут А. А. его строки:

Эй, берегись! Я вся — змея!  
Смотри: я миг была твоя,  
И бросила тебя!  
Ты мне постыл! Иди же прочь!  
С другим я буду эту ночь!  
Ищи свою жену.  
Ступай, она разгонит грусть,  
Ласкает пусть, целует пусть,  
Ступай, — бичом хлестну<sup>73</sup>.

Почему-то А. А. того времени связывается для меня со стихами его отдела "Фаина". И образ "Фаины" встает предо мною:

Вот явилась. Заслонила  
Всех нарядных, всех подруг,  
И душа моя вступила  
В предназначенный ей круг.  
И под знойным, снежным стоном  
Расцвели черты твои.  
Только тройка мчит со звоном  
В снежно-белом забвении.  
Ты взмахнула бубенцами,  
Увлекла меня в поля...  
Душишь черными шелками,  
Распахнула соболя<sup>74</sup>.

Образ Фаины, — лукавый, неверный; у нее — *темная вуаль и узкая рука* ("Пусть навеки не знают люди, как узка твоя рука"); одета она — в *"темный шелк"*; и *"нагло скромен дикий взор"* ее; она — *"черноокая"* (*"черноокая моя"*); душа ее — *"буря"*; шелка ее *"поют"*; и музыка преобразает лицо ее; она говорит:

Найди. Люби. Возьми. Умчи.

В ней просыпается образ Клеопатры, которую А. А. увидел в музее-паноптикуме; и кажется, будто Фаина есть вставшая кукла музея-паноптикума; она — напоминает поэту Египет.

В косых лучах вечерней пыли  
Я знаю, ты придешь опять  
Благоуханьем Нильских лилий  
Меня пленять и опьянять<sup>75</sup>.

Ей сопутствует пень шелков; и театр сопровождает ее: *"Живым огнем разединило нас рампы светлое кольцо"*; *"Когда твой занавес тязисельй раздвинулся — театр умолк"*; она говорит о себе: *"Я в должный мир вошла, как в ложу"*; и — далее: *"Театр взволнованный погас"*. Словом, она — артистка:

Тобую пьяная толпа.

И —

Дрожит серебряная лира  
В твоей протянутой руже<sup>76</sup>.

Эпитет "темный" сопровождает повсюду образ ее: "твой темный шелк", "за темною вуалью", "я... мрак тревожу", "темной ложис", "сумрак глаз твоих", "темным взором".

Вползи ко мне змеей ползучей,  
В глухую полночь оглуши,  
Устами томными замучай,  
Косою черной задуши<sup>77</sup>.

У меня создалось впечатление: в это время А. А. относился прекрасно ко мне; но ему все казалось, что идеология москвичей мне губительна; Брюсов губит меня, завлекая в "политику" литературы, а Эллис, Рачинский, С. М. Соловьев и философы-кантианцы влекут меня каждый в свою идеологическую трясину; в его представлении, вероятно, меня надо было изъять из столь вредной, абстрактной, в полемику вталкивающей атмосферы; и — приобщить: живой жизни; под этою жизнью в моем представлении он разумел "артистизм"; и — кулисы театра Комиссаржевской; но именно: в этой кулисной, обманчивой жизни я видел лишь пыль — пыль "кулис"; да: в моем представлении не я, а А. А. подменил жизнь живую кулисными "суррогатами" жизни; я видел, что спорить нельзя с ним; и я позволял завлекать себя в эту мне вовсе не близкую жизнь, наблюдая ее; и, естественно, не поддаваясь обману. Поэтому мы, превратившись в "политиков", не заговаривали напрямик, а — таились; любил я А. А., но не верил пути его; мы оставались в противоположных и даже враждебных партиях; и тем не менее часто бывало уютно нам вместе; я помню, что часто просиживали вечерами у Блоков мы пятером: я, Л. Д., А. А., Волохова, Веригина, милая, молодая блондинка, дружившая очень с Л. Д. В ней мне виделся юмор, задор, доброта; с ней легко было; Волохова — не то: очень тонкая, бледная и высокая, с черными, дикими и мучительными глазами и синевой под глазами, с руками худыми и узкими, с очень поджатыми и сухими губами,

с осиною талией, черноволосая, во всем черном, — казалась она *reservée*<sup>78</sup>. Александр Александрович ее явно боялся; был очень почтителен с нею; я помню, как встав и размахивая перчатками, что-то она повелительно говорила ему, он же, встав, наклонив низко голову, ей внимал; и — робел:

— Ну — *пошла*.

И шурша черной, кажется, шелковой юбкой, пошла она к выходу; и А. А. за ней следовал, ей почтительно подавая пальто; было в ней что-то явно лиловое; может быть, опускала со лба фиолетовую вуалетку она; я не помню, была ли у ней фиолетовая вуалетка; быть может, *лиловая, темная* аура ее, создавала во мне впечатление вуалетки; мое впечатление от Волоховой: слово "*темное*" с ней вязалось весьма; что-то было в ней — "*темное*".

Мне она не понравилась.

Тем не менее были уютны и веселы вечера, проведенные вместе.

Дела вызывали в Москву (был октябрь уже). А. А. звал меня жить в Петербург.

— Приезжай, Боря, к нам...

— Тебе вредно застрять в вашей душевной Москве.

А Л. Д. прибавляла:

— Истерики там, у вас.

— Приезжайте сюда...

— Будет весело...

— Обещаю вам это...

— Увидите сами...

И я обещал, что приеду: переселюсь в Петербург.

Я поехал в Москву ликвидировать все дела; и — и скорей перебраться; приехав в Москву, я застрял; очень странно: я прежде стремился к А. А. и Л. Д., а теперь переезд в Петербург — не пленял меня как-то; во-первых: меня не пленяла жизнь Блоков; я видел, что в жизни А. А. происходит какой-то разгром; предотвратить его не было в силах; я думал о том, что я буду, приблизившись к Блокам, в глухой оппозиции; наконец, ощущение, что еще предстоит объясненья с Л. Д., останавливало мой пыл переезда; во мне постепенно откладывалось недоверье к Л. Д.; переменились отношения наши друг к другу; как в 1906 году я, дружа с Л. Д., чувствовал отдаление от А. А., так теперь: примирившись с А. А., явно чувствовал я недомолвки с Л. Д.

Кроме этого: Мережковские, единственно близкие мне из петербуржцев в то время (кроме А. А.) проживали в Париже; с Ивановым я разошелся идейно; и — видеть его не хотел; круг Иванова, пресловутая "*башня*", был чужд мне; я, в сущности, в Петербурге остался один бы; наоборот: в Москве — крепи все связи мои; представляла кипучая газетная деятельность, интересовавшая в то время меня; здесь, в Москве, находились "*Весы*", штаб-квартира движения нашего; круг друзей "*аргонавтов*" был здесь;

здесь встречался я постоянно с С. М. Соловьевым, с Рачинским, с Петровским, с Сизовым и с Эллисом; приезжал мой друг Э. К. Метнер из-за границы; и — наконец: организовывалась деятельность разного рода.

Во-первых: *"Эстетика"* предполагала расширяться; я, как член Комитета, был связан с ней; заседания *"Московского Религиозно-Философского Общества"* становились интереснее и интереснее с переездом Булгакова, ставшего членом Совета его; в это Общество втягивал меня Г. А. Рачинский и М. К. Морозова, с которой все более я дружил; наконец: в Москву переселились д'Альгеймы, с которыми я познакомился еще раньше, через Рачинских. П. И. д'Альгейм, человек замечательный, с проблесками гениальности, устраивал в Москве свой *"Дом Песни"*; с 1902 года я стал посетителем всех концертов Олениной; и — горячим поклонником ее пения; П. И. д'Альгейм старался группировать вокруг *"Дома Песни"* литературные и музыкальные силы Москвы; в гостеприимной квартире (в Гнездиновском переулке) мы собирались вечерами, заслушиваясь блистательными речами П. И. об искусстве, о мистике, о музыкальной культуре; здесь я встречался с О. К. Мюратом<sup>79</sup>, с гр. С. Л. Толстым<sup>80</sup>, с В. Я. Брюсовым, С. И. Танеевым, с Энгелем<sup>81</sup>, с Кашкиным<sup>82</sup>, с проф. Л. А. Тарасевичем<sup>83</sup>; здесь встречался и с Н. А. Тургеневой и с А. М. Пощо<sup>84</sup>, с Рачинскими. Иногда М. А. Оленина начинала петь. Незаметно П. И. захватил меня, привлекая к организации литературного отдела *"Дома Песни"*. Так, на открытии *"Дома Песни"* я должен был выступить с лекцией *"Песнь жизни"*\*; вторую часть лекции М. А. Оленина иллюстрировала своим исполнением *"песен"*.

И — наконец: философские интересы мои находили пищу в Москве; незаметно сближался я с Г. Г. Шпетом, наиболее бойким и всесторонним среди тогдашних философов (из молодых); у М. И. Морозовой (на Смоленском бульваре) происходили частые заседания *"философского кружка"* молодежи, в котором бывал я; здесь бывали И. А. Ильин<sup>85</sup>, Гордон, Б. А. Фохт, Г. Г. Шпет, А. К. Топорков, Б. П. Вышеславцев<sup>86</sup>, А. В. Кубицкий<sup>87</sup>; бывали и старики — Л. М. Лопатин, появившийся в Москве к тому времени кн. Е. Н. Трубецкой, И. В. Хвостов, всегда принимавший деятельное участие в заседаниях, Б. А. Кистяковский и пр.

Словом: в Москве для меня жизнь кипела. А Петербург того времени был мне враждебен и чужд; только Блоки влекли меня, но... но... но...; и — все-таки: я в Петербург переехал.

Остановился я на Васильевском Острове, в меблированных комнатах, против моста; из окон моих открывался унылейший вид на Неву, к тому времени полузамерзшую; стоило перебежать этот мост и — я попадал прямо к Блокам; но к Блокам, представьте, я мало ходил; обнаружилось тотчас же мои контры с Л. Д.; и настолько серьезные, что я мрачно засел в своей комнате и с отчаянною решимостью застрочил нападательную статью на

\* Первая часть этой лекции напечатана в *"Арабесках"*.

театр, под заглавием *"Театр и современная драма"*<sup>88</sup> (статья предназначалась для сборника, выпускаемого *"Шиповником"*).

А. А. был в вихре своих увлечений и, видя контры мои с Л. Д., мягко старался стоять в стороне он; мы с ним дружили издавека; но более, чем когда-либо, расходились в путях. А с Л. Д. я имел очень крупное объяснение, после которого решил ликвидировать все с Петербургом<sup>89</sup>. Я скоро наездом там был (был два раза): читал свои лекции; и уезжал очень быстро в Москву. Мы с А. А. находились в дружеской переписке; но мы чувствовали, что говорить и видаться — не стоит. И уже понимал, что отдалились друг от друга без ссоры мы; медленно замирало общение наше, чтобы возобновиться лишь через несколько лет; наступала страннейшая мертвая полоса отношений (ни свет и ни тьма, ни конкретных общений, ни явного расхождения)...

Письма писали друг другу мы редко; и, наконец, — перестали писать.

Цоссен — Свинемонде, 22 г.

*Май—Июнь*



## Глава восьмая    ВДАЛИ ОТ БЛОКА



### Философия

Зима 1907—1908 годов отмечена внешней деятельностью — в Москве: очень близким касанием к "Весам" и участием в делах комитета "Свободной эстетики", где я читал ряд докладов (о музыке, о современной литературе, о Сологубе), участием в заседаниях московского религиозно-философского общества, завоевавшего много симпатий в Москве; к нему близко примкнули: проф. Булгаков, переселившийся из Петербурга в Москву, и Н. А. Бердяев, проф. Е. Н. Трубецкой, переведенный из Киева: на кафедру философии (вместо покойного брата С. Н. Трубецкого); действовали — В. Ф. Эрн, Г. А. Рачинский и В. П. Свенцицкий, не исключенный еще; здесь бывали священники: Добронравов<sup>1</sup>, Арсеньев, Востоков и Фудель; являлись: Новоселов, Кожевников, Громогласов, Флоренский, Покровский, П. Астров; естественно: складывалось ядро общества, организовавшее ряд интереснейших заседаний — на протяжении: десяти лет.

Одно время я, помнится, был даже членом совета (с Рачинским, Свенциким, Булгаковым, Эрном, Бердяевым, Трубецким); тут Рачинский решительно настоял на вхождении в совет, чтобы было представлено левое религиозное устремление мною; боялся в те годы он тяги к ортодоксальности в С. Н. Булгакове, в В. Ф. Эрне; Рачинского выбрали председателем; и заседания были действенным священнодействием для него, покраснев яр, вспыхивая папиросой, блистая очками, подергивая седую бородку, торжественными аллюзиями он снаряжал корабль странствия заседания; и — торжественно закрывал заседание; в каждом "слове" Рачинского был непременно какой-нибудь громкий возглас: "*Дориносима чинми*"<sup>2</sup>, "*Святися, святися, Новый*

Иерусалим”, “В начале бе Слово” и т. д. Заседания вел он прекрасно; но многие добродушно посмеивались над торжественным тоном Рачинского, — и тем контрастом, который являли его суетливые, быстрые, нервные жесты; а в перерывах носился по залу он с записью оппонентов, хватая Бердяева за руку, иль настигая меня:

— Понимаешь — вы понимаете? Я выпускаю Булгакова; ну а потом выпускаю тебя, ницшеанского пса; после — скажет (такой-то); для равновесия же я выпущу после... — и отскочив от меня, настигает Бердяева он: “Я выпущу Белого после Булгакова; вас же я, для равновесия — под конец...”

Вот он однажды принялся мне мотивировать необходимость вступления в совет общества с потоком слов, в молниях жестов, переходя в разговоре со мной то на “ты”, то на “вы” (так всегда он, бывало: волнуется — и “затыкается”: “потыкавши”, — “выкает”); задымил прямо в нос своей толстою, крепкою папирсою, им скрученной дома, кидаешь зигзагами жестов, напоминающими скрипача в исполнении фантазии Паганини<sup>3</sup> на вовсе не видимой скрипке (т. е., раскачиваясь всем корпусом, дергаясь и рукой, и плечами, отплясывая ногами пред стулом своим).

— Понимаешь — паф, паф (клубы дыма летят мне в лицо)... Да тебя бы я выгурил, черт возьми — паф-паф-паф — из совета — паф-паф — понимаешь? Я сам бы тебя — паф-паф-паф — в шею: паф (я — весь в клубах: Рачинский лицом налезая в лицо мне, в рассеянности тыкает в рот себе папиросу зажженным концом), если бы не Сергей Николаич... Фу!.. Вы понимаете, Борис Николаевич, — боюсь же я эдакого такого густого поповского духа... Булгаков способен — ты понимаешь?.. Способен — способен: на заседании... Эдакое, — понимаешь — дернуть (паф-паф-паф-паф-паф — клубы дыма!)... на заседании, понимаешь ты, — не религиозного только, а религиозно-философского — фи-ло-софского общества (гудит он в восторге) — просто эдакое, какое-нибудь — паф-паф-паф... — И взлетает под небо рукой с папиросою:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа!.. Паф-паф!..

(А про Булгакова это напрасно Рачинский: ведь сам любил поднести нам какое-нибудь: “Во имя Отца и Сына и Святого Духа!”)

— Ну вот: тогда выпускаю тебя — гамкающего ницшеанского пса — для равновесия, — и начинает бить палец о палец под носом моим, изображая, должно быть, полнейшее равновесие.

— Идите, идите-ка в совет общества, Борис Николаевич! Так-то вот был для себя неожиданно выбран в совет я на роли презлющей овчарки, спускаемой в нужные миги Рачинским на С. Н. Булгакова, князя Е. Н. Трубецкого иль Эрна, с которыми крепили в годах мои связи (особенно с С. Н. Булгаковым, с Н. А. Бердяевым). В этот период участвовал в организации “Дома Песни”, основанного М. А. д’Альгейм и бароном д’Альгеймом; вернулся в Москву Э. К. Метнер, с которым я был в переписке года; и в уютной квартире Малого Гнездииковского переулка, как раз против дома, где жили д’Альгеймы, мы с Метнером проводили теперь очень часто прекрасные вечера; и присутствовал часто здесь брат Э. К., композитор; являлись братья Метнера — К. К.<sup>4</sup>

и А. К. <sup>5</sup> (с женами); появлялись частенько здесь: Эллис, Шпет, Гольденвейзер<sup>6</sup> (пьянист), Конюс<sup>7</sup>, Штембер<sup>8</sup> (художник), Петровский, Морозова; складывался естественно "*метнеровский кружок*", — ставший Эллису продолжением "*Арго*"; вынашивались — идеи; подготовлялось ядро "*Мусагета*".

В Литературно-Художественном Кружке я частенько бывал, читал лекцию "*Театр и Современная Драма*"; артисты Худ. Театра не были мной довольны; а Ленский<sup>10</sup> ко мне подошел, жал мне руку, благодаря за идею доклада (в тот вечер мы ужинали вместе с Баженовым<sup>11</sup>, Буниным, Вересаевым и др. писателями: Бунин — корил за абстрактность меня); здесь вступал в неприятные по тону беседы, участвовал в диспутах, которые были для нас, символистов, трибуной, с которой громили мы публицистов, газетчиков, нас ругавших: Потресова-Яблоновского<sup>12</sup>, Любошица<sup>13</sup>, Ашешева<sup>14</sup>, Гиляровского; но впоследствии мирно встречались мы; можно было здесь видеть: Баженова, Южина<sup>15</sup>, Брюсова, Эфроса<sup>16</sup>, Юлия Алексеевича Бунина<sup>17</sup> (по прозвищу "*тетя Юля*"), И. И. Попова<sup>18</sup>, А. К. Дживелегова<sup>19</sup>, Стражева; и других: профессоров, артистов, писателей, адвокатов и публицистов.

Политика более, чем прежде, интересовала меня; все летело в реакцию; левые — правели, правели, правели; из красных они становились порою коричнево-бурыми; время само становилось: коричнево-бурым; иные же — доходили до явственной черноты; очень многие — отдавались утару вина.

Приходилось Эллису, мне очень часто читать свои лекции в пользу тайных организаций (военной и меньшевистских), устраивая литературные вечера; приходилось выдаться с политиками, снова загнанными в подполье, вступать в разговоры с рабочими.

Ясно запомнились двое рабочих, ходивших ко мне и к Л. Л. Кобылинскому: представители организации металлургов; они были бедны; временами у них у обоих оказывалась лишь пара сапог; и когда выходил один, то другой должен был дожидаться товарища дома.

Один — был фанатик: помалкивал, изредка поднимая большие свои голубые и недоверчивые глаза. Другой — философствовал много; и — поднимал рассуждения о символизме:

— Я, знаете, защищал символизм — от товарищей (спорили у нас в рабочем кружке); все-таки: символизм есть течение, знаете, буржуазное.

— Я могу доказать вам, что — нет, — подал реплику я.

— А какими же средствами вы докажете это?

— Докажу вам научно!

— Т. е. опять-таки вы докажете это лишь старыми буржуазными средствами...

— Как так?

— Наука же буржуазна.

— Вы полагаете: социальная революция переродит и науку?

— Конечно...

— Позвольте же: есть математика...

— Переменится математика.

Тут я воскликнул:

— Так стало быть дважды два в царстве будущего может стать не "четыре", а "пять"?

Мой философ-рабочий смутился; и — замолчал; молчаливый товарищ его покраснел и, блеснув голубыми глазами, как выпалит:

— Ну конечно же: в будущем строе и дважды два — не станет "четыре"...

— И все воспрятья изменятся?

— Все изменятся!..

Был он решителен.

Я однажды у Эллиса встретил рабочих моих; как всегда, мы поспорили; пришел Брюсов; и слушая спор, он нацелился на молодого рабочего парадоксом (любил поражать парадоксами Брюсов в ту пору, как после любил огорачивать он, произнося с важным видом "пустейшее, общее место"); не помню как наш разговор перешел к проституции; Брюсов стоял, напряженный, с наморщенным лбом, склонив черный свой клоч борода, ухватившись руками за спинку тяжелого кресла и выпучив красные губы: казался он черным и злым петухом, иступленно нацелившимся на противника; и — молчал; но я ждал, что он "выпалит":

"Выпалит":

— А напрасно ругаете проституцию вы, — заплесала бородка его над рабочим, — бывали священные проституции: песни и "пльсти"! (Он "ка" иногда не умел выговаривать.) Рабочий же, вспыхнув, сказал:

— Нехорошо говорите!

И законфузился.

.....  
С А. А. — я в то время не состоял в переписке почти; в биографии Блока, написанной М. А. Бекетовой, нас встречают сведения, что А. А. пережил, как и я, в то время — обостренный интерес к темам нашей тогдашней общественности: *"Несмотря на всегдашнее отвращение к политике, к партийности... ему стали близки по разрушительному духу некоторые политические деятели... Наряду с подлинными деятелями стали попадаться авантюристы... Ал. Ал., крайне доверчивый и неопытный, попадался. Но посетивший его "товарищ Андрей" и некая молодая революционерка Зверева оказались... подлинными... Ал. Ал. приходилось часто встречаться на вечерах, где под "благовидным предлогом", сборы шли все туда же. И потому, неизменно тяготясь такими выступлениями, он не позволял себе от них отказываться..."*<sup>20</sup>

Зиму 1907 — 1908 [годов] А. А. проводил в Петербурге в заботах и интересах, совсем схожих с нашими; разойдясь решительно в литературных платформах, вдыхали мы оба все ту же стихию, естественно вызывавшую необходимость помощи нелегальным; и я надрывался от лекций; и я, как А. А., — "попадался": лекции в "пользу" большевиков устраивала мне Путьято<sup>21</sup>, которую скоро потом уличил в провокации: Бурцев; объяснялись провалы всех сборов и конфискация денег полицией; и объяснялись аресты; полиция почему-то меня не тревожила.

К концу 1907 года я укореняюсь в Москве; интересы мои сконцентрированы на деятельности московских кружков; в интересе к Москве, между

прочим, сказало разочарование петербуржцами; мысленно поворачиваюсь спиной к Петербургу; приезды в Москву петербуржцев меня заставляют порою болезненно вздрагивать. Более сближаюсь с представителями московской молодой литературы; особенное расположение и приязнь начинаю я чувствовать к В. Ф. Ходасевичу и к покойному С. В. Киссену (Муни); и часто заходит ко мне очень бойкий студент (еще юноша), — А. М. Эфрос; встречаюсь с Б. А. Садовским; с Соловьевым соединяет меня та же дружба; мы видимся у него на собраниях; на вечерах Соловьева знакомлюсь с талантливыми студентами: с А. К. Виноградовым<sup>22</sup> (будущим музейцем) и с другом его, вскоре умершим поэтом Ю. Сидоровым; из посещающих Соловьева запомнились: Ю. П. Бартев<sup>23</sup>, Е. П. Безобразова (кузина С. М.), В. О. Нилендер, Арсеньев, Б. А. Садовской, А. А. Оленин<sup>24</sup>, С. В. Гиацинтова<sup>25</sup> (будущая артистка), Л. Л. Эллис, Н. П. Киселев, Г. А. Рачинский, Свенцицкий, А. Г. Коваленская; протягиваются связи между мной и Нилендером, канувшим в философские проблемы, нащупывающим огромные, но еще самому неясные мысли о гностиках, об орфических гимнах<sup>26</sup>, о культах Гекаты<sup>27</sup> и о проблемах мистерии: и под влиянием Нилендера начинаю почитать кое-какую литературу, затрагивающую эти предметы; прочитываю исследование *Новосадского* "Об орфических гимнах"<sup>28</sup>, и Лобек<sup>29</sup>, Фукар<sup>30</sup>, Роде<sup>31</sup>, Бругман<sup>32</sup> теперь начинают во мне говорить; назревает стремление к формальному методу изучения поэзии, оформленное в исследованиях о ритме (позднее); общение с Нилендером, с Соловьевым, с Б. А. Садовским обогатило критический кругозор.

А в другом направлении — философское определение мое; появление Булгакова, Трубецкого, Бердяева внесло новую вовсе струю в жизнь Москвы: в Университет пролились струи воздуха; академический консерватизм теперь — рухнул; боящийся новых веяний мысли проф. Лопатин, талантливый кн. С. Н. Трубецкий, для которых явление философов, пытающихся читать рефераты о Ницше, казалось шокингом — теперь не влияли. В академической философии московского Университета был прежде свой кодекс приличий: преследовался всякий привкус неокантианства; философы, интересующиеся Когеном<sup>33</sup> и Риккертом, рисковали: не быть оставленными Трубецким и Лопатиным; внесение афористического тона в доклады — строжайше преследовалось, как философское декадентство; и декадентов, и символистов — боялись; боялись дионисического потока, явления новой породы людей: интересующихся проблемами философии символистов; боялись философов, скашивающих на символистов глаза; после афористического доклада А. К. Топоркова, оставленного при Университете Лопатиным, университетская карьера закрылась докладчику; интересующемуся философией Белому было передано негласное предостережение, исходящее от философского ареопага Университета: решительно воздержаться от поступления на филологический факультет; философия не для него-де; но "символист" не последовал благому совету, он стал посещать семинарии Лопатина; но проф. Лопатин попытки к участию в коллоквиуме студента Бугаева старался всегда оборвать указанием, будто

бы он, Лопатин, не понимает его; и однажды Бугаев был вынужден заявить: непонятен не он, а философ Артур Шопенгауэр, которого он цитирует.

Так боролся московский Университет с когенианцами, ницшеанцами, декадентами; позволялись занятия Лейбницем, Владимиром Соловьевым и Лотце; не разрешались занятия — Когеном, Риккертом, Наторпом<sup>34</sup>, Ницше и Штирнером; подозрительно относились к растущему религиозному устремлению; Мережковский конечно же — был одиозен; Бердяев, Булгаков — весьма подозрительны: и "церковника" боялись в Университете; поступлением талантливого математика П. А. Флоренского в Духовную Академию был весьма оскорблен очень-очень почтенный профессор, ему предлагавший остаться при Университете; пугались небывалого фактора: бегства ученых в становища "диких", — или в журналы, окрашенные декадентами, или в секцию *истории религии*, или на диспуты Литературно-Художественного Кружка; пугались "декадента", "попа", "когенианца" — в стенах Университета; а наиболее талантливая философская молодежь (Фохт, Эрн, Кубицкий, Топорков, Гордон, С. А. Кобылинский) или сплывалась в кружки для изучения Канта, или — якшалась с декадентами, или же "запускала афористическими ананасами" (Топорков), или же ездила по епископам (Эрн); экономист Кобылинский стал Эллисом, а учитель его, И. Х. Озеров, выпустил книгу, подобную "Так говорил Заратустра" под псевдонимом "Ихоров"; физик Бачинский<sup>35</sup> вдруг выпустил книжечку "Облака", подражающую симфонии Белого: под псевдонимом "Жагадис"; да, да: вот и сын Бугаева — стал Бельым; внук историка Соловьева — сотрудник "Весов". Даже сам глава ереси, Брюсов, и он был когда-то — *horribile dictu*<sup>36</sup> — оставлен при университете строжайшим Герье<sup>37</sup>. Университет надо было спасать; и — спасали.

Спасение продолжалось до 1906 — 1907 года; после же позицию непримиримости сдали; и представители философского ареопага явились среди декадентов, в кружке молодых когенианцев, на заседаниях религиозно-философского Общества; моя лекция в философском кружке у Морозовой с возраженьями мне Лопатина, Е. Н. Трубецкого, Бердяева, проф. Северцева<sup>38</sup> и др. — не выглядела скандалом. Салон же Морозовой сыграл видную роль в том смещении недавних границ между замкнутыми недавно кружками; дружба Морозовой со мною, с Метнером, с князем Е. Н. Трубецким, с В. М. Хвостовым, Рачинским, Лопатиным, с представителями неокантианства Кубицким и Фохтом, чуткость ее, восприимчивость и умение сглаживать острые углы меж кружками — естественно создали из Морозовой незабываемую фигуру, которая оставила след в истории умственной культуры Москвы двух истекших десятилетий; с другой стороны: удивительная по благородству и честности, самокритике и постоянному исканью путей личность князя Евгения Трубецкого способствовала изменению тона университетского круга к нам. Евгения Николаевича помню я: с недоумением в нас вперенного, не понимающего нас вовсе, но не встречающего нас с той глупой усмешечкой, с которой встречали нас все; потом уже помню его, нас едва понимающего; понимающего с трудом, наполовину почти; и наконец: помню я удивительную переключку меж нами на лекции его "О смысле жизни" — в моем ответе ему,

в его ответе мне: выяснилось почти совпадение наше в моральной платформе; и никогда не забуду его благородства в защите меня против выдвинутых нареканий за книгу *"Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности"*<sup>39</sup>. Вспоминаю покойного: в вечных усилиях честно понять, осознать, подойти к противоположным и далеким воззрениям, разобрать их, осмыслить; смешка не бывало в нем; помню его — в расширении кругозора, стремящегося к конкретному и включающему такие детали культуры, как изучение иконографии, которой он стал знатоком к концу жизни. Е. Н. Трубецкой был решительно тут противоположен блестящему брату (С. Н.), более чем он философу *par excellence*, но — и более ограниченному, узкому в сношениях с людьми.

В тяжелых разочарованных Петербургом невольно встает перед мною великолепная фигура Морозовой; получаешь, бывало, тяжелый и сине-лиловый конверт; разрываешь: на толстой бумаге большими красивыми буквами четко-четко так выведенные слова: "Милый Борис Николаевич, приходите такого-то числа: посидим вечерок. М. Морозова".

Идешь с радостью — на угол Смоленского бульвара и Глазовского переулка; звонишься: тебя провожает лакей мимо грузной египетской уютной передней, красивого, уютного зала в уютную, белую комнату, устланную мягким серым ковром, куда выходит из спальни такая большая-большая, такая прекрасная, вся сияющая тихим светом М. К.; усаживается; лакей ставит маленький столик (для чая) и начинается многочасовой разговор: о путях, судьбах жизни, о нравственном долге — не унывать. Маргарита Кирилловна поддерживала меня своим мягким эпическим пафосом в трудные годы мои; она чуяла глубокое, внутреннее отчаяние во мне — и вызывала меня на откровенность, чтобы смягчить мою боль; ласково бывало смеется; глаза же — (великолепные, сверкающие, голубые) — впиаются в душу и разговор переходит с религиозного или морального обсуждения темы дня на конкретнейшие переживания моей личной жизни; да, — прямо скажу: мы ходим к Морозовой за моральной поддержкой; выкладывать ей все-все: о себе, о своих отношениях к людям; рассказывал ей о моих отношениях с А. А. и Л. Д.; Маргарита Кирилловна молча слушает, помнится, вся закутавшись в мягкую уютную тальму; лишь вспыхивающие блеском ее бриллиантовые глаза играют бывало переживаниями твоей личной жизни.

Порой у нее заставал я покойного Льва Михайловича Лопатина, кажущегося очень маленьким, тонущим в кресле перед крупною Маргаритой Кирилловной, потирающим слабенькие ручки; выставив длинную, седоватую козловидную бороду, он блистает лопающимися от блеска очками; и слышится его характерный смешок — *"хо-хо-хо"* — кривогубого рта; у автора *"Положительных задач философии"* были склонности: всего на свете бояться, попутывать всех; он рассказывал страшные очень рассказы о привидениях, упырях; и был в диком испуге от собственных слов; он тарасил тогда зеленоватые малые глазки и как-то блеял овечьим оттянутым ртом; он — рассказывал мастерски; он боялся собак; он захаживал часто тайком в помещение спиритического журнала *"Ребус"* — к редактору, Чистякову<sup>40</sup>. М. К. мне, смеясь, рассказывала о том, что Лопатин едва ли прочел сам хотя одну только книгу

из когенианской литературы; но знал содержание многих тех книг — из пересказа профессора В. М. Хвостова; оба жили они в одной местности летом однажды; и — часто гуляли: вдвоем; и Хвостов на прогулках систематически, глава за главой, пересказывал вдохновенно Лопатину содержание книжек Наторпа, Когена, Риккерта; Лопатин же слушал, запоминал; и вернулся в Москву вооруженный познанием Хвостова; поставил он целью себе: гнать все это из стен Университета (в бытность Когена в Москве, Университет отличался блистательным отсутствием профессоров на чествовании Когена: представителем чествования оказался неутомный Баян всех чествований — Рачинский). Лопатин последние годы почти не читал по предмету своей специальности, по философии; читал — Венямин Михайлович Хвостов, не философ (юрист); одно время Хвостов принялся основательно за изучение Риккерта, на реферат о Риккере Рубинштейна<sup>41</sup> привел за собою он выводок слушательниц (с женских курсов); завязанный он был феминист; более нежели профессорской деятельностью интересовался он делами женской гимназии Хвостовой, жены своей; многие годы боялся закрытия он начальством гимназии этой; боязнь его делала очень робким по отношению к начальству; но наконец: выказал и он героизм, присоединившись к профессорам, подавшим в отставку (в эпоху Кассо<sup>42</sup>).

Хвостова встречал у Морозовой; и меж нами возникли хорошие отношения: он с симпатией обо мне отзывался всегда.

Незабываемы встречи для меня "en trois", когда собирались мы у Морозовой с Метнером, или когда приезжала Морозова к Метнеру; мы затворялись в уютнейшей комнате Метнера; о чем мы не спорили? Разговор быстро делался искристым; в Метнере было много чудесного блеска; в Морозовой — музыкального слуха к оттеночкам мысли; впадали мы в шутки и в шаржи, изображая знакомых: Лопатина, Эллиса и Рачинского; и Морозова заливалась таким заразительным смехом; а я для уюта садился на мягкий ковер перед ней, перед Анной Михайловной Метнер, иль забирался под письменный стол; и оттуда я с пафосом проповедовал что-нибудь; я и Метнер устраивали порою атаки на князя Е. Н. Трубецкого, подчеркивая его непонимание нас; Маргарита Кирилловна воодушевлялась, отстаивая Трубецкого.

— Да, в Евгении Николаевиче тяжелодумие есть; у декадентов же — тонкость; где тонко — там рвется; на декадентов не положились бы я ни за что; а на Евгения Николаевича полагаюсь вполне...

И из слов ее князь Трубецкой вырастал — стражем Руси.

У нас были общие темы бесед: ритм культуры, культура музыки, Ницше — Вагнер, Россия, Германия; многое из теперешнего взгляда на гегезис культуры вынашивал я во время бесед "en trois"; поднимая те темы "en deux" (с М. К. Морозовой) забывался, в рассеянности обращаясь к Маргарите Кирилловне:

— Нет, позвольте, позвольте же, Эмилий Карлович!

Морозова забавлялась перемещением имен: было в ней очень много уютного, детски простого; и крупного вместе; и было в ней много порою величия, официальности — в другой обстановке; в большой своей шляпе

с султаном, в великолепном наряде, в блистании бриллиантов — напоминала какую-то "великую княгиню" она; я шутил: называл ее "дамой с султаном".

Так в нашем trio (Э. К. Метнер, М. К. Морозова, я) находил я поддержку; другим таким trio являлось для меня соединение Эллиса, Метнера и меня. С появлением Метнера, с возобновлением наших свиданий, естественно превращенных его жизнью в Нижнем<sup>43</sup>, невольно я свел его с Эллисом, мне родным в трудных днях моей жизни; и Метнер поддался влиянию вспышек "гения" в Эллисе, даром импровизаций его, даже пылкой нетерпимостью. Наш союз заключался во имя какой-то совместной культурной работы — в грядущем; Э. К. в эти месяцы вел музыкальный отдел "Золотого Руна", никому не нужного органа; разумеется, что работа в нем не удовлетворяла Э. К.; мы с Эллисом начинали все более чувствовать тяжесть работы в "Весех": в эти месяцы наша тройка вынашивала восстание к жизни издательства "Мусагет", которого мы оказались редакторами.

В 1908 году на горизонте Москвы появился С. В. Лурье<sup>44</sup>, преисполненный планами и проектами реформы захиревающей "Русской Мысли", куда он хотел влить и нас, символистов; для этого надо было ему ликвидировать для чего-то "Весы", которые оставались для нас единственным, символическим органом (мы чувствовали себя — "партией символистов": особенно Эллис среди нас разжигал дух партийности); С. В. Лурье замышлял ликвидировать "Московский Еженедельник" Е. Н. Трубецкого<sup>45</sup>, издательницей которого была Маргарита Кирилловна. Нас поразили тревожные слухи о том, будто Брюсов с Лурье за спиною у нас переговариваются о том, как удобнее покончить с "Весами"; В. Брюсов, которого подняли мы на щит и который был нужен, как знамя, — передавался "чужим", топя собственный орган; и — нас; тот поступок его рассердил нас до крайности; в нем мы увидели явно измену "заветам"; мне помнится: с возмущением передавал это все я Морозовой; "Еженедельник" Евгения Трубецкого был чужд; в Трубецком уважали мы "чистого" человека; "Еженедельник" был чист, хотя скучен; "Весы" были едки и крайне нужны; возмущались тому, что Лурье собирался создать подрумяненный модернизмом журнал на обломках других, долженствующих быть уничтоженными; возмущалась Морозова; с нею решили препятствовать этим проектам Лурье: и отстаивать "Еженедельник" с "Весами"; уже возникла естественно перекличка меж группой Е. Н. Трубецкого и "аргонавтами", нами; и та перекличка оформилась после: приятельскими отношениями двух издательств ("Пути", "Мусагета"); в "Пути", издательницей которого стала М. К., соединилась группа деятелей религиозно-философского общества; а в "Мусагете" сошлись "аргонавты".

Следствием действий Брюсова, было растущее недоверие к Брюсову; и — растущая ему оппозиция; группа "Весов" начинала уже распадаться; 1908 — 1909 годы — естественная агония "Весов". Так С. А. Поляков, официальный редактор-издатель, уехавши за границу, уведомил Брюсова в конце 1908 года о том, что "Весы" не намерен он издавать. Брюсов тогда уже предлагал издавать "Весы" нам; мы разыскивали капиталиста; и мне поручили тогда обратиться за помощью к С. И. Щукину<sup>46</sup>, отнесившемуся симпатично к "Ве-

сам"; обратился я к Щукину через Анну Михайловну Метнер; и Щукин ответил: он лично не дал бы "Весам" ничего; если мне "Весы" нужны и если считаю я бытие их совсем неизбежным, он даст мне субсидию, а не "Весам", как журнал. Но я отказался.

С. А. Поляков по настоянию нашему решил на год продолжить "Весы"; организован был Комитет из Полякова, Брюсова, Балтрушайтиса, Ликиардопуло<sup>47</sup>, Соловьева, Эллиса и меня; последнее время существования "Весов" был я, помнится, заведующим отдела статей; и, собственно, — всего идеологического направления; в Комитете "Весов" образовались две партии; партия Брюсова, которую как ни странно сказать, составляли друзья мои: Эллис и Соловьев; и была — моя партия: Балтрушайтис, Ликиардопуло, Поляков. Последние месяцы "Весов" окрашены недоразумениями между Брюсовым, Ликиардопуло, Поляковым; старые сотоварищи Брюсова, исконные "скорпионы" (С. А. Поляков, Балтрушайтис) вполне в нем разочаровались.

## Московские культуртрегеры

Мои философские взгляды подверглись перепроверке; видоизмененная философия Риккерта мной клалась в основу обоснования символизма; Иванов считал, что позиция эта — идеализм, имеющий мало общего с символизмом; в докладе своем о символизме он нас называл символистами-идеалистами; и развивал свою реалистическую концепцию в читанном им докладе (в моск. рел.-фил. о-ве) в свою бытность в Москве; я ему оппонировал; и напечатал в "Весах" нападение на всю линию обоснования символизма Ивановым; он мне — отвечал; завязалась полемика, в которой нам доставалось друг от друга<sup>48</sup>.

Бердяев, Булгаков, Рачинский не понимали моей "риккертизирующей" позиции; но более всего доставалось мне в частных беседах от Шпета (профессора философии ныне), с которым я часто встречался, с которым дружил: Г. Г. Шпет представлял в годы те исключительное явление; будучи приверженцем Юма<sup>49</sup> и скептиком, боготворя философские опыты Л. И. Шестова<sup>50</sup>, он внутренне чутко расслушал мистические настроения нашего аргонавтизма; и — появился среди нас; нас сближала с ним не философия вовсе, а новизна восприятий его, афористичность его, тонкий юмор и чуткое отношение к культуре искусства; да, среди "символистов" был свой он; среди философов — "их"; он порой лукаво раздваивался.

Он мне говорил, будто я в разговорах "en deux" развиваю вполне интересные, нужные философские взгляды; в кружке же философов на себя надеваю торжественный фрак философии Риккерта:

— Ну, скажи, а зачем тебе фрак, — мне говаривал Шпет; и грозил: если я еще раз в этот фрак облекусь на публичном собрании, он своею рапирью диалектики разорвет на мне фрак; это раз он исполнил, жестоко напав на меня у Морозовой; он говаривал:

— Борису Николаевичу на философской дуэли приходится рвать его фрак; ничего: он приходит домой, обязательно чинит его; и потом появляется сызнова, как ни в чем не бывало, — в починенном фраке.

Не раз доставалось мне от летающей, яркой рапиры софистики Шпета, умевшего прятать свои философские взгляды под оболочкою Юмова скепсиса. Кантианцы торжественно выходили в бой в тяжелейших доспехах, стреляя из крупновских пушек; но вот: их снаряды, смертельные, — не попадали; от кантианцев — вывертывался; Шпетова же рапира пронзала мой "*фрак*"; и любил я изящный, утонченный Шпетовский ум; привлекало к нему понимание поэзии; он во мне полюбил, кажется, автора стихов, — не философа; он говаривал мне, что удел мой — поэзия; я просиживал вечера у него: он читал мне по-польски Словацкого<sup>51</sup> ("*Балладину*"), Мицкевича. Он был самым модным из лекторов, пользовался успехом на курсах; курсистки носили малюсенькие медальончики с изображением Шпета; и про него говорили: на лекциях-де он пускает системы, как кубари.

Утверждалось (Рачинским, Бердяевым), что я Риккерта перекроил на свой лад: от него ничего не осталось-де; наоборот: я защитника встретил в покойном проф. Б. А. Кистяковском, с которым был мало знаком; он однажды сказал мне:

— Вы поняли дух семинария Риккерта; скажите, недавно из Фрейбурга вы?

И узнавши, что Риккерта я не видал и во Фрейбурге не был, он искренне удивился:

— Да этому трудно поверить: ведь то, что сейчас говорили вы, — тема семинариев Риккерта.

Очень ценил это мнение я; Кистяковский ведь был риккертинец; и думаю: "*риккертровский*" мой фрак, над которым пошучивал Шпет, был мне более впору, чем это казалось ему.

Приблизительно в то же время в мир мысли моей входит Н. А. Бердяев; воистину: личность Бердяева, воспринимающая трепет эпохи и понимающая психологию символистов, весьма говорила мне; оригинальный мыслитель, прошедший и школу социологической мысли, и школу Канта, мне imponировал в нем и большой человек, преисполненный рыцарства; imponировал — независимый человек, не склонившийся ни к ортодоксии, ни к Мережковскому; вместе с тем: поражал в нем живой человек; я не помню, когда начались забегания к Н. А. Бердяеву, жившему где-то вблизи Мясицкой, — но помню: потягивало все сильнее к нему; обстановка квартиры его располагала к кипению мысли, располагала к уюту беседы, непринужденной и искристой; сам Бердяев за чайным столом становился мне близок; мне нравилась в нем прямота, откровенность позиции мысли (не соглашался я в частности с ним); и мне нравилась добрая улыбка "*из-под догматизма*" сентенций, и грустный всегда взгляд сверкающих глаз, ассирийская голова; так симпатия к Н. А. Бердяеву в годах жизни естественно выросла в чувство любви, уважения, дружбы.

Мережковские, Риккерт, Бердяев, д'Альгеймы, неокантианцы, Шпет, Метнер, — влияния сложно скрецивались, затрудняя работу самосознания; Бердяев был близок по линии прежнего подхождения к Мережковским; идейное отдаление от них приближало к Бердяеву; а с другой стороны: мне общение с Метнером, Шпетом вселяло порою жестокую критику по отношению к "credo" Бердяева; Шпет почитатель Шестова, в те годы всегда направлял лезвие своей шпаги на смесь метафизики с мистикой у Н. А.; он говаривал мне:

— Мистика не должна рационализироваться в мысли; стихотворение — мистика; гносеологический трактат — философия. Смешивать их — нельзя.

Но конкретнее всех повлиял на меня Э. К. Метнер; я должен сказать о нем.

Слишком много он значит; в 1908 — появился опять на моем горизонте он после того, когда я не имел уже общения с Блоком; мне Метнер как бы заполняет порожнее место в душе; это место недавно еще занимал А. А. Блок.

С Э. К. Метнером познакомил Петровский меня (в 1901 году); стиль знакомства был шапочный; много о Метнере слышал; я слышал, что он одиноко идущая личность, пришедшая самостоятельно к многому из того, что являлось для нас пульсом новой культуры; Метнер, немец по происхождению, славянофильствовал в юности, увлекаясь Леонтьевым, ценя Страхова<sup>52</sup> и Григорьева<sup>53</sup>; он потом пришел к Гете; и Гете стал светлым кумиром ему; специального знания философии не было в нем (восторженное поклонение пред Кантом — не в счет); философию брал необходимой нотой он в аккорде сцепления знаний, которое называем культурою; в исследователях культуры всегда поражает каприз аналогий, сближений, сплетений меж разными сферами духа; чем блещет в деталях мысль Шпенглера, — было предметами наблюдения Метнера; философские увлечения его протекали внутри музыкального пафоса; музыку пронизал он насквозь; кандидат прав, юрист, — тосковал он о том, что его миновала консерватория; брат его, замечательный композитор (Н. Метнер), был вечным источником дум, упований, забот и опеки его; им восхищался он; переносил на него все надежды; дух музыки — родственная стихия всех Метнеров; так: родитель Э. К., Карл Петрович<sup>54</sup>, Карл Карлович, брат и сестра<sup>55</sup> (не говоря уж о Метнере Николае и Метнере Александре), — тончайшие знатоки симфонической музыки; соединял вкус, слух и знания с углублением музыки в философию Метнер; при мне он усаживал брата, пианиста — продемонстрировать отрывок из Шумана, Вагнера, Баха, Бетховена; вскакивал с места и, обрывая брата, импровизировал лекцию, касающуюся двух-трех аккордов Бетховена, Вагнера; он в вопросы культуры входил с непередаваемым по изяществу жестом души; помню Метнера 1902 года: изящный, блестящий, весь искристый, вспыхивающий тончайшими характеристиками, напоминал альбатроса он, заширявшего в небе мысли над бурей музыкального моря; все, им писанное (псевдоним его Вольфинг) интересно, не отражая все ж Метнера, исполняющего симфонии мыслей о музыке в круте интимных друзей; все писанное — бинение крыл по земле альбатроса: тяжелые взмахи, все ударяющие о голую землю...

Много раз признавался Э. К.: замечательный дирижер вроде Никиша<sup>56</sup> не нашел в нем исхода; я верю ему; все же, был замечательным дирижером, но только в другом вовсе смысле он, дирижируя культурными интересами, жившими в душах друзей, образуя дуэты, квартеты, квинтеты; под дирижерскою палочкой Метнера исполняли мы трио: Я, Метнер, Эллис; иль: Я, Морозова, Метнер; иль: Я, Метнер, Петровский; квартеты: Эллис, Я, Метнер, Шпет; иль: Я, Н. К. (композитор), Э. К., Эллис; более искристого собеседника в интимном кругу не встречал; и — тянуло к нему; брал в душе моей тонкие ноты; касаясь переживаний сознания, переживания эти сплавлял он с великими деятелями культуры, которыми так умел восхищаться; его божества: Гете, Кант и Бетховен; он сумел в ряде лет заразить меня пафосом; мне до встречи с Э. К. говорили романтики; он открыл мне мир Гете; до встречи с ним я увлекался Шопеном и Григом; раскрыл мне глубины Бетховена, Шумана; более говорил Шопенгауэр; а Метнер годами подталкивал к Канту меня; не могу я сказать, чтобы он был знаток его; интерпретировал он не мысли философа, а жест его мыслей; воистину: Кант, Бетховен и Гете являлись *"Симфониями"* Метнера; думаю, что во многом он создал морально характер творений и композитора Метнера.

Он о Гете воскликнул раз: "Я не знаю, кто именно ваш герой\*; но о Гете я знаю: он — воплощение Духа".

Культура по Метнеру — обнаружение Духа; и — подлинно церковь; в эпоху романтики нашей, когда мы с С. М. Соловьевым теологизировали музыкальное восприятие жизни, конечно же Метнер омузыкаливал мне и самую теологию, и самую мистику; он впоследствии стал увлекаться идеями Чемберлена; и развился фанатизм в нем; импровизации его сузились до... психоанализа; в пафосе к психоанализу он казался мне не столько провидцем, — *"подглядывателем"*; я увлечение Фрейдом Э. К. не прощу никогда.

Никогда не забуду сближения с Метнером, происшедшего вскоре после шапочного знакомства, когда неожиданно встретились мы на репетиции Никиша; Никиш, восторг перед Никишем соединил нас; мне помнится: то было ведение C-dur-ной симфонии Шуберта; Метнер сидел со мной рядом; и комментировал мне отдельные темы симфонии, комментировал он комментарии Никиша; разговор перешел наш на Никиша; и я заметил, что в Никише есть печать исключительности; заговорили мы оба об исключительных личностях; разговор перешел незаметно на Ницше; от Ницше на то, о чем после писал я в статье моей — *"Маски"*: *"Есть существа загадочно-странные. О существовании их не подозревают... Они все знают. Они все видят. Но они не говорят"... И — далее: "Слова — тени переживаний. Углубляя переживание, затрудняем его передачу. В душе остается избыток никому не передаваемых восторгов и страданий... Искусство перестает удовлетворять... Художник... не может быть руководителем жизни. Ищешь много руководителя, молчаливо прошедшего над безднами, окончившего путь на том берегу. Сквозь*

\* Один известный теософ (Белый намекает на Р. Штейнера. — С. П.).

трагический лик его, разорванный в клочки, выступает новый лик, обретенный навеки, — лик ребенка..., глядящий на нас с улыбкой мягкой грусти...” И — далее: “У Артура Никиша странное лицо...”

Вот лейтмотив разговора с Э. Метнером. Понял сразу я: он — друг в устремлениях наших. В нем — что-то эзотерическое по отношению к пошлости “века сего”; и он — ищет; наш разговор в Благородном Собрании положил основание в необходимости ряда других разговоров. Простившись с Метнером, я пошел прозаически на скучнейшую лекцию Д. Н. Анучина<sup>57</sup>; и не дойдя повернулся домой.

Весной этого года вышла вторая “Симфония”; скоро по выходе книги в квартире однажды раздался звонок: это были Петровский с Эмилом Карловичем, который, прочтя мою книгу, решил, что я — автор “Симфонии”; понял он жест написания книги, в то время столь дикой; пошли мы гулять: говорили о темах “Симфонии”, музыке и о многом другом, очень-очень интимно; я не забуду зеленого скверика около Храма Спасителя, где очутились мы. Метнер, взволнованный, искристый, с длинными волосами, с зелеными взорами, с острой бородкой, размахивая по воздуху палкою, выговаривал изумительнейшие, интимные вещи: о литературе, о жизни, о нашей эпохе, о нас, о грядущем. С того вечера стали мы откровенно друзьями. А вскоре уже Э. К. Метнер в провинциальных газетах успел напечатать два фельетона о дикой для многих “Симфонии”; по времени первый он благожелательный критик мой; в “Симфонии” видел он подлинное искание музыкального лейтмотива эпохи.

Весной мы разъехались; с осени 1902 года — вновь встретились; с того времени мы — в сплошных, удивительных, горизонт расширяющих разговорах: под аккомпанементом рояля, гремящего за стеной: то Н. К., композитор тогда сочинял “Stimmungsbilder”<sup>58</sup>; а также сонату C-moll; моя память об этих беседах, напоминающих пиршества — отразилась в стихотворении, посвященном мной Метнеру.

... Помню наши встречи

Я ясным, красным вечерком,  
И нескончаемые речи  
О несказанно дорогом.  
Бывало, церковь золотится  
В окне над старую Москвой,  
И первая в окно ложится,  
Кружась над мерзлой мостовой,  
Снежинок кружевная стая,  
Уединенный кабинет,  
И Гете на стене портрет...  
О, где ты, юность золотая?<sup>59</sup>

Осенью 1903 года Э. К. переехал с женою в Нижний Новгород; до 1916 года между нами — живейшая переписка, сплошной разговор; и весной 1904 года я ездил в Нижний<sup>60</sup>; 1906 год, часть 1907 года Э. К. проживал за границей; в конце 1907 года он появился в Москве; наш “сплошной” разговор — продол-

жался; необходим был он мне, пережившему ряд моральных ударов; ни с Эллисом, ни с С. М. Соловьевым не мог говорить независимо я об А. А.: Соловьев ведь со мной пережил очень трудное пребывание в Шахматове; он оформить мое отношение к Блоку не мог; Эллис часто использовал недоуменьше мое в полемических целях.

А Метнер был тем человеком, который мне мог перестроить складывающееся отношение к Блоку в мне нужный аккорд; он с огромной любовью принялся за гармонизацию мира сознания — при помощи: музыки, философии и культуры.

Прислушиваясь ко мне, увидел в истории с Блоком проблему мучительного перехода от романтизма к классической ясности; и выговаривал мне: "Все то было и с Гете; но Гете-то справился: и — просиял".

Предостерегал нас он и прежде еще против мистики и теургии, оскотеляющих творчество и прокисающих в творчестве "анекдотиком". "Балаганчик" по Метнеру — следствие излишества Блока; и у меня "балаганчик" был тоже; Э. К. мне внимал; он старался во мне приподнять образ Блока; и он утверждал: Блок — единственный современный поэт.

Философия и культура — костяк, за который я крепко вцепился; и я до излишества вплавился в тонкости логики; — "риккертанизировал", "когенизировал" я; и за это журили меня: и Бердяев, и Метнер; особенно — Г. А. Рачинский; и прежде устраивал порки он мне за излишество декадентства, которое он называл "бильбоке"; затащивши, бывало, в прокуренный свой кабинетик и заперев дверь на ключ, принимался жестоко стрелять в меня клубами дыма он, размахавшись руками и кончиком правой ноги.

— Паф-паф-паф.

Клубы дыма!

— Всегда говорю тебе, — вы оставьте-ка — паф-паф-паф — бильбоке свои: парус-стеклярус — подкидывать рифмами можно — паф-паф, — он подкидывал сверху рукой с папиросою, изображая игру в бильбоке (игру с рифмами)... "Только помни — а что написал Кант? Можешь ли рассказать сейчас первые главы из "Критики" Канта? Коль можешь — подкидывай рифмами: парус-стеклярус..." И так — продолжалось часами: я — заперт; супруга Г. А. к нам стучалась, стараясь выручить: нет — прочно заперт на ключ; и там — высечен добрым, почтенным Г. А.; раз во время такой экзекуции стал зачем-то он переодеваться; он снял с себя все; и увлекшись речью о Гете, о Данте, о Канте — стоял предо мною в костюме Адама, размахивая рукой с папиросой и егозя сединой и очками; Татьяна же Анатольевна громко стучалась в дверь:

— Гриша!

— Скоро ли ты?

— Подожди, Танькин: брось...

Так: в костюме Адама, Г. А. продолжал свою "порку" (Г. А. очень-очень любил меня; и за глаза он меня защищал от маститых профессорских нападений; в глаза же — ругал: отругает; да вдруг — как "хвальнет").

А теперь принимался порутивать добрый Г. А. меня за то именно, к чему влек он когда-то.

— А можешь ли пересказать ты отчетливо "Критику"? Если можешь — подкидывай рифмами: парус-стеклярус...

Раздавалось — другое теперь:

— Кант да Кант: Кант да Кант!.. Сухо... Ведь вы же, Борис Николаевич, — настоящий художник; а помните, как вы писали когда-то: "И ухнул Тор громовым молотом по латам медным, обсылав шлем пернатый золотом воздушно бледным..." Трубецкой-то, Евгений-то Николаевич, — не понимал... Я ему и прочел...

Выходило: Г. А. призывал к "бильбоке": звал подкидывать рифмами: "бледным — медным"; всегда так: ругал и похваливал; ругал за стихи — оттянуть от сумбурности; хвалил же — предостеречь от сухой гносеологии; да, он понимал, что мое погружение в философию — показатель болезни во мне: получившие в жизни удар поступают в монастыри — из отворачивания перед жизнью; к логике привлекало меня, как к вину это время:

Внемлю речам, объятый тьмой  
Философических собраний,  
Неутоленный и немой  
В весеннем, мертвеном тумане.  
Вот ряд неутомимых лбов  
Склоняется за стол зеленый;  
Песчанистою пылью слов  
Часами прядает ученый...<sup>61</sup>

Или:

Уж с год таскается за мной  
Повсюду марбургский философ,  
Мой ум он топит в мгле ночной  
Метафизических вопросов.  
На робкий, роковой вопрос  
Ответствует философ этот,  
Почесывая бледный нос,  
Что истина, что правда... — метод...  
"Жизнь", — шепчет он, остановясь  
Средь зеленеющих могил —  
Метафизическая связь  
Трансцендентальных предпосылок<sup>62</sup>.

Или:

О, пусть тревожно разум бродит  
И замирает сердце — пусть,  
Когда в очах моих восходит  
Философическая грусть.<sup>63</sup>

Увлечение философией — выражение внутреннего одиночества; видел вниманье к себе я со стороны: Соловьева, Морозовой, Метнера, Элліса и Петровского; видел, что мысли мои — привлекали ко мне молодежь; приходили: студенты, курсистки, рабочие, молодые писатели, — за советами, литературными указаниями, даже с вопросами, ставящими порою в тупик

(“что нам делать”, “как жить”); во всем этом я видел естественное выражение внимания; но внимание отдавалось мне трескотней телефонных звонков, шумом слов, утомлением; часто я после живых разговоров, оставшись один в кабинете (с оливкового цвета обоями, и с оливковой занавеской), ложился в прострации — на диван; зеленоватое зеркало передо мной отражало худеющий облик; так я оставался один: с двойником; и тоска обнимала меня; “тихий час” мой был страшен; в минуты глубокого одиночества звучал “Реквием” мне Моцарта: то мать моя игрывала отрывки из “Реквиема”; и похоронными звуками я опускался в могилу; могила же превращалась в бездонный колодезь, через который летел, опускаясь к себе самому: стихотворение мне возникло в такую минуту:

Далек твой путь: далек, суров.  
Восходит серп, как острый нож.  
Ты видишь — я. Ты слышишь — зов.  
Приду: скажу. И ты — поймешь.  
.....  
С тобой — Твоя. Но вы одни.  
Ни жизнь, ни смерть: ни тень, ни свет,  
А только вечный бег сквозь дни.  
А дни летят, летят: их — нет.  
.....  
Уйдешь — уснешь. Не здесь, а — там.  
Забудешь мир. Но будет он.  
И там, как здесь, отдайся снам:  
Ты в повтореньях отражен.  
.....  
И тот же день, и та же ночь;  
И прошлого докучный рой...  
Не перевозмочь, не перевозмочь!..  
Кольцом теней, о ночь, — покрой...<sup>64</sup>

А. А. Блок писал, приблизительно, в это же время:

И я любил. И я изведал  
Безумный хмель любовных мук,  
И пораженья и победы,  
И имя: враг; и слово: друг.  
Их было много... Что я знаю?  
Воспоминанья, тени сна...  
Я только странно повторяю  
Их золотые имена...

И — далее:

И те же ласки, те же речи,  
Постылый трепет жадных уст,  
И примелькавшиеся плечи...  
Нет! Мир бесстрашен, чист и пуст!<sup>65</sup>

Стихотворение это написано в самом начале 1908 года; и — утомление в нем.

Мое расхождение с Любовью Дмитриевной постепенно оформилось явным молчанием; мы не видались с 1908 года до 1916 года. А к А. А. отношение — замирало, не вспыхивая ни дружбою, ни враждою; но то, что естественно доходило о Блоках в Москву, было связано с слухами: об образе жизни А. А. Слухи я отстранял даже: я закрывал свои уши. Об этом периоде Марья Андреевна Бекетова пишет: *"Жизнь Блоков была у всех на виду. Они жили открыто и не только не скрывали, но даже афишировали то, что принято замалчивать. Чувовищные сплетни были в то время о нравах литературного и художественного мира Петербурга. Невероятные легенды о жизни Блоков далеко превосходят действительность. Но они оба, во всю свою жизнь умели игнорировать всяческие толки"*<sup>76</sup>.

Помню: последнее письмо от А. А. — получил в марте я; письмо было проникнуто грустью; А. А. проживал совершенно один, потому что жена его уехала с Мейерхольдом в провинцию — в группе; А. А. писал мне: он — один; и работает над *"Песню Судьбы"*<sup>77</sup>. Мне думалось: тема *Судьбы* была тем, с чем несчастно столкнулся он.

Каждый период имеет окраску; так: если окраска 1901—1902 годов — ожидание какого-то нового времени, то тема 1908 — разочарование; в *"Симфонии"* фраза есть: *"Ждали Утешителя, а надвигался Мститель"*. Ощущение 1908 года: да. Мститель — приблизился; А. А. ощущал его грозной судьбой; я — *Врагом*: надо было беречься; в духе 1901—1902 годов загадалось сближение с Блоком; в 1908 год вписалось: разделение наше.

Это — мы поняли; и — замолчали: в молчании поднималась грусть; я искал все забвенья от грусти: в деятельности наших кружков, в философской моей устремленности, в спорах: с Шпетом, с Морозовой, с Метнером.

## Трагедия трезвости!..

В то время (в 1908 году) в сознании А. А. очень прочно откладывались контуры его *"Страшного Мира"*<sup>78</sup>; *страшный мир* — лейтмотив, проходящий сквозь весь третий том; есть иные там лейтмотивы (например, лейтмотив России и русской женщины); но лейтмотивы такие были поздней им осознаны; еще нота *"Куликова Поля"*<sup>79</sup> не прозвучала, да: не было *трагедии трезвости* и ответственности; но реализм *песни судьбы* — прозвучал для А. А. Именно в это время слагались темы той *роковой безнадежности*, которые с потрясающей силой встречают нас в третьем томе стихов; выясним лейтмотивы его; и посмотрим: каким виделся мир А. А.; в 1908 году складывались краски зренья на мир и на жизнь у А. А.; он вступал в свою трудную полосу жизни; угаром и страстью охвачены строчки стихов; его страсть, роковая и знойная, зазвучала из ветра и вьюги.

И вьюга, и ветер переметнулись из *"Снежной Маски"*; но *ветер* в поэзии А. А. поднялся до этого; *снежная буря* он; в третьем томе он длится: "Беет

\* Первый отдел третьего тома стихов.

*ветер*"; "входит ветер", "шалый ветер, носясь над далью хотел... выжечь душу мне, в лицо швыряя вуалью и запевая о старине"; "и ветер... поет в окно"; "воет ветер"; "ветер над тобой... простонал"; "ветер за окном: то трубы смерти близкой"; "и некий ветер сквозь бархат черной жизни о будущем поет"; "в свист ветра"; "ветер рек"; "и ветер рванулся"; "степь да ветер, да ветер"; "под ветром взлетел опадающий лист"; "дикий ветер стекла гнет"; "только ветер, гость нахальный, потрясает ворота"; "только дикий черный ветер, потрясающий мой дом"; "ветер ворвался"; он "поет, поет... поет и ходит возле дома"; "все равно... ведь никто не поймет... что ветер поет, нам звеня".

Ветер — шалый; он — дикий, нахальный и черный; он рвет, сотрясает ворота, врывается в дом; ветер — страшный; он — ветер судьбы.

Тема страсти охватывает А. А.; за метелью — страна ее возникает в сознании поэта: "Но за выюгой солнцем юга опаленная страна". Предмет страсти — не Беатриче: "О, где ты, Беатриче?" К той, которая теперь с ним, обращается он: "Жизнь разбей, как мой бокал", в страсти или, вернее, в страстях, субъект поэзии Блока утратил свой правый путь: "Иду один, утратив правый путь", потому что, "нет, я не первую ласкаю".

Не первая: одна, — из многих? Как же любит субъект поэзии Блока "одну из многих"? Иль вернее, — как ласкает он ее?

Вот как: "Чтоб на ложе долгой ночи не хватило страстных сил", "я испустил впервые страстный крик". До этого периода — не было испускания страстного крика; была любовь — мистическая, туманная, может быть: — целомудренная, болезненная; не жгла крови она; теперь — страстные крики с одною из многих; может быть, — с каждой из многих? "О разве, разве клясться надо в старинной верности навеки?" Лучше "вспомнить узкие ботинки, влюбляясь в хладные меха?" И любовь одной из многих к поэту — такая же: "И любви цыганской короче были страшные ласки твои". Он сам удивлен этими страшными ласками, к которым "принес... усталые губы и... плети изломанных рук", — удивленно: "разве это мы звали любовью?"; да, — тема любви (мистической, просто любви) заслоняется именно в это время тем, чему поэт удивляется: разве это мы (мистические юноши) звали любовью?

Что же? Или, верней, — как же? А вот как: "к плечам ее атласным токующий склоняется вампир"; он хочет, "склонясь над ней влюбленно и печально, вонзить свой перстень в белое плечо"; и от нее требует он: "так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце — острый французский каблук". Женщина для него — вчерашний ангел, то есть сегодняшней черт, с которой "тесно дышать от объятий"; счастье, которое можно получить от нее, — "мрачные, порочные улады"; жизнь с ней течет — "восторгом, бурей, адом"; страсть ее — "дикая"; он просит ее: "пронзи меня мечами"; он восклицает: "О, зрелой страсти ярость"; она пронзывает его "страстной болью"; "и обугленный рот в крови еще просит пыток любви"; ему становится жутко в "эту страшную пропасть глядеть"; "нет, не смирит эту черную

кровь даже — свидание, даже любовь”; “их было много. Но одной чертой соединил их я, одной безумной красотой, чье имя: страсть и жизнь моя”; года его есть буря страстных лет; иногда вспоминаются лишь из этой бури страстей со многими: “О, миг непродажных лобзаний! О, ласки некупленных дев” и т.д.

И вместе со страстью звучит тема крови, новая для А. А. Много крови; “и был в крови вот этот аметист”; “и пил я кровь из плеч благоуханных”; “чтоб кровь не шла из черных жил”; “хлынь кровь и обagri снега”; “губы с запекшейся кровью”; “знаю, выпью я кровь твою”; “это кровь прошумела в ушах”; “и обугленный рот в крови”; “кровь розовеет... на свет”; “и сердце захлестнула кровь”; “закат в крови”; “сквозь кровь и пыль”; “с кровавых полей”; “кровавый отсвет в лицах есть”; “старое сердце в крови” и т.д.

Страсть и кровь господствуют в мире: впечатление жути рождается от созерцания этого мира; он — “страшный мир”; все в нем

— и дико:

— все в нем — гибель:

— гибель...

предстоит”; “и в ужасе, заисмурия очи, я отступаю в ту область ночи, откуда возвращенья нет”; “как страшно все! Как дико”; “страшен невидимый взгляд”; “утром страшно мне раскрыть лист газетный”; “страх могилы”; “тревогу свою не смирю: она все сильнее”; “отгони непонятный страх”; “твой... ужас бесполезный”; “тем жизнь страшной”; “из-под ресниц сверкнувший ужас, старинный ужас дай понять”; “сонмы лютые чудовищ налетали на меня”; “страх познавший Дон-Жуан”; “не спал мой грозный Мститель”; “непроглядный ужас жизни”; “как жизнь страшна”; “страшный мир!”; “о, страшный час”; “до ужаса знакома”; “забудь о страшном мире”; “страшной памятью сердце полно”; “исутко”... стало; “мы дети страшных лет России”.

Страх охватывает от приближения “Мстителя”; сердце поэта ждет гибели: “чеченская пуля верна”; “чуешь ты, но не можешь понять, чьи глаза за тобою следят”; “есть дурной и хороший есть глаз, только лучше б никто не следил”; “я привык, чтоб над этой постелью наклонялся лишь пристальный враг”; “роковая гибели весть”; “погибельные муки”; “Так! Погибайте!”; “ты нам грозил последним часом”; “задремлешь, и тебя в дремоте он острым полоснет клинком, иль на безлюдном повороте к версте прикрутит кушаком” и т.д.

Этот страх скоро создается А. А. не только как личный страх, но и как страх ожидания мировой катастрофы; 7-го июня 1908 года написано первое стихотворение цикла “Куликово Поле”, где есть разгадка страха, где враг, “татарин”, объективно грозит всей России уже.

В степном дыму блеснет святое знамя  
И ханской сабли сталь...<sup>69</sup>

И еще позднее, в поэме “Возмездие”, опять-таки указаны источники страха:

Сознание страшное обмана  
Всех прежних малых дум и вер,  
И первый взлет аэроплана  
В пустыню неизвестных сфер...  
И отвращение от жизни,  
И к ней безумная любовь,  
И страсть, и ненависть к отчизне...  
И черная, земная кровь  
Сулит нам, раздувая вены,  
Все разрушая рубежи,  
*Неслыханные перемены,  
Невиданные мятезисы.*

В этих строках классически отобразился лейтмотив ожидания "мятежей" и "перемен", который в 1908 году врвался в индивидуальные сознания наши, отрывая нас друг от друга, бросая в себя и в себе заставляя подслушивать что-то страшное, подкрадывающееся, как Враг, как Мститель за непрочитанные, невоплощенные зори недавнего и кажущегося в то время таким далеким периодом жизни.

*Зори* обертывались в Блоке *кровью*; *зори* для него оказались взвешенно под небо землю.

Мы с А. А. по-разному пережили подмену *зори* — *кровью*; и это переживание подмены отделило нас друг от друга; каждый думал, что подменен — другой; а *подменивалась самая музыка времени*. И оба мы переживали в то время:

И отвращение от жизни,  
И к ней безумную любовь<sup>70</sup>.

Оба мы приблизительно одинаково относились к России:

И страсть, и ненависть к отчизне...

Я скоро (летом 1908 года) написал строки:

Исчезни в пространстве, исчезни, —  
Россия, Россия моя<sup>71</sup>.

Суть перемены времени мы постигли позднее; и оба поняли одинаково; в этом наша новая и окончательная встреча с А. А. в 1910 году.

Пока же мы оба, по-разному переживали перерождение жизни в нас: А. А. искал порою забвенья в *вине* и в *страсти*; я — в замораживании себя сухими, философскими схемами; но разочаровались мы в сходном, даже... в *одних и тех же людях*, — причем А. А. винил меня в том, может быть, что *эти люди* изменились; а я — его, но мы поняли, что на эти темы нам лучше не говорить; о другом — не могли говорить; без уговору мы замолчали.

Перерождение жизни — свершилось: о жизнь мы разбились по-разному.

Вот представление о жизни А. А., составленное из цитат третьего тома; я привожу эти цитаты именно потому, что *новое, безнадежное пред-*

ставление о жизни складывалось у А. А. по крайнему моему представлению именно в эту эпоху: —

— "Жизнь пустынна, бездомна, бездонна"; "жизнь пуста, безумна, и бездонна"; "как тяжело ходить среди людей и притворяться непогибшим"; "я коротаю жизнь мою, мою безумную, глухую"; "живи еще хоть четверть века — все будет так. Исхода нет"; "Умрешь — начнешь опять сначала, и повторится все как встарь: ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь"; "Когда ж конец? Назойливому звуку не станет сил без отдыха внимать"; "все равно не хватит силы дотащить до конца"; "бессмысленность всех дел, безрадостность уюта"; "Что? Совесть? Правда? Жизнь? Какая это малость! Ну разве не смешно?"; "Пробудился: тридцать лет, хватъ-похватъ, — а сердца нет. Сердце крашенный мертвец. И, когда настал конец, он нашел весьма банальную смерть души своей печальной"...; "Когда невзначай в воскресение он душу свою потерял"; "Где деньги твои? Снес в кабаки. Где — сердце? — Закинуто в омут"; "день проходил как всегда: в сумасшествии тихом"; "с него довольно славить Бога — уж он — не голос, только — стон. Я отворю. Пускай немного еще помучается он"; "как часто плачем — вы и я — над жалкой жизнью своей"; "но торжества не выносила пустынной жизни суэта, беззубым смехом исказила все, чем жива была мечта"; "смерть невозможна без томленья, а жизнь не зная истребленья, так — только замедляет шаг"; "тихонько течет жизнь моя"; "одно, одно — уснуть, уснуть"; "душит жизнь сон тяжелый"; "жизни этой румяна жирные"; "разыгрывайся жизнь, как фант"; "слабеет жизни гул"; "над бездонным провалом в вечность, задыхаясь летит рысак"; "спляши, цыганка, жизнь мою"; "О, как я был богат когда-то, а жизнь не стоит пятака"; "Но жизнь — проезжая дорожка"; "Неужели и жизнь отшумела, отшумела, как платье твое".

Может быть, — оттого-то отшумела, что отшумело... какое-то... платье?

Довольно: страшное представление о жизни; оно откладывалось в А. А. с окончательной трезвостью — в 1908 году, когда была зимой 1908 года написана "Песня Судьбы", когда "Мейерхольд собрал самостоятельную труппу из молодых артистов, в число которых вошла и Люб. Дм.", когда — "труппа эта вскоре уехала из Петербурга, направив путь по западным и южным городам России"<sup>72</sup>; до августа А. А. не приезжал в Шахматово; жил один в Петербурге.

Эти месяцы одиночества, по-моему, и были поворотом линии всех стремлений его к *"трагедии трезвости"*, к звучаниям лейтмотива третьего тома.

Мгла, сумрак и черный цвет (черный бархат) отныне повсюду окрашивают его строки: —

— Черное: —

— "В черном небе", "на черном небе", "в черных сучьях", "из черных жил", "чернее злоба", "черная вода", "чернота навесов", "на дне... души... черной", "черную кровь", "чернее... свет", "черным городом", "бороздою... черной", "над черной Вислой — черный бред", "черный... бриллиант", "черный взор", "черный стеклярус", "на черном блюде", "сквозь бархат черный", "черный глаз", "в черное небо Италии черной душою гляжусь", "в

небе черном", "черным взглядом", "чернеют... дали"; в первом бы томе сказал он: "синенеют, голубенеют дали"; теперь дали — черные; "черный бархат"; опять: "черный бархат"; *черного бархата* — много; "черная ревность", "сине-черною косою", "черным крыльям", "косыми иссиня черными", "по черным пятнам черной судьбы", "под черною скалою", "в черной ночи", "чернеют... трубы", "черной тучей", "глухота и чернота", "за окном черно", "черный ветер", "в небесной черни" и т.д.

Все — *черно*; чернота третьего тома сменяет собою серо-зеленые оттенки второго тома. И так же часто слова: *темный, темнота, мрак, мрачный, сумрак, мгла* и т.д.: —

— "Ухожу... во *мрак*", "огни и *мрак*", "мой... *мрак*", "*смертный сумрак*", "среди... *мраков* потонуть", "*сумерки*... легли", "обрывки *мрака*", "из паутины *мрака*", "город... во *мгле*", "вечер *мглист*", "в... *мраке* спальни", "в *сумраке*", "*сумерки* легли", "*сумерки* времен", "*темно*", "*мрачные* услады", "*мраком* глаз", "*темно*", "*морозный мрак*", "за *мраком*", "*мрак*... дней", "каплет *мгла*", "*ночная мгла*", "в *снежной мгле*", "*был мрак*", "*роится сумрак*", "и *мрак*", "*окрестный мрак*", "в *мутный мрак*", "в *сумрачной* стране", "в *грядущем мраке*", "*декабрьский мрак*", "ведь *мгла* — все *мгла*", "неотвратимый *мрак*", "в *синем сумраке*", "*сумрак*", "*мглюю*", "*мглы*... я не боюсь", "за... *мглой*", "расточилась *мгла*", "черная *мгла*", "в *октябрьскую мглу*", "в *темный тупик*", "в *угол темный*", "из *темноты*", "*темно*", "сокройся в *темные* гроба", "на *темной* шали", "*темнолицый Ангел*", "*темный морок*", "*темней и темнее*", "*темная подруга*", "в *темную* пропасть", "перед *Доном темным*", "конус *темной* ноги", "среди *растущей темноты*", "*темным* огнем", "*темные* ночи", "в *темных* Карпатах", "*темный* времени полет", "*темной* думы" и т.д.

Ночь — доминирует: —

— "Коварнее... *ночи*", "*распутница ночная*", "*ночи*", "на ложе... *ночи*", "из *ночи* туманной", "*тропой... ночи*", "из *бездн ночных*", "отступлю в ту область *ночи*", "*ночью*", "*ночь*", "*шествие ночи*", "*полночь*", "*ночь*", "*ночь*", "в опустошенный мозг ворвется только *ночь*", "в сырую *ночь*", "*ночь* как *ночь*", "и *ночь*", "неотстывает... *ночь*", "по *бархату ночей*", "*ночь*", "хриплый бой *ночных* часов", "*ночь* мутна", "волна возвратного прилива бросает в *бархатную ночь*" (всюду бархат у Блока: *ночной, черный*), "в *эту ночь*", "место *вечной ночи*", "во *власти ночи*", "всю *ночь*", "и *ночь*", "в *ночь* — тропой *глухой бреду*", "в *ночь*", "*страшнее ночи*", "в *сумасшедшей ночи*", "и *ночь* опять пришла", "в *партере* — *ночь*", "пусть *ночь*", "сквозь... *ночи*", "*долгих лет* *нескончаемой ночи*", "*последней* *ночи*", и т.д.

Ночь, ночь и ночь!..

Эта ночь есть сама пустота; из ничто возникают явления мира; отходят — в ничто: —

— "Я ухожу, душою *праздной*, в *метель*, во *мрак* и в *пустоту*", "в *пустые* очи", "и *голос* говорит из *пустоты*", "*жизнь пустынна*", "*пусто*, тихо и темно", "с *далеких пустырей*", "*пустая* вселенная *глядит* на нас", "*глядят* *глаза* *пустые*... *ночь*", "*пустыней* *неба*", "*тоска* *небытия*", "*пустынной* *жизни* *суета*",

"равнина пустая, как мечта"; "жизнью пуста", "и пустыней бесполезной"; "мир бесстрастен, чист и пуст", "сияние небытия"; "в сердцах восторженных когда-то есть роковая пустота", "за окном черно и пусто", "ищи опоры... в воздухе пустом" и т.д.

Ночь: ночь — пустая. Небытие — смерть: и нота смерти встает; Боже мой, смертью пронизано все; смерть стоит надо всем:

Разрешенье всех хулений,  
Всех хулений и похвал,  
Всех змеящихся улыбок,  
Всех просительных движений —  
Жизнь разбей как мой бокал!  
Чтоб на ложе долгой ночи  
Не хватило страстных сил!  
Чтоб в пустынном вопле скрипок  
Перепуганные очи  
Смертный сумрак погасил<sup>73</sup>.

"Здесь умерли", но зачем перечислять лейтмотив смерти третьего тома; читатель поверит мне: почти на каждой странице упоминание об умирании, смерти и гибели. Самое страшное, что это не просто смерть, а смерть прижизненная; так сказать, *смерть вторая*; мертвец не укладывается в могилу, а бродит среди живых: "отверженный, утративший права"; "увядший цвет в петлице фрака бледнее уст на лице мертвеца"; "как тяжело бродить среди людей и притворяться непогибшим"; "как страшно мертвецу среди людей живым и страшным притворяться"; "спешит мертвец: на нем изящный фрак"; "пока не откроет могила сырая объятья — тащиться без важного дела"; "поглядите, вот бессильный, не умеющий жизнью спасти"; "он больше ни во что не верит, себя лишь хочет обмануть"; "и к вздрагиванию медленного хлада усталую ты душу приучи" и т.д.

Большинство стихотворений, из которых я привожу цитаты, еще не было написано А. А. в феврале — марте — апреле 1908 года; но я провидел их в духе; и тут: ужаснулся я; помню, что лейтмотив *ночи, смерти* переживался и мною в глубинах сознания:

Слепи, —  
Слепая ночь!  
Глуши, —  
Глухая смерть!..

(А. Белый)

Эти строчки стояли уже над душою моею; по вечерам, совершенно измученный, я лежал на зеленом диване своем, чутко вслушиваясь в звуки моцартовских похоронных мелодий, которые за стеной наигрывала моя мать; приподымался во мне образ А. А., *отступившего в ночь*; быть может, в то самое время, он дома, склоняясь над "Песнью Судьбы", переживал, как и я, одиночество своей опустевшей квартиры, чтобы остаться до августа в Петербурге; я в то время особенно верил в чтение душ — на расстоянии, в телепа-

тизм (со мной не раз происходили феномены телепатии); я старался прочесть его душу; и на меня наплывала такая картина сознания А. А., какую представил ее из цитат третьего тома; и я вскакивал с моего зеленого ложа, прислушиваясь к похоронным звукам рояля: ну да! Наши зори сторели; и *пепел* остался от нас ("*Пепел*" я изживал); но в отношении к пеплу зари в нас, казалось мне, мы — расходимся; я заключил пепел в "*Урну*" (и "*Урна*" писалася мной); благоговением к прошлому был переполнен я; думал я: "Да, не нам дано свершить действие сведения *света в жизнь*"; и вот мы — умираем; но свет — есть; и жизнь — есть". Отношение к собственной гибели у А. А. возмущало меня; мне казался его проникающий скепсис — цинизмом; а слухи, ходящие о его жизни (он пьет-де и кутит), которые я отталкивал от себя, но которые все-таки проникали меня, — эти слухи разыгрывались в картины цинизма: в обстановке петербургских литературных кругов эта гибель души представлялась мне увенчанием лаврами поэта Блока. Впоследствии А. А. написал:

Молчите, проклятые книги, —  
Я вас не писал никогда!

Но пока не были написаны эти слова мне жест Блока гласил: "Прославляйте меня, книги, повествующие о моей личной гибели: вы все же увековечиваете меня!" И я почти вскрикивал:

— Какою ценою!

Так заочно в глубинах сознания моего я с Блоком рассорился; вероятно и в нем происходили подобного рода разговоры со мною; — из пустой, холодной квартиры своей на Галерной<sup>74</sup>, быть может, смотрел на меня он с укором за... хотя бы *хулиганскую песенку*:

Тили-тили-тили дон  
Жили-были я да он...  
.....  
Со святыми упокой —  
Придавили нас доской<sup>75</sup> и т.д.

В этот период и вышла моя Симфония "*Кубок Метелей*", в которой святое — становится: *ветром да снегом*. Я знаю, что "*Кубок Метелей*" казался А. А. — и жеманным, и темным: манерным, кощунственным; я же не видел еще всей кощунственности "*Кубка Метелей*".

Дети света, —  
Вот два просвета:  
Рождение и смерть —  
Просветы в твердь<sup>76</sup>.

Нарочитый стиль "*раешника*" в некоторых местах книги — разве не кощунство?

Словом, во мне есть уверенность, что для А. А. образ мой подменился, так именно как во мне подменился весь образ его; все то происходило: в унылые

месяцы темной реакции, когда учащались *клубы* ("огарки") среди молодежи; господствовала саниновская психология; зловонием уже лопался над Россией Азеф; делалось страшно; а мы (А. А., я), ощущая всю гибельность атмосферы, смотрели уже друг на друга как на бациллоносителей страшной болезни; тяжелого скепсиса и цинизма; во мне поднимался естественный жест: опспорить А. А.: не дослушав моцартовской ясной мелодии, я убежал в ночь, в метель, в слякоть, в ветер; и складывались строки:

Пусть ризы снежные в ночи  
Вскипят, валетят, как брошусь в ночь я,  
И ветра черные мечи  
Прохладным свистом изрежут ключья<sup>77</sup>.

Потом возвращался домой, гасил свет; и ночами тупо глядел в окна комнаты: и бессонною ночью складывались во мне строки:

А в окна снежная волна  
Атласом вьется над деревней;  
И гробовая глубина

Навек разъята скорбью древней...  
Сорвав дневной покров, она  
Бессонницей почной повисла —  
Без слов. Без времени. Без дна,  
Без примиряющего смысла<sup>78</sup>.

Мне казалось: комната моя переполнялась тоскою моею; тоска от меня отделялась, *наклоняясь черным моим двойником надо мною*.

С угла свисает профиль строгий  
Неотразимую судьбой.  
Недвижно вычерчены ноги  
На тонком кружеве обой.

.....  
Он тронулся и тень рассыпал.  
Он со стены зашелестел;  
И со стены бесшумно выпал,  
И просквозил, и просерел<sup>79</sup>.

Эллис, из всего сотворивший кошмарные мифы, однажды пытался уверить меня, что у меня есть двойник, — *черный профиль*, который он видел; однажды, когда я в порыве тоски убежал поздно вечером из дому и где-то слонялся по улицам, прибежал ко мне Эллис (он прибегал во все часы дня и ночи); мама не удивилась ночному приходу его, проводила его в мою комнату; он уселся над книгою, поджидая меня; вдруг ему показалось, что в полуоткрытую дверь шмыгнул *черный контур* (мой черный контур); и перепуганный Эллис бежал быстро (все в доме спали), забыв закрыть дверь. С этого случая Эллис стал часто доказывать мне, что у меня — *черный контур*, что *тень моя* от меня убежала; и действует где-то без моего контроля, что должен прибрать я к рукам ее; и — да: странные раздвоения сознания

меня посещали; жизнь второй половины сознания диктовала порой совсем неожиданные жесты души; и таковыми были — припадки *боли и полемической злости*; в то именно время вышла книжечка драм А. А. — с обложкою Сомова; книжечка, из которой опять на меня из А. А. поглядели и *скепсис*, и *смерть*, — преисполнила меня стремительной полемической злостью; и тут неожиданно я написал обиднейшую рецензию на драмы (сколько раз потом я готов был рвать волосы за то, что она-таки была напечатана); чтоб наказать себя, перепечатаваю ее здесь как образчик медиумического истеризма, в котором порой заставлял я себя (*черный контур* овладевал моими поступками: тень становилась хозяином тени).

Вот эта рецензия\*, озаглавленная "Обломки миров".

### Обломки миров\*

"Пусть поэт творит не свои книги, а свою жизнь, — говорит В. Брюсов. — На алтарь нашего божества мы бросаем самих себя"<sup>80</sup>.

"Пусть поэт творит свои строчки, а не свою жизнь", — как бы возражает ему А. Блок... — "На алтарь Ничего мы бросаем наше божество и себя".

Символ — соединения; символизм — соединения образов созидающей воли — для чего? Все равно, для здешней или будущей, старой или новой жизни, но жизни. Чем глубже внутренний путь, тем новее, загадочней образы, тем более усилий затрачиваем мы, современники, для познания и переживания созданной ценности: таково было для современников появление "Заратустры".

Но есть символизм и иного рода: соединение обломков когда-то цельной действительности (той или этой), соединение первичных ассоциаций души, безвольно сложившей оружие перед роком.

За первого рода символизмом — рождающая действительность будущего, предощуяемого, как греза. За второго рода символизмом: небытие, великий мрак, пустота.

Блок — талантливый изобразитель пустоты: пустота как бы съела для него действительность (ту и эту). Красота его песни — красота погибающей души, красота "*оторопи*", а не красота созидания ценности.

Вот перед нами изящный томик в картонном переплетике; обложка Сомова, как веночек из роз, венчает книгу; переверните обложку: вас встретит предисловие "Лирика не принадлежит... к областям... творчества, которое учит жизни"... Далее узнаем, что переживания лирики хаотичны; чтобы разобраться в них, нужно самому быть "*немножко в этом роде*"; под обложкой в предисловии встречает вас пустота мысли. Далее встречает вас ароматный веночек самого творчества: символы, как розы, гирляндой закрывают смысл и цельность переживаемых драм; приподымите эту гирлянду, на вас глянет провал в пустоту; грациозно, нежно, трогательно слетают туда образы Блока током розовых лепестков.

\* "Весы" за 1908 год.

Как атласные розы, распускались стихи Блока; из-под них сквозило "видение непостижимое уму" для немногих его почитателей, для нас, когда-то пламенных его поклонников, встретивших его, как создателя новых ценностей. Но когда отлетел покров его музыки (раскрылись розы) — в каждой розе сидела гусеница — правда, красивая гусеница (бывают красивые насекомые — золотые, изумрудные жуки), но все же гусеница; из гусениц вылупились всякие попки и чертенята, питавшиеся лепестками небесных (для нас) зорь поэта; с той минуты окреп стих поэта. Блок, казавшийся действительным мистиком, звавший нас к себе поэзией, превратился в большого прекрасного поэта гусениц; но за то мистик он оказался мнимый. Но самой ядовитой гусеницей оказалась Прекрасная Дама (впоследствии разложившаяся в проститутку и в мнимую величину, нечто в роде " — 1"), призыв к жизни (той или этой — вообще новой жизни) оказался призывом к смерти.

Но далее: Блок стал еще более совершенным техником, а Незнакомка, Смерть, жизнь, проститутки, рыцари, кабачки — все, к чему ни касался Блок, превращалось в изящный, как виньетка, покров, над... чем? И вот в "драмах" оказалось, что "что-то" есть, ... большое Ничто. Сначала распылил мир явлений, потом распылил мир сущностей. "Драмы" Блока — обломки рухнувших миров (того и этого), как попало соединенные в своем полете в пустоту: здесь — к реальному образу приставлена голова Небесного Видения; там — к образу Видения приставлена голова восковой Клеопатры, или... даже... голова из сыра "бри" — все равно; ведь сила своеобразной прелести рыдающих драм Блока (которые рыдают всем, чем угодно: Бетховеном, комаринской и т.д.) в том, что в них нет ничего, они — ни о чем; "ряд встающих двойников — бег предлунных облаков". Лирика Блока — разорванная в клочки драма, — не перешла в драму; драма предполагает борьбу или гибель за что-то: в драмах Блока гибель — ни за что, ни про что: так, — гибель для гибели. Лирика разорвалась; и только; и все просыпалось в пустоту. Мы читаем и любимся, а ведь тут погибла душа *не во имя*, а так себе: "ужас, ужас, ужас!"

Без связи, без цели, без драматического смысла, мягко струит на нас гибнущая душа ряд своих образов; символизм — ряд кинематографических ассоциаций, бессвязность — вот смысл блоковской драмы. Пусть читатель не примет мои слова за осуждение этих "драм": в них есть особая красота "оторопи", красота мертвенности.

"Коса смерти — коса девушки: девушка с косой (волос) за плечами, но с косой смерти в руках" — вот ход ассоциаций Блока. "Корабли плывут" в "Короле на площади". Далее: в "Незнакомке" эти корабли уже — бумажные корабли: тем не менее, они — уплывают, подобно картонной невесте (пресловутой девушке с косой и "косой"), которая тоже куда-то исчезает.

"Человек в пальто — (громко, как ружейный залп). Бри! Собеседник. Ну это... это... знаете. Человек в пальто (угрожающе). Что знаете? (Все — вертится)". (1-е действие "Незнакомки").

Через действие.

"Из общего разговора доносятся слова: "рокфор", "камамбер". Вдруг толстый человек... выскакивает на середину комнаты с криком: "Бри!" Поэт сразу останавливается. Мгновение кажется, что он вспомнил "все" (3-е действие "Незнакомки").

Попробуйте подойти к драмам Блока с точки зрения цели, смысла, ценности. "Бри" — и все тут! Вот безвольно вырастает чудесный образ, но как ружейный залп пустота выстреливает: "Бри!" И подстреленная, на смерть подстреленная душа струит на нас кинематограф образов. И если есть захват в драмах Блока, если плачем мы вместе с поэтом, то плачем мы не над героями его (его герои — картонные манекены), плачем над драмой самого Блока. С нежной улыбкой погибающего вырезывает он свои картонажи; и — вот: мистики ждут смерти, Пьеро — невесту; приходит невеста с косой за плечами, — мистики думают, что коса не за плечами, а в руках; Коломбина верна Пьеро; Арлекин, пропев четверостишие, уводит Коломбину; автор врывается в картонный мир; Арлекин проваливается в бумажную бездну; в разрывах бумаги появляется невеста с двумя косами (косой и "косой"). В заключение Пьеро играет на дудочке.

"Бри" — и все тут.

Вы говорите, — нельзя понять драм Блока; да их нечего понимать: их небо пропустит сквозь себя: ведь они — обломки ценностей, которым, быть может, молится поэт. Захватывающая сила этих драм есть бесцельная тризна поэта над своею душой, которая и себя, и свои кумиры бросила на алтарь... пустоты. Эту тризну я слышу; болезненною любовью, любовью — жалостью принимаю я плач больной души над собой и смех больной души над собой: плач и насмешка от чистого сердца.

"Бри" — и все пусто!

Эта изящная книжечка — незаурядное явление нашей художественной жизни. Блок — незабываемый изобразитель "пустых" ужасов: тут перед вами бесшумный провал всего, что вообще может провалиться. Искренностью провала, краха, банкротства покупается сила впечатления и смысл этой "бессмысленности": но... какою ценой?

"Пусть поэт творит не свои книги, а свою жизнь, — говорит Брюсов... На алтарь нашего божества мы бросаем самих себя".

"Пусть поэт творит свои строчки: поэт вообще — это строчка с пишущим аппаратом в виде так называемой человеческой "личности", — отвечает А. Блок.

## Дух одержания

Несправедливая эта рецензия появилась в номере майском "Весов". И А. А. на нее обижался, считая, что уговор наш естественно отделять наши личности от литературной полемики — явно нарушен; до появления рецензии мы не думали, что — в разрыве мы; после рецензии — ссора оформилась: мы при встречах протягивали сухо руки; и отходили

в разные стороны. 22-го мая, т. е. по выходе № "Весов", А. А. писал Пантюхову: *"Разве я не откровенен с вами, Михаил Иванович, — нет, я не скрываю ничего и не оберегаю, но я чувствую все более тщету слов с людьми, с которыми было больше всего разговоров (и именно мистических разговоров), как А. Бельй, С. Соловьев и другие. Я разошелся, отношения наши запутались окончательно и я сильно подозреваю, что это от систематической лжи изреченных мыслей..."*<sup>81</sup>

А. А. был, конечно же, прав: именно я требовал от него ясных слов, ясных формул душевных движений меж нами; он был объективней меня в "субъективном" молчании; и я был субъективен в подыскивании "объективных" причин нашей ссоры; мои объяснения поведения Блока звучали, как обвинение, бросаемое как обвинение его моральному миру; он — через "нет" мне бросил свое "да", утверждающее меня; отходя в сфере чистой душевности, он протягивал в "духе" мне руку чрез все расхождения; эта сфера его, мне казалось — "ничто", "пустота".

И была она сферою неба бездонного; да, духовная бездна, переживаемая каждым отдельно, как рок, просвечивала во внутренних жестах А. А., оставшегося преданным последнему, вечному, невыразимому; в жестах душевных сферу строгого мрака, порога пред откровениями духовного мира, — пытался впоследствии он осознать, что доказывает стиль отметок на *Добротолубии* (при чтении произведений Антония); отметки А. А. замечательны; стилем духовной безобразности сигнализировал он. Антоний Великий гласил: *"Свободу, блаженство духа составляет настоящая чистота и презрение при временности"* (подчеркнуто рукою А. А.); или: *"знайте, что дух ничем так не погашается, как суетными беседами"* (снова подчеркнуто).

Он хотел быть со мною в обители, не нарушаемой суетными мыслями друг о друге: а я — "суетился": не мог приподняться я над душевной смятенностью; руку, протянутую из Духа и в духе, я встретил, как тень пустоты; а тоскою моей разжигаемой полемическим пафосом Эллиса и С. М. Соловьева, — естественно диктовалась заметка *"Обломки миров"*, бьющая по духовному миру поэта.

Обвиняя А. А., я во многом был грешен тем именно, за что нападал на А. А. Самосознания — не было; самосознания ни в ком не было; те, которые соединились как *"аргонавты"*, — теперь изменились; иные уже отошли, как Владимиров; а другие, как Батюшков, Эртель, нам стали далеки. Ядро *"аргонавтов"* — осталось: в него вошли Метнер, Нилендер; С. М. Соловьев отделился от А. С. Петровского; М. И. Сизов проживал в Петербурге; оставшиеся не мечтали, как прежде, о светлом; и выступали чудовища, охраняющие Руно; были жизнью изранены мы; были выбиты из седла; но тем более ощущали кружок наш, как *целое* душ, кровно связанных: стала тенденция *"аргонавтизма"* нам братством; Петровский, я, Эллис, С. М. Соловьев, Э. К. Метнер, Нилендер, Н. М. Киселев, М. Сизов и Рачинский — образовали естественно возникшее братство.

Уже не мечтали о *ряях*; и — думалось: "Дай-то Бог продержаться кой-как"; положение наше в *Пути* представлялось мне образом: некогда

вошли на гору; и оттуда увидели горизонты зари; и — приблизили их (абберация перспектив); леса нас обстали; в лесу — потеряли друг друга; перекликались — издали; лес же был — заколдованный; каждому приходилось в странствии сталкиваться с мороком.

Я предсказывал: пройдут годы, и — все-таки: выйдем из леса мы к берегу моря, увидим зарю; и здесь встретимся вновь; и — сойдет: кроткий отдых; а ужас — рассеется; и придет из-за моря корабль, иль "*Арго*": нас взять; представлялась дорога — чрез море — исполненный новых опасностей; но — другого порядка; там встретят нас — "*водные*" ужасы: после "*лесных*".

Будущее России вставало в двух образах: или появится Некто в России, подобный Петру; он прискачет на грозном коне от каких-то таинственных гор, называемых мною Карпатами, — Некий, подобный увиденному колдуном "*Страшной мести*"; и я называл почему-то его — "*граф из Австрии*" (Карпаты ведь в Австрии); может быть, — будет бунт: Сечь Запорожская; в этом случае угрожает пришедшая "*Красная Свитка*" (у Гоголя); и — раздвигался: меж *Сечью* и *графом*; под *Сечью*, по всей вероятности, разумел я восстание снизу; под *графом*, наверное, я разумел — насаждение какого-то рыцарства, посвящающего себя перерождению России; чувствовались опасности: *граф из Австрии* мог ведь быть Калиостро<sup>82</sup>; а с *Сечью* (октябрьской революцией) ведь могла обнаружиться *Красная Свитка*; и — "*харя свиня*" (не *Нэл* ли?). Не знаю, что следовало разуметь мне под образами, возникающими в сознании; образы двух путей (революций) вставали.

В то время я чувствую приступы медиумизма; медиумизмом охвачены все "*аргонавты*", которые часто провещаются, отдаваясь течению внутренних образов, кажущихся рассудку невятными; я наблюдаю в себе странный штрих: на собраниях наших порою мне хочется завертеться, как в танце; я пользуюсь вечеринками, переходящими в буйный галдеж, — начинаю "*вертеться*"; и после "*верчения*" в шутку я начинаю гадать, взявши за руку того или иного, и вслушиваюсь в течение внутренних образов; начинаю описывать образы вслух; были случаи: люди, которым рассказывал образы, явно пугались: и виделся в них вещей сказ; некоторым — я гадал; на одном из *гаданий* моих, Н. К. Метнер, — увертывался: не хотел, чтобы я "*провещал*" о нем.

Медиумизмом охвачен был Эллис; одна *теософская* дама так выразилась об Эллисе: "Проходной двор для *темных*, где *светлые* все — позадержаны: темным проходом"; действительно, Эллис ходил, овеваемый — тем и другим; кто-нибудь совершил некрасивый поступок; и Эллис считал себя вправе — вмешаться; или "*подлая*" статья, на которую надо ответить, переполняла всего его; постоянно влетал он в тяжелые столкновенья; его выручали друзья; раз, на юге, увидевши, что пристали к еврею, — он палкою отколотил черносотенца; после качали за это его; он был должен из города тотчас же выехать (опасаясь полиции); раз в "*Эстетике*" подошел к нему интеллигентный военный, желая поговорить; Эллис тут же смешал с адъютантом Джунковского<sup>83</sup> подошедшего: и отказался подать свою руку, воскликнувши, что адъютантам губернаторов не подаст он руки; офицерское собрание постанови-

ло дуэль; вмешался Джунковский, который наверное Эллиса знал (до губернаторства он бывал у Бальмонта, был с нами знаком); и Джунковский решительно заявил, что оскорблен он, Джунковский; он Эллиса вышлет-де: а дуэль запретил; Эллиса же оставил в покое: не выслал.

С неудержимостью отдавался медиумическим припадкам веселья на наших собраниях Эллис; великолепно под музыку изображал, — что угодно; так: мама садилась играть кинематографические мотивы для Эллиса, изображавшего, как танцует вальс: студент-большевик, меньшевик, эсер, кадет, юнкер, паж, правовед, еврей, армянин, Брюсов (не танцовавший), Батюшков, или профессор (такой-то); изображал он сложнейшие сцены кинематографа, передавая дрожание и стремительность жестов экранных фигур; изображал вымышленные инциденты, якобы происшедшие с тем или иным из знакомых; великолепнейшим номером Эллиса была лекция профессора В. М. Хвостова, якобы прочитанная в психологическом О-ве: мешковато усаживаясь на стул, морща лоб, громко чмокая *по-хвостовски* губами, он делался вылитым В. М. Хвостовым, гудя:

— Милостивые государыни и милостивые государи! Некоторые уважаемые мыслители говорят, что свободы воли нет, а другие, не менее уважаемые, утверждают обратное; есть группа столь же уважаемых мыслителей, которая утверждает сперва, что свободы воли нет, а потом, впадая в явное и в кричащее противоречие с собою, приходит к заключению, что свобода воли есть; и есть группа уважаемых и столь же замечательных мыслителей, которая сперва утверждает, что свобода воли есть, а потом впадает в не менее явное и не менее кричащее противоречие, приходя к заключению, что свободы воли нет. Милостивые государыни и милостивые государи: коли свобода воли есть, так она есть; а коли ее нет, так ее нет. Разберем же эти группы и подгруппы в их отношении к проблеме свободы воли и т. д.

Крутом хохот; Эллис же, совершенно перевоплотившийся в В. М. Хвостова, развертывает часовую лекцию о *свободе воли* всю сплошь состоящую из набора слов.

Рассказывали впоследствии: когда Эллиса и меня уже не было (были у Штейнера мы), В. М. Хвостов таки взял и прочел в Психологическом О-ве лекцию о *свободе воли*, которая была удивительным повторением пародии Эллиса; говорили, что многие, прежде слышавшие Эллиса, были охвачены внутренним смехом.

Пародии, импровизации, пляски свершались Эллисом с бурною заразительностью, охватывающей решительно всех; помню: раз собрались у меня Шпет, Ю. К. Балтрушайтис, Феофилактов — ряд других лиц; отодвинули стол: кто-то сел за рояль, а Эллис тотчас пустился в быстрейшее, заразительное *верчение*; не прошло и трех минут — и все завертелось в плясе: и Шпет, и *"суровый, как скалы"*, Ю. К. Балтрушайтис с угрюмым лицом. В этой буре веселья, распространяемой Эллисом (человеком угрюмым и фанатичным), была даже жуть; *"номера"* его часто гремели в московских кружках; очень скоро потом братья Астровы вывозили Эллиса по знакомым; и — приглашали

на Эллиса; так: однажды был съезд *естествоиспытателей*; группу ученых с научного заседания привезли в частный дом показать им пародии Эллиса; были седые профессора, только что заседавшие где-то; но не прошло получаса, как все завертелось в дикой пляске; вертелись седые профессора.

Однажды группа друзей отправилась с Эллисом в увеселительный сад; сели у сцены — за столиком; грянула музыка и появился на сцене танцующий негр; Эллис, которого не успели схватить, неожиданно прыгнул на сцену и, отстранив быстро негра, пустился выплясывать под оркестр; публика — недоумевала сначала; а после пришла она в дикий восторг; в эти дни получал Эллис письма; и все начинались, приблизительно, — так: "Дорогой Лев Львович, — до меня дошли слухи: вы, литератор, — плясали в кафе-шантан"... Или: "Левушка, — правда ли"... и т. д.

Я описываю парадоксальное поведение Эллиса, потому что считаю: он был одержимый в то время: как в "*шалостях*", так и в "*весовской*" полемике; правильно выражалась теософка, что он — проходной двор для *темных*, где *светлые* были задержаны: *темными*. *Темные*, вырываясь из Эллиса, как угарные газы, порой отравляли меня; одержание — вот чем он заражал; одержание подымалось во мне; некоторые стихотворения "*Пепла*" и нападение на Блока — симптомы тогдашнего моего *одержания*. Но одержание разливалось широко в России: "*огарки*", *саниновщина*, *азартные игры*, *пляс*, *пьянство*, *серия убийств* — вот чем характеризуемо *темное время*: и настроение времени чутко передано в стихотворении А. А., написанном вскорее:

Опять с вековой тоскою  
Пригнулись к земле ковыли.  
Опять за туманной рекою  
Ты кличешь меня издали...  
Умчались, пропали без вести  
Степных кобылиц табуны,  
*Развязаны дикие страсти*  
*Под игом ущербной луны.*  
*И я с вековой тоскою,*  
*Как волк под ущербной луной,*  
*Не знаю, что делать с собою...*

*Страсти* — были развязаны; *что делать с собой* — мы не знали.

У А. А. в стихотворении этом уж есть осознание *общего одержания*, как предчувствие страшной войны:

Я слушаю рокоты сечи  
И трубные крики татар,  
Я вижу над Русью далече  
Широкий и тихий пожар<sup>81</sup>.

Это — рокоты сечи: 1914 год; и то пожар 1917 — 1920 годов.

Ожидание чего-то большого и неизвестного посещало меня; сквозь тоску я прислушивался к постуки будущему. В стихотворении, посвященном С. М. Соловьеву, есть строки:

Ты помнишь? Твой покойный дядя  
Из дали безвременной глядя,  
Вставал в метели снеговой  
В огромной шапке меховой,  
Пророча светопредставление...  
Потом — японская война  
И вот — артурское пленение,  
И вот народное волнение,  
Холера, смерть, землетрясение —  
И роковая тишина...

И далее:

*Годины трудных испытаний  
Пошли нам Бог перетерпеть...<sup>85</sup>*

1908 год — *гнет ожидания: испытаний.*

Из медиумической атмосферы, господствующей в среде "аргонавтов", я направлялся — к Морозовой, к Метнеру; и — в "Дом Песни" д'Альгеймов.

У д'Альгеймов бывал в этот период я часто; в уютной столовой за чаем, разливаемым Марией Алексеевной Олениной, каждый вечер почти собиралось общество; чаще всего здесь встречался: с Петровским (ставшим в близкие отношения к д'Альгеймам), с покойной художницей В. А. Олениной, с В. С. Рукавишниковой<sup>86</sup>, с С. К. Мюратом, с А. М. Поццо, с Н. А. Тургеневой, с Рачинским, с гр. С. А. Толстым, с проф. Тарасевичем и с его покойной супругою А. В.<sup>87</sup>, бывшею ученицею М. А. Олениной; здесь бывали: Брюсов, Шпет, Метнер, музыкант Богословский<sup>88</sup>, критики Энгель, Кашкин и др. Барон Петр Иванович д'Альгейм был вполне замечательный человек, соединивший в себе культуру искусств с углублением в мистику, в каббалу; автор книги "Les passions de maître Villons"<sup>89</sup>, нескольких прекрасных переводов, знакомый Вилье де Лиль-Адана<sup>90</sup>, разорвавший связи с позднейшими символистами, верный традициям героической эры искусства, — он здесь, в Москве, среди нас был носителем французских традиций, подобно тому, как дом Метнеров был очаг культа Гете, Бетховена; я заставал часто П. И. д'Альгейма склоненным за шахматами с Петровским; откинута шахматы — и Петр Иванович развивает одну из импровизаций своих, а я, Тарасевич и кто-нибудь — слушаем. В П. И. было всегда очень много каприза и нетерпимости; требовал он согласия с очень туманными, с очень блестящими импровизациями, произносимыми великолепным, отточенным языком; возражать было трудно (ведь я не владел виртуозно французскою речью, а П. И. не слышал противника в споре); на вечерах у д'Альгеймов обдумывались выступления М. А. Олениной в "Доме Песни"; и — наши; из этих последних мне помнится: моя лекция о "Lied"<sup>91</sup> с вокальными иллюстрациями М. А. Олениной, "Беседа о Символизме" (участники: Рачинский, я, Брюсов, С. В. Лурье), вечер памяти Глюка (референт — Максимилиан Шик<sup>92</sup>) и т. д.; составлялись программы концертов Олениной; раз поручили писать "манифест" мне, который составил П. И.; я был должен найти русский стиль выражения; помню промучили — ночь напролет; все же Петр Иванович не остался доволен;

и здесь же задумали конкурс на музыкальные переводы цикла песен "Die schöne Müllerin"<sup>93</sup>.

У меня случались и ссоры с д'Альгеймом; перекочевывал из "Дома Песни" — в "Дом Метнеров", находившийся как раз напротив; между "домами" шла вечная тяжба, окончившаяся ссорой "домов"; в ссоре я и Рачинский примкнули решительно к Метнерам; и — не бывали у П. И. д'Альгейма.

В 1908 году в "Доме Песни" бывал раза по два в неделю, просиживал до поздней ночи; порой М. А. пела; порою играли на рояли (гр. С. Л. Толстой, Богословский).

Весна 1908 года меня утомила до крайности; двинулся в наше имение<sup>94</sup>, которое продала моя мать. Э. К. Метнер поехал со мной: погостить; провели несколько незабываемых дней; неожиданно приехал С. М. Соловьев; скоро оба уехали.

## На перевале

Читатель наверное возмущен: какие же это воспоминания о Блоке? Где Блок? Проходят — кружки, общества, люди. О Блоке — молчание: Блок появляется издали молчаливой фигурой, о которой автор высказывает то или это; и высказав, снова пускается в характеристику людей, не имеющих прямого касания к Блоку.

Тут автор должен оговориться: знакомство его с А. А. Блоком протягивается в года: были годы, когда мы не виделись, и когда долетающие ко мне факты внешней его биографии мной откидывались, до... личной встречи; но — не было дня, чтобы где-то не вспоминал о нем, возвращался к произнесенным меж нами словам, возвращался к строчкам, стараясь в них, через них понять Блока, завешенного мглою дней, мглою лиц; воспоминания о Блоке связались с личными думами, с несомненными кривотолками, возникающими во мне; Блок был, быть может, мне самой яркой фигурой времени; увлечения, устремления к людям, с которыми Блок очень часто и не был знаком, обуславливались фазою моего отношения к Блоку; и — наконец: наши встречи настолько всегда диктовались идейными устремлениями, что я не могу не распространяться о некоторых идейных воздействиях, менявших мой облик и обуславливающих мой новый поворот к Блоку.

В моем общении с Морозовой, Метнером, Булгаковым, Бердяевым, Трубецким подготовлялась мне тема: Россия. В ней свершилась и новая встреча с Блоком; так весь путь, мной проделанный без него, в результате которого появились романы "Серебряный Голубь" и "Петербург", подготовил возможность моей новой встречи с А. А. (уже автором стихов о России и "Куликово Поля"). Стихи о Прекрасной Даме когда-то нас сблизили с Блоком; а "Куликово Поле", "Серебряный Голубь" свели нас вторично. В Гоголе соединились мы снова; мы оба увидели в Гоголе муки боли, рождающей новое будущее России. О Гоголе писал я настороженно; о Гоголе писал Блок: "Перед неизбежностью

родов, перед появлением нового существа содрогался Гоголь”<sup>95</sup>... “Та самая Русь, о которой кричали и пели славянофилы, как корибанты, заглушая крики матери бога; она-то сверкнула Гоголю, как ослепительное видение, в кратком сне...”<sup>96</sup> “Такая Россия явилась в красоте, как в сказке, зримая духовным оком...”<sup>97</sup> “В полете на воссоединение с целым, в музыке мирового оркестра, в звоне струн и бубенцов, в свисте ветра, в визге скрипок — родилось дитя Гоголя. Этого ребенка он назвал Россией. Она глядит на нас из будущего и зовет туда”<sup>98</sup>...

Эти слова — лейтмотивы моей книги “Луг зеленый”, посвященный России, наиболее ответственные статьи этой книги (“Настоящее и будущее русской литературы”, “Гоголь”) были написаны в период моего молчания с Блоком; и написан “Серебряный Голубь”, о котором Блок писал: “Есть трогательное в том, что “отверженец” П. Карпов со своим делом, которое всем не ко двору, ищет поддержки в музыке самого отверженного писателя, чьи непривычные для слуха речи о России никто еще не слышал, как следует, но которые рано или поздно услышаны будут”<sup>99</sup> Этот писатель — я.

Темы: Гоголь, Россия, отношение интеллигенции к народу, “Куликово Поле”, “Серебряный Голубь” — подготовили возможность новой встречи; темы те поднимались главным образом религиозно-философскими обществами Москвы, Петербурга. Именно в период молчания нашего застаю я себя посещающим московское религиозно-философское О-во, действующим там вплоть до вступления в Совет Общества; и о Блоке этого периода пишет М. А. Бекетова следующее: “Первая половина этой зимы (т.е. зима 1908 года) прошла... в непрерывной работе и общении с людьми разных кругов. Он деятельно посещал Религиозно-Философское О-во, в котором видную роль играли Мережковский, Розанов, Карташев, Столпнер...” “Создался наделавший столько шума доклад “Интеллигенция и народ”. Впервые он был прочитан 13 ноября 1908 года в религиозно-философском Обществе и при большом стечении публики”<sup>100</sup>.

Наша деятельность с А. А. в религиозно-философских обществах была не случайна.

Закрывшие заседания московского религиозно-философского О-ва происходили в доме Морозовой (на Смоленском бульваре); часто по окончании прений иные из членов ходили досиживать остаток ночи в чайную на Сенной, находящуюся против меблированных комнат “Дон”,<sup>101</sup> где жил Эллис; так же шли сюда и с философского кружка; не забуду я вида чайной: над грязными, покрытыми пятнами скатертями, уронив свои головы на руки, громко сопели ночные извозчики; за иными столиками распивали водку из чайника (те же извозчики); мы, выбрав столик, за столиком поднимали горячие речи о Руси, о судьбах мира; извозчики к нам привыкли; не удивлялись нашему появле-

\* Статья “Дитя Гоголя”<sup>95</sup>.

\*\* Idem.

\*\*\* Idem.

\*\*\*\* Idem.

\*\*\*\*\* Из статьи “Пламень”<sup>96</sup>. По поводу книги Пимена Карпова.

нию; я с Эллисом и с Нилендером заходил сюда договаривать интимные разговоры; и здесь были: Бердяев, Рачинский, Волошин, Шпет и др.

Часть лета 1908 года провел я в имении Серебряный Колодезь, где написано было мной много стихов (дописался весь *"Пепел"*; писалась часть *"Урны"*); безнадежнейшие стихи о России писались здесь; к июлю же попадаю я в Дедово, к С. М. Соловьеву; проживаем мы в новом, отстроенном домике, находящемся вне усадьбы, террасою выходящей на луг; беседы теперь наши носят спокойный характер: С. М. увлечен филологией; и менее революционно настроен; здесь пишет он книгу свою *"Crugi fragium"*<sup>99</sup>; много мы говорим о поэзии; увлекаюсь стихами я Баратынского, Тютчева<sup>100</sup>; и применяю впервые к поэтам мой метод формального изучения ритма<sup>101</sup>; я собираю здесь материал к *"Символизму"*; в стихах того времени отражается мое увлечение Тютчевым (*"Жизнь"*, *"Ночь и утро"*, *"Ночь-отчизна"*, *"Вечер"*, *"Перед грозой"*, *"Рок"*, *"Поле"* и др.)\*

Мы теперь примирились с Коваленскими (политические стычки уже не колеблют спокойствия Дедова).

Мережковские, приехавшие из Парижа и проводящие лето под Петербургом, — зовут меня: еду к ним, в Суйду, я в августе.

Здесь дней десять мы — вместе.

Но нет прежнего пафоса в отношениях. Многое в Мережковских — мне ясно. И — тем не менее: под их влиянием я пишу здесь статью *"Каменная Исповедь"*<sup>102</sup> (против Бердяева, с которым меня связывает уже дружба): статья нравится очень Д. С.; он берет ее для журнала. Здесь же, в Суйде, — живут: Д. В. Философов, Т. Н. Гиппиус и А. В. Карташев; и я замечаю: растущий протест в Карташове против абстрактности Мережковского; раз, когда Мережковские уехали в Петербург, а мы трое (я, Т. Н. Гиппиус, А. В. Карташев) поехали по реке в малой лодочке, я стал жаловаться на абстракции Мережковских; А. В. Карташев с удовольствием подхватил мои жалобы; не забуду я: пения Карташева — на тихой вечерней заре под плеск весел.

С первыми сентябрьскими днями я трогаюсь; случайные обстоятельства задерживают меня в Петербурге; я сижу в меблированных комнатах на Караванной, где у меня сживали когда-то Блоки и где однажды провел я всю ночь в размышлениях о лишении жизни себя. В Петербурге вспыхивает холера. Я — еду в Москву<sup>103</sup>.

Осень 1908 года — опять: суета, суета; те же *"Дом Песни"*, *"Эстетика"*, *"Весы"*, рел.-фил. общество и т.д. Реорганизовалась *"Русская Мысль"* редактором П. Струве; а Мережковский очень короткое время заведовал там литературным отделом; но — разорвали со Струве из-за доклада А. А. *"Интеллигенция и народ"*; заведующим литер. Отделом стал Брюсов. Запомнилось мне время конкурса на переводы *"Die schöne Müllerin"*, устроенного *"Домом Песни"*; было прислано 56 переводов; жюри состояло из трех литераторов (Ф. Е. Корш<sup>104</sup>, В. Я. Брюсов, я), трех музыкантов (С. Н. Танеев, Н. К. Метнер и А. Гречанинов<sup>105</sup>) и трех музыкальных критиков (Энгель, Круг-

\* "Урна".

ликов, Кашкин); Корш и Брюсов не участвовали в собраниях жюри (первый был болен, второй — был в отлучке); один эпизод очень памятен; Энгель желал, чтобы премию получил перевод № 46; казался банальным он мне; казался — недопустимо убогим он и Олениной, и Н. К. Метнеру; изо всех переводов отметил один я (№ 20), который передавал относительно более ритма; но Энгель решительно ополчился на проводимый мной перевод, нападая на якобы неправильности стиха (на присутствие в строках "Χρονοί Ρεοί"<sup>106</sup>); к Энгелю присоединились: Кашкин, Кругликов, Гречанинов; понял я, что борьба за переводы — борьба за *новое* направление против *старого*; мы с Метнером оказывались в меньшинстве; я доказывал, что "*неправильности*" стиха — иллюзия: в них — вся прелесть ритма; начались принципиальные речи о смысле поэзии; наконец, проф. Танеев, молчавший доселе, решительно присоединился к нам; Энгелю — пришлось уступить.

Приходилось мне осенью путешествовать в Петербург по приглашению В. Ф. Комиссаржевской, которая стала в близких отношениях к "Весам": должен был я читать краткую лекцию о Пшибышевском перед представлением "*Вечной Сказки*"<sup>107</sup>; остановился у Мережковских, занятых чтением рукописей, присланных в "*Русскую Мысль*"<sup>108</sup>. Скоро они и Д. В. Философов явились в Москву; Мережковский читал у Морозовой, в Университете (студентам), в Политехническом музее (лекцию о Лермонтове), выступал оппонентом на лекции Философова в Литературно-Худож. кружке и на моей публичной лекции "*Настоящее и будущее русской литературы*"<sup>109</sup>; приезд Мережковских ознаменовался бурными инцидентами, заставившими меня ломать копыя за них; я уже не во всем был согласен с Д. С.; он в своих выступлениях бывал нетактичен; я форсировал порою насильственно солидарность свою; и защита моя выходила — неубедительной, резкой; в Кружке говорил я кому-то совсем неприятные вещи; в Политехническом музее с истерикой обрушился вдруг на профессора Е. Н. Трубецкого; кричал, потрясая рукой, чуть ли не указывая на Е. Н.: "*Нам не нужны ни кадеты, ни мирные обновленцы*"; он — большой, грузный, слегка покрасневший, сидел, косолапо, роняя печальную голову в руки. М. К. Морозова мне призналась потом, как она ненавидела весь этот вечер меня; на другой уже день мы конфузливо встретились у нее с профессором Трубецким; он тотчас же протянул мне большую, тяжелую руку свою, пожал руку мою и сказал, что — не сердится; был вечер и у меня — с Мережковскими; были: Д. С., З. Н., Д. В. Философов, Бердяев, Булгаков, как кажется, Эрн, Эллис, Рачинский, Петровский, М. К. Морозова: было шумно: курили и спорили.

Приезд Мережковских оставил какое-то чадное впечатление; был для меня поворотным этапом в моих отношениях с Мережковскими; чувствовалось: все — расклеилось между нами.

В эту осень, как помнится, начинается знакомство с М. О. Гершензоном<sup>110</sup>; однажды раздался звонок; и в первую вошел низкого роста брюнет с густой и черной бородкой, с очень пухлыми и большими губами, в больших очках; он назвался редактором "*Критического Обозрения*" Гершензоном; и заказал мне рецензию на какую-то книгу; я знал Гершензона, весьма почитал; поче-

му-то казался он мне слишком, слишком маститым и слишком ушедшим вполне в любование великими перлами литературы; и я был очень-очень польщен и, признаться сказать, удивлен, услышав от него одобрение линии литературной политики, которую вел я в "Весах"; все обычно меня распекали за резкость тона рецензий (и Зайцев, и Бунин, и С. Голоушев<sup>111</sup>), а они утверждали меня: "Действуйте в том же духе: вы — правы". Он предоставил свободу писания "Критич. Обозрения" мне. С той поры начинаются мои заходы к М. О. (сперва принесение рецензий, потом — просто так, посидеть); оказались соседями по Никольскому переулку (я жил в доме № 21, а он в доме № 14); как помнится, маленький кабинетик, наполненный книгами; и Михаил Осипович — среди них, взволнованный, всегда кипящий и выговаривающий свои поразительные афоризмы о жизни, творчестве, о поэзии Пушкина за набивкою папирос; набьет мне и себе — с доброй улыбкой протянет набитую папиросу и вспыхнет: глазами, очками и духом — большой такой, маленький ростом: такой благородный, прекрасный! М. О. стал мне вовсе родным; я утрами захаживал к М. О. поведать о чем-нибудь, что меня взволновало и поразило; хаживал, отрывая от дела его, — порадоваться и попечалиться вместе: попросить указаний, совета; М. О. на мои появления и потребности — дружески горячо откликнулся всегда. Начались складываться отношения, которыми я так счастлив; на протяжении 14 лет были ясны они (нет, — раз-таки мне сильно досталось от М. О.: он был прав); полюбил я уютную милую мне квартиру Никольского переуллка, — дом № 14; еще более полюбил я хозяев: Михаила Осиповича, Марью Борисовну (супругу его)<sup>112</sup>.

Встреча с М. О. Гершензоном — единственное приятное событие этого времени; все иное — безрадостно: учащающиеся инциденты на лекциях, учащающаяся брань прессы; и — передержки; и ссора со Стражевым (которая?) за заметку "Обозная сволочь"<sup>113</sup>, и внутреннее отдаление от Мережковских, и тоска все о том, об одном.

Весь тот период покрыт мне тоскою и тьмою. Однажды в гнилом и вонючем ноябрьском тумане, когда электрический свет проступает, как сыпь, брел уныло я и одиноко, пересекая Тверскую; около памятника Пушкина вдруг кто-то — дерг-дерг за рукав: оборачиваюсь, смотрю — мокренькое пальто и высоко приподнятый воротник, и высоко приподнятая рыженькая борода и мягая шапчонка какая-то, рука без перчаток, вся мокрая: поплевание словами в лицо; словом — Розанов!

— Вы как здесь, В. В. ?

— Проездом: спешу в Петроград... Дожидаюсь вот заведующего газетой... Не покидайте меня, Христа ради, — мне делать нечего...

Взяв меня за руку, В. В. стал поваживать, стал похаживать — и туда, и сюда — по переулочкам, по грязеньким улицам, занавешенным ноябрьским туманом; на нас брызгали шины — противною грязью; воняло так сильно вокруг; ногами ежеминутно проваливались мы в лужи; и то — были мраки; то вдруг кидались бредовые светы Тверской, переливающиеся огни с надписью "Часы Омега", кинематографы, проститутки и полупьяные шатуны: и циничные выкрики, и циничные предложения; среди всего того Розанов, под руку

влекущий меня через грязь, с губами, изображавшими ижицу, поплеывающий словами страшные кощунства на тему: "Пол и Христос". Не забуду того туманного вечера; и — гениальных "эссасиков" В. В. об аскетах, святых; прохожие — останавливались, оглядывались на нас.

Розанов влек меня в кофейню Филиппова — на Тверской; там за столиком продолжался нелепо поднявшийся разговор: В. В. вдруг выразил поразительную заинтересованность Блоком; расспрашивал он меня о дружеских отношениях с Блоком, расспрашивал о семействе его; я же был с Блоком в разрыве; и мне было трудно ответить на все В. В.; он же, поплеывая словами и маляся глазками, зорко-зорко посверкивал на меня золотыми очками; и дергался, и хватался трясушей рукой за пальто; все как будто выведывал: как у Блока дела обстояли с проблемой пола; и каковы отношения супругов Блоков друг к другу и к матери А. А.; спрашивал, почему я теперь разошелся и каковы подлинные причины разрыва; подглядывание в В. В. вдруг сменялось гениальным прозрением о *поле*, о *поле* у Блока и т.д. Я не помню слова Розанова о Блоке (записать же их было нельзя: было многое в них нецензурно): но если бы те слова увидали когда-нибудь свет, то к "Опавшим Листьям"<sup>14</sup> прибавилось бы несколько гениальных страниц.

Тут же, среди гениальных брызг мысли, В. Розанов, все чмыхавший носом, ко мне обратился; и — засюсюкал просительно:

— Миленький, уж вы простите: нет же, ведь вот в кармане платка носового, а — насморк: нет мочи...

— Да нет у меня, Василий Васильевич, чистого носового платка...

— Дайте голубчик, скорее, какой там ни есть: не побрезгаю...

Отдал ему свой "не *вовсе чистый*" платок; сняв очки, с наслаждением он отдался сморканию. Скоро мы расплатились и вышли; довел я его до здания редакции "Русское Слово"<sup>15</sup> (где он писал под псевдонимом "Барварин"); и мы — распростились; и тем же путем я побрел среди октябрьских туманов и световых тусклых морок; и казалось, что мокренький Розанов (мокренький от дождя), отобравший платок у меня и мне чмыхавший в ухо, — есть морок осеннего времени; такой осенью был — 1908 год.

Чувствовал — отлив сил; зачастую говаривал Э. К. Метнеру: "Так жить нельзя". Собираясь втроем (Метнер, Эллис и я) мы говаривали о том, что надо работать над поднятием морального уровня окружающих; и — прежде всего: над собою. Я стал почитать произведения Анны Безант<sup>16</sup>; тут Метнер уехал в Берлин; я остался один: с Метнером было мне легче всего. Мне казалось, что все мы — запутались, что не хватает нам настоящего опыта жизни, что какие-то враждебные силы нас губят сознательно; я проживал в ощущении надвигающейся *окультистической* опасности; вышел "Пепел" и критики за него меня встретили бранью; и Тэффи<sup>17</sup> писала в "Речи": "Не люблю я этого старого слюнтя" (так-таки и написала); Измайлов из "Русского Слова" писал про меня: несусветности просто; стоило получить публичную лекцию, как на другой день в газетах поднималось Бог знает что. Это все мне казалось неспроста; нечто вроде мании преследования испытывал я; мне хотелось поближе придвинуться к проблемам окультистического знания и конкрет-

ного духовного знания. Так и я оказался в стихии теософических дум: К. П. Христофорова подарила мне "Doctrine Secrète" Е. Блаватской<sup>118</sup>; и я погрузился в них, изучая стансы "Дзиан"; незаметно я стал посещать теософский кружок Христофоровой (с теософами уже раньше встречался, — а именно: в 1901 и в 1902 годах, когда А. С. Гончарова<sup>119</sup>, покойная ныне, влияла усиленно на меня); вступил в деятельное общение с лицами, собирающимися у К. П. Христофоровой; там бывали: Эртель, П. Батюшков, Шперлинг, Недовит, д-р Боянус с женою, Пшенецкая, А. Р. Минцлова, Б. П. Григоров<sup>120</sup>, кн. Урусова; и — ряд других лиц; читал лекции Эртель, талантливо импровизируя на темы, не допускающие импровизации, а два юноши (студент-инженер и студент-техник) Брызгалов и Асикритов всегда возражали ему; бывало на этих собраниях человек до тридцати пяти; здесь раз был Боборькин. Меня занимали не лекции, а атмосфера покоя, распространяемая некоторыми из теософов; и поражала всегда меня А. Р. Минцлова; стал — приглядываться: к пей тянуло; я знал, что она близкая ученица Рудольфа Штейнера, которого, хотя мало читал, но — всегда уважал (в учениках и ученицах Штейнера чувствовалось нечто, отделяющее их от других теософов).

И все-таки: посещение теософов не заглушало тревоги, снедавшей меня. К концу года — я нервно измучился; и физически — ослабел; осматривавший меня проф. П. С. Усов<sup>121</sup> (знавший с детства меня и потому говоривший мне "ты"), стал корить меня:

— Эдак ты не долго протянешь! Ай, ай — уходило тебя декадентство.

Я — затворился, не принимая почти никого и нигде не бывая; к тому времени помнится мне переписка моя (на философские, религиозные и моральные темы) с М. С. Шагинян<sup>122</sup>, тогда почти девочкой; ее умные, бойкие письма радовали меня.

Вдруг — впадаю в какое-то сонное состояние; пребываю в нем несколько дней; перед праздником Рождества ради отдыха в сонной прострации убираю я золотой канителью елку, ту елку, которую захотелось устроить себе; чувствую: это занятие дает — бесконечно; во время уборки меня осеняет вдруг образ: двух старцев, плывущих на лодке ко мне; глядят на меня и вещают глазами без слов: я прислушиваюсь к сердцу, оно передает мне внятно — вот что: —

— Мы стоим у преддверия огромного духовного переворота; уже образуется фаланга людей, работающая над нравственным *возрождением* человечества; она образует как бы вовсе *новое рыцарство* в движении, долженствующем захватить всю Европу; движение — новый отпрыск старинного рыцарства; одна ветвь его распрострется на запад, другая — покроеет Россию; а во главе тех ветвей станут *те*, кого символически можно звать *Лебедями*; над ними же — Тот, кого словом не назовешь —

этак вещали мне сердцем моим два таинственных старца; образы поразили своею огромною силою; Эллису я рассказал о видении этом; оно потрясло его; мы — перекликнулись: обещали друг другу, что будем прислушиваться к *велянию*, поднимающемуся от грядущего братства Духа.

Но чем ярче откуда-то занимался свет Духа, с тем большим упорством Враг выступал в ощущениях сердца: Россию губить, губить нас: тема России и тема воительства, вооружения светом для битвы с Врагом проговорили мне к началу 1909 года; не знал — *"Куликово Поле"* написано только что Блоком; в нем — те же темы: бой *светлого князя с татарскою тьмой*, угрожающей Руси: 23 декабря 1908 года Блоком было написано:

Опять над полем Куликовым  
Взошла и расточилась мгла,  
И, словно облаком суровым,  
Грядущий день заволокла.  
За тишиною непробудной,  
За разливающейся мглой,  
Не слышно грома битвы чудной,  
Не видно молнии боевой.  
Но узнаю тебя, начало,  
Высоких и мятежных дней,  
Над вражьем станом, как бывало,  
И плеск и трубы лебедей.  
Не может сердце жить покоем,  
Недаром тучи собрались.  
Доспех тяжел, как перед боем.  
Теперь твой час настал: Молись!<sup>123!</sup>

Стихотворение написано в дни меня посещающих образов, проговоривших о громком, о будущем; стихотворение это прочел через два только года потом; оно-то и вызвало во мне, стоящем на пути моих новых исканий, — желание написать А. А. Блоку письмо, после которого мы по-новому встречались; в стихотворении было нечто, глубоко задевшее, я не знал, что оно — написано в столь чреватые для меня будущим дни: именно — 23 декабря 1908 года.

И было написано стихотворение *"Божья Матерь, Утоли мои печали"*<sup>124</sup> (6-го июля 1908 года).

## Сдвиг

В начале 1909 года я был в Петербурге — лишь несколько дней: читал лекцию: *"Настоящее и будущее русской литературы"*. Остановился у Мережковских; был болен слегка; З. Н. Гиппиус поехала со мною на лекцию; в лекторской меня настигает В. И. Иванов, с которым весь год мы были в откровенной полемике; он говорит мне, что *"Пепел"*, который тогда только вышел в *"Шиповнике"*, есть событие: там-де — затронуты темы России; он должен иметь разговоры со мной; и — немедленно; он предлагает мне тотчас же после лекции ехать к нему; переночевать у него. Я — колеблюсь: З. Н. шепчет мне: "Слушайте, если поедете к Вячеславу, то этого вам не прощу" ... После лекции В. И. Иванов опять уговаривает меня к нему ехать; З. Н. — не пускает, я — еду; мы поднимаемся вот по лестнице к Вячеславу; звонимся; А. Р. Минцлова отпирает нам дверь; относительно ее я не знал, что она в очень дружеских отношениях с В. И. (после смерти супруги Иванова,

Зиновьевой-Аннибал, А. Р. Минцлова оказала убитому горем поэту большую поддержку<sup>125</sup>; так стала она другом дома Иванова и входила в дела его вместе с М. М. Замятиной<sup>126</sup>, подругой покойной). Меж нами троими свершается замечательный разговор: выясняется, будто бы в "Пепле" затронул я важные темы вполне бессознательно; образы "Пепла" — отображение-де наваждения, разлитого в России — врагом России; нас Минцлова слушает с таким видом, что — ясно: слова В. Иванова внушены ей конечно; и вот происходит меж нами обмен странных мыслей; мое ощущение преследования и Врага по Иванову правильно; есть-де "враги", отравляющие Россию дурными флюидами; это-де восточные оккультисты, действующие на подсознание русских, развязывающие "дикие страсти под игом ущербной луны"; я, Иванов, Бердяев, Блок и другие-де князя уделов культуры должны позабыть свои распри и протянуть руки друг другу: образовать благородное братство для бескорыстнейшего служения Духу и Истине; выработаются оттого-де *могучие светлые силы*, Россию спасающие от готовимой гибели; эти слова Вячеслава Иванова и комментарии Минцловой перекликались с мыслями Владимира Соловьева о "панмонголизме", вполне соответствуя только что мной изжитому видению старцев, вещающих о *новом ордене*; с того вечера начинается быстрое сближение с Ивановым; соединяющее звено между нами — А. Р., появляющаяся часто в Москве, от Иванова.

Происшедший обмен разговоров весьма характерен для этого времени; в мраке реакции у меня, у Иванова, Эллиса подымается стремление к тесософии; и — потребность в духовной работе, вооружающей от губящих родину сил; мы, культурные силы России, для тайных врагов — на виду; в нас пускают оккультные стрелы из темного мира, сознательно разлагающего Россию; я отмечаю, что воздух таких разговоров охватывал часть московского и петербургского общества того времени; приподымалась тема: "Восток или Запад"; Блок только что кончил свое изумительное "Куликово Поле", которого ни Иванов, ни Минцлова, ни особенно я — еще знать не могли; в "Куликовом Поле" — все та же: губящая сила востока (татар), тема светлого "князя и стяга"; призывы к молитвенному вооружению:

Доспех тяжел, как перед боем.  
Теперь твой час настал. Молись!

Я, Иванов и Минцлова проговорили всю ночь и весь день; проговорили день следующий; В. Иванов послал к Мережковским за оставленными моими вещами; З. Н. — разобиделась, не простив мне "измены" (сбежал к Вячеславу Иванову); мне ж Мережковские виделись обуянными злыми стихиями; я написал из Москвы очень скоро об этом письмо Мережковскому; он на письмо не ответил; так мы — без ссоры разошлись; с тех пор останавливаюсь я в Петербурге у Вячеслава Иванова.

Очень скоро в Москве появляется он; мы встречаемся: у меня, у Бердяева, у К. П. Христофоровой; здесь живет А. Р. Минцлова, вернувшаяся в Москву; привкусы разговоров — все те же: Россия, "враги", союз рыцарей Истины,

князя *уделов*; я смотрю на А. Р., как на старшую, ведающую то, чего не знает никто.

В те дни происходит со мною в Литературно-Художественном Кружке потрясающий меня инцидент, едва ли не на докладе Иванова<sup>127</sup>; ряд оппонентов, газетчиков словами набрасываются на меня и начинают форменно издеваться; я — сдерживаюсь; с эстрады с улыбкою наблюдаю я травлю; Бердяев и Гершензон, сидящие недалеко, возмущаются: вдруг истеричный писатель, взяв слово, выкрикивает (против меня) недопустимые вещи, а председатель беседы (С. А. Соколов) не останавливает его; кровь бросается в голову мне; вскакиваю и кричу на весь зал: "Вы — подлец!" Начинается невыразимый скандал: схватывает меня Н. А. Бердяев; мне несут воду; а оскорбленного мною писателя окружают и успокаивают; кричат: "*Занавес, занавес!*" Публика вскакивает: в зале размахивают стульями; смутно я сознаю себя около лестницы; А. Р. Минцлова за руку уводит меня; настаивает взволнованный Гершензон и настаивает, чтобы я извинился перед писателем; инцидент-де, конечно, будет иметь продолжение; я должен быть чутким: я — извиниться; тут я начинаю вполне понимать мной содеянный ужас; конечно: слетевшее слово "*подлец*" — лишь вскрик боли; конечно: ведь я оскорбить никого не хотел; Гершензон увлекает обратно меня — в гул и крики, в рой возбужденных людей — к оскорбленному мною писателю, которому говорю, что несчастное слово слетело совсем неожиданно; за него прошу я извинения; во всем прочем — считаю себя вполне правым; тут нас разделяют; и увлекают домой меня.

Тотчас ко мне приезжает Иванов; и — успокаивает. Инцидент раздавил меня; в нервном упадке увозит Петровский в Бобровку, в имение Рачинских<sup>128</sup>: в Тверскую губернию (не далеко от Ржева); в Бобровке встречаемся с только что приехавшими туда погостить Г. А. и Т. А. Рачинскими<sup>129</sup>; и с ними проводим неделю; здесь принимаюсь за "*Голубя*" я; пишется первая глава. Рачинские и А. С. Петровский уехали на первой неделе поста; я остался с сестрой Рачинского, Анной Алексеевной<sup>130</sup>, почти не жившей дома, а развезжавшей по родственникам; я жил в большом доме, старинном, со множеством комнат, увешанных портретами предков, с тенистыми переходами и с превосходной библиотекой, принадлежащей Г. А.; проживал здесь неделями совершенно один; прислуживал глухонемой старичок: он беззвучно являлся с обедом и с ужином, он затапливал молча огромный камин; объяснялись мы знаками; изредка наезжала Рачинская; и — опять уезжала; работал я лихорадочно, собирая огромные матерьялы по ритму; по вечерам читал я — по преимуществу книги, затрагивающие проблемы таинственных знаний: алхимии, каббалы, астрологии; и составлял гороскоп свой.

Усадьбу суровые окружали леса; помню я: вечером, надев лыжи, скольжу я по твердому насту в поля, а сосновые дали чернеют так грустно верхушками; и большая тоска — поднимается: безысходная; с нею встает мой вопрос: "*Мне позибнуть или жить?*" Нападаю на книжку, в которой изложены разные оккультные действия; и под влиянием ее возьмшляю — эксперимент; именно: перевернуть мне судьбу, разбить *урну*, из *пепла* воскреснуть для жизни; пишу я "*магическое*" стихотворение, завершающее сборник "*Урну*":

Да, надо мной рассеет бури  
Тысячелетий глубина —  
В тебе подвластный день Луна,  
В тебе подвластный час Меркурий<sup>131</sup>.

Стихотворение это написано в понедельник (или в день Луны), в час Меркурия (т.е. 8 — 9-ти вечера); солнечный гений из Урны, в которую собран "пепел" мой, — "не пепел изольет, а — луч".

Странно: Бобровка — водораздел двух периодов жизни: один от — 1901 года, обнимает 7 лет; другой тянется: от 1909 до 1916; два семилетия совершенно различно окрашены мне; а в Бобровке отмечился самый день жизненного водораздела; и даже — час водораздела: день и час написания "магического стихотворения". Ряд стихотворений, написанных прежде, так мрачно окрашены.

Стихотворение предыдущее — тьма:

Меня влекут слепые силы  
В покой отрадный хладных стран; —  
И различаю сквозь туман  
Я закоитный берег мильей<sup>132</sup>.

Стихотворение написано в конце февраля 1907 года. Магическое стихотворение (к "Пи-Рею")<sup>133</sup> написано — в начале марта; следующее по времени написано в апреле; оно открывает ряд светлых стихов:

Как тучи, невзгоды  
Проплыли.  
Над чашей  
И чище и слаще  
Тяжелый, сверкающий воздух;  
И — отдыхи<sup>134</sup>.

С. А. Соколов присылает в Бобровку мне корректуры печатаемой им "Урны"; пишу предисловие; там есть слова: "Что такое лазурь и что такое золото? На это ответят розенкрейцеры". Далее. "В "Урне" я собираю свой собственный пепел, чтобы он не заслонял света моему живому "я". Мертвое "я" заключаю в "Урну", и другое, живое "я" пробуждается во мне к истинному<sup>135</sup>.

Чувствую я теперь зарю новых дней: "Где-то уж брезжит заря примиренности: "Голос безмолвия" (предисловие к "Урне"). Эпоха от 1901 года до 1909 года — путь: от пессимизма к проблемам Владимира Соловьева и к символизму; заканчивается он мне попыткою обоснования символизма. Эпоха от 1909 года до 1916 — путь: от символизма, как метода изображения переживания в образе к символике тайного знания; он — путь самопознания. Первая эпоха — эпоха "Симфоний"; вторая — "романов"; первое семилетие связано со "Скорпионом" и с "Грифом"; второе же — с "Мусagetом", с "Духовным Знанием"<sup>136</sup>, первое семилетие — я в России; второе — окрашено странствиями; первое — в кругу друзей; второе — с Асей, в 1909 году поднимающейся на

моем горизонте<sup>137</sup>. Первое семилетие — дружба сердечная с Мережковскими; второе — многообразные встречи с В. И. Ивановым; на все детали жизни две эти эпохи бросают по-разному мне лучи. Жизнь же в Бобровке есть переход, порог, Рубикон.

Из Бобровки через Москву еду в Киев<sup>138</sup>: участвовать в благотворительном вечере; по возвращению у д'Альгеймов встречаю племянницу М. А. Олениной — Асю (Анну Алексеевну Тургеневу), приехавшую из Бельгии, где она училась гравюре — на отпуск; происходит сближение наше; оно окончилось тем, что А. А. стала мне спутницей жизни; весна улыбнулась зарей: встреча с Асей, поездка весенняя в Саввинский монастырь<sup>139</sup> — вчетвером (А. А. и Н. А. Тургенева, А. М. Поццо, я). Происходят бурные заседания комитета "Весов"; чувствуют Гоголя<sup>140</sup> и т.д. В мае А. А. уезжает сперва на Вольнь<sup>141</sup>, к умирающей бабушке; после — в Бельгию (на год). Я же встречаю в Москве снова Минцлову, вызывающую во мне те же темы: моральной переработки и сознания; укреплюсь я в мысли; нужно братство рыцарски вооруженных людей; и нужна моральная агитация в кружках молодежи; и стало быть: нужно братство, ячейка людей, распространяющих моральные импульсы; некоторых из студентов и курсисток, имеющих влияние в кружках молодежи, стараюсь я инспирировать; Эллис и Метнер подхватывают идею мою; и — откликаются: Киселев, Крахт, Петровский. Я помню: поездки мои в ("*Изумрудный Поселок*")<sup>142\*</sup>, где обитал летом Метнер, — какие-то светлые пиршества упований с Метнером о возможности общей культурной работы. Э. К. объясняет, что у него есть возможность достать деньги для издательства.

Этой весной я воскрес для надежд.

Традиционно живу у С. М. Соловьева я летом; меж нами намечилось расхождение<sup>143</sup>. С. М. не симпатизирует моим устремлениям в сторону теософии и духовной науки; подмена-де это пути; он с враждебностью смотрит на углубление мое в "Doctrine Secrète" Блаватской; готовится наше взаимное отхождение; летом усиленно переписываюсь с А. А. Тургеневой; пишу "Голубя" (для "Весов"); очень часто бываю в Москве; часто вижусь со Шпетом.

А осенью разражается "эллисовский инцидент", выбивая из строя.

Считаю его характерным; и должен остановиться на нем; натура противоречивая, — Эллис всегда отличался: действительным бескорытием; все отдающий другим, забывающий часто обедать (Нилендер, переселившийся к Эллису в "Дон", очень часто присматривал, чтобы Эллис не позабыл пообедать), — Эллис был страшно беспечен, рассеян, небрежен по отношению к книгам; рассеян — до ужаса; знали мы все о неряшливом отношении Эллиса к книгам; дать книгу ему — это значило: получить ее в очень испорченном виде, с заметками на полях; и с дождем вослицательных знаков; иль — значило: книги лишиться, — не потому, что присвоит он книгу, а — затеряет ее (передает ее первому встречному, занесет ее и забудет); не раз у себя на

\* По Брянской железной дороге.

столе находил занесенные Эллисом книги, исчерканные карандашом. Зайдя к Эллису раз увидел каких-то людей, упаковывающих книги, принадлежавшие Эллису, но отданные в пользу какой-то организации; он все отдавал, что имел; а когда сам нуждался, то с легкостью прибегал к чужой помощи: приходил, говорил: "Накормите меня"; раз лишился пристанища он, явился ко мне: прожил около двух недель у меня. С той же рассеянной легкостью вел он себя и в Музее, пишучи свою книгу о символизме; был пущен в отдельную комнату он; там писал свою книгу: его пустили — с книгами "*Скорпиона*", которые дал ему Поляков для вырезыванья цитат, вклеиваемых в текст; пользовался музейскими экземплярами; раза два он в рассеянности перепутал книжные экземпляры и вырезал для наклейки из данного музейского экземпляра; речь шла о странице из "*Северной Симфонии*" и странице из "*Кубка Метелей*"; служитель музея заметил, как Эллис вырезывал; и, когда он ушел, по обычаю оставив портфель свой в Музее, служитель отнес тот портфель к заведующему Библиотекой; Эллису сделали выговор: за неряшливость; и лишили права работать в Музее. Об инциденте узнал некий юркий газетчик, настроенный против "*Весов*", где с обычною резкостью Эллис обрушивался на всю прессу; да, да: среди газетчиков были плохие поэты, которые присылали стихи к нам; стихи отвергались; вот эти-то "*отверженные*" — и вздули — до ужаса инцидент; и ославили Эллиса вором — на всю Россию; можно было подумать, читая газеты, что Эллис годами выкрадывал из Музея ценнейшие рукописи. Кассо, министр просвещения, прочтя о свершившихся "кражах", воспользовался инцидентом, чтобы столкнуть профессора Цветаева<sup>144</sup> с поста заведующего Музеем (у них были личные счета): прислал телеграмму — дать делу ход; Цветаев же, в свою очередь, имел причины Эллиса не любить.

Поступок, которому имя "*неряшливость*", превратился в огромный скандал; и на бедного Эллиса обрушилось все: и счета министра с заведующим Музеем, и нелюбовь заведующего, и ехидная радость газетчиков, ненавидевших Эллиса. Эллиса оклеветали по всей России; и опровержения печатались на четвертой газетной странице "*петитом*", а обвинения в том, что он вор — на первой странице с сенсационными заголовками, набранными аршинными буквами; тот факт, что судебный следователь прекратил "*дело Эллиса*", за отсутствием такового, что третейские судьи (проф. Муромцев<sup>145</sup>, проф. Попатин, Малягтович<sup>146</sup> и др.) — признали Эллиса невиновным в "*краже*" страниц из "*Симфоний*", которые он мог бы иметь от меня, от С. А. Полякова, — читатели сенсационных газет не узнали.

Отвратительный инцидент совершенно измучил — нас, Эллиса; с того времени в Эллисе замечается явный уклон к оккультизму; он скоро становится — приверженцем Штейнера.

В эти же месяцы происходила спешная организация "*Книгоиздательства Мусагет*", вызванного к жизни Э. Метнером; осень 1909 года окрашена для меня собраниями, организуемыми К-во "*Мусагет*". К "*Мусагету*" примкнули: Рачинский, Петровский, Сизов, Киселев, В. Нилендер, Садовойской; редакционную тройкою оказались: я, Метнер, Эллис; секретарем стал А. М. Кожебакин<sup>147</sup>, которого Эллис привел к нам; помощником стал Ахрамович<sup>148</sup>.

В те месяцы появились из Фрейбурга Ф. А. Степун<sup>149</sup> и С. И. Гессен<sup>150</sup>, ищущие издателей для русского отделения международного философского журнала "Логос"; они вступили с нами в сношения; происходили беседы с Ф. А. Степуном и С. И. Гессеном; "Мусагет" принял "Логос". Задуман же был "Мусагет" широко, распадаясь в три линии: в линию собственно "Мусагета", имеющего — литературные цели, в "Орфея", где строилась линия нашего мистического и морального устремления; и в линию "Логоса", философского обоснования проблемы культуры. В составе же "Логоса" действовали: Ф. А. Степун, С. И. Гессен, Б. В. Яковенко и Э. К. Метнер; в "Мусагете" — я, Эллис, Метнер; в "Орфее" — Петровский, Сизов, Киселев; все три линии стремились вытянуться: возможно длиннее; внутри "Мусагета" всегда наблюдалась борьба трех тенденций (мистической, эстетической, философской). К "Логосу" примкнул ряд философов (между прочим проф. Б. А. Кистяковский); Шпет — стал вдали.

В это время знакомлюсь с покойным я Крахтом (скульптором); скоро в студии Крахта возникли собрания молодежи, естественно сгруппированной вокруг "Мусагета"; здесь действовали: Крахт и Эллис. Спешно готововлял к печати я "Символизм", "Арабески"; и занимался проблемами философии и стихотворного ритма, дописывал "Серебряный Голубь".

Продолжалась деятельность религиозного О-ва; от "Свободной Эстетики" стал удаляться; в "Кружке" не бывал; с д'Альгеймами — разошелся, взяв сторону Метнера, переставшего бывать в "Доме Песни"; М. К. Морозова принялась за религиозно-философское издательство "Путь", вокруг которого группировались: Рачинский, Бердяев, Булгаков, кн. Трубецкой, Гершензон. "Весы" — кончались.

В ноябре происходит сближение Минцловой с кружком "аргонавтов"; Минцлова инспирирует нас — тем же все: идеями рыцарства, братства, служения Духу; от нее узнаю я ряд сведений в области эзотерической теософии; она знакомит с интимными курсами Штейнера, предупреждая, что перестала быть ученицей его; у нее-де — иные учителя. Кто? Вопрос интригует и ставит А. Р. на естественную высоту перед нами: что знания ее перемешаны с импровизациями, что они отуманены крайне болезненным состоянием сознания ее, мы еще не разглядываем (разочарование наступило); по настоянию Минцловой, знакомящей с правилами духовного упражнения, еду в начале 1910 года в Бобровку<sup>151</sup>, где около трех недель отдаюсь "упражнениям".

В конце января по настоянию той же Минцловой — я в Петербурге; останавливаюсь на "башне" у В. И. Иванова.

## "Башня"

Быт жизни "башни" — незабываемый, единственный быт; "башня" — название квартиры В. И. Иванова, помещающейся в выступе пятиэтажного дома, имеющего вид башни; внутри круглого выступа — находилась квартира, — на пятом, как помнится, этаже; по мере увеличения количества обитателей, — стены проламывались, квартира соединялась со смежными; и под конец, как мне помнится, состояла она из трех слитых квартир или

путаницы комнатухек и комнат, соединенных между собой переходами, коридоришками и передними; были — квадратные комнаты, треугольные комнаты, овальные чуть ли не комнаты, уставленные креслами, стульями, диванами, то прихотливо резными, то вовсе простыми; мне помнится: коврики и ковры заглушали шаги; выдавались: полочки с книгами, с книжницами, даже с книжищами, вперемешку с предметами самого разнообразного свойства; казалось: попади в эту *"башню"*, — забудешь в какой ты стране и в какой ты эпохе; столетия, годы, недели, часы, — все сместится; и день будет ночью, и ночь будет днем; так и жили на *"башне"*: отчетливого представления времени не было здесь; знаменитые *"среды"* Иванова, были, не *"средами"*, а — *"четвергами"*; да: посетители собирались не ранее 12 часов ночи; и стало быть: собирались в *"четверг"*; гостеприимный хозяин *"становища"* (Мережковские называли квартиру Иванова — *"становище Вячеславово"*) появлялся из спальни — к обеду часов эдак в 7; долежал он окутанный одеялами, пледами и забросанный корректурами на постели — диване, работая с 4 — 5 часов дня и отхлебывая чернейший, его организм отравляющий чай, подаваемый прямо к постели — часов эдак в три; до — не мог он проснуться; Иванов ложился не ранее 6-го, 7-го часов (утром); и гости его ложились не ранее; часто с постели он выходил к обеду, в столовую, а подавали обед в семь часов; Э. К. Метнер, проведенный со мною на *"башне"* лишь два только дня, — не мог выдержать такой жизни; сбежал со *"становища"*, совершенно измученный; жизнь такую выдерживал я — недель пять; возвращался в Москву — похудевший, зеленый, осунувшийся; но — возбужденный *"идеями"*, выношенными с Ивановым многочасовыми, ночными и, главным образом, утренними беседами.

*"Башня"* казалась мне символом безвременности; а сама повисла над *"временем"*, над *современностью*: над Государственной Думою, возвышаясь с Таврической улицы и угла какой-то другой (не упомяну какой, выходящей на Кавалергардскую, где проживал Н. В. Недоброво<sup>152</sup>, наш общий с Ивановым собеседник, любимец: его — почитали мы).

Обитатели башни: ко времени моего появления жили здесь (в разнообразнейших, причудливых закоулках квартир): сам Иванов, М. М. Замятина (друг покойной Зиновьевой-Аннибал), В. К. Шварцалон (дочь от первого брака покойной жены его, падчерица)<sup>153</sup>, Л. В. Иванова<sup>154</sup> (дочка Иванова); появлялись: сын В. И. Иванова — кадет Сережа<sup>155</sup>; С. К. Шварцалон, — сын Зиновьевой-Аннибал (от первого брака); тут жил и писатель Кузмин, занимая две комнаты лабиринта и принимая гостей своих, собственных, часто ночующих в гостеприимном *"становище Вячеславово"* (помнится — в 1910 году часто являлся в час ночи Н. С. Гумилев, проживающий не в Петербурге, а в Царском); и постоянно в становище ночевали: А. Н. Чеботаревская<sup>156</sup>, А. Р. Минцлова; и — другие; неделями кто-нибудь вечно здесь жил: я, Степун, В. Нилендер и многие.

Чай вечерний в *"становище"* подавался не ранее полуночи; до — длились сепаратные разговоры: в частях лабиринта квартир: у Иванова, помню, торжественно заседает совет петербургского религиозно-философского О-ва (Столлнер<sup>157</sup>, Д. В. Философ, С. П. Каблуков, полагающий в совершенной

рассеянности, что у петуха есть четыре ноги: это раз-таки высказал он; или посиживает Протейкинский<sup>158</sup>), или захавший в Питер Шестов, или кто-нибудь, близкий Иванову: Бородаевский<sup>159</sup>, Недоброво, иль сектант, иль поэт и т.д.; у В. К. Шварцалон, в эти годы курсистки и ученицы Зелинского<sup>160</sup>, заседает щебечущий выводок филологичек; у Кузмина заседает в то время возникший журнал *"Аполлон"*<sup>161</sup>; и у меня, в отведенной мне комнате, кто-нибудь — заседает всегда: до 12 часов ночи; в двенадцать вся публика высьпает в столовую: религиозно-философское О-во, курсистки Зелинского, *"аполлоновцы"* Кузмина и мои посетители; начинается общая беседа за чаем; и ставится: огромных размеров бутылъ легкого белого вина, распиваемая гостями; часам этак к двум часть сидящих — расходится; В. И. Иванов, напоминающий дома мурлыкающего кота, потирая уютно какие-то зябкие руки и встряхивая золотую копною мягчайших волос, упавающих на сутулую спину, — затягивается папироской, оглядывает лукаво меня, Кузмина или Минцлову; и — обращается ко мне с заразительно шутливою просьбой:

— Ну, ты, Гоголек, — начинай-ка московскую хронику —

Звал он меня *"Гогольком"*<sup>162</sup> за мое, будто бы, сходство с Гоголем; а *"московскою хроникою"* называл — юмористические рассказы мои: о событиях жизни Москвы (инцидентах — со мною, иль с Эллисом, или с Рачинским, иль с Брюсовым); чаще рассказывал я ему о событиях старого времени: о детстве и об отце, математике, жизнь которого столь богата была очень трогательнейшими странностями; рассказывал: о старых деятелях Университета, которых когда-то я знал (о С. А. Усове<sup>163</sup>, Троицком<sup>164</sup>, Стороженко<sup>165</sup>, Ключевском, Буслаеве<sup>166</sup>, Гроте<sup>167</sup>); меня подмывало: — юморизовать; вид Иванова, рассевшегося на диване (в накидке), — располагал очень к *"шуткам"*; усаживался для уюта я на ковре; и принимался: переплетать действительности с шаржами; взвизгивал заразительным смехом Иванов; *"московская хроника"* длилась — час или два, осушались стаканы вина; М. М. Замятина озабочивалась о *втором* самоваре. Или же: мы обращались к Кузмину:

— Михаил Алексеевич, ну-ка — сыграйте-ка, спойте-ка...

И Кузмин препокорно усаживался за рояль, чтобы петь, петь и петь стихотворения свои, к которым писал он, по-моему, очень хорошую музыку; надтреснутый хриплый голос передавал совершенно чудесно стихи; я особенно часто к нему приставал, чтобы спел он: "О милые други, дорогие костыли: к какому раю хромца вы привели". Или: "Стукнул в дверь. Отверз объятия. Поцелуй и вновь и вновь, посмотрите, сестры, братья, как светла наша любовь". Бывало засядет и — запоет: до 4-х часов ночи.

У В. И. Иванова блещут глаза; и часов этак в пять он уводит меня, или Минцлову, или двоих нас в оранжевый свой кабинетик; и происходили в оранжевом кабинетике удивительные беседы с хозяином; да, он взрывал обыденность; и наиболее интимные мысли о Боге, о символизме, о судьбах России вставали мне здесь в кабинетике, особенно, если присутствовала при них Минцлова: *наш общий друг* (в эти месяцы); эти беседы тянулись часов до семи; после же В. Иванов будил прикорнувшую в смежной комнате М. М.

Замятину, осведомляясь с добродушной опаскою и просовывая юмористически нос, весь какой-то прищурый, сутулый, слабый, напоминал он kota, изогнувшего спину.

— Нельзя ли — яшеники: а нельзя ль вскипятить воды к чаю?..

В семь часов появлялась "яшеника". А к 8-ми — расходились, отведав яшенику; и запив ее чаем.

И так: — день за днем, попадая на "башню" на три, на четыре лишь дня, — проживал недель пять; и безумная, но такая уютная жизнь, — отнимала последнее представление о времени; гостеприимный хозяин же придирался к любому предлогу: продлить пребывание "гостя" на "башне"; так "гость" превращался, естественно, в обитателя "башни"; казалось: уехать отсюда, вернуться в действительность (т.е. в пространство, во время, в Россию, в такой-то вот год) — невозможно.

А утро на "башне"? Верней, что "дни", — потому что ведь ранее часу я здесь не вставал; попадал я к кипящему самовару в столовую, смежную с комнатами Кузмина; очень часто Кузмин, расположившийся у стола со своей рукописью под самоваром, бросал свою рукопись, наливая мне чай; очень-очень уютный, домашний, в просторной рубашке, помалкивал, слушая разговоры мои; потом снова склонялся над рукописью (под самоваром); на "башне" он был — очень-очень домашний, простой; и другой был в подтянутом "Аполлоне": враждебный, чужой, занимающий полемическую позицию по отношению к нам, символистам; позиция "Аполлона" была нам чужда; В. Иванов, бывало, корил его дома за лозунг "прекрасная ясность" (заглавие статьи, напечатанной им и задуманной косвенно против нас<sup>168</sup>); все Иванов журит Кузмина; тот — лишь ежится да отшучивается, слегка шепелявя и строящая перелом:

— Да что вы?.. Да нет!..

А потом, втихомолку, скрывается: где Кузмин? В "Аполлоне", — вдобавок в рецензии, там им написанной, снова откроются едкие выпады на символистов; на Михаила Алексеевича очень сердился порою Иванов, ведь вот в самом деле: живет ведь — тут, вместе, выслушивает головомойки, не возражает, почитателен, а полемика с символистами — длится. В. И. полагал: Кузмина он на "башне" спасает от... акмеизма, готового уже объявиться; Кузмин не оправдывал ожиданий В. И.: не спасался, а утверждался в своей легкомысленной и кокетливо-вызывательной ясности; из "Аполлона" порою предерзко он нас, ветеранов, глашатаев символизма, продергивал за "дионисические" туманы. Порою Иванов устраивал ратоборства (ну, кто кого — Аполлон Диониса или Дионис Аполлона?). И с проходящими на башню С. К. Маковским<sup>169</sup>, В. А. Чудовским<sup>170</sup> и особенно с Гумилевым сражался. Бывало: В. И. весь взъерошится, покраснеет, забьет пальцем в стол и покрикует громко в нос (негармоничными, скрипными нотами, напоминающими петушиные крики); наскაკивает на чопорно стянутого Гумилева, явившегося к часу ночи откуда-то — в черном фраке, с цилиндром и в белых перчатках, прямо сидящего в кресле, недвижно, невозмутимо, как палка, с надменно-бесстрастным, чуть-чуть ироническим, но добродушным лицом; Гумилев отпаривал

эти наскоки Иванова не словами, скорей — своим видом; Иванов же — втрывливает в "свару", бывало, меня; я — поддамся; и начинаю громить "аполлоновскую" легкомысленность; после дружно мы все распиваем вино.

Не забуду я одного разговора: В. И. очень-очень лукаво расхаживая пред Н. С. Гумилевым — с иронией пускал едкости, что, мол, вот бы вы, Н. С., — вместо того, чтобы отвергать символистов, придумали бы свое направление, — да-с; и, подмигивая, предложил сочинить мне платформу для Гумилева он; я тоже начал шутливо и, кажется, употребил выражение "адамизм"; В. И. тотчас меня подхватил; и — пошел, и пошел; выскочило откуда-то слово "акме" (острие)<sup>171</sup>; и Иванов торжественно предложил Гумилеву стать "акмеистом". Но каково же было великое изумление его, когда сам Гумилев, не теряя бесстрашья, сказал, положив нога на ногу:

— Вот и прекрасно: пусть будет же — "акмеизм".

Вызов принял он: и впоследствии "акмеизм" появился действительно.

В. И. всегда принимал Гумилева; и кажется, несмотря на наскоки, любил Гумилева. Так споры на "башне" с враждебными аполлоновцами носили совсем благодушный и мирный характер в то время.

Мне из бывших на башне — запомнились: проф. Е. В. Аничков, Тамамшева<sup>172</sup>, сестры Белявские<sup>173</sup>, вечно спешащие с лекций на лекции и записывающие в книжечки изречения "известных" людей, Столпнер, С. П. Каблуков, В. П. Протейкинский, Б. В. Бородаевский с женою, Н. В. Недоброво с женой, Гумилев, Княжнин<sup>174</sup>, А. Н. Чеботаревская, А. Р. Минцлова, Пяст, Скалдин<sup>175</sup>, св. Агеев<sup>176</sup>, С. М. Городецкий; появлялись: поэтессы, поэты, философы, богосискатели, корреспонденты, сектанты; бывал пролетарский писатель Чапыгин<sup>177</sup>, бывал Пимен Карпов<sup>178</sup>, и постоянно являлся с почтеннейшим видом массивный Ю. Н. Верховский<sup>179</sup>, ужасно любивший Иванова, — читать антологи; здесь я видался с Шестовым, с Аскольдовым, с Ремизовым, с проф. Лосским<sup>180</sup>, с Ивановым-Разумником.

В. И. Иванов живет в моей памяти: удивительным человеком эпохи. Наружность?

Когда познакомился с ним, он имел вид профессора, провинциала немецкого, сохранившего традиции первой половины истекшего века; носил он усы, рыжеватые, производящие впечатление жестких. Впоследствии помню с бордочкой его, чуть раздвоенной, белольняной, производящей контраст с красноватыми и покрывающимися красными полосами щеками; пенсне сотрясалось на выгнутом носе, орлином и собирающемся клонуть в то время, как губы, змеясь, обволакивали собеседника медовыми такими словами всепонимания и тонкости до ... "чересчур"; вдруг та тонкость рвалась; и выступал из-под нее риторист, схематизатор, которому всепонимание нужно для того, чтобы поддеть; было что-то в В. И. от идейного иезуитизма: вся гибкость его мне порою казалась приемом: пробраться в интимные закоулки чужого сознания и выволочить оттуда "основы чуждого мирозерцания", чтобы из них строить мост к себе; чтоб кого-нибудь "покорить", начинал агитировать он; и идейно порою пускался в интриги (так: чтобы поддеть "аполлоновцев"; сам, старый дионисианец, "аполлонизировал" с ними; и проникал в стан враждебный; и — "читил-

ся” весьма там; со мной — похохатывал). Должен, однако, сказать, что “интриги” Иванова были всегда бескорыстны, напоминая мне похождения с “переодеванием” (ради забавы), раз мы все нарядились: Иванова нарядили восточным пашой; и сидел он в огромном тюрбане; у В. Иванова была бескорыстная хитрость; и бескорыстное желание: нравиться; вот, бывало, он знает, что в комнате сидит идеологический враг; так вот к нему и притянется, и подседает — запеть:

— Я, собственно говоря, не столь чужд уже вам.

И найдет непременно пункт схождения: не успокоится, пока — не пленит (многие называли Иванова “идеиной”, метафизической кокеткой); помню, что раз рассердившись, воскликнул я: “Да, Вячеслав, переехав в Москву, снял квартиру теперь в Православии; и прекрасно устроился в пей, как устраивался некогда он в мистическом анархизме”... Но я — был неправ; ведь неспроста квартиру Иванова называли “становищем”: у него побывали жильцами — все, все. И не он снимал “комнаты” в Православии; наоборот: в этом путаном лабиринте квартиры “обитателей” было столь много; бывало же так: в кабинете В. И. заседает священник Агеев, а в комнатах Кузмина в то же время сидит Гумилев; да, Иванов сдавал всем “квартиры”. Бывало, нацелится на собеседника, вознамерившись и его “точку зрения” превратить в “точку” линии “Ивановских” взглядов; так вкрадчиво потирает какими-то обессиленными руками своими; и — помню сжимает их; сотрясается на выгнутом носе пенсне, замотавшись тесемочкой; и лоснится безбровые бровные плоскости; под стекольными глянцами очень внимательные и пристальные глаза поблескивают душевными сысками и зеленоватыми искрами; зорко и вдруг отстранится от собеседника, не доверяя доверию; и потом зашагает: слетает пенсне; васильковые, ясные, добрые глазки совсем разгряются: вот и поверил, что — верят, что — “победил”.

Лицо — плоское, очень широкое; лицо лоснилось; лоснился лоб: лоб огромных размеров (не “лобик”, как у Д. С. Мережковского); лицо — русское, если бы не змеинные губы, с полулыбкою леонардовских персонажей; когда он позднее обрился, то стал — смесью Тютчева с Моммзеном<sup>181</sup>; когда носил бороду, то ... чуть-чуть... — простите за выражение — “христосился” он (по Корреджио<sup>182</sup>): сентиментально, вздыхательно; этот “аспект” в нем казался всегда подозрителен, как... кольцо с пентаграммой, которое он невзначай в разговоре как бы подносил собеседнику вместе с копной золотых, очень мягких и вьющихся взлетных волос; это все схватил Сомов<sup>183</sup>; посмотришь на сомовское изображение В. Иванова и воскликнешь: “Сидит раскрасавец!” А он был совершенно отчетливо не-красив; именно “некрасивость”-то шла к нему; “раскрасавец”, “Христос” — это беглый налет, пробегающий по умному и некрасивому лику, казались мне “авантюрою”, переодеваньем Иванова.

Волоса опадали на вечно сутулую, старомодную спину; бывало посмотришь; и — скажешь: фигура “неспроста”! Да, странное сочетание простоты и изысканности; вкрадчивость, подкуривающая фамиям; и — вдруг: резкость, безапелляционность; бывало побагровеет и примется в нос он кричать, неприятный и злой: станет жутко; кричащая эта фигура, томительно спотыкающаяся-

ся о ковры, была жуткой химерою; скоро он отойдет, засутулится, улыбнется, прольет незабудки из глаз, выведет из кабинета, усадит за стол, распивает вино; хорошо и уютно: вновь — добрый; вновь — ласковый.

Случится то, чего не чаешь...  
Ты предо мною вырастаешь —  
В старинном черном сюртуке,  
Средь старых кресел и диванов,  
С тисненным томиком в руке:  
"Прозрачность. Вячеслав Иванов".

Моргает мне зеленый глаз,  
Летают фейерверки фраз  
Гортанной, плачущею гаммой:  
Клонясь рассеянным лицом,  
Играешь матовым кольцом  
С огромной, ясной пентаграммой.

Нам подают китайский чай.  
Мы оба кушаем печенье;  
И — вспоминаем невзначай  
Людей великих изречения;  
Летают звуки звонких слов,  
Во мне рождая умиление,  
Как зов назойливых рогов,  
Как тонкое, петушее пенье.

Ты мне давно, давно знаком —  
(Знаком, должно быть до рожденья) —  
Янтарно-розовым лицом,  
Власы колеблющим перстом  
И длиннополым сюртуком  
(Добычей, вероятно, моли) —  
Знаком до ужаса, до боли!

Знаком большим, безбровым лбом  
В золотокосмом ореоле<sup>184</sup>.

Я любил его дома в уютной и мягкой рубашке из шерсти, подобной рубашке А. А.; и любил я его в колоссальнейших ботиках, утопающим в шубе на лисьем меху, в малой, котиковой шапке; в таком виде его проглядывало поповское что-то, когда мы садились в саночки, отправляясь на заседание религиозного общества; я имел вид псаломщика, вероятно; В. И. — вид "старинного батюшки" (в шубе старел он); и, глядя, как В. И. усаживался, занимая шубою саночки, как застегивал полость, — со стороны бы сказали: "Ну вот, — повезли попа: службу справлять!" И действительно: редкие выезды в гости Иванова (редкие, потому что все езживали в "становище", где он исповедовал), редкие эти выезды всегда имели меткую цель: провозгласить, "совершить" обряд заседания, заключить союз, образовать группу; словом, — службу "справлял" он; и как же было уютно вернуться с ним после "на башню"; и там, веселясь заключенным союзом, представить все в лицах: как Иванов "служил", как "подтягивал" с клироса я и т.д.

Он был огненный удивительный собеседник; и — зоркий, и — пронзающий собеседника до конца, перевоплощаясь в него; он из каждого каждому продикутовывал нужные каждому смыслы; умение перевоплотиться в захожего человека и делало его чарователем, чуть не учителем жизни; ответственным "мэтром" — поэту; и "мейстером" — богоискателю; с поэтами он беседовал о пеоне<sup>185</sup> втором и четвертом; с богоискателем — о непорочном зачатии; оба оспаривали друг друга: "Иванов-де главным образом лирик". — "Да нет, позвольте: теолог!" Священник Агеев, ходивший к В. И., ничего-то в пеонах не смыслил; и ничего-то не смыслил в богоискательстве Юрий Верховский; Иванова же слушались оба; он — радовался: "*победам*"!

При более близком знакомстве, — он делался очень придирчивым, испытующим, соблазняющим собеседника; "*психологическим сыском*" пронзал он не раз меня; становилось — трудно, ответственно; многие В. И. ненавидели, — из-за этого, мучительного аспекта его; кто его знал еще ближе, — тот поражался его бытвой, умной легкостью, непритязательностью и уютом. Иванов, дотошно сверлящий своим мировоззрением людей и настойчивый (до настырности) — превращался в легчайшего человека: в быту своем, в "*башенном*"; лишь поселившись на "*башне*", — я понял его, как добрейшего, милого хозяина "*башни*".

Трудное время переживали мы с ним; направление наших исканий вполне совпадало в стремлении к созданию религиозно-морального фронта, к зажжению в центре его света Жизни; а Минцлова, жившая в Петербурге в то время, — поддерживала нас пламенно; то же, что создавало ее мне действительной оформительницей упований, заколебалось: А. Р. в это время собой представляла запутаннейшее существо (совершенно больное); являлись какие-то галлюцинации ей; то она впадала в торжественный и пророческий тон, то боялась преследований (темных сил, темных лиц); мифы в ней перепутались с явью; происходили тяжелые сцены меж ней и Ивановым; я — был свидетелем не одной такой "*сцены*", ложившейся тяжелым недоумением; но в разговорах с Ивановым крепло сближение: в одинаковом понимании религиозно-философских задач; и отсюда же — в одинаковом понимании символизма; падало разделение на "*Скорпион*", на "*Оры*" (Москву, Петербург): в "*Мусагете*", встречались мы вновь. Э. К. Метнер, бывавший на "*башне*", присутствовал при многих беседах, оформливая вступление Иванова в "*Мусагет*"; и с другой стороны: сам Иванов, державшийся Блока и посвященный в детали печального расхождения нашего, все-то усиливался меня примирить с А. А. Блоком; по отношению к А. А. в этом все же успел он: и намечался идейный союз нас троих (символистов): я, Блок, Иванов; ликвидировалась "*полемика*";

"*Весы*" — кончились.

А. А. все-таки со мной не встречался; в одном инциденте, произошедшем со мной, он мужественно за меня заступился; я был благодарен ему.

Миротворное действие В. Иванова на меня и на Блока сказалось после моего отъезда; в апреле 1910 года в "*Обществе ревнителей Художественного Слова*" А. А. прочел свой доклад "*О символизме*"<sup>186</sup>; докладу я радовался; чувствовалось: пора ликвидировать ссору.

В тогдашний приезд раз только наткнулся я на А. А. : на вечере памяти Комиссаржевской, с которой осенью 1909 года я очень сошелся (и казалось мне — прочно; а через месяца полтора уже смерть к ней придвинулась); мы столкнулись в лекторской: я, Г. И. Чулков и А. А. Блок; с Чулковым же мы не здоровались; и трое мы шагали по комнате в разные стороны, стараясь не глядеть друг на друга.

В эти дни я прочел свои лекции в *"Обществе ревнителей Художественного Слова"*; лекции происходили в помещении редакции *"Аполлона"*, на Мойке: председательствовал С. К. Маковский; после лекции были прения, в которых принимали участие: проф. Е. В. Аничков, проф. С. А. Венгеро<sup>187</sup>, В. И. Иванов, В. А. Чудовский, С. К. Кузмин-Караваев<sup>188</sup>, Маковский и кажется, Гумилев; читал я о ритме<sup>189</sup>; и кроме того: читал лекцию *"О драмах Ибсена"*<sup>190</sup> в Соляном Городке; другую — в религиозно-философском О-ве (я не помню о чем).

Начиналась весна: таяло...

В последние дни моего петербургского пребывания у нас с В. И. крепла мысль: вместе ехать в Москву и отпраздновать вступление его в *"Мусагет"*: в *"Мусагете"* же. В слякотный день мы поехали<sup>191</sup>; — на другой день Москва охватила. Остановился В. И. в помещении редакции *"Мусагета"*; принимал и знакомился с кружком *"Мусагета"* (с Петровским, с Сизовым, с Н. К. Киселевым, с В. О. Нилендером); потянулись паломники к мусагетскому гостю; он только окончил *"Rosarium"*<sup>192</sup>, переводил *"гимны к ночи"* Новалиса<sup>193</sup>, которые *"Мусагет"* должен был напечатать (увы, не сбылось это: переводы Иванов не удосужился отработать на протяжении ряда лет); в *"Мусагете"* устроили вечер; В. И. там читал переводы свои; чествовали его в *"Праге"*; и собирались с ним у меня, у К. П. Христофоровой; Эллис теперь примирился с Ивановым.

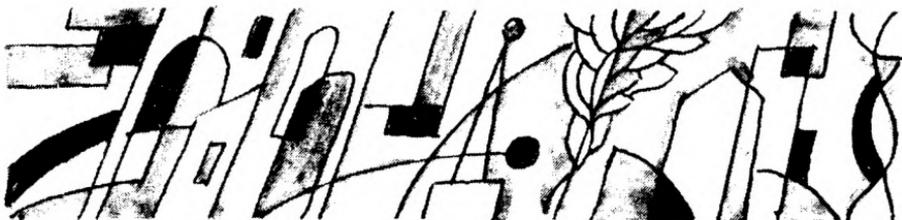
Весна окрашена перепискою с А. А. Тургеневой, вернувшейся из Бельгии к матери, С. К. Кампиони, которая жила с мужем под Луцком (в селе Боголюбь); формировался при *"Мусагете"* кружок для изучения ритма<sup>194</sup>; кружок должен был работать под моим руководством; он вызван был к жизни явлением ко мне, в *"Мусагете"*, трех, поэзией заинтересованных юношей В. Шенрока, А. А. Сидорова (ныне профессора) и С. Н. Дурьлина (ныне священника); эти юноши стали в кружке основными ритмистами; в числе прочих, вступивших в кружок, мне запомнились: Сергей Бобров<sup>195</sup>, Чеботаревская (сестра А. Н. <sup>196</sup>), Чеботаревский<sup>197</sup>, Нилендер, В. О. Станкевич, П. Н. Зайцев<sup>198</sup>; и — ряд других лиц; появлялся у нас молодой поэт Пастернак<sup>199</sup>; кружок насчитывал человек до 15-ти. Я распределил работу по описанию русского пятистопного ямба. В те дни вышли книги мои: *"Символизм"*, *"Серебряный Голубь"*. Часть лета проводил я в Демьянове<sup>200</sup>, в имении В. И. Танеева (под Клином) в усиленном занятии ритмом<sup>201</sup> и писал статью *"Кризис сознания и Генрих Ибсен"*<sup>201</sup>. В конце июня по приглашению А. А. Тургеневой и С. Н. Кампиони поехал я в Луцк, или, вернее говоря, в Боголюбь, где после двух с половиной лет возобновилась переписка с А. А. Блоком.

И началась — третья встреча.

Берлин, 1922 год. Октябрь.



## Глава девятая У ВТОРОГО ПОРОГА



### Поворот к встрече

В июле и в августе 1910 года я проживал в Боголюбых, близ Луцка, в прелестнейшем домике, отделенном тенистой дубовою рощей от белого дома, в котором устроилось семейство В. К. Кампиони<sup>1</sup>, лесничего Торчинской области, то есть его жена, его дети и падчерицы, Т. А. Тургенева<sup>2</sup>, Н. А. Тургенева и А. А. Тургенева. "Таня", "Наташа" и "Ася"; мы с Асей дружили; и мы собирались соединить наши жизни; и — помнится: как забирался на дерево с Асей, качаясь на зеленых ветвях и разговаривая часами: о жизни, о наших возможных путях к невозможному, соединяющих нас, о России, о Духе: переживал в эту пору я горькое разуверение в недавней инспиратрисе столь многих из нас, в А. Р. Минцловой, с которой не то что рассорился, но от которой определенно, сознательно стал вдалеке, не вмещая в сознании странных поступков ее. Выговаривал все это я Асе Тургеневой, — из зеленых ветвей, овевавших меня, в те зеленые ветви (чуть-чуть надо мной), из которых высовывала свое личико Ася (и светло-русые локоны), чутко прислушиваясь к моему моральному миру; да, эти июльские жаркие полдни в ветвях, среди нас обнимавшего ветра, остались мне в жизни одним из значительнейших моментов, в котором складывалось волевое решение: разорвать с прежней жизнью; и что-то начать — начать строить; те миги определили последующее решение наше: прислушиваться к духовному знанию.

Мы порой умолкали, смотрели в чашу леса; я — в прочертень черных стволов в зеленеющей резани листьев: шептали туманы лиственного шума в развитие высших развилин суков; и внизу все тенело оливковым сумерком;

выше — бывало: гляжу — прорезная толпа оксамитово-синих эфирowych пятен: то — прорези неба из листьев; под нами — бывало: гляжу я — отточенный ствол, на который вскарабкались мы, толст и плотен, склонен; и — двоятся, троится; и — первое облачко зелени прячет свое расстройство под нами, чтоб выше — качаться уже многоветвием в кружеве листьев, охваченных солнцем; и где-то *затвикает*: "Тви-тви-тви-тви", кончив чокком, хорошенький серо-розовый зяблик. Мы с Асей слушаем. Я начинаю опять свой рассказ: про пути свои, про А. А., про химеры сознания, про встречу с теперь непонятной мне Минцловой.

Но Наташа, которая знала А. Р. и любила ее, не разделяла стремления моего к отчуждению от А. Р.: упрекала меня, будто я ради Аси ушел от возможного морального братства. В то время Сизов и Петровский примкнули к учению Штейнера; мне то не нравилось; но Петровский решил ехать в Берн, на курс Штейнера; проезжая в Швейцарию, остановился на несколько дней в Боголюбях. Сюда же приехал и Поццо; соединились несколько москвичей в Боголюбях в те дни.

Здесь попалося "Куликово Поле" мне, строчка за строчкою совпадала с интимнейшими переживаниями этих лет жизни; вся тема его: нависание мглы и угроза *востока* (татарства), и чувство необходимости вооружаться для боя с оккультным врагом были мной пережиты, во-первых, в конце 1908 года; и, во-вторых: пережитое оформилось Минцловой, Вячеславом Ивановым в 1909 году; я считал эзотерикой переживания знания этого; каково же удивление мое (помню я), когда стало мне ясно, что в это же время А. А. — в сокровеннейших переживаниях моих так решительно совпадал; этот факт совпадения мне показал: вопреки внешней ссоры — остались мы братьями; как совпадали в интимнейших восприятиях жизни мы в годы зари, так теперь совпадали мы в годы томительной тишины перед громом.

Совершенно естественно, что я тотчас же написал А. А. Блоку письмо; в нем его я приветствовал, приносил благодарность ему за прозрения "Куликова Поля"; не помнится, что я писал; только помнится, что просил ликвидировать расхождение, которое исчерпано жизнью; сияющий, ароматный ответ получил от А. А. я.

Так ссора закончилась.

Да: я испытывал глубочайшую радость и вместе счастливый покой от того, что все трудности *четырёх лет* окончились между нами, что вновь мы друг друга нашли: в правде Духа. Я знал, что теперь наша связь — навсегда: и действительность не обманула меня, потому что с этого времени до самой кончины А. А. ни одно происшествие не затемнило уже солидарности нашей: в то время я знал: мы — окрепли за эти три года; общественные отношения обросли наши личные жизни; хотя не могли отдаваться, как прежде, мы ясной стихии душевности, некогда переплетавшей две жизни; биографически были мы далекими; часто друг друга не видели в кутерьмах жизней наших, где мы общались с другими людьми, разделявшими нас; не было между нами и явных звуков слиянности, близости, но и не было подозрений взаимных, бросавших бывало нас друг на друга, как явных врагов. Душевное братство

расторгнуто было когда-то; оно и — не вернулось; но выросло меж нами *духовное братство*.

В последующих наших встречах не спрашивали мы друг друга о жизни друг друга; не знали мы даже подробностей бытов; но — говорили о том, в чем основа самосознания нашего: ядра "Я". От свободного "Я" обращались к свободному "Я", протягивая меж собою общение. Было чудесное что-то в сознании, что у тебя — брат духовный, которого можно не видеть года, но который не встретит вопросом о суете местожительств души твоей; но слепительно встретить улыбкою утверждения в тебе вечно бессмертного "Я"; молчаливо — улыбкою будет приветствовать "Я":

— *Ave, — frater!*<sup>13</sup>

И ветерок, неосязаемый, неуловимый теперь пробежит от "Я" к "Я", — благословляющий ветерок:

— *Benedictus!*

Мне помнится, что сближение с Асей и примирение с Блоком совпало в сознании моем; и вернулась ко мне покидавшая долго меня любовь Божия — в Боголюбях; как часто твердил про себя в *боголюбских* полях: "Боголюбь: неспроста сюда я попал!" А на выгорбах ярко глядела лесная клубника своим пропеченным листом: и усатились в солнце козявки-порховки, рогатицы; воздуха полнились густо пискливым зуденьем сквозных насекомых и трепетень тысячей крылышек воздух пестрил и рябил; и бывало мы с Асей гуляли дубовыми рощами; и разговор продолжался: о Духе, о нас, о моей странной жизни, о Блоке; и Ася вливала мне в душу елей примирения с Блоком; оглядывались среди рощи мы: всюду — переросль; всюду — главастой корягой протянута ветвь; не проломишься: крякнет толпа рогогогих коряг, обхвативших тебя, попадешься; и после — завязнешь в расщепе; а где-то из дичи посылаются хрусты хрипящего хвороста: может быть, — дикий козел, иль барсук (барсуков было множество); может быть, — вепрь (вепри тоже водились в лесах).

## Случай с Минцловой

Моя радость от примирения с Блоком во мне заслонялась заботами, мне предстоящими: с Асей Тургеневой мы решили зимою поехать в Италию; надо было во что бы то ни стало для этого найти средства; и кроме того: в Боголюбях мне дали труднейшее для меня поручение: отыскать для Наташи, Тани и Аси, переезжавших в Москву, подходящее помещение.

По приезде в Москву, Киселев, очень близкий в то время мне, уведомляет меня: в Москве — Минцлова; и она меня ждет; должен немедленно-де к ней отправиться я (остановилась она, как я помню, в квартире Сабашниковых, недалеко от Тверского бульвара). Свидание с Минцловой было мне тягостно; я все более не понимал ее крайне запутанного поведения: стремление образовывать среди нас круг людей, изучающий духовное знание; не понимал я намеков ее, что какие-то руководители духовного знания, о которых пока ничего

она больше сказать не решается, появляются-де среди нас; появление "неизвестных" поддерживало все время в нас атмосферу естественного ожидания, напряжения и надежд, соединенных с опаскою: не замешались ли во все это дело отцы иезуиты; а к ним относились мы более чем отрицательно; но с другой стороны: фантастические мифы Минцловой, влетаемые в обыденную жизнь в связи с частыми ссылками ее на оккультные братства, внушали нам страх, что имеем мы дело с больной, очень нервной, замученной женщиной; так: она уверяла нас, будто путь теософии Штейнера есть путь падения Штейнера, как учителя в области "тайного знания"; и она заклинала: не верить особенно штейнеризации христианства; и вместе с тем: все указания нам, медитации, вся эзотерика Минцловой была сколком интимных бесед ею так отвергаемого учителя Штейнера (мне впоследствии и это пришлось узнать лично); во время бесед с Киселевым, со мною, с Петровским, с Ивановым фигурировали в фантазиях Минцловой все какие-то ее "сокровенные педагога", за нею следящие; все-то изъясляли намерение появиться среди нас. Кто же мог ими быть? Темплиеры<sup>4</sup>, Масоны<sup>5</sup>? Нет, нет; розенкрейцеры<sup>6</sup>? Право, терялись в догадках. Смущало нас то, что всегда потрясенная Минцлова несказанно чего-то боялась: не то нападения на нее сатанинских таинственных братств, собирающихся разрушить "светлую пряжу", которой переплетала она в орган светлого действия, потрясенные ею сердца; но преследования — менялись: являлись откуда-то наблюдающие за нею "шпики"; появлялись какие-то темные оккультические "татары"; и появлялись: не одобрявшие ее деятельность маргинисты<sup>7</sup>, расширившие-де влияния среди избранного петербургского общества и среди иерархов; мне помнится, как она сообщала, что будто бы она имела беседу с одним из великих князей, мартинистов, что будто бы этот последний поставил вопрос, как нам быть с нашей родиной и что делать с царем Николаем Вторым. Эти страхи и эти таинственные происшествия с ней (то — спасала она сатаниста<sup>8</sup>, а то занималась духовным исследованием черных пакостей магов) в нас часто будили вопрос: кто за нею стоит? Если есть этот "кто-то", то почему же общение Минцловой с "кем-то" переполняет всю душу ее этим ужасом, этой истерикой? "Кто-то" внушал опасения мне, начинал понимать, что имеем мы дело с больной, истощенной повторными галлюцинациями и, может быть, поддавшейся страшному чьему-то влиянию. Это все было причиною моего отдаления от Минцловой весной 1910 года.

Но узнав от Н. П. Киселева, что Минцлова хочет видеть меня, — я отправился к ней со смятенными противоречивыми чувствами. В день этот, помнится, неосветные ветры ходили по улицам: дули и гнули; надули ненастье; сухиничи, листья ошамкали ноги; и — капало; и стояла мокрель неиссошная.

Минцлова встретила и сообщила такое, что... что: я стоял, ошарашенный; Минцлова же скорее упала, чем села, в глубокое кресло, роняя свои очень пухлые руки на спинку скрипевшего кресла под нею; откинув на спинку большую свою, одутловатую голову с желтыми, перепутанными волосами, роняя пенсне и глядя перед собою большими и выпуклыми голубыми глазами, всегда стекловидными, напоминавшими мне не раз (и не мне лишь) глаза Е. П.

Блаватской (в ней было всегда это сходство): какая-то толстая, грузная, в черном своем балахоне, напоминающем не платье, а очень просторный мешок. Эллис часто шутил, говоря про нее: "Знаешь, Анна Рудольфовна ходит не в платье, — в мешке".

Я стоял, ошарашенный, перед новою, очередной, как казалось мне, ею увиденной сказкой, которую приняла за действительность ни на что не похожая женщина эта; а она, чуть кивая большой головой, уплывала глазами за стекла, где ветры и дули, и гнули деревья, где в стекла окна стрекотали хрусталики дождика, — улыбая глазами за стекла, она мне рассказывала о фактах, которые по сие время стоят пред душою моею неотвязным вопросом.

Читатель, — о фактах тех не могу рассказать ничего я конкретного; все равно: им поверить так трудно; и мне непонятны они; я скажу лишь два слова о том, что она мне сказала, — скажу отвлеченно, обще: сообщила, что "миссия", ей-де порученная (возжечь к "свету" сердца, соединив нас для "света" духовного), ей не исполнена; "миссия"-де провалилась ее, потому что ее неустойчивость и болезненность вместе с растущею атмосферою недоверия к ней среди нас распатала все "светлое дело" каких-то неведомых благодетелей человечества, за нею стоящих; а между тем: дала слово она ("им" дала), что возникнет среди нас братство Духа; неисполнение слова-де падает на нее очень тяжело; ее удаляют "они" навсегда от людей и общений, которые протянулись меж нею; она исчезает-де с того времени навсегда; и ее не увидит никто; и она умоляет нас всех; эти годы ближайшие строго молчать о причинах ее окончательного исчезновения. Я так и не понял, что, собственно, означает исчезновение это: исчезновеье — "куда"? В монастырь, в плен, в иные страны? Или же — исчезновеье из жизни? Но что-то подсказало, что на этот раз этот бред не есть "миф" ее, и что мы *никогда не увидим* ее; бывало: пускает словесные мнения, как змеи бумажные; дергаются под небесами хвостом из мочала они; а теперь я отнесся к словам ее, как к какой-то ужасно, всю душу смущающей тайне ее, про которую мне ничего не известно; известно одно: *это — правда*.

Запомнился мне этот день, непрозрачный и белый, как горный хрусталь: этот день, оседающий в тень; и запомнился лист с червоточиной, кажется липы-листухи, за окнами, — там, где кислятиной бедной приbedнилось все; и запомнилась полная, точно опухшая, Минцлова в "черном мешке" с запрокинутой головою, с глазами Блаватской (не то "шарлатанскими", а не то гениальными).

В совершенно болезненном состоянии передавала она, почему "они" (кто?) порешили "убрать" ее и что она, исчезая, нас просит быть верными "свету". Что "кто-то" (по-видимому, бессердечно ее убирующий) — нас не забудет; внешний знак "бегства" от нас — переезд в Петербург, откуда исчезнет она. Каждый день до отъезда бывал у нее и выслушивал совершенно бредные речи, не понимая их смысла; и не имея возможности ей перечить; я думал, что Минцлова появилась на пороге значительных двух эпох моей жизни и жизни мне близких: "исчезновение" ее глубоко взволновало. Мне запомнился день, когда я и Сизов провожали ее на вокзале с очень диким сознанием, что ее

никогда не увидим и без всякого понимания поведения ее; она же стояла в своей черной кофточке на площадке вагона перепоясавшись саквояжем; и — улыбалась значительно; и махала рукою, когда поезд тронулся; и — опустела платформа: последний вагон убежал, умалялся до точки, и исчез: так исчезла она — навсегда!<sup>9</sup>

Мы ее никогда не видали с тех пор: и — никто не видал.

Дни сменялись ночами: ползало полосатое время — ночами и днями! И время точило кльки на съедобные дни; и несносные ночи летели проносною тьмою. Боюсь непробежного времени я!

Единственный случай бесследного исчезновения человека, который, я знаю, живет до сих пор неизживным вопросом во мне: как возможно, чтобы имеющий столько друзей и знакомых живой человек так бесследно исчез, чтобы даже не спрашивали впоследствии: что случилось с Минцловой? В Петербурге у ней был я знаю ряд верных друзей; в Москве — кто не знал ее? У покойного проф. К. А. Тимирязева<sup>10</sup>, у В. И. Танеева, у Ф. И. Маслова<sup>11</sup>, у "аргонавтов" и "мусажетчиков", у теософов она была своим человеком. С 1910 года же исчезла бесследно; не поднималось — вопросов, тревог, беспокойств. Лишь ходили страннейшие шепоты, что-де бросилась в волны она Атлантического океана, что-де живет она в монастыре иезуитов (и называли мне города в Италии, где ее будто видели). Верных сведений — не было.

Обстановка отъезда ее глубоко взволновала меня; сообщая событие исчезновения Минцловой приехавшей вскоре Наташе Тургеневой, разволновался я. Она — плакала. Это было в редакции "Мусажета".

## Встреча с Блоком

Весь сентябрь, весь октябрь и ноябрь протекает в сплошной лихорадочной суете для меня: подготовка отъезда в Италию с Асей Тургеновой; многообразная ликвидация дел и усиленная деятельность в кружках "Мусажета": при "Мусажете" образовалось три кружка молодежи: ритмический, мой, где пытались мы соединить в один общий итог наши летние изучения ритма ямба (на этот раз пятистопного); приходилось нам: очень тщательно устанавливать правила для ритмической записи так, чтобы запись была объективной; для этого мы коллективно составили нечто вроде учебника ритма; я помню, как ряд заседаний был тщательно посвящен выяснению того, что есть форма паузы; шесть заседаний мы дебатировали формы пауз: "а" "b" "с" и "d" (так называемых нечистых и чистых). В кружке среди ряда живой молодежи запомнились мне: А. А. Сидоров (ныне профессор), Дурьлин, Шенрок, Чеботаревская, Нилендер, Баранов<sup>12</sup>, Бобров; и — другие. Особенно знаменательным я считаю доклад молодого поэта Баранова о возможности исчисления разнопостроенных строчек при помощи десятичных дробей, позволяющих после построить кривую для ритма<sup>13</sup>; доклад тот служил мне и пунктом исходным работы, впоследствии озаглавленной "О Ритмическом исчислении"<sup>14</sup>. Собрания кружка отличались соединением деловитости с оживлением,

порою охватывавшим нас всех; в это же время Бобров очень тщательно изучал ритм трехдольных размеров. Второй мусажетский кружок, философский, тогда собирался под руководством Ф. А. Степуна; я бывал очень часто в нем, деятельно принимая участие в прениях; среди участников, посещавших кружок философский, запомнился юноша Б. Л. Пастернак (ныне крупный поэт); третий лодный и шумный кружок собирался под руководством бурнейшего Эллиса; был посвящен изучению он символизма; но там поднимались вопросы пути посвящения; и читались рефераты, взывающие к отысканию (Мон-Сальвата<sup>15</sup> и Китежа); он собирался на Пресне, в оригинальнейшей студии скульптора Крахта<sup>16</sup> (покойного ныне); там Эллис и Крахт были подлинными вдохновителями молодежи; но я — заходил туда; вместе с тем: продолжались заседания религиозного общества, происходившие в морозовском доме; с Морозовой продолжали дружить мы; я должен был там прочитать свою лекцию: *"Достоевский в трагедии творчества"*<sup>17</sup>; а все свободное время я проводил у Тургеневых, Аси, Наташи и Тани, в очень тихоньком переулке (в Штатном); готовился здесь наш отъезд за границу — мой с Асей и Поццо с Наташей. И уже насыпала зима нам снега; и метели свершались уже (очень рано); порою сугробы гребнистыми спинами у тротуара кидались на тумбы застывшим порывом; меж них намечались порою проторы от ног (наследили огромные валенки): дыры являлись везде на заглаженной плоскости снега; перерывали все это лопаты; и появлялись скрипные розвальни у тротуара — за снегом; сгребали снега; перерывалось все это, чтобы устроилась свалка снегов: на Москве-реке (в будущем); появлялся С. М. Соловьев в шубе с мягким, коричневым мехом на шубе, в бобровой, красивой такой своей шапке — к Тургеневым; мы помирились с ним (расхождение 1909 года забылось меж нами); ему я рассказывал о своем примирении с Блоком, была в нем большая терпимость и мягкость к А. А. Добродушно он нам похахатывал с Асей; и шапку надевши, шел в снег. Но еще не держались снега; и осликотясь, уплывали ручьями и лужами; снова являлась зимой побежденная осень.

Мне помнится: в эти вот дни умер Муромцев; Ася снимала эскиз с его мертвого лика у гроба; приехала Асина мать, С. Н. Кампиони; и у Тургеневых собиравлись, помнится, часто: Петровский, Нилендер, С. М. Соловьев, А. М. Поццо. С д'Альгеймами мы не видались.

Потом начиналась пурга; и по Штатному переулку огромный какой-то ходил перегромам.

Сквозь сумятицу дней и часов я все помнил о Блоке, о том, что мы с ним примирились; и с Метнером поговаривали о том, что прекрасно было бы издать стихи Блока томами; конечно же *"Мусажет"* с очень-очень глубоким сочувствием относился к А. А.; на одном из собраний мы, зная, что Блок живет осенью в Шахматове, послали ему телеграмму, которую мы составили так: *"Мусажет, Альциона, Логос приветствуют, любят, ждут Блока"*. И вот: получив телеграмму в деревне А. А. вдруг решил к нам приехать на несколько дней<sup>18</sup>; в биографии М. А. Бекетовой напечатан отрывок письма А. А. к матери, Александре Андреевне; он пишет: *"Мама, я опустил это письмо к тебе и уезжаю в Москву, а Люба — в Петербург завтра... Завтра вечером"*

я буду на лекции Бори о Достоевском, в религиозно-философском Обществе в Москве<sup>19</sup>...”

В это же время матери про меня сообщает он, “что Боря женится, что Боря уезжает отдохнуть за границу”...

Все лето А. А. занимался переустройством и переделкою Шахматовских построек и проводил много времени со столярами-рабочими; пишет: “Нас в усадьбе с рабочими масса народу — и весело”<sup>20</sup>; с рабочими он ведет разговоры: “Все разные, и каждый умнее, здоровее и красивее почти каждого интеллигента”. Однако хлопоты надоедают ему: “Домостроительство весьма тяжёлый кошмар”. Пред поездкой в Москву он живет одиноко с Л. Д.; и 22 октября — пишет матери: “У нас был два дня сильный ветер, дом дрожал. Сегодня ночью дошел почти до урагана, потом налетела метель, и к утру мы уже ходили по тихому, глубокому снегу... Мы слепили у пруда болвана из снега... Однако прожить здесь зиму нельзя — мертвая тоска”...<sup>20</sup>

“Мусагет” собирался в то время печатать “Ночные часы”<sup>21</sup> А. А.; в уединении подготовлял этот сборник к печати он; характерное замечание М. А. Бекетовой о А. А. того времени: ему близок Ницше; а в прежние годы был чужд ему Ницше; наоборот, необыкновенно близок он был для меня. Интерес А. А. к Ницше есть новый штрих в жизни сознания А. А.; поворот от женственно-восприимчивой мистики к мужественной трагедии трезвости, пронизывающей его позднейшее творчество.

Разделяли нас годы молчания; встреча же произошла очень просто: без всякого объяснения; нужды в нем не было; то, что стояло меж нами (полемика и резкие недоразумения жизни), перегорело естественно; жизнью приблизились мы к общим темам России; в идеологических выступлениях без уговора мы встали, как прежде, под знамя, нам общее, символизма. В день встречи, в день лекции о Достоевском (моей), в Москве молнией разносилась весть об уходе Толстого<sup>22</sup>; переживали уход, как громовой удар, как начало огромного сдвига инерции мертвенных лет этих; словом: переживали уход, как событие мировое; упоминанием о значении события этого я открывал мою лекцию; а за несколько лишь минут до нее повстречались мы с Блоком.

То было в красивом и светлом Морозовском зале, где по традиции религиозно-философского об-ва происходили собрания; зал был набит; и Рачинский, готовясь к открытию заседания, фыркал дымом и переметывался от угла до угла, шебуршал у стола приготовленную бумагою, перетискивался через толпы входящих и, подавая рассеянно руку входящему справа, вытягивал шею налево, вышучивая кому-нибудь очередную остроту или заботу свою, вместе с тем через зал мне подкидывая и подзывая значительным взглядом меня, чтобы дернуть меня за рукав и подать мне совет, как вести себя в прениях; эти сложные, многообразные, полные значения жесты, не знаю как ухитрился проделывать одновременно он, озадачивая того, кому пожимал кончик кисти, того, кому вшепывал он свои шутки, меня им притянутого; и он всех обдавал синим дымом; вот, бросив всех нас, он оказывался меж Бул-

\* М. А. Бекетова. Александр Блок, стр. 96.

гаковым и Бердяевым, одновременно беседуя с ними двоими: с Булгаковым — жестах рук, а с Бердяевым — жестах ног ("Ася", мало знакомая в это время с различиями идеологий Булгакова и Бердяева, путала их, называя обоих "Булдяевыми").

В эти миги рассеян был я, собираясь с мыслями перед лекцией и окруженный кольцом очень-очень известных и мало известных, и даже совсем неизвестных людей, мне протягивающих руки и говорящих мне: "Здравствуйте". Среди присутствующих мне запомнились: П. Б. Струве, С. А. Котляревский, Брюсов, Эрн, Лурье, Гершензон, Кизеветтер<sup>23</sup>, Бердяев, Булгаков, Кожевников, М. К. Морозова, сестры Тургеневы, которыми заинтересовался, как помнится, очень покойный Е. Н. Трубецкой; он ведь слышал от М. К. Морозовой, что мы с Асеем уезжаем в Италию; и косолапо потаптывался около Аси он, все стараясь ее разглядеть, чтобы это ей не было вовсе заметно; а это так было заметно, что Асе хотелось смеяться; был помнится тоже Ф. А. Степун. Среди обрывков словесности, рукопожатий и деловых замечаний, в обмен взволнованных чувств об уходе Толстого — вдруг вижу: из-за роя причесок, голов, мне знакомое, улыбающееся такое лицо А. А.; вижу, как он пробирается очень неловко ко мне; и через голову собеседника я ему издали улыбаюсь, как будто бы мы лишь вчера с ним расстались и будто бы не было между нами тяжелого расхождения в прошлом; меня поразил в А. А. жест растерянного стояния в освещенном морозовском зале среди роя ему неизвестных, "московских" людей: жест не светской застенчивости и неловкости; не прекрасно сидящий, такой деревенский какой-то короткий и черный пиджак, не застегнутый (отчего он казался с широкою талией), и стоячий воротничок, не подвязанный черным шелковым шарфом, так шедшим к нему; цвет лица был обветренный, желтый такой, как и прежде без вспышек румянца и без следа розоватости былых лет, — желтый, желто-коричневый; улыбнулся растерянными, большими, прекрасными и голубыми, как прежде, глазами (хотя прежде и не было этих подглазных мешков, этих малых морщинок у глаз); он казался подсушенным, похудевшим, но — крепким, здоровым (здоровым казался всегда он и прежде: до самой болезни); курчавая шапка густых, не рыжевших, как прежде, волос, показалась темнее, чем прежде; и менее вьющейся.

Явно конфузился и мигал на меня, мешковато протаптываясь среди платьев, атласу, вуалей, лорнеточек, косо и прямо сидящих визиток, рубах, пиджаков, сюртуков, озиравших его, может быть, узнававших его, отчего еще пуще конфузился он; я протискивался навстречу к нему: в этом явлении А. А. после долгой разлуки заметил какое-то сходство во встрече, как и при первом свиданье в Москве; и мы крепко пожали друг другу протянутые, открытые руки; открыто глядели друг другу в глаза, не умея сказать ничего, переживая неловкость.

Переменились мы за истекшие годы (со дня первой встречи); тогда он казался таким петербуржцем, чуть франтом, с военно выправкой, дворянином, помещиком; и не нервным нисколько; я казалась — интеллигентом, смешным и немного бестактным, демократичным и потирающим нервные руки

во время старания высказать витиеватую, не поддающуюся оформлению мысль. Теперь: он казался нервнее меня (он помаргивал нервно, растерянно, ослепляемый электричеством зала, и казался не франтом и не помещиком: скорей — управляющим, "интеллигентом" и демократом; я был в длиннополом своем сюртуке, очень-очень уверенный и спокойный, что предстоящая лекция есть то самое, что надлежит мне сказать (да, во мне появилась с годами и выправка, и привычка к естественной вескости мнений, которая приобретается опытом лекций и семинариев).

Мы стояли среди разгудевшихся, пробирающихся к стульям людей; и уже над зеленым столом раздавался звонок председателя; и очки его важно облескивали все собрание, и металася седенькая бородка; А. А., улыбаясь, сказал мне:

— Ну вот, как я рад, что поспел...

— И я рад.

— Знаешь, Боря, я думал, что я опоздало: ведь я прямо с поезда; ехал, "чтобы" поспеть (улыбнулся я мысленно: "чтобы", — то милое "чтобы", которое я так долго не слышал).

— Сегодня из Шахматова?

— Восемнадцать верст тряся до станции, чтобы (опять оно?) не опоздать: перепачкался глиною; вязко: ведь — оттепель, а ты знаешь какие дороги у нас...

В это время заметил я очень внимательный, пристальный и как всегда очень-очень сияющий взгляд (изумрудно-сапфировый) М. К. Морозовой, которой, наверное, рассказали уже, что на лекции — Блок; и теперь пробиралась она, улыбаясь, к нам в своем вечно сияющем платье, слегка наклонив набок голову, крупная и такая хорошая; я представил ей Блока, которого так хорошо она знала уже по рассказам моим, по стихам; и — любила; А. А. с прежней светскостью, в нем проступавшей сквозь вовсе не светский, дорожный, чуть трепанный вид, поцеловал ее руку; и, стоя, выслушивал, улыбаясь и опуская глаза вниз, как будто он пристально вглядывался в кончик носа своего (я опять в нем узнал этот жест, мной подмеченный в первые встречи; и — радовался: все милые, позабытые вновь восставшие жесты); но тут отвлечен я был дергавшим за рукав председателем: Г. А. Рачинский, уже протрезвонивший над столом, не добившийся результата, пустился меня извлекать к реферату; рассеянно он поздоровался с Блоком (не до того!), напустившийся на меня:

— Ну, ну — что?... Ну, Борис Николаевич, — начинать, начинать — и, подталкивая под локоть меня, стал мне шептать что-то:

— Ну, вот — говорю я тебе — понимаешь?... Скажу-ка я всем: Петр Бернгардович, я, старый мистик — ты понимаешь? Мы, старые, матерые, Борис Николаевич, — понимаете? — скажу я — мисти-ки... Понимаешь? — подталкивал он.

Видел я, во сне, что А. А. поздоровался сдержанно с Н. А. Бердяевым, перетряхивающим черными кудрями своими; отметилась мне: какая-то отчужденность, холодность меж ними; и вот — сели все.

Очень мало мы говорили с А. А. в этот вечер; во время чтения лекции я видел внимательные, устремленные на меня мне знакомые взоры А. А., — очень добрые, выразительно говорящие:

— Ну вот встретились: вот — хорошо...

Прения были долги, оживленны; и в них принимали участие Брюсов, Булгаков, Е. Н. Трубецкой, П. Б. Струве, еще кто-то; надо было записывать возражения и отвечать; я поэтому вынужден был отвлекаться от Блока; но после лекции мы собирались у Тургеневых, я и хотел пригласить туда Блока, но он мне сказал:

— Знаешь, Боря, я очень устал: пришлось-таки ехать по слякоти; нет уж, до завтра (в те дни была оттепель). Мы назначили место встречи в редакции "Мусагета" и обменялись коротко лишь известием об уходе Толстого; А. А. показался мне очень взволнованным этим известием и удивлялся, что деятели московского религиозно-философского Общества в промелькнувших, попутных словах недостаточно оценили значительность факта; еще показался мне: впечатление от заседания, от шумного и битком набитого зала произвело на А. А. не особенно приятное впечатление; он имел то растерянное выражение физической боли, которое знал я давно и которое не могло относиться ко мне; и улыбка страдания от желания перемочь раздражающий шум, ему чуждый, — передергивала похудевшее за вечер это лицо с удлинившимся носом и синевой под глазами; а может быть, просто сказалась усталость; вкрут — капали слякоти; прыгали нервно круги фонарей; был туман: тускло-красный фонарик случайный, людьми не наполненной конки, прошел мимо нас, опавшув длинной тенью; так черная скромница, тень, посмотрела на нас окровавленным взглядом, несяся в тумане по времени; время, испуганный заяц, бежало за нею.

А. А. мне сказал на прощанье:

— А знаешь ли, Боря, в деревне так тихо, так хорошо в эти дни... Намело было, с Любою мы вылепляли болвана из снега.

И с этими словами — он скрылся. И я шел один: было мокро; текло; теплый ветер пальто рвал; по Глазовскому переулку шел к Штатному; думал я: совершались для меня два события: бегство Толстого и встреча с А. А. В эту ночь я сидел без огня в своей комнате и наблюдал, как из сумрака ручкой пролапилось кресло; я думал — о Блоке.

## Блок в Москве

Это краткое пребывание Блока в Москве мне покрыто туманом; вычерчиваются два или три очень ярких момента: общения нашего; прочие бытовые подробности встречи неясны; я думаю, — дефект памяти коренится в рассеянности моей того времени, в спешке, в необходимости перед отъездом закончить ряд дел, добыть денег; и наконец: перемена всей личной жизни моей заслоняет воспоминание о подробностях быта жизни Москвы. И кроме того перед отъездом я подготавливал "инструкторов" для ритмического кружка,

чтобы занятия ритмом с отъездом не прерывались; я разрывался на части и вечно спешил; я не мог уделять всего времени Блоку; и поэтому-то не помню в моментах последовательности всех встреч; и не помню я, сколько дней пробыл Блок.

Помню его в редакторской комнате *"Мусагета"* с Э. Метнером; вот он весело говорит, улыбаясь. Свидание с Метнером мне отменилось их взаимной приязнью и пониманием друг друга; культурная платформа редакции оказалась близка А. А.; некоторые философствующие друзья *"Мусагета"* (Рачинский) не понимали всех подлинных оснований, заставивших нас, издателей-мистиков, поддерживать позицию журнала *"Логос"*; а на позицию эту напали: и религиозно-философское Общество, и некоторые профессора, предводительствуемые Лопатиным и Хвостовым. Но Блок понял нас; и одобрил всю линию *"философии"* против *"религиозной"* политики *"Пути"*; не будучи книжным философом, он уважал философию; неodobрительно он относился к гибридным продуктам, к смешению философии и религии; против *"религиозных философов"* был он настроен в то время, что я подметил в нем на заседании у Морозовой; вероятно враждебное отношение к религиозным философам поднималось в А. А. под впечатлением фельетона Д. С. Мережковского, писанного этим летом намеренно против нас, символистов<sup>24</sup>; в нем сильно досталось А. А. за недостаток общественности; и А. А. рассердился; и Мережковскому он написал что-то резкое<sup>25</sup>; приблизительно в это же время он писал своей матери: *"Восьмидесятники, не родившиеся символистами, но получившие его по наследству с Запада (Мережковский и Мунский) растратили его, и теперь пинают ногами то, чему обязаны своим бытием... Мережковскому мне пришлось просто прочесть нотацию"*<sup>26</sup>. Мережковский ответил А. А.<sup>27</sup>; о письме А. А. пишет: *"Лучше бы он не писал вовсе: письмо христианское, елейное, с объяснениями мертвыми по существу"*<sup>28</sup>. В эти месяцы был в боевом настроении он; и потому-то платформа редакции *"Мусагета"*, включающая раздельные сферы мистики, философии и эстетики в цельной культуре, удовлетворяла его; и в вопросе о том, стоит ли нам поддерживать *"Логос"*, стоял он за *"Логос"*, совпавши со мною и с Метнером против Петровского и отчасти Сизова, ужасно желавших расширить *"Орфей"* за счет философии.

С радостью видел, как близкий мой друг и редактор-издатель Э. Метнер (который, обривши и бороду, и усы, изменился до крайности: выглядел сухо подтянутым, сухо надменным испанцем) в том быстром и кратковременном разговоре с А. А. как-то внутренне весь просиял; и я радовался, что два моих друга в летучем том миге знакомства и поняли, и оценили друг друга; соединяло их очень — и отношение к германской культуре; Э. К. был гетист, кантианец, любитель Бетховена, Вагнера; А. А. же всегда относился с глубокой симпатией к германскому гению; в этом смысле был *"немец"* он, не *"француз"*; а в Москве в эти годы все русские культуртрегеры как-то делились на *"французов"* и *"немцев"*; так, Брюсов был истый *"француз"*; и *"французами"* были отчасти д'Альгеймы; *"француз"* иль, вернее, *"латинец"* был Эллис; мы с Блоком всегда были *"немцы"*; и *"немец"* был Метнер; тут он и А.

А. очень дружно сошлись. Метнер выскочил, как всегда, очень скоро из "Мусагета"; А. А. же сказал мне:

— Какой право милый Эмилий Карлович, какой блестящий; совсем настоящий!

Запомнился очень А. А. в "Мусагете", на серо-синем диване, в косоугольной уютнейшей комнате с палевыми стенами; вот "Дмитрий", служитель, нам подает с Блоком очень огромные чашки с чаем (огромные чашки заведены были для посетителей: их опаивали); А. А., широкоплечий, сидит развалился, положив нога на ногу и уронив руку в ручку дивана, поглядывая на меня очень близкими и большими глазами, поблескивающими из-под вспухших мешков; я рассказываю ему о наших редакционных работах, о маленьких суетах, переполняющих нас в эти дни; сам его наблюдаю; да, да, — изменился: окреп и подсох; стал коряжистый; таким прежде он не был; исчезла в нем скванность, прямота движения, которая характеризовала его; да, в движениях появилась широкая зигзагообразная линия; прежде сидел прямо он; теперь он разваливается, сидит выгнувшись, положивши руки свои на колено; и вижу я жесты рук, обнимающих это колено; и опять (субъективное восприятие) вижу лицо я не в профиль, как в 1907 году, а en face; да исчез и налет красоты, преобразавший лицо его в наших последних свиданьях; исчезло то именно, что отдаленно сближало с портретом Уайльда лицо его; губы — подсохли, поблекли; и складывались в дугу горечи; а глаза были прежние; добрые, грустные; и начерталась более в них любовь к человеку; и жесты терпения появились во всем; нетерпеливости прежнего времени не было и помину; выглядел в эти дни А. А. скромным провинциалом; старался войти во все мелочи жизни "сегодняшнего "Мусагета" и вкладывал в ряд вопросов ко мне столько внимания, внутренней ласки, что мне казалось: простые вопросы, их тон, заменяли то длинное объяснение между нами, которое казалось необходимым; необходимости не было: *объяснили года нас друг другу*; мы встретились с чувством доверия, тотчас принявшись обсуждать мусагетские злобы дня, будто мелочи эти были нам подлинным воплощением духовности; соединились как деятели, много пожившие; братство теперь вытекало не из обмена душевностью, — из общего устремления к практической деятельности; тогда именно мне впервые А. А. предложил издавать дневниковый журнал трех писателей-символистов (В. Иванова, его и меня), и впоследствии он не раз возвращался к идее; внимательно слушал я, как он мне развивал все подробности издания такого журнала, где каждый из трех мог бы высказать что угодно и как угодно. В ближайшее время дневник состояться не мог: уезжал за границу я; но в будущем мы порешили: журнал вызвать к жизни. А. А. в тот приезд свой умел удивительно вкладывать внутренний смысл в обыденные, редакционные разговоры; и наблюдая его, я почувствовал, что "редакция" для него не есть пепел окурков, всегда оставляемый проходящими; нет, это — место, которое осуществляет духовное устремление людей, соединившихся братски; так он и взглянул на участие в "Мусагете" свое. Этот тон отношения к нам, как к культурному, нужному месту, все время в нем сказывался; я даже думал: не переоценивает ли он "Мусагет"? Но — нет-нет:

он действительно был дальновидней меня, потому что он видел: существование "Мусагета" необходимо нам всем, что он выдвинул на сине-сером диване, отхлебывая крепкий чай, распуская уютно дымки папиросы; он мне объяснил; "Мусагет" — наше дело; объединение "символистов" (Иванова, Блока, меня) произошло в "Мусагете", а "Скорпион" — не был почвою. "Весы" — кончились; да и в "Весех", полемизировавших с ним и с Ивановым, не было почвы для прочного объединения символистов; но "аргонавты" ту почву давали. А. А. разглядел очень чутко моральную сторону "Мусагета", естественно подстилающую идеологическую платформу его. И внимая А. А., я теперь начинаю ему верить, что "дело" тут есть.

В разговоре со мною А. А. как-то пристально очень расспрашивал меня об исчезнувшей Минцловой; в тоне вопросов и взгляде его мне почудилось, что он внутренне знает влияние Минцловой на недавние устремления наши (наверно, Иванов его посвятил); мы же, давшие слово ей, Минцловой, не разглашать в эти годы тяжелую тайну (исчезновение ее навсегда), и не могли бы А. А. удовлетворить окончательно относительно Минцловой; на вопросы о ней отмолчался; и тут вспомнились рассказы А. Р. о ее встрече с Блоком (в 1910 году, в Петербурге), о взгляде А. А., очень пристально брошенном на А. Р. (на каком-то собрании), о нескольких только словах, которыми они обменялись.

Не помню, чем кончился наш разговор в сине-серой "гостиной" (в "Мусагете" — три комнаты: редакторская, приемная, где заседал Кожебаткин с корректором, Ахрамовичем, ставшим после католиком; и наконец — коммунистом; третья комната была с креслами, диванами и с круглым столом; здесь пили чай; эту комнату я называл почему-то "гостиной"). Не помню, кто был в "Мусагете" в то время: всего вероятнее Машковцев<sup>29</sup>, пребывавший всегда тут, возникший естественно; и не помню, в тот день иль позднее здесь состоялось собрание кружка моего, которое отменить я не мог, на котором присутствовал Блок; вероятней беседа с А. А. была прервана явкой ритмистов, весьма осчастливленных появлением его на беседе о тонкостях русского пятистопного ямба; А. А. с любопытством прислушивался к специальным разговорам о ритме, приглядывался к чертежам на доске (в "Мусагете" имела доска; и — большой запас мела); в беседу же он не вступал; и сидел в уголке; и глазами оглядывал моих рьяных ритмистов. Сам же он никогда не пускался в анализ структуры стиха, полагая, что для поэта опасно детальное изучение анатомии и физиологии творчества; изучение это считал он особого рода самоубийством; мне помнится, что когда объяснял еще прежде подходы свои к изучению ритма стиха, то А. А. слушал молча, не слишком выказывая интереса; интересовалась — Любовь Дмитриевна; передавали впоследствии мне, что А. А. не советовал молодежи анализировать ритм, указывая на меня (в тот период стихов не писал я): "Вот был Андрей Белый поэтом, пустился в детальное изучение ритма; и — перестал сам писать; так оно и должно быть". Тут я никогда не согласен был с Блоком; блестящее подтверждение того, что детальное изучение ритма способствует расширению диапазона ритмичности — ритм Казина<sup>30</sup>, молодого поэта, сознательно изучавшего

ритмику и потому позволявшего себе ходы, которые были бы не под силу другим. Тут я — с Гумилевым скорее<sup>31</sup>; и — с формалистами.

Помню: оставшись одни (по окончании ритмического кружка), еще долго мы говорили с А. А. о тенденциях "*Мусагета*"; А. А. сделал мне предложение: издать все стихи его в "*Мусагете*"; и я обрадовался предложению этому, но без "*тройки*" не мог дать ответа; требовалось согласие Метнера, в котором — не сомневался; тут я позвонил Кожебаткину, с просьбою съездить к Э. К. и телефонировать к Тестову (в ресторан) о согласии на предложение Метнера (мы решили с А. А. отобедать у Тестова).

Вот — пустынные помещения ресторана; и вот мы у стойки — пьем водку; пьет много он; в жесте его опрокидывать рюмочку, — обнаруживается "*привычка*", какой прежде не было; я смотрю на него, на мешки под глазами, и вспоминаю о слухах (как много он пьет).

Вот и — тестовская "*селянка*", а вот — "*растягай*" (мы решили обедать по-тестовски); в серебряном очень холодном ведре — вот бутылка рейнвейна; отхлебываем в разговоре вино; и разговор наш какой-то простой и уютный, но — прочный, значительный по подстилающему молчанию; я высказываю А. А. восхищение перед песнями Вари Паниной<sup>32</sup>; и говорим мы о Пушкине, о цыганах; А. А. мне высказывает очень глубокие домыслы о цыганизме у Пушкина и о том, что банальные представления о "*цыганщине*" — просто вздор обывателя.

Я рассказываю А. А. о наметившихся переменах в моей личной жизни; оказывается, что ему все известно уже; мы решаем, что после обеда мы поедим к Тургеневым; в это время является к Тестову Кожебаткин с известием: Метнер согласен издать все собрание стихотворений А. А.<sup>33</sup>; начинаются технические разговоры о форме, шрифтах, об обложке, о цвете букв (цвету букв придавал он значение).

Посидевши за кофе, пригубив ликер, до которого был так охоч Кожебаткин, мы едем к Тургеневым.

Подмерзает, снежит, запорашивает; мы — молчим; неповоротное прошлое нас обнимает безликими ликами ночи; и вспоминается давнее пребывание Блока в Москве, когда снился нам сон (и о Ней); убежал этот сон в самогоны времен: в самороды событий; невзглядное, неразглядное время!

— Помнишь, Саша, мы тут проходили когда-то, — показываю ему на Арбатскую площадь, — ты шел в мокрой слякоти и с бутылкою пива на марконетовскую квартиру.

А. А. улыбается:

— Много прошло с той поры. Что Владимир Федорович Марконет?

— Он такой же: и — вспоминает тебя.

— Что-то будет еще?

И мы замолкаем: и были былины, и были грустины, а небылицы — нет, не были!

Закипавший, сквозной беломет закипел из ворот; громко струйки снежистые пораспрыскались средь пречистеньких переулков; вот — Штатный: приехали! Часам к десяти появились мы у Тургеневых (Аси, Наташи и Тани);

и Ася, такая вся маленькая, имеющая до неприличия молоденький вид с выющимися волосами и в голубом балахончике, на который кокетливо надевала она козью шкурку, горбаться, как кошка, выглядывает на нас с независимой дикостью; Наташа же принимает, как взрослая, нас; три сестры с любопытством естественным окружают поэта, которого прежде еще полюбили они, о котором так много рассказывал им; он — большой, улыбающийся и спокойный, рассматривает их внимательно; если память не изменяет, — по просьбе Наташи читает стихи:

Ты дышишь и не дышишь.  
Ты слышишь?  
Я знаю! Ты теперь не спишь...  
Ты дышишь и не дышишь.

Чернорогая тьма накопила в углах чернорogie дыры; и в дырах уселись нездешние (может быть, там Чернодумы, а может быть, кто-нибудь из сестер: вероятней, что — Таня). Наташа и Ася воссели на мягкий диван; и, конечно, Наташа уселась скромно, — так точно, как подобает сидеть взрослой барышне; Ася с ногами: сидит, обвисает кудрями; и — горбится, очень внимательно слушая Блока. Мне радостно видеть такого мне близкого человека, как Блок, у таких близких сердцу, как сестры Тургеневы; из соседней же комнаты, темной — не видно предметов: твердеет меж всеми предметами ночь; точно каменным углем, не воздухом, все пространство наполнено; сказочен, сказочен мне этот вечер!..

А ночью, часам так к двенадцати, Блок провожал меня до дому; мы разговариваем — о Тургеневых; я спрашивал:

— Ну, как понравилась Ася?

— Да, острая она такая: дикая и пронзительная...

Из расспросов не удалось ничего от него мне добиться; и понял я в общем — одно: что он в Асе увидел значительную натуру, но не совсем разобрался в своих впечатлениях о ней; нерешительность эта меня огорчила; я стал объяснять, как близка стала Ася мне:

— Да?

Так сказал он, взглянув; и это "да" прозвучало, как будто бы он сомневался в словах моих; стал уверять его, что — ручаюсь за отношение к Асе.

— Да? — И — ничего не прибавил.

Зато говорил о "Наташе", которая очень понравилась.

У подъезда — простились, решив еще встретиться: в "Мусажете".

На следующий день в "Мусажете" мы вовсе почти не остались; был и Метнер, и "мусажетцы"; А. А. с Кожебаткиным окончательно договорился об условиях издания стихотворений. А. А. был внимателен к мусажетцам, с которыми познакомился еще в старые годы он; а С. М. Соловьева, примкнувшего к "Мусажету", здесь не было. Кажется — был Ходасевич.

В "Мусажете" простились мы; он отбыл в Петербург, окунувшись в привычную суету, от которой так скоро устал: "Я *изнемог от разговоров*" (письмо его

к матери); в эту зиму испытывал сильный упадок он сил и лечился массажем, порой увлекаясь французской борьбой; писал он "Возмездие"<sup>35</sup>.

Я же вскоре уехал: в Сицилию, потом в Африку (с Асей)<sup>36</sup>, откуда я часто, подробно писал А. А. Блоку; интересовался он очень моими дорожными впечатлениями.

## Время разочарований

Я не описываю своих впечатлений от стран, развернувшихся передо мною и Асей; впечатления мною описаны\*; остановлюсь я на боли, которою мучился в месяцы пребывания в Тунисии<sup>38</sup> и в Египте; недоумение это касалось Москвы ("Muscageta"); наметилась явная линия моего расхождения с Метнером; да простит мне Э. К.: в эти годы стал резко меняться характер его; появились какие-то поты запальчивости по отношению ко мне; формально мы трое (я, Эллис и Метнер) были руководителями "Muscageta"; de facto же Метнер препятствовал творчески проявиться мне там; я все более стал испытывать род опеки, цензуры идей в "Muscagete" (и обвинял в этом Метнера); ставились рельсы удобные Метнеру; всем объявлялось, будто бы "Muscaget" существует для полного выявления моей линии; я же не мог предпринять ничего без громоздкого Комитета из разно глядящих людей (из Рачинского, Степуна, Яковенко, Петровского, Эллиса, Метнера и Сизова); все мелочи жизни редакции тормозились; ряд заседаний томительно обсуждал инициативу мою; и независимо от Комитета я чувствовал: Метнер стоит надо мною с идеями, которые делались мне порою чужими; но свою линию не выдвигал он, а ждал от меня выполнения идейных желаний своих, будто эти желания мое персональное выявление; в случаях моего несогласия с "метнеризмом" докучливо поднимались капризы "редактора" (и не друга уже<sup>39</sup>).

К тому времени меж "Путем" и меж "Логосом", издаваемым "Muscagетом", полемика обострилась; "Логос" и мне открывал свои двери, но брал меня узко, Kaninchen'om<sup>40</sup> эксперимента, иль вставленным в риккертрианскую раму; моя ж философия строилась критикой основных твердынь фрейбургской школы, с которою был я недурно знаком; сам же Риккерт, которому я послал "Символизм" и которому передали ход мысли в моей "Эмблематике Смысла", прислал мне статейку с любезною надписью ("Одно, единица, единство"); в ней мог получить разъяснение на мои возражения против "Предмета познания" Риккерта<sup>41</sup>. Все-таки: Риккерт входит одной гранью в меня; очень многими гранями приближались задания Бердяева и Булгакова. В "Логосе" я был во "фраке", в котором пребывать невозможно; а у Бердяева — в своем собственном виде; конечно же голым ходить невозможно; высказывания религиозных философов того времени о последнем выглядело порою оголением философии в исповедь; в устремлении исповедоваться в докладах

\* См. "Путевые заметки" Т. Т. I и II-ой. К-во "Геликон"<sup>37</sup>.

я был против них; в обстановке интимной же мне Булгаков, Бердяев казались родными и близкими по сравнению с риккертIANцами; я расходился существенно в тактике с "Путем", соединяясь здесь с Метнером, говорившим, что надо прикрыть *наготу* чистой мистики фраком серьезного гносеологического символизма; что лучше остаться в сфере приличного, *предпоследнего*, чем оголением последнего совершить профанацию. При крепчавшей полемике тактика эта казалась мне предаванием близкого; тактика Метнера, окончательно слившегося с кантIANцами, превращалась в суть у него; альтернатива меж "фраком" и все-таки "человеком" разрешалась для меня все же в сторону *человека* (пусть голого), только не "фрака", который без тела, в него облеченного, сам по себе не имеет значения ("фраком" же юмор Шпета клеймил систематическую подмену живых философских вопросов методикой, приемом).

Мое раздвоение меж "Путем" и меж "Логосом" Метнер себе объяснял перемену фронта; сердился, стараясь насильственно к телу пришить мою "фрак"; это мне надоело; писал ему, что считаю — неправильным припадением к "Логосу" "Мусагета" в процессе полемики с религиозной философией.

Разразилась бурная ссора в письмах, во время которой во мне отложилась горечь, досада на Метнера, допустившего резкости в письмах. Мне помнится: еще в Тунисии я бродил по полям с этой острою думою о "Мусагете" и с чувством растущего недоумения по отношению к Метнеру; иль бродил в закоулках Радеса с все тою же думою; и мелькали бегущие головы в белых и желто-лимонных тюрбанах; и высились издали гребни лиловые атласа; нежит мне взор бирюзовый тунисский залив с прилипающим парусом: к белым пескам побережий; и я возвращался домой, и высказывал Асе сомненья свои; мы посиживали в полосатых (и желтых, и синих шелках) в ни на что не похожих, в малюсеньких комнатных арабских; и обсуждали, что делать мне с Метнером; наконец из Тунисии написал я всю правду мою, критикуя позиции наши; и — говоря о "Пути"; недопустимый по тону ответ на письмо получил я в Каире; и очень им мучился: я почувствовал оскорбление себе. Здесь писал очень резкие, ответные письма; и рвал почти все их по настоянию Аси, старавшейся, чтобы я окончательно с Метнером не порвал; среди серо-коричневых зданий в хамсинном коричневом душщем воздухе дико носился по улицам я среди палевых, розовых, серо-сиреневых смокингов, увенчанных фесочкой (местных денди); и за городом нападало спокойствие, скорбное; пучились лопасти листьев; и капали влагой; и сахарный, сочный тростник плыл верхушками в воздухе; пятноголовые пташки порхали, пиликаая; зелен чремерная хлопка кидалась в глаза.

Наконец, одолевши себя, написал очень сдержанное письмо Э. К. Метнеру (в примирительном духе); на этом упорно так Ася настаивала.

Так наметилось в Африке отхождение от Метнера; по приезде в Москву, правда внешне еще, сговорились мы: прежние, несравнимые отношения — кончились; через два года снова поссорились мы; и потом помирились; в 1915 же году разошлись: навсегда.

Весь рельеф нашей жизни казался иным мне из Африки; незначительными, преходящими мне показались занятия наши в Москве; а проблемы сознания Вечности и Пути поднимались упорнее; может быть, пустыня и старые пирамиды зажгли в нас искание правды, пути, приведя к антропософии вскоре. Да, да: москвичи были как-то особенно невнимательны в пору ту к нашему моральному облику; путевые мои впечатления были мне дороги по моральным исканиям, которые они подымали; и равнодушные к Африке воспринимал я обидой себе; я вернулся в Москву отделенным от прежних моих интересов; тянуло в широкое и глубокое море пути, а Москва стала символом, удаляющей от пути суетою; окрепло стремление уехать надолго; и тяготение к *"загранице"* во мне стало символом расширения границ кругозора (московского).

Все это наметилось — в Африке, не встречая отклика в москвичах; лишь А. А. понимал суть стремлений моих; потому-то я много писал ему; не становился он явно со мной против Метнера, проливая елей примирения; все же — чувствовал я: только Блок понимает меня. Этим и обусловлены частые мои письма ему, о которых упоминает Бекетова: *"С североафриканского побережья, куда уехал... Борис Николаевич, Ал. Ал. стал получать частые и длинные письма..."*<sup>42</sup>

В мае 1911 года вернулся в Россию; я Асю завез в Боголюбы, а сам на короткое время поехал в Москву, где почувствовал: отдаление от *"Мусагета"*; и Эллису стал далеким каким-то он; Эллис влекся к антропософии, к Штейнеру, враждебному Метнеру. Большую близость я чувствовал к деятелям *"Пути"*: меня ласково встретил Рачинский; переглянулся со мною словами приветливо князь Трубецкой; говорили мы с ним у Рачинского. И профессор Булгаков выказывал мне и вниманье и ласку<sup>43</sup>; он сделал тогда предложение мне — передать *"Русской Мысли"* мой новый роман (его должен был я написать); говорил он со Струве по этому поводу; издательство *"Путь"* стало близко по духу мне, как *"Мусaget"* — с той разницей, что в *"Пути"* не участвовал я, а в *"Мусagete"* же числился редактором; но я чувствовал, что — ни здесь и ни там; да, Москва лишь расстроила нервы; и я убежал в Боголюбы<sup>44</sup>.

Медлительно длилось странное бездождливое лето; мотыльковые цветики густо пестрили мне дни; желторой курослепов уже откачался на мае, теперь светлотельй Иванов жучок изумрудил из ночи; потом — перестал изумрудить; вокруг многодревьес чашки качались; закаты тянулись к востоку, теплили рассветы, мешаясь гореньем в всеобщем обсвете; и лучеродные проясни — ширились; и — облака набегали над полем, являя порой необстойных небесных пространств переполненный вид; тихоглавые липы сквозили жарыщю синею; а полудневки взлетали в сиянское небо.

Запомнилось мне это лето.

Запомнился вновь отстроенный домик, в котором мы жили: среди поля; скірдами от нас отделен боголюбский был дом, где тогда проживало семейство В. К. Кампиони (С. Н. Кампиони, их дети, Наташа и Таня). Их дом был от нашего на расстоянии трехсот шагов.

Полюбил я Владимира Константиновича Кампиони, лесничего, густо обросшего бородой (называющего меньшевиком себя); был он нежен и чуток, но — обладал зычным басом, отчетливо разносившимся на версты; это скликал он — объездчиков-служащих, или свору собак, или просто: ругался в пространство, стараясь казаться свирепым; он, страстный охотник, разезды свои по лесничеству соединял с истреблением куропаток, козлов, привозил иногда и подстреленных вепрей, кишачих в лесах; он нас звал "декадентами", "выродками", добродушно подтрунивал, втихомолку прислушиваясь к тому, чем мы жили; шутливый смешок соединялся в нем с искренним уважением к нам, с очень мягкой терпимостью; он под грубостью прятал тончайшую душу; с ним легко и уютно; и он никогда никому не мешал; полюбил я мать Аси (Тургеневу по первому браку), свободного человека, не устающего и ищущего пути.

Боголюбское общество: В. К. Кампиони, С. Н. Кампиони, Наташа, Ася, Тania и я, А. М. Поццо (присоединившийся из Москвы к нам позднее), да Варечка (дочь С. Н. и В. К.), да Миша, брат Аси, помощник лесничего, старая Асина нянюшка, приходящий священник, да наезжающие из волости; и да — не забуду уютные вечера в небольшом белом домике, куда приходили (обедать и ужинать); все, бывало, В. К., только-только вернувшийся после объезда лесов иль с охоты, облокотится на стол очень грузными и большими руками, расчесывает кудластую бороду, наклонившись над шахматами, и задумывается над ходами Аси; вспоминаю я что-нибудь: а Наташа, и Танечка, и С. Н. Кампиони — внимают; а в окнах — луна; и пора уже спать: но расходиться — не хочется.

Лето казалось значительным: будущее стояло в тумане; чувствовался отрыв от Москвы; предстояло зимою там жить; оставались без денег мы; и откладывалось решенье — при первой возможности убежать за границу, чтобы писать мне роман, чтобы Асе окончить ее курсы гравюры; предстоящая жизнь мне казалась неустойчивой и чреватой конфликтами (может быть, с Метнером).

Я писал том "Заметок" об Африке (том второй); в стихотвореньях моих того времени — ожидание: чего-то большого, придвинутого вплотную к душе; переписывался я охотно лишь с Блоком да с М. К. Морозовой, звавшей к себе нас, в имение.

Не могу не отметить переживаний предчувствия: эти места — Луцк, Боголюбь, Торчин через три года попали в громовую полосу русско-австрийского фронта; летом же 1911 года не указывало ничто на войну; а какое-то беспокойствие нас всех охватило; и — да: на прогулке, в полях, очень явственно мы (я, Наташа и Ася) прислушивались к явственным глухим рокотам грома, иль грохота отдаленных орудий, напоминающих гремение телеги по вымощенному шоссе.

— Слушай...

— Слышишь?

— Гремит?

— Да — гремит.

Гром? Безоблачно небо. Орудие? Да откуда? Телега проехала по дороге? Дорога, пустая — протянута в даль. Нет источника грохота, а — погромьхивает. Слышу — я, слышит — Ася, Наташа — прислушивается среди порхающих васильков и уже созревающей наклоненной пшеницы; вот — грохнуло; обрывается наш разговор; мы молчим: ру-ру-ру...

— Слышишь?

— Да, да: погромьхивает!

Что это было? Мы слушаем: но — от этих вот роц листоплясом похаживать примется ветренник, ветер: свистун, — пронесется, засвищет далекие грохоты; и ясногогорый закат объясняет пространства под облаком: ясной сёмью перстов разгасится над облаком; неугасимо нам светит; и — начинаются замерки; мы возвращаемся с поля, прислушиваясь к полету времен; уже фыркают лошади; мчится в ночное мальчишка, верхом, растопырившись пятками ног: он промчался, бросааясь локтями, размахивая рукою веревкой — гоп-гоп — мимо нас. И — все тихо; и — грохнуло...

Раз уж в сумерках вовсе шли около дома мы — с поля; и стлалася уже сине-серая дымка июльского вечера, на приступочке белого домика, выходящего одной стороною в стволы, друтую — в поля, — на приступочке загорельй, большой и кудластый В. К. Кампиони, "позитивист", вечный скептик, — мы видим: сконфуженно чешет затылок, поглядывая украдкой на нас:

— Что, Володя?

— А черт знает что: вот ведь — черт: подъезжает телега; гремит колесом; выйду я, жду — пожду — нет телеги... Гремит... Что за черт?..

— Мы давно это слышали.

— Слышали?

— Слышали.

— Что же: гремит?

— Да: гремит!

И В. К. Кампиони, полусконфуженный и рассерженный, разводит руками: и плюнув, уходит в свой белянский домик.

Описываю восприятия грохота здесь, в этих мирных полях, как предчувствие грохота, долженствовавшего здесь разразиться; впоследствии домик лесничего, маленький домик наш и тот большой, через год лишь отстроенный дом, — все разрушено было: австрийскими пушками (здесь погибли и книги мои, и коллекция безделушек из Африки); годы здесь длились бои; но предчувствия будущих грохотов, слушали мы с Кампиони за четыре года до грохота.

Общее впечатление лета: *гремящая тишина*; тишина — зрела "громами": упавшей эры; гремело не здесь, а над миром; и можно уже было слушать тяжелые поступи будущих лет. Стихотворения, мне слагавшиеся в то лето, — призывные, боевые:

И опять, и опять, и опять —  
Пламенея, гудят небеса...

И опять, и опять, и опять —  
 Меченосцев седых голоса.  
 Над громадой лесов, городов,  
 Над провалами облачных гряд —  
 Из веков, из веков, из веков —  
 Полетел меднобронный отряд.  
 Выпадают громами из дней...  
 Разрывается где-то труба:  
 "На коней, на коней, на коней"...  
 Разбивают мечами гроба<sup>45</sup>.

Стихотворение написано в Боголюбых под впечатлением грохота, слышимого порою в полях: мной, Асей, Наташею и В. К. Кампионы, — среди безоблачных июльских небес, когда ни телега, ни бричка не разгромляла дороги.

Грохотала грядущими бедами атмосфера России; и мы — грохот: слышали!

Часто я возвращался в ту пору к стихотворениям Блока; звучали мне строчки:

Я слушаю рокоты сечи  
 И трубные крики татар,  
 Я вижу над Русью далече  
 Широкий и тихий пожар<sup>46</sup>.

И писал я:

Тяжелый, червонный крест —  
 Рукоять моего меча<sup>47</sup>.

Ощущалось, что мы — *"дети страшных годин"*. А. А. Блок, как поэт *"страшных лет"* к нам придвинулся в это лето. Вдобавок же: в нашем домике с Асею начинались спиритические явления (трески, шаги, огоньки), что сердило В. К.; явления продолжались более месяца.

Осенью мы гостили у М. К. Морозовой<sup>48</sup>; и потом поселились с Асею под Москвой, около станции Расторгуево<sup>49</sup>; раз в неделю являлся в Москву я, бывал в *"Мусагет"*; и тотчас бросался назад: прочь из города. Иногда — москвичи приезжали: Наташа, иль Метнер, или Петровский, иль Поццо.

Не стану описывать сосредоточенной *"расторгуевской"* жизни с возвратными медитациями о *"путях"* и о жизни; интересовались Блаватской и Штейнером мы: между тем: подготовлялись *"Труды и дни"*<sup>50</sup>, мусаетский журнал; Александр Александрович Блок вызвал к жизни его; он сумел убедить Э. К. Метнера в необходимости появления *"дневника"* трех писателей; но увы: *"Мусагет"* со всей грузной компанией *"комитета"*, где мистик Н. П. Киселев постоянно противился влиянию Степуна, Яковенко<sup>51</sup>, а православный Рачинский боролся с католиком Эллисом, с Метнером (протестантом) — увы, видел я, что журнал трех писателей-символистов заранее обречен на провал; руководство журналом не терпит медлений; я значился там редактором; но *"de facto"* ко мне на буксир прицепили почтеннейший тормоз; идея *"журнала"*, который мог быть (дай Иванову, Блоку иль мне *"carte blanche"*) *новым словом* культ-

уры, а *priori* превращался: в скучнейшее учреждение (так журнал очень скоро зачух); им почти пренебрег я; и идее А. А. деспотичнейший Метнер не мог дать свободы. В осенние месяцы эти "*Труды*" были подлинно душевным балластом. Мне помнится мое общение с С. И. Гессеном, приехавшим готовить второй № "*Логоса*", обосновавшимся в "*Мусагете*", где он принимал в определенные дни и часы; с ним легко было; он оказался хорошим редакционным товарищем (не как Метнер: я видел уже, что мне с Метнером невозможно работать).

В ту пору же я получил официальное предложение от "*Русской Мысли*" (от Струве и Брюсова): написать к январю им не менее 12 печатных листов нового моего романа<sup>52</sup>; и я — согласился, приготавливаясь писать "*Петербург*": на работу же я смотрел как на срочный и твердый заказ, не допуская мысли о непринятии текста редакцией; к тому времени моя авторская физиономия была уж достаточно всем известна, особенно Брюсову, редактору литературного отделения "*Русской Мысли*", с которым ближайше работали мы шесть лет очень тесно в "*Весех*"; что же касается Струве, то он меня звал, как писателя, написавшего "*Серебряный Голубь*", имевший успех в кругу близких участников "*Русской Мысли*" (Булгакова, Бердяева, Гершензона); и стало быть: мне заказывая роман, на меня полагался он; на написание романа смотрел, как на долг перед журналом; а долг был — тяжелый; в течение менее чем трех месяцев, написать и отделать художественно 12 печатных листов, т.е. кроме процесса создания по крайней мере переписать раза три все написанное; после третьей отделки лишь можно бы было к печати сдавать; за всю эту работу я должен был 1000 рублей к Рождеству получить, как аванс; в наличности же — не было денег (от "*Мусагета*" я получал 75 рублей в месяц; и на прожитие вдвоем — не хватало).

Помнится мне, как согнувшись с утра до ночи, я писал в Расторгуеве с тяжким сознанием, что у меня накопился 3000-ый долг "*Мусагету*", который бы мог ликвидировать я, предоставивши "*Мусагету*", во-первых, распроданные "*Симфонии*" и стихи; во-вторых — "*Путевые заметки*" (2 тома, совсем не плохих и написанных только что); но Метнер а *priori* невзлюбил "*Путевые заметки*" (их кисло, медлительно набирали года, чтобы после сбыть "*Сирию*"<sup>53</sup>); не печатали и распроданных книг, подчеркивая вместе с тем, что я должен 3000: со мной "*Мусагет*" поступил негуманно, меня заставляя мой долг отрабатывать новыми произведениями (статьями и пр.), которых не мог в это время я дать, потому, что процесс написания "*Петербурга*" в ту пору не позволял мне сосредоточиваться на чем бы то ни было.

Переживал очень трудные дни; а в голове созревали невоплотимейшие проекты: освободиться, отделаться; и — отправиться куда-нибудь на восток; приобрел я Бедкер<sup>54</sup> (*Месопотамию*, *Сирию*) и изучал все пути по Евфрату и Тигру, мечтая отправиться с Асей туда; это было совсем невозможно; но невозможней казался остаться в Москве, в кабале, в неприятностях, в суетах, в "*злобах дня*". В месяц отписывал я по пяти печатных листов трудной прозы, что — очень много; и кроме того: мне для заработка устроили лекцию<sup>55</sup> (в первый раз — в свою пользу!); она поддержала: немного; и все-таки: над-

вигалось безденежье; я был должен работу над *"Петербургом"* оставить; и — помышлять о газетах (нежеланьем перепечатывать уже распроданные произведения и задержкою *"Путевых заметок"* сажал меня на мель тот именно *"Мусагет"*, о котором провозглашалось: "Вы знаете, *"Мусагет"* существует ведь для Андрея Белого!" Так думал Иванов; и — многие очень).

Вдруг получаю из Петербурга письмо: от А. А.; пишет он: слышал о денежных затруднениях моих; и о том, что предстоит очень трудная ответственная работа мне, которая требует сосредоточенности; он же после отца получил небольшое наследство; поэтому просит принять он меня взаймы 500 рублей, которые ему ничего не стоит послать, но которые могут, быть может, меня поддержать в моей трудной работе. Письмо все — проникнуто очень большой деликатностью; и отказать уже А. А. я не мог; на сердечную, дружелюбную помощь со всей простотою сердечно ответил: принятием помощи; да — я нуждался; три месяца сосредоточенной работы над *"Петербургом"* не мог бы я вынести, если бы не заем у А. А.; мне ведь *"Русская Мысль"* не дала ни гроша; между тем мне поставила ряд условий; и кроме того: мне назначила унижительный гонорар (чуть ли не 75 рублей за лист прозы, в то время, как Л. Андреев за лист получал ведь не менее 1000); назначая тот нищенский гонорар, В. Я. Брюсов посмеивался надо мною в присутствии Аси:

— Борис Николаевич: у *"Русской Мысли"* — нет денег. Тому плати, этому... надо кого-нибудь поприжать... Вы же, вы человек — неземной... ну скажите мне: для чего деньги вам? Если уж прижимать кого, то конечно же — вас!

Так присылка мне Блоком 500 лишь рублей была стимулом возникновения *"Петербурга"*. Поэтому А. А. Блока считаю я: вдохновителем *"Петербурга"* и подлинным автором восстания к жизни его.

И писал регулярно я, разделивши 12 печатных листов, или 200 печатных страниц, на три месяца (должен был не менее 3 раз, переписывая, переделять текст); положил я себе: каждый день отрабатывать не менее 20 страниц (письменных): хочешь не хочешь — пиши; и — писал.

Уж с конца октября наступил такой холод на *"расторгуевской"* даче, что с Асей ввалились в Москву мы<sup>56</sup>: в квартирочку Поццо, где обитали Наташа и Таня (в Шестом Ростовском); ютились в одной очень маленькой комнатке; все-таки: не было денег почти; и работал я (проживая последние деньги) до нервного переутомления; А. А. Рачинская пригласила в Бобровку нас, где пробыли мы почти весь декабрь, где оканчивал я переделку 14-ти, а не двенадцати листов *"Петербурга"*.

Попали (теперь уже с Асей) в все те же старинные комнаты; хмурились те же ели; портреты немеющих предков Рачинского (в лосинах, в робронах) глядели на нас из черневших от времени рам: утром, вечером, днем; Асе было немного и грустно, и жутко в тишающем доме; поскрипывали по вечерам половицы; казался ей: ходят — предки; мне помнится: Ася сидит у окна (что-то шьет) в очень-очень просторной столовой; я, около стены сижу, сторбленный, перечеркивая раз в четвертый исписанные страницы, или читаю ей, только что переделанное, или же мы углубляемся в книги по оккультизму;

уже темнеет, а в окнах метет: громче, громче гремят вихряные рога; громче, громче невеста метель завивается в окнах и снегом, и ветром; и хлещет крылами, насвистывая безглагольную песню свою; и — темнеет совсем; где-то рядом проходят с огнем: пятна света по потолку побежали, остановились, застыли; затеплим мы свет с ней; и — разговариваем о том, что надвигается что-то большое-большое-большое на нас; или слушаем поступь событий.

В последние дни пребывания в Бобровке присоединился Петровский к нам; мы втроем коротали морозные, эти декабрьские дни; надвигалось Рождество; и мы тронулись (кажется вместе) — в Москву<sup>57</sup>.

По приезде в Москву "*Русской Мысли*" предоставил я до 14-ти печатных листов, возлагая надежды на злополучную 1000; и увы: 1000 не получил; получил лишь уклончивые ответы от Брюсова, что роман мой сперва подлежит рассмотрению Струве (в моем же сознании о цензуре здесь не могло быть и речи); да, да: предпочли "*Петербургу*" длиннейший роман Абельдяева<sup>58</sup>; от Струве же — получил я письмо, что "*Петербург*" он не может печатать в журнале; и — даже он, Петр Бернгардович, был бы весьма опечален, если бы вообще появился роман где-нибудь: тут мне жаль стало — Струве: отказ напечатать роман огорчил меня, с денежной стороны: обманули меня; заказали и — отняли только рабочие месяцы, не заплатив ни гроша; мы с Асей остались почти что голодными — с половиною "*Петербурга*". Считаю: роль Брюсова в этом деле отнюдь красотою не блещет<sup>59</sup>.

С этого времени к Брюсову у меня водворилось одно отношение: шапочного знакомства.

Да: грустное Рождество встретил я; все надежды на деньги исчезли: негодование Булгакова, сватавшего меня с "*Русской Мыслью*", не утешало меня: сочувствие сердечного, чуткого человека, когда почти нечего есть, — что оно значит? А "*Мусагет*" — не пришел мне на выручку; так мы встретили Новый Год. Тут позвал нас Иванов к себе; и мы с Асей охотно отправились к Вячеславу: на "*башню*".

## В глухом ресторанчике

В январе в тридцатиградусный колкий мороз мы приехали в Петербург<sup>60</sup>; отправились тотчас на "*башню*" Иванова и оттуда поехали за вещами: в гостиницу, потому что Иванов с пленительным гостеприимством, которому противостоять невозможно, перетащил-таки нас; мы на "*башне*" и зажили; не изменилось ничто здесь: господствовали те же нравы; вставали, когда зажигались огни; и ложились спать — утром.

Мне было на "*башне*" легко; Ася быстро сошлась с Вячеславом Ивановым; перешучивалась с ним, мотая кудрями, а он добродушно над нею подтрунивал; я любил видеть их, как они наклонялись над шахматами, забывали все в мире, — по вечерам, на софе. Так к чаю являлся Кузмин; приходил Гумилев, в это время женившийся на поэтессе Анне Ахматовой; приходил очень часто Явойлов (Княжнин), остроумный, глубокий и тонкий; и приходил

добродушный Верховский; звонился изысканный, брызжащий откровениями духовными Недоброво; стихотворениями Недоброво я тогда увлекался; являлся Скалдин; заводилась А. Н. Чеботаревская в комнатах; буйствовал словом профессор Аничков; и — прочие: в этот приезд наиболее замечательным мне казался Недоброво; и пленял своей чуткой мудростью, понимаемь, писатель Княжнин.

Отказ Струве печатать роман *"Петербург"* произвел здесь сенсацию; негодовали по адресу Брюсова; и меня поддержали морально: Иванов устроил на *"башне"* ряд чтений моих, которые имели успех среди писателей; из присутствовавших на чтениях помню: Аничкова, Кузмина, Гумилева, Ахматову, Городецкого, гр. А. Н. Толстого (с женою), Недоброво, Княжнина, Пяста, И. В. Гессена<sup>61</sup>, С. И. Гессена; В. И., проф. Е. В. Аничков мне оказали в те дни очень дружескую поддержку, подчеркивали, чтобы я не бросал *"Петербурга"*, что он — настоящее, крупное произведение русской литературы; Ф. К. Сологуб, у которого с Асей обеды мы, мне сочувственно выказал солидарность, естественно негодуя на Брюсова и подчеркивая, что *"Андрей Белого"* подвергать цензуре — нельзя (он впоследствии рекомендовал *"Петербург"* одному из издательств, какому — не помню); забракование *"Русскою Мыслью"* романа уже становится *"притчею во языцех"* и выглядело *"скандалом"* оно не для меня, а для Брюсова; с той поры начинаю я получать предложения отовсюду: о напечатании *"Петербурга"*; поддержка Иванова и Аничкова мне давала возможность: продать *"Петербург"*, ликвидировать денежный кризис.

И кстати сказать: *"Петербург"*, то заглавие романа придумал не я, а Иванов: роман назвал я *"Лакированную каретю"*; но Иванов доказывал мне, что название не соответствует *"поэме"* о Петербурге; да, да: Петербург в ней — единственный, главный герой; стало быть: пусть роман называется *"Петербургом"*; заглавие мне казалось претенциозным и важным; В. И. Иванов меня убедил-таки назвать мой роман<sup>62</sup>.

Все это время мы с Асей бывали: у Сологуба, у Городецких, у Аничкова, у Гумилева. И отношение к нам было всюду радушное, теплое. Прожил в Петербурге четыре недели (а Ася поехала ранее — готовиться к отъезду: в Москву); я прочел две публичные лекции; и прочел свои лекции в *"Обществе ревнителей художественного слова"*<sup>63</sup>: *о ритмике русского пятистопного ямба и о стихиях в поэзии Тютчева, Пушкина, Баратынского*; кроме того: я участвовал в происходившей полемике меж символистами и акмеистами на волновавшую тему: *есть ли символизм, развиваемый нами, лишь школа в искусстве, иль — мирозерцание*; помнится вечер: с Ивановым мы произнесли декларацию символизма (докладами: эти доклады впоследствии появились в № первом *"Трудов и дней"*<sup>64</sup>): Гумилев, Чудовской и Кузмин нас оспаривали.

Разумеется: первые же вопросы мои, обращенные к В. Иванову, обращались к Блоку: что он, и — можно ли его видеть? Иванов сказал, что Блок пробегает обычную полосу мрачности (полосы эти порой на него нападали); он-де затворился от всех, никого не пускает к себе; его видеть — нельзя.

Вместе с тем: в В. Иванове я заметил какую-то сдержанность по отношению к Блоку: какое-то сдержанное стеснение — что ли; он выражался туманно и смутно; я понял одно: с Блоком — что-то неладно; я знал, что Блок летом предпринял с Л. Д. путешествие за границу<sup>65</sup>; и побывал он в Берлине, в уютнейшем Кельне, в Париже, что жил он в Бретани, купаясь в океане; Европа произвела впечатление на него очень-очень "чудовищной бессмыслицы": "В каждом углу Европы уже человек висит над самым краем бездны"<sup>66\*</sup>. В конце сентября 1911 года вернулся он в Питер. Теперь начались увлечения его мрачным гением Стриндберга<sup>67</sup>; с этим последним его познакомил В. Пяст; и мне думается, что все приближало А. А. к глубочайшему впечатлению от Стриндберга: чувство гибели, ощущение гонений переживали мы все в эти годы; так: мрачность А. А. происходила от изживания тем, приближающих к Стриндбергу.

Раз у Иванова невзначай сорвалось: "Блок же *пьет* — *пьет* отчаянно!" Я не расспрашивал Вячеслава Иванова о бытовой стороне жизни Блока; казалось, что все-все-все располагало к тому, чтоб мы встретились с Блоком; но встречи с А. А. в Петербурге теперь затруднялись тем обстоятельством, что, находясь с Любовью Дмитриевной в ссоре (года не видались уже), не мог посетить я А. А. у него на квартире; писать же ему и выпрашивать встречу — нет, нет: не хотелось.

Увидевши Пяста вполне получил подтверждение, что А. А. — очень мрачен; недомогает, и — затворился от всех (впрочем с ним, с В. А. Пястом, встречался он изредка), что А. А. уже слышал об этом приезде моем и хотел повстречаться, но очень просил никому не промолвиться о желании этом, особенно Вячеславу Иванову; к Вячеславу Иванову А. А. чувствовал охлаждение, о чем гласят строчки стихов, посвященных В. Иванову и написанных в этот же год: в них, строчках, вспоминает он прошлое, пережитое с Ивановым (вероятно то — 1906 — 1907 года, нас с А. А. разделившие):

Из стран чужих, из стран далеких  
В наш круг вступивши снеговой,  
В кругу безумных, темнооких  
Ты золотою встал главой.  
Слегка согбен, не стар, не молод,  
Весь — излученье тайных сил,  
О, скольких душ пустынный холод  
Своим ты холодом пронзил<sup>68</sup>.

Намечается в Блоке — здесь явственное разочарование в Иванове; и вместе с тем: разубеждение в годах, выдвигавших "мистический анархизм", на который так пламенно мы, москвичи, нападали когда-то. В те годы А. А. спел с *Ивановым стих*:

... И напн души спели  
В те дни один и тот же стих.

\* Из писем к матери.

Во всех домыслах Вячеслава Иванова, обращенных по адресу Блока, я чувствовал: грусть. Отчуждение это казалось мне продолжалось года...

Через несколько дней после тихого, уединенного разговора с В. Пястом я получаю чрез Пяста (украдкою) небольшую записку, в которой А. А. приглашает меня на свидание в небольшом и глухом ресторанчике (где-то около Таврической улицы<sup>69</sup>); я в условленные часы прихожу; ресторанчик убогий, но совершенно пустой, — располагал нас к уюту; я вижу А. А. ждет меня; он — единственный посетитель — встает из-за столика: с очень приветственным жестом; одет он в просторный и скромный пиджак был, подобный тому же, в котором я видел его год назад. Он осунувшийся, полбденный, но весь возбужденный какой-то (в Москве возбуждения этого не было в нем) ко мне обратился; что-то в облике его переменилось; остались вполне лишь "глаза" (усмиренные, ясные, добрые); стиль его отношения ко мне узнавал безошибочно я: по глазам и губам; и — потому-то в воспоминаньи о нем рисовался он мне то повернутым в профиль, то подставляющим "face". Когда нечто лежало меж нами, что нас отделяло, не видел я детских, больших голубых его глаз; мне казались они зеленоватыми, серыми, полуприщуренными; и не видел я этой пленительной, над лицом восходящей улыбки, а видел кривую улыбку; или — надменно сомкнутые губы. Так с первого взгляда, мной брошенного на А. А., понял я, что меж нами все те же хорошие отношения и что мы бы могли разговор наш последний в Москве продолжать, точно он был вчера. Между тем: в моей жизни свершались крупнейшие перемены; в его жизни? — Что-то происходило с ним (я видел то). Но так уже устанавливалось между нами: события личные наших жизней не задавали теперь всей тональности встреч (прежде было не то); обстановки встреч, лиц, разделявших нас, не было; из бессмертного, неперемennого центра, из "Я" в "Я" другого глядели мы, будто души, тела, оперение переживаний подсолнечных, красочность их, — отлетели уже; и будто бы мы из-за граней сражающей смерти, из вечно засмертного (где нет ни красок, ни образов) смотрим друг на друга. Глухой ресторанчик, иль блестящий зал, Москва, Петербург или Шахматово, Европа иль Азия, или Марс, иль Сатурн — помню много моментов меж нами, когда не имели б значенья для тем разговоров, которые мы вели, эти малые или большие перемещения места; все — призрак: при-зрение, т.е. то, что вокруг прилипает к глазам (ресторанчик, квартира иль улица — то, что стоит "у лица"); действительность — действия наши — выносятся на улицу нас; но улица — то, что стоит "у лица", что не может уйти от лица, что *прилично: отлично где?* Да, да: зрение есть созревание; "зрак" есть "зерно"; — *созревание* — зрение с кем-нибудь вместе; *созреет* лишь тот, чьи глаза отвечают глазам.

Этот скромный ресторанчик, его желтый крашенный пол, освещаемый желтым светом, коричнево-серые стены с коричнево-серыми полинявшими шторами и с прислуживающим улыльым и серым каким-то лакеем (с опущенным правым плечом и привздернутым левым), — тот серенький ресторанчик скорей подходил к разговору, чем эти сиянские оперенья природы, или блестящая, переполненная военными зала у Палкина, где когда-то мы встретились вместе раз; стиль нашей встречи теперешней был — стилем *"страшного мира"* (из третьего тома стихов); да, мы не были ныне уже дети *"Божии"*, как когда-то нас кто-то назвал: дети *"страшных лет"* жизни России — несли бремя страхов.

Мы руки пожали друг другу, поцеловались и обнялись; я сердечно благодарил А. А. за оказанную им денежную поддержку; А. А. стал отмахиваться:

— Ты, Боря, пожалуйста не думай о возвращении денег; отдашь, когда сможешь; мне ведь осталось от отца небольшое наследство; его хватит мне... Если бы я нуждался, а ты бы мог помочь мне, то неужели же не помог бы?..

Мы сели: Блок, тихо склонившись, подробно выспрашивал об истории с *"Русской Мыслью"*; при упоминании о роли Брюсова в этом, он стал усмехаться:

— Валерий Яковлевич, ну конечно же — верен *себе*...

История не удивила его; А. А. Блок никогда не подвержен был склонности: переоценивать Брюсова; этой склонностью мы страдали в Москве; каюсь, я сколько раз лез из кожи вон провозглашать замечательным человеком его; и со сколькими я перессорился из-за Брюсова; в 1904 году А. А. назвал его *"математиком"*, т. е. тем, кто измеряет и взвешивает: строчки, рифмы, размеры, способности, переживания души: примеривает и не только при-меривает, считает, рас-считывает, про-считывает и порою в метафорическом смысле об-считывает; отношение к Брюсову в нем создалось искони *"ироническое"*; мы, естественно, разочаровавшиеся в Брюсове после лавров, которыми мы венчали его, переходили в противоположную крайность; А. А. был спокойнее, может быть, справедливее к Брюсову; зная, на что он способен, он все-таки в пору нападков на Брюсова отмечал в нем действительность поэта и все-таки, очень незаурядного, крупного человека:

— Да, да, — у Валерия Яковлевича по отношению к тебе проявилась тут лишь обычная его *"магия"* — так он сказал мне; и глаза его иронически лишь заблуждали по столикам, и застыла улыбка, как будто бы он говорил:

— Не рассказывай: знаю, все знаю.

Более, по-моему, не понравилось ему поведение Струве; шутя, мне припомнил он мой же рассказ ему, как нас, Общество Свободной Эстетики, Брюсов, его председатель, гнал в качестве главного директора Литературно-Художественного Клуба, прижимая к груди свои руки и слезно жалуясь И. И. Трояновскому и Серову (на заседании Комитета Эстетики):

— Знаете ли, Иван Иванович, — они гонят нас вон: говорят, будто бы невыгодно им сдавать помещение нам.

И в ответ на печальную жалобу приходящего в отчаянье Брюсова относящийся более чем мягко к нему Трояновский не мог не воскликнуть:

— Позвольте же, Валерий Яковлевич, да кто ж гонит нас: вы? Вы ведь главный в Кружке?

И действительно: в это именно время В. Я. наводил экономию на финансы Кружка и себя самого (вместе с нами) изгнал из каких-то расчетов: директор Кружка, В. Я. Брюсов, гнал основателя общества и председателя В. Я. Брюсова; и на поступок директора Брюсова по отношению к председателю Брюсову огорченно, взволнованно жаловался он "Комитету Эстетики"; помню я едкий и полный сарказма вид В. А. Серова, который, как помнится, произнес, тихо-тихо, сквозь зубы:

— Что ж коли гонят, тут ничего не поделаешь: надо приискивать помещение.

И действительно, что можно было поделывать В. Брюсову, когда гнал-то его тот же Брюсов: "*Кружковский*" — "*Эстетского*".

Этот-то случай и рассказал я А. А. в его бытность в Москве; он тогда рассмеялся; ужасно понравился случай, характеризующий Брюсова:

— Весь Валерий Яковлевич тут вылился, — сказал мне А. А.; и теперь, по поводу случая с бракованием "Петербурга" в пользу громоздкого абельдяевского романа, А. А. принялся мне шутливо оправдывать Брюсова:

— Ведь Валерий Яковлевич играет: бескорыстно совсем из любви к искусству — не более, делает он, — тут А. А. употребил очень крепкое слово, которое в переводе на менее крепкое выражение означало "поступки не подходящие к кодексу обычной морали"... Но Струве считал он ответственной, потому что — "*общественник*" Струве (Брюсов в смысле общественности был сознательно и намеренно беспринципен); к общественности относился А. А. в это именно время серьезно и строго; и от "*общественников*" он требовал многого. В воспоминаниях Княжнина отмечается, что как раз в это время (в конце 1911 года: разговор же наш происходил в начале 1912-го) А. А. увлекался общественностью; Княжнин пишет: "*А. А. скупил целую серию революционных книжечек, выпущенных в предшествующие годы...* В статье своей "*Памяти Августа Стриндберга*" А. А. отмечал, что "*ему хочется назвать старого Августа*" — товарищем. С этим словом "связаны заветные мысли о демократии, это — самое человеческое имя сейчас"<sup>70</sup>. Потому-то отказ П. Б. Струве печатать роман, специально заказанный мне, отнимавший все время без гарантии оплаты труда, — этот резкий отказ он считал *необщественным* поступком общественника. Не поведение Брюсова возмутило его, а поведение "Русской Мысли", как органа "*общественной мысли*" по отношению к писателю-бедняку. Разбирая поступок тот, вдруг рассердился он; и меж бровей его появилась глубокая складка.

Перейдя снова к Брюсову, весело он рассмеялся. И на минуту проснулся теперь "*юморист*" былых лет; в наших встречах последних уже не было в нем того юмора легкого, — появился оттенок сарказма в юмористических всплывших: сам юмор стал гуще, тяжелей, мрачней.

Скоро мы перешли на его состояние сознания; и я передал ему, что крутом говорили о том, как он мрачен и как удаляется он от людей.

— Это, Боря, и так, и не так... Тут ведь были другие причины. Я, видишь ли, болен был...

Стал мне рассказывать он, что в последнее время он вдруг занемог; и сперва все не мог осознать непонятного недомогания; даже подумал, что заразился одной неприятной болезнью; доктора подозревали сперва ту болезнь, ему сделали впрыскивание; лишь потом обнаружилось, что болезнь — совершенно иная (на почве нервов); и он успокоился:

— Видишь, это совсем ведь не то, что тебе обо мне говорили...

И он посмотрел на меня грустным взглядом; и улыбнулся, слегка отвернувшись, — пустым столикам;

— Из вот этого моего рассказа ты можешь сейчас заключить, что за жизнь я веду.

И опять посмотрел на меня вопросительно, грустно; тряхнув головой, протянулся к стакану вина.

— Да, я — пью... И да, — я увлекаюсь: многими!..

И опять поворот головы: и улыбка — в гардины.

Тут он начал рассказывать мне о характере своей жизни и о причинах, которые его толкают периодами к тому образу жизни, могущему показаться беспутным; он говорил о "цыганщине", как одной из душевных стихий; и под всеми его словами, во всем столь не свойственном для него возбуждении, проступала глубокая грусть человека, терявшего внешнее равновесие вовсе и что-то увидевшего в областях "Мира-духа", но вовсе не там, где ожидал он увидеть (не в заре), а в потемках растоптанной и в тень спрятанной жизни; из всего, о чем он говорил, вырывался подавленный окрик: "Можно ли себя очищать и блюсти, когда вот кругом — погибают: когда — *вот какое кругом!*"

В эти года А. А. увлекался цыганами; М. А. Бекетова пишет о лете 1912 года: "*И в это лето, как всегда, он слушал цыган. По поводу концерта Раисовой он пишет: "У цыган, как у новых поэтов, все странно". Год назад Аксюша Прохорова пела: "Но быть с тобой и сладко и странно". А теперь Раисова поет: "И странно, и дико мне быть без тебя"*"<sup>71</sup>. В этот период у него было много встреч с женщинами; вот отрывки из писем к матери: "*Мама, ко мне вчера пришла Гильда. Меня не было дома, когда пришла девушка, приехавшая из Москвы, и просила меня прийти туда, куда она назначит... Ей 20 лет, она очень эживая, красивая (внешне и внутренне) и естественная. Во всем до мелочей, даже в костюме — совершенно похожа на Гильду, и говорит все, как должна говорить Гильда*"<sup>72</sup>. Или: "*Я нашел красавицу еврейку, похожую на черную жемчужину в розовой раковине*"<sup>73</sup>...

Эти многие появления женщин пред Блоком вместо утраченной, прежней одной, происходили в атмосфере "страстного" состояния сознания его, в визге цыганского напева и часто весьма: "*за бутылкой вина*".

Из хрустального тумана,  
Из невиданного сна  
Чей-то образ, чей-то странный...  
(В кабинете ресторана)

за бутылкою вина.)  
Визг цыганского напева\*  
Налетел из дальних зал,  
Дальних скрипок вопль туманный...  
Входит ветер, входит дева  
В глубь исчерченных зеркал<sup>74</sup>.

Мне известно, что в жизни Блока бывали встречи не только с аллегорической "Гильдою", относительно которой, пожалуй что, можно сказать:

Взор во взор — и жгуче-синий  
Обозначился простор<sup>75</sup>.

Были встречи — без "взора во взоре"; был и —

Красный штоф полинялых диванов,  
Пропыленные кисти портьер, —

— после которых А. А. внутренне восклицал:

Разве дом этот — дом в самом деле?  
Разве так суждено меж людей?<sup>76</sup>

К этой-то стороне его жизни и относились слова его, сказанные мне в сереньком ресторанчике, когда он улыбнулся в полуобороте — пустым столикам:

— Из вот этого моего рассказа ты можешь сейчас заключить, что за жизнь я веду.

Он подчеркивал: в сфере стихий внешней жизни подвержен он всяким случайным опасностям, неприятностям — вплоть... до...до заболевания; он пытался, весьма возбужденный, мне сделать понятным, естественным, почему *это* так, не иначе: и почему-то — судьба его, которую он принимает смиренно; и в визге, и в свисте метели, в объятиях бесшабашного ветра слагались поверхности этой мучительной жизни (отсюда же особое тяготение к Аполлону Григорьеву); между тем: в тайниках этой жизни отслаивались огромные и чреватые мысли о новой России "дите": *"В музыке мирового оркестра, в звоне струн и бубенцов, в свисте ветра, в визге скрипок — родилось дитя Гоголя. Этого ребенка он назвал Россией"*<sup>77</sup>. Или: *"Среди нас появляются бродяги... Можно подумать, что они навсегда оторваны от человечества, обречены на смерть. Но бездомность и оторванность их — только видимость. Они вышли, и на время у них "в пути погасли очи"; но они знают вельняе тишины"*.

Или: *"Это — ... пляска тысячеокой России, которой уже терять нечего; всю плоть свою она подарила миру и вот, свободно бросив руки на ветер, пустилась в пляс"*. Или: *"Вот русская действительность — всюду, куда ни оглянешься — даль, синева и щемящая тоска неисполненных эселаний"*<sup>78</sup>. Или

---

\* Курсив всюду мой.

в своей замечательной статье *"О современном состоянии русского символизма"* он пишет: *"Так или иначе лиловые миры захлестнули и Лермонтова... и Гоголя...; еще выразительнее то, что произошло на наших глазах: безумие Врубеля, гибель Комиссаржевской; недаром так бывает с художниками сплошь да рядом, — ибо искусство — чудовищный... Ад; из мрака этого ада художник выводит свои образы. Так, Андрей Белый бросает в начале своей... повести...вопрос: "А небо? А бледный воздух его, сперва бледный, а коли приглядишься, вовсе черный воздух"... Но именно в черном воздухе Ада находится художник, прозревающий иные миры"*<sup>79</sup>.

Этот *черный его пронизающий воздух*, который так естественно напугал меня в 1904 году, во время шахматовой прогулки с А. А. (в поле), — окончательно окружил А. А. в 1912 году; *голубая тишь* сквозь *лиловые миры* тома второго стихов предвещали теперь подхождение А. А. к рубежу, к роковому порогу: к порогу, делящему душу от Духа; недаром боялся я в 1905 году погружения в *лиловые* отсветы его *"Ночной фиалки"* (разговор у него в кабинете). О тех пахнущих лилово-зеленых тонах из *"Нечаянной Радости"* я писал уже; цвет лиловый встречается и в статьях того времени (1906 года): *"Всадник видит молочный туман с фиолетовым просветом"*. Или: *"Узнавший это счастье будет вечно кружить по болотам... в фиолетовом тумане"*... Или: *"Самый страшный демон нашептывает нам теперь самые сладкие речи: пусть вечно смотрит сквозь болотный туман прекрасный фиолетовый взор Невесты"*.

Недаром же в 1905 году увлечение *фиолетовым тоном* меня за А. А. испугало: через шесть лет уже те *вдыхания тона* в себя у А. А. ведь исторгли горчайшую фразу о состоявшемся в нем опознании этого красочного оттенка: *"Лиловые миры захлестнули и Лермонтова... и Гоголя"*. *От них погибли: и Врубель, и Комиссаржевская*.

Все это мне вспомнилось в разговоре с А. А.; и подумывал я: *"Лиловые* те миры завели его в ночь". Ночь казалась порогом и испытанием; припоминались слова Минцловой о губящих нас силах; и о *враге*, нас губящем; я знал: увлечение А. А. Стриндбергом, автором *"Ада"*, есть притяжение к человеку, переживающему очень родственное А. А.; этот ад и все *преследующие, все черти*, с ним связанные, в представлении моем объяснялись как испытание порога, откидывающего наше брэнное "Я" от духовного "Я"; под влиянием этих мыслей я начал рассказывать Блоку историю моей внутренней жизни за эти последние годы: и попытался раскрыть ему мной составленный взгляд на *черта*, попутавшего и меня, и его, и Л. Д., и С. М. Соловьева когда-то; я попытался ему передать все события странные, происходившие со мною в то время и неизменно толкавшие меня к поискам строгого морального братства ищущих пути; я ему рассказал все, что можно, о встрече с исчезнувшей Минцловой, о руководстве ее над моими *"духовными уприсненями"*; передал и ее уверение, будто бы за нею стоят *"посвященные"*; рассказал о болезни ее и таинственном исчезновении ее; рассказал, как прощаясь со мною, оставила мне она кольцо с аметистом, сказав, что когда придут ко мне люди от Духа и спросят о *кольце*, то его показав им, найду я путь Духа; я ему передал, как

ждал сперва *встречи* я; но — не было встречи; и я ничего уже не жду от таинственных "*посвященных*". Я рассказывал много А. А. об исканиях Аси путей, о теософии, пути посвящению: словом, — рассказ этот был моей исповедью пути пред А. А., долженствующей поддержать его, чтоб он видел, что состояние покинутости, им испытанное, — тоска пред *порогом* судьбы.

А. А. слушал с глубоким вниманием, склонив голову: выслушав он сказал: — Да, все это отчетливо понимаю я; и для тебя, может быть, — принимаю... А для себя — нет, не знаю: не знаю я ничего. И не знаю: мне — *ждать*, или не *ждать*. Думаю, что ждать — нечего...

Вероятно А. А., мне внимавший сочувственно и встречавший у Стриндберга те же искания, связанные с духовной наукой, потом говорил своей матери о характере моего устремления того времени, потому что М. А. Бекетова пишет: "В феврале 1912 года приехал в Петербург Б. Н. Бугаев. Саша выдался с ним не раз. Эти свидания, состоявшиеся после долгих перерывов, после многих миновавших разногласий, скрепили связь между Блоком и Белым, который тогда связал уже свою судьбу с Штейнером. Лично Блоку теософия была чужда; он писал матери: "Теософия в наше время, по-видимому, есть один из реальных путей познания мира. Недаром ей предаются самые разнообразные и очень замечательные люди во всей Европе"<sup>80</sup>.

В этих словах есть неточности; к Штейнеру я подошел только в мае; если бы в феврале кто-нибудь бы спросил меня, захотел ли бы я подойти, связал ли бы я судьбу близко с Штейнером, категорически я бы ответил: "Нет, нет!" К теософии же чувствовал склонность. И еще: с А. А. Блоком я виделся раз всего; но свидание это мне стало значительней многих свиданий: оно мне дало ключ к "*Блоку*" тогдашнего времени: многочасовой разговор очень много открыл мне; и верю: *скрепил наши связи*. Открылось раз навсегда мне, что связывало А. А. с мрачным гением Стриндберга, что диктовало стихи его третьего тома, такие, как "*К музе*", "*Двойник*", "*Песнь Ада*", "*Идут часы, и дни, и годы*", "*Осенний вечер был*", "*Унижение*", "*Демон*", "*На смерть младенца*" и "*Жизнь моего приятеля*". И другие.

Между прочим А. А., наклонясь надо мной, облакачиваясь рукой на спинку убогого стула (ведь вот же, я — помню), какого-то желтого, как полы ресторанчика, осведомлялся заботливо о течении болезни "*Серези*" (С. М. Соловьева), который переживал в эти месяцы очень трудный, критический и ответственный момент личной жизни; события для него очень тяжкие так расстроили нервную систему его, что уже он три месяца находился в лечебнице Лахтина (в ней семь месяцев он отстрадал)<sup>81</sup>; даже нас не пускали к нему; я старался А. А. передать все, что знал, что до нас доходило от страдающего С. М. Соловьева; А. А. слушал меня с напряженным вниманием; и в глазах его вспыхнуло прежнее теплое чувство к любимому прежде и близкому троюродному брату; А. А. спрашивал много об Эллисе; но мы Эллиса в октябре проводили торжественно за границу; он так собирался, как фанатический правоверный мулла собирается в Мекку: поехал он к Штейнеру (вечер прощальный происходил у Астрова, где душой размягченному Эллису говорили речи; пришел между прочими провожавшими и Веселовский, Ю. А.)<sup>82</sup>;

с этих пор Эллис канул и больше не появлялся; не появлялся в России он; из Берлина же он посылал нам: восторженнейшие и подробнейшие описания разговоров и встреч своих с Штейнером; я описал содержание писем А. А.; он — внимал; и потом, вдруг откинувшись и опустивши глаза, принялся очень медленно стряхивать пепел с своей папиросы; вздохнул и сказал:

— Да, вот, — странники мы: как бы ни были мы различны, — одно нас всех связывает: мы — странники; я, вот (тут он усмехнулся) застранствовал по кабакам, по цыганским концертам. Ты — странствовал в Африке; Эллис — странствует по "мирам иным". Да, да — странники: такова уж судьба.

И еще усмехнулся: и мы — замолчали: тут, грянула в совершенно пустом ресторане нехстати — машина; какой-то отчаянный марш; и лакей, косоплечий (одно плечо свисло, другое привздержнулось), подошел и осведомился, не нужно ли нам чего; кто-то там, в уголке жевал мясо; газ тусклый мертвенно освещал бледно-желтые плиты пола и серо-коричневое одеяние стен; там, за стойкой сидел беспредметный толстяк, надувал свои щеки; и вдруг выпускал струю воздуха из толстых, коричневых губ; делать нечего было ему; он — скучал: слушал марш; и мы — слушали тоже: молчали.

Молчание это в паршивеньком уединеннейшем ресторанчике мне казалось — значительным; чувствовал: Петербурга и нет; нет — проспектов, нет тел; нет и душ; мировое пустое космическое пространство (с иллюзией ресторанчика); и в нем два сознания, духовно вперенных друг в друга: от "Я" к самосознающему я.

Мы — молчали: А. А. мне казался, как в 1910 году — не прямым, а каким-то в движениях раскоряченным, потерявшим всю прежнюю, изысканную, светскую статью; об утрате былого, такого блестящего вида А. А., в воспоминаниях своих повествует и Зоргенфрей<sup>83</sup>: "В дальнейшем перестал он и дома носить черную блузу; потом отрекся, кажется, и от последней эстетической черты; и вместо слабо надушенных неведомыми духами папирос стал курить папиросы обыкновенные. Правда, внешнее изящество — в покрое платья, в подборе мелочей туалета сохранил он на всю жизнь. Костюмы сидели на нем безукоризненно и шились, по-видимому, первоклассным портным. Перчатки, шляпа "от Волье". Но, убежден, впечатление изящества усиливалось во много крат неизменной и непостижимой аккуратностью, присущей А. А... Никогда — даже в последние, трудные годы — ни пылинки на свежее-выгуженном костюме, ни складки на пальто, вешаемом дома не иначе, как в расправку. Ботинки во всякое время вычищены; белье безукоризненной чистоты; лицо побрито и невозможно его представить иным..."

Сколько мы просидели с А. А. — не упомню: но помню, что разговор перешел на мои отношения с Асей: А. А. меня спрашивал, — что, доволен ли я путем жизни; и узнав, что доволен, как будто бы он удивился; но — ничего не сказал.

Вместе вышли на улицу мы; была слякоть; среди грязи и струек, пятен фонарных и пробегающих пешеходов с приподнятыми воротниками (шла изморозь) распрощались сердечно мы; в рукопожатии его, твердом, почувствовал я, что сидение в сереньком ресторанчике *по-особенному* нас сплотило;

я думал: "Когда теперь встретимся?" Знал я, что мы с Асею вырвемся из России надолго.

Запомнился перекресток, где мы распрощались; запомнилась черная, широкополая шляпа А. А. (он ей мне помахал, отойдя в мглу тумана, и вдруг повернувшись); запомнилась почему-то рука, облеченная в коричневую лайковую перчатку; и добрая эта улыбка в недобром, февральском тумане; смотрел ему вслед: удалялась прямая спина его; вот нырнул под приподнятый зонтик прохожего; и — вместо Блока: из мглы сырой ночи бежал на меня проходимец: с бородкою, в картузе, в глянцевах калошах; бежали прохожие; проститутки стояли; я думал: "Быть может, вот эта вот подойдет к нему..."

Мне захотелось остаться совсем одному; не хотелось на "башню", к интересным речам Вячеслава Иванова, думалось: будет спрашивать он:

— Ну где же ты был? Что ты видел?

Тут неожиданно очутившись пред чайной, свернул я в нее; и — спросил себе чаю: и не прошло получаса, как старый картузник, богоискатель, уже за меня зацепился; возник разговор между нами; картузник меня угостил: поднес водки; и не позволил платить; подчинился я: выпил; и на прощание: облобызались мы.

Возвращаясь на "башню", я все вспоминал о судьбе А. А.; чувствовалось, что трагедия, о которой в литературных и поэтических кругах говорить бесполезно, подкралась к А. А., что стоит у "порога" он. Между тем: кажется в этом году был А. А. исключен из тогда лишь сформированного "цеха поэтов"<sup>84</sup>; за непоявление в "цехе поэтов" без уважительных причин (а может быть, произошло это годом ранее).

## "Любовь и Россия" в третьем томе у Блока

Примиреньем кончается второй том стихов Блока иль символическим браком Елены и Фауста; рождается ныне дитя их — стремление, Эвфорион<sup>85</sup>, пыл; и об этом стремленьи поэт говорит:

Их тайный жар тебе поможет жить.

Это есть жар пылающих строчек, — тот жар, о котором иные из нас говорили: "цыганицина"; но не "цыганщина" это, а жар жизни Блока.

Меняется образ видения Той, про Которую в прошлые годы сказал он: Она — приближается; в первом томе Она гласит ясной Софией, сопровождаемой своею душевной тенью, иль образом Дамы священной, Царицы, читающей золотыми заставками писанную Глубинную Книгу; Царица — отображение духовного существа; Ее тень на земле, Ее чувствительный образ, есть образ истомной красавицы девушки, Гретхен; Царевны.

Так образ растрояется в первом томе стихов.

В третьем томе стихов осеняет Ее новый образ: является Богоматерью, которую отражает щит светлый воина; щит этот — солнечный; видит Женой, облеченную в солнце Ее.

Богоматерь является строчками третьего тома; и шествует скорбно перед гробом усопшей девицы во образе, в лике образа: "Утоли моя печали"; тень в сфере душевной Ее есть Россия, душа; Блок вперется в душу народа, как Гоголь; он любит Ее, как Ей верный жених; и — как сын. Эта девушка, Гретхен, Царевна, — воистину отражение русской жизни: теперь для него каждодневная жизнь русской женщины (может быть — Магдалины)<sup>87</sup>, которая — в темном грехе, как и в святости — может быть, есть Елена Прекрасная; в третьем томе стихов есть Елена, порою — цыганка; порою — Кармен, Карменсита.

Блок ныне уже национальный поэт: всей земли и всей толщи народа; он — даже: поэт традиционного народничества нашего; перекликаются с ним Есенин и Клюев; с последним считается он; он находится с Клюевым в действенной переписке<sup>88</sup>; поэты народные близки ему (в противоположность поэтам акмеистической школы); он — понял: Россия вынашивает особую тайну в своем отношении к Богоматери, к Ней; в образе Богоматери и снисходит София к России; он понял: интернационал есть тогда только братство, когда гармонически сочетаются *народные души*, не утеривая стихийного лика народа; коль нет, — всякий "интер" становится — "интер" лежащим<sup>89</sup> и разделяющим души народов: он — преткновенье, препятствие, скелет Мертвеца, мертвецы загрызают его.

Елена — Россия: Россия — жена; и — невеста; и — мать; он в раздоре с абстрактно живущею интеллигенцией; он указывает: организм органичен ее, когда он движется вместе с народом, в народе; интеллигенция без народа есть ветвь без корней; она стала сухою корягою; против нее поднимает он голос уже с 1908 года; и да: ощущает интеллигенцию Разумом, *манасом*<sup>90</sup> иль умом, соединившимся со стихиями, где стихии — народ; интеллигент есть Разумник<sup>91</sup> иль — "Манас"-ович: Чело Века.

Ее приближение к жизни — приятие *русской народной действительности, народной души*; нет ни суммы, ни мысли: приятие Существа (Grande Etre)<sup>92</sup>, огласимого философской системой, где Герцен, Лавров, Михайловский<sup>93</sup> и Федоров пересекутся с Владимиром Соловьевым и с Шеллингом — в будущем: русская действительность — тело Ее, ныне нами ломимое; к Ней обращался и Гоголь: "Какая же тайная сила влечет к Тебе!" К Ней простирается жизнь А. А. Блока, припавшего к плачу о праведности русской женщины; тут, влюбляясь в глаза, может он восклицать: "не тебя я так пылко, так кротко люблю; Ту люблю я в тебе, что взирает из глаз твоих".

Лермонтов, Гоголь, Некрасов и Соловьев теперь цельно, по-новому пересекаются: и прорезывается воистину Русский.

Божья Матерь "Утоли Моя Печали"  
Перед гробом шла светла, тика,  
А за гробом в траурной вуали  
Шла невеста, провожая жениха.

Был он только литератор модный,  
Только слов кощунственных творец,  
Но мертвец — родной душе народной:  
Всякий свято чтит она конец.  
.....  
Словно здесь, где пели и кадили,  
Где и грусть не может быть тиха,  
Убралась она *фатой из пыли*\*.  
И ждала иного жениха<sup>94</sup>.

*Фата пыли* не кажется маской; он ласково внемлет и пылью засыпанной жизни; и говорит с состраданием:

Не подходите к ней с вопросами,  
Вам все равно, а ей — довольно:  
Любовью, грязью иль колесами  
Она раздавлена — все больно<sup>95</sup>.

И — да: "*любовь — жалость*" есть мудрая жалость; змеиное жало его укусило; он — болен прекраснейшей жалостью; знает он — коли жалости нет в "*несказанной*" любви, то любовь подменяется противоположным: становится лишь в сердце вонзаемым "*каблуком*".

Так вонзай же, мой *ангел вчерашний*  
В сердце — острый французский каблук<sup>96</sup>.

Высшие тайны без жалости деются низкими кощунствами; кощунственность ведает сердце поэта; то — опыты, живущие в нем. Незнакомка — планетою, трупом, луной, мертвым солнцем отягощает сознание; и магией манит; *луна* должна выпасть из сердца, чтоб встретиться с нею, как с внешне представленным видением мертвеца, мертвым спутником жизни: противоположностью Той, Прекрасной; и встречей с кощунственным противоположением готовится для поэта второе явление Стража Порога; в науке духовной эта встреча имеет название *встреча со Львом*<sup>97</sup>.

Лев есть образ сердечный и женский; и испытуемый переживает: да, стены его обиталища — пали; в отверстие стен — входит *Лев*; надо выдержать это — *проклятие зверя* и ярость его: без испуга; бежать? Некуда! Зверя, грозящего съесть, надо силою приручить: превратить его в женщину, возвращаемую в сферу света.

В "*Нечаянной Радости*" — только признаки приближения *Льва*: ангельский образ Ее — подменен.

Люблю Тебя, Ангел-Хранитель, во мгле,  
Во мгле, что со мною всегда на земле.  
За то, что ты светлой невестой была,  
За то, что ты тайну мою отняла.  
.....  
За то, что не можем согласно мы жить,  
За то, что хочу и не смею убить.

\* Курсив всюду мой.

.....  
С тобою смотрел я тогда на зарю.  
С тобой в эту черную бездну смотрю<sup>98</sup>.

Да: подмена Хранителя ликом Губителя подготавливается медленно: умирает Хранитель ("покоишься в белом гробу"):

Золотистые пряди на лбу,  
Золотой образок на груди.

Смерть — совершившийся факт: да, она лишь — "*картонной невестой* была", или трупом, еще продолжающим после смерти ужасную *упыриную* жизнь; труп по смерти своей наливаясь кровью плотнеет, встает (точно панночка в "*Вие*"); он есть восковая и страшная кукла, живущая за счет нашей жизни (оттуда — сюда) сладострастьем; "*Клеопатра*" — дальнейшее изменение подмененного Ангела; то — Незнакомка (покоишься в белом гробу):

Она лежит в гробу стеклянном,  
И не мертва, и не жива,  
А люди шепчут неустанно  
О ней бесстыдные слова.

И она говорит:

— Кадите мне. Цветы рассыпьте.  
Я в незапамятных веках  
Была царицею в Египте.  
Теперь -- я воск. Я тлен. Я прах<sup>99</sup>.

И вычерчивается: образ великой блудницы; поэт же к блуднице склоняется с жалостью; он понимает: теперь сквозь нее проступает лик Ведьмы, умершей, кощунственно овладевающей своим собственным трупом. Да: есть "*Незнакомка*" и есть "*незнакомки*"; последние — русские женщины, вполне одержимые Незнакомкою, чудовищно обуреваемой послесмертной истомою сладострастия. Та, страшная, действует "*суккуб<sup>100</sup>*" из незнакомок; образом "*страшной Музы*"; но то — испытание: *встреча со Львом*.

Тут же небо поэта меняется; да: небо первого тома — *лазурное, с розово-золотой* атмосферой зари; небо тома второго — есть серое небо с *лилово-зелеными* отсветами.

Небо третьего тома (эпохи второго порога) есть черное с брызжущей *желтою, желто-рыжей* зарею; *желтое с черным* иль *черное с золотом* в третьем томе глядит отовсюду —

— "В эти *желтые* дни меж домами мы встречаемся только на миг. Ты меня обжигаешь глазами и скрываешься в темный тупик". Или: "Сожжено и раздвинуто бледное небо, и на *желтой* заре — фонари". Или: "В *черных* сучьях дерев обнаженных *желтый* зимний закат за окном..." Или: "В *желтом* зимнем огромном закате..." и т.д. *Желтый* цвет с *черным* цветом везде сочетаются в *желто-черное*, или же в *золото-черное*; например —

— "Бледно *золото* твое!.. Вдруг замашет страстной болью *черным крыльем воронье*..." Или: "И только сбруя *золотая* всю *ночь* видна..." Или: "И утра первый луч звенящий сквозь *иселтых* штор..." "Она" — *рыжая*:

Розы — страшен мне цвет этих роз,  
Это — *рыжая* ночь твоих кос<sup>101</sup>.

Или:

Но как ночью тьмой сквозит лазурь,  
Так этот лик сквозит порой ужасным,  
И золото кудрей — *червонно-красным*,  
И голос — рокотом забытых бурь<sup>102</sup>.

И глаза ее отливают тем цветом:

Глаз молчит *золотистый и карий*,  
Горла тонкие ищут персты...  
Подойди. Подползи. Я ударю —  
И, как кошка, ощериться ты<sup>103</sup>.

Видение ощерившейся, большой кошки (иль Льва) выступает в *оранжевых* желтых тонах; эта кошка *порога* его соблазняет:

Знаю, выпил я кровь твою...  
.....  
Будет петь твоя кровь во мне<sup>104</sup>.

Соблазняя, внушает: убийца, поверив на миг — содрогается:

Я стою среди пожарищ,  
Обожженный языками  
Преисподнего огня...<sup>105</sup>

Зовет в Ад:

Схожу, скользя, уступом скользких скал.  
Знакомый Ад глядит в пустые очи<sup>106</sup>.

Совсем обречен:

Склонясь над ней влюбленно и печально,  
Вонзить свой перстень в белое плечо.

Любовь-бой — начинается (испытанием Льва):

В *иселтом*, зимнем огромном закате,  
Утонула (так пышно) постель...  
Еще тесно дышать от объятий...  
.....  
Ты — смела! Так еще будь бесстрашной!  
Я — не муж, не жених, не твой друг!  
Так *вонзай эсе, мой ангел вчерашний*,  
В сердце — *острый французский каблук*.<sup>107</sup>

Удар Льва — удар в сердце; она собирается — доконать: "И меня, наконец, уничтожит твой разящий, твой взор, твой кинжал"; над крутом "ужасного" мира встает словно лик его Музы:

Есть в напевах твоих сокровенных  
Роковая о гибели весть.  
Есть проклятые заветов священных,  
Поругание счастья есть<sup>108</sup>.

Вступает с Ней в бой:

Подойди. Подползи. Я ударю  
И, как кошка, очеришься ты<sup>109</sup>.

Бой естественно превращается в обуздание женского лика:

И мне страшны, любовь моя,  
Твои сияющие очи.<sup>110</sup>

Удивителен, и певуч, и прекрасен взор женщины; тут удивительные все слова о глазах и о взглядах —

— вот она обдает из очей "молчаливым позисаром"; во взоре ее "жгуче синий" простор; глаза — "страшная пропасть"; сверкает в них "ужас" старинный; глаза ее "ищут добычу"; во взгляде же "демон"; "когда ты сощуришь глаза, слышу, воеет поток многопенный, из пустыни подходит гроза"; "твой ядовитый взгляд"; взор горит на щеке — до того, что боится, "чтоб черный взор... проснувшись, камня не прожиг" (что же станет со щекой, на которой горит этот взор?); просветляется он, становится ярким: "ослепительные очи", "источник сияющих глаз"; и глаза начинают "смеяться"; "непостижимые" эти глаза; "твой быстрый взор... меня обжог и ослепил"; "звезды... глаз"; бьют поэта "светящими" взорами и т.д. К свету глаз прибавляется звук ее голоса; и — цыганка, визжит, щерясь кошкой: "Монисто брэнчалю... цыганка... визжала заре о любви"; "дивный голос твой, низкий и странный, славит бурю цыганских страстей"; голос этот вливается в жесты; звучат ярким космосом жесты ее: "песня плеч... до ужаса знакома"; ее "одичалая прелесть" становится "как гитара, как бубен вдали"; ее голос уносится в "отчизну скрипок запредельных".

То — укрощение Льва; усмирение хаоса древнего ясной мелодией мира, восстание женского образа, вампиру подвластного, в жизнь души мира, в жизнь космоса; звучит песня сфер мировыми оркестрами; все — полно звуков —

— "Дальних скрипок вопль туманный" "в вопле скрипок"; "танец в небесной черни звенит и плачет"; "где-то пели смычки о любви"; где-то "песня зурны", где-то "стонет зурна"; в ушах — "нездешний странный звон"; этот звон мелодически преобразует и звуки будней; рожок автомобиля и он — "поет"; винты аэроплана "поют, как струны"; дождик становится "звуком стеклянным"; все наполняется музыкальными звуками, мягкими звуками

струн, а не рогов, как в "Снежной маске": "Сдружусь со скрипкою певучей" "слушать скрипок... звуки"; "И воля дирижера по арфам ветер пронесла"; "отчизну скрипок запредельных"; "и скрипки, тая и слабя, сдаются бешеным смычкам"; "натянулись гитарные струны"; "смычок запел"; сердце поэта трогается "нежной скрипкой"; сама душа становится напряженной, "как арфа"; она становится лирой: "и лира поет"; эти звуки, звуки пресуществляемой страсти к женщине, пресуществляемой пресуществлением, эти звуки становятся уж не страшными, а родными и неземными: голосом Души:—

— "чтобы звуки, чуть тревожа легкой музыкой земли, прозвучали, потопили, и в иное увлекли"; "иное" — любовь к просветляемой женщине, восстающей из гроба; здесь уши становятся полными "странным звоном": "услышит полет... планет"; и в полете уж явственно: "арфы спели: улетим" из мира страсти: "Звенело, гасло, уходило и отделялось от земли".

В этом плачущем, струнном и мелодично расширенном мире души разбрасывается морок, объявляющий женщину; суккуб бросает ее; одержимая женщина пробуждается Карменситою:

Как океан меняет цвет,  
Когда в нагроможденной туче  
Вдруг польхнет минувший свет,  
Так сердце над грозой певучей  
Меняет строй, боясь вздохнуть,  
И кровь бросается в ланиты,  
И слезы счастья душат грудь  
Перед явленьем Карменситы<sup>111</sup>.

С ней:

Летим, летим над грозной бездной.

И тогда:

Тем лучезарнее, тем зримей  
Сияние Ее лица<sup>112</sup>.

Так сама она отнимает прочь испытания: и является душой народа, которой остался поэт в страстях личных своих всегда верен.

Грешить бесстыдно, непробудно,  
Счет потерять ночам и дням<sup>113</sup> и т. д.

Следует перечисление грехов русской жизни, которые рассеяны по ряду стихотворений: вплоть до "Двенадцати". Вот грехи:

Эх, эх попляши!  
Больно ножки хороши!..  
В кружевном белье ходила —  
Походи-ка, походи!  
С офицерами блудила —  
Поблуди-ка, поблуди!  
.....

Гетры серые носила,  
Шоколад Миньон жрала,  
С юнкерьем гулять ходила —  
С солдатьем теперь пошла?

Эх, эх, согреси!  
Будет легче для души.

Увидал он страданья русской души в душе "Катьки", которую любил огромной любовью и мудрым сознанием знает: над гробом, в который насильственно заколочена Катька, стоит Божья Матерь; в поклоне святыне (святыне Катьки), поэт перекинулся с Гёте, изображающим "Синюю тайну" Мадонны<sup>114</sup>, стоящей среди грешниц: Марии Египетской<sup>115</sup>, Магдалины и Гретхен, всех трех разрешает Она от греха. Гретхен девушка, или — невеста, которая в первоначальной поэзии Блока цвела; и потом подурнела ("Ночная Фиалка") теперь умерла:

Она веселой невестой была.  
Но смерть пришла: она — умерла.

Гретхен его есть душа, о которой сказал:

Любовью, грязью, иль колесами  
Она раздавлена — все больно<sup>116</sup>.

Оправдывает многолюбивое сердце поэта ее. Грешница же вторая есть Магдалина, со страусовым пером, "Незнакомка", цыганка с бокалом Аи, или Катька; и Магдалину любовью оправдывает сердце поэта.

Великая грешница есть Мария Египетская: Египтянка, иль Клеопатра, опасная сладострастием магии, встающая от одра и грозящая в сердце вопить острое каблука: это — Лев.

Говорит же и ей всепрощающе сердце:

Да, и такой, моя Россия,  
Ты всех краев дороже мне<sup>117</sup>.

Он — узнал: "Клеопатра" с ума давно сошедшая Катька, вообразившая Клеопатрой себя; она, бывшая верной женой Катериной (женою Данилы), — отображенье России; но страшный колдун, вызвавший чарами душу ее, переместил эту душу в воск мумии; а поэт отходил ее; Катерина (или бывшая Катька) проснулась; за ней в ее ад, как Орфей, нисходил посвященный в тайну поэт; извлекая из тьмы ее, подвергал себя стрелам невидимых глаз:

Тем и страшен невидимый взгляд,  
Что его невозможно поймать;  
Чуешь ты, но не можешь понять,  
Чьи глаза за тобою следят<sup>118</sup>.

Ощущение мстительных и невидимых глаз, вероятно, приблизило Стриндберга к Блоку; и ощущение это господствовало в пору встречи последней моей с А. А. (в 1912 г.).

”Глазами” или ”глазом” Клингзора<sup>119</sup> испорчена Катерина до Катьки, до... Клеопатры; поэт — любит сглаженную; в ней ответ России:

Да, и такой, моя Россия,  
Ты всех краев дороже мне!

Или:

Тебя жалеть я не умею,  
И крест свой бережно несу...  
Какому хочешь чародею  
Отдай разбойную красу!  
Пушай заманит и обманет, —  
Не пропадешь, не сгинешь ты.  
И лишь забота затуманит  
Твои прекрасные черты.  
Ну что ж? одной заботой боле —  
Одной слезой река шумней,  
А ты все та же — лес и поле,  
Да плат узорный до бровей<sup>120</sup>.

Отчитывает бесноватую он: дух злобы слетает с нее; ”Лев” приручен; он — только женщина, только жена, ”Катерина”.

Das Unbeschreibliche  
Hier ist getan!  
.....  
И невозможное возможно,  
Дорога легкая легка,  
Когда блеснет в дали дорожной  
Мгновенный взор из-под платка.  
— Когда звучит тоской острожной  
Глухая песня ямщика.

Возможно — да, да! — невозможное, когда всю свою душу отдашь в волю жизни народа, и душу народа полюбишь в душе ”Катерины” — любовью небесной: когда и виноватой, и грешной, поклоняешься в ноги (не ей, а святыне, в нее заключенной), когда на лице восковом Клеопатры увидишь не смерть, — летаргический сон живой девушки.

Ты покоишься в белом гробу.  
.....  
Золотистые пряди на лбу,  
Золотой образок на груди.

Образ Богородицы ”Утоли моя Печали” или, может быть, — образок ”Умилениа” (Понетаевской Божией Матери)<sup>121</sup>.

Эта прядь такая золотая,  
Разве не от прежнего она? —  
Страстная, безбожная, пустая,  
Незабвенная, прости меня<sup>122</sup>.

И она просыпается; и она — только русская женщина: скажет...  
Вернись ко мне...

И поймет, что в поклоне греху ее — действует Сын человеческий:

И пусть другой тебя ласкает,  
Пусть множит дикую молву:  
Сын Человеческий не знает,  
Где преклонить свою главу<sup>123</sup>.

Пусть душа преклоняется к... стойке:

Душа моя, душа хмельная, —  
Пьяным пьяна, пьяным пьяна<sup>124</sup>.

Уничижением до "стойки" Орфей земли русской находит дорогу к сердцам обреченных и павших.

Так силой невидимой приручается "Лев" и все павшие поднимаются к жизни:

Обнимет рукой, оплетет косой,  
И статная скажет: — здравствуй, князь!<sup>125</sup>

Свершится

О, нищая моя страна,  
Что ты для сердца значишь?

О, бедная моя жена,  
О чем ты горько плачешь!<sup>126</sup>

Слезы же — светлые.

Силой необъяснимой, до которой еще не возвышался поэт, зазвучали слова о России его: он же Русский; Разумный; в нем русское Чело-Века; и да: за поэзией троек, за странными звуками песен иная, нездешняя сила звучит:

Чтобы звуки чуть тревожа легкой музыкой земли,  
Прозвучали, потонули, и в иное увлекли<sup>127</sup>.

Слышится Интеллигент (с большой буквы), имеющий право свидетельствовать об интеллигенции; в голосе его о России теперь — звуки голоса Посвященного; и Посвященный сквозь муки падения, ужасы личной жизни гласит; вся трагедия в том, что в себе не познал посвячительных звуков и третьего испытания не вынес поэтому: оно стало — смертью его.

Сила строк его не — "цыганщина" вовсе.

Стихотворение: к нему эпитафия романа: "Не уходи. Побудь со мною. Я так давно тебя люблю. Тебя я лаской огневою и обожгу и утомлю". Как разгрызается в нем лейтмотив этих слов? А вот как:

Я огражу тебя оградой,  
Кольцом живым, кольцом из рук<sup>128</sup>.

Что же следует далее?

Подруга, на внезапном пире,  
Помедли здесь, побудь со мной.  
Забудь, забудь о страшном мире,  
Вздохни небесной глубиной.

Глубиною небесной отчитывает цыганку поэт; и в цыганщине освобождает он связанное огневое начало любви, которое — Неопалимая Купина; нет, недаром Мария Египетская — искупляема.

Тайна неведомого приобщения к небу совершается в миг, когда в пошленьком, переполненном ресторане увидел ее он — Марию Египетскую:

Я сидел у окошка в переполненном зале.  
Где-то пели смьгчки о любви.  
Я послал тебе черную розу в бокале  
Золотого как небо Аи...  
И сейчас же в ответ что-то грянули струны,  
Иступленно запели смьгчки...  
Но была ты со мной всем презрением юным  
Чуть заметным дрожаньем руки.  
.....  
Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала.  
И бросая, кричала: — лови!  
А монисто брэнчалю, цыганка плясала,  
И визжала заре о любви<sup>129</sup>.

Прочитывали ли мы стихотворение правильно? Поэт посылает цветок ей; она отвечает презрительно: "Этот — влюблен". В другом плане (в зеркальном) из глуби зеркал откликается тайна, ей не видная, на священные тайны влюбленности, словами цыганских романсов ("Не уходи. Побудь со мною. Я так давно тебя люблю"). Но в поэте они откликаются словом:

Забудь, забудь о страшном мире:  
Вздохни небесной глубиной.

Глубь зеркал — глубь небесная подсознания женского, чующего перед собою его:

Мой любимьй, мой князь, мой жених!..

В облике посетителя ресторана она увидела протягивающего ей, грешнице, руку — Его:

Подруга, на вечернем пире,  
Помедли здесь, побудь со мной.

Стихотворение об "Аи" после смерти поэта прочитано было с амвона священником, силою сана удостоверившего святыню "цыганщины" Блока. Воистину: сила "цыганщины" этой священной и чистой любви. Этой

*силой любви* и пронизаны строки стихов о России, которую видит он полоненную чарами женщиной русской; а в русской женщине (во многих) он силой любви переживает любовь к Той, одной Душе Русской:

Россия, нищая Россия  
Мне избы серые твои,  
Твои мне песни ветровые, —  
Как слезы первые любви<sup>130</sup>.

Или:

Человеческая глупость  
Безысходна, величава,  
Бесконечна... Что ж, конец?<sup>131</sup>

Так спрашивает душа его в "*страшном мире*" страстей.

И — ответ:

Нет... еще леса, поляны,  
И прогулки по шоссе,  
*Наша русская дорога,*  
*Наши русские туманы,*  
*Наши шелесты в овсе.*

И Россия:

Это — легкий образ рая,  
Это — милая твоя.

*Милая* третьего тома: страдающий, униженный до Катьки и оскорбляемый лик — лик России.

Единственный же соперник, с которым готов скрестить меч, — это Враг, унижающий Душу Народа. К нему и подводит сознание; с Ним не может не встретиться; видит мученье любимой России; и видит, что тайные чары, разлитые в атмосфере Ее, искажают красу Ее — в красу "*дико разбойную*", потому что она подвергается нападению, действующему извне, как нашествие *моря народов* (востока); и — изнутри как влияние гипноза; *злой глаз* Ее глазит:

*В собрании каждым людей*  
*Эти тайные сыщики есть*<sup>132</sup>.

"Они" — в подсознании; и оттого-то у русских —

*Развязаны дикие страсти*  
*Под игом ущербной луны*<sup>133</sup>.

Оттого и, —

Вздываются светлые мысли  
В растерзанном сердце моем,  
*И падают светлые мысли,*  
*Созисженные темным огнем...*

Иго темных огней искажает лик Руси, которая — сонное марево, где —

Чудь начудила, да Меря намерила  
Гатей, дорог да столбов верстовых<sup>134</sup>.

Но в тумане уже проступили "глаза": и о них говорит —

И глазами добычу найти  
И за ней незаметно следить.

За глазами вычерчивается самый лик Мстителя: это — монгол; Александр Иванович (действующее лицо моего "Петербургга") в бреду созерцает его на куске темно-желтых обой:

За море Черное, за море Белое,  
В черные ночи и в белые дни  
Дико глядится лицо онемелое;  
Очи татарские мечут огни.

Угрозу России В. С. Соловьев видел в монгольском востоке<sup>135</sup>; "панмонголизм" — символ тьмы, азиатчины, внутренне заливающей сознание наше; но тьма есть и в западе; и она-то вот губит сенатора Аблеухова в "Петербурге"; она же губит сына сенатора, старающегося при помощи Канга, реакционера в познании, обосновать социальную революцию без всякого Духа; татарские очи у Блока суть символы самодержавия, или востока; и символы социалодержавия, запада; здесь, как и там, одинаково "очи татарские" угрожают России.

Поэт волит битвы, общественной битвы с Врагом; и осознанием в себе воина приближается к тьме он третьего испытания порогом. В духовной науке та встреча имеет название: встреча с Драконом<sup>136</sup>.

Любовь к просто женщине русской возвышена в нем до влюбленности в лик единой России, как Женщины. Его, Дон-Жуана, любовь превращает в сурового воина; битва — общественность; так "общественник" в нем — порождение углубленного индивидуализма, в котором всегда индивидуум — организованный коллектив; индивидуальность, корней не пустившая в коллектив — субъективна всегда; субъективизм побежден ныне в Блоке; он — рупор огромного слоя сознаний; и изживанья его суть теперь настоящие символы нашей общественности (в глубочайшем значении слова).

И а ргіогі можно предвидеть, что бой за Россию он примет на поле общественности (так оно оказалось впоследствии); Враг обнаружится — здесь; он доселе таился, скрываясь за Кундри; и вот предстоит — бой с Клигзором<sup>137</sup>.

Еще в 1908 году, в пору подхода ко второму порогу, бросал уже вызовы "Куликовским Полям", где налагается на него доспех воина; было же это в тяжелое время; стихию России ближайших лет первый пророчески видит он, провозглашая, что бой приближается.

Не может сердце жить покоем,  
Недаром тучи собрались.  
Доспех тяжел, как перед боем.  
Теперь твой час настал. — Молись!<sup>138</sup>

— Что? О чем этот бред? — так могли бы воскликнуть все, погруженные в "зlobу журнального дня", — и неслышавшие подлинной зlobы: огромного гула грозы:

За тишиною непробудной  
За разливающейся мглой  
Не слышно грома битвы чудной,  
Не видно молнии боевой.  
Но узнаю тебя, начало  
Высоких и мятежных дней.

Дикие орды монгольские — чуются:

Я слушаю рокоты сечи  
И трубные крики татар,  
Я вижу над Русью далеке  
Широкий и тихий пожар.

Нота близкой катастрофы и в ней нота востока (монголов, татар) переживались и мною: в те именно месяцы — и писал "Петербург"; повторяются там темы Блока; в те месяцы я написал: "Великое будет волнение; рассеется земля; самые горы обрушатся от великого труса; а родные равнины от труса изойдут повсюду горбом. На горбах окажется Нижний, Владимир и Углич, Петербург же опустится"<sup>\*</sup>. И далее: "Бросятся с мест своих в эти дни все народы земные; брань великая будет, — брань небывалая в мере... Будет, будет — Цусима! Будет — новая Калка!.. Куликово Поле, я жду тебя!" И еще: "Если, Солнце, ты не взойдешь, то, о, Солнце, под монгольской, тязиселой плятою опустятся европейские берега, и над этими берегами закурчавится пена"<sup>\*\*</sup>. И еще: "Все прочее соберется к исходу двенадцатого; только в тринадцатом году... Да что! Одно пророчество есть: вон-мем-де... на нас-де клинок"<sup>\*\*\*</sup>. (Слова Степки<sup>\*\*\*</sup> Ошибся я: не к исходу тринадцатого, а к исходу четырнадцатого — все началось... Тема лихого "Монгола" проходит по воздуху; и Аполлон Аполлонович, Николай Аполлонович — монгольского рода; "монгол", одержавший Н. А. Аблеухова ("развязаны дикие страсти под иглом ущербной луны"), появляется перед ним в бредовом сновидении; и он сознает, что "монгол" — его кровь; ощущает туранца в себе, ощущает арийство свое оболочкою, домино; так "кровавое домино" (революция) есть покров, под которым таится туранец (восток, иль — реакция): "Так старинный туранец, одетый на время в арийское домино; быстро бросился к кипе тетрадок: ... тетрадки сложились в громадное дело: ... сплошное монгольское дело сквозило

\* "Петербург", глава вторая.

\*\* Idem.

\*\*\* Idem.

в записках\*\*», «в испорченной крови был должен вскормиться Дракон: и жрать пламенем все»... Аبلеуховы ощущают «монгола» — в себе; Александр Иванович Дудкин его ощущает — во вне, на обоях (галлюцинацией, преследующей его): «Химера росла — по ночам: на куске темно-зеленых обоев — настоящим монголол»\*\*\*. «Монгол» воплощается для него в негодяя Липпанченко: «Извините, Липпанченко: вы не монголы?» — спрашивает он Липпанченко; возвращаясь домой, на Сенатской площади слышит он «оглушающий нечеловеческий рев! Проблеставши рефлектором, неся, пыхтя керосином, автомобиль;.. и — зеленые, монгольские розы прорезали площадь»\*\*\*\*. Топоты конские раздаются уже над ночным Петербургом: «Пал Порт-Артур; зеленотлицыми наводняется край; пробудились сказания о всадниках Чингис-Хана... Послушай, прислушайся: топоты... из уральских степей. Это — всадники». Николай Аполлонович бросается к посетившему его туранцу; и поднимается между ними совсем бредовый разговор: «Кант (и Кант был туранец)». — «Ценность, как метафизическое ничто!» — «Социальные отношения, построенные на ценности» — «Разрушение арийского мира системною ценностями». — «Заключение: монгольское дело». Туранец ответил: «Задача не понята: параграф первый — Проспект». — «Вместо ценности — нумерация: по домам, этажам и по комнатам на вековечные времена». «Вместо нового строя зарегистрированная циркуляция граждан Проспекта». — «Не разрушение Европы — ее неизменность». — «Монгольское дело...»

Руководившая нота татарства, монгольства в моем «Петербург» — подмена духовной и творческой революции, которая не революция, а вложение в человечество нового импульса, — темной реакцией, нумерацией, механизацией; социальная революция («красное домино») превращается в бунт реакции, если духовного сдвига сознания нет, в результате же — статика нумерованного Проспекта на вековечные времена в социальном сознании; и — развязывание «диких страстей» в индивидуальном сознании.

Развязаны дикие страсти  
Под игом ущербной луны<sup>139</sup>.

Потому что слышны —

— рокоты сечи  
И трубные крики татар —  
— в нас !

В ресторанчике во время нашего разговора мы это поняли с Блоком; у нас был особый жаргон говорить о «монгольстве», которое было символом угрожающего Дракона.

А. А. осознает себя воином светлой Жены, Которой даны в Апокалипсисе два орлиных крыла (крыла разума), чтобы летела она от Дракона<sup>140</sup>; отображение Светлой Жены есть Россия для Блока.

\* Глава 5-ая

\*\* Глава 6-ая.

\*\*\* Глава 2-ая.

О, Русь моя! Жена моя! До боли  
 Нам ясен долгий путь!  
 Наш путь — стрелой *татарской, дикой* воли  
 Пронзил нам грудь.  
 Наш путь — степной, наш путь в тоске безбрежной,  
 В твоей тоске, о Русь!  
 И даже мглы — ночной и зарубежной —  
 Я не боюсь...  
 .....  
 И вечный бой! Покой нам только снится  
 Сквозь кровь и пыль.  
 Летит, летит степная кобылица  
 И мнет ковыль.

Предчувствие: и восстание будущих "скифов", и обнажение "меча", величайшей ответственности, — пред Россию; и — за Россию; меч был обнажен; это — "скифы", которые в десятилетиях будут загадкой еще разгадываться; "скифов" он призывает на бой: за Россию и мир; есть у них знамя светлое; они же — не варвары:

В степном дыму блеснет *святое знамя*  
 И *ханской сабли сталь*.

Лик, отражающийся в щите воина — Лик Богоматери:

И в тумане над Непрядвой спящей,  
 Прямо на меня  
 Ты сошла, в одежде свет струящей,  
 Не спугнув коня.

.....  
 И когда на утро тучей черной  
 Тронулась орда,  
 Был в щите Твоей лик *нерукотворный*  
 Светел навсегда.

Тайна сошествия Лика в щите — тайна, пока непонятная тем, для кого наше русское "скифство"<sup>141</sup> (не до конца понимаемое и русскими "скифами") литературное баловство иль (*horribile dictu*)<sup>142</sup> какое-нибудь политическое, иль партийное устремление (смешивали "скифов" с лево-эсерами!).

Меч им не выкован; через искусство А. А. заглянул за искусство; и за искусством увидел он жизнь свою, спаянную *кармой* с судьбой современников; в переживаниях биографической жизни своей изживал он трагедию целой России; в нем были узнания, до которых доходят лишь на духовных путях, когда предстают те узнания пред путем жизни духа, как страшные испытания пути, для которых естественно вооружение всем осознанным опытом жизни в духе, — осознанным не до конца А. А.; знания — были; и — осознания *знаний*, в отдельности взятых; осознания в самосознании — не было; не было потребности к точному знанию, которое становится ненасытимой жаждой; и отсюда-то: раздвоенье сознания, необходимое до известных пределов, — переходило границы; из созерцательного становилось оно раздвоенным в по-

ступках; переход к акту *жизненному*, вытекающему из духовного знания, и ответственен, и опасен: прыжок через пропасть он.

Два прыжка — удались; два порога по-своему были осознаны им (не отчетливо, правда); и — вот: в неотчетливом преступлении порогов обычного состояния сознания заложены и причины тумана сознания перед третьим видением порога, к которому он подступил преждевременно, не проработавши до конца свою личную жизнь; он вперился глазами в ужасного Вия, как — Хома Брут: не опустил своих глаз; и Вий — увидал его: *"Вот он"*. Толпы чудовищ обстали А. А. Он не справился с ними.

## Двойники

Дракон нападает теперь на А. А. со всех точек зрения; нападает со всех он миров и сторон: нападает — с духовного плана, с душевно-го плана, с физического<sup>143</sup>; появляется перед ним он во внутреннем мире; идет на него в мире внешнем: от Запада — на Восток; от Востока — на Запад; он в мире духовном — Дракон; он же в мире душевном есть Демон; в физическом мире он — низшее сознание Блока, отказывающееся от жизни:

Так падай перевязь цветная!  
Хлынь кровь и обagri снега...<sup>144</sup>

То, конечно же, — Арлекин тома первого (с глазами совы), который *"сбежал с горы и замер в чаще"* болот, городов, там слоняется по ресторанам он *черным человеком*, плачущим на заре, *когда "хмурое небо низко закрыло и самый храм"*; это он о себе заявляет, что — *"призвозжден к трактирной стойке"*, встает же он в образах внешней общественности, в образах государственного механизма, где действует лишь *"стальной интеграл"* или мертвое — упокоение *монголо-китайской реакции*; с Запада на Восток угрожает он образом страшного *"Сэра"* и *"Командора"*; с Востока на Запад грозится грядущими Гуннами: жечь города *"и мясо братьев жарить"*; отовсюду вздымается ужас Драконова испытания; Лев, женский образ, есть Люцифер (черт душевного мира); Дракон — черт духовного мира, иль — Ариман. Взматается — страшная туча: Дракон, Демон, Самоубийца, Пьяница, Арлекин, Интеграл, Монгол, Сэр — все, все обступают поэта; справиться с *бесовскою силой* — отдать свою волю, свой голос и в волю, и в голос сознания: *"Да воскреснет Бог!"* На *максимум смерти* — ответить последним максимализмом. Сказать себе: *"В это смертное время — хочу жить; и — буду; сознаю, моя жизнь есть жизнь не моя, а пославшего меня в жизнь"*. Лишь Христово *Пришествие* в "Я" облекает Мечом; и Жена в этот миг отступает перед силой Дракона; и "Я" есть не "Я" (не я, а Христос во мне), в озеро огненное оно сражает Дракона; тут в первый раз в жизни А. Блок проявляет *"минимализм"*; отступает он в тему поэмы *"Возмездия"*, в силы жизни не верит; так телом его овладевает Дракон.

Тема третьего испытания подготовлена всею жизнью поэта; сначала звучит заглушенно она под покровом тоски и уныния; демон уныния есть сперва — аллегория; потом — символ; и наконец — воплощение.

Враг — воплощен.

Появление обусловлено поступками 1902 года: "сбежал с горы и замер в чаще"; бегство себя самого от себя самого: разделение сознания, в результате которого тот, от "которого" другой бежал, — начинает заглядывать (тот — этому) в лицо белым призраком:

И опрокинувшись заглянет  
Мой белый призрак им в лицо.

Белый призрак есть неудавшееся посвящение в рыцари "Иоаннова Храма" ("Я их хранил в пределе Иоанна"); не посвященный в жизнь горную есть "печальный демон — дух изгнания"; другой же есть тот, кто сказал:

Мое болото их затянет;  
Сомкнется мутное кольцо.

Мутное же кольцо — кольцо низменной жизни; создание "белого призрака" с осени 1902 года вместо Нее в мирах видит "Прекрасную Даму"; другой, ставши "черненьким человеком", видит даму уже вовсе с маленькой буквы ("она стройна и высока"), подстерегая ее и подглядывая за ней из подъездов; так идущее к посвящению этим бегством, с горы — разорвано надвое: Люцифер, Ариман, подхватывая части душевного "я", их — растаскивают; а духовное "Я" ("Я" большое), которому должно их воссоединить, есть далекая несшедшая точка звезды пока, долженствующая где-то еще стать солнцем Дамасского Света<sup>145</sup>; поэт ощущает два "я", иль — два зрения Ее — двумя "Я": перемешивает ее сферы ("Ты — здесь: ты — близко...тебя здесь нет: ты — там"); появляется "Я" и "я", "Дама" и "дама"; одно "я" — люциферизовано; другое — ариманизовано. Оба — пригвождены: одно — к кругу кантианского мышления ("как верный знак, что мы внутри неразмыкаемого круга"); другое — к трактирной стойке ("я пригвожден к трактирной стойке"); на расщепках душевных двух "я" распято невоскресшее духовное "Я" поэта.

"Я", Ich, рассекаемо мечом света ("Я — Меч и разделение"), который и есть Свет Дамаска; "Не я, а Христос во мне"; "Я" поэта вплотную не приближается к тому "Свету", к свету — Его; в третьем томе поэт говорит о себе:

Да. Ты — родная Галилея.  
Мне, невоскресшему Христу<sup>146</sup>.

Пока в "Я" не воскреснет Христос, — неотвратимы опасности третьего испытания: даже "Она" в Апокалипсисе улетит от Дракона: Дракон побеждается — "Им": Семя жены (не сама Она) сотрет главу Змея.

В испытаниях смертью "Я", "Ich" распадается в "I" и "ch"; Александр, например, здесь становится и "Iochann"ом и "Christian"ом; они — двойники;

лишь Дамасский Свет высекает в распаде "Ich" на "I" и "ch" символ "I.ch": Iesus Christus.

Духовное "Я" у поэта — еще невоскресший Христос; части "Я", похищенные Люцифером и Ариманом — обложены явно пределами: неразмыкаемым кругом рассудка; и — чувственным "мутным кольцом"; в "неразмыкаемом круге" — Прекрасная Дама становится отвлеченной премудростью; в кольце она есть — *земля сыра*; в точке ж духовного "Я", создающей разрывы "я" малого, она пока — точка, звезда: при попытке приблизиться к ней, звезда — падает; остается пустая лишь скобка или маска Ее: Незнакомка; под эту медуимическую маскою могут вить гнезда и совы, и голуби; чаще — здесь совы.

На всех произведеньях А. А. можно видеть, каким из двух "Я" продиктованы произведения эти: так, например, "Крушение гуманизма" диктуется люциферическим "Я", созерцающим с высоты ариманического кипение духа музыки; рассуждения же о русской интеллигенции последнего времени писаны ариманическим "я" (бездонной стихийностью, плещущей в природу интеллигентского мира).

Разрыв нераздельного "Я" еще с 1902 года подготавливает А. А. и последнюю встречу с порогом.

Проследим же пока судьбы этих двух "я" души Блока.

"Белый призрак", заглядывающий в лицо, как двойник, сопровождается в мире мысли поэта и грустью, и скепсисом, т.е. знаком того, что внутри неразмыкаемого круга явлений мы; откровение мысли скепсисом превращается лишь в простое воплощение чувств; а "встреча" становится тут — отошедшей сказкой; до этого обращается к лучшим друзьям, говорит:

Молча свяжем вместе руки, —  
Отлетим в лазурь.

Теперь те друзья — короли, потерявшие в дреме короны; они пребывают у девушки, подурневшей ("королевы забытой страны"); и ни он не узнал их, и ни они не узнали его.

Ибо что же приятней на свете,  
Чем утрата лучших друзей.

Не узнал и того он, кто молча сидел рядом с ним и пил "*мутное пиво*": себя самого, или другую свою половину, которая в королевне увидела — дочку трактирщицы; эта другая его половина блуждает по улицам города; и — повторяет она с острьяками:

*"In vino veritas!"*

И — пригвождается к стойке; и — поет на заре:

Ах, какой бледный город на заре,  
Черный человек плачет на заре...<sup>147</sup>

Люциферическое, одинокое "я" не увидело униженного, оскорбляемого им бродяги — бродяги, самим собой оскорбленного.

Ибо что же приятней на свете,  
Чем утрата лучших друзей.

Что друг это — "Я", это ясно, но его не видит плененная Люцифером другая его половина, то "я" унижая в себе; и униженный быстро наглет перед люциферическим "денди":

Однажды в октябрьском тумане  
Я брел, вспоминая напев...  
.....  
И стала мне молодость сниться,  
И ты, как живая, и ты ...  
И стал я мечтой уноситься  
От ветра, дождя и мечты...  
Вдруг вижу, — из низи туманной,  
Шатаясь, подходит ко мне  
Старейший юноша (странно,  
Не снится ли он мне во сне?)  
Выходит из ночи туманной  
И прямо подходит ко мне.  
И шепчет: "Устал я шататься,  
Промозглым туманом дышать,  
В чужих зеркалах отражаться  
И женщин чужих целовать..."  
.....  
Вдруг он улыбнулся нахально, —  
И нет близ меня никого<sup>148</sup>.

Два "я" тут проходят — один пред другим: уединенный мечтатель; и — ресторанный гуляка; Люцифер — ведет первого; и второго ведет — Ариман; и уведятся оба, столкнувшись, — в противоположные стороны; "я", уводимое Люцифером, — догадывается:

Быть может, себя самого  
Я встретил на глади зеркальной.

Оно — белый призрак, мечтатель, брезгливый пред миром явлений (не он бежал в чашу) — вздыхает о прошлом:

И стал я мечтой уноситься  
От ветра, дождя, темноты.

Куда? В мир Прекрасной?..

О, мир непроданных лобзаний!  
О, ласки некупленных дев!

В ресторане, когда "визг напева" его окружил, видит в деве со страусовым пером он евангельскую Магдалину; за вьюгой видит страну, "опаленную

*солнцем юга*". Двойник же его, Ариман, плененный, с *глазами свиньями*, — в эту минуту несется к Елагину мосту — с той самой *"девою"*:

Я чту обряд: легко заправить  
Медвежью полость на лету,  
И, тонкий стан обняв, лукавить  
И мчаться в снег и темноту.

И помнить узкие ботинки,  
Влюбляясь в хладные меха...  
Ведь грудь моя на поединке  
Не встретит шпаги жениха...

Здесь все ясно и просто?

Один созерцает за выюгою — Палестины; другой — заявляет:

Все только — продолженье бала,  
*Из света в сумрак переход.*

Переход к обыденному есть вторая натура второго "Я". И одно "Я" вздыхает:

О, ласки некупленных дев!

А другое "Я" ищет тех купленных ласк:

Нет, я не первую ласкаю...

И уж знаешь наверное всю последовательность фаз этой ночи: летенье на тройке — к Елагину острову; и — *"кабинет"*:

Венгерский танец в небесной черни  
Звенит и плачет, дразня меня.<sup>149</sup>

Потом:

Испугом схвачена, влекома  
В водоворот...<sup>150</sup>

И — *"комната"*: —

Красный штоф полинялых диванов,  
Пропыленные кисти портьер...

Вплоть до — раскаянья:

Разве дом этот — *дом* в самом деле?  
Разве так суждено меж людей?

Раскаянье в ариманическом "я" оттого, что была-таки встреча с другим, с *лучшим другом*, потерянным некогда, — на улице, там, где прохожий,

надменно госкующий денди, увидел "стареющего юношу, который улыбнулся нахально"; в это время, "стареющий юноша с пошло-нахальной улыбкою" не видел прохожего, а ощутил смутный трепет лишь:

Только крыл раздался трепет,  
Кто-то мимо в небо канул,  
Как разгневанная тень...<sup>151</sup>

И — прошли двойники, не узнавши друг друга: один проходил — в свои сии сферы мечты с Люцифером; другого повел Ариман — в погребок: уже в три часа ночи:

Я пригвожден к трактирной стойке.  
Я пьян давно. Мне все равно.  
Вон счастье мое на тройке  
В серебристый дым унесено...  
.....  
И только сбруя золотая  
Всю ночь видна... Всю ночь слышна...  
А ты, душа... душа глухая...  
Пьяным пьяна... пьяным пьяна...

И — вскрик отчаянья:

Забиться бы в свежем бурьяне,  
Забиться бы сном навсегда!..<sup>152</sup>

В минуту такую жутка эта новая встреча с "Я": вовсе не денди на улице, а — Крылатый: и с неба Он прынул ("только крыл раздался трепет"); и — тук: в его пьяную комнату, в "мутное кольцо" жизни:

Зачем за дверью свет погас?  
Не бойся!  
Я твой давно забытый час,  
Стучусь — откройся.  
.....  
Зачем склонился ты лицом  
Так низко?  
Утешься: ветер за окном,  
То трубы смерти близкой!..<sup>153</sup>

Сквозь опьянение чувствует душа холоды чуждого мира: то мир — двойника:

Не сходим ли с ума мы в смене пестрой  
Придуманных причин, пространств, времен?<sup>154</sup>

Не открывает ослепшее "я" ту закрытую дверь; и на возглас забытого часа (забытого "я") — отвечает сугубым развратом:

Так вонзай же, мой ангел вчерашний,  
В сердце острый французский каблук!  
.....  
Все на свете, все на свете знают:  
Счастья нет.  
И который раз в руках сжимают  
Пистолет!  
И в который раз, смеясь и плача,  
Вновь живут!  
День, как день; ведь решена задача:  
*Все умрут.*<sup>155</sup>

Униженное "Я" в аримановом плене себя утешает.  
Но — чудится: —

Мой грозный Мститель...  
Лик его был гневно-светел  
В этой ночи на скале<sup>156</sup>.

Та скала есть "гора", от которой бежало в болото свиное "Я", на которой когда-то оно повторяло: "Я озарен: я жду Твоих шагов!" и болота теперь — рябь канала.

Ночь, ледяная рябь канала,  
Аптека, улица, фонарь.<sup>157</sup>  
.....  
А перед шкафом с надписью "Venepa",  
Хозяйственно согнув скрипучие колена,  
Скелет, до глаз закутанный плащом,  
Чего-то ищет, скалясь черным ртом...<sup>158</sup>

Но скелет *Ариман*, заведший оторванную часть сознания с горы (сквозь сияния ресторанный зала, сквозь "штоф полинялых диванов", сквозь одурь трактирную, сквозь канал) к преисподней, к аптеке и к шкафу с "Venepa"; пред шкафом с "Venepa" открылся лик подлинный Спутника: то — Скелет, или Великий Мертвец; от него кидается "Я" — к позабытому *лучшему другу*, к "Я" Горнему, к рыцарю, с гор не сбегавшему: и — начинаются воспоминания — о "потухшей" горе:

Было то в темных Карпатах,  
Было в Богемии дальней...  
Впрочем, прости... мне немного  
Жутко и холодно стало...<sup>159</sup>

Карпаты — "горы"; на горе — ждет оставленный рыцарь: но почему "мне немного жутко и холодно стало"? Да потому, что стоящий там рыцарь твердит:

Недостойный раб, сокровищ  
Был "ты" царь и страж случайный.  
.....

И покинув стражу, к ночи  
"Ты" пошел во вражий стан.  
.....  
Падший ангел, был "ты"\* встречен  
В стане их, как юный бог...<sup>160</sup>

Рыцарь с Карпат — повествует о гибели павшего, дошедшего до аптекаря "Я": "Страшно, страшно"... и "я" закрывается в ужасе далекого голоса прошлого (ждушего ... в будущем!):

Но не спал мой грозный Мститель.  
Лик его был гневно-светел  
В этой ночи на скале.

Вот что подлинно совершается: —

... в темных Карпатах,  
... в Богемии далекой...

Повторяется "Страшная Месть": тот же рыцарь, — стоит, ожидает к себе возвращенья убежавшего в чащи, того, кто предательски —

... пошел во вражий стан.  
.....  
Это — я помню не ясно,  
Это — отрывок случайный,  
Это — из жизни *другой* мне  
Жалобный ветер напел<sup>161</sup>.

А с другой стороны, где аптекарь (мертвец) поджидает, оттуда —

*Говорит Смерть:*  
Когда осилила тревога  
И он в тоске обезумел,  
Он разучился славить Бога  
И песни грешные запел  
.....  
Он больше ни во что не верит,  
Себя лишь хочет обмануть,  
А сам — к моей блаженной двери  
Отыскивает вяло путь.  
С него довольно славить Бога —  
Уж он не голос, только — стон.  
Я отворю. Пускай немного  
Еще помучается он.<sup>162</sup>

Узнается мертвец из глубокой пропасти подкарпатской, которого грызут мертвецы и к которому сбросится грешное тело:

Было то в темных Карпатах...

---

\* В тексте у Блока тут всюду вместо "ты" стоит "Я".

И вот, что действительно значит: —

...Постигать  
В обрывках слов  
Туманный ход  
Иных миров<sup>163</sup>.

И слышится голос: *"колдун, завершающий проклятый род: ждущий тебя!"*  
Бежать некуда: бегство в сторону бездны: к аптекарю, где

Скелет, до глаз закутанный плащом,  
Чего-то ищет, скалясь черным ртом.

Напрасно трусливое сознание начинает подсказывать:

Это — из жизни *другой* мне  
Жалобный ветер напел.

Т. е. из жизни гоголевской *"Страшной Мести"*, реминисценция, литературатура? О, нет: так — *бывает всегда!* И —

Стою среди пожарниц  
Обожженный языками  
Преисподнего огня.

Тут вот и приподымается в поэзии Блока глубокая безвыходность поэмы *"Возмездие"*; эта поэма по существу есть поэма о проклятом роде, не о каком-либо роде, — о *"роде"*, как таковом; ведь *колдун "Страшной Мести"* — чудовище зла потому, что — последний в грехом отягощаемом роде: он — декадент, жалкий выродок и прижизненный труп; *"Мертвецы"* его ждут, потому что давно они — в нем. Тема рода всегда — тема грешного рода; ведь все родовое — в *грехе первородном*; мы сильны постольку, поскольку мы силою Божией возрождаемся в Духе; но для рода (в Христе) умираем. В сознании Блока Христос — не воскрес; оттого-то не может себе подтвердить он: *"Не "Я", но Христос во мне"*. Между тем: к испытанию *порогом* вплотную придвинут он; а в испытании поднимается пред сознанием испытуемого бесконечная цепь кармы личной и родовой; тема *рода* здесь — тема *грызущего мертвеца*.

Автор первого тома стихов говорит:

Мы помчимся к бездорожью  
В несказанный свет.

Бездорожье дано лишь в безродности, в отрешении от наследственных уз. Отступление поэта от бездорожий *внеродного* света к дороге наследственной, родовой, есть потеря возможности силою света Христова преодолеть испытания: отступление — от дерзающего максимализма в позитивный *"минимализм"*; и недаром он ставит знак равенства меж *возмездием* (*"страшной*

мстью”) и — *родом*; поэма *”Возмездие”*, занимающая А. А. в тот период — поэма о роде. Для Блока же *”род”* — темный род, грешный род, издавна угрожающий светлому миру его.

Когда в беседе с А. А. я наткнулся на жуткую в нем тему *”рода”*, то я испугался: опасности для А. А. этой темы; мне помнится: взявши за локоть меня, говорил он в полях все о косности человечества в роде, о том, что он — косный, что родовое начало его пригибает к земле; он стоял предо мною с печальной улыбкою:

— Какие бы ни свершали усилия светлые силы, на чаше весов перевесит истонная смерть.

Это было в июле 1904 года; Он так о *влиянии рода* судил тогда, еще не вполне пригибаемый родом; а через пятнадцать лет, в предисловии к поэме *”Возмездие”* он написал: *”Тогда (то есть в 1911 году) мне пришлось начать постройку большой поэмы... Тема заключается в том, как развивается зрение единой цепи рода. Отдельные отпрыски всякого рода развиваются до положенного им предела, и затем вновь поглощаются мировой средой... Мировой водоворот засасывает в свою воронку почти всего человека: от личности почти вовсе не остается следа; сама она, если остается существовать, становится неузнаваемой, обезобразенной, искаленной. Был человек — не стало человека, осталась дрянная, вялая плоть и тлеющая душонка”*<sup>164\*</sup>.

Читатель: не ужас ли это согласие на истребление личности и на *”тлеющую душонку”*? Поэт оговаривается, что *”семя брошено и в следующем перенце растет новое”*; все равно: перенесение судьбы бессмертия от *”я”* к *”семени”* утешает все то, что способно вооружить на борьбу с бесконечной змеей (со временем). Именно: пред явлением Дракона сознанию Блока отчетливым отступлением от Вечности к темам Золя<sup>165</sup> отступает в *минимализм* он; и заключает он компромисс с изживаемой точкой зрения позитивизма, которым когда-то ругался поэт.

Отступление в род подымает в нем тему возмездия: здесь заглавие, аллегория, превращается в совершенно реальную жуткую тему; род — *”страшная месть”*; полоненный им, мчится конем на Карпаты, где Мститель стоит, ожидая, чтоб свергнуть примчавшегося во тьму Аримана:

Было то в темных Карпатах  
Было в Богемии дальней...  
Впрочем, прости... мне немного  
Жутко и холодно стало.

Тема вступления в поэму звучит — уже двойственно: Зигфридом Нотунг кутается:

Так Зигфрид правит меч над горном  
.....  
И Миме, карлик лицемерный,  
В смятеньи падает у ног<sup>166</sup>.

\* Из предисловия к поэме *”Возмездие”*.

Забывает поэт: Зигфрид — в спину сражается; загораются небеса; и все — гибнет; поэт ощущает себя и не Зигфридом, а рабом *”из глины созданным и праха”*; меж тем:

Над всей Европою дракон,  
Разинув пасть, томится жаждой...  
Кто нанесет ему удар?..  
Не ведаем: над нашим станом,  
Как встарь, повита даль — туманом,  
И пахнет гарью. Там — пожар.

На фоне этого начинающегося мирового пожара изображен —

Коротенький обрывок рода —  
Два-три звена...

Изображено, как —

Сыны отражены в отцах.

В предисловии к поэме А. А. пишет: *”Вся поэма должна сопровождаться определенным лейтмотивом ”возмездия”*; этот лейтмотив есть мазурка... мазурка — разгулялась; она звенит в снежной вьюге... В ней явственно слышится уже голос возмездия”.

И так: с одной стороны, поднимается на Европу разинувший пасть и задышавший огнем Дракон, а с другой стороны — пригибаемый темой *”возмездия”* род; где же Зигфрид? Ясно, что выхода — нет: тупик, смерть.

*”Мсть! Мсть!”* — в холодном чугуне  
Звенит как эхо над Варшавой:  
То Пан Мороз на злом коне  
Бряцает шпорою кровавой.

Пан Мороз есть примчавшийся всадник (с Карпат); и он рыщет по городу за порождением грешного рода:

Молчат магнатские дворцы,  
Лишь Пан Мороз во все концы  
Свирепо рыщет на раздолье!  
Неистово взлетит над вами  
Его седая голова,  
Иль откидные рукава  
Взметнутся бурей над домами,  
Иль конь заржет — и звоном струн  
Ответит телеграфный провод,  
Иль вздернет Пан взбешенный повод,  
И четко повторит чугун  
Удары медного копыта  
По опустелой мостовой.

Здесь, не правда ли, слышится явственно тема Медного Всадника?  
И — шагов Командора?

Мсть! Мсть! — так эхо над Варшавой  
Звенит в холодном чугуне.

Эта тема летящего всадника на коне перекликается с темой метельного всадника "Кубка Метелей": "Над крышей вздыбился воздушный конь, пролетая в небо развевял хвост... На нем сидел метельный всадник... На минуту блеснуло его копые; он скрылся в снежном водовороте. Раздалось звенящее трепетанье: это буря рванула номер фонаря". Или "Раздались призывы: "Ввы... Ввы... Увы..." Над крышей вздыбился воздушный конь". Или: "Вздыбился над домами... вьюжный... белый... замахнулся ветром, провизжавшим над домом, как мечом: "Вот я... вот вас... вот я! Моя ярость со мной". Или: "Над домами занес свой карающий меч... "Задушу снегом, разорву ветром". "Спустился меч... Взлетел. И с вышей конем оборвался".

Эти всадники (Пан Мороз и Метельный) суть образы Рока, или всадника на Карпатах. Уже рок подступает к "Возмездию"; и — некуда скрыться, разве что в комнату, куда заывают:

"Прошу вас. В пять он умер. Там..."  
Отец в гробу был сух и прям.

С одной стороны — ярость рока, Возмездие; с другой —

Мертвец, собравшийся на смотр,  
Спокойный, желтый бессловесный.  
.....  
Внушал тоску и мысли злые  
Его... тяжкий ум,  
Грязня туман сыновних дум...

И он отравил его, потому что отравленный сын знает точно, что —

... На ребра гроба лег  
Свинец полоскою бесспорной  
(Чтоб он, воскреснув, встать не мог.)

Меж Ариманом, иль мертвецом, воскресающим *второй смертью*, и Всадником (Люцифером), вопящим — "Мсть, Мсть", — ограничиваются кругозоры ариманической части сознания; остается одно: подчиниться.

И статуя Командора, себя самого, от далеких Карпат, прошлых гор — подступает:

Я твой давно забытый час.  
Стучись. Откройся.  
.....

Но: —

(Это я помню неясно...  
Это из жизни другой)  
.....  
Пролетает, брызнув в ночь огнями,

Черный, тихий, как сова мотор.  
Тихими тяжелыми шагами  
В дом вступает Командор...  
Настежь дверь. Из непомерной стужи —  
— (То — Пан Мороз...)\*  
Словно хриплый бой ночных часов, —  
Бой часов: — Ты звал меня на ужин  
— Я — пришел. А ты готов?<sup>167</sup>

Так происходит в сознании одной половины душевного "я" (ариманической) встреча со Стражем Порога; здесь же страж — другая половина душевного "я", плененная Люцифером. Командор — белый, окаменевший очерк рыцаря, некогда говорившего:

Я их хранил в приделах Иоанна,  
Недвижный страж, — хранил огонь лампад.  
.....  
Я скрыл лицо и проходили годы.  
Я пребывал в служеньи много лет<sup>168</sup>.

Служенье же протекало на той озаренной "горе", от которой бежала другая, отколотая от святъни часть "я" ("Сбежал с горы").

Сбежавшее, грешное "я" — грешно очень; но не безгрешна оставшаяся на горе часть сознания, утверждающая горделиво, что —

... в оный День — *один* участник встречи,  
Я этих встреч *ни с кем не разделил*.

Не разделил; и — замкнулся в своем одиночестве; и — не спустился за убежавшим, не выдержавшим выспренной гордости сотоварища "двойником"; но покинутое половиной себя самого, превращается "я" Иоаннова рыцаря — в белого, бескровного призрака; в скорбного инок:

Брожу в стенах монастыря,  
Безрадостный и темный инок;  
Чуть брезжит бледная заря, —  
Слежу мелькание снежинок.  
.....  
Заря бледна и ночь долга,  
Как ряд заутрень и обеден.  
Ах, сам я бледен, как снега,  
В упорной думе сердца беден.<sup>169</sup>

Обледневает, окаменевают и ждет на "Карпатах": свершить месть "другому".

Да минует нас чаша сия!

.....  
Проследим теперь повесть бледнеющей половины душевного "Я", плененной мечтой Люцифера; она не сошла за сбегающим в чашу; и оттого стала

\* В скобках — примечание Андрея Белого (С. П.).

вовсе она обескровленным призраком: мысли, которая, замыкаясь в пределах рассудка, стремится к высокому; но высокое — признает за мечту; и не видит в нем — сущего; не воплощенная идея — пуста; и пустая идея — понятие; в мире понятий все — "кажется"; все — только Майя; и рыцарь мечтаний абстрактного мира проходит по сущему миру — тоскующим денди; само слово "рыцарь" становится здесь аллегорией; и встречаясь с собою, воспринятым чувственно, — видит нахального, постаревшего господина, произведя на него впечатление жуткого трепета крыл и исторгая тяжелое восклицание: "И опрокинувшись заглянет... белый призрак мне в лицо..." Этот денди мечты заключен ведь в пределы рассудка — "Тебя здесь нет: ты там"; а этого "там" как бытия ведь и нет вовсе.

Ужасен холод вечеров!..

В этом холоде движется контур посетителя ресторанов; но он, предающий-ся буйным разгулам, — двойник недействительного в мире денди ("мир есть мое представление"); *черный сквозной человек* есть тень: не пугает "нахальный двойник", потому что он есть аллегория мирозерцания денди, не сущего в действительности.

Несуществующих шагов  
Я слышу шелест по дороге.<sup>170</sup>

Шаги *теневого проходившего*, протянутых под ноги, — мороки; их — спастись нечего; *жизнь "пустынна, бездонна, бездарна"*, и — нет ее вовсе; щемящие песни глужо гуторят в ушах:

Всюду эти щемящие ноты  
Стерегут и в пустыню зовут...<sup>171</sup>

Мертвеца с безобразия к безобразию —  
*Скрежещущий несет таксо-*  
*мотор.*

Жизнь — лишь общая форма познания: *категория обязанности* или — абстрактивная мысль (после бегства с *горы* полнокровного двойника рыцаря Мудрости, обескровленный, может рассудочно лишь рассуждать о прекрасной идее, о Логике, но не о Даме). И рыцарь мертвец:

Как тяжко мертвецу среди людей  
Живым и страстным притворяться!  
Но надо, надо в общество втираться,  
Скрывая — ...лязг костей.

Отвратительно, что представление Мертвеца, — отражение иллюзии жизни: в самой жизни мысли; иллюзия мысли — жизнь собственной тени, которая волочится к Елагину острову, думая, что она — веселится: и — "кости лязают о кости":

Спит мертвец. На нем изящный фрак.

Или:

Живые спят. Мертвец встает из гроба,  
И в банк идет, и в суд идет, в сенат...<sup>172</sup>

Прохожие:

...дома и прочий вздор.

Теневой этот вздор суть аллегорические понятия, крута рассудка; они меняются прихотливою мыслью, они догматически утверждаются эмпирическим фактом; в сознании крайнего кантианства они суть — скелеты, иль — схемы; само представление двойника просто есть познавательный результат предпосылки сознания; анализ его рассуждающим сознанием переживает он как собственную свою гибель: как бегство к аптекарю за "Venena"; "Venena" здесь есть "вещь в себе", строящая пределы познания; переживается она — Мстителем, угрожающим Рыцарем, — угрожающим гибелью аримановского двойника, убегающего от себя, как от Всадника; пуля же мысли — его настигает:

Чеченская пуля верна.<sup>173</sup>

Упразднен существующий мир: освобождена чистая мысль, свободная от чувственных примесей:

Летун отпущен на свободу,  
Качнув две лопасти свои,  
Как чудище морское в воду  
Скользнул в воздушные струи.  
Уж в вышине недостижимой  
Сияет двигателя медь.<sup>174</sup>

Этот двигатель — мысль: мысль — уносит в безбрежный мир:

В бинокле вскинута высоко,  
Лишь воздух — ясный, как вода.

Но безобразный мир есть ничто:

Миры летят. Года летят. Пустая  
Вселенная...<sup>175</sup>

Или:

Что? Совесть? Правда? Жизнь?...<sup>176</sup>

Тут:

Все... чернее сгущается свет,  
И все безумней вихрь планет<sup>177</sup>.

Во всех вихрях *пространство и время*, иль формы а ргіогі независимые от фактически упраздненного мира; в не сущем работает "двигатель" мысли, как в *сущем*; не *сущее* сотворяет здесь "энное" образование миров (мир мечты) — ради скуки; так Брама видит в снах творений: душа их — *Прекрасная Дама*, — *Абстрактная Дама*; и рыцарь, иль денди, — "субъект" познания; он — влечется к мечте, в глубь зеркал.

Входит ветер, входит дева  
В глубь испорченных зеркал.<sup>178</sup>

И в ту не сущую Деву — влюбляется:

Не уходи. Побудь со мною  
Я так давно тебя люблю.  
.....  
*Из хрустального тумана,  
Из невиданного сна  
Чей-то образ, чей-то странный...*

К образу нового мира мечты протянулось "я". Но он строится теми же законами рассуждающего сознания, образующего ту же все упраздненную пустоту:

Из хрустального тумана,  
Из невиданного сна  
Чей-то образ, чей-то странный, —

Но виданный. Где же? В Богемии дальней? Нет —

— В кабинете ресторана  
За бутылкою вина.

Этот образ — мечтает о том же все: о Елагиним, о венгерке; двойник, упраздненный в *том* мире, — воскресает в сем мире несущей мечты; стало быть: "ветер дева" — не "ветер"; простая цыганка — лишь "ветер мечты".

Когда ж конец назойливому звуку  
Не станет сил без отдыха внимать...  
Как страшно все! Как дико!  
Дай мне руку,  
Товарищ, друг! Забудемся опять.<sup>179</sup>

Товарищ же, тень — убегает; и — убегает *тень тени товарища*; лучшего друга; "венгерка же — *тень тени тени*; Мечта, как действительность; *тень тени тени товарища, лучшего друга*, есть смерть у прилавка *Аптеки*: в *сне сна*, где Меч Мстителя — форма протянутости "субъекта сознания", видит Мстителя, Всадника на Карпатах, который не всадник, а — двигатель, Авиатор, Авторская Мысль, тревожащая себя самое в своем собственном творчестве — собственным двойником; она видит в ресницах "товарища, сотворенного друга" — лишь ужас; и ужасом отдается на ужас:

Большая, жалобная стужа,  
И моря снеговая гладь...  
Из-под ресниц сверкнувший ужас —  
Странный ужас (дай понять).  
Слова? — Их не было. Что ж было? —  
Ни сон, ни явь. Вдали, вдали  
Звенело, гасло, уходило  
И отделялось от земли.<sup>180</sup>

Отделялось "Я", денди во взорах нахального юноши, в дальней Богемии;  
совершалось перевоплощение мира двойника в мир материи, в мир материаль-  
ного тела перед аптекою: и возник ресторан, где —

...рука подлеца нажимала  
Эту грязную кнопку звонка.<sup>181</sup>

В тот же миг, как рассеялся чувственный призрак пред взорами рыцаря-Мстителя, обнаружилась перед взорами пустота, куда падает авиатором, сломав винт машины, тот рыцарь; и кабинет ресторана, где он восседал,

За бутылкою вина —  
— возникает в мечтательных рассуждающих схемах  
сознания: —

Слишком больно мечтать  
О былой красоте  
И не мочь:  
Хочешь встать —  
И ночь.<sup>182</sup>

Всадник Карпат и пьянчужка, теперь не могущий встать, — то же все:

Припомнишь ты  
И то, и се,  
Все, что было... —  
— (Было в темных Карпатах,  
Было в Богемии дальней) —  
Все, что было,  
Что манило,  
Что прошло,  
Все, все.<sup>183</sup>

Был же рыцарь, оставшийся верный "горе":

Лик его был гневно-светел.

Был другой — посетитель трактиров:

Все, что было,  
.....  
Что прошло,



с тем: нападение двойников друг на друга: один — обнажает меч рыцаря на другого; другой — отвечает на это ужаснейшим утверждением себя, как исконно живущего мертвеца в той же самой заплыванной жизни; тут Люцифер — подменяется Ариманом; тут Мститель — становится статуей Командора; тут Ариман подменяется Люцифером (иль Командором, Сэром, Бессмертным Жидом); двойники, обе части разъятого "я", — предаются своим страшным частям: жаждущий смерти из смерти теперь — созерцает бессмертие смерти: рука, заносщая над собой самим меч, роняет меч:

Меч выпал. Дрогнула рука.

Другой, собирающийся отомстить жаждущему бессмертия страшной смертною мезтью: он умирает — от им же задуманной мести:

Хльнь кровь, и обагри снега!

Обе части устранены в раздельности, чтобы — не быть, иль — восстать в "Я", в Ich, в I.Ch.<sup>188</sup>

Раздался голос: Ecce homo!..

Что испытывает Большое Сознание Чело Века в ту пору, когда его части иль части низшего "я" переживают порог? Оно переживает опасность Порога — по-своему: исход испытанья его обусловлен исходами испытанья низшего "я".

Испытанье духовного "я" — встреча с образом мирового Дракона; "Дракон" — это символ духовного (а не душевного) зла; символы символа — неудачные разрешения индивидуально-духовных и социально-духовных проблем; рост государственной культуры — такой символ; в механике государства, съедающего личные жизни, иль вдавливающего их в подсознание вне-государственных физиологических отправлений. С Драконом встречается Блок — гражданин; где-то видящий всечеловеческое назначение России. В духовных путях только тот прочитает духовные символы, кто победил в себе сферу душевного раздвоения; этой победы в эпоху последнего *испытания* — нет у Блока; оно настигает его безоружным.

Ведь и сэр, умиряющий; ведь и "каменный Командор" в мире духа — иные, чем в мире души; их проекция в социальную сферу — стальная, давящая власть *государственного механизма*; здесь Сэр-Командор есть — Ллойд-Джордж<sup>189</sup>, или — Вильсон<sup>190</sup>, иль Пуанкаре<sup>191</sup>? Кто еще? Тот, Кто их выдвигает, тот спрятан за ними. "Его" ощущает духовное зрение А. А. Блока; и "Он" направляет Россию путями огромной неправды, отображаемой, как вовлеченные Россия, любимой Жены, в "мировую бойню" народов, в начало пожара, который пронесится с запада на восток, поднимая с востока на запад ответные волны грядущего японо-монголо-китайского нападения на Европу; так мировая неправда, вошедшая в запад войной, отразится в востоке — такой же войною: с востока на запад. Россия, стоящая меж востоком и западом,

должна явно сказать свое "нет", чтобы выполнить миссию: отражения бойни с востока; она — щит; поверхность его должна быть очень чистой: ведь в ней отразится Лик Скорой Помощницы. В 1908 году Блок предчувствовал "бой": в образе воспоминания о Куликовом Поле встает поле будущего; святость русско-вселенского дела требует незапятнанности "щита", поставленным пред востоком и заграждающим Европу: в "щите" отразится ведь лик Богоматери.

И когда на утро тучей черной  
Двинулась орда, —  
Был в щите Твой лик нерукотворный  
Светел навсегда.

Блок первый откликнулся на стихию грядущей войны, как предчувствовал полосу страшных годин в 1898 году в стихотворении, где Гамаюн, птица вещая —

Вещает иго злых татар,  
Вещает казней ряд кровавых  
И трус, и голод, и пожар,  
Злодеев силу, гибель правых.

В 1901 году он предчувствовал зори Солнца, могущего взойти над Россией в случае выполнения нами судьбою врученного русско-вселенского дела; но оговорка не переживалась Блоком в годах тех; и оттого-то "в случае, если" встает — через десять лишь лет как угроза.

В 1905 — 1906 году гаснут зори далеких ландшафтов; а в 1908 году придвигаются ландшафты ближайших скорых опасностей; и поднимается гигантская туча, которую Блок воспринимает всем своим существом: социально, морально, душевно, духовно, физически, лично.

На пути — горючий белый камень.  
За рекой — поганая орда.  
Светлый стяг над нашими полками  
Не взыграет больше никогда.  
Я — не первый воин, не последний,  
Долго будет родина больна.  
Помяни ж за раннею обедней  
Мила друга, светлая жена.<sup>192</sup>

Характерно здесь все: ощущение "поганой орды"; ощущение долгой болезни России, которая будет отдана чародею: и — сглажена.

Какому хочешь чародею  
Отдай разбойную красу.<sup>193</sup>

И не является ль "Новая Америка" этой Россией, отдавшей свою луговую, разбойную статью иноземному колдуну ("Страшной Мести"), одетому в красный жупан с искрой отсвета "железоплавильных" печей. В стихотворении

”Новая Америка” рисует он две России: не тронутую цивилизацией, и — отдавшую красу свою иноземному капиталу. И первая — вот:

Сквозь земные поклоны да свечи,  
Ектеньи, ектеньи, ектеньи —  
Шепотливые, тихие речи,  
Запылавшие щеки твои...<sup>194</sup>

Вторая Россия отделена перерывом от первой: каким-то зияющим пустырем:

Дальше, дальше... И ветер рванулся,  
Черноземным летя пустырем.

И за ним —

Тянет гарью, горючей, свободной,  
Сльшины гуды в далекой земле.  
.....  
Путь степной — без конца, без исхода,  
Степь да ветер, да ветер, — и вдруг  
Много-ярусный корпус завода,  
Города из рабочих лачуг...

”Черноземный пустырь”, степь без края; вдруг — корпус завода; перепрыги какие-то к Руси ”заводской”, напоминающие похищение красавицы:

Какому хочешь чародею  
Отдай разбойную красу.

В этой смелой отгаде отдачи себя ”чародею” — надменной вызов:

Но не страшен, невеста, Россия,  
Голос каменных песен твоих!

Думаю все-таки — ”страшен”:

”Пускай загубит и обманет,  
Не пропадешь, не сгинешь ты” —

— однако же:

путь спасения — тернист; испытания — ”страшные годы России”; почему же поэт заявляет тогда, что — ”мы дети страшных лет России”? Да именно потому, что душа цельная, долженствующая примирить восток с западом, вдруг распалась, между западом и востоком; в одной половине, в восточной:

Там прикинешься ты богомольной,  
Там старушкой прикинешься ты,  
Глас молитвенный, звон колокольный,  
За крестами — кресты да кресты.

Во второй, в западной —

Черный уголь — подземный мессия.

А меж обеими половинками — перерыв, иль — пустырь:

...И ветер рванулся,  
Черноземным летя пустырем.

В тот пустырь, вместо будущей, третьей России ("природа боится пустоты"), стремительно вдавливается от запада "стальной интеграл"; и втягивает Россию в войну; а с востока проходит ужасная ведьма, старуха, отдавшаяся кабацкому пьянству: монголизация русских задач — налицо.

И я с вековой тоскою,  
Как волк под ущербной луной,  
Не знаю, что делать с собою,  
Куда мне лететь за тобой.

Ужас востока есть изливание древней *эжелтой*, *китайской* души в душу нашу. И образ "татар" или китайца с винтовкой встает в потрясающих образах. Молния боя разрежала воздух в 12-ом (война на Балканах), в 13-ом (недоразумения с Австрией); упала стрелою на нас лишь в 14-ом году; "Новая Америка", т.е. дух авантюры вовлек-таки в бойню; и — отклонил нас от миссии: быть в стороне от войны; воспевали посты войну; Блок учуял лишь:

Грусть — ее застилает *отравленный пар*  
С Галицийских, кровавых полей.<sup>195</sup>

Да:

Петроградское небо мутилось дождем.  
На войну уходил эшелон.

Даже в самом "ура" ему слышались крики "пора"...

В грозном клике стояло: *пора*...

Что — "пора"? Да молиться:

Теперь твой час настал: — молись.<sup>196</sup>

Берлин 1922 г. Декабрь.

Андрей Белый.

Арабески — Белый Андрей. Арабески. Книга статей. М.: Мусарет, 1911.

Бекетова — Бекетова М. А. Воспоминания об Александре Блоке. М.: Правда, 1990.

Воспоминания — Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Художественная литература, 1980.

Воспоминания о Белом — Воспоминания об Андрее Белом. М.: Республика, 1995.

Долгополов — Долгополов Л. Андрей Белый и его роман "Петербург". Л.: Советский писатель, 1988.

Жизнь Соловьева — Соловьев С. М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель: Жизнь с Богом, 1977.

Записные книжки — Блок Александр. Записные книжки. М.: Художественная литература, 1965.

ЛН — Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 1—5. М.: Наука, 1980—1995.

Луг зеленый — Белый Андрей. Луг зеленый. Книга статей. М.: Альциона, 1910.

Материал к биографии — Белый Андрей. Материал к биографии. Автограф. 1923. РГАЛИ, ф. 53, оп. 2, ед. хр. 3.

Между двух революций — Белый Андрей. Между двух революций. М.: Художественная литература, 1990.

На рубеже — Белый Андрей. На рубеже двух столетий. М.: Художественная литература, 1989.

Начало века — Белый Андрей. Начало века. М.: Художественная литература, 1990.

О Блоке — Белый Андрей. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке. В кн.: Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 1. М.: Художественная литература, 1980.

Переписка — Александр Блок и Андрей Белый. Переписка (Летописи Государственного литературного музея. Кн. 7). М., 1940.

Почему я стал символистом — Белый Андрей. Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития. В кн.: Белый Андрей. Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994.

Путь к самопознанию — Штейнер Рудольф. Путь к самопознанию человека. Порог духовного мира. Ереван: Ной, 1991.

Проблемы творчества — Андрей Белый. Проблемы творчества. М.: Советский писатель, 1988.

Ракурс к дневнику — Белый Андрей. Ракурс к дневнику. Автограф. РГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 100.

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства.

РГБ — Отдел Рукописей Российской государственной библиотеки.

Символизм — Белый Андрей. Символизм. Книга статей. М.: Мусарет, 1910.

Собр. соч. — Блок Александр. Собрание сочинений: В 8 т. М.; Л.; ГИХЛ, 1960—1963.

Первую после смерти А. А. Блока попытку восстановить и подытожить опыт восемнадцатилетнего общения с покойным поэтом А. Белый предпринимает в дневниковых записках "К материалам о Блоке", которые датируются августом — сентябрем 1921 г. (ЛН Кн. 3). Три недели спустя после смерти Блока — 28 августа 1921 г. — Белый председательствует на заседании Вольной философской ассоциации (Вольфила), посвященном памяти великого поэта, и выступает с большой речью, повторенной затем 26 сентября в Москве в Политехническом музее. Это выступление в значительной степени было подготовлено статьей "Поэзия Блока" (1917), посвященной выходу трехтомного Собрания стихотворений Блока.

Некролог о Блоке, напечатанный в "Записках мечтателей", Белый завершает следующим очень значимым призывом: "Отзовемся и двинемся ближе к нему; постараемся распечатать нашу память о нем; и сотворим ему *Вечную Память*" (1921. № 4. С. 10). Он первым последовал собственному призыву: по возвращении в конце сентября из Москвы в Петроград Белый выступает в "Вольфиле" с воспоминаниями о Блоке, которые в краткой редакции были напечатаны в альманахе "Северные дни" (М., 1922). Более полная редакция этих воспоминаний, воссоздающая историю непростых отношений двух поэтов, содержится в беловских "Воспоминаниях об Александре Александровиче Блоке" (Записки мечтателей. 1922. № 6) с их итоговой формулой: "А. А. стоит передо мной прекрасный и вечный, — весь с головы до ног "великий поэт", "большой человек", "человек новый", "человек правдивый", а это больше, чем "великий", — человек прекрасный, т. е. изящный во всех своих проявлениях, и человек хороший, добрый, т. е. прекрасный в *малом*, умалившийся до *мало*го, до забот о хлебе насущном своих друзей.

Он сотворил свою краткую человеческой жизнью вечную память в сердцах тех, кто его знал и любил. И этот памятник нерукоотворный живет, бессмертнее и долговечнее тех памятников, которые будут ему поставлены... Этот памятник — его бессмертная жизнь, ибо мы в Боге родимся, во Христе умираем и в Святом Духе возрождаемся" (О Блоке. С. 322).

По приезде в Берлин в ноябре 1921 г. Белый приступает к работе над самым пространственным вариантом своих "Воспоминаний о Блоке", которые были опубликованы в журнале "Эпопея" (1922. № 1—3; 1923. № 4).

Для А. Белого эта тема материалами, опубликованными в "Эпопее", однако, не исчерпывается. Здесь же, в Берлине, в декабре 1922 года Белый приступает к переработке "Воспоминаний о Блоке" в мемуарную книгу "Начало века" (так называемая "берлинская" редакция, 1922—1923), в которой, однако, фигура Блока все более и более отступает на задний план.

Образ Блока, воссозданный в берлинских "Воспоминаниях о Блоке", — один из самых ярких и впечатляющих в мемуаристике Белого.

В настоящем издании "Воспоминания о Блоке" публикуются по тексту журнала "Эпопея", измененному в согласии с нормами современной орфографии, но с соблюдением особенностей повествовательной манеры А. Белого, касающейся, главным образом, синтаксиса писателя. Незначительные коррективы в своеобразный синтаксис Белого были внесены лишь в ряде случаев, когда отсутствие тех или иных знаков препинания в тексте (здесь нельзя исключать и типографские ошибки) делало его бессмысленным. Нами были исправлены также другие очевидные опечатки и восстановлены некоторые, возникшие, судя по всему, в наборе, лакуны. Цитаты из стихотворений Блока приведе-

ны в тексте в том виде, в котором их дает А. Белый. В связи с тем что практически вся рукопись "Воспоминаний", как и большая часть берлинского архива Белого, утрачена, для реконструкции этих пропусков мы использовали неопубликованную "берлинскую" редакцию "Начала века". Реконструированные места поставлены в квадратные скобки. Примечания в тексте авторские.

В подготовке текста к изданию принимали участие Н. Ю. Антонова, Б. А. Ляпунова, С. В. Пискунова, А. В. Пичул, которым приносит искренняя благодарность. Особая благодарность Л. Г. Андрееву, С. К. Анту, Э. Г. Бабаеву, Н. И. Ваниковой, П. А. Гринцеру, Г. Ф. Пархоменко, Е. В. Степанян, А. М. Туркову, Д. Л. Чавчанидзе за их творческую помощь и участие в судьбе этой книги.

При составлении комментариев использованы примечания В. Н. Орлова к кн. "Александр Блок — Андрей Белый. Переписка" (М., 1940); примечания к Собранию сочинений Александра Блока в 8 т. (М.; Л., 1960—1963: т. 1—3. Вл. Орлова, т. 4. Л. К. Долгополова, т. 5—6. Д. Е. Максимова и Г. А. Шабельского, т. 7. Вл. Орлова, т. 8. М. И. Дикман); примечания Вл. Орлова к "Записным книжкам" Александра Блока (М., 1965); Н. К. Банк и Н. Г. Захарченко к книге: Андрей Белый "Стихотворения и поэмы" (М.; Л., 1966); Вл. Орлова к изданию "Александр Блок в воспоминаниях современников" (М., 1980); С. С. Гречишкина, Л. К. Долгополова, А. В. Лаврова к роману Андрея Белого "Петербург" (Л., 1981); А. В. Лаврова к автобиографической трилогии Андрея Белого "На рубеже двух столетий" (М., 1989), "Начало века" (М., 1990), "Между двух революций" (М., 1990).

## ПРЕДИСЛОВИЕ

<sup>1</sup>А. А. Блок скончался 7 августа 1921 г. Похоронен на Смоленском кладбище Петербурга. "Гроб, утопавший в цветах, всю дорогу до Смоленского кладбища несли на руках литераторы. В их числе был и брат по духу поэт — Андрей Белый" (Бекетова. С. 201). Ср.: "Я увидела, — вспоминает Н. Н. Берберова, — как под стройное, громкое пение (...) спускались Белый, Пяст, Замятин, другие, неся гроб. Л. Д. (Любовь Дмитриевна Блок. — С. П.) вела под руку Ал. Ан. (Александрю Андреевну Кублицкую-Пиоттух, мать поэта. — С. П.), священник кадил, в подворотне повернули на улицу, уже начала расти толпа. Все больше и больше — черная, без шапок, вдоль Пряжки, за угол, к Неве, через Неву, поперек Васильевского острова — на Смоленское. Тысячи полторы людей ползли по летним, солнечным, жарким улицам, качался гроб на плечах..." (Берберова Н. Курсив мой: Автобиография. München, 1972. С. 143). Представляет интерес письмо А. Белого В. Ф. Ходасевичу от 9 августа 1921 г., в котором передана первая эмоциональная реакция на известие о смерти Блока: "Эта смерть для меня — роковой бой часов: чувствую, что часть меня самого ушла с ним. Ведь вот: не видались, почти не говорили, а просто "бытие" Блока на физическом плане было для меня, как орган зрения или слуха; это чувствую теперь (...)

Эта смерть — первый удар колокола: "поминального" или "благовестящего". Мы все, как люди вполне, "на роковой стоим очереди": "погибнуть или любить"... (Ходасевич Владислав. Три письма Андрея Белого // Современные записки, LX. Париж, 1934. С. 257—258).

<sup>2</sup>"Незнакомка (По вечерам над ресторанами...)" (1906) — стих. Блока.

<sup>3</sup>Имеется в виду первая книга стихов Блока "Стихи о Прекрасной Даме" (1904).

<sup>4</sup>Стих. Блока (1908), входящее в его поэтическую книгу "Родина".

<sup>5</sup>Имеется в виду стих. "Новая Америка (Праздник радостный, праздник великий...)" (1913).

<sup>6</sup>Urbi et orbi (лат.) — Городу и миру.

<sup>7</sup>Аллюзия на строки стих. Блока "Рожденные в года глухие..." (1914):

Рожденные в года глухие  
Пути не помним своего.  
Мы — дети страшных лет России —  
Забить не в силах ничего...

<sup>8</sup>Героиня цикла стихов "Мэри" (1908).

<sup>9</sup>Персонаж поэмы "Двенадцать".

<sup>10</sup>Понятие, объединяющее в себе эстетические и этические достоинства (от греч. kalon — прекрасное и agathon — доброе): наряду с красотой и силой оно включает также справедливость, целомудрие, мужество и разумность.

<sup>11</sup>Возможно, аллюзия на название собственной брошюры "Трагедия творчества. Достоевский и Толстой" (1910).

<sup>12</sup>Завершающие строки стих. "Друзьям" (1908).

<sup>13</sup>Аллюзия на стихотворение А. Блока "Царица смотрела заставки...", в котором упоминается "Голубиная" ("Глубинная") книга. В Полном православном богословском энциклопедическом словаре о ней сказано: "Голубиная книга" — вероятно, "глубинная", содержащая глубину премудрости, так как в ней решаются космогонические вопросы о происхождении мира и объясняются различные явления из жизни природы. Название "Глубина" нередко давалось Псалтири. Будучи первоначально книгой дозволенной, эта "Глубина" или "Голубиная" книга в XIII ст. переходит в число запрещенных или так называемых апокрифических" (Т. 1. С. 658—659).

<sup>14</sup>В Наброске статьи о русской поэзии, помещенной в Дневнике 1901—1902 гг., Блок следующим образом характеризует собственное понимание роли и места философа Вл. Соловьева (1853—1900) в духовной жизни России: "Когда раздалась нечеловеческие вопли грубого либерализма и "либеральная жандармерия" (...) стала теснить ариокраіов (аристократов. — А. Блок) чувства и мысли и снова распинать Истину, Добро и Красоту, — старые силы вышли из тумана, в "дымном тумане" возникли "новые дни". На великую философскую борьбу вышел гигант — Соловьев (...) Осыпались пустые цвета позитивизма, и старое древо вечно ропщущей мысли зацвело и зазеленело метафизикой и мистикой" (Собр. соч. Т. 7. С. 23). Этой юношеской убежденности Блок остался верен до конца жизни, о чем свидетельствуют многие его стихи, посвященные Вл. Соловьеву, а также статьи "Рыцарь-монах" (1911) и "Владимир Соловьев и наши дни" (1920).

<sup>15</sup>Блок, неизменно восхищавшийся стихами Фета, особо подчеркивал их "мужественную волю и влекущую силу женственности" (Собр. соч. Т. 7. С. 36). Ср. оценку Белого: "Эстетизм как созерцание, как форма освобождения от воли был следствием философии умирающего столетия и оттого звучал Фет, этот выразитель настроения Веданты в русской природе" (О Блоке. С. 206).

<sup>16</sup>Об отношении Блока к Врубелю см. его статью "Памяти Врубеля" (1910). Ср. высказывание Белого, что Врубель "создавал эпоху подлинно новую демонической философией своего стиля и красок" (О Блоке. С. 248).

<sup>17</sup>К образу Лермонтова — демона русской литературы, который "восходил на горный кряж и, кутаясь в плащ из тумана, смотрел с улыбкой вещей скуки на образы мира, витающие у его ног" (Собр. соч. Т. 5. С. 76), Лермонтова, на колдовстве которого "современная литература научилась мудрости глубокой, в которой не видно дна" (Собр. соч. Т. 5. С. 82), Блок возвращался многократно. См. статьи "Неданд о поэте" (1906), "Безвременье" (1906), "О лирике" (1907), "Судьба Аполлона Григорьева" (1915).

<sup>18</sup>По преданию, легендарный город праведников, погружившийся в озеро Светлояр и таким образом укрывшийся от разорения татарами. Китежская легенда привлекала внимание многих представителей русской культуры начала века, в том числе близких символистам (Д. Мережковского, Н. Рериха, М. Волошина и др.).

<sup>17</sup>“Эпохой слепительных зорь” А. Белый называет самое начало 1900-х гг., отмеченное выходом блоковских “Стихов о Прекрасной Даме”, появлением его собственной книги стихов и лирической прозы “Золото в лазури” (1904), а также его “Северной симфонии (1-й, героической)” (1904), “Симфонии (2-й, драматической)” (1902), “Возврата. III симфонии” (1905). Для обоих поэтов это — годы вступления в литературу, когда утвердилась их вера в теургическую природу искусства и собственное избранничество. В одном из самых первых писем обширной многолетней переписки с Блоком Белый, пытаясь очертить своеобразие их “родового” мироздания, говорит о “музыкальной идее”, как внутреннем аккомпанементе “к дальнему, как приближению к последнему обобщению: последнее обобщение — Мировая Идея, Душа Мира, воплощающая божественный Логос, “*Лучезарная Подруга*”. “Искусство с точки зрения религии” — теософски-религиозное обоснование и раскрытие вышесказанного” (Переписка. С. 8). Переписка Блока и Белого возникла в январе 1903 г., когда они независимо друг от друга и почти одновременно обмениваются письмами (Блок — 3 января, Белый — 4-го), испытывая взаимное тяготение и чувство родственности (“В то время, когда каждый думал, что он один пробирается в темноте, без надежды, с чувством гибели, оказалось — и другие совершали тот же путь. И вот — разными путями прошли какую-то промежуточную зону, лежащую между “*внешним*” и “*внутренним*” значением, соприкоснулись с Одной Истиной, хотя часто и с разных сторон”, — сказано в первом же письме Белого (Переписка. С. 7).

<sup>2</sup>Соловьев Сергей Михайлович (1885—1942).

<sup>3</sup>Мать А. А. Блока и мать С. М. Соловьева были двоюродными сестрами.

<sup>4</sup>С семейством Соловьевых — Михаилом Сергеевичем Соловьевым (1862—1903), его женой Ольгой Михайловной Соловьевой (урожд. Коваленской) (1855—1903), их сыном Сереей, — сыгравшим огромную роль в его жизни, Белый познакомился в конце 1895 г. (см.: На рубеже. Гл. Семейство Соловьевых).

<sup>5</sup>Рёскин Джон (1819—1900) — английский писатель, теоретик искусства, публицист. Идеолог прерафаэлизма, противопоставлявшего прозе буржуазного мира творчество средневековых художников.

<sup>6</sup>Уайльд Оскар (1854—1900) — английский прозаик, поэт, драматург, эссеист.

<sup>7</sup>Виньи Альфред де (1797—1863) — французский поэт, прозаик, драматург.

<sup>8</sup>Группа английских художников и писателей XIX в., избравшая своим идеалом “*наивное*” искусство средних веков и раннего Возрождения (до Рафаэля).

<sup>9</sup>Россетти Данте Габриэль (1828—1882) — английский живописец и поэт, основатель “Братства прерафаэлитов” (1848).

<sup>10</sup>Бёрн-Джонс Эдуард (1833—1898) — английский художник-прерафаэлит.

<sup>11</sup>Верлен Поль (1844—1896) — французский поэт-символист.

<sup>12</sup>Малларме Стефан (1842—1898) — французский поэт, критик, теоретик символизма.

<sup>13</sup>Метерлинк Морис (1862—1949) — бельгийский драматург, поэт, эссеист, теоретик символизма.

<sup>14</sup>“Jugend” (нем.) — немецкий журнал “нового искусства”, выходивший в Мюнхене в 1896—1933 гг.

<sup>15</sup>“The Studio” (англ.) — английский художественный журнал, выходивший в Лондоне с 1893 г.

<sup>16</sup>Художественный журнал, издававшийся в Петербурге с 1899 по 1904 г. под редакцией А. Н. Бенуа и С. П. Дягилева. Был органом одноименного художественного объединения, близкого писателям-символистам.

<sup>17</sup>То есть принадлежащая дорийцам — одному из четырех основных древнегреческих племен, которое отличалось строгой дисциплиной, устойчивыми родовыми традициями, простотой быта. Все эти черты отразились также в сфере культуры: дорический архитектурный ордер, дорический лад и т. д. воплощают наиболее архаический этап развития древнегреческого искусства.

<sup>18</sup>Имеются в виду в первую очередь соловьевские доктрины "положительного всеединства" и "цельного знания", достижимые лишь на теософских путях мистического познания и преобразования человека и человечества.

<sup>19</sup>"Chefs d'Oeuvre" ("Шедевры", 1895) — сборник стих. В. Я. Брюсова.

<sup>20</sup>Уже в сентябре (1901 г. — С. П.) я читаю "Симфонию" (речь идет о 2-й, "драматической" симфонии. — С. П.) у Соловьевых, — вспоминал Белый в книге "Начало века", — «... "Симфонию" сдали в набор, псевдонима же не было; мне, как студенту, нельзя было, ради отца, появляться в печати Бугаевым, и я придумал псевдоним "Буревой".

"Скажут — Бори вой!" — иронизировал Михаил Сергеевич; и тут же придумал он: "Белый" (С. 145).

<sup>21</sup>Имеется в виду поэма шведского поэта Эсайаса Тегнера "Сага о Фритюфе" (1820—1825), в основу которой положена древнеисландская сага.

<sup>22</sup>Имеется в виду книга Д. С. Мережковского "Л. Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество" (1901—1902), во многом предопределившая отношение к "проку плоти" Л. Толстому и "проку духа" Достоевскому как в России, так и за рубежом.

<sup>23</sup>Трубецкой Сергей Николаевич, князь (1862—1905) — религиозный философ, публицист, деятель либерального направления. Первый выборный ректор Московского университета; последователь и близкий друг Вл. Соловьева. Свою собственную философию определял как "конкретный идеализм". В сентябре—декабре 1904 года, будучи студентом историко-философского факультета, Белый работал в семинаре Трубецкого. Похороны Трубецкого, состоявшиеся в Москве 3 октября 1905 г., приобрели характер политической манифестации.

<sup>24</sup>Кублицкая-Пиоттух (урожд. Бекетова, в первом браке — Блок) Александра Андреевна (1860—1923) — мать А. А. Блока; переводчица и детская писательница (см.: Бекетова. С. 205—348).

<sup>25</sup>Строка из поэмы Андрея Белого "Первое свидание" (1921).

<sup>26</sup>Второй сборник стихов К. Д. Бальмонта (1894).

<sup>27</sup>"Аллюзия на "книгу символов" Бальмонта "Будем как солнце" (1903).

<sup>28</sup>Пережив в юности увлечение философией Артура Шопенгауэра (автора знаменитого труда "Мир как воля и представление" (1844)) "Шопенгауэр (...) мне был ножом, отрезающим от марева благополучий конца века" (На рубеже. С. 188), Белый со временем преодолевает ее, связывая пессимизм Шопенгауэра с декадентством, которому противопоставляется символизм как мирозерцание трагически-оптимистическое.

<sup>29</sup>Бодлер Шарль (1821—1867) — французский поэт, ближайший предшественник символистов.

<sup>30</sup>Ибсен Генрик (1828—1906) — норвежский драматург и поэт. Об отношении Белого к Ибсену см. его статьи: "Ибсен и Достоевский" (1905), "Генрик Ибсен" (1906), "Кризис сознания и Генрик Ибсен" (1910).

<sup>31</sup>Драма Г. Ибсена (1881).

<sup>32</sup>Одноактная пьеса М. Метерлинка (1890).

<sup>33</sup>Неточная цитата из стихотворения "Одиночество" (1903).

<sup>34</sup>Строки из стихотворения Бальмонта "Чайка" (1894).

<sup>35</sup>Пьеса Г. Гауптмана (1894).

<sup>36</sup>Минский (наст. фам. Виленкин) Николай Максимович (1855—1937) — поэт, драматург, философ, критик, переводчик; один из зачинателей русского символизма.

<sup>37</sup>Веданта (конец, завершение Вед — санскр.) — религиозно-философская система, возникшая в Индии в начале нашего века и изложенная в книгах "Вед" (знание — санскр.). Философская часть "Вед" называется "Упанишады" (дословно — сидение внизу, у ног учителя), их литературная запись относится к X—XI вв. "Отрывки из Упанишад" в переводе Д. Джонстон печатались в журнале "Вопросы философии и психологии" (1896, кн. 31(1)). Именно с этим изданием познакомился Белый-гимназист, заметивший много лет спустя: "Впечатление от Упанишад взворотило все бытие" (На рубеже. С. 337).

<sup>38</sup>Нирвана (утасание, успокоение — санскр.) — в буддийской философии синоним "высшего блаженства", окончательное освобождение ото всех земных страстей и привязанностей.

<sup>39</sup>Имеется в виду книга Ф. Ницше "Рождение трагедии из духа музыки" (1872), посвященная анализу античной трагедии и современной культуры сквозь призму сопоставления двух начал бытия: "дионисийского" (оргиастически-стихийного) и "аполлоновского" (созерцательно-интеллектуального). С работами Фридриха Ницше (1844—1900) Белый впервые знакомится в 1899 г.: "С осени 1899 года я живу Ницше; он есть мой отдых, мои интимные минуты, когда я, отстранив учебники и отстранив философии, всецело отдаю его интимным проблемам, его фразе, его стилю, его слогу (...) Я видел в нем: 1) "нового человека", 2) практика культуры, 3) отрицателя старого "быта", всю прелесть которого я испытал на себе, 4) гениального художника, ритмами которого следует пропитать всю художественную культуру" (На рубеже. С. 434—435).

<sup>40</sup>Сборник стихов К. Бальмонта (1898).

<sup>41</sup>Третий сборник стихов К. Бальмонта (1895).

<sup>42</sup>"Сократический человек" у Ницше — человек, утративший органический контакт с живой жизнью и попавший под власть рассудочного мирозерцания. Вспоминая время своей юности, Белый писал в книге "О Б л о к е": "...появились люди — маски, то есть люди, вынужденные, выражаясь языком Ницше, жить среди умирающего поколения "сократиков" и изобретать себе личину "сократической" видимости, утаивая свою дионисийскую суть, дабы не быть стертými с лица земли крепкой и могучей злобой на нас со стороны стариков" (С. 235).

<sup>43</sup>Неточная цитата из стих. Вл. Соловьева "Вновь белые колокольчики" (1900). У Соловьева: "зло пережитое..." (См. также ком. 14 к гл. 5).

<sup>44</sup>Речь идет о книге Д. Мережковского "Л. Толстой и Достоевский" (См. ком. 22 к наст. гл.).

<sup>45</sup>Имеется в виду Агриппа Неттесгеймский (1486—1535) — деятель немецкого Возрождения, ревнитель "тайного знания", оккультист, якобы предсказавший, что в 1900 г. мир вступит в новую эру.

<sup>46</sup>"Зогар" ("Книга Синия") — основополагающий текст каббалы, созданный на арамейском языке в XIII в. в Испании Моисеем Лионским и приписанный им талмудическому мудрецу Симону Бен-Йохаю.

<sup>47</sup>Новский Дмитрий Н. — репетитор С. М. Соловьева.

<sup>48</sup>Унковская Е. — частая посетительница квартиры Соловьевых, о которой в Начале века сказано, что она символизировала "бледных дев", переполнявших дом: они "мертвенно "бледнели" молчанием, заставляя предположить, что молчание это — молчание "из сочувствия" (С. 152).

<sup>49</sup>Коваленская (урожд. Карелина) Александра Григорьевна (1829—1914) — детская писательница; бабушка С. М. Соловьева.

<sup>50</sup>Петровский Алексей Сергеевич (1881—1958) — переводчик, сотрудник библиотеки Румянцевского музея; ближайший друг Белого, начиная со студенческих лет. Ему — наряду со второй женой Белого К. Н. Бутаевой — принадлежит огромная заслуга в хранении и систематизации литературного наследия писателя.

<sup>51</sup>Кобылинский Лев Львович (псевдоним Эллис) (1879—1947) — поэт, переводчик, критик, близкий друг Белого; Кобылинский Сергей Львович (1882—?) — студент историко-философского факультета Московского университета. См. гл. "Студент Кобылинский" и "Эллис" в Начале века, а также: *Гречешкин С. С., Лавров А. В.* Эллис — поэт-символист, теоретик и критик (1900—1910-е годы) // XXV Герценовские чтения. Литературоведение. Л., 1972.

<sup>52</sup>Рачинский Григорий Алексеевич (1859—1939) — литератор, переводчик, философ; председатель Религиозно-философского общества в Москве.

<sup>53</sup>Ключевский Василий Осипович (1841—1911) — историк.

<sup>54</sup>См. ком. 23 к наст. гл.

<sup>55</sup>Псевдоним Соловьевой Поликсены Сергеевны (1867—1924) — поэтессы, детской писательницы, сестры Вл. и М. Соловьевых.

<sup>56</sup>Д'Альгейм Пьер (Петр Иванович), барон (1862—1922) — французский журналист и писатель, музыкальный деятель.

<sup>57</sup>Теократия — от греч. — *theos* — бог и *kratos* — власть. Форма правления, при которой глава государства (обычно монархического) является одновременно его религиозным главой. Теократическая утопия развита в труде Вл. Соловьева "История и будущее теократии" (1887), где проводится мысль о союзе между римским папой и русским царем как правовом гаранте "богочеловеческого дела".

<sup>58</sup>Намек на основанный в XVII в. Саровский монастырь (Тамбовская губ.), прославленный деяниями одного из наиболее почитаемых святых в русской православной церкви, Серафима Саровского (см. о нем ком. 16 к гл. 4). Белый посещает Саровскую мужскую пустынь в августе 1904 г.

<sup>59</sup>Метнер Эмил Карлович (псевд. — Вольфинг) (1872—1936) — музыкальный критик, журналист, философ, руководитель издательства "Мусагет". Десятилетняя пылкая дружба с Э. Метнером завершилась, как это часто бывало у Белого, бурным конфликтом. Окончательный разрыв отношений между Белым и Метнером произошел в марте 1915 г. в Дорнахе, в ходе разговора о делах издательства "Мусагет". К этому прибавилось знакомство Белого с книгой Метнера "Размышления о Гёте" (М., 1914), содержащей критику трудов Штейнера о Гёте. Ответом на нее послужило сочинение Белого "Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности" (М., 1917), следующим образом оцененное в "Автобиографическом письме" Иванову-Разумнику от 1 марта 1927 г.: "...пишу книгу в 1915 году "Рудольф Штейнер и Гёте"; но какая же это книга; она — отражение Метнера; и она *семинарий и штудииум* по вопросам антропософского *гетизма* и антропософской *методике*" (Cahiers du monde russe et soviétique. XV. 1—2. 1974).

<sup>60</sup>Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — писатель, литературный критик, публицист, философ.

<sup>61</sup>Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891) — писатель, публицист, литературный критик, поздний славянофил. Считал главной опасностью буржуазный либерализм с его "омещаниванием" быта и культом всеобщего благополучия, выдвигал идею союза России со странами Востока как охранительное средство от революционных потрясений.

<sup>62</sup>Записка о "Двенадцати" (См.: Блок А. А. Собр. соч.: В 12 т. Л., 1933. Т. 5. С. 133—134).

<sup>63</sup>Гартман Эдуард фон (1842—1896) — немецкий философ-идеалист, сторонник панспихизма. Основой всего сущего считал мировую волю. Ср. запись Белого о лете 1899 г.: "...читаю я "Философию бессознательного" Гартмана; во мне уже намечается тенденция к волонтаризму, как попытка соединить философию Шопенгауэра с данными естествознания" (Материал к биографии. Л. 12).

<sup>64</sup>Если в книге "Оправдание добра" (1879) излагалась оптимистическая цель развития человека — "одухотворение своей телесности и победа над смертью и тлением" (Жизнь Соловьева. С. 339), то последнее сочинение философа "Три разговора" (1900), построенное в форме платоновских диалогов, свидетельствовало о крахе надежд на совокупное спасение человечества.

<sup>65</sup>Этот разговор описан в беловском очерке "Владимир Соловьев" (Арабески): "Помню, я получил записку от покойной О. М. Соловьевой. Она извещала, что Владимир Сергеевич читает им свой "Третий разговор", и просила меня прийти. Прихожу (...). При виде Соловьева мне хотелось ему сказать что-то такое, что говорить не полагается за чайным столом. Но желание осталось желанием, и я заговорил с ним о Ницше, об отношении сверхчеловека к идее богочеловечества (...). Потом он читал свою "Повесть об антихристе". При слове "Иоанн поднялся, как белая свеча" он тоже приподнялся, как бы вытянулся на кресле. Кажется, в окнах мерцали зарницы. Лицо Соловьева трепетало в зарницах вдохновения. Тут я не мог не сказать чего-то такого, что было мне близко и что я усмотрел в диалоге действующих лиц "разговора". Соловьев посмотрел на меня удивленно. И на "робкие" дикие для всех замечания сказал мне: "Да, да, это так". Я почувствовал, что между нами возникает что-то особенное (...). Мы

условились, что встретимся после лета. Я уже знал, что мы встретимся прочно. Но Соловьев скончался. И несказанное между нами слово стало для меня лозунгом, как стала для меня впоследствии лозунгом его могила, озаренная красной лампадкой" (С. 394).

<sup>66</sup>Понятие-мифологема античной философии, связанное с представлением о смысловой наполненности и устроенности вещей; в христианской теологии — олицетворение мудрости Бога, иногда соединяемое с понятием Церкви Небесной; в философии и поэзии Вл. Соловьева — вечно женственное начало божества, положительное всеединство. Один из центральных образов мирозозерцания и поэзии символистов-соловьевцев.

<sup>67</sup>Метнер Николай Карлович (1879—1951) — композитор, пианист, музыкальный писатель. Речь идет о его сонате для фортепьяно с-moll. Ср. дневниковую запись Э. К. Метнера от 16 сентября 1902 г.: "Коля (...) сочинил за это время, между прочим, сонату, в которой вторая тема первой части является основным мотивом "Симфонии" Бугаева. Это есть радость страшная и уютная в одно время, общая и интимная... Когда в позапрошлый раз Коля начал играть при Бугаеве эту сонату, я, все лето промучавшийся аналогией между обоими темами, наблюдал за Бугаевым... После первого появления этой темы он задумался, но когда ей пришел черед явиться снова, он вскочил и взглянул на меня с таким ужасом, и как будто он увидел двойника... удивлению и восхищению его не было конца... Бугаев говорил, что ему многое выяснилось в "Симфонии" благодаря этому мотиву..." (РГБ, ф. 167, карт. 23, ед. хр. 9, л. 52 об. — 53).

<sup>68</sup>Имеется в виду рассказ З. Гиппиус "Сумерки духа" (1902). См. о ней ком. 108 к наст. гл.

<sup>69</sup>Из стихотворения "Das Ewig — Weibliche" (1898).

<sup>70</sup>"Смысл любви" — цикл статей, в которых изложена соловьевская философия эроса. См. ком. 126 к наст. гл.

<sup>71</sup>См. ком. 16 к наст. гл.

<sup>72</sup>М. С. Соловьев был издателем сочинений брата — Вл. С. Соловьева.

<sup>73</sup>Учение Е. П. Блаватской, основавшей вместе с американцем Г. Олкоттом в 1875 г. в Нью-Йорке Теософское общество. Цели общества и свои идеи Блаватская изложила в книгах "Тайная доктрина" (1888), "Ключ к философии" (1889) и др., где теософия представлена как мировоззрение, способное дать миру всеобъемлющую религию и этику. Теософия направлена на выявление "скрытых сил", духовного начала в человеке, под руководством "учителя" или "мастера", обладающего тайным эзотерическим знанием. Первое знакомство Белого с теософскими идеями произошло осенью 1896 г.

<sup>74</sup>Имея в виду монографию Д. Мережковского "Л. Толстой и Достоевский. Жизнь, творчество и религия", Белый писал: "...анализ, произведенный Д. С. Мережковским образом Льва Толстого и Ф. Достоевского, выявил: оба они завершают-де мировую словесность: "От слова — к действию, к преобразению жизни, сознания!" (...) Литература в обоих есть выход из литературы, в обоих уже слово становится делом. Задание Мережковского: выявить общину новых людей, превративших сознание Толстого и Достоевского в творческий быт; эта община была бы Третьим заветом, связующим Новый и Ветхий" (Начало века. С. 188—189).

<sup>75</sup>Радлов Эрнест Львович (Леопольдович) (1854—1928) — философ-идеалист, переводчик "Этики" Аристотеля, директор Петербургской публичной библиотеки (1917—1924).

<sup>76</sup>Цертелев Дмитрий Николаевич (1852—1911) — поэт, философ, литературный критик, публицист; редактор журнала "Русское обозрение"; близкий друг Вл. С. Соловьева.

<sup>77</sup>Лопатин Лев Михайлович (1855—1920) — философ-персоналист, психолог, профессор Московского университета, ближайший друг Вл. Соловьева.

<sup>78</sup>Лукьянов Сергей Михайлович (1855—1935) — патофизиолог, товарищ министра народного просвещения, друг и биограф Вл. С. Соловьева.

<sup>79</sup>Шмидт Анна Николаевна (1851—1905) — нижегородская журналистка, автор религиозно-мистических сочинений, в том числе "Исповеди" и "Третьего завета",

в которых она развивала теософские идеи Вл. Соловьева, преломленные через призму личного мистического опыта (считала себя воплощением небесной Софии — адресата лирики и писем Вл. Соловьева). См. также ком. 159 к наст. гл.

<sup>80</sup>В архиве Белого сохранились два письма А. Н. Шмидт к нему (РГБ, ф. 25, карт. 25, ед. хр. 37).

<sup>81</sup>Речь идет о "Симфонии (2-й, драматической)".

<sup>82</sup>"Молодые стихи" С. М. Соловьева представлены в его первом поэтическом сборнике "Цветы и ладан" (1907).

<sup>83</sup>Неточная цитата из стих. Вл. Соловьева "Lesrevenants" ("Призраки" — фр.) (1900).

<sup>84</sup>Из стих. "Ищу спасения" (1900).

<sup>85</sup>Имеется в виду "мистерия-шутка в 3-х действиях" "Белая линия, или Сон в ночь на Покрова" (1878—1880).

<sup>86</sup>Поэма впервые опубликована в журнале "Знамя. Временник литературы и политики" (Берлин, 1921. № 2); отдельное, переработанное издание — Первое свидание. Поэма. Спб.: Алконот, 1921.

<sup>87</sup>Троица — один из "двунадесятых" православных церковных праздников, отмечается на 50-й день от Пасхи.

<sup>88</sup>Христианский религиозный праздник, 2-й день Троицы. Белый именно этим днем датировал многие из самых значительных своих произведений.

<sup>89</sup>Апокалипсис (греч. apokálypsis — откровение) — последняя в числе Новозаветных книг, древнейшее из сохранившихся христианских литературных произведений (середина 68 — начало 69 года). Написана апостолом Иоанном Богословом на острове Патмос и содержит пророчества о "конце света", "страшном суде" и грядущем "тысячелетнем царстве Божьем". Апокалипсические откровения занимали большое место как в мировоззрении, так и в творчестве А. Блока и А. Белого.

<sup>90</sup>Из стих. "Белые колокольчики".

<sup>91</sup>Из стих. "Вновь белые колокольчики".

<sup>92</sup>Из стих. "Знаю" (1901), посвященного О. М. Соловьевой.

<sup>93</sup>Неточная цитата из стих. "Вновь белые колокольчики". У Соловьева "замыслы смелые", а не "помыслы".

<sup>94</sup>Религиозно-философское общество было учреждено по инициативе Д. Мережковского в Петербурге осенью 1901 г. (первое собрание состоялось 29 ноября). Существовало в течение двух лет. Вот свидетельство, относящееся к тем далеким годам: "В этих Религиозно-Философских Собраниях мы видим небывалое еще в русской жизни явление. Представители литературы и представители духовенства сходятся для свободной дискуссии о религиозных вопросах (...) Мы знаем, что у нас обыкновенно или прикладывались к руке высокого духовного лица и холопствовали перед ним так, как он холопствовал перед русским правительством, или не считали возможным пребывать с ним в одной комнате; мы не привыкли даже думать, что представители нашего духовенства способны к членораздельной речи, выражающей собою какие-нибудь мысли, и для нас дика была мысль, что с ними можно спорить о животрепещущих вопросах и высказывать перед ними свободно свои мысли. И вдруг свобода совести и свобода слова временно утверждаются в маленьком уголке Петербурга, называемом Религиозно-Философскими Собраниями" (*Бердяев Н. А. Sub specie aeternitatis*. Спб., 1907. С. 138—139).

В апреле 1903 г. собрания были запрещены обер-прокурором Синода К. П. Победоносцевым. В октябре 1907 г. они возобновились — уже не в виде полугласных собраний, но в качестве многолюдного Религиозно-философского общества (под председательством А. В. Карташева). Стенографические отчеты первых двадцати собраний (всего их состоялось до закрытия 22) печатались в журналах "Новый путь" (1903). Отдельно в кн.: "Записки Петербургских религиозно-философских Собраний" (1902—1903). Спб., 1906.

<sup>95</sup>Успенский Владимир Васильевич — профессор петербургской Духовной академии.

<sup>96</sup>Карташев Антон Владимирович (1875—1960) — историк церкви, профессор Духовной академии.

<sup>97</sup>Сергий (в миру Иоанн Старгородский) (1867—?) — архиепископ Финляндский и Выборгский.

<sup>98</sup>Антонин (в миру Александр Грановский) — епископ Нарвский.

<sup>99</sup>Михаил (в миру Кеменов Павел Васильевич) (1874 — после 1916) — духовный писатель и публицист-народник, доцент петербургской Духовной академии, затем старообрядческий епископ.

<sup>100</sup>Новоселов Михаил Александрович (1864—?) — духовный писатель, публицист, издатель "Религиозно-философской библиотеки".

<sup>101</sup>Тихомиров Лев Александрович (1852—1923) — революционный народник, публицист, член Исполнительного комитета "Народной воли"; с 1888 г., после отхода от революционной деятельности, — монархист и консерватор (см. гл. "Лев Тихомиров" в Начале века, а также книгу *Тихомиров Л. А. Воспоминания.* Л., 1927).

<sup>102</sup>Фудель Иосиф Иванович (1864—1918) — священник, публицист.

<sup>103</sup>Никон (в миру Николай Иванович Рождественский) (1851—1918) — епископ Вологодский.

<sup>104</sup>Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926) — живописец.

<sup>105</sup>Погожев Евгений Николаевич (псевд. — Е. Поселянин) (1870—?) — публицист, сотрудник церковных изданий.

<sup>106</sup>Тернавцев Валентин Александрович (1866—1940) — писатель-богослов, деятель Религиозно-философского общества в Петербурге, чиновник особых поручений при обер-прокуроре Синода.

<sup>107</sup>Неточная цитата из стих. Вл. Соловьева "В стране морозных выюг, среди седых туманов..." (1882).

<sup>108</sup>Гиппиус (в замужестве Мережковская) Зинаида Николаевна (1869—1945) — поэт, прозаик, критик (псевд. — Антон Крайний).

<sup>109</sup>Это письмо в извлечениях было опубликовано в журнале "Новый путь" под заглавием "По поводу книги Д. С. Мережковского "Л. Толстой и Достоевский" (1903, № 1).

<sup>110</sup>См. ком. 159 к наст. гл.

<sup>111</sup>Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — философ, публицист, критик. В ответном письме составителю "Словаря русских писателей и ученых" С. А. Венгерову, помеченном 9 мая 1903 г., Бердяев писал: "Начиная со статьи "Борьба за идеализм" (1901. — С. П.), окончательно переходю от позитивизма к метафизическому идеализму, сообразно с этим меняю свое отношение к марксизму (...) Сейчас я принадлежу к идеалистическому направлению, которое все более определяется и выражением которого является сборник "Проблемы идеализма" (*Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых.* СПб., 1897—1904. Т. 6. С. IX—X, 443).

<sup>112</sup>"Проблемы идеализма" (1902) — сборник статей Н. Бердяева, С. Булгакова, П. Струве и С. Франка, заявивших о своем разрыве с марксизмом и выступивших с призывом к возрождению религиозно-идеалистической философии.

<sup>113</sup>Флоренский Павел Александрович (1882—1937) — богослов, философ, искусствовед, математик, инженер, поэт. Вспоминая годы спустя об этой первой встрече в декабре 1904 года, Белый отметит в Ракурсе к дню внику "особенную близость с Флоренским" в этот период (Л. 26). См. также гл. "Аяксы" в Начале века.

<sup>114</sup>Свенцицкий (Свентикой) Валентин Павлович (1879—1931) — прозаик, драматург, публицист, церковный писатель.

<sup>115</sup>Эрн Владимир Францевич (1881—1917) — религиозный философ, историк философии, публицист.

<sup>116</sup>Имеется в виду сочинение Вяч. Иванова "Эллинская религия страдающего бога" (1904), в основу которого положен парижский курс лекций об эллинской религии Диониса, прочитанный в Высшей школе общественных наук.

<sup>117</sup>См. ком. 16 к наст. гл.

<sup>118</sup>Речь идет о стих. "Предчувствую Тебя. Года проходят мимо..."

<sup>119</sup>Серебряный Колодезь — имение в Тульской губернии, купленное отцом будущего писателя Н. В. Бугаевым осенью 1898 г. Здесь до отъезда за границу в 1906 году Белый проводит каждое лето. Месяцы, проведенные в имении, были отмечены особой творческой продуктивностью, здесь, в частности, было написано большинство стихов, составивших сборник "Золото в лазури", создавалась "Симфония (2-я драматическая)", целый ряд других сочинений.

<sup>120</sup>В книге *Начало века* Белый подробнее и несколько по-другому напишет об этом совпадении мотивов: "Третью часть "Симфонии" я писал, оказавшись в деревне, у матери, в Серебряном Колодце, меж первым и пятым июнем, носясь целыми днями галопом в полях на своем скакуне и застрчивая в седле: сцену за сценой; оголтелый Мусатов слагал в той части свой бред, построенный по образу и подобию бреда Шмидт, который служил мне моделью "Симфонии".

В эти именно дни пишет Блок, мне неизвестный:

Весь горизонт в огне... И близко появленье.  
Но страшно мне: изменишь облик ты.

Здесь "она" — Мироя Душа; изменение облика, верно, смешение переживаний "мистических" с чувственными.

Тема стихов о "Прекрасной Даме" у Блока встретилась с пародией на нее в "Симфонии" (С. 140).

<sup>121</sup>Сергей Михайлович Соловьев "на Рождество 1920 г. присоединился к католической Церкви", а в 1926 г. был назначен "вице-экзархом для католиков славянского отряда" (см.: *Жизнь Соловьева*. С. 3—4).

<sup>122</sup>Иванов Евгений Павлович (1879—1924) — литератор, ближайший друг А. Блока.

<sup>123</sup>Киселев Николай Петрович (1884—1965) — библиограф, книговед; в 1913—1915 гг. — секретарь издательства "Мусагет". См. его характеристику в кн. *О Блоке*: "...бездна начитанности, знаток поэзии трубадуров и средневековья, трактатов по оккультизму, впоследствии почтенный музеевед, мечтавший о каталогах всех каталогов" (С. 259).

<sup>124</sup>11 августа 1901 г. С. М. Соловьев писал Белому из Дедова: "Теперь у меня гостит мой родственник, студент Петербургского университета — Блок, стихи которого я вам читал. Он теперь весь ушел в стихотворения моего дяди и пишет свои религиозно-мистические стихотворения, которые мне очень нравятся" (ЛН. Кн. 3. С. 173).

<sup>125</sup>Строки из поэмы "Первое свидание".

<sup>126</sup>"Смысл любви" (1892—1894) — трактат Вл. Соловьева, в котором изложена его философия эроса, основанная на почве платоновского мифа об эротическом восхождении, на вере в способность совершенной любви восстановить целостность человека и мира и ввести их в бессмертие.

<sup>127</sup>Ср. "В Москве Блок был оценен и узан прежде, чем в Петербурге. Случилось это потому, что в Москве было ядро молодых мечтателей, мистические настроения и чаяния которых сближали кружок с поэтом. Во главе их стоял Андрей Белый" (Бекетова. С. 56).

<sup>128</sup>Стих. "Предчувствую Тебя. Года проходят мимо..." (с эпиграфом из Вл. Соловьева: "И тяжкий сон житейского сознанья/ Ты отряхнешь, тоскуя и любя") датировано 4 июня 1901 г.

<sup>129</sup>Стих. "Не сердись и прости. Ты цветешь одиноко..." (с эпиграфом из Вл. Соловьева: "...и поздно желать;/ Все минуло: и счастье, и горе") написано 10 июня 1901 г.

<sup>130</sup>Стих. "Она росла за дальними горами" (с посвящением "С. Соловьеву") датировано 26 июня 1901 г.

<sup>131</sup>Стих. "Сегодня шла Ты одиноко..." написано 22 июня 1901 г.

<sup>132</sup>Шахматово — имение семьи Бекетовых, было приобретено в 1874 году дедом А. Блока по материнской линии, ученым-ботаником А. Н. Бекетовым в Клинском уезде

Московской губернии. Каждое лето с 1881 по 1916 г. тут бывал А. А. Блок. Шахматово и его окрестности — "многоверстная синяя русская даль" — были для поэта воплощением России. Здесь были написаны многие лучшие произведения Блока. Ср. первое впечатление Белого от посещения Шахматово: "...шахматовские поля и закаты — вот подлинные стены его рабочего кабинета, а великолепные кусты никогда мною не виданного ярко-пунцового шиповника с золотой сердцевинкой (...) — вот подлинная стилистическая рама его благоухающих строчек (...) Словом, первый день нашего шахматовского пребывания прошел так, как если бы это было чтение стихотворений о Прекрасной Даме, а вся вереница дней в Шахматове была циклом блоковских стихотворений" (О Блоке. С. 274—275).

<sup>133</sup>В мае 1901 г. Белый ездил на 4 дня из Москвы в Дедово к Соловьевым для чтения только что написанных двух частей 2-й "симфонии".

<sup>134</sup>Стих. датировано 18 августа 1901 г.

<sup>135</sup>Стих. написано 16 августа 1901 г. Эпиграф из Фета: "Дождешься ль вечерней порой/ Опять и желанья, и лодки,/ Весла и огня за рекой".

<sup>136</sup>Под стих. дата — 7 июля 1901 г.

<sup>137</sup>Стих. датировано 1 июня 1901 г.

<sup>138</sup>Название указано неточно. Надо: "В полночь глухую рожденная..." (24 декабря 1900 г.).

<sup>139</sup>Стих. "Ищу Спасенья" (с посвящением О. М. Соловьевой) написано 25 ноября 1900 г.

<sup>140</sup>Из стих. "Есть речи — значенье..." (1840).

<sup>141</sup>Имеется в виду Софья Петровна Хитрово (урожд. Бахметьева) (1851—1910) — друг и почитательница Вл. С. Соловьева, по поводу которой в биографии философа, написанной его племянником, сказано: "...С. П. Хитрово была единственной любовью всей жизни Соловьева. Начавшись в 1877 г., эта любовь, меняя свои формы, останется живой до гроба" (Жизнь Соловьева. С. 210).

<sup>142</sup>Мифологема гностической философии, означающая женскую ипостась Бога (Мировую Душу) в процессе ее падения-нисхождения в материальный мир.

<sup>143</sup>Неточно процитированные заключительные строки стих. Вл. Соловьева "Гроза и гром" (1896).

<sup>144</sup>Неточная цитата из стих. Вл. Соловьева "На Сайме зимой" (1894).

<sup>145</sup>В западносемитской мифологии — богиня любви и плодородия, олицетворение планеты Венеры. В образной системе символистов "соловьевцев" служила обозначением плотской любви, искушения на жизненном и духовном пути.

<sup>146</sup>Первые строки (приведены искаженно) поэмы Вл. Соловьева "Три свидания" (1898).

<sup>147</sup>Из стих. "Нет, не тебя так пылко я люблю..." (1841).

<sup>148</sup>Неточная цитата из стих. "Из-под таинственной холодной полумаски" (1841).

<sup>149</sup>Неточная цитата из стих. "Ты свята, но я Тебе не верю..." (1902).

<sup>150</sup>Неточная цитата из стих. "Одинокий, к тебе прихожу..." (1901).

<sup>151</sup>Аллюзия на слова апостола Павла из Послания к Римлянам: "здесь несть ни эллина, ни иудея" (10, 12).

<sup>152</sup>Отец Андрея Белого Николай Васильевич Бугаев (1837—1903) был математиком, профессором и деканом физико-математического факультета Московского университета. См. о нем: Некрасов П. А., Лахтин Л. К., Лопатин Л. М., Минин А. П. Николай Васильевич Бугаев. М., 1905.

<sup>153</sup>Дед Сергея Соловьева Сергей Михайлович Соловьев (1820—1879) был известным историком, ректором Московского университета в 1871—1877 гг., академиком.

<sup>154</sup>Речь идет о "Симфонии (2-й, драматической)", опубликованной в московском издательстве "Скорпион" в 1902 г.

<sup>155</sup>Строка из стих. "Предчувствую Тебя. Года проходят мимо..."

<sup>156</sup>Второй сборник стихов А. А. Блока, вышедший в московском издательстве "Скорпион" в 1906 г. и знаменующий открытие "новой и богатой темы — мистицизма

в повседневности” (Записные книжки. С. 731). Он вызвал отрицательное отношение Белого, расценившего “Нечаянную радость” как отступление от идеалов “Стихов о Прекрасной Даме” и измену символистскому знамени. Резкая рецензия Белого на сборник “Нечаянная радость” была напечатана в “Перевале”, 1907, № 4 (февраль). Блок ответил Белому 24 марта: “Приношу Тебе мою глубокую благодарность и любовное уважение за рецензию о “Нечаянной радости”, которую Ты поместил в “Перевале”. Она имела для меня очень большое значение простым и наглядным выяснением тех опасных для меня пунктов, которые я сознаю не менее. Но, принимая во внимание Твои заключительные слова о “тревоге” и “горячей любви к обнаженной душе поэта”, я только прошу Тебя, бичуя мое кощунство, не принимать “Балаганчика” и подобного ему — за “горькие издевательства над своим прошлым”. Издевательство искони чуждо мне, и это я знаю так же твердо, как то, что сознательно иду по своему пути, мне предназначенному, и *должен* идти по нему неуклонно” (Переписка. С. 187).

<sup>157</sup>Булгаков Сергей Николаевич (1871—1944) — религиозный философ, богослов, экономист, критик, публицист, о котором Белый позднее скажет, что в нем импонировало “упорное желание понять в Блоке (...) его поэтический опыт. Для Булгакова понять опыт стихов было делом серьезным” (Между двух революций. С. 417).

<sup>158</sup>Трубецкой Евгений Николаевич, князь (1863—1920) — религиозный философ, правовед, общественный деятель.

<sup>159</sup>Третий Завет — термин философии Вл. Соловьева, учившего, что после предвещанных Священным Писанием “конца мира” и “второго пришествия” власть Антихриста будет сокрушена и наступит тысячелетнее царство Третьего Завета, ознаменованное установлением всеобщей божественной гармонии. Эта идея была провозглашена в одном из последних сочинений Вл. Соловьева “Три разговора”, которое произвело особенно глубокое впечатление на символистов-соловьевцев.

<sup>160</sup>Делясь впечатлениями от этой встречи, Блок писал Белому 16 мая: “К нам приезжала А. Н. Шмидт. Впечатление оставила смутное, во всяком случае, хорошее — крайней искренности и ясности ума, лишенного всякой “инфернальности” — дурной и хорошей” (Переписка. С. 92).

<sup>161</sup>Встреча Белого с Мережковскими произошла 6 декабря 1901 г. в доме Соловьевых. См. гл. “Встреча с Мережковским и Зинаидой Гиппиус” в начале века.

<sup>162</sup>О своем отрицательном отношении к стихам Блока (“он — декадент”) Гиппиус сообщает Белому в письмах от 3, 25—26 марта и от 17 сентября 1902 г. (см.: ЛН Кн. 3. С. 178, 179, 185).

<sup>163</sup>Владимиров Василий Васильевич (1880—1931) — художник, близкий друг Белого в 900-ые гг.

<sup>164</sup>Батюшков Павел Николаевич (1864 — ок. 1930) — теософ, участник кружка “аргонавтов”, научный сотрудник библиотеки Румянцевского музея.

<sup>165</sup>Эртель Михаил Александрович (ум. в начале 1920-х гг.) — историк, член кружка “аргонавтов”.

<sup>166</sup>Челищев Александр Сергеевич — музыкант, математик.

<sup>167</sup>Янчин Дмитрий Иванович — товарищ Белого по гимназии и университету, преподаватель математики.

<sup>168</sup>Безобразова Елизавета Павловна — племянница Вл. Соловьева.

<sup>169</sup>Речь идет о Бугаевой (урожд. Егорова) Александре Дмитриевне (1858—1922).

<sup>170</sup>Имеется в виду Егорова Екатерина Дмитриевна (1861—?) — сестра А. Д. Бугаевой.

<sup>171</sup>См. дневниковую запись В. Я. Брюсова за октябрь 1902 г.: “Всех этих мелких интереснее, конечно, А. Блок, которого я лично не знаю, а еще интереснее вовсе не мелкий, а очень крупный Б. Н. Бугаев — интереснейший человек в России” (Брюсов В. Я. Дневники 1891—1910. М., 1927. С. 129). Известна полемика Брюсова с Андреем Белым о значении блоковской поэзии. На восторженную беловскую оценку Блока в статье

"Апокалипсис в русской поэзии" (Весь, 1905, № 4) Брюсов откликнулся "Открытым письмом Андрею Белому" (Весь, 1905, № 5).

<sup>172</sup>Коновский Иван (наст. имя и фам. Иван Иванович Ореус) (1877—1901) — поэт, литературный критик, которого Брюсов ценит чрезвычайно высоко.

<sup>173</sup>Гофман Виктор Викторович (1884—1911) — поэт, прозаик.

<sup>174</sup>Имеется в виду рецензия Брюсова на сборник стихов "Нечаянная радость", опубликованная в журн. "Весь", 1907, № 2.

<sup>175</sup>Первое письмо Белого А. Блоку написано 4 января 1903 г. (см.: Переписка. С. 7—8).

<sup>176</sup>Письмо Блока датировано 3 января 1903 г. (см.: Переписка. С. 3—5).

<sup>177</sup>Совпадение писем оказалось не столь фатальным, как пишет Белый, если иметь в виду, что 22 декабря 1902 г. О. М. Соловьева писала матери Блока А. А. Кублицкой-Пиоттух: "Теперь пишу главным образом потому, что вот что: Боря очень хочет написать Саше, но не решается" (ЛН Кн. 3. С. 193).

<sup>178</sup>Статья Белого "Формы искусства" была опубликована в журнале "Мир искусства", 1902, № 12. Перепечатана в кн. "Символизм". В ее основу были положены два доклада, прочитанные в московском студенческом "Философском кружке имени С. Н. Трубецкого".

<sup>179</sup>Имеется в виду ответное письмо Белого от 6 января 1903 г. (см.: Переписка. С. 8—12).

<sup>180</sup>Михаил Сергеевич Соловьев умирает 16 января 1903 г. В тот же день Ольга Михайловна кончает с собой, застрелившись из револьвера. Похоронены 18 января в Новодевичьем монастыре. Памяти М. С. и О. М. Соловьевых Белый посвятил стихотворение "Могилу их украсили цветами", а Блок — "Отошедшим".

<sup>181</sup>Речь идет о собраниях кружка "аргонавтов" (см. о нем ком. 205 к наст. гл.). Отмечая, что в 1903, 1904 гг. "было в Москве очень шумное время: все то, что подпочвенно сочилось в сознаниях отдельных людей *нового направления*, теперь вылилось, сгруппировалось в кружки", Белый свидетельствует, что роль "аргонавтов" в этом процессе образования кружков "была ролью импульсаторов, согревателей душевным динамизмом самых разнообразных течений, перекрещивающихся в "аргонавтском" русле и впоследствии расплавшихся и многообразно оформившихся. Но главной задачей "аргонавтов" было вынашивать и оформлять тогда слагающую школу символизма" (О Блоке. С. 225—226).

<sup>182</sup>Манасина Наталия Ивановна (1869—1930) — детская писательница, редактор-издатель (совместно с П. С. Соловьевой) журнала "Тропинка".

<sup>183</sup>Ежемесячный журнал, выходивший в 1903—1904 гг., — орган петербургских религиозно-философских собраний, вдохновителями которых были Д. Мережковский и З. Гиппиус. Редактор-издатель журнала П. Перцов следующим образом определял цель издания: "Дать возможность выразиться тем новым течениям, которые возникли в нашем обществе с пробуждением религиозно-философской мысли (...) Дать хоть какой-нибудь простор новым литературным силам, уже достаточно обозначившимся и внутренне окрепшим к тому времени, но все еще не имевшим своего "места в печати" (Перцов П. Ранний Блок. С. 6).

<sup>184</sup>Литературно-художественный журнал, издававшийся группой символистов во главе с А. Белым в Петрограде (издательство "Алконост") в 1919—1922 гг., вышло 6 номеров, главное место в которых занимала проза Белого ("Записки чудака", "Преступление Николая Летаева", "Дневник писателя" и пр.). Здесь печатались также произведения Евг. Замятина, А. Ремизова, Ф. Сологуба, Вяч. Иванова и др. Активно в журнале сотрудничал Блок. Последний номер полностью был посвящен памяти Блока.

<sup>185</sup>Штейнер Рудольф (1861—1925) — немецкий философ. Основатель и руководитель Антропософского общества. См. о нем: *Белый Андрей*. Воспоминания о Штейнере. Paris, 1962; *Белый Андрей*. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. М., 1917; *Abendroth W. R. Steiner und die heutige Welt*. München, 1969.

<sup>186</sup>Имеется в виду письмо от 18 июня 1903 г. (Переписка. С. 34—37).

<sup>187</sup>Речь идет о письме Белого от 10 июня 1903 г. (Переписка. С. 32—33).

<sup>188</sup>Озеро близ Иматы, недалеко от которого Вл. Соловьев жил в сентябре 1894 г. Здесь, "поглощенный поэзией и природой", он создает цикл стихов и целый ряд важнейших философских работ (см.: Жизнь Соловьева. С. 329).

<sup>189</sup>Ср.: "...развитие древнего мировоззрения раскалывается на два русла. С одной стороны, оно приводит к идее Христа, имеющей в неоплатонизме и сходных с ним мировоззрениях отношение лишь к сфере чисто духовной, с другой же стороны — к слиянию этой идеи Христа с историческим явлением, с личностью Иисуса. Автора Евангелия от Иоанна можно назвать примирителем обоих течений." "В начале было Слово" (...) Слово стало плотью в Иисусе, вот вывод Иоанна, а с ним и христианской общины" (*Штейнер Рудольф*. Христианство как мистический фактор и мистерии древности. Ереван: Ной, 1991. С. 131).

<sup>190</sup>Греческая богиня мудрости, дочь Океана и Тетиды, первая супруга Зевса, который проглотил ее, когда она была беременна Афиной, поскольку ему предсказали, что после Афины Метис родит сына, который станет повелителем над богами и людьми.

<sup>191</sup>Гностическая секта, возникшая в Сирии в середине II в. и связанная с гностическими сектами Египта. Особую роль в ритуалах офитов играла змея (ofis — греч.), почитавшаяся как посредник в откровении, тогда как бог-творец, демиург считался богом тьмы.

<sup>192</sup>Первая строка "Вступления" к книге второй "Стихотворений" (1904—1908).

<sup>193</sup>Одно из ключевых понятий древнеиндийской модели мира, означающее иллюзорность бытия, действительности, понимаемой как грезы бытия. Ср. интерпретацию "Вед" в работе А. Шопенгауэра "Мир как воля и представление", которая произвела огромное впечатление на молодого Белого: "...стародавняя мудрость индусов говорит: "это Майя, обманчивое покрывало, спускающееся на глаза смертных и показывающее им мир, о котором нельзя сказать — ни что он существует, ни что он не существует, ибо он подобен сну, подобен солнечному блеску на песке, который путник издала принимает за воду, или же брошенному обрывку веревки, который кажется ему змеей (...) То, что во всем этом разумеется, есть то самое, что и мы теперь рассматриваем: мир как представление, подчиненный закону основания" (Спб., 1881. С. 9).

<sup>194</sup>Гностицизм — религиозно-философское учение, распространившееся по Средиземноморью и Передней Азии в течение первых двух веков нашей эры и соединившее христианство с элементами языческих религий и древнегреческой философии. Оказало заметное воздействие на философию Вл. Соловьева (см. его статьи "Василид" и "Валентин и валентиниане" в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона), а в его преломлении — на мирозерцание символистов—"солovieвцев", которые исходили из гностической концепции единого начала, разветвляющегося в серии эманаций, но предполагали при этом существование мрака — материи, или хаоса, допуская тем самым элементы антикосмического дуализма. Центральное место в "гностических темах" занимает человек как средоточие мирового процесса. В гнозисе человек преодолевает свою двойственность и разорванность, через человека происходит преодоление бытием своей расщепленности и восстановление распавшейся гармонии.

<sup>195</sup>Аллюзия на название статьи М. Кузмина "О прекрасной ясности" (1913), ставшее лозунгом акмеизма.

<sup>196</sup>"1910 год, — писал А. Блок в предисловии к поэме "Возмездие", — это кризис символизма, о котором тогда очень много писали и говорили как в лагере символистов, так и в противоположном. В этом году явственно дали о себе знать направления, которые встали во враждебную позицию и к символизму, и друг к другу: акмеизм, эгофутуризм и первые начатки футуризма" (Собр. соч. Т. 3. С. 296).

<sup>197</sup>Теократическая утопия Вл. Соловьева, с наибольшей полнотой изложенная в его работе "История и будущность теократии" и имеющая своим истоком "Монархию" Данте, заключалась в проповеди всемирного государства, призванного преодолеть раскол исторического христианства и примирить Восток с Западом.

<sup>198</sup>Конт Отгуст (1798—1857) — французский философ, родоначальник позитивизма, явившийся, по характеристике Белого, одним из кумиров поколения "отцов" — позитивистов 80-х гг.

<sup>199</sup>Кант Иммануил (1724—1804) — немецкий философ и ученый, родоначальник немецкой классической философии, сыгравший очень важную роль в формировании мировоззрения символистов младшего поколения, среди которых были Блок и Белый.

<sup>200</sup>"Космос" — в древнегреческом языке означает "порядок" и в этом смысле противопоставляется "хаосу" — изначальному, беспорядочному и бесформенному состоянию мира. О космологизме мироощущения Белого пишут многие современные исследователи. Л. К. Долгополов, в частности, считает, что главным среди всех открытий Белого было "новое понимание человека — не только как представителя "среды и обстоятельств времени", но и как величины космологического плана, как части единого мирового природного целого" (Долгополов. С. 13). Сам Белый глубоко ощущал родственную связь между миссией современного художника и миссией древнего заклинателя хаоса. "Доисторическое человечество, — писал он в статье "Пророк безличия", — верно видело хаос: оно плывало в хаосе (...) Хаос расстилался над головой человека густой ночью, шумом деревьев, перекликаясь с ночными голосами человеческой души; в душе копошился хаос стихийной жизни, над душой нависал бездной ночи. И дикарь... побеждал рок... В борьбе с роком блеснул свет (...) Материя жизни вышла из хаоса, началась история" (Арабески. С. 12). Опираясь на авторитет Ф. Ницше, Белый призывал современных художников "идти на ночь дорической фалангой", "вернуть искусству Аполлонов свет" (Там же. С. 16).

<sup>201</sup>В христианстве этот термин, идущий от древнегреческой философии, впервые встречается в Евангелии от Иоанна и идентифицируется с Иисусом Христом, "сыном божьим", понимается как "воплощение". Логос-Христос — центральное понятие гностицизма, исходившего из представления о человеке как продукте пленения души в материи вследствие космического грехопадения. Идеал гностицизма — слияние человека с Богом в процессе самопознания. Белый-антропософ ориентируется на гностическое понимание Логоса.

<sup>202</sup>Безвоздушное пространство над свободной поверхностью жидкости в закрытом сверху сосуде. Явление это было открыто и объяснено в 1643 г. итальянским физиком и математиком Эванджелиста Торичелли (1608—1647).

<sup>203</sup>В 1912 г. произошла личная встреча Белого с Р. Штейнером, повлиявшая на его решение стать на путь антропософского "ученичества".

<sup>204</sup>Литературно-философское объединение романтически настроенной московской молодежи, сыгравшее большую роль в идейно-творческой жизни России 30-х гг. Группировалось вокруг философа и поэта Николая Владимировича Станкевича (1813—1840); среди его участников были К. С. Аксаков, М. А. Бакунин, В. Г. Белинский, В. П. Боткин, М. Н. Катков и др. Деятельность кружка способствовала распространению в России идей немецкой классической философии, в особенности философии Гегеля, и пропаганде гуманистических идеалов.

<sup>205</sup>Кружок молодых людей, преимущественно студентов Московского университета, сгруппировавшихся в 1902—1905 гг. вокруг Белого, который переосмыслил древнегреческий миф о Ясоне и его спутниках, отправившихся на корабле "Арго" в далекую Колхиду за золотым руном, в символическое иносказание о жизненных целях своего поколения — поколения рубежа столетий. "Предчувствия предвещения (...) приближающегося будущего, обремененные прихотливой образною системой, составили существо "аргонавтизма", — писал А. В. Лавров в статье "О мифотворчестве аргонавтов" (Сб.: Миф — фольклор — литература. Л., 1978. С. 143), характеризую умя настроения участников кружка, их "устремление к заре", веру в собственное призвание к переустройству мира.

<sup>206</sup>То есть учащимся частной гимназии Л. И. Поливанова (1839—1899). В этой гимназии в 1891—1899 гг. учился и Б. Н. Бугаев (см. гл. "Годы гимназии" в кн. На рубеже).

<sup>207</sup>Речь идет о Любви Дмитриевне Менделеевой (в замужестве Блок) (1881—1939). См. о ней: Л. Н. Т. 89. М., 1978, а также ее воспоминания "И были и небылщи о Блоке и о себе" // Александр Блок в воспоминаниях современников. М., 1980. Т. 1.

<sup>208</sup>Классический труд, опубликованный Менделеевым в 1869—1871 гг. и давший первое систематическое обоснование основ неорганической химии. Вспоминая студенческие годы, Белый писал, что из "Основ химии" в изложении ученика Менделеева профессора А. Н. Реформатского "рождалась неповторимая песня, пропетая всей культурной Москве и зажегшая негасимую лампаду огромнейшего восхищения перед ландшафтом науки, увиденном в его целом" (На рубеже. С. 414).

<sup>209</sup>В отношении литературного дебюта Блока Белый допускает некоторую неточность: он состоялся в марте 1903 г. в № 3 журнала "Новый путь" (цикл "Из посвящений"), следующая публикация блоковских стихов — в литературно-художественном сборнике "Стихотворения студентов С.-Петербургского университета" (1903). Но вот первые десять стихотворений цикла "Стихи о Прекрасной Даме" действительно были помещены в альманахе "Северные цветы" (1903, № 3). Белый-поэт дебютировал в марте 1903 г. в том же альманахе "Северные цветы" (цикл "Призывы") и в альманахе книгоиздательства "Гриф" (1903).

<sup>210</sup>Соколов Сергей Алексеевич (псевдоним Сергей Кречетов) (1878—1936) — поэт, владелец издательства "Гриф" (см. ком. № 228 к наст. гл.), редактор журнала "Перевал".

<sup>211</sup>Знакомство Белого с В. Брюсовым (1873—1924) датируется декабрем 1901 г. Именно с этого времени начинается история очень непростых многолетних отношений двух поэтов: "Брюсов — текучая диалектика лет: противленец, союзник, враг, друг, символист или — кто?" (Начало века. С. 517). Ср. общую характеристику Брюсова в мемуарном очерке Белого "Валерий Брюсов": "...в эпоху 1897—1900 годов он для нас, подростков, стоял непрочитанным знаком какого-то неизвестного будущего, открывателем неисследованных континентов культуры; в эпоху 1901—1904 годов для нас, юношей, он стоял во главе экспедиции, организованной для покорения неизведанных стран; в эпоху 1905—1908 годов он воистину был повелителем им уже завоеванных стран: он стоял перед нами едва ли не пределом художественных достижений, и он нас учил" (журн. "Россия", 1925, № 4 (13). С. 263).

<sup>212</sup>Знакомство Белого с Бальмонтом (1867—1942) произошло весной 1903 года (см. гл. "Бальмонт" в Начале века), но со стихами Бальмонта Белый был знаком значительно раньше. В Материале к биографии, касающемся событий конца 1897 г., он пишет: "...моим любимцем делается Бальмонт, которого книга "В безбрежности" становится моею любимюю книгою; с этого времени я уже не пропускаю ни одной строчки Бальмонта" (Л. 8). Со временем, однако, его отношение к Бальмонту меняется: "К. Д. Бальмонт — гений импровизации; ловил্প чудесные строчки; но лучше быть третьеразрядным талантом, чем гением этого рода" (Начало века. С. 240). Белым были написаны две статьи, посвященные Бальмонту: "К. Д. Бальмонт" (Весы. 1904. № 3) и "Бальмонт. Силузэ" (Час. 1907. № 51, 21 ноября).

<sup>213</sup>Речь идет о статье "Несколько слов декадента, обращенных к либералам и консерваторам", опубликованной в хронике журнала "Мир искусства" (1903, № 7). По свидетельству Белого, приведенному в На рубеже, "старцы" (так он именвал профессоров Московского университета, в котором тогда обучался) встретили этот манифест "детей рубежа двух столетий" в штыки и еще долго мстили "профессорскому сыну" Борису Бугаеву, ставшему "декадентом", за "предательство" (С. 357).

<sup>214</sup>Обручение А. А. Блока с Л. Д. Менделеевой состоялось 25 мая 1903 г.

<sup>215</sup>А. А. Блок уезжает с матерью на немецкий курорт Бад Наутейм 26 мая 1903 г.

<sup>216</sup>Смерть Н. В. Бугаева наступила 29 мая.

<sup>217</sup>Отъезд Белого в Серебряный Колодезь датируется 12 июня.

<sup>218</sup>Семенов (наст. фам. Семенов-Тянь-Шанский) Леонид Дмитриевич (1880—1917) — поэт, прозаик, религиозный пропагандист. В 1903—1905 гг. был близок к Белому.

<sup>219</sup>Неточная цитата из стих. "У забытых могил пробивается трава..." (1903), посвященного С. Соловьеву.

<sup>220</sup>Свадьба А. А. Блока и Л. Д. Менделеевой датируется 17 августа 1903 г.

<sup>221</sup>Имение Менделеевых в Клинский уезде Московской губернии.

<sup>222</sup>Развадовский Александр Иванович — польский граф, студент Петербургского университета (математик), впоследствии католический монах.

<sup>223</sup>Последняя встреча поэтов произошла 25 мая 1921 г. в гостинице "Спартак", где Белый остановился по приезде в Петроград в марте 1921 г.

<sup>224</sup>Имеется в виду Иванов-Разумник (наст. имя и фам. Разумник Васильевич Иванов) (1878—1946) — критик, публицист, историк литературы и общественной мысли, сблившийся в годы революции с Блоком и Белым.

<sup>225</sup>Алянский Самуил Миронович (1891—1974) — владелец издательства "Алконост".

<sup>226</sup>Имеются в виду "Черная книжка. Дневник 1919 г." и "Серый блокнот" З. Н. Гиппиус, напечатанные в "Русской мысли" (София) в 1921 г. (№ 1—2, 3—4). См. также: *Гиппиус* З. Н. Петербургские дневники (1914—1919). Нью-Йорк, 1982.

<sup>227</sup>Кони Анатолий Федорович (1844—1927) — юрист и общественный деятель, писатель.

<sup>228</sup>Книгоиздательство, учрежденное С. А. Соколовым в 1903 г. и просуществовавшее до 1914 г. Наряду с книгами выпускало альманахи "Гриф".

<sup>229</sup>Книгоиздательство, принадлежавшее инженеру и переводчику С. А. Полякову (1874—1942) и специализировавшееся на издании книг русских и западноевропейских символистов. Существовало в 1899—1916 гг. В 1904—1909 гг. издавало также журнал московских символистов "Весы", который редактировал В. Я. Брюсов.

<sup>230</sup>Литературно-философские сборники, издаваемые П. Н. Астровым (1906). Вышло два сборника. См. ред. А. Блока "Свободная совесть" (Собр. соч. Т. 5).

<sup>231</sup>Издание, предпринятое участниками Московского философского кружка Х. П. Христофоровой (1904). Вышло два сборника.

<sup>232</sup>Московский литературный и общественно-философский журнал (1906—1907); издавался в Москве под редакцией С. А. Соколова и при участии многих московских символистов, в частности, его активным сотрудником был А. Белый.

<sup>233</sup>Московский символистский литературно-художественный журнал (1906—1909), основанный капиталистом-меценатом Н. П. Рябушинским (1876—1951), который был также его редактором-издателем.

<sup>234</sup>Имеется в виду Общество свободной эстетики — возглавлявшийся Брюсовым клуб ревнителей "нового искусства", существовавший в Москве в 1906—1907 гг. и объединявший в основном творческую интеллигенцию символистской ориентации. Большую роль в "Эстетике" играли также буржуа-меценаты. "Все толкали в "Эстетику", — вспоминал Белый в книге Между двух революций, — где усилиями Брюсова и Трояновского соединялись живые силы искусства; общество-де — наш салон; можем здесь агитировать (...) "Эстетика" стала местом новых знакомств; буржуазия, сидя у стенок, первое время покорно внимала нам вместе с демократическими курсистками. Было модно стать членом "Эстетики"; ее погубило переполнение ее миллионершами" (С. 195).

<sup>235</sup>Крафт Константин Федорович — скульптор. В его студии "собирался кружок, Эллисом названный "Молодым Мусаетом"; здесь бывали иные из будущих "центрофугистов"; бывали: Марина Цветаева и молодой Пастернак" (Между двух революций. С. 333).

<sup>236</sup>Организованный бароном Д'Альгеймом (см. ком. 56 к наст. гл.) и его женой певицей Олениной-Д'Альгейм в 1908 г. в Москве Центр концертно-лекционной пропаганды новых идей в музыке (см. гл. "Д'Альгейм" в Начале века).

<sup>237</sup>Московское символистское издательство (1910—1917), организованное Э. К. Метнером при ближайшем участии А. Белого и Вяч. Иванова.

<sup>238</sup>Поливанов Владимир Павлович (1881—?) — детский писатель, участник кружка "аргантов".

<sup>239</sup>Петровская (в замужестве Соколова) Нина Ивановна (1884—1928) — прозаик, критик, переводчик; первая жена С. А. Соколова. Отношения Петровской с Белым

и Брюсовым послужили основой для написания брюсовского романа "Огненный ангел" (1908). Характеристику психологического облика Петровской см. в мемуарном очерке В. Ф. Ходасевича "Конец Ренаты" (Ходасевич В. Некрополь. Воспоминания. Вгuxelles, 1939).

<sup>240</sup>Астров Павел Иванович (1866—?) — юрист, публицист, член московского окружного суда. На его квартире проходили собрания символистски настроенной интеллигенции, так называемые "среды Астрова" (см. гл. "Павел Иванович Астров" в Начале века).

<sup>241</sup>Сизов Михаил Иванович (1884—1956) — физиолог, педагог, критик, переводчик (псевд. М. Седлов, Мих. Горский).

<sup>242</sup>Нилендер Владимир Оттонович (1883—1965) — филолог-классик; переводчик (см. о нем гл. "Тройка друзей" в Начале века).

<sup>243</sup>Рубанович Семен Яковлевич (ум. в 1930 г.) — поэт, переводчик.

<sup>244</sup>Название серии книг по вопросам мистики под редакцией Вяч. Иванова, выпускавшихся издательством "Мусагет".

<sup>245</sup>Московское отделение "Вольной философской ассоциации" (Вольфилы) (см. о ней ком. 46 к гл. 3) было учреждено в сентябре 1921 г.

<sup>246</sup>Балтрушайтис Юргис Казимирович (1873—1944) — русский и литовский поэт, переводчик, дипломат; в 1921—1939 гг. — полномочный представитель Литвы в СССР.

<sup>247</sup>Полярков Николай Ефимович (1877—1918) — поэт, литературный критик.

<sup>248</sup>Липкин Борис Николаевич (1874—1954) — живописец.

<sup>249</sup>Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870—1905) — живописец.

<sup>250</sup>Россинский Владимир Иллиодорович — художник.

<sup>251</sup>Шестеркин Михаил Иванович (1866—1908) — живописец, секретарь Московского товарищества художников.

<sup>252</sup>Феофилактос Николай Петрович (1878—1941) — художник-график, оформлявший журнал "Весы".

<sup>253</sup>Переплетчиков Василий Васильевич (1863—1918) — живописец.

<sup>254</sup>Танеев Сергей Иванович (1856—1915) — композитор, музыковед, профессор и директор Московской консерватории.

<sup>255</sup>Буюкли Всеволод Иванович (1874—1921) — пианист.

<sup>256</sup>Шпет Густав Густавович (1878—1937) — философ, литературовед, переводчик; вице-президент Гос. академии художественных наук.

<sup>257</sup>Фохт Борис Александрович (1875—1946) — философ-кантианец, профессор Московского университета.

<sup>258</sup>Гершензон Михаил Осипович (1869—1925) — историк русской литературы и общественной мысли, публицист, философ, переводчик; вдохновитель сборника "Вехи" (см. гл. "Михаил Осипович Гершензон" в Начале века).

<sup>259</sup>Философов Дмитрий Владимирович (1872—1940) — публицист, литературный критик; постоянный сотрудник Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус, один из руководителей Религиозно-философского общества.

<sup>260</sup>Павлов Алексей Петрович (1854—1929) — геолог, профессор Московского университета.

<sup>261</sup>Павлова Мария Васильевна (1854—1938) — палеонтолог, жена А. П. Павлова.

<sup>262</sup>Каблуков Иван Алексеевич (1857—1942) — физико-химик, профессор Московского университета.

<sup>263</sup>Морозова (урожд. Мамонтова) Маргарита Кирилловна (1873—1958) — жена московского фабриканта М. А. Морозова; учредительница издательства "Путь" и Московского религиозно-философского общества; объект первой, "мистериальной" влюбленности Белого. Он вспоминает о феврале 1901 г.: "...моя встреча глазами с М. К. М. на симфоническом концерте во время исполнения бетховенской Симфонии; и отсюда мгновенный вихрь переживаний, мной описанный в поэме "Первое свидание". С той поры совершенно конкретно открывается мне: все учение о Софии Премудрости Вл. Соловьева, весь цикл его стихов к ней... (Материал к биографии. Л. 17—17 об.).

<sup>264</sup>Кистяковский Игорь Александрович (1872—1940) — юрист, приват-доцент Московского университета, деятель кадетской партии.

<sup>265</sup>Посещение Блоком "воскресений" Белого (они начинаются в сентябре 1903 г.) относится к 11 января 1904 г.

<sup>266</sup>Далее следует неточно процитированный стих. Блока из цикла "Молитвы".

<sup>267</sup>Стих. "Опрокинут, канул в бездну..." приведено в письме Белому от 20 ноября 1903 г.

<sup>268</sup>Антоний, епископ (Михаил Флоренсов) (1847—1918).

<sup>269</sup>См. письмо Белому от 20 ноября 1903 г. (Переписка. С. 66—68). К нему приложено стихотворение, в котором фигурирует Кант, — "Сижусь за ширмой. У меня..." (1903).

<sup>270</sup>Строфа из стих. "И снова подхожу к окну..." (1903).

<sup>271</sup>Сборник В. Брюсова "Urbi et orbi. Стихи 1900—1903" был опубликован в Москве в 1903 г.

<sup>272</sup>Неточная цитата из стих. "Андрею Белому" (1903).

<sup>273</sup>Неточная цитата из стих. "Младшим" (1903), обращенного к "младшим" символистам (Блоку, Белому и др.).

<sup>274</sup>Строки из стих. "Ночная" (цикл "Молитвы", 1904).

<sup>275</sup>Сам Белый в 1903—1904 гг. написал два стихотворения, воссоздающие образ Брюсова, которые названы одинаково — "Маг". В письме Э. Метнеру от 25 июля 1903 г. содержится объяснение, почему Брюсов назван "магом": "Среди официальных выразителей магии, с сознательным актерством ретуширующих себя перед обществом, пальма первенства принадлежит, конечно, Брюсову, который "играет роль" с чувством, с пафосом, исполняя свою миссию (миссию показного мага) перед целой Россией, и, конечно, заслуживает уважения и признания за это, ибо он же — громоотвод, принимающий ливни дождя, грязи, оскорблений на себя, приучающий нашу мужиковато удивляющуюся толпу не удивляться" (РГБ, ф. 167, оп. 1, ед. хр. 19).

<sup>276</sup>Имеются в виду "Стихи о Прекрасной Даме".

## ГЛАВА ВТОРАЯ

<sup>1</sup>Первая встреча Белого с А. Блоком состоялась 10 января, а пребывание Блока в Москве продолжалось с 10 по 24 января.

<sup>2</sup>Неточно процитированная заключительная строфа стих. "Брожу в стенах монастыря..." (1902).

<sup>3</sup>Заключительная строфа стих. "Сбежал с горы и замер в чаще..." (1902).

<sup>4</sup>Имеется в виду начало эпоса "Я" ("Записки чудака"), опубликованной в 1-м выпуске альманаха "Записки мечтателей". Пг., 1919.

<sup>5</sup>Бекетов Андрей Николаевич (1825—1902) — ботаник, профессор и ректор Петербургского университета; дед А. А. Блока по материнской линии.

<sup>6</sup>Любимов Николай Алексеевич (1830—1897) — физик, профессор Московского университета.

<sup>7</sup>Имшенецкий Василий Григорьевич (1832—1892) — математик и механик, академик.

<sup>8</sup>Отчим А. Блока — Кублицкий-Пиоттух Франц Феликсович (1860—1920), гвардейский офицер. "Франц Феликсович Кублицкий-Пиоттух, — сказано в кн. О Блоке, — от всего нашего с ним общения оставил впечатление нежнейшего, чуткого, прекраснейшего человека, деликатного до щепетильности; он и ходил и сидел с таким видом, будто боялся невзначай обидеть кого-нибудь или задеть что-нибудь" (С. 294).

<sup>9</sup>Блок с 1889 по 1906 г. жил на Петербургской набережной в здании офицерской казармы лейб-гвардии гренадерского полка, где служил его отчим.

<sup>10</sup>Статья "Маска" написана в июне 1904 г. и вошла в книгу статей Арабески.

<sup>11</sup>Цикл стихотв., написанный в январе 1907 г. под впечатлением встречи и знакомства с актрисой Н. Н. Волоховой. Опубликован отдельной книгой петербургским издательством "Оры" в апреле 1907 г.

<sup>12</sup>Вчетвером (фр.).

<sup>13</sup>К первому номеру "Весов" (1904) был приложен каталог издательства "Скорпион", рекламирующий опубликованные материалы и их авторов.

<sup>14</sup>В "Воспоминаниях об Александре Блоке" (1925) С. М. Соловьев писал: "И теперь еще в начале Спиридоновки, недалеко от Большого Вознесения, можно видеть белый двухэтажный дом, принадлежавший братьям Марконет. Когда-то в уютной квартире первого этажа собиралось большое и веселое общество у моего дяди А. Ф. Марконета (...) В квартире жила только старая кухарка Марья. За неимением места у меня, я предложил Блоку остановиться в квартире Марконета (...) В тот же день Блок переехал на Спиридоновку, и в течение нескольких недель почти каждый вечер мы собирались в пустой квартире Марконет и просиживали с Блоком до глубокой ночи" (О Блоке. С. 117--118).

<sup>15</sup>Имеется в виду Марконет Владимир Федорович — преподаватель истории в московской гимназии, брат мужа Александры Михайловны Марконет (урожд. Коваленская) — тети С. Соловьева.

<sup>16</sup>Имеются в виду Авдотья Степановна, Екатерина Степановна и Александра Степановна Любимовы, о посещениях которых с С. М. Соловьевым Белый вспоминает в Между двух революций: "В Надовражино мы шагали после вечернего чая, украшенного "семейным гербом", земляничкой и сливками; здесь в Надовражине, в крестьянском домике, обитали три сестры Любимовы. У них мы распевали народные песни и поминали "нечистого"; раздавались едкие замечания по адресу Коваленских, после чего из папиросного дыма затягивали "Вы жертвою пали"; мы и сестры Любимовы ниспровергали власть: бар и помепчиков" (С. 16).

<sup>17</sup>Сведенборг Эмануэль (1688—1772) — шведский ученый и теософ-мистик. Его трудом "О небесах, о мире духов и об аде", излагающем учение о точных соответствиях ("корреспонденциях") явлений земных и "потусторонних", зачитывались молодые Белый и Блок.

<sup>18</sup>Ср. у Блока: "Среди горных кражей, где торжествующий закат" смешал синеву теней, багрецы вечернего солнца и золото умирающего дня, смешал и слил в одну густую и поблескивающую лиловую массу, — залег Человек (...) обладатель всего богатства мира, но — нищий, ничем не прикрытый, не ведающий, где поклонить голову. Этот человек — падший Ангел — Демон — первый лирик (...) Проклятую цветную легенду о Демоне создал Врубель; должно быть, клубже всех среди нас постигший тайну лирики и потому — заблудившийся на глухих тропах безумия" (Собр. соч. Т. 5. С. 131).

<sup>19</sup>"Проблему мистерии" Белый определяет в сочинении О Блоке как проблему организации соотношения своего внутреннего пути с внешними путями "общественности".

<sup>20</sup>Добролюбов Александр Михайлович (1876—1944 ?) — поэт раннего символизма, в конце 90-х гг. обратившийся к религиозному аскетизму и покаянному проповедничеству; основал религиозную секту "добролюбовцев". См. стих. Блока "А. М. Добролюбов" (1903). О жизненной судьбе Добролюбова см. *Аздовский К. М.* Путь Александра Добролюбова // Творчество А. А. Блока и русская культура XX века. Блоковский сборник, III. Тарту, 1979.

<sup>21</sup>Имеются в виду гротескные персонажи блоковской драмы "Балаганчик" (1906), воспринятый Белый как измена заветам символизма и предательство идеалов "Стихов о Прекрасной Даме".

<sup>22</sup>Термин, принадлежащий Г. Чулкову (см. о нем ком. 178 к 4 гл.) и послуживший названием группы петербургских символистов, с которыми в 1906—1909 гг. вели яростную полемику брюсовские "Весы". Особой непримиримостью отличался Белый "...когда я в 1907 году вернулся в Россию, я застал в Петербурге безобразную пародию на мою утопию о соборности эпохи 1901—1905 годов под флагом "мистического анархизма" (...) Я считаю моду на эти идеи ужасной профанацией того интимного опыта символистов, который опирался на подлинно узанное в 1901 году; декаданс этого опыта в мистику и "блуд", вносимый развратно-упадочным обществом в тему общины и мистерии и в синкретическую схоластику, якобы

дающей идеологию атмосфере "блуда", заставляет меня подумать о максимальных средствах борьбы с направлением, разрешающем проблему мистерии в идеологическую мистификацию на плацдарме театра, а проблему общины в "общность" жен" (см.: Почему я стал символистом. С. 443).

<sup>23</sup>То есть Софья Петровна Хитрово (см. ком. 141 к гл. 1).

<sup>24</sup>См.: "И привели его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты — Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит: "камень" (Петр)" (Иоанн, 1:42).

<sup>25</sup>Древнегреческие религиозные служения в честь богини Деметры, Персефоны и бога Диониса, которые ежегодно проходили в городе Элевсине близ Афин. В ритуале входили магические обряды, пантомима, декламация священных текстов.

<sup>26</sup>Персонажи трагедии В. Шекспира "Гамлет" (1601), олицетворяющие собою угодливость и готовность приспособляться к обстоятельствам.

<sup>27</sup>Хариванша (у Белого: Гариванша) — древнеиндийская эпическая поэма, повествующая о деяниях Кришны. Поэма Эртелем переведена не была.

<sup>28</sup>Кистяковская Мария Николаевна — жена И. А. Кистяковского (см. ком. 264 к 1 гл.).

<sup>29</sup>Скорее всего имеется в виду Дез Эссент — герой романа "Наоборот" (1884) французского писателя Шарля Мари Жоржа Гюисманса (1848—1907). Аристократ Дез Эссент являет собою образец декадента, бегущего от прозы жизни в мир изощренной чувственности и извращенных удовольствий.

<sup>30</sup>Лотце Рудольф Герман (1817—1881) — немецкий философ, врач, естествоиспытатель.

<sup>31</sup>Букв.: "имена ненавистнь" (лат.). Переносно: "Не нужно упоминать о нем".

<sup>32</sup>Из стих. "Все кричали у круглых столов" (1902).

<sup>33</sup>Трехсложная стопа, в которой вслед за двумя неударными слогами располагается ударный слог.

<sup>34</sup>Имеется в виду "Симфония (2-я, драматическая)" А. Белого.

<sup>35</sup>Попова (урожд. Соловьева) Вера Сергеевна (1850—?) — дочь историка С. М. Соловьева.

<sup>36</sup>Соловьева (урожд. Романова) Поликсена Владимировна (?—1909) — жена историка С. М. Соловьева, дочь морского офицера, декабриста В. П. Романова (см. гл. "Присхождение. Семья" в Ж и з н ь С о л о в ь е в а).

<sup>37</sup>Урна с прахом Андрея Белого захоронена на Новодевичьем кладбище.

<sup>38</sup>Стекетти (настоящее имя и фам. Олиндо Гуэррени) (1845—1916) — итальянский поэт.

<sup>39</sup>Озеров Иван Христофорович (1869—1942) — экономист, профессор финансового права Московского университета, член Государственного совета.

<sup>40</sup>"Эвоз" — восклицание вакханок во время дионисийских мистерияльных действ.

<sup>41</sup>Эзотерическое учение, близкое масонству и оказавшее воздействие на теософские и антропософские доктрины. Его идеи живо обсуждаются в среде русских символистов. О розенкрейцтерстве и розенкрейцерах см.: *Гендель Макс*. Космогоническая концепция розенкрейцеров — книгу, вышедшую в Лондоне в 1911 г. и переизданную по-русски в 1993-м (без наименования издательства).

<sup>42</sup>Чемберлен Хаустон Стюарт (1855—1927) — философ-неокантианец и социолог; приверженец расовой теории, оказавшей воздействие на национал-социалистическую идеологию Германии.

<sup>43</sup>Фрейд Зигмунд (1856—1939) — австрийский невропатолог, психиатр, психолог, основоположник психоанализа. Отношение Белого к фрейдизму всегда было крайне негативным.

<sup>44</sup>Петров Григорий Спирионович (1868—1925) — публицист, бывший священник; депутат II Государственной Думы. В На ч а л е в е к а дана следующая характеристика Астрова: "...он думал о зернах полезного, доброго, вечного, собранных с нивы священника Петрова" (С. 393).

<sup>45</sup>Неточная цитата из собственного стих. "Безумец" (1904).

<sup>46</sup>Заключительные строки стих. "Суждено мне молчать..." из цикла "Блоку" (1903). Оно было послано (с другим заключительным четверостишием) в письмо Блоку от 24 октября 1903 г. (П е р е п и с к а . С. 55—56).

<sup>47</sup>Неточная цитата из стих. "Так. Я знал. И ты задул..." (1903), посвященного Белому и приведенному в письмо Белому от 8 или 9 ноября 1903 г. (П е р е п и с к а . С. 62—63).

<sup>48</sup>Ср. воспоминания Белого о январе 1904 г.: "Читаю реферат "Символизм и религия" в религ(озно)-фил(ософском) кружке у Эрн (Ракурск дне внику . Л. 21). Дату этой встречи с кружком религиозных философов — 15 января — можно установить по записи Блока, сделанной в тот день (см. Записные книжки . С. 58).

<sup>49</sup>Речь идет о памятных Белому по совместным детским играм братьях Сыроечковских — Борисе Евгеньевиче (1881—1961) и Владимире Евгеньевиче (?) — студентах Московского университета, участниках "Христианского братства борьбы" (1905).

<sup>50</sup>Галанин — студент Московского университета.

<sup>51</sup>"Христианское братство борьбы" — полулегальная религиозно-анархическая и экстремистская организация, возникшая в 1905 г. по инициативе В. П. Свенцицкого, отличавшегося в то время крайним фанатизмом.

<sup>52</sup>Волжский А. (настоящее имя и фам. — Глинка Александр Сергеевич) (1880—1940) — литературный критик, публицист, литературовед, деятельный сотрудник религиозных журналов "Новый путь" и "Вопросы жизни", участник "Христианского братства борьбы".

<sup>53</sup>Лундберг Евгений Германович (1887—1965) — прозаик, критик.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

<sup>1</sup>Имеется в виду "роман" с Н. И. Петровской и возникшие на этой почве осложнения отношений с В. Брюсовым.

<sup>2</sup>Первый поэтический сборник Белого — "Золото в лазури" — вышел в свет в марте 1904 г. в московском издательстве "Скорпион".

<sup>3</sup>Второй поэтический сборник Белого — "Пепел" — был опубликован в петербургском издательстве "Шиповник" в 1909 г.

<sup>4</sup>Русско-японская война началась в конце января 1904 г.

<sup>5</sup>Имеется в виду извержение в 1902 г. вулкана Монтань-Пеле на острове Мартиника (Вест-Индия), которое в представлении символистов-"соловьевцев" было грозным предзнаменованием предсказанного Вл. Соловьевым "конца всемирной истории".

<sup>6</sup>Ср.: Миф для Брюсова "был лишь материалом к сочетанию слов: он с одинаковым пылом готов был отдаться анализу слов Апокалипсиса, рун, магических слов обитателей острова Пасхи, проблем Атлантиды; писал он:

И господа, и дьявола  
Хочу прославить я"

(Начало века. С. 189).

<sup>7</sup>Роман Федора Кузьмича Сологуба (наст. фамилия Тетерников) (1863—1927) — одного из мэтров русского символизма, который Белому в его "аргонавтический" период представлялся "квинтэссенцией декадентских переживаний" (Начало века. С. 128). Об истории отношений А. Белого и Ф. Сологуба см. предисловие С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова к публикации писем Белого Сологубу//Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома. 1972. Л., 1974. Различие между символизмом и декадентством имело для Белого и его окружения принципиальное значение. Вспоминая о временах "аргонавтизма" и характеризуя мирозерцание членов кружка, Белый писал в Начале века "символист" — это те, кто, разлагаясь в условиях старой культуры вместе со всею культурою, сиюляться преодолеть в себе свой упадок, его осознав, и, выходя из него, обновляются; в "декаденте" его упадок есть конечное разложение" (С. 128).

<sup>8</sup>Вяч. Иванов приехал в Москву из-за границы, где он тогда жил постоянно, в конце марта 1904 г.; к этому времени относится его знакомство с кругом московских символистов.

<sup>9</sup>Понимание александрийской культуры сформировано у Белого под влиянием Ф. Ницше, подчеркивавшего ее подражательный и умозрительный ("недионисический") характер, называвшего александрийскую культуру "сократической". "Весь современный нам мир бьется в сетях александрийской культуры и признает за идеал вооруженного высшими силами познания, работающего на службе у науки *теоретического человека*, первообразом и родоначальником которого является Сократ" (Ф. Ницше. Рождение трагедии из духа музыки // *Ницше Фридрих*. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 126).

<sup>10</sup>См. их оценку в статье Н. А. Бердяева "Ивановские среды": "Это была атмосфера особенной интимности, сгущенная, но совершенно лишенная духа сектанства и исключительности. Поистине В. И. Иванов и Л. Д. Зиновьева-Аннибал (вторая жена писателя. — С. II.) обладали даром общения с людьми, даром притяжения людей и их взаимного соединения (...) Образовалась утонченная культурная лаборатория, место встречи разных идейных течений, и это был факт, имевший значение в нашей идейной и литературной истории" (Русская литература XX века. 1890—1910. Под ред. С. А. Венгера. М., 1916. Т. III, кн. 8. С. 97, 98).

<sup>11</sup>Имеется в виду изложенная в работах Вяч. Иванова "Эллинская религия страдающего бога" (1904) и "Религия Диониса" (1905) теория драмы как мистериального действия.

<sup>12</sup>Менады — (безумствующие — греч.) спутницы бога Диониса, почитавшегося в Риме под именем Вакха. Поэтому их называли также вакханками. Во время культовых шествий Диониса составляли его свиту. Приходя в экстаз, терзали детенышей зверей, упиваясь их кровью.

<sup>13</sup>Основная часть театра в Древней Греции, в центре которой находился жертвенник Диониса, а вокруг него располагался хор.

<sup>14</sup>Образ будущего праведного мира в Апокалипсисе: "И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба..." (21, 2).

<sup>15</sup>Перечисляя столь несопоставимые понятия, между которыми "ставился как бы знак равенства", Белый совершает полемический выпад в сторону "мистического анархизма", с которым он вел ожесточенную полемику в 1906—1908 гг. и к которому причислял также Вяч. Иванова (об этой полемике см. ниже).

<sup>16</sup>См. Собр. соч. Т. 3. С. 297.

<sup>17</sup>Речь идет об основном труде немецкого философа и историка Освальда Шпенглера (1880—1936) "Закат Европы" (1921—1923), в котором сформулировано понятие "культурного организма".

<sup>18</sup>Книга стихов Андрея Белого "Урна" вышла в свет в московском издательстве "Гриф" в конце марта 1909 г.

<sup>19</sup>Дата выхода в свет "Кубка метелей. Четвертой симфонии" — апрель 1908 г. под грифом московского издательства "Скорпион".

<sup>20</sup>Неточная цитата из стих. "Так. Я знал. И ты задул..." (1903).

<sup>21</sup>Альманах, выходявший в Петербурге в 1906—1908 гг. под редакцией Г. И. Чулкова и встреченный Белым с "необузданной злобой": "Самое заглавие мне казалось пародией на задутые факелы уже отошедшей, неповторимой, но и не прочитанной до сего дня эпохи" (О Б л о к е. С. 267).

<sup>22</sup>Из стих. "Фиолетовый запад гнетет..." (1904).

<sup>23</sup>Неточная цитата из стих. "Осенняя воля" (1905).

<sup>24</sup>Сборник сочинений церковных деятелей ранних веков христианства (русский перевод — 1883). Блок читал первый том "Добротолубия" в 1916 г. и особенно высоко оценил сочинение монаха Евагрия (IV в.). О впечатлении от чтения "Добротолубия" см. письмо матери от 16 июля 1916 г.: "...У меня очень странное впечатление от этого: тексты все до одного остаются мертвыми, а опыт — живой" (Собр. соч. Т. 8. С. 463—464).

<sup>25</sup>Антоний Великий (ок. 250—356) — основатель христианского монашества, отшельник. Канонизирован.

<sup>26</sup>Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874—1940) — режиссер, актер, театральный деятель.

<sup>27</sup>Неточная цитата из поэмы "Ночная фиалка. Сон", начатой Блоком в ноябре 1905 г. и завершенной в мае 1906-го. Впервые опубликована в составе сборника "Нечаянная радость" (1907).

<sup>28</sup>Поездка датируется первой половиной июля (см.: Проблемы творчества. С. 778).

<sup>29</sup>Неточная цитата из стих. "Река раскинулась. Течет, грустит лениво", открывающего цикл "На поле Куликовом" (1908).

<sup>30</sup>Неточная цитата из стих. "Я, отрок, зажигаю свечи..." (1902).

<sup>31</sup>Неверно процитированная строка из стих. "Ты горшишь над высокой горой" (1907).

<sup>32</sup>Имение юриста В. И. Танеева в Клинском уезде Московской губернии, где Белый проводил лето 1884—1889 и 1894 гг. ("Демьяново (под Клином) — родное место; здесь вырос я") (*На рубеже*. С. 163).

<sup>33</sup>Мария Андреевна Бекетова (1862—1938) — тетья Блока, сестра его матери; писательница и переводчица. Биограф А. Блока, автор книг "Александр Блок. Биографический очерк" (1922), "Александр Блок и его мать" (1925) и др.

<sup>34</sup>Неточно процитированные строки из стих. Блока "Верю в Солнце Завета..." (1902).

<sup>35</sup>Имеются в виду Софья Андреевна Кублицкая-Пиоттух (1858—1919) — старшая сестра матери Блока и ее сыновья — двоюродные братья поэта Феликс Адамович (1884—1970) и Андрей Адамович (1886—1960) Кублицкие-Пиоттух. См.: Письма Блока к А. А., С. А. и Ф. А. Кублицким-Пиоттух // ЛН Кн. 4. С. 339—348.

<sup>36</sup>Аллюзия на первую строку стих. А. Блока "Запевающий сон, зацветающий цвет..." (1902).

<sup>37</sup>Завершающая строка того же стих.

<sup>38</sup>Эккерман Иоганн Петер (1792—1854) — немецкий писатель; секретарь и друг И. В. Гете. Результатом постоянного многолетнего общения с Гете стала книга "Разговоры с Гете в последние годы его жизни" (1837—1848).

<sup>39</sup>"Ночь задумана глубже, чем замысел дня" (нем.) — неточная цитата из "Пьяной песни" в последней части книги Ф. Ницше "Так говорил Заратустра" (1883—1884).

<sup>40</sup>Ларва — в римской мифологии злой дух или душа умершего, пришедшая на землю мучить живых.

<sup>41</sup>Мелхиседеки (здесь иронич.) — последователи беспоповской секты, обосновавшие свое право совершать таинство причащения без священника ссылкой на упоминаемого в Библии "Царя Мира" Мелхиседека, который, не будучи поставлен в сан священника, принёс в жертву Богу хлеб и вино.

<sup>42</sup>Урим и Туммим — букв. свет и совершенство (Исход, 27:30). Точное значение этих древнееврейских слов утрачено. В "Библейской энциклопедии" архимандрита Никифора высказано несколько предположений: "Составляли ли урим и туммим особое украшение первосвященника, или означали только свойство наперсника и камней его, или это были самые камни с вырезанными на них именами колён Израилевых, или составляли и означали другое что-нибудь — определено неизвестно" (М., 1891. С. 716).

<sup>43</sup>Искаженная цитата из стих. Белого "Все забыл" (1906).

<sup>44</sup>Речь идет о статье "Луг зеленый" (1905), заглавие которой заимствовано из стих. В. Брюсова "Орфей и Эвридика".

<sup>45</sup>Имеются в виду герои повести Н. В. Гоголя "Страшная месть" (1832), олицетворяющие собою в статье Белого судьбы России.

<sup>46</sup>Вольная философская ассоциация, существовавшая в Петрограде с ноября 1919 г. по май 1924 г. Ее задача, как было сказано в афише, оповещающей о создании Вольфиллы, "объединять деятелей разных областей культурного творчества и связывать их с народными массами". Инициаторами ее создания были Р. Иванов-Разумник, А. Блок, А. Белый и др. См. воспоминания Н. И. Гаген-Торн "Вольфила" // Воспоминания о Белом.

<sup>47</sup>Правоведом был Андрей Адамович Кублицкий-Пиоттух.

<sup>48</sup>Феликс (Фироль) Адамович Кублицкий-Пиоттух, окончивший в 1905 г. Училище правоведения, был юристом.

<sup>49</sup>Из стих. "Сбежал с горы и замер в чаще..." (1902).

<sup>50</sup>Из стих. "Светлый сон, ты не обманешь..." (1904).

<sup>51</sup>Аллюзия на строки из стих. "Поэт" (1905, опубликовано в сб. "Нечаянная радость"), в котором отец на вопрос дочки о том, почему к вечно плачущему поэту не является из-за моря Прекрасная Дама, отвечает:

— Она не придет никогда:

Она не ездит на пароходе.

<sup>52</sup>До света (*лат.*) Белый обыгрывает название поэтического цикла 1898—1900 г., открывающего первую книгу стихов Блока.

<sup>53</sup>Экхарт Иоганн (Майстер Экхарт, ок. 1260—1327/1328) — немецкий мыслитель, представитель философской мистики позднего Средневековья. В своих трудах заостряет идеи христианского неоплатонизма. Его доктрина "божества" как безличного и бескачественного абсолюта, стоящего за "богом" в трех лицах, дала импульс многовековой традиции европейской мистики, предвосхитила идеалистическую диалектику единого божественно-мирового процесса.

<sup>54</sup>Рейсбрук Удивительный (Ян ван Рейсбрук, 1324—1381) — средневековый голландский мистик. Интерес к нему, так же, как и к Экхарту, надолго сохранился в среде "аргонавтов". Позднее в издательстве "Musaet" была выпущена книга: "Рэйсбрук Удивительный. Одевание духовного брака" // М., 1910. Перевод Михаила Сизова.

<sup>55</sup>Упоминание в данном контексте Метерлинка (см. о нем ком. к гл. 1) обусловлено тем, что в его книге эссе "Сокровище смиренных" (1896) — этом развернутом манифесте символизма — выдвинут и обоснован принцип "второго монолога", согласно которому главная задача театра — молчаливое общение человека с таинственными сферами духа.

<sup>56</sup>"Stephanos" ("Венок", 1906) — сборник стихов Брюсова.

<sup>57</sup>"Tertia Vigilia" ("Третья стража", 1900) — сборник стихов Брюсова. "С "Tertia Vigilia" началось мое признание как поэта", — писал Брюсов в автобиографии (Советские писатели. М., 1959. Т. 2. С. 193).

<sup>58</sup>Сборник стихов Брюсова 1909 г.

<sup>59</sup>Роман Брюсова 1908 г., действие которого относится к XVI в.

<sup>60</sup>Опубликована в журн. "Новый путь" (1903, № 9). Была воспринята современниками как "манифест символического движения" (См.: *Мочульский К.* Андрей Белый. Париж, 1955. С. 54).

<sup>61</sup>Персонаж соловьевской "Краткой повести об Антихристе". "Великий маг" и "чудодей" Аполлоний служит Зверю, ставленнику Сатаны, который возглавляет нашествие восточных племен на Европу.

<sup>62</sup>Заключительные строки стих. Брюсова "Сумасшедший" (1895).

<sup>63</sup>Неточность: в Апокалипсисе Гад не упомянут, а только — при перечислении всех колен сынов Израилевых — названы "запечатленные из колена Гадова" (Откровение, 7:4—5). Судя по контексту, Белый имеет в виду апокалипсического зверя, ничего общего с родоначальником храброго и победоносного колена пастухов и воинов не имеющего.

<sup>64</sup>С посвящением Андрею Белому стих. "Бальдера Локи" (ноябрь 1904) было опубликовано в альманахе "Северные цветы ассирийские" (М., 1905). При повторной публикации в сборнике "Stephanos" посвящение было снято.

<sup>65</sup>Цитата из стих. "Старинному врагу" (1904).

<sup>66</sup>Город в Сирии, особо почитаемый христианами как место чудесного обращения преследователя христиан Савла в христианина Павла, апостола Павла (Деяния, 9:2; 22:4—16).

<sup>67</sup>Цитата из стих. "Ужасен холод вечеров..."

<sup>68</sup>Из стих. "Фиолетовый запад гнетет..."

<sup>69</sup>Роман Белого, публиковавшийся в течение 1909 г. в журн. "Весь" (отдельное издание — М.: Скорпион, 1910).

<sup>70</sup>Производное от греч. "гиерофант" — высший жрец при Элевсинских мистериях, торжественно их открывавший и провозглашавший священные откровения.

<sup>71</sup>Группа "Парнас", объединение французских поэтов (1866—1876), противопоставляла бунтарским идеалам романтиков принцип "искусство для искусства", "бесстрастную поэзию" "прекрасных форм".

<sup>72</sup>Повесть опубликована в 1847 г.

<sup>73</sup>Баллада Томского из 1-го действия оперы П. И. Чайковского "Пиковая дама" (1890; либретто М. И. Чайковского).

<sup>74</sup>Фигнер Николай Николаевич (1857—1918) — певец, первый исполнитель партии Германа в "Пиковой даме".

<sup>75</sup>Имеется в виду роман с Н. И. Петровской (см. о ней ком. 254 к гл. 1). Белый разрывает отношения с Петровской по возвращении в Москву в середине июля 1904 г.

<sup>76</sup>Министр внутренних дел и шеф жандармов В. К. Плеве был убит эсером Е. С. Сазоновым 15 июля 1904 г.

<sup>77</sup> Речь идет о рождении 30 июля 1904 г. наследника русского престола Алексея.

<sup>78</sup> 5 сентября 1905 г. в американском городе Портсмуте был заключен так называемый Портсмутский мир, завершивший русско-японскую войну 1904—1905 гг.

<sup>79</sup>Щукин Иван Иванович (1869—1907) — коллекционер, художественный критик; брат фабриканта С. И. Щукина.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

<sup>1</sup>В имение Серебряный Колодезь Белый возвращается 19 июля и находится там до конца августа 1904 г.

<sup>2</sup>Речь идет о письме от 25 июля, в котором есть следующие строки: "Я ничего не могу сказать о настоящем. Ничего не было чернее его. Ничего не вижу, перед глазами протянута цепь вся в узлах (Переписка. С. 103). Переписка обоих поэтов была позднее оценена Белым как "блестящий литературный дневник эпохи" (О Б л о к е. С. 215).

<sup>3</sup>Геффдинг Херальд (1843—1931) — датский философ и психолог. В его книге "Философские проблемы", которую штудировал Белый, кантовскому понятию нормы как высшего (нравственного) блага противопоставляется норма как правило поведения, направленного на актуализацию потенциальных ценностей.

<sup>4</sup>Вундт Вильгельм (1832—1920) — немецкий психолог, физиолог, философ; один из основоположников экспериментальной психологии. Скорее всего Белый имеет в виду его работу "Система философии" (неточно названная в тексте "Метафизикой"), которая была опубликована в русском переводе в 1902 г.

<sup>5</sup>Джойс Джеймс (1842—1910) — американский философ и психолог, один из основателей прагматизма. Белый ссылается на книгу "Научные основы психологии", вышедшую в русском переводе в 1902 г.

<sup>6</sup>С июля 1903 г., пишет Белый, "начинается усиленное изучение мной Канта: я штудирую "Прологомены", "Критику чистого разума", делаю конспекты; и рассказываю себе главу за главой "Критику" (Материал к биографии. Л. 40). В тексте Белого названа одна из трех "Критик" Иммануила Канта, составляющих основу учения философа о явлениях и вещах, как они существуют сами по себе, — "Критика чистого разума" (1781).

<sup>7</sup>Первые напечатана в журн. "Новый путь" (1904, № 9). Вошла в Арабески.

<sup>8</sup>Неточная цитата из статьи "О целесообразности", опубликованной в Арабесках (С. 106).

<sup>9</sup>"Мы должны стать позитивистами, если хотим утвердить сущее" — (фр.).

<sup>10</sup>Заключительные строки статьи "О целесообразности" (Арабески. С. 114).

<sup>11</sup>Строки из поэмы А. Белого "Первое свидание" (1921).

<sup>12</sup>Рильс Алоиз (1844—1924) — немецкий философ-неокантианец.

<sup>13</sup>Риккерт Генрих (1863—1936) — немецкий философ, один из основателей баденской школы неокантианства. Философия, согласно Риккерту, это наука о ценностях, которые образуют "совершенно самостоятельное царство, лежащее по ту сторону субъекта и объекта" (Риккерт Г. О понятии философии // Логос, 1910. № 1. С. 33). Уже цитировавшийся С. Кесседи определяет систему Белого как "критическую адаптацию теории Риккерта" ("Selected Essays...". P. 314).

Работа Риккерта, которая особо интересует Белого и которую он называет тексте "Der Gegenstand der Erkenntnis", изданная в 1892 г. и переизданная в 1904 г. под названием: "Der Gegenstand der Erkenntnis; Einführung in die Transzendentalphilosophie". Белый позднее вспоминал об октябре 1904 г.: "...в конце месяца натыкаюсь на книгу Риккерта "О предмете познания". И с этого момента скрупулезно, по страничкам, штудирую эту книгу (и ноябрь, и декабрь); так постепенно неокантианские проблемы начинают вьедаться в меня" (Ракурсы к дневнику. Л. 24 об.).

<sup>14</sup>Статья, написанная осенью 1909 г. специально для книги статей Символизм: "вдогонку уже набираемому "Символизму" пишу в 10 дней свою "Эмблематику смысла", долженствующую хоть собрать кое-что из идеологических лозунгов в связанном виде; "Эмблематика" — черновик предисловия к будущей системе" (Почему я стал символистом. С. 449).

<sup>15</sup>Серафимо-Дивеевский Троицкий общежительный женский монастырь (Нижегородская губ.) был основан в 1780 г.

<sup>16</sup>Серафим Саровский (в миру — Прохор Сидорович Мошнин) (1759—1833) — православный подвижник, один из самых почитаемых святых в русской православной церкви. Цель христианской жизни усматривал в "стяжении Духа Святого" (см.: Святой Преподобный Серафим Саровский Чудотворец. Одесса, 1904). Облик Серафима Саровского и его учение о смысле и исполнении христианской жизни произвели глубокое впечатление на Белого, который посвятил отшельнику свое юношеское стихотворение "Святой Серафим" (1903). "Все чаще и чаще мне начинает казаться, — пишет он 3 марта 1903 г. Э. К. Метнеру, — что старец Серафим — единственно несокрушимо-важная и нужная для России скала в наш исторический момент" (РГБ, ф. 167, ед. хр. 1. Л. 10). Сам Белый датирует чтение "всего о святом Серафиме" второй половиной 1902 г. (см. Автобиографические письма к Иванову-Разумнику — Cahiers du Monde russe et soviétique. Vol. XV. 1974. № 1 — 2. С. 60). Об отношении Белого к Серафиму Саровскому см.: *Malmstad J. Andrey Bely and Serafim of Sarov — Scottish Slavonic Review*, 1990, № 14.

<sup>17</sup>Ошибка памяти Белого: поездка с матерью в Саровский монастырь, а оттуда в Арзамас и Нижний Новгород датируется концом августа.

<sup>18</sup>Имеется в виду оригинальная оптическая теория, разработанная Гете — естествоиспытателем и натурфилософом.

<sup>19</sup>См. ком. 52 к гл. 3.

<sup>20</sup>Строки из стих. "Мне снилась снова ты, в цветах, на шумной сцене".

<sup>21</sup>Имеется в виду "Песня Офелии (Разлучаясь с девою милой)".

<sup>22</sup>Цитата из стих. "Прошедших дней немеркнувшим сияньем..." — блоковский перифраз строк Шекспира.

<sup>23</sup>Упоминаемый Белый любительский спектакль (сцены из "Гамлета") состоялся в июле 1898 г., в лето окончания Блоком гимназии и поступления на юридический факультет Петербургского университета.

<sup>24</sup>Из стих. "То отголосок юных дней..."

<sup>25</sup>Заключительные строки стих. "Твой образ чудится невольно..."

<sup>26</sup>Заключительные строки стих. "Ищу спасенья..."

<sup>27</sup>Цитата из стих. "За городом в полях весною воздух дышит..." (1901).

<sup>28</sup>Строка из стих. "Предчувствую Тебя. Года проходят мимо..."

<sup>29</sup>Эмпедокл из Агригента (ок. 490—430 до н. э.) — древнегреческий философ, поэт, врач, политический деятель, бросившийся, по преданию, в жерло сицилийского вулкана Этна.

<sup>30</sup>Христос воскрес (*нем.*).

<sup>31</sup>Давно любимый,

Невозвратимый

Вернулся, горем больше не томим. (*Пер. с нем. Б. Пастернака.*)

<sup>32</sup>Цель бесконечная

Здесь — в достижение. (*Пер. с нем. Б. Пастернака.*)

<sup>33</sup>Пресвятая мать (*лат.*).

<sup>34</sup>"Неописуемое" (нем.).

<sup>35</sup>Собранием духов окруженный,

Не знает новичок того,

Что ангельские легионы

В нем видят брата своего.

Уже он чужд земным оковам

И прежний свой покров сложил.

В воздушном одеянье новом

Он полон юношеских сил.

(Пер. с нем. Б. Пастернака.)

<sup>36</sup>Неточно процитированные заключительные строки стих. "Я, отрок, зажигаю свечи..." (1902).

<sup>37</sup>Из стих. "Я — тварь дрожащая. Лучами..." (1902).

<sup>38</sup>Федоров Николай Федорович (1828—1903) — мыслитель-утопист, представитель русского космизма, творец "философии общего дела", стремившийся к регуляции природы средствами науки и техники.

<sup>39</sup>Лавров Петр Лаврович (1823—1900) — философ, социолог и публицист, один из идеологов революционного народничества.

<sup>40</sup>Все быстротечное —

Символ, сравненье.

Цель бесконечная

Здесь — в достижение.

Здесь — заповедность

Истины всей.

Вечная женственность

Тянет нас к ней.

(Пер. с нем. Б. Пастернака.)

<sup>41</sup>Подобия (нем.).

<sup>42</sup>Достижения (нем.).

<sup>43</sup>Миродержица, склонись

В лучезарной тайне

Всей твоей, взнесенной ввысь,

Синевой бескрайней!

(Пер. с нем. Б. Пастернака.)

<sup>44</sup>Стих. Блока "Мы преклонились у завета" (1902).

<sup>45</sup>То есть Блок после 1917 г. "Крушение гуманизма" — статья, датированная 1919 г. и опубликованная в журнале "Знамя" (1921, № 7—8). "Сплошной и мучительный" процесс ее обдумывания и работы над ней отражен в дневнике и записной книжке за март — апрель 1919 г.

<sup>46</sup>Клюев Николай Алексеевич (1887—1937) — поэт. Переписка Блока с Клюевым началась в ноябре 1907 г. Личное знакомство — осень 1911 г. По поводу одного из писем Клюева Блок сообщил Е. Иванову: "Это — документ огромной важности (о современной России — народной, конечно), который еще и еще утверждает меня в моих заветных думах и надеждах" (Собр. соч. Т. 8. С. 252). Подобное восприятие Клюева как носителя народной правды сохранялось у Блока в течение длительного времени. Ср. письмо матери: "Забавно смотреть на крошечную кучку русской интеллигенции, которая в течение десяти лет сменила кучу мирозерцаний и разделилась на 50 враждебных лагерей и на многомиллионный народ, который с XV века несет одну и ту же однообразную и упорную думу о Боге (в сектантстве). Письмо Клюева окончательно открыло глаза" (Там же. С. 219). Новая встреча поэтов-символистов и "крестьянских поэтов" произошла в годы революции в рядах "скифского" литературного движения.

<sup>47</sup>Орешин Петр Васильевич (1887—1938) — поэт и прозаик, участник альманаха "Скифы".

<sup>48</sup>Заключительная строка стих. "Готов ли ты на путь далекий..." (1899).

<sup>49</sup>Из стих. "На небе зарево. Глухая ночь мертва".

- <sup>50</sup>Строки из стих. Вл. Соловьева "Вновь белые колокольчики".
- <sup>51</sup>Неточная цитата из стих. "То отголосок юных дней...".
- <sup>52</sup>Строки из стих. "Ищу спасенья" (1900).
- <sup>53</sup>Неточно процитированное стих. "Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...".
- <sup>54</sup>Из стих. "В часы вечернего тумана...".
- <sup>55</sup>Неточная цитата из стих. "За туманом, за лесами...".
- <sup>56</sup>Строфа из стих. "Одинокий, к тебе прихожу...".
- <sup>57</sup>Первая строфа стих. "Я все гадаю над тобою...".
- <sup>58</sup>Заключительная строфа стих. "Ты горишь над высокой горою...".
- <sup>59</sup>Заключительные строки стих. "Ты прошла голубиными путями...".
- <sup>60</sup>Заключительная строфа стих. "Я долго ждал — ты вышла поздно...".
- <sup>61</sup>Заключительные строки стих. "Ты горишь над высокой горою...".
- <sup>62</sup>Заключительные строки стих. "Видно, дни золотые прошли...".
- <sup>63</sup>Строфа стих. "Я все гадаю над тобою...".
- <sup>64</sup>Строки стих. "Смотри — я отступаю в тень...".
- <sup>65</sup>Начальные строки стих. "Вхожу я в темные храмы...".
- <sup>66</sup>Цитата из стих. "Мне страшно с Тобой встречаться".
- <sup>67</sup>Неточно цитируется стих. "Бегут неверные дневные тени".
- <sup>68</sup>Строки из стих. "Пытался сердцем отдохнуть я...".
- <sup>69</sup>Цитата из стих. "Мне страшно с Тобой встречаться...".
- <sup>70</sup>Строфы стих. "Ты свята, но я Тебе не верю...".
- <sup>71</sup>Стих. "Гадай и жди. Среди полночи...".
- <sup>72</sup>Из стих. "За городом в полях весною воздух дышит...".
- <sup>73</sup>Заключительная строфа стих. "Мы преклонились у завета...".
- <sup>74</sup>Строки из стих. "Кто-то с богом шепчется...".
- <sup>75</sup>Цитата из стих. "Вхожу я в темные храмы...".
- <sup>76</sup>Цитата из 2-го стих. цикла "Religio".
- <sup>77</sup>Заключительная строфа стих. "Она стройна и высока...".
- <sup>78</sup>Первая строфа одноименного стих.
- <sup>79</sup>Вторая строфа стих. "Там — на улице стоял какой-то дом...".
- <sup>80</sup>Инспирация наряду с имажинацией и интуицией, согласно учению Р. Штейнера, являются этапами становления самосознющей души. Белый определяет их как "состояние восприятия существа в отображении образом (имагинация), в лицеизернии (инспирация) и в слиянии с существом (интуиция)" (*Белый Андрей*. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. С. 109).
- <sup>81</sup>Заключительные строки стих. "Я, отрок, зажигаю свечи...".
- <sup>82</sup>Цитата из стих. "Говорили короткие речи...".
- <sup>83</sup>Уместно привести определение, данное этому, одному из центральных понятий антропософии Р. Штейнером: "За внешним миром, который дан в обычной жизни, сокрыт иной. У порога его стоит строгий Страж, способствующий тому, чтобы человек ничего не узнавал из законов сверхчувственного мира. Ибо все сомнения, всякую неуверенность относительно этого мира все же легче перенести, чем созерцание того, что надо оставить позади, если хочешь вступить в сверхчувственный" (Пу т ь к с а м о п о з н а н и ю. С. 41).
- <sup>84</sup>Цитата из стих. "Люблю высокие соборы...".
- <sup>85</sup>Первые строки стих. "По городу бегал черный человек..." (1903).
- <sup>86</sup>Заключительные строки стих. "Мне гадалка с морщинистым ликом..." (1903).
- <sup>87</sup>Стих. "Среди гостей ходил я в черном фраке..." (1903) цитируется без разбивки на строфы.
- <sup>88</sup>Из стих. "Был вечер поздний и багровый..." (1902).
- <sup>89</sup>Из стих. "Я их хранил в пределе Иоанна..." (1902).
- <sup>90</sup>Заключительные строфы стих. "Дали слепы, дни безгневны..." (1904).
- <sup>91</sup>Первая строка одноименного стих. (1900).
- <sup>92</sup>Из стих. "В те целомудренные годы..." (1900).
- <sup>93</sup>Заключительная строфа стих. "Мой монастырь, где я томлюсь безбожно...".
- <sup>94</sup>Неточная цитата из стих. "Ты уходишь от земной юдоли..." (1901).

- <sup>95</sup>Первые строки стих. "Сижу за ширмой. У меня..." (1903).
- <sup>96</sup>Из стих. "Голос" (1902).
- <sup>97</sup>Из стих. "Царица смотрела заставки..."
- <sup>98</sup>Из стих. "В посланьях к земным владыкам..." (1903).
- <sup>99</sup>Умри и стань (*нем.*).
- <sup>100</sup>Эти, как и две предыдущие процитированные строки, из стих. "Здесь память волны святой..." (1903).
- <sup>101</sup>Из стих. "Царица смотрела заставки..."
- <sup>102</sup>Строки из стих. "Мой месяц в царственном зените..." (1903).
- <sup>103</sup>Из стих. "Царица смотрела заставки..."
- <sup>104</sup>Из стих. "Отрекись от любимых творений..." (1900).
- <sup>105</sup>Первая строфа того же стих.
- <sup>106</sup>Цитата из стих. "То отголосок юных дней..." (1900).
- <sup>107</sup>Строки из стих. "Ищу спасения..." (1900).
- <sup>108</sup>Заключительные строки стих. "Медленно, тяжело и верно..." (1900).
- <sup>109</sup>Строка из стих. "Мы все простим и не нарушим..." (1902).
- <sup>110</sup>Из стих. "Здесь память волны святой..." (1903).
- <sup>111</sup>Заключительные строки стих. "Стою у власти, душой одинок..." (1902).
- <sup>112</sup>Заключительные строки стих. "Станных и новых иду на страницах..." (1902).
- <sup>113</sup>Из стих. "Не бойся умереть в пути" (1902).
- <sup>114</sup>Заключительные строки стих. "Безрадостные всходят семена..." (1902).
- <sup>115</sup>Заключительные строки 2-го стих. из цикла "Religio".
- <sup>116</sup>Из стих. "Я, изнуренный и премудрый..." (1902).
- <sup>117</sup>Последние строки стих. "Кто-то шепчет и смеется..." (1901).
- <sup>118</sup>Первая строфа стих. "Я — меч, заостренный с обеих сторон..." (1903).
- <sup>119</sup>Цитата из стих. "Я их хранил в пределе Иоанна..."
- <sup>120</sup>Неточная цитата из стих. "Разгорятся тайные знаки..." (1902).
- <sup>121</sup>Неточность: стих. "Гамаюн, птица вещая" датировано февралем 1899 г.
- <sup>122</sup>Неточная цитата из стих. "Фабрика" (1903).
- <sup>123</sup>Заключительные строки стих. "На Вас было черное закрытое платье" (1905).
- <sup>124</sup>Белый цитирует Блока по изданию: *Блок Александр*. Стихотворения: В 3 т. Берлин: Слово. 1921.
- <sup>125</sup>Первые строфы стих. "Вот он ряд гробовых ступеней" (1904).
- <sup>126</sup>Неточно цитированное стих. "Свобода смотрит в синеву" (1902).
- <sup>127</sup>"Демон в греческом смысле", как его трактует Р. Штейнер (эту трактовку разделяет и Белый), подобен современному понятию "дух": "Дух действует в человеке. Но он действует в нем особенным образом. Он действует, исходя из временного. В этом особенность человеческой души, что временное действует в ней как вечное, побуждает и борется за вечное. Поэтому душа одновременно подобна и Богу, и червя, и через это человек стоит между Богом и животным. Это стремящееся и борющееся в нем есть его демоническое. Это то, что рвется наружу в нем и из него. Поразительно указал на это Гераклит: "Демон человека — судьба его" (*Штейнер Рудольф*. Христианство как мистический факт и мистерии древности. С. 37).
- <sup>128</sup>Из стих. "Дали слепы, дни безгневы..." (1904).
- <sup>129</sup>Ходасевич Владислав Фелицианович (1886—1939) — поэт, критик, историк литературы, мемуарист, один из представителей того литературного поколения, что принял следом за символистами и самоопределялось по отношению к наследию символистов. "Годы полемики", как определял Андрей Белый 1907—1910 гг., стали годами дружбы с Ходасевичем. Совместная работа в "Золотом руне", в брянских "Весах" и "Перевале", интенсивные занятия ритмом русского стиха — все это не могло не способствовать сближению обоих поэтов. Новая встреча — в Москве и Петрограде времен военного коммунизма, наконец, "русский Берлин" 1922—1923 гг., чуть ли не ежедневное общение Белого и Ходасевича, зафиксированное и в мемуарах последнего "Некрополь", и в книге Н. Берберовой "Курсив мой". Свидетельства этой дружбы — две статьи Белого о стихах Ходасевича: "Рембрандтова правда

в поэзии наших дней" (1922) и "Тяжелая лира и русская лирика" (1923). обстоятельный анализ отношений двух поэтов см. в ст.: *Хьюз Роберт*. Белый и Ходасевич: к истории отношений // *Вестник русского христианского движения*. 1987, № 151.

<sup>130</sup>Садовский Борис Александрович (1881—1952) — поэт, прозаик, критик, историк литературы.

<sup>131</sup>Гордон Гавриил Осипович — философ-кантианец, последователь Г. Когена.

<sup>132</sup>Грифцов Борис Александрович (1885—1950) — критик, искусствовед, литературовед, переводчик.

<sup>133</sup>Гераклит Эфесский (конец VI—начало V в. до н. э.) — древнегреческий философ-диалектик, представитель ионической школы, видевший первоначально всего сущего в огне, первым высказавший идею непрерывного движения, становления.

<sup>134</sup>Зенон из Элеи (ок. 490—430 до н. э.) — древнегреческий философ, представитель элейской школы. Аристотель считал его основателем диалектики как искусства постижения истины посредством спора или истолкования противоположных мнений.

<sup>135</sup>Парменид из Элеи (ок. 540—ок. 470 до н. э.) — древнегреческий философ, представитель элейской школы; первым провел принципиальное различие между уловимым неизменным и вечным бытием (сфера истинного знания) и чувственно воспринимаемой изменчивостью и преходящей текучестью всех вещей (сфера "мнения"); сформулировал идею тождества бытия и мышления.

<sup>136</sup>Учение немецкого философа, математика, физика, юриста, языковеда, историка Готфрида Вильгельма Лейбница (1646—1716) о монадах — неделимых духовных субстанциях, образующих умопостижимый мир, производным от которого выступает мир феноменальный, изложено в его центральном сочинении "Монадология" (1714). Лейбницевская монадология сыграла значительную роль в духовном развитии Андрея Белого. К миру лейбницевских идей Белый приобщался как в семинаре проф. Л. М. Лопатина, так и благодаря усилиям отца, проф. Н. В. Бугаева, который был убежденным приверженцем Лейбница и развивал под его влиянием собственную философскую теорию эволюционной монадологии (См.: *Некрасов П. А., Лахтин Л. К., Лопатин Л. М., Минин А. П.* Николай Васильевич Бугаев).

<sup>137</sup>Топорков Алексей Константинович (1882—?) — философ, публицист.

<sup>138</sup>Бердников А. И. — философ.

<sup>139</sup>Ср. запись Белого в сентябре 1904 г.: "С этого месяца я начинаю подробно изучать неокантианскую литературу и пользоваться указаниями ставшего ко мне дружественно относиться Б. А. Фохта" (Материал к биографии. Л. 48).

<sup>140</sup>Последователи философа-неокантианца Германа Когена.

<sup>141</sup>Труд Л. М. Лопатина "Положительные задачи философии", в котором обновывалась концепция "конкретного спиритуализма" — своеобразной модификации неоплатонизма и лейбницевской монадологии, — был выпущен в двух томах в 1886 и 1891 гг. в Москве.

<sup>142</sup>Белый имеет в виду докторскую диссертацию Вл. Соловьева "Критика отвлеченных начал", защищенную в апреле 1880 г. (опубликована во 2-м томе Собрания сочинений Вл. Соловьева) (М., 1911). Это сочинение философа представляет, по убеждению его биографа С. М. Соловьева, — особый интерес, потому что только в нем (если не считать последних статей по теоретической философии) мы имеем гносеологию Соловьева" (*Жизнь Соловьева*. С. 189).

<sup>143</sup>Упомянута монография С. Н. Трубецкого "Учение о Логосе в его истории" (М., 1900).

<sup>144</sup>Взаимоотношения Белого и богослова Павла Александровича Флоренского (1882—1937), относящиеся к этому периоду, отражены в их переписке, опубликованной в сб.: *Контекст*. 1991, М.: Наука, 1991.

<sup>145</sup>Котляревский Сергей Андреевич (1873—1939) — историк, земский деятель, профессор Московского университета, член ЦК конституционно-демократической партии.

<sup>146</sup>Имеются в виду учащиеся Московской духовной православной академии, расположенной в Троице-Сергиевой лавре.

- <sup>147</sup>Астрова А. М. — жена П. И. Астрова (см. о нем ком. № 240 к гл. 1).
- <sup>148</sup>Астафьев Иван Александрович (1844— после 1911) — живописец, график.
- <sup>149</sup>Шкляревский Анатолий Орестович — учитель гимназии. См. его характеристику в кн. *Начало века*. С. 396.
- <sup>150</sup>Астров Николай Иванович (1868—?) — судья, левый кадет, в 1906 г. городской секретарь и гласный московской Городской Думы; член Особого совещания при Добровольческой армии.
- <sup>151</sup>Астров Владимир Иванович (1871—?) — публицист.
- <sup>152</sup>Астров Алексей Иванович (1870—1919) — профессор Московского технического училища, кадет.
- <sup>153</sup>Громогласов Илья Михайлович (1869—?) — историк, профессор Московской духовной академии.
- <sup>154</sup>Покровский Михаил Михайлович (1868—1942) — литературовед, лингвист, профессор Московского университета.
- <sup>155</sup>Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921) — прозаик.
- <sup>156</sup>Драма, опубликованная в составе книги В. Я. Брюсова "Земная ось. Рассказы и драматические сцены" (М., 1907).
- <sup>157</sup>Гапон Георгий Аполлонович (1870—1906) — священник, агент охраны; инициатор петиции петербургских рабочих Николаю II и шествия к Зимнему дворцу 9 января 1905 г.
- <sup>158</sup>Чернова (Гамалей) Е. И. — жена певца, солиста Мариинского театра А. Я. Чернова. Близкая приятельница матери Б. Н. Бугасва.
- <sup>159</sup>Речь идет о штабс-капитане Александре Александровиче Эртеле, брате М. А. Эртеля.
- <sup>160</sup>См. ком. 9 к гл. 2.
- <sup>161</sup>Ауслендер Сергей Абрамович (1886—1943) — прозаик, критик, сотрудничавший в модернистских изданиях начала века.
- <sup>162</sup>Хольбейн (Гольбейн) Ханс Младший (1497—1543) — немецкий живописец и график.
- <sup>163</sup>Нувель Вальтер Федорович (1871—1949) — член объединения "Мир искусства", чиновник особых поручений министерства императорского двора.
- <sup>164</sup>Дягилев Сергей Павлович (1872—1929) — театральный и художественный деятель, один из создателей художественного объединения "Мир искусства", соредатор одноименного журнала, организатор музыкальных сезонов в Париже, создатель труппы Русский балет (1911—1929).
- <sup>165</sup>Смирнов Александр Александрович (1883—1962) — поэт, историк литературы, переводчик.
- <sup>166</sup>Первое русское научное общество, основанное в 1765 г. Опубликовало первое статистическо-географическое описание России.
- <sup>167</sup>Речь идет об Арабажине Константине Ивановиче (1866—1929) — критике, журналисте, литературоведе; сыне Ивана Арабажина — мужа тети Белого.
- <sup>168</sup>После расстрела демонстрации Гапон скрывался в квартире Горького, где написал воззвание к народу. Затем — переодетый и загримированный — появился в Вольно-экономическом обществе на собрании интеллигентов. Вот как описаны эти события в горьковском очерке "Савва Морозов": "после грима поп вышел похожим на парикмахера или приказчика модного магазина (...). В этом виде я и отвез его в Вольно-экономическое общество, где заявил с хор, что Гапон — жив, вот он! И показал его публике" (*Горький М.* Полн. собр. соч.: В 25 т. Т. 16. М., 1973. С. 524).
- <sup>169</sup>Речь идет об имени Демьяново (см. о нем ком. 32 к главе 3).
- <sup>170</sup>Полковник Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух со своим отрядом 9 января охранял Сампсониевский мост.
- <sup>171</sup>Гиппиус Татьяна Николаевна (1877—1957) — художница.
- <sup>172</sup>Гиппиус Наталья Николаевна (1880—1963) — скульптор.
- <sup>173</sup>Пугало, жупел (*фр.*); дословно — "черный зверь": далее обыгрывается в тексте.
- <sup>174</sup>Дача Мерезковских под Петербургом.

<sup>175</sup>Речь идет о "Северной симфонии" (1-й героической), созданной Белым до 2-й, но опубликованной позднее, в 1904 году, в "Скорпионе".

<sup>176</sup>Перцов Петр Петрович (1868—1947) — литературный критик, публицист, издатель и редактор журнала "Новый путь".

<sup>177</sup>Аскольдов (наст. фам. Алексеев) Сергей Алексеевич (1871—1945) — философ, критик.

<sup>178</sup>Чулков Георгий Иванович (1879—1939) — поэт, прозаик, критик; идеолог "мистического анархизма".

<sup>179</sup>Андриевский (прав. Андреевский) Сергей Аркадьевич (1847—1918) — поэт, адвокат, литературный критик.

<sup>180</sup>Петербургский литературный, философский и общественно-политический журнал (1905), вокруг которого объединялись религиозные философы (С. Булгаков, Н. Бердяев и др.), "неохристиане" из круга Д. Мережковского и писатели-символисты.

<sup>181</sup>Просфория — лицо, заготавливающее просфоры, т. е. хлебцы, употребляемые для совершения евхаристии (приношения Святых Даров во время литургии).

<sup>182</sup>Розанова (урожд. Руднева) Варвара Дмитриевна (1864—1923) — ошибочно названная Варварой Федоровной, — вторая жена Розанова.

<sup>183</sup>Эта встреча, датированная осенью 1908 г., описана в гл. 8 наст. изд.

<sup>184</sup>Беляев Юрий Дмитриевич (1876—1917) — драматург, театральный критик, сотрудник суворинской газеты "Новое время".

<sup>185</sup>Бакст (наст. фам. Розенберг) Лев Самойлович (1866—1924) — живописец, график, театральный художник.

<sup>186</sup>Сомов Константин Андреевич (1869—1939) — живописец и график.

<sup>187</sup>Первая книга Розанова — "О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания" (М., 1886).

<sup>188</sup>В то время (январь 1905 г.) Сологуб служил инспектором петербургского Андреевского городского училища.

<sup>189</sup>Речь идет об Ольге Кузьминичне Тетерниковой (1865—1907), в связи с кончиной которой Сологуб писал Брюсову: "...мы прожили всю жизнь вместе, дружно, и теперь я чувствую себя так, как будто все мои соответствия с внешним миром умерли..." (Начало века. С. 675).

<sup>190</sup>Чин, порядок в церковном уставе.

<sup>191</sup>Гиппиус Владимир Васильевич (псевд. — Вл. Бестужев, Вл. Нелединский) (1876—1941) — поэт, критик, педагог. В Начале века назван "декадентом времен допотопных" (С. 486).

<sup>192</sup>"Возврат. III симфония" вышла в издательстве "Гриф" в 1904 г.

<sup>193</sup>Вилькина (наст. фам. Виленкина) Людмила Николаевна (1873—1920) — поэт, переводчица.

<sup>194</sup>См.: Собр. соч. Т. 6. С. 154, 155.

<sup>195</sup>Неточно процитированные строки стих. "В полночь глухую рожденная..."

<sup>196</sup>Из стих. "Ты не обманешь призраком бледный..."

<sup>197</sup>Неточно процитированные строки из стих. "31 декабря 1900 года".

<sup>198</sup>Цитата из стих. "Я вышел. Медленно сходили..."

<sup>199</sup>Строфы стих. "Ветер принес издалека..."

<sup>200</sup>Завершающая строка стих. "Я понял смысл твоих стремлений..."

<sup>201</sup>Заключительные строки стих. "За городом в полях весною воздух дышит..." (1904).

<sup>202</sup>Имеется в виду 2-я симфония, опубликованная раньше 1-й (см. ком. 175 к наст. гл.); т. е. первая по порядку публикации.

<sup>203</sup>Второстепенный персонаж гоголевских "Мертвых душ", "философия" которого служит образцом пустопорожного умствования: Кифа Мокеевич "семейством своим не занимался; существование его было обращено более в умозрительную сторону и занято следующим, как он называл, философическим вопросом: "Вот, например, зверь (...)

зверь родиться нагишом. Почему же именно нагишом? Почему не так, как птица, почему не вылупливается из яйца?..”

<sup>204</sup>Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд (1821—1894) — немецкий физик, физиолог, психолог, увлекший Белого обоснованием закона сохранения энергии и доказательством его всеобщего характера.

<sup>205</sup>Журнал, выходявший в Петербурге в 1905—1906 гг. под редакцией П. Б. Струве, орган кадетов (см. о Струве ком. 212 к наст. гл.).

<sup>206</sup>Из стих. "Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...".

<sup>207</sup>Имеется ввиду монография Д. Мережковского "Л. Толстой и Достоевский".

<sup>208</sup>Правильный пятиугольник, на каждой стороне которого построены равнобедренные треугольники. В середине века и в эзотерических учениях нового времени — тайный мистический знак. В данном случае — знак революции.

<sup>209</sup>После опубликования статьи "Интеллигенция и революция" (газ. "Знамя труда". 1918. 1 февраля) Блоку был объявлен "бойкот" со стороны Мережковских. З. Гиппиус адресует Блоку — автору "Двенадцати" — гневные статьи "Люди и нелюди" и "Неприличие", а затем — стих. "Все это было, кажется, в последний...". 3 сентября 1918 г. произошла случайная встреча двух поэтов, описанная З. Гиппиус в книге "Живые лица" (Прага, 1925. С. 60—61). Последнюю точку в 16-летней переписке З. Гиппиус и Блока поставило ее письмо, в которое было вложено стихотворение "Бывшему рыцарю Прекрасной Дамы":

Впереди 12-ти не шел Христос:  
Так мне сказали сами хамы.  
Но зато в Кронштадте пьяный матрос  
Танцевал польку с Прекрасной Дамой.  
Говорят — он умер. А если нет?  
Вам не жаль Прекрасной Дамы?  
Вам не жаль Дамы, бедный поэт?  
(См.: ЛН. Кн. 1. С. 152).

<sup>210</sup>Подразумевается заключительное четверостишие стих. "Я живу в отдаленном скиту...":

Но живу я в далеком скиту  
И не знаю для счастья границ.  
Тишиной провожаю мечту.  
И мечта воздвигает Царицу.

<sup>211</sup>Аллюзия на известную поэтическую строку из стих. Белого "На горах" (1903), герой которого "горбун седовласый" "в небеса запустил ананасом".

<sup>212</sup>Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — экономист, историк, публицист, теоретик "легального марксизма", один из лидеров конституционно-демократической партии. В описываемые годы — редактор еженедельного общественно-политического и культурно-философского журнала "Полярная звезда".

<sup>213</sup>Из стих. "Вечность бросила в город..." (1904).

<sup>214</sup>В 1905 г. романом "Петр и Алексей" Д. Мережковский завершил трилогию "Христос и Антихрист" (1893—1905).

<sup>215</sup>Имеется в виду "Кубок метелей. Четвертая симфония".

<sup>216</sup>Стих. Белого (без указания авторства) "В голубые, священные сны..." предваряло текст пьесы З. Гиппиус, Д. Мережковского, Д. Филоσοфова "Красные маки" (1908).

<sup>217</sup>Имеется в виду исследование Д. Мережковского "Гоголь и черт" (1906).

<sup>218</sup>Речь идет об исследовании "Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев" (1915).

<sup>219</sup>Подразумевается работа "М. Ю. Лермонтов — Поэт сверхчеловечества" (1909).

<sup>220</sup>О Л. Андрееве в 1908 г. были написаны статьи "В обезьяньих лапах" и "Сошествие в ад".

<sup>221</sup>Гуро Елена (наст. имя и фам. Элеонора Генриховна Нотенберг) (1877—1913) — поэтесса и художница, примыкавшая к футуристам.

<sup>222</sup>Блок Александр Львович (1852—1909) — отец поэта, юрист и философ. Отношение сына к отцу воссоздано в поэме "Возмездие" (1910—1921) (см.: *Блок Г. П. Герои "Возмездия"* // *Русский современник*. 1924. № 3).

<sup>223</sup>Панченко Семен Викторович (1867—1937) — композитор, друг семьи Бекетовых.

<sup>224</sup>Речь идет о стих. Блока "Скифы", написанном Блоком в 1918 г., сразу же после окончания поэмы "Двенадцать". Об общественно-политических настроениях поэта, отразившихся в "Скифах", дают представление его записи в дневниках и записных книжках от января 1918 г. Особо существенная запись от 11 января, когда из газет стало известно о возобновлении мирных переговоров с немцами в Брест-Литовске: "... позор 3 1/2 лет ("война", "патриотизм") надо смыть".

<sup>225</sup>Ежемесячный литературный, политический и научно-популярный журнал, выходящий в 1892—1906 гг. и занимавший отчетливую антисимволистскую позицию. Редактор — Ф. Д. Батюшков.

<sup>226</sup>Цитата из статьи "Стихия и культура" (1909). — *Собр. соч.* Т. 5. С. 351, 353—354.

<sup>227</sup>Из статьи "Ирония" (1908) — *Собр. соч.* Т. 5. С. 349.

<sup>228</sup>Заключительные строки статьи "Стихия и культура". — *Собр. соч.* Т. 5. С. 359.

<sup>229</sup>Неточные цитаты из статьи "Литературные итоги 1907 года" (1907) — *Собр. соч.* Т. 5. С. 210—212.

<sup>230</sup>Строки из поэмы Белого "Первое свидание".

<sup>231</sup>Блок, Л. Д. Блок и Белый были на концерте американской танцовщицы А. Дункан 21 января 1905 г. в зале Петербургской консерватории. Свое восторженное впечатление от танца Дункан Белый запечатлел в статье "Луг зеленый" (Весы. 1905. № 8). Вошла в книгу под тем же названием.

<sup>232</sup>Цитата из письма Блока от 7 апреля 1904 г.: "Иногда вдруг сознаю в Твоем существовании большую поддержку. Письмами, подобными Твоему последнему, Ты схватываешь меня за локоть и кричишь: "Не попадай под извозчика!" А извозчик — В. В. Розанов — едет, едет — день и ночь — с трясающейся рыженькой бородашкой..." (Переписка. С. 80).

<sup>233</sup>Владимир Александрович, великий князь (1847—1909) — президент Академии художеств; сын Александра II.

<sup>234</sup>Большой меблированный дом на Пушкинской (дом № 20).

<sup>235</sup>В "Книге пророка Даниила" повествуется о том, как, будучи брошенным в львиный ров за приверженность к отеческой вере, он был чудесным образом спасен // Даниил. 6:10 — 24.

<sup>236</sup>Великий князь Сергей Александрович (1875—1905) — московский генерал-губератор; был убит на Сенатской площади Кремля разрывной бомбой, брошенной эсером И. П. Каляевым.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

<sup>1</sup>Ср. письмо Белого к Брюсову от 19 февраля 1905 г.: "Ведь вы ругаете *периодически* всех. Вы и пишете нехорошие вещи про всех (про меня, например). Лично я относительно себя совершенно ничего не имею: вам так подходит. Я вас часто про себя называю — *ругателем*" — это одна из ваших черт (...) Мережковские мне близки и дороги, и я очень близок к ним. Считаю нужным предупредить вас, Валерий Яковлевич, что впредь я буду считать ваши слова, подобные сказанным мне сегодня (*по вашему позволению*) обидой себе" (Л. Н. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 381).

<sup>2</sup>См. письмо Брюсова к Белому от 20 февраля 1905 г. (там же. С. 381—382).

<sup>3</sup>Ср. письмо Белого к Брюсову от 21 февраля 1905 г.: "Все письмо написано не из желания вас обидеть, а из желания исполнить свой долг относительно людей,

с которыми я связан теснейшими узами дружбы". Заканчивалось письмо следующим образом: "Если вы человек честный, вы пойдете навстречу моему желанию прекратить возникшее недоразумение. В противном случае, конечно, я меняю тон моего отношения к вам".

<sup>4</sup>Стих. 1905 г., входящее в состав сборника "Венок" ("Stephanos").

<sup>5</sup>В капун 1906 г., будучи в Париже, Белый заболевает: флегмона, угрожающая заражением крови. 2 января 1907 г. он перенес хирургическую операцию.

<sup>6</sup>Скрябин Александр Николаевич (1871—1915) — композитор и пианист.

<sup>7</sup>Московское книгоиздательство, принадлежавшее М. К. Морозовой, объединяло последователей Вл. Соловьева и "неославянофилов" и ставило перед собой задачу разработки вопросов "русской религиозной мысли и русского самосознания" в аспекте неославянофильских теорий.

<sup>8</sup>Сообщая в середине мая Блоку о московской лекции Мережковского "о церковном соборе", Белый добавляет: "Хлопоты все упали главным образом на меня. Неделью я только и мог, что бегать из места в место" (Переписка. С. 132).

<sup>9</sup>Статья была написана в феврале — марте 1905 г. и опубликована в журнале "Весь", № 4, за тот же год. Перепечатана в Луге зеленом.

<sup>10</sup>Хвостов Вениамин Михайлович (1868—1920) — философ, юрист, профессор римского права в Московском университете.

<sup>11</sup>Учреждено М. К. Морозовой, его ядро составляли московские религиозные философы (Е. Трубецкой, Рачинский, Свентицкий и др.).

<sup>12</sup>Восток Владимир — священник.

<sup>13</sup>Уроженец Самарии, прославившийся своим волхвованием и чудесами, которые он выдавал за силу Божию. В доказательство своего могущества хотел вознестись на небо, но упал и погиб (Деяния. 8:9).

<sup>14</sup>Из имени друга Вл. Соловьева С. П. Хитрово Пустыньки в Дедово были пересажены белые колокольчики — любимые цветы философа, которым он посвятил стихотворения "Белые колокольчики" и "Вновь белые колокольчики" — свой последний стихотворный текст.

<sup>15</sup>То есть связанное с образом Оссиана — легендарного воина и барда (III в.), которому шотландский писатель Джеймс Макферсон приписал собственные обработки кельтских преданий и легенд. Эти обработки, собранные в книге "Сочинения Оссиана, сына Фингала, переведенные с гальского языка Джеймсом Макферсоном" (1765), стали классическим образцом литературы предромантизма.

<sup>16</sup>Легендарный певец, отец Оссиана — герой поэмы Дж. Макферсона "Фингал" (1762).

<sup>17</sup>Над поэмой "Дитя — Солнце" Белый работал в мае — июне 1905 г.

<sup>18</sup>Статья была опубликована в "Весах" (1905. № 6). Вокруг нее на страницах журнала развернулась полемика: Вяч. Иванов выступил с откликом "О "Химерах" Андрея Белого" (№ 7), Белый опубликовал ответное "Разъяснение В. Иванову" (№ 8).

<sup>19</sup>Ошибка памяти Белого. Его поездка с С. М. Соловьевым в Шахматово имела место в июне.

<sup>20</sup>Речь идет о стихах, составивших цикл "Пузыри земли" (1904—1905).

<sup>21</sup>Строфа из стих. "Болотные чертенята" (1905).

<sup>22</sup>Дева-воительница — героиня древнегерманской поэмы "Песни о Нибелунгах" (рубеж XII—XIII вв.). В данном контексте Белый имеет в виду интерпретацию образа Брунгильды в тетралогии Р. Вагнера "Кольцо Нибелунга".

<sup>23</sup>Трагедия Вяч. Иванова "Тантал" была опубликована в альманахе "Северные цветы" (М.: Скорпион, 1905).

<sup>24</sup>Строки из стих. Н. А. Некрасова "Огородник" ("Не гулял с кистенем я в дремучем лесу...", 1846), бытовавшего в виде песни с народной мелодией.

<sup>25</sup>Символистское издательство (1907—1910), объединившее петербургских авторов во главе с Вяч. Ивановым и А. Блоком.

<sup>26</sup>Литературный и общественно-политический альманах (два выпуска — 1917 и 1918 гг.), орган возглавляемой Р. Ивановым-Разумником группы литераторов, фило-

софов, публицистов, близкой к левозеровским крутам и воспринимавшей революцию как "новое вознесение духа", "духовное преображение".

<sup>27</sup>Персонаж "Балаганчика": здесь и дальше — аллюзии Белого на мотивы пьесы А. Блока.

<sup>28</sup>О восторженном отношении С. Соловьева к творчеству Брюсова в то время свидетельствуют два его стихотворения, написанные в январе 1905 г. и посвященные Брюсову (см.: *Соловьев С. Цветы и ладан*. М., 1907. С. 65—67).

<sup>29</sup>Подразумеется увлечение К. Бальмонта Испанией и испанскими мотивами.

<sup>30</sup>В финале "Балаганчика" один из его трех главных персонажей, Арлекин, прыгает в окно, за которым видится даль, нарисованная на бумаге; бумага лопается.

<sup>31</sup>Герой пьесы Г. Ибсена "Габриэль Боркман" (1896).

<sup>32</sup>Строфы стих. "Потеха! Рокочет труба..." (июль 1905).

<sup>33</sup>Речь идет о стих. "Моей матери" (июль 1905).

<sup>34</sup>Восставший броненосец "Потемкин" ушел 18 июня 1905 г. в порт Констанцу, а 25 июня сдался румынским властям.

<sup>35</sup>Ныне — Рижская железная дорога.

<sup>36</sup>Стих. "Невидимка" ("Веселье в ночном кабаке...") датировано 16 апреля 1905 г. (впервые опубли. в альманахе "Белые ночи" в 1907 г.).

<sup>37</sup>Неточная цитата из "Вступления" к поэме "Ночная фиалка".

<sup>38</sup>В письме от 2 октября 1905 г. Блок отправил Белому двадцать своих стихотворений, написанных в 1903—1905 гг. В ответном письме от 13 октября, признавая достоинства присланных стихов, Белый, однако, предостерегает: "Вот теперь я скажу о Твоих стихах. Над ними стоит туман несказанного, но они полны "скобков" и двусмысленных умалчиваний, выдаваемых порой за тайны (...) Я говорю Тебе, как обремененный ответственностью за чистоту одной Тайны, которую Ты предаешь или собираешься предать. Я Тебя предостерегаю — куда Ты идешь? Опомнись! Или брось, забудь Тайну. Нельзя быть одновременно и с богом, и с чертом" (Переписка. С. 157).

<sup>39</sup>27 октября 1905 г. Л. Д. Блок писала Белому: "Я не хочу получать больше Ваших писем до тех пор, пока Вы не искупите своей лжи Вашего письма к Саше (...) Поймите, что тон превосходства, с которым Вы к нему обращаетесь, для меня невыносим (...) Меня признаете, его вычеркиваете — в этом нет правды" (ЛН Кн. 3. С. 231).

<sup>40</sup>Челноков Михаил Васильевич (1868—1935) — один из лидеров партии кадетов, в 1914—1917 гг. — городской голова Москвы.

<sup>41</sup>Трепов Дмитрий Федорович (1855—1906) — петербургский генерал-губернатор, с апреля 1905 г. — товарищ министра внутренних дел, организатор вооруженного подавления революции 1905 г. Получил всероссийскую известность благодаря приказу "холостных залпов не давать и патронов не жалеть".

<sup>42</sup>Имеется в виду владелец табачной фабрики "Дукат" Н. Д. Пигит.

<sup>43</sup>3 октября 1905 г. началась стачка рабочих Московско-Казанской железной дороги, которая охватила все предприятия Москвы, а затем переросла во Всероссийскую политическую стачку, продолжавшуюся до 22 октября.

<sup>44</sup>17 октября 1905 г. был обнародован царский указ о предоставлении политических свобод.

<sup>45</sup>Большевик Николай Эрнестович Бауман (1873—1905) был убит 18 октября черносотенцем Михалиным. Его похороны 20 октября, в которых участвовал Белый, вылились в мощную политическую демонстрацию.

<sup>46</sup>Тургенева Анна Алексеевна (Ася, 1890—1966) — первая жена Белого, художница. Племянница Олениной-д'Альгейм.

<sup>47</sup>Тургенева Наталья Алексеевна (1886—1942) — сестра А. А. Тургеневой. Первую встречу с Асей и Наташей Тургеневыми Белый датирует ноябрем 1905 г. (Ракурс к дневнику. Л. 31).

<sup>48</sup>В Петербург Белый приехал 1 декабря.

<sup>49</sup>1 декабря 1905 г. Белый писал Блоку: "Непреренно буду ждать сегодня пить чай в ресторане Палкина в 8 часов (На Невском. Буду в главном зале)" (Переписка. С. 161).

<sup>50</sup>Вращающийся дервиш (*фр.*).

<sup>51</sup>Первая строфа стих. "Нежный! У ласковой речки..." (1904).

<sup>52</sup>Итальянская позднеренессансная "Комедия масок", импровизированное театральное представление, форму которого использовал Блок, работая над пьесой "Багаганчик".

<sup>53</sup>Статья написана в 1903 г., впервые опубликована в "Мире искусства" (1904. № 5).

<sup>54</sup>Статья написана в 1908 г., опубликована в кн. Арабески.

<sup>55</sup>Статья опубликована в кн. Арабески.

<sup>56</sup>Впервые опубликована: Веси. 1908. № 7—9. Позднее вошла в состав Арабесок.

<sup>57</sup>Впервые опубликована: Веси. 1906. № 7. Позднее вошла в Арабески.

<sup>58</sup>Герой немецкого средневекового рыцарского эпоса "Песни о Нибелунгах", на основе которого Р. Вагнером была создана тетралогия "Кольцо Нибелунгов". Третья часть тетралогии — "Зигфрид" (1869).

<sup>59</sup>Неточно цитированная первая строфа стих. "О, весна без конца и без краю...", входящего в цикл "Заклятия огнем и мраком" (1908).

<sup>60</sup>Отрочество и юность Блока проходят под знаком увлечения театром. Начиная с 1896 г. он организует любительские спектакли в Шахматове, а в июле—августе 1898 г. вместе с Л. Д. Менделеевой участвует в представлении сцен из "Гамлета".

<sup>61</sup>Ершов Иван Васильевич (1867—1943) — оперный певец, драматический тенор. Солоист Мариинского оперного театра, профессор Петербургской консерватории.

<sup>62</sup>Вторая часть вагнеровской тетралогии "Кольцо Нибелунгов", написанная в 1856 г.

<sup>63</sup>Верховный бог в мифологии древних германцев, обладающий могуществом колдуна, мудреца; бог войны, хозяин Вальхаллы (дворца, куда попадают павшие в бою воины).

<sup>64</sup>В скандинавской мифологии валькирии — воинственные девы, решающие по воле бога Одина исход сражения и уносящие героев в Вальхаллу.

<sup>65</sup>Савинков Борис Викторович (псевдоним — В. Ропшин, 1879—1925) — прозаик, поэт. Один из лидеров партии социалистов-революционеров, член ее боевой организации. Савинков был одним из прототипов героя романа "Петербург" — террориста Дудкина.

<sup>66</sup>Ремизов Алексей Михайлович (1877—1957) — писатель, сыгравший крупную роль в развитии русской орнаментальной прозы. Белому принадлежит рецензия на ремизовский роман "Пруд" (Веси. 1907. № 12). С Савинковым Ремизов сблизился в Вологде, где оба отбывали ссылку в 1902—1903 гг.

<sup>67</sup>Ремизова (урожд. Довгелло) Серафима Павловна (1876—1943) — жена А. М. Ремизова.

<sup>68</sup>19 декабря 1905 г. Л. С. Бакст писал А. Н. Венуа о Белом: "...я набросал на днях его портрет цвет[ными] карандашами" (*Пружан И. Н. Лев Самойлович Бакст. Л., 1975. С. 88*).

<sup>69</sup>4 марта 1906 г. Белый пишет матери из Петербурга: "...с завтрашнего дня меня опять пишет Бакст во весь рост для "Золотого руна" (РГАЛИ, ф. 53, оп. I, ед. хр. 358). Подробнее см.: *Грещинки С. С., Лавров А. В.* Незданная статья Андрея Белого "Бакст" // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1978.

<sup>70</sup>Строки из стих. "Царица смотрела заставки..."

<sup>71</sup>Заключительная строфа стих. "Я искал голубую дорогу..." (1902).

<sup>72</sup>Заключительная строфа стих. "Мы живем в старинной келье..." (1902).

<sup>73</sup>Строфы из стих. "Ночь" (1904).

<sup>74</sup>Имеется в виду Иван Дмитриевич Менделеев (1883—1936) — физик и философ. Сын Д. И. Менделеева.

<sup>75</sup>Городецкий Сергей Митрофанович (1884—1967) — поэт, прозаик, критик, во время описанной встречи — студент историко-филологического факультета Петербургского университета. Первой публикацией Городецкого было стих. "Зной", полностью приведенное в статье Блока "Краски и слова" (Золотое руно. 1906. № 1).

<sup>76</sup>Пяст (наст. фам. Пестовский) Владимир Алексеевич (1886—1940) — поэт, переводчик, стиховед, мемуарист.

<sup>77</sup>Гиппиус Александр Васильевич (ум. 1942) — юрист, поэт-дилетант (псевдоним А. Надеждин), товарищ по университету и один из ближайших друзей молодого Блока.

<sup>78</sup>Знакомство Блока с Вяч. Ивановым произошло в январе 1905 г.

<sup>79</sup>Таврический дворец был построен в конце XVIII в. архитектором Н. Е. Старовым для князя Г. А. Потемкина-Таврического. В 1906 г. передан для заседаний Государственной Думе.

<sup>80</sup>Зиновьева-Аннибал (урожд. Зиновьева) Лидия Дмитриевна (1866—1907) — прозаик, драматург. Жена Вяч. Иванова.

<sup>81</sup>Вяч. Иванов учился во второй половине 80-х годов в Берлинском университете и представил в 1895 г. диссертацию о государственных откупах в Риме, которая была записана там же. За границей Иванов постоянно жил до марта 1904 г.

<sup>82</sup>То есть возрождения Элевсинских мистерий.

<sup>88</sup>Имеется в виду Безобразов Павел Владимирович (1859—1918) — историк-византистолог, автор исторических романов. Муж сестры Вл. С. и М. С. Соловьевых.

<sup>84</sup>Бердяева (урожд. Рапп) Лидия Юдифовна (1889—1945) — жена Н. А. Бердяева.

<sup>85</sup>Заключительные строки стих. "Влюбленность" ("Королевна жила на высокой горе...").

<sup>86</sup>Впервые опубликована: Вesy. 1905. № 12; вошла в *Арабески*.

<sup>87</sup>Впервые опубликована: Вesy. 1905. № 12 (под заглавием "На перевале"); включена в *Арабески*.

<sup>88</sup>Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус покинули Петроград в конце 1919 г. под предлогом чтения лекций в красноармейских частях. В январе 1920 г. они нелегально перешли польскую границу и вскоре оказались в Варшаве.

<sup>89</sup>Бурцев Владимир Львович (1862—1942) — публицист, мемуарист, издатель журн. "Былое", разоблачивший многих провокаторов царской охранки.

<sup>90</sup>Возник в Москве (при непосредственном участии А. Белого) в январе 1919 г. и просуществовал до 1921 г. Он учреждался с целью консолидации сил творческой интеллигенции. Здесь, во Дворце искусств, Белый жил летом 1920 г. Этот дом на Поварской улице описан в "Войне и мире" Л. Толстого как дом графа Ростова.

<sup>91</sup>Имеется в виду Русское антропософское общество, в работе которого Белый принимал деятельное участие в 1918—1920 гг. (см.: Андрей Белый и антропософия//Минувшее. Вып. 9. Paris, 1990. С. 473—476).

<sup>92</sup>Пилсудский Юзеф (1867—1935) — маршал, деятель правого крыла Польской социалистической партии, глава польского государства в 1919—1922 гг.; в 1926—1928 гг. и 1930 г. — премьер-министр; в 1920 г. — руководитель военных действий против России. Мережковский, с самого начала видевший спасение от большевизма в иностранной интервенции, всячески поддерживал польскую войну с Россией. "Общество Русско-Польского сближения, газета "Свобода"... аудиенция Мережковскому у Пилсудского. Формирование русских отрядов при польских войсках — таковы главные фазы политической деятельности Мережковских в Варшаве в 1920 г.", — отмечено в книге Глеба Струве "Русская литература в изгнании" (Paris, 1984. С. 86).

<sup>93</sup>В эмигрантских изданиях Польши, Болгарии, Франции З. Гиппиус выступила сразу же после бегства из России с целой серией гневно-разоблачительных статей на политико-литературные темы, а в 1921 г. напечатала удельшие части своего "Петербургского дневника" 1919 г., где, в частности, дала уничтожающую характеристику писателей, оставшихся на родине и готовых сотрудничать с новой властью.

<sup>94</sup>Имеется в виду роман Д. Мережковского "Антихрист. Петр и Алексей" — третья, заключительная часть трилогии "Христос и Антихрист".

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

<sup>1</sup>Кроме ранее упомянутого М. Н. Сизова (см. ком. 256 к главе 1) здесь говорится также о его брате Сизове Николае Ивановиче (1886—1962) — композиторе, пианисте, педагоге, дирижере.

<sup>2</sup>Малафеев Николай Михайлович — студент Московского университета, позднее — врач.

<sup>3</sup>Имеются в виду меблированные комнаты "Бель-Вю" на углу Караванной улицы и Невского проспекта.

<sup>4</sup>Под названием "Трилогия" (1906) опубликована в Арабесках. Ср. более сдержанную оценку трилогии в статье "Трилогия Мережковского", опубликованной в Весах (1908. № 1) и вошедшей в книгу "Лут зеленый" (М.: Альциона, 1910).

<sup>5</sup>Илларион — митрополит Киевский с 1051 г., церковно-политический деятель, оратор, писатель. Самое знаменитое его сочинение — "Слово о законе и благодати".

<sup>6</sup>Имеется в виду торжественный обед, устроенный Н. П. Рябушинским 3 января 1906 г. по поводу выхода в свет первого номера издаваемого им журнала "Золотое руно".

<sup>7</sup>Поэма Мережковского "Старинные октавы" была опубликована в № 1—4 "Золотого руна" за 1906 г.

<sup>8</sup>Чтение "Балаганчика" состоялось 25 февраля 1906 г.

<sup>9</sup>Отмечая в статье "Смысл любви" (1892), что "связь активного человеческого начала... с всеединою идеею должна быть живым "сизигическим" отношением", Вл. Соловьев делает сноску: "От сизигия (греч.) — сочетание. Я принужден ввести это новое выражение, не находя в существующей терминологии другого, лучшего" (Соловьев В. С. Собр. соч.: В 8 т. Спб., 1903. Т. 6. С. 545).

<sup>10</sup>Ср. в авторском предисловии к сборнику: "Нечаянная радость" — это мой образ грядущего мира. В семи отделах я раскрываю семь стран души моей книги... Над миром, где всегда дует ветер, где ничего не различить сквозь слезы, которыми он застилает глаза, — Осень встает высокая и широкая. Раскидывается над топью болот и золотую короной лесов упирается в синее небо. Тогда понятно, как высоко небо, как широка земля, как глубоки моря и как свободна душа. Нечаянная Радость близка" (Собр. соч. Т. 2. С. 369).

<sup>11</sup>Плотин (204/205—270) — греческий философ, основатель неоплатонизма. Его учение о мировой душе, о Едином, находящемся "за пределами сущности", оказало огромное влияние на последующее развитие философии, поэзии, в том числе русских символистов.

<sup>12</sup>Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775—1854) — немецкий философ и теоретик искусства, представитель классического идеализма. Опираясь на традиции неоплатонизма, на эстетическое учение Шиллера и романтиков, развил учение о художественном творчестве как "равновесии" природы и свободы, единственном пути достижения "бесконечности".

<sup>13</sup>Имеется в виду сочинение Шеллинга "О мировой душе" (1798), относящееся к первому, так называемому "натурфилософскому" периоду творчества философа.

<sup>14</sup>Из стих. "На весеннем пути в теремок" (1905).

<sup>15</sup>Строки из стих. "Болотный попик" (1905).

<sup>16</sup>Аллюзия на строки из стих. "Старушка и чертенята" (1905):

Ты прости нас, старушка ты божья,  
Не бери нас в Святые Места!  
Мы и здесь лобызаем подножия  
Своего, полевого Христа.

<sup>17</sup>"Прелесть — что обольщает в высшей мере; обольщенье, обаянье; мана, морока, обман, соблазн; совращенье от злого духа" (Даль В. Толковый словарь... Т. III. С. 393).

<sup>18</sup>Из стих. "Мы прошли — и воды синие..." (1906).

<sup>19</sup>См.: Собр. соч. Т. 2. С. 370. Вспоминая о детстве Блока, его тетья и биограф М. А. Бекетова писала: "Его увлечения поглощали его целиком. Между прочим — корабли. Он рисовал корабли во всех видах, одни корабли, без человеческих фигур, развешивал их по стенам детской, дарил родным и т. д. Исключительное отношение к кораблям осталось у него на всю жизнь" (С. 35).

<sup>20</sup>Строки из стих. "Осенняя вода" (1905).

<sup>21</sup>Объпрыгается созвучие: Дмитриевна — Деметровна (от Деметра).

<sup>22</sup>Цитируется стих. "Милый брат! Завечерело..." (январь 1906). Датировка Блока неточна.

<sup>23</sup>Кранах Лукас Старший (1472—1553) — немецкий живописец и график.

<sup>24</sup>Древнегреческие терракотовые статуэтки, найденные в погребениях близ Та-нагры.

<sup>25</sup>Ироническое обыгрывание теорий Вяч. Иванова о современной мистерии. Коз-ловод — один из главных участников Элевсинских мистерий.

<sup>26</sup>Письмо Блока о Канте датировано 20 ноября 1903 г. (Ш е р е п и с к а. С. 66—69).

<sup>27</sup>Из стих. "Свобода смотрит в синеву..." (1902).

<sup>28</sup>Из стих. "Болотные чертенята".

<sup>29</sup>Первая строфа стих. "Ты оденешь меня в серебро..." (1904).

<sup>30</sup>Из стих. "Лаурию бледной месяц плыл..." (1906).

<sup>31</sup>Строка из стих. Мережковского "Дети ночи" (1894).

<sup>32</sup>Заключительные строки стих. "Насмешница" (1907).

<sup>33</sup>Пирожков Михаил Васильевич (1867—1926 или 1927) — глава издательства, в котором публиковались многие сочинения Мережковского.

<sup>34</sup>Мережковские уехали за границу 25 февраля 1906 г. и прожили в Париже более двух лет.

<sup>35</sup>После взаимного объяснения в любви с Л. Д. Блок, происшедшего 26 февраля, 5 или 6 марта Белый уезжает в Москву.

<sup>36</sup>Речь идет о циклах лекций Штейнера, прочитанных в разных городах и странах Европы. Белый, будучи за границей, был усердным слушателем этих лекций, следовал за Доктором из страны в страну.

<sup>37</sup>Р. Штейнером были выделены шесть качеств (мыслительный контроль, волевой контроль, хладнокровие, положительность, непредвзятость, внутреннее равновесие), опираясь на которые — путем соответствующих упражнений — можно развить сверхчувственные органы восприятия (см.: *Штейнер Рудольф*. Очерк тайноведения. Ереван, 1992).

<sup>38</sup>Имеется в виду английский теософ Чарльз У. Лидбитер (у Белого: Ледбитер) — сподвижник Анны Безант, автор многочисленных популяризаторских трудов по теософии.

<sup>39</sup>"Здесь — заповедность

Истины всей". (Пер. с нем. Б. Пастернака.)

<sup>40</sup>Хор мистиков (др.-греч.) — коллективный персонаж "Балаганчика".

<sup>41</sup>Комплекс пластических упражнений, разработанных в антропософии и имевших целью совершенствование личности.

<sup>42</sup>Излюбленный русскими символистами стихотворный размер: трехдольная стопа с акцентированным слогом посредине. Из приведенного контекста, однако, очевидно, что Белый имеет в виду не просто размеры стиха, но ритмы человеческого поведения. Ср. О Блоке: "щит против quasi-искусственности декадентов в молодом Блоке несомненно отображался в стиле себя держать, в стиле, продиктованном ему не головой, а естественным "тактом", то есть ритмом, оформленном в ему свойственные ритмические формы. Его поэзия того времени, развив свои ямбы, начала развивать свой великолепный анапест" (с. 235).

<sup>43</sup>Двухдольная стопа с ударением на втором слоге. Теория четырехстопного ямба — излюбленного размера русской поэзии — получила разработку в трудах Белого "Опыт характеристики русского четырехстопного ямба" и "Сравнительная морфология ритма русских лириков в ямбическом диметре" (они опубликованы в книге статей Символизм), а также в исследовании "Ритм как диалектика и "Медный всадник" (М., 1929).

<sup>44</sup>Строки из стих. "Матери", написанного в Париже в январе 1907 г. после выхода из больницы.

<sup>45</sup>Имеется в виду сочинения Р. Штейнера "Как достигнуть познания высших миров?" (1905) и "Статьи о трехчленности социального организма" (1921).

<sup>46</sup>В гностической космогонии — "полнота абсолютного бытия" (См.: *Соловьев В*. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 137).

<sup>47</sup>Эти, как и предыдущие процитированные Белым строки, — из стих. Блока "Взморье" (1904).

<sup>48</sup>Из стих. "У моря" (1905).

<sup>49</sup>Речь идет о рассказе "В море" (1883).

<sup>50</sup>Аллюзия на стих. Блока "Поэт" (1905); см. ком. 51 к гл. 3.

<sup>51</sup>В М а т е р и а л е к б и о г р а ф и и, носившем интимный характер и не предназначенном для публикации, содержание этого разговора, равно как и обстоятельства, ему предшествовавшие, описаны с большей степенью откровенности: "Л. Д. мне объясняет, что А. А. ей не муж; они не живут, как муж и жена; она его любит братски, а меня — подлинно; всеми эти[ми] объяснениями она внушает мне мысль, что я должен ее развести с А. А. и на ней жениться; я предлагаю ей это; она — колеблется, предлагая, в свою очередь, мне нечто вроде en trois, что мне несимпатично; мы имеем разговор с Ал. Ал. и с Ю., где ставим вопрос, как нам быть; Ал. Ал. — молчит, уклоняясь от решительного ответа, но как бы дает нам с Л. Д. свободу" (Л. 52 об.).

<sup>52</sup>Из цикла "Ее прибытие" (1904): "5. Корабли идут".

<sup>53</sup>"Ворон влачится за нами из города" (нем.) — из "Фауста" Гете.

<sup>54</sup>Герой трагедии Шиллера "Дон Карлос" (1783—1787).

<sup>55</sup>Штирнер Макс (наст. имя и фам. Каспар Шмидт) (1806—1856) — немецкий философ-младогегельянец, теоретик анархизма.

<sup>56</sup>Имеется в виду "Симфония (2-я, драматическая)".

<sup>57</sup>Калиев Иван Платонович (1877—1905) — эсер-террорист, член "боевой организации". 4 февраля 1905 г. убил московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Повешен.

<sup>58</sup>Фэфнер (Фэфнир) — в скандинавской мифологии в эпосе — дракон, стерегущий клад.

<sup>59</sup>6 апреля Блок писал Белому: "Не приезжай пока ни в коем случае. Я тебе напишу, когда. Люба лежит, ей надо совсем не говорить и быть как можно спокойнее. Она просто простудилась и бронхит. У меня самый трудный экзамен" (Переписка. С. 175).

<sup>60</sup>Белый приехал в Петербург 15 апреля 1906 г. и пробыл там до середины мая.

<sup>61</sup>Гюнтер Иоганнес фон (1886—1973) — немецкий поэт, переводчик.

<sup>62</sup>Имеется в виду латышский поэт Вальдемар Дамбергс (1860—1960). См.: Письма В. Дамбергса к Блоку // Л. Н. Кн. 4.

<sup>63</sup>Стих. "Клеопатра" ("Открыт паноптикум печальный..."), датированное декабрем 1907 г., было опубликовано в альманахе "Шиповник" (1908). В своих воспоминаниях о Блоке К. Чуковский рассказывает: "Я помню, что тот "паноптикум печальный" находился на Невском, в доме № 86, близ Литейного, и что сорок лет назад, в декабре я увидел там Александра Александровича и меня удивило, как понуро и мрачно он стоит возле восковой полулежащей царицы с узенькой змейкой в руке — с черной резиновой змейкой, которая, подчиняясь незамысловатой пружинке, снова и снова тысячу раз подряд жалит ее голую грудь к удовольствию каких-то похабных картузников. Блок смотрел на нее одепенело и скорбно" (Чуковский К. И. Из воспоминаний. М., 1959. С. 969—970).

<sup>64</sup>Строфа из стих. "К музе" (1912).

<sup>65</sup>Аничков Евгений Васильевич (1866—1937) — историк литературы, фольклорист, критик.

<sup>66</sup>Имеется в виду книга "О мистическом анархизме" (см. комм. 22 к гл. 2).

<sup>67</sup>Эрберг Константин (наст. имя и фам. Константин Александрович Сюннерберг) (1871—1942) — теоретик искусства, критик, поэт.

<sup>68</sup>Габрилович (псевд. — Галич) Леонид Евгеньевич (1878—1953) — публицист, физик, приват-доцент Петербургского университета.

<sup>69</sup>Билибин Иван Яковлевич (1876—1942) — график и театральный художник. Член "Мира искусств".

<sup>70</sup>Бенуа Александр Николаевич (1870—1960) — художник, историк искусства, художественный критик и мемуарист. Идеолог "Мира искусств".

<sup>71</sup>Добужинский Мстислав Валерианович (1875—1957) — график и театральный художник. Член "Мира искусств".

<sup>72</sup>Леман Борис Александрович (псевд. — Борис Дикс) (1880—1945) — поэт, критик, антропософский деятель.

<sup>73</sup>Статья "Феникс" была впервые опубликована в "Весах" (1906. № 7); включена в Арабески.

<sup>74</sup>Аллюзия на стих. А. Блока "Сфинкс" (1902).

<sup>75</sup>I Государственная Дума была открыта 27 апреля 1906 г.

<sup>76</sup>Родичев Федор Измайлович (1853—1932) — земский деятель, юрист, один из лидеров конституционно-демократической (кадетской) партии; в 1917 г. — министр Временного правительства.

<sup>77</sup>Белый переехал из Москвы в Дедово 22 мая 1906 г.

<sup>78</sup>Газета либерального направления, выходившая в Ростове-на-Дону в 1887—1908 гг.

<sup>79</sup>Всероссийский крестьянский союз — массовая политическая организация, возникшая летом 1905 г. и просуществовавшая до 1907 г. Союз объединял народническую интеллигенцию и наиболее сознательную часть крестьянства, выступал за мирные формы борьбы.

<sup>80</sup>Бebelь Август (1840—1913) — один из основателей и руководителей германской социал-демократической партии и II Интернационала.

<sup>81</sup>Каутский Карл (1854—1938) — один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии и II Интернационала.

<sup>82</sup>Вандервельде Эмиль (1866—1938) — бельгийский социалист, руководитель Бельгийской рабочей партии и с 1900 г. председатель Международного социалистического бюро II Интернационала. С 1914 г. в ранге министра вошел в состав правительства Бельгии.

<sup>83</sup>О написанных в это время статьях на общественные темы, а также рецензиях на книги общественно-политического содержания см.: ЛН Т. 27, 28 (Символизм). С. 618—619.

<sup>84</sup>Аллюзия на повесть Гоголя "Страшная месть".

<sup>85</sup>Образ, восходящий к повести Гоголя "Сорочинская ярмарка" и символизирующий в сознании Белого провокацию, угрозу, смерть.

<sup>86</sup>Воспроизводит эти события, Белый называет в Между двух революций земского врача-агитатора Иваном Николаевичем (С. 78).

<sup>87</sup>Коваленский Виктор Михайлович (ум. в 1924) — сын А. Г. Коваленской, математик.

<sup>88</sup>Коваленский Николай Михайлович — сын А. Г. Коваленской, судебный деятель.

<sup>89</sup>Ван Лерберг Шарль (1861—1907) — бельгийский поэт и драматург.

<sup>90</sup>Роденбах Жорж (1855—1898) — бельгийский прозаик, поэт. Рассказывая в Между двух революций о своем пребывании в парижской больнице, Белый пишет, что "оказался в мире, который воспел Роденбах: монастырь, превращенный в больницу, ютился вблизи Люксембургского парка" (С. 168).

<sup>91</sup>Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — историк, публицист, один из основателей конституционно-демократической партии, редактор газеты "Речь". В 1917 г. — министр иностранных дел Временного правительства.

<sup>92</sup>Гучков Александр Иванович (1862—1936) — промышленник, лидер "Союза 17 октября", председатель III Государственной Думы. В 1917 г. — военный и морской министр Временного правительства.

<sup>93</sup>Петрункевич Иван Ильич (1844—1928) — земский деятель, юрист, один из основателей конституционно-демократической партии, редактор газеты "Речь". В 1904—1905 гг. председатель "Союза освобождения" — нелегального политического объединения либеральной интеллигенции.

<sup>94</sup>Партия крупных помещиков и торгово-промышленной буржуазии в 1905—1917 гг., возглавляемая А. И. Гучковым и М. В. Родзянко. В Государственной Думе блокировалась попеременно то с кадетами, то с монархистами.

<sup>95</sup>Официальное название конституционно-демократической партии — партия "народной свободы". Главная партия либеральной буржуазии и интеллигенции в 1905—1917 гг., ориентирующаяся на создание конституционной и парламентской монархии, на обеспечение гражданских свобод. Лидеры партии — П. И. Милюков, А. И. Шингарев, В. Д. Набоков и др.

<sup>96</sup>Гражданский чин 4-го класса, приравнявшийся к воинскому званию генерала. Лица, его имевшие, занимали высокие должности директоров департаментов, губернаторов и др.

<sup>97</sup>Шамаков Алексей Семенович (?—1916) присяжный поверенный, журналист. Идеолог антисемитизма, автор ряда антисемитских книг. В 1913 г. выступал гражданским истцом по делу Бейлиса.

<sup>98</sup>В результате несчастного случая (перелом копчика) Белый был помещен в больницу, где находился с конца декабря 1920 по март 1921 г.

<sup>99</sup>I Государственная Дума была распущена 9 июля 1906 г.

<sup>100</sup>Воззвание группы депутатов I Государственной Думы к гражданам России (10 июля 1906 г.) с призывом отказаться от уплаты налогов и службы в армии в знак протеста против роспуска Думы.

<sup>101</sup>Мания величия (лат.).

<sup>102</sup>См. ком. 13 к гл. 4.

<sup>103</sup>Введенский Александр Иванович (1856—1925) крупнейший представитель неокантианства. Председатель Санкт-Петербургского философского общества.

<sup>104</sup>В имении Серебряный Колодезь Белый находился со второй половины июня до первой половины июля. Здесь написана лирическая поэма "Панихида" (Весы. 1907. № 6), позднее разбитая на отдельные "погребальные песни", вошедшие в книгу стихов "Пепел", а также проводилась работа по переделке "Кубка метелей. Четвертой симфонии" (См. о ней ком. 19 к гл. 3).

<sup>105</sup>Заключительная строфа стих. "Бурьян" (1905—1908).

<sup>106</sup>Неточная цитата из стих. "Горе" (1906).

<sup>107</sup>Неточная цитата из стих. "Выног" (1906), восходящего к 5-й части поэмы "Панихида".

<sup>108</sup>Лирическая драма Блока "Незнакомка" была опубликована в журн. "Весы". 1907. № 5—7.

<sup>109</sup>Белый вернулся в Дедово около 20 июля.

<sup>110</sup>Феокрит (ок. 305—240 до н. э.) — древнегреческий поэт, создатель жанра "буколки". Характеризуя душевное состояние С. Соловьева той поры, Белый писал в Между д в у х р е в о л ю ц и я х: "Он Грецией бредил и бредил народом: соединял миф Эллады с творимой легендой о русском крестьянине (...). Сочетав миф с эсмерством ("земля для народа", "долгой власть помещиков"), он пожелал омужичиться: "барина" сбросить, жениая на крестьянке" (С. 80).

<sup>111</sup>Названы герой и место действия романа Белого "Серебряный голубь".

<sup>112</sup>Романс М. И. Глинки "Сомнение" (1838) на слова "Английского романса" Н. В. Кукольника. Строку из этого романса — "Не верю, не верю обетам коварным" — Белый цитирует в письме Блоку от ноября 1903 г. (Переписка. С. 57). Ею названа одна из глав "Кубка метелей".

<sup>113</sup>Неточная цитата из стих. "Ангел-хранитель".

<sup>114</sup>Ср. дневниковую запись, сделанную М. А. Бекетовой 7 августа в Шахматово: "Завтра Сапура едет с Любой в Москву по делам своей книги, но, главное, объясняться с Борей. Дело дошло до того, что этот несчастный, потеряв всякую меру и смысл, пишет Любе вороха писем и грозит каким-то мщением, если она не позволит ему жить в Петербурге и надеяться. С каждой почтой получается десяток страниц его чепухи, которую Люба принимала всерьез: сегодня же пришли обрывки бумаги в отдельных конвертах с угрозами. Решили ехать для решительного объяснения" (ЛН. Кн. 3. С. 617—618).

<sup>115</sup>Чувственно (лат.).

<sup>116</sup>Ср. дневниковую запись М. А. Бекетовой от 8 августа: "Саша с Любой вернулись из Москвы. Все благополучно. Выделился с Борей. Поговорили 5 минут. Поссорились, разошлись, но он не намерен прекращать сношений и не верит в то, что Люба к нему изменилась (...). Боря был, как всегда, безвкусен до крайности (общее мнение)" (ЛН. Кн. 3. С. 618).

<sup>117</sup>Дача министра внутренних дел П. А. Столыпина на Аптекарском острове в Петербурге была взорвана эсерами-террористами 12 августа.

<sup>118</sup>Строки из стих. "Вакханалия" (1906).

<sup>119</sup>Заключительная строфа стих. "Маскарад" (1908).

<sup>120</sup>Повесть Скитальца (1917) стала для Белого и людей его круга символом цинизма и распушенности.

<sup>121</sup>Каменский Анатолий Павлович (1876—1941) — прозаик, "прославившийся" откровенно порнографическими произведениями. В дневнике Блока назван в числе апологетов мещанства, торжествующего в "страшном мире" (Собр. соч. Т. 8. С. 88).

<sup>122</sup>Роман М. П. Арцыбашева (1907), приобретшего скандальную известность благодаря проповеди безудержной чувственности и вседозволенности.

<sup>123</sup>Эллис явился к Блоку от имени Белого с вызовом на дуэль 10 августа. Обстоятельства этой несостоявшейся дуэли описаны в воспоминаниях Л. Д. Блок "И были и небылицы о Блоке и о себе" (Воспоминания. Т. 1. С. 177—178).

<sup>124</sup>"Соответствие" (фр.) — одно из центральных понятий эстетики символизма, восходящее к одноименному сонету Ш. Бодлера (1855), в котором развивается восходящая к мистическому учению Сведенборга тема таинственных соответствий видимого и невидимого миров.

<sup>125</sup>Блок с женой в августе — сентябре 1906 г. переехали от матери и отчима в квартиру на Петербургской стороне (Лахтинская ул., д. 3, кв. 44).

<sup>126</sup>В то же самое время Белый с матерью переехали из дома Рахманова на Арбате в новую квартиру в доме Новикова близ Арбата (Никольский пер., д. 21, кв. 7).

<sup>127</sup>Белый приехал в Петербург 23 августа и пробыл там до начала сентября.

<sup>128</sup>Щеголев Павел Елисеевич (1877—1931) — историк литературы и революционного движения, драматург, сценарист.

<sup>129</sup>Ежемесячный литературно-политический и научно-популярный журнал демократического направления, издававшийся в Петербурге с 1892 по 1906 г. Именно сюда пришел в 1900 г. Блок со своими ранними стихами. Позднее он вспоминал о встрече с редактором этого журнала В. П. Острогорским: "...Я с волнением дал ему два маленькие стихотворения, внушенных Сирином, Алконостом и Гамаюном В. Васнецова. Пробежав стихи, он сказал: "Как вам не стыдно, молодой человек, заниматься этим, когда в университете бог знает что творится!" — и выпроводил меня со свирепым добродушием" (Собр. соч. Т. 7. С. 14).

<sup>130</sup>Дымов (наст. фам. Перельман) Осип Исидорович (1878—1959) — прозаик, драматург, журналист, названный К. Чуковским "литературным лихачом". Это определение Дымова Белый с сочувствием приводит в Между двух революций, описывая тот же эпизод обеда у Куприна (С. 89).

<sup>131</sup>Ходотов Николай Николаевич (1878—1932) — актер Александринского театра.

<sup>132</sup>Косоротов Александр Иванович (1868—1912) — драматург.

<sup>133</sup>Найденов (наст. фам. Алексеев) Сергей Александрович (1868—1922) — драматург.

<sup>134</sup>Юшкевич Семен Соломонович (1868—1927) — прозаик, драматург.

<sup>135</sup>Реакционная газета (1868—1917), издававшаяся в Петербурге А. С. Сувориным.

<sup>136</sup>Д. Ф. Трепов умер 2 сентября.

<sup>137</sup>Рецензия Белого на книгу Чулкова "О мистическом анархизме" (Спб., 1906) была опубликована в "Золотом руне" (1906. № 7—9).

<sup>138</sup>Вольнский (наст. фам. Флексер) Аким Львович (1863—1926) — критик и искусствовед.

<sup>139</sup>Кузмин Михаил Алексеевич (1872—1936) — поэт, прозаик, драматург, переводчик, критик, композитор.

<sup>140</sup>Цикл, опубликованный в составе 11 стих. в журн. "Весь" (1906. № 7). "Александрийские песни" — наиболее известное и признанное произведение Кузмина, исполнявшееся под аккомпанемент фортепиано.

<sup>141</sup>Альманахи петербургского издательства "Шиповник" выходили с 1907 по 1917 г.

<sup>142</sup>Издательство (1907—1910), объединившее группу виднейших петербургских символистов во главе с Вяч. Ивановым и А. Блоком.

<sup>143</sup>Первая строфа стих. "Хожу, брожу понурый..." (1906).

<sup>144</sup>Первая строфа стих. "Открыл окно. Какая хмурая..." (1906).

<sup>145</sup>Первые строки стих. "Я в четырех стенах — убить..." (1906).

<sup>146</sup>Имеется в виду одна из самых старых частей буддийского канона, переведенная с английского языка и изданная в Москве в 1899 г.

<sup>147</sup>Белый приехал в Москву днем 10 сентября. 10 сентября им было подано прошение об увольнении из числа студентов в связи с поездкой за границу.

<sup>148</sup>Белый прибыл в Мюнхен 21 сентября.

<sup>149</sup>Цитата из стих. "Прохождение".

<sup>150</sup>В Между двух революций Белый так описывает кабачок "Симплицис-симус" и его хозяйку Кэти Кобус: "Simplicissimus" "...сборный пункт художественной богемы Мюнхена. Крошечный кабачок, а приди сюда весь Мюнхен, весь Мюнхен сумеет рассадить за двумя десятками столиков умная Kathy Cobus, сорокалетняя хозяйка с черными хмурыми глазами, одновременно и строгими: усадит — и не будет тесно" (Между двух революций. С. 481).

<sup>151</sup>Ашбе (Ашби) Антон (1862—1905) — словенский живописец и педагог, основатель школы живописи и рисунка в Мюнхене.

<sup>152</sup>"Солнце в груди" (нем.).

<sup>153</sup>Грабарь Игорь Эммануилович (1871—1960) — живописец, искусствовед. Руководитель издания первой научной "Истории русского искусства" (1909—1916).

<sup>154</sup>"Химера" — литературно-художественный журнал, орган польского модернизма. Выходил в 1901—1907 гг.

<sup>155</sup>Грабовский Бронислав (1841—1900) — польский драматург, прозаик, ученый.

<sup>156</sup>Паульсен Фридрих (1846—1908) — немецкий педагог и философ-неокантианец.

<sup>157</sup>Имеется в виду Дидерихс Андрей Романович (1884—1942) — живописец, график, и его сестра Маргарита Романовна Дидерихс.

<sup>158</sup>Аш Шолом (1880—1957) — еврейский писатель (см. очерк Белого "Шолом Аш. Силузт" (Час. 1907. 16 сентября), а также главку "Шолом Аш, Станислав Пшибышевский" в Между двух революций. С. 114—121).

<sup>159</sup>Пшибышевский Станислав (1868—1927) — польский прозаик, драматург. Белый написал о нем очерк "Пшибышевский. Силузт" (Час. 1907. 2 сентября), а также статью "Пророк безличия" (Арабески).

<sup>160</sup>"Уютный русский" (нем.).

<sup>161</sup>Ведекинд Франк (1864—1918) — немецкий писатель, драматург (см. гл. "Франк Ведекинд" в Между двух революций. С. 121—125).

<sup>162</sup>Шарф Людвиг (1864—?) — немецкий поэт, искусствовед, публицист.

<sup>163</sup>Мюзам Эрих (1878—1934) — немецкий поэт, драматург, публицист. Активный деятель Баварской советской республики и антифашистского движения. Умер в концлагере.

<sup>164</sup>"Он один из лучших исполнителей Шопена, — писал Белый в своем очерке о Пшибышевском. — Шопеном он говорит с вами" (Час. 1907. 2 сентября).

<sup>165</sup>Миңцлова Анна Рудольфовна (ок. 1860—1910?) — деятельница теософского движения, переводчица.

<sup>166</sup>Калькрейт Паулина, графиня (1856—1929) — фрейлина при дворе кайзера, оставившая свои светские обязанности ради активного участия в антропософском движении (см. о ней в кн.: *Белый Андрей*. Воспоминания о Штейнере. Paris, 1982).

<sup>167</sup>Доктор Штейнер, посещая Мюнхен, жил в "квартире, представляемой ему графиней Калькрейт (в ее красно-розовом доме на Адельбертштрассе)" (там же. С. 86).

<sup>168</sup>Имеется в виду Старая Пинакотекa — художественный музей Мюнхена, экспонирующий в основном живопись эпохи Возрождения, преимущественно немецких и нидерландских мастеров.

<sup>169</sup>Дюрер Альбрехт (1471—1528) — немецкий живописец и график. Основатель искусства немецкого Возрождения.

<sup>170</sup>Грюневальд (прав. Витзардт) Матис (между 1470 и 1475 — 1528) — немецкий живописец эпохи Возрождения.

<sup>171</sup>В 1537 г. Лукас Кранах Старший (см. ком. 23 к наст. гл.) передал свою живописную мастерскую сыну-художнику Лукасу Кранаху Младшему (1515—1586).

<sup>172</sup>Вольгемут Михаэль (1434—1519) — немецкий живописец и резчик по дереву, учитель Дюрера.

<sup>173</sup>Шенгауэр Мартин (ок. 1445—1491) — немецкий живописец и график.

<sup>174</sup>Клингер Макс (1875—1920) — немецкий живописец, график и скульптор.

<sup>175</sup>Бёклин Арнольд (1827—1901) — швейцарский живописец, представитель символизма и стиля модерн. В фантастических сценах сочетал символику с натурализмом.

<sup>176</sup>Штук Франц фон (1863—1928) — немецкий живописец, скульптор и график, представитель стиля модерн.

<sup>177</sup>Это состояние следующим образом характеризуется в Между двух революций: "...в Мюнхене видел себя заключенным, как заживо — в гробе" (С. 127). О причинах подобного состояния см. там же, с. 125—127.

<sup>178</sup>Переезд Белого из Мюнхена в Париж датируется 30 ноября — 1 декабря.

<sup>179</sup>Неточность: Белый общался в Париже с Рудольфом Буксгевденом, а его отец, барон Отто Оттович Буксгевден был застрелен в Петербурге в 1907 г. братом Рудольфа Эдгаром. Шведский исследователь М. Юнгрём высказал оправданное предположение, что фамилия Буксгевден подсказала Белому фамилию одного из персонажей романа "Петербург", Версфедена, — романа, в котором интенсивно разрабатывается мотив отцеубийства (см.: *Ljunggren Magnus. The Dream of Rebirth. Stockholm, 1982. P. 142—143*).

<sup>180</sup>Манасевич-Мануйлов Иван Федорович (1869—1918) — журналист, чиновник департамента полиции.

<sup>181</sup>Ратькова-Рожнова (урожд. Философова) Зинаида Владимировна (1871—1966) — сестра Д. В. Философова.

<sup>182</sup>Жорес Жан (1859—1914) — руководитель Французской социалистической партии, с 1905 г. — ее правого крыла. Основатель газеты "Юманите". Публицист, оратор, историк Великой французской революции и социалистического движения. Страстный борец против колониализма, милитаризма и войны. Убит французским шовинистом 31 июля 1914 г., в канун 1-й мировой войны.

<sup>183</sup>По гостевому столу (фр.).

<sup>184</sup>"Юманите" ("Человечество" — фр.) — ежедневная газета, основанная Жоресом в 1904 г. В 1904—1920 гг. — орган социалистической партии. С 1920 г. — центральный орган Французской коммунистической партии.

<sup>185</sup>"Итак, вы — думаете..." (фр.).

<sup>186</sup>Ср. свидетельство Мережковского — собеседника Жореса, следующим образом передающего его слова: "В настоящее время в России кадеты — единственная партия, у которой есть чувство реальных политических возможностей. Все, что левее, безумно. Ваши крайние — или фанатики, или мечтатели, живущие в царстве химер. Их героизму нельзя не удивляться. Но удивление смешивается с чувством грусти и, простите, досады. У вас, русских, все — порыв. Вы готовы спрыгнуть в окно и сломать себе шею, вместо того, чтобы спуститься по лестнице. Вы умирать лучше умеете, чем жить..." (*Мережковский Д. С. Полн. собр. соч. М., 1914. Т. XVI. С. 69*).

<sup>187</sup>Аладьин Алексей Федорович (1873—?) — политический деятель, трудовик, делегат от крестьянской курии в I Государственной Думе. В 1917 г. — участник корниловского заговора. Входил в Крымское правительство генерала П. Н. Врангеля. Будучи в эмиграции, вел активную антисоветскую деятельность.

<sup>188</sup>Молодой человек (фр.).

<sup>189</sup>Политическая партия. Во французском языке слово "партия" — мужского рода и требует артикля мужского рода "le".

<sup>190</sup>Клемансо Жорж (1841—1929) — французский политический деятель, в 1880—1890-е годы лидер радикалов. Премьер-министр Франции в 1906—1909, 1917—1920 гг. Председатель Парижской мирной конференции 1919—1920 гг.

<sup>191</sup>В 1881—1883 г. Жорес работал преподавателем философии в лицее Альби (департамент Тари), а с 1883 г. — в Тулузском университете.

<sup>192</sup>Ренувье Шарль (1815—1903) — французский философ, глава так называемого неокритицизма.

<sup>193</sup>Глава позднее была написана и вошла в книгу Между двух революций (С. 135—153).

<sup>194</sup>"Кролик" (фр.).

<sup>195</sup>Подразумевается хирургическая операция, перенесенная Бельм.

<sup>196</sup>Из поэмы "Ночная фиалка".

<sup>197</sup>Искаженная цитата из стих. "День был нежно-серый, серый, как тоска" (1903).

<sup>198</sup>Из поэмы "Ночная фиалка".

<sup>199</sup>Расщелина, над которой был воздвигнут храм Аполлона в Дельфах. Вдыхая выходящие из нее испарения (газы вулканического происхождения), жрица-прорицательница, жившая в храме, — пифия погружалась в экстатический транс и начинала вещать о будущем.

<sup>200</sup>Двустихие из трагедии Шекспира "Макбет", взятое в качестве эпиграфа к разделу "Пузыри земли" 2-го тома стихотворений Блока.

<sup>201</sup>Персонаж стих. "Шаги командора" (1910—1912).

<sup>202</sup>"Сэр" фигурирует в стих. "Осенний вечер был под звук дождя стеклянный..." (1912).

<sup>203</sup>Неоконченная поэма Блока, над которой он работал в общей сложности (со значительными перерывами) с 1910 по 1921 г. Первоначальный замысел поэмы возник под впечатлением смерти отца в Варшаве в 1910 г. Но постепенно он расширялся и перестраивался. "Тема. — писал Блок в предисловии к поэме, — заключается в том, как развиваются звенья единой цепи рода... Род, испытавший на себе возмездие истории, среды, эпохи, начинает, в свою очередь, творить возмездие; последний первенец уже способен огрызаться и издавать львиное рычание; он готов ухватиться своей человеческой ручонкой за колесо, которым движется история человечества. И, может быть, ухватится-таки за него" (Собр. соч. Т. III. С. 297—298). Эпиграфом к поэме взяты слова Сольнеса — героя драмы Г. Ибсена "Строитель Сольнес": "Юность — это возмездие".

<sup>204</sup>Из стих. "Я живу в глубоком покое" (1904).

<sup>205</sup>Из стих. "Балаган" (1906).

<sup>206</sup>Цикл стихов 1910 г.

<sup>207</sup>Цикл стихов, датированный декабрем 1906 — январем 1907 г., навеян встречей и знакомством с Н. Н. Волоховой. Опубликовано отдельной книжкой в петербургском издательстве "Оры" в апреле 1907 г.

<sup>208</sup>Начальная строфа стих. "Мы живем в старинной келье..." (1902).

<sup>209</sup>Заключительная строфа стих. "Ее несли" (1907).

<sup>210</sup>Это, как и предыдущая цитата, — из стих. "Настигнутый метелью" (1907).

<sup>211</sup>Из стих. М. В. Ломоносова "Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния" (1743).

<sup>212</sup>Из стих. "В октябре" (1906).

<sup>213</sup>Цитата из того же стих.

<sup>214</sup>Языков Николай Михайлович (1803—1846) — поэт-лирик.

<sup>215</sup>Белый под пеонем подразумевал сочетание ямба или хоря с пиррихием (двух смежных безударных слогов). По аналогии с античным пеонем в русском стали различать четыре вида. Третий пеон, о котором идет речь в тексте, характеризуется ударением на третьем слоге стопы с двухдольной анакрузой (безударные слоги в начале стиха до первого метрического акцента, на который обычно приходится ударный слог в стопе).

<sup>216</sup>Трехдольная имитация античного гекзаметра (шестистопного дактиля), введенная в русскую поэзию В. К. Тредиаковским.

<sup>217</sup>Античная шестидольная стопа о четырех слогах, комбинация ямбической и хорической стоп. В русской поэзии встречается редко.

<sup>218</sup>Особый ритмический ход в трехсложном размере, когда в стопе содержится два словесных ударения — на первом и на третьем слогах.

<sup>219</sup>Из стих. "Прочь!" (1907).

<sup>220</sup>Завершающая строфа стих. Вл. Соловьева "На Сайме зимой" (1894).

<sup>221</sup>Из стих. "Прочь!".

<sup>222</sup>Строки из стих. "Настигнутый метелью".

<sup>223</sup>Из стих. "Клеопатра".

<sup>224</sup>Белый цитирует стих. "Снежная вязь" (1907).

<sup>225</sup>Строки из стих. "На зов метелей" (1907).

<sup>226</sup>Из стих. "Обреченный" (1907).

<sup>227</sup>Неточные цитаты из стих. "Бледные сказанья" (1907).

<sup>228</sup>Неточная цитата из того же стих.

<sup>229</sup>Строки из стих. "Неизбежное" (1907).

<sup>230</sup>Цитата из стих. "Они читают стихи" (1907).

<sup>231</sup>Из стих. "Прочь!".

<sup>232</sup>Первая строфа стих. "О, весна без конца и без краю..." (1907), открывающего поэтический цикл "Заклятие огнем и мраком".

<sup>233</sup>Понятие в философии Аристотеля, означающее осуществление какой-либо возможности бытия.

<sup>234</sup>См.: *Соловьев Владимир*. Валентин и вальентиане// Энциклопедический словарь. изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Спб., 1881. Т. V. Полутом 9. С. 406—407. Валентин (ум. ок. 161 г.) — самый значительный из философов-гностиков.

<sup>235</sup>Термин древнегреческой философии, означающий вечность, время, как некую целостную самозамкнутую структуру. В учении гностиков, оказавших воздействие на теософию и антропософию, утверждается идея иерархического множества зонов как посредников между непостижимым и изначальным верховным богом и материальным миром: 30 зонов составляют выраженную полноту бытия — плерому, которую венчает тридцатый зон — София.

<sup>236</sup>Персонаж гностической мифологии, Спаситель или Утешитель, посланный Христом ради пробуждения сознания в падшей ипостаси Софии — Ахамот, ради возвещения людям истины о небесном бытии.

<sup>237</sup>От греч. *pnemata* — дыхание, дуновские, дух. В древнегреческой философии — сила, регулирующая дыхание; позднее, особенно в стоицизме, жизненная сила, отождествляемая с логосом — первоогнем; космическое "дыхание", дух; в христианстве — "Святой Дух", третье лицо Троицы.

<sup>238</sup>См.: *Соловьев В. С.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. С. 545—547.

<sup>239</sup>Строки из стих. "Поэтам" (1890).

<sup>240</sup>В индийской философии — особая мистическая сила, непреложный "закон возмездия" за совокупность поступков, намерений, страданий, определяющий судьбу живого существа в последующих перевоплощениях. Учение о перевоплощении и карме и многие другие мифологемы древнеиндийской философии, брахманизма и индуизма вошли составной частью в антропософское учение.

<sup>241</sup>Согласно антропософскому миропредставлению, Порог — это пограничная черта при вступлении сознания человека в сверхчувственный мир. С этим понятием связано одно из основных понятий антропософии — Страж Порога (см. ком. 83 к гл. 4, а также: *Штейнер Р.* Порог духовного мира. Берлин, 1901. С. 137). Художественное описание Стража Порога дано в романе английского писателя Э. Бульвер-Литтона "Занони".

<sup>242</sup>Цитата из стих. "Свет в окошке шатался..." (1902).

<sup>243</sup>Неточная цитата из стих. "Ужасен холод вечеров..." (1902).

<sup>244</sup>Из стих. "Там, в полусумраке собора..." (1902).

<sup>243</sup>Из стих. Вл. Соловьева "Песня офитов" (1876).

<sup>246</sup>Цитата из стих. "Днем вершу я дела суеты..." (1902).

<sup>247</sup>Из стих. "Вот он — ряд гробовых ступеней" (1904).

<sup>248</sup>Искаженная цитата из стих. "Здесь ночь мертва. Слова мои дики..." (1903).

<sup>249</sup>Из того же стих.

<sup>250</sup>Мильтон Джон (1608—1674) — английский поэт и политический деятель. Автор религиозно-философских поэм "Потерянный рай" (1667) и "Возвращенный рай" (1671).

<sup>251</sup>Имеется в виду Л. Н. Толстой (1828—1910), занимавший творческое воображение Белого на протяжении всей его жизни. "Я поклонялся ему, как великому художнику, — писал Белый А. Б. Гольденвейзеру в апреле 1926 г., — я чтил... его как одного из самых больших мудрецов и воистину учителей жизни" (*Белый Андрей*. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966. С. 612).

<sup>252</sup>Августин Блаженный Аврелий (354—430) — христианский теолог и церковный деятель, один из главных представителей западной патристики, автор "Исповеди" — повествования, предметом которого является авторское самосознание.

<sup>253</sup>Франциск Ассизский (1181 или 1182 — 1226) — итальянский религиозный проповедник, основатель ордена францисканцев.

<sup>254</sup>В антропософии Люцифер и Ариман обозначают два противоположных пути демонического соблазна, которые угрожают личности в стремлении к самопознанию: Люцифер — дух гордыни и "человекобожеского" начала. Ариман — дух разложения и хаоса.

<sup>255</sup>Начальные строки одноименного стих. (1903).

<sup>256</sup>Цитата из стих. "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (1908), открывающего цикл "На поле Куликовом".

<sup>257</sup>Из стих. "Разгораются тайные знаки..." (1902).

<sup>258</sup>Из стих. "Люблю Тебя, Ангел-Хранитель, во мгле..." (1906).

<sup>259</sup>См. ком. 9 к наст. гл.

<sup>260</sup>Цитаты из стих. "Петр" (1904).

<sup>261</sup>Завершающие строки стих. "Гимн" (1904).

<sup>262</sup>Цитата из стих. "Город в красные пределы..." (1904).

<sup>263</sup>Из того же стих.

<sup>264</sup>Из стих. "Вечность бросила в город..." (1904).

<sup>265</sup>Неточно процитированная строфа из стих. "Последний день" (1904).

<sup>266</sup>Завершающие строки того же стих.

<sup>267</sup>Из стих. "В высь изверженные дымы..." (1904).

<sup>268</sup>Строфа из стих. "Митинг" (1905).

<sup>269</sup>Ср. определение Матерей гетевским Мефистофелем:

Богини высятся в обособленье

От мира, и пространства, и времен.

Предмет глубок, я трудностью стеснен.

То — Матери.

(Пер. с нем. Б. Пастернака)

Миф о Матерях вымыслен Гете, сами образы подсказаны "Жизнеописаниями" Плутарха. В главе "Жизнеописание Марцелло" читаем: "Энгиум — небольшой, но старинный город Сицилии, известный благодаря богиням, именуемым Матерями, и храму, который там воздвигнут".

<sup>270</sup>Из стих. "Она веселой невестой была..." (1908).

<sup>271</sup>Из стих. "Мне страшно с тобой встречаться" (1902).

<sup>272</sup>Заключительная строка стих. "О, нет! не расколдуешь сердца ты..." (1913).

<sup>273</sup>Из стих. "Когда вы стоите на моем пути..." (1908). Из стих. "О, весна без конца и без краю...", входящего в цикл "Заклание огнем и мраком".

<sup>274</sup>Эвфорион — сын Фауста и Елены, персонаж "Фауста" Гете. Белый опирается на интерпретацию гетевских образов Р. Штейнером, автором сочинений

"Основные черты теории познания мировоззрения Гете" (*Steiner Rudolf. Werke. B. 2. Domach (Schweiz), 1886*), "Мировоззрение Гете" (1897. В. 6) и "Духовный облик Гете в его "Фаусте" и "Сказке о Змее и Лилии" (1918. В. 22). Согласно этой интерпретации, "Фауст" Гете — "поэма стремления", а Эвфориону суждено оставаться "душой недовополненной", не сумевшей преодолеть "порога духовного мира", ибо его стремление вдаль не опирается на "тайное знание", порыв не обеспечен Духовной наукой.

<sup>275</sup>Последняя строка стих. "О, нет! не расколдуешь сердца ты..." (1913).

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

<sup>1</sup>Книга стихов Вяч. Иванова, опубликованная в 1907 г.

<sup>2</sup>Статья "О теургии" была опубликована в журн. "Новый путь" (1903. № 9).

<sup>3</sup>По преимуществу (фр.).

<sup>4</sup>О "вещи" (лат.). См. также ком. 48 к гл. 8.

<sup>5</sup>Цитата из статьи "О современном состоянии русского символизма" (1910) (см.: С о б р. с о ч. Т. 5. С. 426—427).

<sup>6</sup>Втроем (фр.).

<sup>7</sup>Высочка (фр.).

<sup>8</sup>Трояновский Иван Иванович (1855—1928) — врач, коллекционер живописи и графики.

<sup>9</sup>Серов Валентин Александрович (1865—1911) — живописец и график. Белым была опубликована посвященная ему статья "Памяти художника-моралиста" (Русские ведомости. 1916. 24 ноября).

<sup>10</sup>Гиришман Владимир Осипович (1867—1936) — фабрикант, коллекционер картин и рисунков русских художников. См. гл. "Гиришман. Трояновский. Серов. Переплетчиков" в Между двух революций.

<sup>11</sup>Кочетов Николай Разумникович (1864—1925) — композитор, дирижер, живописец, художественный критик, профессор Московской консерватории.

<sup>12</sup>Корещенко Арсений Николаевич (1870—1921) — композитор, пианист, дирижер.

<sup>13</sup>Мейчик Марк Наумович (1880—1950) — пианист, музыкальный писатель.

<sup>14</sup>Пашуканис Викентий Викентьевич (?—1919) — сотрудник издательства "Мусагет", владелец "Издательства В. В. Пашуканиса", предпринявшего в 1917 г. попытку издания собрания сочинений Белого.

<sup>15</sup>Л. Д. Блок, перед тем посещавшая театральные курсы М. М. Читау, играла на драматической сцене (под фамилиями Блок и Басаргина) с 1908 по 1921 г. — в труппе Мейерхольда, в нескольких провинциальных театрах (Оренбург, Псков), в петроградском Театре народной комедии.

<sup>16</sup>Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—1910) — актриса. На сцене с 1890 г.; создала свой театр. С Комиссаржевской и ее театром были тесно связаны как Блок, так и Белый (см. ст. А. Блока "Вера Федоровна Комиссаржевская" (1910) и "Памяти В. Ф. Комиссаржевской" (1910), а также гл. "Комиссаржевская" в Между двух революций).

<sup>17</sup>В декабре 1906 г. произошло знакомство Блока с актрисой театра Комиссаржевской Волоховой (урожд. Анциферова) Наталией Николаевной (1878—1966), оставившее глубокий след в жизни и творчестве поэта. Волоховой принадлежат воспоминания о Блоке "Земля в цвету" (см.: Ученые записки Тартуского гос. университета. Вып. 104. Тарту, 1961).

<sup>18</sup>Сивиллы (сибиллы) — легендарные пророчательницы, упоминаемые античными авторами. Наиболее известна Кумская Сивилла, которой приписываются "Сивиллины книги" — сборник изречений и предсказаний, служивший для официальных гаданий в Древнем Риме.

<sup>19</sup>На даче в Петровском Белый с Соловьевым жили в мае — июне 1907 г.

<sup>20</sup>Строфа из стих. "Ночь".

<sup>21</sup>Цитата из стих. "Вольный ток".

<sup>22</sup>Речь идет о стих. "Сергею Соловьеву" (1909).

<sup>23</sup>Имеется в виду статья Э. К. Метнера (Вольфинга) "Борис Бугаев против музыки" (Золотое руно. 1907. № 5), являющаяся откликом на статью Белого "На перевале. VI. Против музыки", которая была напечатана в "Весах" (1907. № 3). Издатель "Золотого руна" Рябушинский отказался печатать ответное возражение Белого Метнеру, что послужило причиной конфликта (в августе 1907 г.) между редакцией "Золотого руна" и Белым. Белого поддержал Брюсов, печатно заявивший о выходе из состава сотрудников журнала, а этот его поступок, в свою очередь, инспирировал и выход из "Золотого руна" других "весовцев". Но до окончательного разрыва у Белого с Рябушинским возник конфликт, связанный с уходом в марте 1907 г. из "Золотого руна" А. А. Курсинского, ведавшего литературным отделом журнала. Детальный анализ отношений Белого и "Золотого руна" см. в ст. А. В. Лаврова "Золотое руно" // Русская литература и журналистика начала XX в. 1905—1917.

<sup>24</sup>Муни (наст. имя и фам. Самуил Викторович Киссин) (1888—1916) — поэт. См. мемуарный очерк Ходасевича "Муни" // Ходасевич В. Ф. Некрополь.

<sup>25</sup>Муратов Павел Павлович (1881—1950) — прозаик, искусствовед, эссеист, переводчик.

<sup>26</sup>Зайцев Борис Константинович (1881—1972) — прозаик. Ему принадлежит очерк "Андрей Белый", включенный в Воспоминания о Белом.

<sup>27</sup>Янтарев (наст. фам. Бернштейн) Ефим Львович (1880—1942) — поэт, журналист, издатель "Московской газеты".

<sup>28</sup>Сапунов Николай Николаевич (1880—1912) — живописец, театральный художник, член объединения "Голубая роза".

<sup>29</sup>Судейкин Сергей Юрьевич (1882—1946) — живописец, театральный художник, член объединения "Голубая роза".

<sup>30</sup>Феофилактов Николай Петрович (1878—1941) — художник-график, оформитель журн. "Весь".

<sup>31</sup>Будучи в Москве 16—20 апреля, Блок выступает автором статей — критических обзоров текущей литературы в журн. "Золотое руно".

<sup>32</sup>Этот конфликт Белого и Блока нашел исчерпывающее отражение в переписке писателей за август 1907 г. (см.: Переписка. С. 189—213).

<sup>33</sup>Блок приехал в Москву 24 августа.

<sup>34</sup>Ныне не существующий Новинский бульвар.

<sup>35</sup>Неточность: речь идет о корреспонденции Е. Семенова, опубликованной в "Mercure de France" (1907, № 242), где мистическими анархистами названы Вяч. Иванов, Блок, Городецкий и Чулков. Цитата из этой корреспонденции воспроизведена в письме Белого от 21 января 1907 г. (Переписка. С. 212).

<sup>36</sup>Имеется в виду блоковское "Письмо в редакцию", датированное 26 августа: "...Я никогда не имел и не имею ничего общего с "мистическим анархизмом", о чем свидетельствуют мои стихи и проза" (Весь. 1907. № 8. С. 81).

<sup>37</sup>"Трицать три урода" (1907) — повесть Л. Зиновьевой-Аннибал, на которую Белый откликнулся рецензией в журн. "Перевал" (1907. № 5). О повести и отношении к ней современников см.: Никольская Т. Л. Творческий путь Л. Д. Зиновьевой-Аннибал // Ал. Блок и революция 1905 г. Блоковский сборник VIII. Тарту, 1988.

<sup>38</sup>"Крылья" (1907) — повесть М. Кузмина.

<sup>39</sup>Катон Старший (234—149 до н. э.) — римский консул, писатель. Прославился своей приверженностью традициям и неуступчивостью в полемике, служил олицетворением неподкупной морали.

<sup>40</sup>Речь идет о статье "О реалистах" (Золотое руно. 1907. № 5).

<sup>41</sup>Неточное цитирование статьи "О современном состоянии русского символизма" (Собр. соч. Т. 5. С. 427—431).

<sup>42</sup>Блок уехал из Москвы в Шахматово 9 июня.

<sup>43</sup>Драма "Жизнь человека" была написана Л. Андреевым в 1906 г. и поставлена В. Мейерхольдом в театре Комиссаржевской в декабре 1907 г.

<sup>44</sup>Воспоминания Блока "Памяти Леонида Андреева" были написаны в 1919 г. и опубликованы в сб. "Книга о Леониде Андрееве". Пг.; Берлин, 1922.

<sup>45</sup>По датировке, предложенной В. Безубовым — автором книги "Леонид Андреев и традиции русского реализма" (Таллин, 1984), — первые встречи Андреева с Блоком и Белым относятся к сентябрю 1907 г.

<sup>46</sup>Альфонс Петер (1859—1919) — австрийский писатель-импрессионист.

<sup>47</sup>Кожевников Петр Алексеевич (1872—1919) — прозаик, археограф.

<sup>48</sup>См.: *Шопенгауэр А.* Мир как воля и представление. Кн. 3.

<sup>49</sup>Название неточно: имеется в виду газета "Литературно-художественная неделя", выходившая в Москве в 1907 г. и редактировавшаяся поэтом, прозаиком и критиком Стражевым Виктором Ивановичем (1879—1950).

<sup>50</sup>Статья под таким названием, написанная в грубом фельетонном тоне и направленная против петербургских "мистических анархистов", была опубликована в "Весах" (1907. № 6).

<sup>51</sup>Статья "Символический театр. По поводу гастролей Комиссаржевской" была напечатана в газ. "Утро России" (16 и 28 сентября 1907 г.). В письме А. Белому от 1 октября Блок высоко оценил эту статью, отметив, что она имеет для него "значение объемистой книги" (Переписка. С. 219).

<sup>52</sup>Конфликт между Белым и сотрудниками "Литературно-художественной неде." во главе с В. И. Стражевым подробно описан в воспоминаниях Б. К. Зайцева об Андрее Белом (см.: Воспоминания об Андрее Белом. М.: Республика, 1995).

<sup>53</sup>Книгоиздательское товарищество, существовавшее в Петербурге в 1898—1913 гг. С 1903 г. его возглавлял Горький, объединивший вокруг издательства писателей-реалистов. С 1904 г. выпускались сборники товарищества "Знание". Вышло 40 книг.

<sup>54</sup>Театр В. Ф. Комиссаржевской гастролировал в Москве с 30 августа по 11 сентября.

<sup>55</sup>Пьеса М. Метерлинка (1900).

<sup>56</sup>Пьеса М. Метерлинка (1903).

<sup>57</sup>Гольдони Карло (1707—1793) — итальянский драматург, осуществивший реформу национального театра.

<sup>58</sup>В ноябре 1909 г. Комиссаржевская обратилась к своей драматической труппе с письмом, где сообщала о намерении оставить театр: "Я уйду потому, что театр в той форме, в какой он существует сейчас, — перестал мне казаться нужным, и путь, которым я шла в исканиях новых форм, перестал мне казаться верным" (Сборник памяти В. Ф. Комиссаржевской. Спб., 1911. С. 320). Ср. гл. "Комиссаржевская" в Междуду двух революций.

<sup>59</sup>Алексеевский Аркадий Павлович — журналист, член редакции газеты "Утро России".

<sup>60</sup>Этот вечер состоялся 4 октября 1907 г. в Киевском городском театре. Вступительное слово "Об итогах развития нового русского искусства" было сказано Белым.

<sup>61</sup>Журнал, выходивший в Киеве в 1907—1910 гг.

<sup>62</sup>Ла Барт Фердинанд Георгиевич де (1870—1915) — историк западноевропейской литературы, переводчик, приват-доцент Киевского, Московского университетов.

<sup>63</sup>Речь идет о лекции "Будущее искусства", прочитанной 6 октября в Коммерческом собрании.

<sup>64</sup>Имеется в виду сомовский портрет Блока (1907), о котором в воспоминаниях Бекетовой сказано следующее: "Художник тщательно оберегал портрет от посторонних взглядов и показал его только тогда, когда он был вполне закончен. Прежде всего он пожелал узнать мнение матери. Она подошла, и сердце у нее упало, такое тяжелое впечатление произвел на нее портрет: сходство только в чертах. Выражение рта и глаз неприятное и нехарактерное для Блока, освещенное художником субъективно. Вместо мягких кудрей на портрете тусклые шерстяные волосы.

— Мне не нравится, — сказала мать.

— Вы совершенно правы, мне тоже не нравится, — грустно промолвил художник” (С. 78—79). Подробный анализ портрета см.: *Долинская М. З.* Искусство и Александр Блок. М., 1985.

<sup>65</sup>Блок и Белый приехали в Петербург 8 октября.

<sup>66</sup>Гостиница “Англетер” была расположена на Исаакиевской площади.

<sup>67</sup>Непринужденный разговор, легкая беседа (фр.).

<sup>68</sup>Белый обыгрывает блоковское написание слова “метель”, на котором тот применительно к некоторым своим стихотворениям настаивал.

<sup>69</sup>Строфы из стих. “По улицам метель метет...” (1907), входящего в цикл “Заклятие огнем и мраком”.

<sup>70</sup>Веригина (в замужестве Бычкова) Валентина Петровна (1882—1974) — актриса театра Комиссаржевской, режиссер, педагог (см. ее “Воспоминания об Александре Блоке” // *Воспоминания*. Т. 1).

<sup>71</sup>Премьера пьесы М. Метерлинка “Пелеас и Мелисанда” в постановке В. Мейерхольда в театре Комиссаржевской состоялась 10 октября 1907 г.

<sup>72</sup>Первое книжное издание “Снежной маски” (Спб., 1907) открывалось следующим посвящением: “Посвящаю эти стихи Тебе, высокая женщина в черном, с глазами крылатыми и влюбленными в огни и мглу моего снежного города”. Н. Н. Волоховой был посвящен и следующий поэтический цикл “Фаина” и вообще большинство стихотворений, написанных в 1907 г. Образ Волоховой отразился и в драматургии Блока (Фаина в “Песне Судьбы”), и в его прозе (“Сказка о той, которая не поймет ее”).

<sup>73</sup>Неточное (без разбивки на строфы) цитирование стих. “Песня Фаины” (1907).

<sup>74</sup>Первые строфы стих. “Вот явилась. Заслонила...” (1906), открывающего цикл “Фаина”.

<sup>75</sup>Строки из стих. “Ушла. Но гиацинты ждали...” (1907).

<sup>76</sup>Строки из стих. “Я был смущенный и веселый” (1907).

<sup>77</sup>Из стих. “Ушла. Но гиацинты ждали...”.

<sup>78</sup>Сдержанная (фр.).

<sup>79</sup>Мюрат Сергей Казимирович — кузен д'Альгейма, учитель французского языка.

<sup>80</sup>Толстой Сергей Львович, граф (1863—1947) — сын Л. Н. Толстого, земский деятель, гласный Московской городской думы, музыкант.

<sup>81</sup>Энгель Юлий Дмитриевич (1868—1927) — музыкальный критик, композитор.

<sup>82</sup>Кашкин Николай Дмитриевич (1839—1920) — музыкальный критик и педагог.

<sup>83</sup>Тарасевич Лев Александрович (1868—1927) — микробиолог и патолог, профессор московских Высших женских курсов.

<sup>84</sup>Поццо Александр Михайлович (1882—1941) — муж Н. А. Тургеневой, юрист, редактор московского журнала “Северное сияние”.

<sup>85</sup>Ильин Иван Александрович (1882—1954) — религиозный философ и публицист. Представитель неогегельянства. В описываемый период — приват-доцент Московского университета.

<sup>86</sup>Вышеславцев Борис Петрович (1877—1954) — юрист, философ. Приват-доцент Московского университета.

<sup>87</sup>Кубицкий Александр Владимирович — философ, ученик Л. М. Лопатина.

<sup>88</sup>Написана в 1906 г. Опубликована в составе сб. *Ар а б е с к и*.

<sup>89</sup>Белый вернулся в Москву 18 ноября 1907 г.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

<sup>1</sup>Добронравов Николай Павлович — протоиерей, историк церкви.

<sup>2</sup>“...Носимый на копытах” — слова херувимской песни, которая сопровождает таинство евхаристии (святого причастия).

- <sup>9</sup>Паганини Никколо (1782—1840) — итальянский скрипач и композитор.
- <sup>10</sup>Метнер Карл Карлович (1874—1919) — доверенный правления акционерной компании "Московская кружевная фабрика", брат Э. К. Метнера.
- <sup>11</sup>Метнер Александр Карлович (1877—1961) — скрипач, альтист, дирижер, композитор, преподаватель музыкально-драматического училища Московского филармонического общества.
- <sup>12</sup>Гольденвейзер Александр Борисович (1875—1961) — пианист, композитор, профессор Московской консерватории.
- <sup>13</sup>Конюс Лев Эдуардович (1862—1933) — композитор, музыкальный теоретик.
- <sup>14</sup>Штембер Виктор Карлович (1863—1920) — художник, двоюродный брат Э. К. Метнера.
- <sup>15</sup>Речь идет о лекции "Символический театр". См. также ком. 51 к гл. 7.
- <sup>16</sup>Ленский (наст. фам. Вервицциотти) Александр Павлович (1847—1908) — актер и режиссер Малого театра, театральный педагог. Один из создателей Нового театра.
- <sup>17</sup>Баженов Николай Николаевич (1857—1925) — профессор-психиатр, общественный деятель.
- <sup>18</sup>Яблоновский (наст. фам. Потресов) Сергей Викторович (1870—1954) — литературный критик, фельетонист, сотрудник газеты "Русское слово".
- <sup>19</sup>Любощиц Семен Борисович (1859—1926) — журналист.
- <sup>20</sup>Ашешов (у Белого: Ашешев) Николай Петрович (1866—1923) — критик, журналист.
- <sup>21</sup>Сумбатов-Южин Александр Иванович (1857—1927) — драматург, актер и руководитель (с 1909 г.) Малого театра.
- <sup>22</sup>Эфрос Николай Ефимович (1867—1923) — театральный критик, историк театра, журналист.
- <sup>23</sup>Бунин Юлий Алексеевич (1857—1921) — литератор, публицист. Брат И. А. Бунина.
- <sup>24</sup>Попов Иван Иванович (1862—1942) — журналист, публицист.
- <sup>25</sup>Дживелегов Алексей Карлович (1875—1952) — историк литературы, театровед.
- <sup>26</sup>См.: Бекетова С. 81.
- <sup>27</sup>Путята (у Белого: Путятю) Ольга Федоровна — организаторница благотворительных мероприятий в пользу революционных организаций, провокатор.
- <sup>28</sup>Виноградов А. К. — сотрудник московских библиотек. Теоретик библиотечного дела.
- <sup>29</sup>Имеется в виду Бартенев Петр Иванович (1829—1912) — историк, археограф, редактор-издатель журнала "Русский архив".
- <sup>30</sup>Оленин Александр Алексеевич (1865—1944) — композитор, музыковед. Брат М. А. Олениной-д'Альгейм.
- <sup>31</sup>Гиацинтлова Софья Владимировна (1895—1982) — актриса, режиссер.
- <sup>32</sup>Имеются в виду литургические тексты, использовавшиеся в культовой практике секты орфиков и дошедшие до нас в составе сборника орфических текстов III—IV вв.
- <sup>33</sup>В греческой мифологии Геката — богиня мрака, ночных видений и чародейства, богиня колдовства. Позднее была отождествлена с Персефоной. Ее атрибутами были факел, бич и змеи.
- <sup>34</sup>См.: Новосадский П. И. Орфические гимны. Варшава, 1900.
- <sup>35</sup>Лобек Кристиан Август (1781—1860) — немецкий филолог-классик.
- <sup>36</sup>Фукар Поль (1836—1926) — французский ученый-эллинист, автор исследований о религиозных обществах в Древней Греции.
- <sup>37</sup>Роде Эрвин (1845—1898) — немецкий филолог-классик, близкий друг Ф. Ницше.
- <sup>38</sup>Бругман Карл (1849—1919) — немецкий языковед, один из основоположников младограмматизма.
- <sup>39</sup>Коген Герман (1842—1918) — немецкий философ, глава марбургской школы неокантианства.
- <sup>40</sup>Наторп Пауль (1854—1924) — немецкий философ, один из лидеров марбургской школы неокантианства.

<sup>35</sup>Бачинский Алексей Иосифович (псевдоним — Жагарис) (1877—1944) — физик, профессор Московского университета; прозаик, критик, публицист.

<sup>36</sup>Страшно сказать (лат.).

<sup>37</sup>Герье Владимир Иванович (1837—1919) — историк, профессор Московского университета. Организатор Высших женских курсов.

<sup>38</sup>Северцов Алексей Николаевич (1866—1936) — зоолог, основоположник эволюционной морфологии животных.

<sup>39</sup>См. ком. 59 к гл. 1.

<sup>40</sup>Чистяков Петр Александрович — редактор-издатель (с 1904 г.) еженедельного журнала по вопросам спиритуализма, медиумизма "Ребус", выходявшего в Москве с 1881 по 1917 г.

<sup>41</sup>Рубинштейн Михаил Матвеевич — философ-неокантианец, доцент Московского университета.

<sup>42</sup>Кассо Лев Аристидович (1865—1914) — государственный деятель, министр просвещения с 1910 по 1914 г., прославившийся преследованием прогрессивно настроенной профессуры и студенчества.

<sup>43</sup>В 1902—1906 гг. Метнер жил в Нижнем Новгороде, где получил должность цензора.

<sup>44</sup>Лурье Семен Владимирович (1867—1927) — литератор, журналист, сотрудник редакции журнала "Русская мысль" в 1908—1911 гг.

<sup>45</sup>Еженедельная общественно-политическая газета, выходившая в 1906—1910 гг. (редактор-издатель — кн. Е. Н. Трубецкой).

<sup>46</sup>Щукин Сергей Иванович (1854—1937) — фабрикант, коллекционер произведений французской живописи конца XIX — начала XX в.

<sup>47</sup>Ликиардопуло Михаил Федорович (1883—1925) — переводчик, секретарь журн. "Весы".

<sup>48</sup>В статье "Две стихии в современном символизме" (Золотое руно. 1908. № 3—4, 5) Вяч. Ивановым был выдвинут и обоснован эстетический лозунг "a realibus ad realiora..." ("от реальности к более реальному"), который Белый в своем полемическом отклике — статье "На перевале. XIII. Realiora" (Весы. 1908. № 5) оценил как измену символистским принципам. Иванов выступил с ответной статьей "Б. П. Бугаев и "Realiora" (Весы. 1908. № 7).

<sup>49</sup>Юм Дэвид (1711—1776) — английский философ, историк, экономист; сформулировал основные принципы агностицизма. Учение Юма — один из основных источников философии Канта, позитивизма и неопозитивизма.

<sup>50</sup>Шестов Лев (наст. имя и фам. Лев Исаакович Шварцман) (1866—1938) — философ-иррационалист, писатель, представитель экзистенциализма.

<sup>51</sup>Словацкий Юлиуш (1809—1849) — польский поэт-романтик.

<sup>52</sup>Страхов Николай Николаевич (1828—1896) — публицист, литературный критик, философ, друг и первый биограф Ф. М. Достоевского.

<sup>53</sup>Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864) — литературный критик, поэт; по мировоззрению близок "почвенникам".

<sup>54</sup>Метнер Карл Петрович (1846—1921) — отец Э. К. Метнера; один из директоров акционерной компании "Московская кружевная фабрика". См. о нем в Начале века (С. 96).

<sup>55</sup>Сабурова (урожд. Метнер) Софья Карловна (1878—1943) — сестра Э. К. Метнера, жена юриста А. А. Сабурова.

<sup>56</sup>Никиш Артур (1855—1922) — венгерский дирижер, неоднократно выступавший в России. В статье "Маски" (1904) Белый называет его "чародеем" и "иступленным" (Луг зеленый. С. 9). Вспоминая о марте 1901 г., Белый отмечает: "Увлечение Никишем; встреча и первый разговор с Э. К. Метнером на репетиции Никиша, определивший будущую дружбу" (Ракурсы к дневнику. II. 14).

<sup>57</sup>Анучин Дмитрий Николаевич (1843—1923) — географ, этнограф, археолог, один из основоположников антропологии в России; основатель отечественную школу географов, академик.

- <sup>58</sup> "Восемь картин настроений" (Ор. I. № 1—8).
- <sup>59</sup> Из стих. "Э. К. Метнеру (Письмо)" (1909).
- <sup>60</sup> Белый поехал к Э. К. Метнеру в Нижний Новгород 17 марта и вернулся в Москву в начале апреля. Вторично — на один день — он заехал к Метнеру в августе того же 1904 г.
- <sup>61</sup> Неточная цитата двух начальных строк стих. "Премудрость" (1908).
- <sup>62</sup> Строфа стих. "Мой друг" (1908).
- <sup>63</sup> Первая строфа стих. "Искуситель" (1908).
- <sup>64</sup> Из стих. "Я" (1907).
- <sup>65</sup> Строчки из стих. "И я любил, и я изведал..." (1908).
- <sup>66</sup> Бекетова. С. 81.
- <sup>67</sup> Драма, опубликованная в альманахе "Шиповник" (1909. № 9). В тексте драмы было напечатано стих., датированное 27 марта 1908 г. и получившее впоследствии название "Песнь Фаины".
- <sup>68</sup> Имеется в виду поэтический цикл "На поле Куликовом", впервые опубликованный в альманахе "Шиповник" (1909. № 10).
- <sup>69</sup> Строки из стих. "Река раскинулась. Течет, грустит лениво" (1908), открывающего цикл "На поле Куликовом".
- <sup>70</sup> Строки из стих. "И я любил, и я изведал..."
- <sup>71</sup> Неточная цитата заключительных строк стих. "Отчаяние (Довольно: не жди, не надейся)" (1908).
- <sup>72</sup> Бекетова. С. 58.
- <sup>73</sup> Строки из стих. "Из хрустального тумана" (1909).
- <sup>74</sup> Осенью 1907 г. Блоки переезжают в новую квартиру на Галерной улице, где они прожили по 1910 г. "Квартира была с окнами во двор, с одним ходом, во втором этаже; Ал. Ал. привлекало место и близость к театру Комиссаржевской, с которым были связаны тогда его главные интересы" (Бекетова. С. 80).
- <sup>75</sup> Неточная цитата из стих. "Хулиганская песенка" (1906).
- <sup>76</sup> Строки из 4-й симфонии "Кубок метелей".
- <sup>77</sup> Неточная цитата из первой части двухчастного стих. "Сора" (1907).
- <sup>78</sup> Цитата из второй части стих. "Сора" (1908).
- <sup>79</sup> Цитата из стих. "Искуситель" (1908).
- <sup>80</sup> Заключительные строки из статьи "Священная жертва" (1905).
- <sup>81</sup> См.: Собр. соч. Т. 8. С. 241. Строки из письма цитируются неточно.
- <sup>82</sup> Калиостро Алессандро (Джузеппе Бальзано) (1743—1795) — итальянский авантюрист, алхимик и "чародей".
- <sup>83</sup> Джунковский Владимир Федорович (1865 — не ранее 1938) — московский генерал-губернатор в 1905 г., товарищ министра внутренних дел.
- <sup>84</sup> Эти, как и предшествующие строфы, — из стих. "Опять с вековой тоскою..." (1908), входящего в цикл "На поле Куликовом".
- <sup>85</sup> Из стих. А. Белого "Сергею Соловьеву" (1909).
- <sup>86</sup> Рукавишников Варвара Сергеевна — сестра писателя Н. С. Рукавишникова, мачеха А. Тургеневой.
- <sup>87</sup> Тарасевич (урожд. Стенбок-Фермор) Анна Васильевна — певица школы М. А. Олениной-д'Альгейм.
- <sup>88</sup> Богословский Евгений Васильевич (1874—1941) — музыковед, пианист, профессор Московской консерватории.
- <sup>89</sup> *Alheim Pierre d'. La passion de maître François Villon*. Paris, 1892 (Страсти мэтра Франсуа Вийона). О бароне д'Альгейм см. ком. 56 к гл. 1.
- <sup>90</sup> Вилье де Лиль (наст. фам. Адап) Филипп Огюст Матиас, граф (1838—1889) французский писатель.
- <sup>91</sup> "Песня" (нем.). Двухчастная лекция Белого в Доме песни (1. "Песня и современность"; 2. "Жизнь песни") состоялась 6 ноября 1908 г.
- <sup>92</sup> Шик Максимилиан Яковлевич (1884—1968) — поэт, переводчик, критик, немецкий корреспондент журн. "Весы".
- <sup>93</sup> "Прекрасная мельничиха" (1823) — песенный цикл Ф. Шуберта.

<sup>94</sup>В имение Серебряный Колодезь Белый уехал после прекращения отношений и переписки с Блоком во второй половине мая и пробыл там с Э. К. Метнером до 24 июня 1908 г.

<sup>95</sup>Впервые — в газ. "Речь" (1909. 20 марта). Статья представляет собой текст речи, произнесенной 19 марта 1909 г. в зале петербургского Дворянского собрания.

<sup>96</sup>Напечатана в газ. "День" (1913. 18 октября).

<sup>97</sup>Бекетова. С. 83.

<sup>98</sup>Меблированные комнаты "Дон" типичны, — вспоминал Белый в Начале века, — они помещались в оливковом доме, поставленном на Сенной площади среди соров и капустных листьев; дом стеной выходил на Арбат (против "Аптеки"), другим боком дом глядел на Смоленский бульвар; третьим — в паршивые домики с чайной: для извозчиков" (С. 55).

<sup>99</sup>Букв.: "Имеющему перебитые голени" (лат.) — книга стихов С. Соловьева, вышедшая в Москве в 1908 г.

<sup>100</sup>Баратынский и Тютчев — поэты, постоянно находившиеся в центре внимания Белого. См. его работу "Пушкин, Тютчев, Баратынский в зрительном восприятии природы"// Поэзия слова. Пг., 1922.

<sup>101</sup>О начале стиховедческих исследований Белого см.: *Гречишкин С. С., Лавров А. В.* О стиховедческом наследии Андрея Белого// Структура и семиотика художественного текста. Труды по знаковым системам, XII. Тарту, 1981.

<sup>102</sup>Была опубликована в журн. "Образование" (1908. № 8).

<sup>103</sup>В Москву Белый возвращается в начале сентября.

<sup>104</sup>Корш Федор Евгеньевич (1843—1915) — филолог-классик, переводчик, профессор Московского университета.

<sup>105</sup>Гречанинов Александр Тихонович (1864—1956) — композитор, педагог.

<sup>106</sup>"Пустое время" (греч.) — термин греческой античной метрики, служащий названием ритмической паузы, реже употребляемой в немецком стихосложении, чем в русском.

<sup>107</sup>Премьера пьесы Ст. Пшибышевского "Вечная сказка" в постановке Мейерхольда состоялась 4 декабря 1906 г. Выступление Белого с лекцией о Пшибышевском относится к первой половине ноября 1908 г.; оно легло в основу статьи "Пророк безличия" (Арабески).

<sup>108</sup>Ежемесячный научно-литературный и политический журнал, выходивший в 1880—1918 г. в Москве. Вначале славянофильской, а позднее либеральной ориентации. После 1905 г. — орган кадетской партии.

<sup>109</sup>Лекция была прочитана в зале Тенишевского училища 17 января 1909 г. во время пребывания Белого в Петербурге.

<sup>110</sup>Неточность: первое письменное обращение Гершензона к Белому, содержащее просьбу написать отзыв о "Посолони" А. М. Ремизова, датировано 27 марта 1907 г. (см.: Между двух революций. С. 519). Рецензия Белого появилась в 1-м выпуске "Критического обозрения" в 1907 г.

<sup>111</sup>Голоушев Сергей Сергеевич (псевдоним Сергей Глаголь) (1855—1920) — врач, журналист, прозаик, искусствовед.

<sup>112</sup>Гершензон Мария Борисовна (1873—1940) — жена М. О. Гершензона, сестра А. Б. Гольденвейзера.

<sup>113</sup>См. комм. 52 к гл. 7.

<sup>114</sup>Эссеистически-дневниковая книга в 2 т. (М., 1913—1915).

<sup>115</sup>Ежедневная либеральная газета, выходившая в Москве в 1895—1918 г. Издатель — И. Д. Сытин.

<sup>116</sup>Безант Анни (1847—1933) — английская писательница, президент всемирного Теософского общества. Главная ее работа "Человек и его тела" (1896) не была в описываемое время переведена с английского на русский. В России были опубликованы "Древняя мудрость" (Спб., 1910) и "Краткий очерк теософского учения" (Вестник теософии. 1908. № 1).

<sup>117</sup>Тэффи (наст. имя и фам. Лохвицкая Наталья Александровна) (1872—1952) — писательница и фельетонистка.

<sup>118</sup>В труде "Тайная доктрина" Е. П. Блаватская сообщает о существовании некой эзотерической книги "Дзиан", образно излагающей тайну сотворения мира.

<sup>119</sup>Гончарова Анна Сергеевна (1855—?) — доктор философии, теософка. См. гл. "Гончарова и Батушков" в Начале века.

<sup>120</sup>Григорьев Борис Павлович (1883—1945) — экономист, член кружка "Молодой Мусажет", где Белый вел курсы в 1910 г. Принимал участие в строительстве Гетеанума. Один из основателей Русского антропософского общества и его председатель (см.: Жемчужникова М. П. Воспоминания о Московском антропософском обществе // Минувшее. № 6. Paris, 1988).

<sup>121</sup>Усов Павел Сергеевич (1867—1917) — врач, профессор Московского университета.

<sup>122</sup>Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888—1982) — поэтесса, прозаик, критик. Ее знакомство с Белым произошло в декабре 1908 г. (см.: Шагинян М. Человек и время. М., 1982).

<sup>123</sup>Полностью приведено стих. "Опять над полем Куликовым..." (1908), завершающее цикл из пяти стих. "На поле Куликовом".

<sup>124</sup>Имеется в виду стих. "За гробом (Божья Матерь Утоли мои печали...)" (1908).

<sup>125</sup>О глубокой духовной связи Вяч. Иванова и А. Минцловой см. дневниковые записи писателя (Иванов Вяч. Собр. соч. Брюссель, 1974. Т. II. С. 771—779).

<sup>126</sup>Замятница (у Белого фам. дана неверно) Мария Михайловна (1865—1919) близкий друг и домоправительница Вяч. Иванова и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал.

<sup>127</sup>Этот "инцидент" случился на заседании Московского Литературно-художественного кружка 27 января 1909 г., посвященного выступлению Вяч. Иванова на тему "Последние течения в литературе"; докладчику оппонировал А. Белый. В "Русском слове" (1909. № 22. 28 января) была опубликована заметка, посвященная этому скандалу, в которой сообщалось, что писатель Ф. Ф. Тищенко публично обвинил Белого в политической и этической беспринципности, в ответ на что Белый закричал: "Вы подлец! Я оскорблю вас действием!" На следующий день — 29 января — Брюсов писал Вяч. Иванову: "Я принял все меры, чтобы для Белого инцидент не имел дурных последствий" (Л. Н. Т. 85. Валерий Брюсов. С. 520).

<sup>128</sup>В Бобровку (Тверская губ.) Белый вместе с А. Петровским уехал 20 февраля 1909 г. и прожил там до середины марта.

<sup>129</sup>Рачинская (урожд. Мамонтова) Татьяна Анатольевна (1864—1920) — жена Г. А. Рачинского (см. о нем комм. 52 к гл. 1).

<sup>130</sup>Рачинская Анна Алексеевна (? 1916) — сестра Г. А. Рачинского.

<sup>131</sup>Строки из стих. "Наин".

<sup>132</sup>Из стих. "Жалоба" (1909).

<sup>133</sup>Стих. "Наин" было адресовано "Пи-Рею". Имя это сопровождалось подстрочным примечанием автора: "солнечный гений".

<sup>134</sup>Из стих. "Родина (Наскучили старые годы)".

<sup>135</sup>См.: Белый Андрей. Стихотворения и поэмы. М., 1994. С. 224.

<sup>136</sup>Так в среде последователей Штейнера именовалась антропософия.

<sup>137</sup>Начало регулярных встреч Белого с А. Тургеновой, приехавшей к своей тете М. Олениной-д'Альгейм из Брюсселя, где она училась граверному искусству, относятся ко второй половине марта 1909 г. Ср. запись Белого об апреле того же года: "Возникающая любовь между мной и Асей" (Материал к биографии. Л. 56).

<sup>138</sup>Поездка Белого в Киев (через Москву) состоялась в середине марта. 14 марта в киевском театре Медведева Белым была прочитана лекция "Современность и Шишбышевский".

<sup>139</sup>Саввино-Сторожевский мужской монастырь расположен около Звенигорода при впадении реки Сторожки в Москву-реку. Основан в 1398—1399 гг. князем Юрием Дмитриевичем и Саввой — учеником Сергея Радонежского. Архитектурный памятник XV—XVIII вв. Упомянутая в тексте посадка датируется апрелем 1909 г.

<sup>140</sup>В апреле 1909 г. отмечалось столетие со дня рождения Гоголя. Статья Белого "Гоголь", приуроченная к этому юбилею, была напечатана в Весах (1909. № 4).

<sup>141</sup>Мать Аси С. Н. Кампиони жила в имении своего мужа-лесничего Боголюбцы (Вольнская губ.).

<sup>142</sup>Подмосковное имение Метнеров.

<sup>143</sup>Ср. признание в письме С. Соловьева Белому (август 1909 г.): "Это лето наши души встречались редко".

<sup>144</sup>Цветаев Иван Владимирович (1847—1913) — профессор, историк античной культуры, основатель и первый директор Музея изящных искусств в Москве; отец М. И. Цветаевой.

<sup>145</sup>Муромцев Сергей Андреевич (1850—1910) — юрист, публицист, земский деятель, профессор Московского университета; член ЦК конституционно-демократической партии, председатель I Государственной Думы.

<sup>146</sup>Мялянтович Павел Николаевич (1870—1939) — адвокат; министр юстиции Временного правительства.

<sup>147</sup>Кожебаткин Александр Мелентьевич (1884—1942) — издатель, библиофил, секретарь издательства "Мусагет", владелец издательства "Альциона".

<sup>148</sup>Ахрамович, (наст. фам. Апмарий) Витольд Францевич (1882—1930) — литературный секретарь издательства "Мусагет", в дальнейшем — деятель советской кинематографии.

<sup>149</sup>Степун Федор Августович (1884—1965) — философ-неокантианец, историк и социолог культуры, прозаик, литературный критик (см. о нем: Начало века. С. 451). Его перу принадлежат воспоминания о Белом, написанные в 1934 г. в связи со смертью писателя (см.: Воспоминания об Андрее Белом).

<sup>150</sup>Гессен Сергей Иосифович (1887—1950) философ-неокантианец.

<sup>151</sup>В Бобровке Белый пробыл с 10—12 января по 20 января 1910 г.

<sup>152</sup>Недоброво Николай Владимирович (1881—1919) — поэт, литературный критик.

<sup>153</sup>Шварсалон (в тексте — Шварцалон; в замужестве Иванова) Вера Константиновна (1890—1920) — дочь Л. Д. Зиновьевой-Аннибал. падчерица, позднее жена Вяч. Иванова.

<sup>154</sup>Иванова Лидия Вячеславовна (1896—1985) — дочь Вяч. Иванова и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал; композитор и органистка.

<sup>155</sup>Ошибка Белого: "кадет Сережа" и упоминаемый далее С. К. Шварсалон — одно и то же лицо. Единственный сын Вяч. Иванова (от брака с В. К. Шварсалон) Дмитрий родился позднее описываемых событий, в 1912 г. Шварсалон Сергей Константинович — сын Л. Д. Зиновьевой-Аннибал.

<sup>156</sup>Чеботаревская Анастасия Николаевна (1876—1921) — критик и переводчица; жена Ф. Сологуба.

<sup>157</sup>Стоппнер Борис Григорьевич (1871—1937) — философ, социолог, переводчик.

<sup>158</sup>Протейкинский Виктор Петрович (ум. ок. 1914) — родственник Д. В. Философова; член Религиозно-философского общества в Петербурге.

<sup>159</sup>Бородавский Валериан Валерианович (1879—1923) — поэт, горный инженер.

<sup>160</sup>Зелинский Фаддей Францевич (1859—1944) — филолог-классик, профессор Петербургского университета.

<sup>161</sup>Литературно-художественный журнал, выходявший в 1909—1917 гг. Редактор — С. Маковский. Был связан с символизмом, позднее — орган акмеистского движения.

<sup>162</sup>Это прозвище было использовано О. Мандельштамом в его стихотворении "Голубые глаза и горячая лобная кость..." (1934) — отклике на смерть Белого: "Как снежок на Москве, заводил кавардак Гоголек".

<sup>163</sup>Усов Сергей Алексеевич (1827—1886) — зоолог, археолог, искусствовед, профессор Московского университета.

<sup>164</sup>Троицкий Матвей Михайлович (1835—1899) — философ, психолог, профессор Московского университета.

<sup>165</sup>Стороженко Николай Ильич (1836—1906) — историк западноевропейской литературы, профессор Московского университета, председатель "Общества любителей российской словесности".

<sup>166</sup>Буслаев Федор Иванович (1818—1897) — филолог и искусствовед, профессор Московского университета, академик.

<sup>167</sup>Грот Николай Яковлевич (1852—1899) — философ, профессор Московского университета, председатель Московского психологического общества, редактор журнала "Вопросы философии и психологии".

<sup>168</sup>Имеется в виду статья М. Кузмина "О прекрасной ясности" (Аполлон. 1910. № 4).

<sup>169</sup>Маковский Сергей Константинович (1877—1962) — поэт, художественный критик, редактор журнала "Аполлон".

<sup>170</sup>Чудовский Валериан Адольфович (1891—1938?) — критик.

<sup>171</sup>От греч. *aktmē* — высшая степень чего-либо, цветущая сила. Течение в русской поэзии 1910-х годов (С. Городецкий, М. Кузмин, Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам), провозгласившее освобождение поэзии от символистских порывов к "идеальному", от многозначности и текучести образов, усложненной метафоричности, возврат к стихии "естества", точному значению слова.

<sup>172</sup>Тамамшева Нина Артемьевна — педагог, участница социал-демократического движения.

<sup>173</sup>Белявские — "устроительницы наших лекций, учительницы, прилетающие между лекций с тарараканьем" (Начало века. С. 357).

<sup>174</sup>Княжнин (наст. фам. Ивойлов) Владимир Николаевич (1883—1942) — поэт, литературовед.

<sup>175</sup>Скалдин Алексей Дмитриевич (1855—1943) — поэт, прозаик.

<sup>176</sup>Агеев Константин Маркович — священник, богослов.

<sup>177</sup>Чапыгин Алексей Павлович (1870—1937) — прозаик.

<sup>178</sup>Карпов Пимен Иванович (1884—1963) — прозаик, поэт.

<sup>179</sup>Верховский Юрий Никандрович (1878—1956) — поэт, литературовед, переводчик.

<sup>180</sup>Лосский Николай Онуфриевич (1870—1965) — философ, один из крупнейших представителей интуитивизма и персонализма в России.

<sup>181</sup>Моммзен Теодор (1817—1903) — немецкий историк, автор многочисленных работ по истории Древнего Рима и римскому праву.

<sup>182</sup>Корреджо (у Белого — Корреджио, наст. фам. Аллегри) Антонио (ок. 1489—1534) — итальянский живописец эпохи Возрождения.

<sup>183</sup>Портрет Вяч. Иванова работы К. Сомова датируется 1906 г.

<sup>184</sup>Полностью (с небольшими неточностями) процитировано стих. "Вячеславу Иванову" (1916).

<sup>185</sup>В античном мире — песнь в честь бога Солнца Феба, а затем — просто победная песня. Пеоним был назван и сам стихотворный размер этих песен. Применительно к русскому стихосложению — сочетание ямба или хоря с пиррихием. По аналогии с античным пеоним в русском стихе различают четыре вида пеонимов как четырехдольной стопы с акцентом на одном из четырех слогов.

<sup>186</sup>Имеется в виду доклад Блока "О современном состоянии русского символизма", прочитанный 8 апреля 1910 г.

<sup>187</sup>Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920) — историк литературы, библиограф.

<sup>188</sup>Имеется в виду Кузьмин-Караваев (у Белого: Кузьмин) Дмитрий Владимирович (1859—1927) — юрист, историк, один из руководителей "Цеха поэтов".

<sup>189</sup>Доклад о ритме в Обществе ревнителей художественного слова (при редакции журнала "Аполлон") был прочитан Бельям 18 февраля.

<sup>190</sup>Лекция "Генрик Ибсен" состоялась 2 марта 1910 г.

<sup>191</sup>Возвращение Белого (с Вяч. Ивановым) в Москву датируется 4—5 марта.

<sup>192</sup>Пятая книга сборника стих. Вяч. Иванова "Cor Ardens" окончена до декабря 1910 г.

<sup>193</sup>Новалис (наст. имя и фам. Фридрих фон Харденберг) (1772—1801) — немецкий поэт и философ. Его лирический цикл "Гимны к ночи", в котором воплощены, в частности, принципы "магического идеализма", датируется 1798 г.

<sup>194</sup>Открытие Ритмического кружка при "Мусегете" произошло в апреле 1910 г.

<sup>195</sup>Бобров Сергей Павлович (1889—1971) — поэт, переводчик, критик, стиховед.

<sup>196</sup>Чеботаревская Александра Николаевна (1869—1925) переводчица; сестра Ан. Н. Чеботаревской.

<sup>197</sup>Чеботаревский — брат А. Н. и Ан. Н. Чеботаревских.

<sup>198</sup>Зайцев Петр Никанорович (1883—1970) — поэт, издательский работник, близкий друг и помощник Белого.

<sup>199</sup>Знакомство с Б. Л. Пастернаком (1890—1960) Белый относит к сентябрю 1910 г. (Ракурск дневник у. Л. 53). Историю отношений поэтов см.: Флейшман Л. Б. Пастернак и А. Белый // Russian Literature Triquarterly. 1975. № 13.

<sup>200</sup>Белый провел в Демьяново май, июнь и часть августа 1910 г.

<sup>201</sup>Речь идет о сборе материала для анализа пятистопного ямба в лирике Пушкина.

<sup>202</sup>Статья впервые была опубликована в Ар а б е с к а х.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

<sup>1</sup>Кампиони Владимир Константинович — лесничий, муж С. Н. Кампиони.

<sup>2</sup>Тургенева Татьяна Алексеевна (1896—1966) — сестра А. А. Тургеневой, жена С. М. Соловьева.

<sup>3</sup>"Приветствую тебя, брат!" (лат.) — приветствие, принятое у католического клира. Ответ: "Будь благословен".

<sup>4</sup>Тамплиеры (у Белого: темплиеры) — от фр. temple — храм. Члены католического рыцарского ордена, основанного в Иерусалиме около 1118 или 1119 г. Занимались торговлей, ростовничеством (в XIII в. крупнейшие в Западной Европе банкиры). Считались носителями "тайного знания". В конце XIII в. были сосредоточены во Франции. Под давлением французского короля против них был начат инквизиционный процесс, а в 1312 г. папа Климент V упразднил орден.

<sup>5</sup>Масоны (франкмасоны) — от фр.: franc maçon — вольный каменщик. Участники религиозно-этического движения, возникшего в начале XVIII в. в Англии и распространившегося во многих странах, в том числе и в России. Название организации, ее структура, традиции заимствованы от средневековых цехов (братств), рыцарских и мистических орденов. Масоны стремились к созданию всемирной тайной организации, призванной к мировому объединению человечества в религиозном братском союзе.

<sup>6</sup>Члены тайных религиозных мистических обществ в XVII—XVIII вв. в Германии, России, Нидерландах и некоторых других европейских странах. Названы по имени легендарного основателя общества Х. Розенкрейцера, якобы жившего в XIV—XV вв., или по эмблеме общества — розе и кресту.

<sup>7</sup>Последователи теософа XVIII в. Паскуаля Мартинеса (1715?—1779), проповедовавшего в различных городах Франции учение, близкое гностицизму и каббале. Основное сочинение — "Трактат о живых существах с их первоначальными добродетелями и духовно-божественными способностями".

<sup>8</sup>Последователи культа сатаны, распространившиеся в декадентских кругах Европы и Америки во второй половине XIX в. Сатанисты-палладисты поклонялись Люциферу как порождению света и считали себя последователями тамплиеров, практиковали черную магию. Их ритуалы, получившие художественное отражение в романе французского писателя-символиста Ш. Гюисманса "Там, внизу" (1891), носили необузданно-чувственный характер.

<sup>9</sup>Ср. запись Белого от августа 1910 г.: "...сваливается тяжелая проблема исчезновения Минцловой, с которой с неделю мы возимся с М. Н. Сизовым. Она — исчезает, дав мне кольцо и лозунг и обещав, что кто-то к нам придет в сентябре 1911 года" (М а т е р и а л к б о г р а ф и и. Л. 58 об.).

<sup>10</sup>Тимирязев Климент Аркадьевич (1843—1920) — биолог, один из основоположников русской школы физиологии растений, профессор Московского университета.

<sup>11</sup>Маслов Федор Иванович (1840—1915) — юрист.

<sup>12</sup>Баранов Алексей Алексеевич (псевд. Рем Дм.) (1891—1920?) — поэт, исследователь стиха.

<sup>13</sup>Доклад Баранова с объяснением нового математического способа определения стихотворного ритма был прочитан на заседании Ритмического кружка 4 октября 1910 г. (см.: Между двух революций. С. 542).

<sup>14</sup>Предложенную Барановым формулу счисления ритма Белый положил в основу своей теории "ритмического жеста", разработанную им в книгах "О ритмическом жесте" (1917; РГБ, ф. 25, карт. 4, ед. хр. 1) и "Ритм как диалектика и "Медный всадник" (М., 1929).

<sup>15</sup>В легенде о Граале — гора спасения, вершина, к которой ни один из смертных не может приблизиться. Символ высшего духовного совершенства. В "Парцифале" Р. Вагнера — замок Грааля.

<sup>16</sup>Кружок, собиравшийся в студии Крахта, известен под названием "Молодой Мусагет" (см. ком. 235 к гл. 1).

<sup>17</sup>Лекция "Трагедия творчества у Достоевского" была прочитана 1 ноября в Московском религиозно-философском обществе.

<sup>18</sup>Блок приехал в Москву 31 октября.

<sup>19</sup>Бекетова. С. 99.

<sup>20</sup>Бекетова. С. 98.

<sup>21</sup>В письме к Э. К. Метнеру от 19 декабря 1910 г. Блок предлагает "Мусагету" издать его "Собрание стихотворений" в трех книгах и новый сборник стихов "Ночные часы". Метнер 1 января 1911 г. ответил согласием и предложил выслать рукописи (см.: Между двух революций. С. 544).

<sup>22</sup>Об уходе Л. Н. Толстого из Ясной Поляны сообщалось 30 и 31 октября во всех газетах.

<sup>23</sup>Кизеветтер Александр Александрович (1866—1933) — историк, публицист, член ЦК кадетской партии.

<sup>24</sup>Имеется в виду статья Д. Мережковского "Балаган и трагедия" (Русское слово. 1910. 14 сентября), являющаяся откликом на статьи А. Блока "О современном состоянии русского символизма" (Аполлон. 1910. № 8) и Вяч. Иванова "Заветы символизма" (там же). Мережковский, выступавший тогда под лозунгом "религиозной общественности", упрекнул, в частности, Блока в "измене тому святому, абсолютному, что было в русской революции".

<sup>25</sup>Речь идет о не дошедшем до нас письме Блока, в котором он обвинил Мережковского в клевете. Кроме того, Блок написал в ответ на фельетон Мережковского оставшуюся неоконченной статью. Впервые она была напечатана в "Русском современнике" (1924. № 3) под условным названием "Ответ Мережковскому" (Собр. соч. Т. 5. С. 442—445).

<sup>26</sup>См.: Собр. соч. Т. 8. С. 321.

<sup>27</sup>Мережковский писал в своем ответном письме: "Я не могу согласиться с Вами, что я Вас "оклеветал" в своей статье. Клевета предполагает сознательный и злостный умысел, которого у меня не было. Я понял Вас так, как это написал в статье, и если неверно понял, то в этом виновата моя бездарность, *глупость сердца*, которую я в себе в высшей степени сознаю" (Собр. соч. Т. 5. С. 758).

<sup>28</sup>Там же.

<sup>29</sup>Машковцев Николай Георгиевич (1887—1962) — историк искусства, художественный критик.

<sup>30</sup>Казин Василий Васильевич (1898—1981) — поэт. Один из организаторов литературной группы "Кузница".

<sup>31</sup>В воспоминаниях ученицы Н. С. Гумилева Ирины Одоевцевой "На берегах Невы" (М., 1989) подробно описано, как в послереволюционные 1918—1921 гг. он обучал молодых поэтов теории поэзии и технике стиха, читал лекции, вел семинарские занятия в Институте живого слова и литературной студии в Петрограде.

<sup>32</sup>Панина Варвара Васильевна (1872—1911) — эстрадная певица, исполнительница цыганских песен, романсов.

<sup>33</sup>Первое "Собрание стихотворений" Блока в трех книгах вышло в издательстве "Мусагет" в 1911—1912 гг. В 1916 г. там же было осуществлено новое издание его произведений в четырех книгах.

<sup>34</sup>Блок вернулся в Петербург 5 ноября 1910 г.

<sup>35</sup>Первые наброски поэмы "Возмездие" сделаны 7 июня в Шахматово.

<sup>36</sup>А. Белый с А. Тургенева отправился в заграничное путешествие 26 ноября 1910 г.

<sup>37</sup>Первый том "Путевых заметок. Сицилия и Тунис" вышел в 1922 г. в издательстве "Теликон" (М.; Берлин). Текст второго тома хранится в архиве Белого (РГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 15). Из него были опубликованы лишь отдельные фрагменты (см.: *Бугаева К., Петровский А., (Пинес Д.)*. Литературное наследство Андрея Белого // Литературное наследство. М., 1937. Т. 27—28. С. 610—611).

<sup>38</sup>Белый и Тургенева прибыли в Тунис 5 января 1911 г. Поселились в деревне Радес 15 января. См. гл. "Радес", "Путешествие на Восток" в Между двух революций.

<sup>39</sup>Ср.: "...я сделал открытое нападение на Эмилия Метнера в данном письме из Радеса; в нем я подготовил двухлетие "Мусагета" и сомневался, чтобы политика Метнера, главным образом накладывая свое "veto" на новые начинания наши, имела бы смысл. Я писал: "Мусагет приблизился к тупику, из которого выхода нет" (Между двух революций. С. 383).

<sup>40</sup>Здесь: подопытный кролик (нем).

<sup>41</sup>См. комм. 13 к гл. 4.

<sup>42</sup>Бекетова. С. 101.

<sup>43</sup>Общение с С. Н. Булгаковым, предлагающим Белому писать роман для журнала "Русская мысль", датируется серединой мая 1911 г.

<sup>44</sup>Из Москвы в Боголюбье Белый уехал 18 мая и пробыл там до 8 августа.

<sup>45</sup>Строки стих. "И опять, и опять, и опять..." (1911).

<sup>46</sup>Строфа из стих. "Опять с вековой тоскою..." (1908), входящего в цикл "На поле Куликовом".

<sup>47</sup>Цитата из стих. "В веках я спал... Но я ждал, о, Невеста..." (1911), входящего в цикл "Голос прошлого".

<sup>48</sup>В конце августа — начале сентября Белый с А. Тургенева провели две недели в имении М. К. Морозовой в Калужской губ.

<sup>49</sup>С конца сентября Белый с А. Тургенева жили на даче А. Н. Дяглева в Видном, близ Москвы (ст. Расторгуево Павелецкой ж. д.).

<sup>50</sup>Двухмесячник издательства "Мусагет" под редакцией Белого и Э. К. Метнера. Выходил в 1912—1916 гг.

<sup>51</sup>Яковенко Борис Валентинович (1884—1948) — философ, близкий к неокантианству; один из редакторов сборников "Логос".

<sup>52</sup>К работе над будущим "Петербургом" Белый приступил в октябре 1911 г. В середине сентября была достигнута договоренность о том, что к январю 1912 г. в журнал будет представлено первые 12 листов нового романа.

<sup>53</sup>Издательство М. И. Терещенко и его сестер, к которому близко стоял А. Блок. Существовало в 1913—1914 гг.

<sup>54</sup>Путеводители по разным городам и странам, получившие название по имени немецкого книгоиздателя Карла Бедекера (1801—1859).

<sup>55</sup>Белый имеет в виду лекцию о Египте, прочитанную им 5 ноября в московском Историческом музее.

<sup>56</sup>Приезд в Москву из Расторгуева — середина ноября.

<sup>57</sup>Белый с А. Тургенева вернулись в Москву 25 декабря.

<sup>58</sup>Роман Д. А. Абельдяева "Тень века сего. Записки Абашева" был напечатан в № 6—12 "Русской мысли" за 1912 г.

<sup>59</sup>Белый не совсем справедлив к Брюсову, который пытался уговорить Струве опубликовать роман: "Все же *новый роман Белого* есть некоторое событие в литературе, интересное само по себе, даже независимо от его абсолютных достоинств" (*Ямпольский И.* Поэты и прозаики. Л., 1989. С. 349).

<sup>60</sup>Приезд в Петербург датируется 21 января 1912 г.

<sup>61</sup>Гессен Иосиф Владимирович (1865—1943) — юрист, публицист, лидер партии кадетов, редактор газеты "Речь".

<sup>62</sup>См.: Долгополов Л. К. Творческая история и историко-литературное значение романа А. Белого "Петербург" // *Белый Андрей*. Петербург. М., 1981.

<sup>63</sup>28 января 1912 года Белым был сделан доклад в Обществе ревнителей художественного слова о работе Ритмического кружка над исследованием пятистопного ямба, а 13 февраля была прочитана в большой аудитории Соляного городка лекция "Современный человек".

<sup>64</sup>С докладами о символизме Белый и Иванов выступили 18 февраля в Обществе ревнителей художественного слова. Первый номер "Трудов и дней" открывают статьи Вяч. Иванова "Мысли о символизме" и "О символизме" Белого.

<sup>65</sup>Зарубиное путешествие Блока продолжалось с 25 июля по 7 сентября 1911 г.

<sup>66</sup>Собр. соч. Т. 8. С. 365.

<sup>67</sup>Стриндберг Август Юхан (1849—1912) — шведский прозаик и драматург. Блок, переживший увлечение Стриндбергом, написал о нем статьи "От Ибсена к Стриндбергу", "Памяти Августа Стриндберга" (обе — 1912). В бумагах Блока сохранился также набросок "Ибсен и Стриндберг" (1912, опубл. Собр. соч. Т. 8. С. 687). "Знакомство с произведениями Стриндберга он считал, — писала Бекетова, — одним из событий своей жизни. Стихийное начало, глубокий мистицизм, специальная склонность к глубокому изучению естественных наук, общая культурность европейского склада — такое сочетание казалось Блоку до крайности значительным, и в этом периоде он рассматривал все события своей жизни с точки зрения Стриндберга" (С. 119).

<sup>68</sup>Из стих. "Вячеславу Иванову" (1912, курсив А. Белого).

<sup>69</sup>Встреча произошла 24 февраля 1912 г. в ресторане Лейнера.

<sup>70</sup>*Княжнин В. М.* А. А. Блок. Пб., 1922. С. 3.

<sup>71</sup>Бекетова. С. 123 (везде курсив А. Белого).

<sup>72</sup>Собр. соч. Т. 8. С. 333. Гильда (или Хильда) — героиня пьесы Г. Ибсена "Странтель Солнес" (1892).

<sup>73</sup>Бекетова. С. 106.

<sup>74</sup>Первые две строфы стих. "Из хрустального тумана..." (1909).

<sup>75</sup>Строки стих. "Из хрустального тумана..."

<sup>76</sup>Неточная цитата из стих. "Унижение" (1911).

<sup>77</sup>Статья "Дитя Гоголя" (1909). Собр. соч. Т. 5. С. 379.

<sup>78</sup>Статья "Безвременье" (1908). Собр. соч. Т. 5. С. 434.

<sup>79</sup>Там же.

<sup>80</sup>Бекетова. С. 119.

<sup>81</sup>Переживая неразделенную любовь к С. В. Гиацинтовой (см. ком. 25 к гл. 8), С. Соловьев в состоянии нервно-психического расстройства покушался на самоубийство, после чего был помещен в психиатрическую лечебницу (см.: Переписка. С. 272—273, 280—281).

<sup>82</sup>Веселовский Юрий Алексеевич (1872—1919) — переводчик, писатель.

<sup>83</sup>Зоргенфрей Вильгельм Александрович (1882—1938) — поэт и переводчик, которого с Блоком связывали тесные дружеские отношения. Не случайно Блок в 1916 г. назвал Зоргенфрея в числе своих четырех "действительных друзей". На смерть Блока отозвался цитируемой далее мемориальной статьей "Александр Александрович Блок. По памяти за пятнадцать лет: 1906—1921" (опубл. впервые — Записки мечтателей. 1922. № 6); см. также: Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1980. С. 14.

<sup>84</sup>Кружок поэтов и критиков, оформившийся в ноябре 1911 г. и в дальнейшем ставший центром акмеистической школы. Об отношении к нему Блока см. его статью "Без божества, без вдохновенья (Цех акмеистов)" (1921).

<sup>85</sup>См. комм. 274 к гл. 6.

<sup>86</sup>Заключительные строки стих. "В ночь, когда Мамай залег с ордою..." (1908), входящего в цикл "На поле Куликовом".

<sup>87</sup>Мария Магдалина — в христианских преданиях последовательница Иисуса Христа, одна из жен-мироносиц. Она была исцелена Иисусом Христом от одержимости

семью бесами, после чего последовала за учителем, служила ему, делясь своим достоянием (Лука 8:2—3), присутствовала на Голгофе, была свидетельницей казни и погребения Иисуса Христа (Матф. 27:56, 61 и др.), а затем была извещена ангелом о его воскресении (Марк 16:1—8). В западной традиции Мария Магдалина отождествляется "с грешницей у некоего Симона, возлившей на голову Христа миро, омывшей ему ноги своими слезами и отершей их своими волосами" (*Аверлицев С. Мария Магдалина — Мифы народов мира. Т. 2. М., 1988. С. 117*).

<sup>80</sup>О переписке с Н. Клюевым Блок упоминает в статьях "Литературные итоги 1907 года" (1907) и "Стихия и культура" (1909). См. также письма Н. А. Клюева к Блоку (ЛН. Кн. 4).

<sup>81</sup>Белый обыгрывает одно из значений латинского предлога "inter" — "между".

<sup>82</sup>Термин, заимствованный из санскрита. В антопософской интерпретации он означает этически ориентированный, "сердечный" разум, который противостоит новейшему рассудку.

<sup>83</sup>Обыгрывание имени близкого друга Разумника Васильевича Иванова (псевд. Иванов-Разумник) (см. комм. 238 к гл. 1).

<sup>84</sup>Grande Etre — Великое Существо (фр.) — изначально: центральная мифологема масонства, ставшая своего рода заменой образа единого Бога.

<sup>85</sup>Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — социолог, публицист, литературный критик, идеолог народничества. Один из редакторов "Отечественных записок", "Русского богатства".

<sup>86</sup>Неточное цитирование стих. "За гробом".

<sup>87</sup>Заключительная строфа стих. "На железной дороге" (1910).

<sup>88</sup>Заключительные строки стих. "Унижение".

<sup>89</sup>Одна из первых ступеней посвящения. Образ Льва (знак евангелиста Марка) служит воплощением сердечной сферы.

<sup>90</sup>Из стих. "Ангел-хранитель" (1906).

<sup>91</sup>Из стих. "Клеопатра (Открыт паноптикум печальный)".

<sup>92</sup>Суккуб — злой дух, который, согласно древним народным верованиям, принимал женское обличье, чтобы спать с мужчинами.

<sup>93</sup>Из стих. "Вербы — это весенняя таль..." (1914).

<sup>94</sup>Заключительная строфа стих. "Есть демон утра. Дымно-светел он..." (1914).

<sup>95</sup>Строфа из стих. "Даже имя твое мне презренно..." (1914), входящего в цикл "Черная кровь".

<sup>96</sup>Из стих. "Я ее победил, наконец!" (1909) в составе того же цикла.

<sup>97</sup>Строки стих. "Как свершилось, как случилось?" (1912).

<sup>98</sup>Эти, как и предыдущие процитированные строки, — из стих. "Песнь ада" (1909).

<sup>99</sup>Из стих. "Унижение".

<sup>100</sup>Первая строфа стих. "К музе" (1912).

<sup>101</sup>Из стих. "Даже имя твое мне презренно..."

<sup>102</sup>Строки из стих. "Шар раскаленный, золотой..." (1912).

<sup>103</sup>Полностью приведено стих. "Как океан меняет цвет..." (1914), открывающее цикл "Кармен".

<sup>104</sup>Из стих. "Он занесен — сей жезл железный..." (1914).

<sup>105</sup>Первые строки одноименного стих. (1914).

<sup>106</sup>Имеется в виду заключительная сцена гетевского "Фауста" — "Горные ущелья, лес, скалы, пустыня", — в которой "доктор Марианнус" (т. е. "погруженный в молитвенное созерцание дева Марии") обращается к ней со следующими словами:

Миродержица, склонись

В лицезаримой тайне

Всей твоей, взнесенной ввысь,

Синевой бескрайней!

(пер. Б. Пастернака)

<sup>115</sup>В христианских преданиях — раскаявшаяся блудница, удалившаяся в пустыню и прожившая там сорок семь лет в покаянии. В финале "Фауста" Гете она вместе с Марией Магдалиной и самаритянкой, в присутствии девы Марии и с участием Гретхен молит о прощении для Фауста.

<sup>116</sup>Строки из ранее цитированного стих. "На железной дороге".

<sup>117</sup>Из стих. "Грешить бесстыдно, непробудно..." (1914).

<sup>118</sup>Строфа из стих. "Есть игра: осторожно войти..." (1913).

<sup>119</sup>См. ком. 137 к наст. гл.

<sup>120</sup>Эта, как и предыдущая цитата, — из стих. "Россия" (1908).

<sup>121</sup>Икона Божьей Матери ("Знамение") Серафимо-Понетаевская находилась в Серафимо-Понетаевской женской обители (Нижегородская губ.). Указом Синода признана чудотворной.

<sup>122</sup>Неточная цитата последней строфы стих. "Перед судом" (1915).

<sup>123</sup>Неточно цитированная заключительная строфа стих. "Ты отошла, и я в пустыне..." (1907).

<sup>124</sup>Очень искаженные строки стих. "Я пригвожден к трактирной стойке..." (1908).

<sup>125</sup>Неточная цитата из стих. "В густой траве пропадешь с головой..." (1907).

<sup>126</sup>Заключительная строфа стих. "Осенний день" (1909).

<sup>127</sup>Неточная цитата из стих. "Последнее напутствие" (1914).

<sup>128</sup>Эта, как и последующие цитаты, — из стих. "Дым от костра струею сизой..." (1909).

<sup>129</sup>Из стих. "В ресторане" (1910).

<sup>130</sup>Строфа стих. "Россия" (1908).

<sup>131</sup>Эта, как и последующие цитаты, — из стих. "Последнее напутствие".

<sup>132</sup>Из стих. "Есть игра: осторожно войти..."

<sup>133</sup>Как эта, так и следующая поэтическая цитата, из стих. "Опять с вековой тоскою..." (1908), входящего в цикл "На поле Куликовом".

<sup>134</sup>Здесь и через цитату ниже приведены строки из стих. "Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?" (1910).

<sup>135</sup>Согласно соловьевской теории панмонголизма, оказавшей глубокое воздействие на мирозерцание "младосимволистов", христианской Европе грозит азиатское нашествие.

<sup>136</sup>На антропософском языке так можно определить встречу с Ариманом.

<sup>137</sup>Волшебник Клингзор и девица-язычница Кундри — персонажи рыцарского романа Вольфрама фон Эшенбаха "Парцифаль" (начало XIII в.).

<sup>138</sup>Эта и последующие цитаты из стих. "Опять над полем Куликовым" (1908), которым завершается цикл "На поле Куликовом".

<sup>139</sup>Из стих. "Опять с вековой тоскою..."

<sup>140</sup>Апокалипсический образ, необычайно значимый для символистов-соловьевцев. В "Краткой повести об Антихристе" (1900) Вл. Соловьева этот образ символизирует победу над Антихристом и соединений христианских церквей.

<sup>141</sup>См. ком. 26 к гл. 5.

<sup>142</sup>Страшно сказать (лат.).

<sup>143</sup>Согласно антропософским представлениям, основанным на идее тождества чело-века-микрокосмоса и мира-макркосмоса, в бытии присутствует несколько планов: физический, душевный, духовный, которым соответствуют тело физическое, тело астральное (сфера страстей) и тело ментальное (сфера сознания), образующие в совокупности своей состав человека.

<sup>144</sup>Из стих. "Идут часы, и дни, и годы".

<sup>145</sup>Свет, пролившийся с неба, осиявший язычника Савла, гонителя христиан, на пути в Дамаск, после чего тот уверовал в Иисуса Христа и стал ревностным его последователем — апостолом Павлом (Деяния Апостолов, 9).

- <sup>146</sup>Строки из стих. "Ты отошла, и я в пустыне...".
- <sup>147</sup>Из стих. "По городу бегал черный человек" (1903).
- <sup>148</sup>Неточная цитата из стих. "Двойник" (1909). Последующие поэтические цитаты, перемежающиеся с цитатами из стих. "На островах", — из того же стих.
- <sup>149</sup>Строки из стих. "Дух пряный марта был в лунном круте..." (1910).
- <sup>150</sup>Первые строки одноименного стих. (1914), входящего в цикл "Черная кровь".
- <sup>151</sup>Строки из стих. "Как свершилось, как случилось?".
- <sup>152</sup>Неточная цитата из стих. "Друзьям" (1908).
- <sup>153</sup>Строфы стих. "Ты в комнате один сидишь..." (1909).
- <sup>154</sup>Из стих. "Миры летят. Годы летят. Пустая..." (1912).
- <sup>155</sup>Цитируются строки стих. "Ночь — как ночь, и улица пустынна..." (1908).
- <sup>156</sup>Строки из стих. "Как свершилось, как случилось?".
- <sup>157</sup>Из стих. "Ночь, улица, фонарь, аптека...", входящего в цикл "Пляска смерти".
- <sup>158</sup>Строки стих. "Пустая улица. Один огонь в окне..." (1912), входящего в тот же цикл.
- <sup>159</sup>Первые строки стих. "Было то в темных Карпатах..." (1913).
- <sup>160</sup>Из стих. "Как свершилось, как случилось?".
- <sup>161</sup>Строки стих. "Было то в темных Карпатах...".
- <sup>162</sup>Строфы стих. "Говорит смерть" (1915), завершающего цикл "Жизнь моего приятеля".
- <sup>163</sup>Из стих. "Было то в темных Карпатах...".
- <sup>164</sup>См.: С о б р . с о ч . Т. 3. С. 297—298.
- <sup>165</sup>Творчество французского писателя Эмиля Золя (1840—1902) в глазах символистов-«соловьевцев» являлось образцом позитивизма, грешило фатализмом, «фетишизмом быта» (Между двух революций. С. 194).
- <sup>166</sup>Здесь и далее приведены строки из поэмы "Возмездие".
- <sup>167</sup>Строфы стих. "Шаги командора" (1910—1912).
- <sup>168</sup>Эта, как и последующая поэтическая цитата, — из стих. "Я их хранил в приделе Иоанна..." (1902).
- <sup>169</sup>Приведены первая и последняя строфы стих. "Брожу в стенах монастыря..." (1902).
- <sup>170</sup>Неточная цитата из стих. "Ужасен холод вечеров..." (1902).
- <sup>171</sup>Из стих. "С прежней жизнью покончены счеты...".
- <sup>172</sup>Эта, как и предыдущие цитаты, — из стих. "Как тяжело мертвецу среди людей" (1912).
- <sup>173</sup>Заключительная строка стих. "Демон" (1910).
- <sup>174</sup>Эта и следующая цитата — из стих. "Авиатор" (1912).
- <sup>175</sup>Первые строки одноименного стих. (1912).
- <sup>176</sup>Цитата из стих. "Весь день — как день. Трудов исполнен малых..." (1914), открывающий цикл "Жизнь моего приятеля".
- <sup>177</sup>Искаженная цитата из стих. "Голос из хора" (1910—1914).
- <sup>178</sup>Эта и следующие цитаты из стих. "Из хрустального тумана...".
- <sup>179</sup>Строки из стих. "Идут часы, и дни, и годы..." (1910).
- <sup>180</sup>Из того же стих.
- <sup>181</sup>Из стих. "Унижение".
- <sup>182</sup>Заключительная строфа стих. "Я сегодня не помню, что было вчера..." (1909).
- <sup>183</sup>Концовка стих. "Вспомнил я старую сказку...".
- <sup>184</sup>Первая строфа стих. "Говорят черти" (1915) из цикла "Жизнь моего приятеля".
- <sup>185</sup>Две первые строфы стих. "Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный..." (1912).
- <sup>186</sup>Продолжение цитирования того же стих.

<sup>187</sup>Заключительные строки стих. "Идут часы, и дни, и годы...". Три приведенные ниже строчки -- из того же стих.

<sup>188</sup>Белый обыгрывает созвучие немецкого местоимения "я" ("Ich") и аббревиатуры "I. Ch" — "Иисус Христос".

<sup>189</sup>Ллойд Джордж (у Белого: Лойд-Джордж) Дэвид (1863—1945) — премьер-министр Великобритании в 1916—1922 гг., один из крупнейших лидеров либеральной партии.

<sup>190</sup>Вильсон Вудро (1856—1924) — президент США в 1913—1921 гг. от демократической партии. Инициатор вступления США в 1-ю мировую войну.

<sup>191</sup>Пуанкаре Раймон (1860—1934) — президент Франции в 1913—1920 гг., премьер-министр в 20-е годы.

<sup>192</sup>Строфы стих. "Мы, сам-друг, над степью в полночь стали..." (1908), входящего в цикл "На поле Куликовом".

<sup>193</sup>Из стих. "Россия".

<sup>194</sup>Эта и последующие цитаты из стих. "Новая Америка" (1913).

<sup>195</sup>Эта и последующие цитаты из стих. "Петроградское небо мутилось дождем..." (1914).

<sup>196</sup>Как уже отмечалось, заключительная строка стих. "Опять над полем Куликовым...", которым завершается весь блоковский цикл "На поле Куликовом".

# СОДЕРЖАНИЕ

<i>С. Пискунова. О Блоке, о времени и — о себе</i> .....	5
Предисловие .....	16
<b>ГЛАВА ПЕРВАЯ. Период до личной встречи</b> .....	18
Первые вести .....	—
"И — зори, зори, зори" .....	20
Кружок Соловьевых .....	23
Первые стихи Блока .....	29
Письма Блока ко мне .....	35
Период от лета до первой встречи .....	44
<b>ГЛАВА ВТОРАЯ. А. А. Блок в Москве</b> .....	52
Первая встреча с поэтом .....	—
А. А. Блок и С. М. Соловьев .....	58
Марконетовский дом .....	62
Блок в Москве .....	68
<b>ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Шахматово</b> .....	76
1904-ый год .....	—
Поездка в Шахматово .....	80
Не Эккерман! .....	84
Брюсов и Блок .....	89
Последние дни .....	99
<b>ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Петербург</b> .....	102
Жизнь в Москве .....	—
Стихи о Прекрасной Даме .....	105
В московских кружках .....	129
Январь .....	132
Сумбур .....	136
Петербург .....	141
А. А. Блок и Д. С. Мережковский .....	148
В Казармах .....	157
<b>ГЛАВА ПЯТАЯ. 1905 год</b> .....	172
Москва 1905 год .....	—
Страда .....	176
Ночная фиалка .....	190
На перевале .....	205

<b>ГЛАВА ШЕСТАЯ. "Ты в поля отошла без возврата"</b> .....	209
Балаганчик .....	—
"Нечаянная радость" .....	214
Третий -- месяц наверху -- искривил свой рот .....	218
Слишком поздно! .....	225
Решительный разговор .....	229
Горячка .....	236
Жизнь за границей .....	248
Образцы второго тома стихов .....	251
"Снежная маска" .....	259
Предстояние первое перед порогом .....	268
И война и пожар впереди .....	274
<b>ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Встреча и охлаждение</b> .....	277
Полемика с Петербургом .....	—
Примирение .....	287
Встреча в Киеве .....	292
Опять Петербург .....	300
<b>ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Вдали от Блока</b> .....	309
Философия .....	—
Московские культуртрегеры .....	318
Трагедия трезвости! .....	326
Обломки миров .....	335
Дух одержания .....	337
На перевале .....	343
Сдвиг .....	350
"Башня" .....	356
<b>ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. У второго порога</b> .....	365
Поворот к встрече .....	—
Случай с Минцловой .....	367
Встреча с Блоком .....	370
Блок в Москве .....	375
Время разочарований .....	381
В глухом ресторанчике .....	389
"Любовь и Россия" в третьем томе у Блока .....	400
Двойники .....	416
Сокращения, принятые в комментариях .....	438
Комментарии .....	439

**Андрей Белый**  
**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**  
**Воспоминания о Блоке**

Заведующий редакцией *В.Е. Вучетич*  
Редактор *С.А. Куртинова*  
Художественный редактор *О.Н. Зайцева*  
Технический редактор *Р.Я. Лаверентьева*

ИБ № 9864

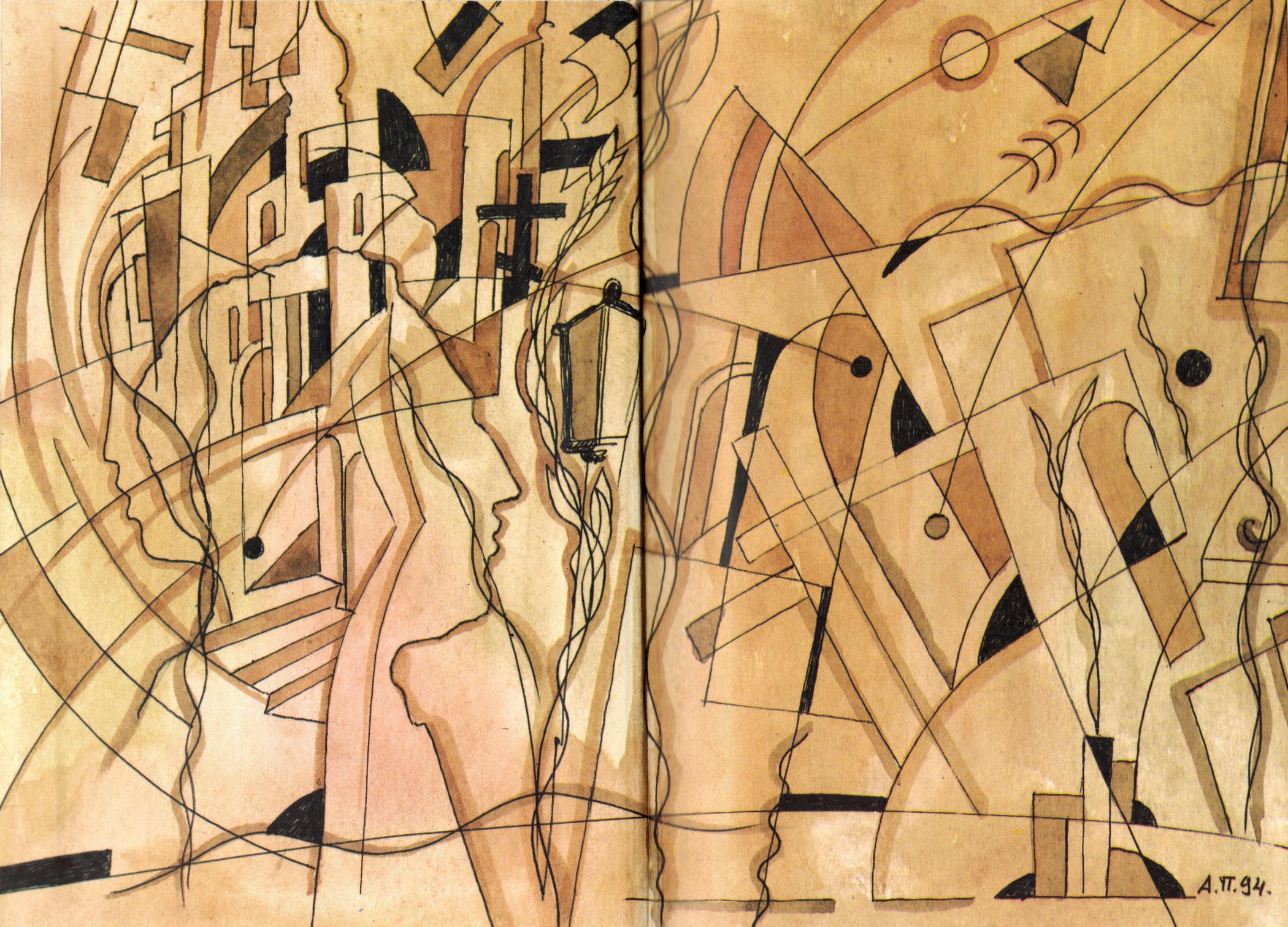
ЛР № 010273 от 10.12.92.

Сдано в набор 14.03.95. Подписано в печать 26.06.95. Формат 60x84<sup>1/16</sup>.  
Бумага книжно-журнальная офсетная. Гарнитура "Бодони". Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 29,76. Уч.-изд.л. 34,99. Тираж 15 000 экз. Заказ № 637. С 040.

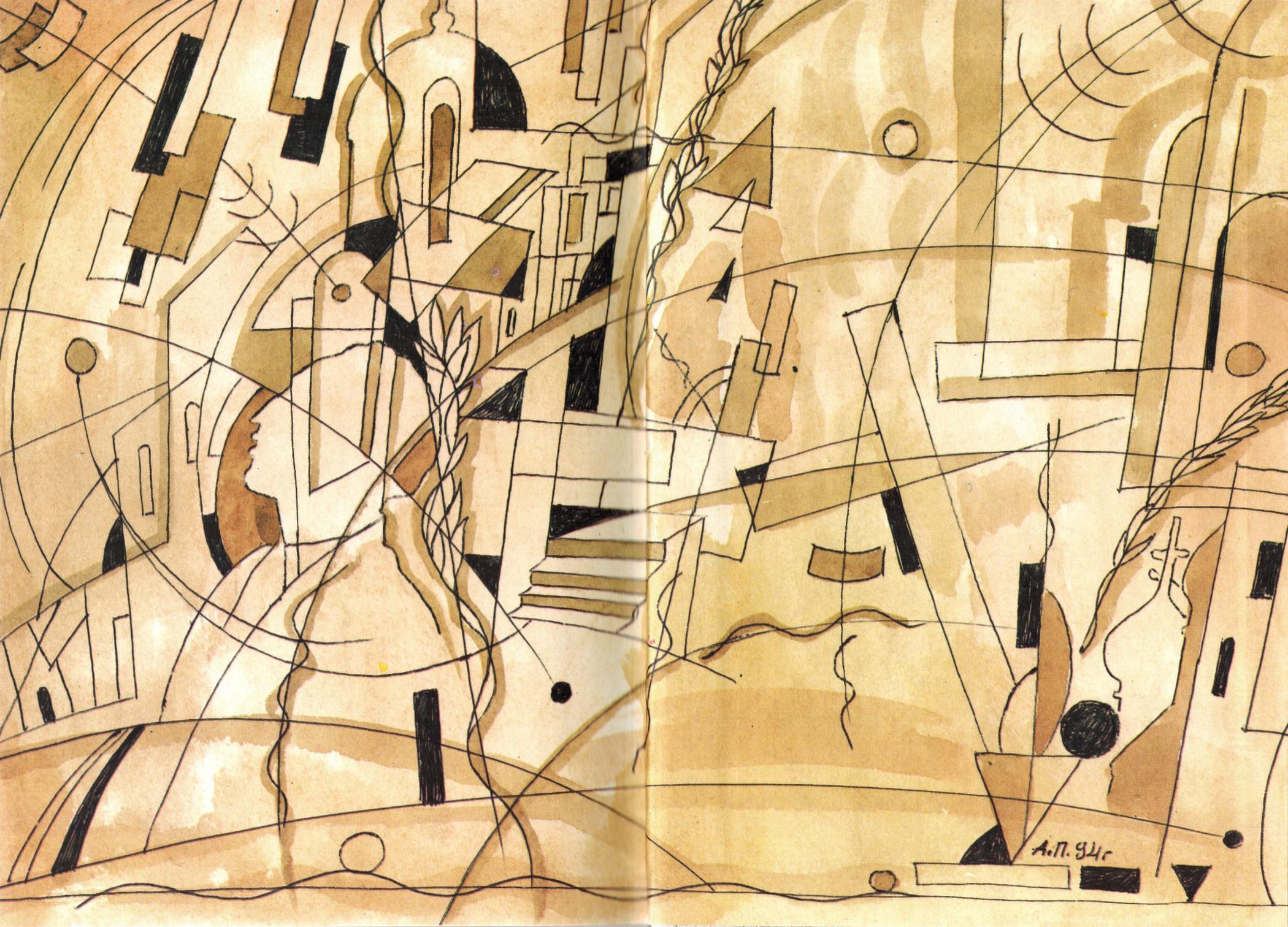
Российский государственный  
информационно-издательский Центр "Республика"  
Комитета Российской Федерации по печати.

Издательство "Республика". 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

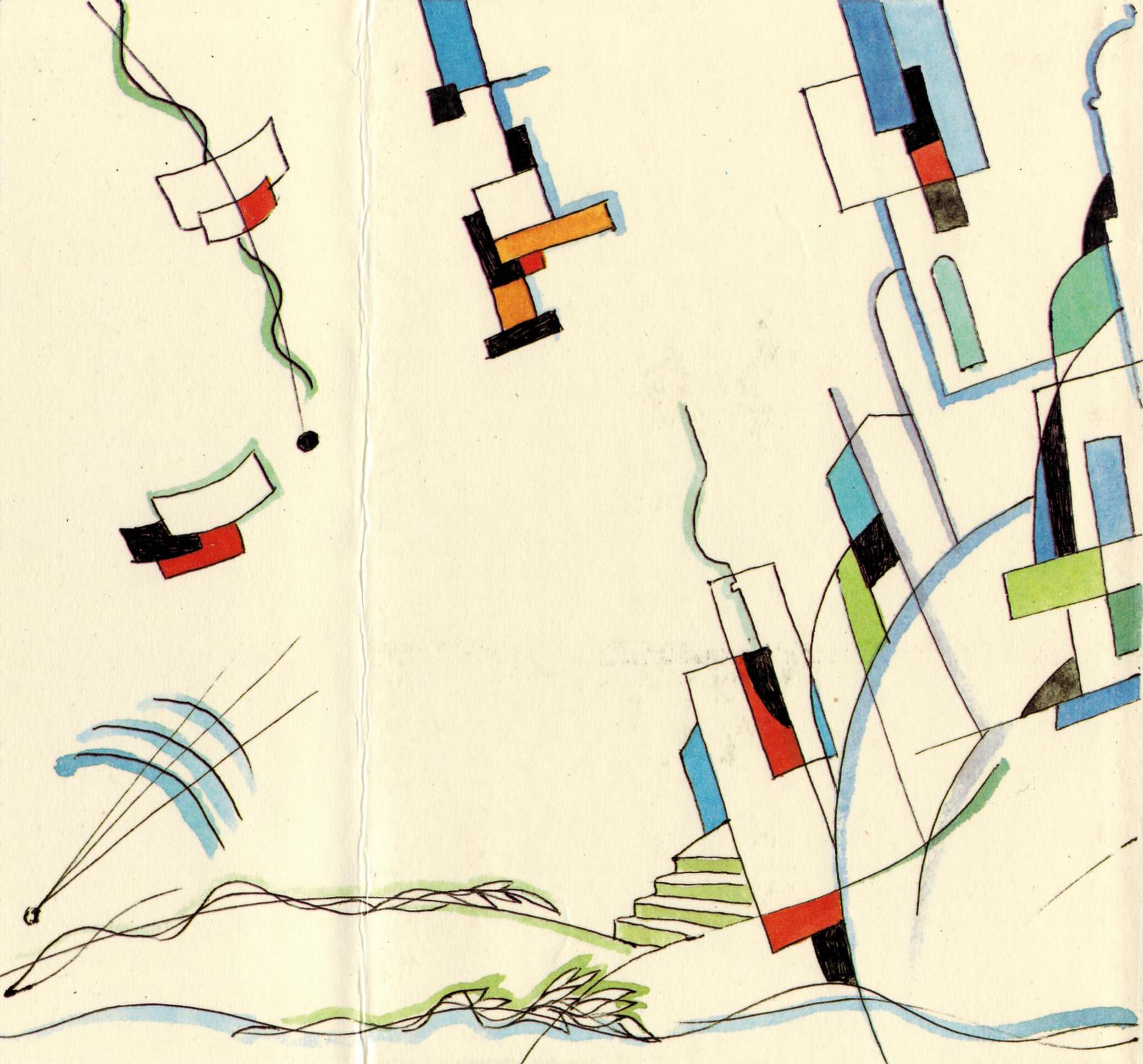
Полиграфическая фирма "Красный Пролетарий".  
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.



A.П.94.



A. П. 94r



ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ    АНДРЕЙ БЕЛЫЙ